ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

НАПЕРЕКОР порядку вещей!..

Четыре хроники честной автобиографии

Москва
Издательство «Знание»
2014

УДК 821-111.31
ББК 84(Вел.)44

*Издается при поддержке Фонда
«Президентский центр Б.Н.Ельцина»*

Автор проекта Вячеслав Недошивин

Дж, Оруэлл. **Наперекор порядку вещей.** – М.: Издательство «Знание», 2014. – 544 с.
ISBN 978-5-7646-0130-4

В творческом наследии знаменитого английского писателя Джорджа Оруэлла есть четыре документальные книги, которые с полным правом можно назвать автобиографичными. Все они - «Славно, славно мы резвились» (1947 г.), «Фунты лиха в Париже и Лондоне» (1931 г.), «Дорога на Уиган-Пирс» (1936 г.) и «Памяти Каталонии» (1939 г.) не просто написаны в присущей автору «предельной откровенности», не просто построенны на рассказе о себе, своих эмоциях, поступках и идеях, но и являются хронологическим отражением жизни легендарного писателя от детства - до зрелости. По сути, это Книга о жизни писателя, политика, философа, революционера XX века, чьи произведения вот уже многие десятилетия стоят в рейтинге «мировых бестселлеров» на третьем месте после Библии и сочинений Маркса. Человеческая и политическая биография, бесстрашно написанная им самим - личностью, сказавшей как-то что: «Быть честным и остаться в живых - это почти невозможно...»

В России из этих книг издавалась только вторая. В таком составе сборник не публиковался даже в Англии.

УДК 821-111.31
ББК 84(Вел.)44

ISBN 978-5-7646-0130-4

© Оруэлл Дж., 2014.
© Домитеева В.М., перевод, 2014.
© Недошивин В.М., послесловие, 2014.
© Издательство «Знание», 2014.

«В любом обществе простые люди должны жить
наперекор существующему порядку вещей...»
Джордж Оруэлл

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Выпускник аристократического Итона, полицейский в Бирме, судомой в парижском отеле, бомж, ночующий под мостами Темзы, репетитор богатеньких английских балбесов, учитель в частной школе, продавец в книжном магазине, боец в сражающейся с фашистами Испании, наконец, сержант отряда местной самообороны Лондона во время Второй мировой – вот ипостаси великого классика английской литературы Эрика Артура Блэра, известного миру под именем Джордж Оруэлл.

Ныне нет, наверное, человека, который не слышал бы этого имени. Его роман «1984» и сказка-памфлет «Скотный двор» – сатира на Сталина и сталинщину – не только полвека уже занимают первые строчки всех мировых рейтингов, но известны сейчас даже детям – эти книги во многих странах включены в школьные програмы. Меньше известны за пределами Великобритании четыре других его романа: «Дни в Бирме», «Да здравствует фикус!», «Дочь священника» и «Глотнуть воздуха». И уж совсем, кажется, неизвестны, во всяком случае – у нас, четыре документальных произведения Оруэлла – почти дневники его жизни, которые впервые объединил в себе сборник, предлагаемый вашему вниманию.

«Четыре хроники честной автобиографии» – так озаглавила, выразила свое отношение к публикуемой документалистики Оруэлла знаток творчества писателя и переводчица этих и большинства его произведений Вера Домитеева. И это действительно и хроника жизни Оруэлла, и, одновременно – честная оценка ее. Оруэлл вообще никогда не боялся громко, во все легкие говорить самую тяжелую правду – говорить и тогда, когда это было смертельно опасно. «Быть честным и остаться в живых – это почти невозможно» – его слова. Недаром, начиная с Бирмы, куда он, двадцатилетний выпускник престижнейшего колледжа Англии, отправился служить простым полицейским, за

ним тайно наблюдали свои же спецслужбы (он слишком сочувствовал низведенным до положения рабов бирманцам, вечной колонии необъятной империи Великбритании). Недаром за ним неусыпно будут следить и в шахтерских поселках, куда он отправится знакомиться с беднейшей жизнью горняков северной Англии, и на Би-Би-Си, в дни его работы там, и, конечно – в Испаниии, куда он кинется добровольцем лишь только вспыхнет там фашистский путч Франко. Более того, там, в Испании, его не только должны были арестовать (и опять-таки свои же – не франкисты), но и, как стало известно из опубликованных недавно архивных документов, – бессудно расстрелять, как расстреляли десятки тысяч борцов с фашистами. Наконец, недаром по крайней мере три его книги были на какое-то время запрещены на свободном, казалось, бы Западе. Слишком уж были узнаваемы и «герои» его воспоминаний о школе, и персонажы романа «Дни в Бирме», и, конечно же, «свиньи» из сказки-памфлета «Скотный двор».

Правду говорить трудно, распространять ее опасно. Но он, всю жизнь идущий поперек «общепринятым взглядам», «порядку вещей» и неписанным людским законам, незадолго до смерти сказал: «Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен...»

Книга, которую вы держите в руках, как раз об этом. Открывает ее никогда не переводившееся на русский эссе Оруэлла «Славно, славно мы резвились» («Such, Such were the Joys»), которое было написано в 1947 году, за три года до смерти писателя, а опубликовано в Англии вообще в 1968-м, когда скончались некоторые из «героев» произведения. Издевательства, почти пытки в подготовительной школе Англии начала прошлого столетия конечно же не могли понравиться британцам второй половины века. Бывшие соученики его считали описанные им кошмары сильным преувеличением, но Оруэлл не только с детства гордился умением «смотреть в глаза неприятным фактам», но и признавался позже, что именно в этой школе начали бессознательно копиться материалы для самой страшной утопии его – романа «1984». «Оруэлл говорил мне, – вспоминал один из его друзей, – что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе, может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью, и что он перенес в фантастический «Лондон 1984» «звуки, запахи и цвета своего школьного детства»...» Ныне можно сказать шире: школа, внушившая ему «чувство неполноценности и страх нарушить таинственные

жуткие законы» – может, главный исток вечной темы всего последующего творчества его. С этими «законами» и «страхами» Оруэллу предстояло разбираться до конца жизни. И прежде всего в тот странный и трудный период своей биографиии, когда после Бирмы он сначала в силу обстоятельств (крайней бедности своей), а потом и ради «прямого исследования» жизни изгоев общества – нищих, бездомных, проституток и бандитов! – сознательно «опустился на дно жизни» – пошел в ночлежки, «работные дома», даже нарочно – в тюрьму.

Этому посвящено второе произвдение сборника – его знаменитая документальная повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне» («Down and Out in Paris and London»), опубликованная в 1931 году и ставшая не только хронологически первой книгой писателя, но произведением на котором впервые и появилось это новое имя – Джордж Оруэлл. Считается – так пишут биографы его – что псевдоним он взял лишь для того, чтобы родители его в авторе, в исследователе «социального дна» Парижа и Лондона, не узнали бы своего «благовоспитанного» сына. В этой книге, ставя фактически рискованный экперимент на себе, Оруэлл впервые заявил о своих политических пристрастиях – о том, что он при любом раскладе был и будет на стороне «униженных и оскорбленных». Именно тогда, ночуя завернувшись в газеты на площадях Лондона, или в канаве за городом, он понял – его ненависть к угнетению «зашла крайне далеко». «Жизненная неудача, напишет он про это время, – представлялась мне тогда единственной добродетелью. Малейший намек на погоню за успехом, даже за таким «успехом» в жизни, как годовой доход в несколько сот фунтов, казался мне морально отвратительным, чем-то вроде сутенерства...»

Крайность? Несомненно. Прямота? Да уж прямей некуда. Кстати, этому – сознательному отказу от денег, ибо всё зло от них, посвящен и очередной роман его «Да здравствует фикус!», который он сочинял примерно в эти же годы. Неудивительно, что именно ему, человеку откровенно левых взглядов, лондонский «Клуб левой книги», возникший в Англии в 1936-м и сразу же собравший свыше 50 тысяч приверженцев, «поручил» командировку на Север Британии в шахтерские городки и поселки, с целью рассказать о беспросветной, почти скотской жизни горняков. Так родилась его третья книга из публикуемых в этом сборнике – «Дорога на Уиган-Пирс» («The Road to Wigan Pier»). На русском языке эта документальная повесть – скорее, бесстрашный репортаж писателя! – еще не выходила. И в ней, в этой потрясающей исповеди писателя о личных жизеннных ценностях, может впервые прозвучали по крайней

мере две грозные ноты, которые тревожили Оруэлла: нарождающийся в мире фашизм и продажность даже левых партий благополучного, казалось бы, Запада. Оруэлл становился уже настоящим «беглецом из лагеря победителей», как ссылаясь на писательницу-антифашистку Симону Вейл, назвал его Ричард Рис, друг писателя. «В начале 30-х, – напишет Р.Рис после смерти Оруэлла, – волна истерического преклонения перед Россией захлестнула английскую интеллигенцию, толкнула многих ее представителей в ряды коммунистической партии... Это вспышка, – пишет Рис, – давала отчасти разрядку тому искреннему и оправданному чувству беспомощности и стыда у интеллигенции, которое было вызвано картиной массовой безработицы... Оруэлл, который среди интеллигенции был, как видно, единственным человеком, хорошо знакомым с крайней бедностью, оказался одним из тех, кто не потерял головы. Его никогда не пьянили революционные тосты и диалектико-материалистические коктейли... в изобилии переливавшиеся через край всюду, где собиралась прогрессивная интеллигенция...» Всё так, но главное – Оруэлл уже понимал: даже «раскоммунические» партии Запада, пламенно борясь на словах за права беднейших классов, никогда не поступятся своим благополучием, «стандартами жизни», к котором привыкли. Это был бунт одного против всех, против «правых» и «левых», очень характерный бунт для цельного во всем прозаика. Он уже различал эти изобретательные «ловушки», всюду расставленные для литераторов, и четко осознавал: «всякий писатель, который становится под партийные знамена, рано или поздно оказывается перед выбором – либо подчиниться, либо заткнуться...» Затыкаться наш «беглец из лагеря победителей» отнюдь не собирался. Именно потому одним из первых оказался в рядах добровольцев, ринувшихся в Испанию, когда там вспыхнул фашисткий мятеж Франко.

Мало кто знает, что в Испанию он отправился через Париж, где начинал когда-то свою писательскую карьеру. И одной из целей его поездки стал визит на виллу Сера, к его тогдашнему кумиру – к уже прославленному писателю Генри Миллеру. Встреча великих – это редко бывает. Но надо ли говорить, что единомышленниками они не оказались: Миллер был «гражданиным вселенной», Оруэлл же верил, что мир можно усовершенствовать, Миллер любил мир, каким он был, Оруэлл – «горел желанием воевать, если цель войны казалась ему справедливой...»

«Есть только одна вещь, – сказал Миллер, поднимая бокал в знак примирения. – Я не могу позволить вам ехать на войну в вашем пре-

красном костюме... Потому, позвольте мне предложить вам эту вот вельветовую куртку, это именно то, что вам сейчас нужно. Она не пуленепробиваемая, но по крайней мере будет держать вас в тепле. Возьмите... в качестве моего вклада в республиканское дело Испании...»

Смешно. Куртка его не спасет – его ранит в Испании фашисткая пуля. Но еще больше его ранит, уязвит в Испании то, что помимо войны с фашистами там разразилась «тайная война» коммунистов якобы с «пятой колонной» – с рабочими и крестьянами, которые восстали и против франкистов, и против буржуазного правительства своей страны. Тысячи беззаветных защитников Испании в одночасье были объявлены троцкистами и предателями, брошены в тюрьмы и расстреляны, в том числе и многие иностранцы, добровольно приехавшие защищать мир от надвигавшегося фашизма. Вот что прежде всего поразило Оруэлла и о чем он и написал свою книгу «Памяти Каталонии» («Homage to Catalonia»). Она, вышедшая в 1939-м, венчает сборник – «хронику честной автобиографии» Оруэлла и, несомненно, является лучшим свидетельством того, что можно было бы назвать «вторым рождением» писателя. Именно в «окопах испанской революции» Джордж Оруэлл и убедился в главном – «в порядочности простых людей». И именно против этой книги его, где он с «поднятым забралом» пошел «наперекор порядку вещей», ожесточенно выступили и «правые», и «левые» – все лощеные «умники» мира. Его отказались печатать (хотя поначалу хотели) и в СССР, и на Западе – еще бы: он нарушил табу, он, как одинокий волк, пошел «за флажки». Этого не могли простить ему. Что ж, справедливость, Оруэлл это понял раньше многих – является первой «беглянкой» из лагеря любых «победителей», будь то либералы, демократы, или коммунисты. В этом актуальность его книги и поныне. Она стала прологом, грозным аккордом к его финальным прижизненным шедеврам – к «Скотному двору» и роману «1984», который он поначалу хотел назвать «Последний человек». И если в одном из нынешних рейтингов «100 великих книг мира» его вчерашний кумир Генри Миллер со своим «Тропиком Рака» занимает 82 место, то Оруэлл – второй в нем, сразу вслед за «Войной и миром» Льва Толстого и перед «Улиссом» Джеймса Джойса. Есть в этом списке и любимый Оруэллом с детства Джонотан Свифт, и почитаемый им испанец Сервантес с его «Дон Кихотом».

Кстати, в Испанию Оруэлл явился не только в куртке Миллера, но и с обычными солдатскими сапогами подмышкой, заранее купленными им. Он, «высоченный дылда с голубыми глазами», знал, что обуви его размера никто на фронте, во всяком случае на первых порах, ему не

найдет. Разумеется, он не пишет об этом в книге «Памяти Каталонии», об этом расскажут позже его друзья по «окопной жизни». И они тогда же назовут его «Дон Кихотом XX века».

Точное сравнение, точнее не придумаешь! И за высокость его, конечно, и за размер ноги, но главное – за личную смелость стать во весь свой рост против любой несправедливости и – за «простую порядочность» – за то что он, великий Джордж Оруэлл, считал главным «масштабом цивилизации». И нашей – сегодняшней – цивилизации.

Славно, славно мы резвились

Перевод Веры Домитеевой

«Славно, славно мы резвились...» – строка стихотворения «Звонкий луг» из сборника «Песни невинности» Уильяма Блейка

1

Вскоре после приезда в школу св. Киприана (не сразу, а пару недель спустя, уже привыкнув вроде к школьному регламенту) я начал писаться ночами. Мне было восемь лет, так что вернулась беда минимум четырехлетней давности. Сегодня ночное недержание при подобных обстоятельствах видится следствием естественным – нормальная реакция ребенка, которого, вырвав из дома, воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, злонамеренным и подлежащим исправлению путем порки. И меня-то не требовалось убеждать в преступности деяния. Ночь за ночью я молился с жаром, дотоле мне неведомым: «Господи, прошу, не дай описаться! Господи, молю тебя, пожалуйста!..», однако на удивление бесплодно. В иные ночи это происходило, в иные – нет. Ни воля, ни сознание не влияли. Собственно, сам ты не участвовал: просто наутро просыпался и обнаруживал свою постель насквозь мокрой.

После второго-третьего случая меня предупредили, что в следующий раз накажут, причем уведомление я получил довольно любопытным образом. Однажды в полдник, под конец общего чаепития, восседавшая во главе одного из столов жена директора, миссис Уилкс беседовала с дамой, о которой я не знал ничего, кроме того что леди посетила нашу школу. Пугающего вида дама, мужеподобная и в амазонке (или том, что я принимал за амазонку). Я уже выходил из комнаты, когда миссис Уилкс подозвала меня, словно желая представить гостье.

Миссис Уилкс имела прозвище Флип[1], так я и буду её называть, ибо так она значится в моей памяти. (Официально мы её величали «мдэм» – искаженное устами школьников «мадам», как следовало об-

[1] Звукоподражательное слово типа «хлоп!», «шлёп!».

ращаться к женам заведующих пансионами). Коренастая плечистая женщина, с красными налитыми щеками, приплюснутой макушкой и блестевшими из пещеры под мощным выступом бровей глазами судебного обвинителя, Флип обычно тщилась изображать добродушие компанейски мужского тона («веселей, парни!» и т.п.), но и в этом сердечном общении взгляд её не терял бдительной неприязни. Даже не числя себя виноватым, трудно было смотреть ей в лицо без ощущения своей вины.

— Вот мальчик, — сообщила она странной леди, — который каждую ночь мочится в кровати. И знаешь, что я сделаю, если ты снова намочишь постель? — добавила она, повернувшись ко мне. — Дам задание команде шестых тебя отлупцевать.

— Да уж, придется! — потрясенно ахнув, воскликнула странная леди.

И здесь произошла одна из диких, бредовых путаниц, обычных в детской повседневности. «Командой шестых» в школе именовалась группа старшеклассников «с характером», а стало быть, с правами колотить мелюзгу. Я не подозревал еще об их существовании и с перепугу вместо «команда шестых» услышал «мадам Шестых», отнеся это к странной даме, сочтя её именем. Имя невероятное, но дети в таких вещах не разбираются. Представилось, что леди и есть тот, кому поручат меня выпороть. Показалось вполне правдоподобным, что миссию выполнит случайная гостья, со школой никак не связанная. «Мадам Шестых» увиделась суровой ревнительницей дисциплины, любительницей избивать людей (наружность леди чем-то подтверждала этот образ), и вмиг возникла жуткая картина ее прибытия на казнь, в полном боевом облачении для верховой езды, с хлыстом. По сей день изнемогаю от стыда, вспомнив себя стоящим перед теми дамами маленьким круглолицым мальчиком в коротких вельветовых штанишках. Я онемел. Я чувствовал, что впереди смерть под хлыстом «мадам Шестых». Но доминировали не страх, не обида — позорнейший позор, поскольку еще одному, и притом женщине, стало известно о моей гнусной преступности.

Уже не помню, как я выяснил, что к поркам «мадам Шестых» не причастна. Не помню, ближайшей ночью или чуть позже я вновь описался, только случилось бедствие довольно скоро. О, отчаяние, о горечь жестокой несправедливости — после стольких молитв и решительных намерений снова проснуться в липкой луже! И никакой возможности сокрытия. Угрюмая монументальная матрона, звали её Маргарет, явилась в дортуар специально для инспекции моей кровати.

Осмотрев простыни, она разогнулась, и громовым раскатом прозвучала страшная фраза:

— С РАПОРТОМ после завтрака к директору!

Я пишу С РАПОРТОМ крупными буквами, как отпечаталось тогда в моем мозгу. И сколько раз мне потом приходилось слышать это в стенах Киприана. И крайне редко это означало что-либо кроме побоев. Зловещие слова гремели глухой барабанной дробью, формулой смертного приговора.

Когда я покорно явился рапортовать, в комнате перед директорским кабинетом Флип возилась с бумагами за длинным полированным столом. Зловещий взгляд цепко обшарил меня.

Самбо[2], мужчина некрупный, но шаркавший тяжелой поступью, выглядел как-то несуразно, с его сутулой спиной и щекастой физиономией разбухшего, бодро настроенного младенца. Он знал, конечно, зачем я пожаловал, уже достал из шкафа стек с резной костяной рукояткой, но частью наказания полагалось самому огласить свою провинность. Я огласил, директор произнес краткую патетичную нотацию, после чего схватил меня за шкирку, скрутил и начал хлестать стеком. У него был обычай продолжать внушения в процессе порки, помнится его «сквер-ный маль-чиш-ка» в такт ударам. Битье же оказалось не слишком болезненным (видимо, ради первого раза наставник бил вполсилы), и вышел я значительно повеселевшим. Неболезненность казни отзывалась победой, частично смывшей позор ночного недержания. Я даже имел неосторожность разулыбаться во весь рот. Кучка младших учеников толпилась за дверью в коридоре.

— Вздули тебя?

— А мне не больно! — гордо заявил я.

Флип услыхала. Вмиг раздался ее крик:

— Поди сюда! Вернись сию секунду! Что ты сказал?

— Я сказал... что не больно... — пролепетал я.

— Смеешь дерзить? Так-то ты понял свой урок? Ну-ка иди ЕЩЕ РАЗ С РАПОРТОМ!

На этот раз Самбо мне всыпал основательно. Хлестал, наполнив меня изумленным ужасом, долго — примерно пять минут, пока стек не сломался. Костяная рукоятка отлетела через всю комнату.

— Вон до чего довел! Сломал! — ярился Самбо, сжимая в кулаке обломок стека.

[2] Кличка, означающая «негритос».

Я упал на стул и захныкал. По-моему, то был единственный за все юные годы случай, когда от порки у меня катились слезы, и, как ни странно, плач был не от боли. Повторное битьё тоже почти не вызвало болевых ощущений. Вероятно, испуг и стыд сработали анестезией. Ревел же я, отчасти уловив некие ожидания моих слез, отчасти в честном покаянии, а более всего из-за сугубо детской глубинной горести, сущность которой выразить нелегко: чувство беспомощной, пустынной отъединенности — роковой изоляции не просто в злобном мире, но во вселенной зла и блага, где правила-то есть, да у тебя нет возможности их исполнять.

Я знал касательно ночного недержания: а) оно нечестиво, б) от меня не зависит. Второй пункт я усвоил на опыте, первый — не подвергал сомнению. Значит, возможно совершить грех, даже его не сознавая, не желая и не имея способа предотвратить. То есть не обязательно ты творишь грех — бывает, грех как-то сам случается с тобой. Не стану утверждать, что мысль сверкнула абсолютной новизной под свист директорской плетки: по-видимому, проблески мелькали еще в домашней обстановке, в очень раннем и недостаточно счастливом детстве. Так или эдак, сделан был важнейший вывод из детской практики: живу я в мире, где быть правильным, хорошим при всем старании не получится. Двойная порка стала поворотом, за которым четко предстал суровый климат территорий, куда меня закинуло. Жизнь оказалась страшнее, я — хуже, чем мне мерещилось. И я сидел на краешке стула, хныча, раскиснув до предела, окрики Самбо не могли меня поднять. Никогда прежде мне не доводилось почувствовать себя столь виноватым, слабым и убогим.

Воспоминания о событиях тускнеют по мере давности. Вторжение новых волнующих ситуаций неизбежно теснит старые впечатления. В двадцать лет я мог бы изложить хронику школьных дней с точностью совершенно недоступной мне сегодня. А с другой стороны, иногда память обостряется как раз на расстоянии многих лет, поскольку смотришь свежим взглядом и способен разглядеть нечто, прежде не привлекавшее внимание. Вот два момента, которые я как бы вспомнил, которые мне раньше не казались важными или интересными.

Во-первых, причину вторичной порки я счел достаточной и справедливой. Получить после порки еще одну, и посильней, за то, что имел глупость выхваляться равнодушием к наказанию, — что естественней? Боги ревнивы, и когда вам повезло, нечего это демонстрировать.

Во-вторых, я безоговорочно признал свою преступную вину за

сломанный об мою спину стек. Помнится, как при виде упавшей на ковер резной костяной рукоятки я ощутил себя невежей-олухом, сгубившим драгоценную вещь. Да, это я её сломал — Самбо так крикнул мне, и я был с ним согласен. И то признание себя виновным лет тридцать тихо пролежало на дне памяти.

Многовато уже про мое детское п***и***санье в постели. Но еще примечательный штрих. Писаться-то по ночам я перестал. Ну, разок потом, может, и случилось, и опять хорошенько мне досталось, однако же беда ушла. Так что, возможно, варварский метод результативен, хотя уж очень, очень дорого обходится.

2

Школа св. Киприана, будучи заведением престижным и недешевым, всячески стремилась увеличить свой престиж (и плату за учение, надо думать). Закрытая снобистская школа, она имела особые связи с Харроу, а в мое время все чаще удавалось переправлять выпускников и в Итон[3]. Большинство учеников являлись сынками богатых родителей, не то чтобы аристократов, а богатеев из тех, что обитают в шикарных виллах Борнмута, Ричмонда[4], имеют дворецких и лимузины, но не поместья. Было среди нас несколько экзотических персон: мальчики из Южной Америки — чада аргентинских мясных баронов, парочка россиян, даже сиамский принц или тот, кого экспонировали в звании принца.

Амбиции Самбо утолялись по двум направлениям: привлечение отпрысков титулованных семейств и натаскивание школяров на выигрыш стипендий для учебы в самых элитных колледжах вплоть до Итона. Тут Самбо не ленился — при мне заполучил двоих потомков настоящей английской знати. Запомнился один из них: чахлый заморыш, белесенький, подслеповатый, с длинным сопливым носом, на кончике которого дрожала капля. В светских беседах Самбо никогда не забывал упомянуть титулы своих знатных учеников и поначалу даже к ним самим адресовался «лорд Такой-то». Излишне упоминать, что к их особам всегда умело привлекалось внимание гостей на показах див-

[3] В Итонском, самом знаменитым колледже Великобритании по традиции обучаются наследники королевского престола, почти столь же авторитетны упоминаемые в тексте старинные колледжи Харроу, Веллингтон, Винчестер, примыкающий к этому списку колледж в Аппингеме .

[4] Курортные города на южном побережье Англии.

ных школьных красот. Помнится также эпизод: несчастный белесый дохлячок поперхнулся за ужином, поток соплей хлынул прямо в тарелку – жуть! Любого другого, обозвав свинёнышом, немедленно бы выставили вон. Но Флип и Самбо только обменялись улыбками типа «ах, дети есть дети!».

К очень богатым мальчикам весьма откровенно проявлялось благоволение. В закрытых школах еще веяло духом викторианских «частных академий», и когда я читал у Теккерея о тех старинных заведениях с учениками «на особом положении», многое показалось мне знакомым. Богатым мальчикам между завтраком и ленчем давали молоко с печеньем, им раза два в неделю полагались уроки верховой езды, Флип матерински опекала их и ласково звала по имени, а главное, их не пороли никогда. Сомневаюсь, чтобы кроме южноамериканцев, чьих далеких заокеанских родителей можно было не опасаться, наш директор когда-нибудь решился высечь ученика, отец которого имел больше двух тысяч годовых. Порой, однако, Самбо шел на финансовые жертвы во имя «престижа» школы. Время от времени он соглашался по льготному, значительно сниженному тарифу взять мальчика, в котором брезжил шанс выиграть стипендию благородного колледжа. Именно так я и попал в стены Киприана, по-другому моим родителям не потянуть бы тамошних расценок[5].

Свою функцию ученика с мизерной оплатой я долго не осознавал. Лишь на четвертый год, мне было уже одиннадцать, Самбо и Флип вправили мне мозги. В начальных классах меня протерли на обычных учебных жерновах, затем, когда пошла долбежка греческого языка (латынь изучалась с восьми лет, греческий – с десяти), перевели в группу вероятных стипендиатов – постигать филологическую классику под руководством самого директора. Тут года два-три тебя, словно гуся к Рождеству, активно и расчетливо напичкивали знаниями. И что за знания! Само по себе нехорошо, если вся будущность способного подростка зависит от оценок в конкурсе, но стократ хуже, когда подготовка для Итона, Винчестера ведется исключительно ради оценки. Нас в Киприане неприкрыто обучали хитрым трюкам. Учили тем фокусам, которые в перспективе могли бы впечатлить экспертов, убедить их в твоей гигантской (фиктивной, разумеется) учености, а лишним тебе голову не забивали. Предметы с позиции грядущей экспертизы малоценные, вроде какой-нибудь географии, почти игнорировались. Математикой, если тебя натаскивали на «классику», тоже пренебрегали, интерес к естественным наукам вообще презирался, и даже рекомендации по внеклассному чтению давались с прицелом на успехи в «английском письме». Но и главные дисциплины, латынь и греческий, преподавались специфически – для показухи. Мы никогда, например, не прочли ни единого полного текста античных авторов, только короткие отрывки, выбранные потому, что их вероятнее всего могли предложить экзаменаторы на испытаниях по «чтению с листа». Чуть не весь последний тренировочный год мы усердно изучали работы уже состоявшихся стипендиатов. У Самбо имелись кипы этих работ, заслуживших одобрение высочайших благородных колледжей.

Но возмутительней всего велось преподавание истории.

Существовала в те годы чушь под названием «Историческая премия Харроу», в соревновании за которую сражались многие школы. Наша, св. Киприана, традиционно брала приз[6], и как иначе, если мы вызубривали все ответы на вопросы, неизменные от основания Харроу и число коих отнюдь не было бесконечным. Довольно идиотские вопросы, на которые требовалось выстреливать мгновенным залпом. Кто ограбил индийских княгинь? Кому отрубили голову в лодке? Кто застиг вигов за купанием и украл их одежду? На таком уровне преподносилась нам история. Бессвязный набор фактов: неведомых и весьма слабо проясненных учителем событий с подвязанными к ним звонкими фразами. Дизраэли установил почетный мир – Клайв был поражен его выдержкой – Питт призвал Новый Свет восстановить добрые отношения со Старым... И конечно же даты, и техника запоминания. (Известно ли вам, например, что речение «Старый болван лев норовит у мыши стащить трубку, хочет хозяин этот любую букашку ткнуть башмаком» начальными буквами шифрует места сражений в войне Алой и Белой розы?[7]). Флип, специалистка по вершинам исторического процесса, упивалась подобными штучками. Памятны наши вакханалии, когда сидевшие в классе мальчишки подпрыгивали от нетерпения выкрикнуть правильный ответ, не испытывая при этом ни малейшего интереса к покрытому тайной смыслу называемых событий.

– 1587?

– Варфоломеевская ночь!

[5] По словам Оруэлла, за него платили ровно половину суммы, взимаемой в школе св. Киприана.

[6] Этот приз значится и в перечне индивидуальных школьных успехов Оруэлла.

[7] Имеются в виду сражения: Сент-Олбанс, Блор Хит, Ладфорд Бридж, Нортхэмптон, Уэйкфилд, Мортимерс Кросс, Сент-Олбанс (вторично), Таутон, Хеджли Мур, Хексхэм, Эджкот, Лузкот филд, Барнет, Тьюксбери, Босворт, Стоук.

– 1707?

– Смерть падишаха Аурангзеба!

– 1713?

– Утрехтский договор!

– 1773?

– Бостонское чаепитие!

– 1520?

Со всех скамей: «О, мдэм, пожалуйста, меня спросите!.. Мдэм, можно я скажу?.. Меня, меня, пожалуйста!..

– Ну? 1520?

– Долина золотой парчи!

И т.д.

На истории и прочих второстепенных уроках мы неплохо проводили время. Зато на классике потели вовсю. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никогда потом так тяжко не трудился, хотя тогда усилия казались далеко не стоящими одобрения. Мы сидели вокруг длинного полированного стола из какой-то очень светлой, очень ценной древесины, а Самбо нас ругал, терзал, подхлестывал, порой вышучивал, крайне редко хвалил – теребил и теребил наши мозги, поддерживая нужный градус концентрации, подобно тому как засыпающего человека иголками принуждают бодрствовать.

– Трудись, лодырь! Работай, трутень бестолковый! Насквозь бездельник. Объедаешься ты, вот что. В столовой лопать как волк, а сюда подремать? Давай-давай, включайся! Ничего не соображаешь. Мозгами надо шевелить!

Самбо стучал по нашим лбам своим карандашом в серебряном футляре (мне этот карандаш запомнился огромным, размером с банан, но он действительно годился здоровенные шишки набивать) или драл за виски, а то нагнется и кулаком по щиколотке. Случались дни, когда всё шло вкривь-вкось, и тогда следовало: «Ясно! Я понял, чего ты добиваешься. Ладно, оболтус, вставай, ступай в кабинет». И в кабинете вжик-вжик-вжик, и возвращаешься исполосованный до крови, со жгучей болью – вместо охотничьего стека Самбо завел себе более продуктивную гибкую трость из ротанга, – и вновь садишься работать. Происходило подобное не так уж часто, но не раз в мои дни ученик, получивший приговор на середине латинской цитаты, уводился для порки и, вернувшись, дописывал начатый фрагмент, и ничего. Напрасно полагают, что метод порки не работает. Отлично он работает по специальному назначению. Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. Сами ребята верили в эффективность метода. Был у нас парнишка, Бичем, мозгами не удался, но, видимо, остро нуждался в стипендии. Самбо хлестал его так, что конь бы рухнул. Бичем ездил экзаменоваться в Аппингем, приехал обратно с сознанием явного провала, через пару дней опять был жестко выпорот за нерадивость. «Эх, перед экзаменом-то вот меня не высекли!» – горько сетовал Бичем. Резюме звучало не слишком достойно, но я паренька понимал.

Тренировали кандидатов в стипендиаты по-разному. Сынков богачей, сполна вносивших плату, Самбо погонял отеческим манером, шутливо тыча карандашом под ребра, изредка постукивая по лбу, но за волосы не таскал и не порол. Страдали умники из бедных. Их мозги были золотой жилой глубокого залегания, тут золотишко добывалось способом выколачивания. Задолго до того как мне открылась финансовая специфика моего положения у Самбо, я ощутил, что стою ниже других ребят. Школяры делились на три касты: высшее меньшинство из крупных богачей и знати, срединное большинство из буржуазных состоятельных семейств, а на дне кучка лиц вроде меня: дети священников, чиновников колоний, вдов со скромной пенсией за покойного мужа и т.п. Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий» типа стрельбы или столярки, унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Мне, например, так и не пришлось заиметь собственную крикетную биту – «твои родители не могут себе этого позволить» (реплика, язвившая меня на протяжении всех школьных лет). В Киприане нельзя было оставлять при себе взятые из дома деньги, их сразу по приезде следовало сдать, а потом разрешалось понемногу брать и тратить под надзором педагогов. Мне и ученикам подобного разряда всегда препятствовали в покупках какой-нибудь модели аэроплана или иной дорогой игрушки, даже если личный кредит позволял. Флип вообще настойчиво стремилась привить нам на будущее подобающую беднякам скромность запросов: «Ты уверен, что такому как ты мальчику необходима эта вещь?». Помню как она внушала одному из нас – выговаривала перед всей школой: «Не пора ли внимательнее обращаться с деньгами? Семья у тебя небогатая. Ты должен тратить разумно, не заноситься!». У Флип было четко расписано, кому и сколько выдавать еженедельно на карманные расходы, позволявшие ученикам побаловать себя сластями. Миллионщикам вручалось по шесть пенсов, остальным ребятам – по три, лишь мне и еще нескольким – всего по два. Мои родители об этом не просили, расход в лишний пенс их, я

полагаю, не разорил бы, – это была метка статуса. Однако горше всего дело обстояло с праздничным тортом. Каждому мальчику в день рождения преподносился огромный кремовый торт со свечами. Лакомились все участники общего чаепития, стоимость пиршества приплюсовывалась к счету за учебу. И на такой расход мои родители пошли бы довольно легко, но меня школьным тортом не поздравляли. И год за годом, не решаясь выяснить вопрос, я продолжал отчаянно надеться, что торт мне будет. Пару раз даже сгоряча объявлял соученикам насчет предстоящего угощения. Потом наступал час пить чай – и чай был, а вот торта не было, что не добавило мне популярности.

Очень рано меня придавили мыслью, что нет никаких шансов на достойное будущее, если я не выиграю стипендию колледжа. Либо получу стипендию, либо с четырнадцати лет стану, как говаривал Самбо, «нищей конторской шушерой». При той моей ситуации не поверить было невозможно. В Киприане само собой разумелось, что, не попав в «хороший» колледж (а таковыми признавались лишь десятка полтора), ты губишь себя навсегда. Взрослым людям не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы, а дата боя приближалась – тебе двенадцатый год, уже тринадцатый, и вот уже пошел четырнадцатый, роковой! На протяжении двух лет дня не было, чтобы «экзам» (так назывался у нас конкурсный экзамен) не грыз мне душу. Он неизменно присутствовал в моих молитвах, и если в порции курятины мне доставалась дужка грудной косточки или я находил подкову, или отбивал семь поклонов новой луне, или проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякая заработанная удача отдавалась «экзаму». Но, странным образом, одновременно мучили припадки неодолимой лени. Нахлынет тоска от дальнейших трудов, и вдруг упрешься, тупой как баран, перед простейшим переводом. К тому же я совершенно не мог работать на каникулах. Дабы возможные стипендиаты не расслабились, нас и дома, по почте поощряли заданиями от некоего мистера Бэчлора, обросшего бородой и шевелюрой симпатяги, который носил ворсистые пиджаки и жил где-то в городе в типичном холостяцком логове (по стенам сплошь полки с книгами и всё насквозь прокурено). В каникулярное время мистер Бэчлор раз в неделю присылал нам пачки текстов. Но у меня как-то не ладилось. Чистые листы и черный латинский словарь лежали на столе, сознание невыполненного долга отравляло дни отдыха от школы, но как-то было не приступить, и к концу каникул я отправлял мистеру Бэчлору всего полсотни-сотню строк. Несомненно,

тут способствовала удаленность от Самбо с его тростью. Однако и на школьных занятиях временами я охотно поддавался приступам лености и тупости – мне именно хотелось впасть в немилость, я даже её добивался невнятной плаксивой строптивостью, всецело сознавая себя грешником, но неспособным или нежелающим (в этом поди-ка разберись) исправиться. Тогда следовал вызов к Самбо или Флип, и отнюдь не для порки.

Флип вперялась в меня своими зловещими глазами. (Какого, кстати, цвета были эти глаза? Мне помнятся «зеленые», но не бывает у людей зеленых глаз. Вероятно, они были просто карими).

– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? Ну разве не отличная игра с родителями – лентяйничать здесь день за днем, месяц за месяцем? Ты хочешь растерять все свои шансы? А ты ведь знаешь, что родители не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях. Как им отправить тебя в колледж, если ты не выиграешь стипендию? А твоя мама так гордится тобой! Хочешь её огорчить?

– По-моему, он не намерен учиться дальше, – вступал Самбо, обращаясь к Флип и как бы не замечая моего присутствия. – По-моему, он бросил об этом думать. Решил стать нищей конторской шушерой!

У меня уже теснило в груди, щипало в носу, подкатывались слезы. Флип выкладывала козыри:

– И ты считаешь, справедливо так поступать с нами? После всего для тебя сделанного? А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь, правда? – Глаза ее сверлили меня, и хотя она не говорила напрямик, я знал. – Тебя держали в школе столько лет, тебя учили, даже в каникулы с тобой занимался мистер Бэчлор. Нам не хотелось бы тебя отчислить, но мы не можем держать в школе мальчика, который семестр за семестром только питается в нашей столовой. Не думаю, что ты пошел верной тропой. Как тебе кажется?

На все вопросы я умел лишь мямлить «да, мдэм», «нет, мдэм». С очевидностью представало, что тропа, которой я пошел, была неверной. И копившиеся слезы неудержимо брызгали, и кап-кап по щекам...

Флип никогда прямо не называла меня нахлебником, но все эти туманные «мы столько для тебя сделали» просто душу вытягивали. Самбо, не рвавшийся завоевать симпатию учеников, говорил жестче, хотя со свойственной ему высокопарностью. Излюбленная его фраза в данном контексте: «Не впрок тебе мои щедроты!». Приходилось слышать эту сентенцию и в такт свистевшим ударам трости. Должен

сказать, подобные беседы велись со мной нечасто и лишь единожды в присутствии других ребят. Публично мне напомнили, что мои бедные родители «не могут себе позволить», когда уже не оставалось других дисциплинарных мер. Последний решающий аргумент был применен как орудие казни, когда я впрямь разленился до крайности.

Чтобы понять силу воздействия этаких пыток на ребёнка чуть старше десяти, надо учесть, что у подростка еще не развито чувство соразмерности, сообразности. У него может быть в избытке эгоизма и бунтарства, но не накоплен опыт для уверенных собственных выводов. В целом, он примет то, что ему сказано, поверит самым фантастичным представлениям о знаниях и правах окружающих взрослых. Вот пример. Я упоминал, что в Киприане не разрешалось держать свои деньги при себе. Однако все же удавалось утаить пару шиллингов, и порой я украдкой тешился покупкой сластей, которые прятал в листьях плюша у стены игровой площадки. Посланный как-то с поручением в город, я навестил кондитерскую лавку в миле от школы и купил кулек конфет. Уже на выходе мне бросился в глаза хитроватого вида мужичок, стоявший напротив лавки и что-то уж чересчур пристально глядевший на мою школьную фуражку. Меня продрало ужасом. Сомнений не возникло, кто это — подосланный Самбо шпион! Изображая безразличие, я отвернулся, а затем, словно ноги сами понесли, кинулся, спотыкаясь, прочь. Забежав за угол, я принудил себя идти шагом: бег обличал во мне преступника, а ведь шпионы, разумеется, шныряли по всему городу. До самой ночи и назавтра я ждал вызова на допрос, был весьма удивлен, что за мной не пришли. Ничуть не показалось странным, что в распоряжении директора частной школы армия информаторов, притом конечно же бесплатных. Мне думалось, любой взрослый из школы и вне ее готов трудиться добровольно, выслеживая юных нарушителей правил. Самбо всесилен — у него, естественно, везде агенты. А в этом эпизоде мне было уже никак не меньше двенадцати лет.

Я ненавидел Флип и Самбо какой-то стыдящейся, мучившей мою совесть ненавистью, но в голову не приходило усомниться в их вердиктах. Раз они говорили, что или стипендия колледжа, или судьба нищей конторской шушеры, стало быть, только так и не иначе. А главное, я верил их словам о безмерных благодеяниях. Теперь-то ясно, что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов в виде престижа. Если бы я вдруг «спёкся», как случалось с перспективными пареньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли. Когда в положенное время я смог-таки

добыть стипендии, Самбо наверняка использовал сей факт в своей рекламе на полную катушку.

Детям не осознать, что школа это, в первую очередь, предприятие коммерческое. Ребенок полагает целью школы обучение и делит строгих педагогов на воспитателей доброжелательных или глумливых. Самбо и Флип желали мне добра, и пусть их доброе отношение ко мне включало порку, унижение, упреки — все это было мне во благо, спасая от затхлой конторы. Такую версию мне предложили, я уверовал. И значит, долг требовал неустанно благодарить учителей. Но не испытывал я к Флип и Самбо благодарности. Напротив, страшно ненавидел их обоих. Ни контролировать свои эмоции, ни спрятать чувства от себя я был не в силах. А это ведь великий грех — возненавидеть благодетелей? Так мне внушали, так верил я сам. Даже бунтующий ребенок признает моральный кодекс, представленный ему старшими. С восьмилетнего возраста, если не раньше, сознание грешности всегда витало рядом. Попытки выказать бесчувственное непокорство тонкой пленкой прикрывали бездну смятения и стыда. Сквозь все детские годы я пронес убеждение в том, что плох, что даром трачу время, гублю свои способности, что чудовищно туп, злобен, неблагодарен — и беспросветно, ибо жить мне довелось среди законов абсолютных, как закон всемирного тяготения, но с личной невозможностью им соответствовать.

3

Ни одно из стремящихся к правдивости воспоминаний о школьном детстве не окажется абсолютно черным.

В массе моих мрачных впечатлений от лет в Киприане помнится кое-что светлое. Бывали летом после полудня чудесные походы через дюны к деревням Бёрлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек и напоследок перед сном нырнуть в бассейн. А еще радость летом проснуться до побудки — комната залита солнцем, все спят — и часок без помехи почитать любимых авторов (у меня это были Йен Хэй, Теккерей, Киплинг, Уэллс...). А еще крикет, совершенно мне не дававшийся, но лет до восемнадцати страстно и безответно мной обожаемый. А еще удовольствие держать

у себя красивых гусениц: шелковистая зеленовато-пурпурная гарпия, прозрачно-зеленый тополевый бражник, сиреневый бражник размером со средний палец – отличные экземпляры можно было нелегально приобрести на шестипенсовик в городской лавочке. Или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов, если повезет временно сбежать от педагога, который «вывел на прогулку». Обычное дело на этих школьных прогулках: только обнаружишь что-то занятное, тебя с криком отдергивают, будто пса на поводке, что формирует у многих детей стойкое убеждение в недостижимости того, чего хотелось бы больше всего на свете.

Крайне редко, может, лишь разок за лето, удавалось вообще вырваться из казарменной атмосферы школы, когда Брауну, рядовому преподавателю, разрешали взять с собой в поход пару мальчишек, жаждавших поохотиться на бабочек. Седой, с лицом похожим на спелую землянику, Браун замечательно учил естествознанию, сооружая модели и макеты, используя волшебный фонарь и прочее в том же роде. Из всех взрослых как-либо связанных со школой только он и мистер Бэчлор не вызывали у меня страха или неприязни. Однажды Браун в своей комнате по секрету показал мне хранившийся в коробке у него под кроватью револьвер с перламутровой рукояткой («шестизарядный», как он пояснил). О, счастье тех редчайших экспедиций! Поездом по узкоколейке за две-три мили, день беготни туда-сюда с большими зелеными сачками, прелесть парящей над травой огромной стрекозы, острый запах дурманящего яда из аптечного пузырька, а к вечеру в зале паба чай со щедрыми ломтями бледного сливочного торта! Суть наслаждения составляла железнодорожная поездка, магически перемещавшая тебя в мир по ту сторону от школы.

Флип, что характерно, не одобряла этих, хотя и дозволяемых, экспедиций. «Собрался малыш крошек-бабочек ловить?» – издевательски пищала она нарочито детским голоском. Интерес к природе (на ее языке, вероятно, «страсть к букашкам») она полагала ребячеством, для подростка смешным и нелепым. Кроме того, здесь чудилось нечто презренное, вызывавшее ассоциации с неуклюжими в спорте очкариками, и это было бесполезно для конкурсных экзаменов, даже вредно, ибо имело привкус точных наук, угрожавших классическому образованию. Флип требовалось немало пересилить себя, чтобы согласиться с предложенной Брауном поездкой. И как я боялся издевок насчет «крошек-бабочек»! Однако Браун, работавший в школе от её основания и завоевавший себе определенную независимость, с владыкой Самбо был

накоротке, а на Флип обращал мало внимания. Если случалось обоим руководителям уехать, он замещал директора и вместо утреннего чтения в церкви текстов из Библии читал нам истории из апокрифов.

Большинство моих приятных воспоминаний о детстве и юности так или иначе связано с животными. И что касается лет пребывания в Киприане, все хорошее видится непременно в летнюю пору. Зимой вечно течет из носа, окоченевшими пальцами не застегнуть пуговицы на рубашке (особенная мука по воскресеньям, когда надо нацеплять «итонский» широкий крахмальный воротник) и ежедневный футбольный кошмар – холод, слякоть, облепленный грязью сальный мяч прямо в лицо, избитые коленки, пинающие бутсы старшеклассников. Беда была еще в том, что в зимнее (по крайней мере – учебное) время мне почти постоянно нездоровилось. Много лет спустя выяснилось, что с бронхами был непорядок и одно легкое повреждено. Не только хронический кашель донимал, но бегать было невмоготу. В те годы, однако, «одышливость» или «грудную слабость», как тогда называлось, к болезням не причисляли, полагая изъяном не физическим, а моральным, возникающим вследствие обжорства. «Сипишь как старая гармонь, – ворчал Самбо, стоя за моим стулом. – Живот чересчур набиваешь, вот что!». Кашель мой именовали «желудочным», что звучало гадко и предосудительно. Лекарством предлагался бег, который при хорошем темпе и достаточно длинной дистанции отлично «прочищает грудь».

Не говоря о главных тяготах, любопытна степень бытовой скудости и запущенности, повсеместно присущих тогдашним дорогим частным школам. Почти как во времена Теккерея считалось нормальным, что маленький ученик это жалкий сопливец – лицо чумазое, руки потрескались, ногти обгрызаны, в кармане жуткая мокрая мерзость (бывший носовой платок) и зад частенько синий от побоев. В последние дни каникул ложившийся на сердце груз утяжелялся свинцовой тоской от перспективы школьного обихода. Характерное воспоминание о Киприане – поразившая на первом тамошнем ночлеге жесткость матраса, будто набитого камнями. Попав в столь дорогую школу, я поднялся по социальной лестнице, но уровень комфорта в Киприане был много ниже, чем у нас в доме и даже в домах зажиточных пролетарских семейств. Ни до, ни после мне не доводилось видеть бутербродов с таким прозрачным слоем масла или джема. Может, мне кажется, что мы недоедали, однако помнится, как далеко нас заводила страсть воровать еду. Помню себя крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, на каждом

шагу останавливаясь и обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями, привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба. Рядовые учителя столовались вместе с нами, но еда у них была получше, и мы не упускали шанса подтибрить с их грязных тарелок корочки ветчины, остатки жареной картошки.

Как и во всем ином, я не увидел тут коммерческих расчетов. В целом, мнение Самбо о патологическом и требующем укрощения аппетите растущих мальчишек я принимал. Нам часто повторялась сентенция насчет того, что здоров тот, кто встает из-за стола таким же голодным, как садился. Всего лишь поколением раньше было в обычае перед обедом потчевать школяров порцией пресного пудинга с почечным салом, откровенно ставя целью «перебить аппетит». Вероятно, в государственных школах с официально установленным ученическим рационом недокорм был менее вопиющим, нежели в дорогих частных интернатах, где руководство позволяло (и явно предполагало) покупку учениками дополнительной снеди. В некоторых заведениях буквально нельзя было наесться досыта, если самому себе регулярно не покупать яиц, сардин, сосисок и прочего – и если, разумеется, иметь на это деньги от родителей. Не знаю, как в школе Итона, но в Итонском колледже, к примеру, воспитанники после полуденной трапезы плотной еды уже не получали. Только чаепитие, а на убогий ужин иногда суп, иногда жареная рыба, чаще же просто хлеб с сыром и стакан воды. Съездив повидать в Итоне старшего сына, Самбо вернулся, полный снобистского экстаза от роскошного житья студентов: «У них на ужин жареная рыба! – захлебывался он, сияя щекастой физиономией. – Где в мире юношество может получить подобное?». Ха, жареная рыба! Стандартный ужин в беднейших рабочих семьях. Ситуация с кормлением в дешевых частных интернатах была, конечно, еще хуже. Из глубин очень ранней моей памяти всплывает картинка: за столом в приготовительной школе сидят ребята (наверное, дети лавочников или фермеров) и едят вареные потроха.

Пишущему о своем детстве следует остерегаться преувеличений и жалости к себе. Не утверждаю, что я был страдальцем, что Киприан был копией Дотбойс-Холла[8]. Но я солгал бы, не сказав об отвращении, заметной долей присутствовавшим в моих чувствах. Многое в нашей несытной школьной жизни вспоминается с физической брезгливостью. Стоит, закрыв глаза, шепнуть себе «школа», и сразу передо мной плешь

[8] Отвратительно жестокая частная школа в романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры, асфальтовая площадка перед главным зданием и позади него молельня из грубых, занозистых сосновых досок. И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт. Без предварительного исследования приступать к поеданию овсянки было опасно. А гнусноватая вода в бассейне длиной футов пятнадцать – в нем по утрам плескалась вся школа, и сомневаюсь, что воду там меняли очень часто. А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром, а редкие зимние визиты в местную баню, куда мутную морскую воду накачивали прямо с пляжа, возле кромки которого я как-то видел плавающее на волнах человеческое дерьмо. А запах пота в раздевалке возле не вычищенных от сальной грязи ванн, уступающих разве что шеренге обшарпанных туалетных кабинок с дверями без каких-либо задвижек, так что, едва сядешь, кто-нибудь к тебе непременно вломится. Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, грязных полотенец, достаточно ощутимо веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с окаменевшими, навек застрявшим между зубцов остатками жилистого бараньего рагу. И грохот дверей в уборных, и дребезжание дортуарных ночных горшков.

Это правда, что я существо не стадное, а такие стороны жизни, как клозет или сопливый носовой платок особенно навязчивы, когда множество людей толчется на небольшом пространстве. Так же плохо в армии и еще хуже, без сомнения, в тюрьме. К тому же отрочество – возраст нетерпимости. Пока не научишься различать, не закалишься (процесс этот у человека, говорят, идет лет с семи до восемнадцати), всё кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой. Но вряд ли я сгущаю краски, вспоминая пренебрежение, с каким в школе относились к здоровью и гигиене, несмотря на о-го-го! по поводу свежего воздуха, холодных обливаний и спортивного тренажа. Обычным делом были многодневные запоры у школьников. Трудно ведь вдохновиться на очистку кишечника, если слабительным предлагается касторовое масло либо почти столь же ужасный лакричный порошок. Или вот бассейн. Нырять в него нам полагалось каждое утро, но некоторые из ребят увиливали чуть не по неделе, просто скрываясь, когда колокольчик

звал купаться, или ловко таясь за спинами толпящихся у края бассейна, а затем смачивая волосы грязной водой с пола. Ребенок восьми-девяти лет не всегда будет держать себя в чистоте, если за ним не присматривать. Незадолго до моего окончания школы у нас появился новичок по фамилии Хэйзл, хорошенький мамочкин любимчик, и первое, что мне бросилось в глаза, – жемчужная белизна его зубов. К концу семестра эти жемчужины прибрели невероятный оттенок зелени. Видно, за все время никто не удосужился проследить, чистит ли мальчик зубы.

Но, конечно, разница между домом и школой была гораздо больше ощущений чисто физических. Удар, в первую же ночь нанесенный мне школьным каменным матрасом, сотряс чувства, ясно и грозно сообщив: «Вот где тебе теперь придется выживать!». Родной дом может быть весьма далек от совершенства, однако там все же правит любовь, а не страх, вынуждающий держаться в постоянном опасливом напряжении. В восемь лет тебя вдруг вытряхнули из теплого гнезда, швырнув в мир силы, лжи и тайны, как золотую рыбку в цистерну со щуками. Против издевательств любого рода у тебя никакого оружия. Единственный способ защиты – ябедничать, что за исключением нескольких четко установленных случаев непростительная подлость. А написать домой и попросить забрать тебя – вообще немыслимо, ибо это означало бы признать себя жалким и не имеющим успеха, а на это мальчишка пойти не может. Юные жители страны Едгин[9] полагали несчастье позором, который надо всячески скрывать. Возможно, в школе было допустимо пожаловаться родителям на скверное питание, незаслуженную порку или иную жестокость со стороны учителей (но не товарищей!). Тот факт, что Самбо никогда не порол богатых учеников, свидетельствует о наличии подобных жалоб. Но в моих специфических обстоятельствах я ни за что не обратился бы к родителям. Задолго до того как я сообразил насчет льготного тарифа, мне было понятно, что отец с матерью чем-то обязаны директору, а стало быть, им невозможно меня от него защитить. Я уже говорил, что в Киприане у меня не было собственной крикетной биты по причине «твои родители не могут себе этого позволить». Однажды на каникулах, благодаря брошенному вскользь замечанию, выяснилось, что десять шиллингов для покупки биты мои родители директору дали. Тем не менее заветной биты я в школе не получил. И ни слова не сказал об этом дома, и уж конечно не предъявил

[9] «Едгин» (в оригинале «Erewhon») – представляющее анаграмму слова «нигде» название сатирической утопии Сэмюэля Батлера. В фантастической стране Едгин, пародии на викторианскую Англию, преступно было оказаться больным или несчастным.

претензий Самбо. Как я мог? Я жил на его иждивении, и десять шиллингов были каплей в море моего неоплатного долга. Теперь я полагаю крайне маловероятным, что директор присвоил мои деньги, – наверняка просто запамятовал эту мелочь. Но я-то тогда счёл, что сумма им присвоена и что он, коли захотелось, имел право так поступить.

Насколько трудна для детей личная независимость, демонстрирует наше поведение с Флип. Думаю, справедливо будет сказать, что каждый из воспитанников её ненавидел и боялся. Однако все мы перед ней заискивали самым презренным образом, изощряясь в выражении какой-то страдательной преданности. Хотя школьная дисциплина зависела от неё больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в неукоснительную справедливость. Она была откровенно капризна. Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью или даже похвалит: «Каков храбрец!». Бывали дни, когда все холодели от её словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров («выиграешь премию Харроу по истории, куплю тебе футляр для фотокамеры!»). Иной раз даже посадит любимцев в свой «форд» и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными. Флип у меня в голове как-то сливалась с образом королевы Елизаветы, о чьих романах с Лестером, Эссексом и Рэйли я был оповещен уже в раннем возрасте. Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал «фавор» – «я сейчас в фаворе», «нынче я не в фаворе». За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах её улыбок, когда она называла меня «старина» и по имени и разрешала брать книги из её личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел «Ярмарку тщеславия»[10]. Высшим уровнем фавора бывало приглашение служить у стола на воскресных ужинах Флип и Самбо. Тут, конечно, тебе светило, убирая посуду, поживиться остатками с тарелок, но прежде всего, холуйское счастье вытянуться за стульями гостей и почтительно кидаться вперед, если гость чего-нибудь пожелает. Всякий, имевший возможность лебезить, лебезил, и

[10] Роман Теккерея.

от первой улыбки ненависть превращалась в раболепное обожание. Я всегда бывал чрезвычайно горд, когда мне удавалось заставить Флип рассмеяться. Я даже по её велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни.

Хочу прояснить и подчеркнуть – я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия. Настолько, что однажды, под конец моей учёбы в Киприане, явился к Брауну с секретным донесением об эпизоде, подозрительно намекавшем на гомосексуализм. Насчет гомосексуализма я был весьма несведущ, но я знал, что эпизод произошел, что это плохо и что здесь именно та ситуация, в которой донести правильно. Одобрительное учительское «молодчина!» вогнало в жуткий стыд.

Перед Флип ты оказывался беспомощно податливым, как змея перед заклинателем змей. В ее довольно однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. «Вперед, парень!» – и шквал энтузиазма взмывал до небес. Или «не строй из себя дурачка!» (вариант: «как трогательно, правда?) – и полное ощущение себя дебилом. Или «не слишком-то это справедливо с твоей стороны, скажи?» – и к глазам подступали слезы. И все же, все же в глубине души таилась неизменная твоя сущность, знавшая правду о тебе – хихикал ты или хныкал, или трепетал от благодарности за скудную милость, единственным подлинным чувством была ненависть.

4

На пороге жизненного пути мне открылось, что ты можешь сотворить зло вопреки своей воле; вскоре я узнал, что можно совершить дурной поступок, не понимая ни сути поступка, ни того, почему он дурной. Некоторые грехи вам не объясняют ввиду их эфемерности, относительно других не дают внятных разъяснений, поскольку это грехи слишком ужасные. Например, секс, всегда тлевший на глубине и вдруг, мне тогда было лет двенадцать, взорвавшийся громким скандалом.

Есть приготовительные школы, свободные от гомосексуальных проблем, но в Киприан «испорченность» проникла, чему, возможно, поспособствовали южноамериканские воспитанники, созревающие года на два раньше английских ровесников. Что, собственно, произошло, я толком и не знаю, в том возрасте тема меня не увлекала; думаю,

дело касалось групповой мастурбации. Во всяком случае, над нашими головами разразилась буря. Вызовы в суд, допросы, признания, бичевания, покаяния, торжественная лекция, из которой удалось понять лишь то, что существует страшный неискупимый грех, обозначаемый как «скотство» или «свинство». Одного из зачинщиков, приговоренного к исключению мальчика по фамилии Хорн, перед высылкой, по свидетельству очевидцев, секли четверть часа без перерыва. Вопли его слышались даже во дворе. Но все мы были каким-то образом замешаны, чувствовали себя замешанными в преступлении. Вина туманно-дымной пеленой висела в воздухе. Один преподававший у нас кретин, напыщенный брюнет, впоследствии член парламента, собрал старшеклассников в отдельном помещении и произнес речь о Храме Тела.

– Есть ли в вас понимание сокровищницы ваших тел? – сурово вопросил он. – Вы рассуждаете про все эти автомобильные моторы, все эти роллс-ройсы и даймлеры, но существует ли механика, сравнимая с устройством ваших тел? И вы готовы повредить, сломать это устройство – навек сгубить его!

Лектор обвел взглядом аудиторию, мрачный взор черных запавших глаз уперся в меня:

– И вот воспитанник, которому мы верили, кого считали достаточно прилежным и нравственным, становится в ряд наихудших!

Обреченность пронзила мое сердце. Итак, я тоже виновен. Тоже повинен в очевидном, пусть и почти неведомом мне, злодеянии, которое погубит тело и душу, угробит жизнь, неизбежно приведет к самоубийству либо в сумасшедший дом. До той минуты я все-таки надеялся на свою невиновность, и настигшее меня обличение во грехе было, пожалуй, особенно ужасным от незнания того, что же я совершил. Я не принадлежал к тем, кого вызывали, допрашивали и секли; поднявшийся переполох, как мне казалось, не имел ко мне отношения. И суть скандала я тогда плохо понимал, лишь через пару лет до меня полностью дошел сюжет лекции о Храме Тела.

В то время я был существом бесполым, что нормально, во всяком случае, обычно для мальчишек такого возраста, а потому одновременно и знал и не знал так называемые «факты жизни». Лет пяти-шести мне, подобно многим малышам, довелось пройти фазу сексуальности. Друзьями у меня были дети водопроводчика, и порой наши игры содержали некий смутно эротический оттенок. Помню, при игре «в доктора» я ощутил слабый, но, безусловно, приятный трепет, выслушивая дудочкой, изображавшей стетоскоп, живот маленькой девочки. При-

мерно тогда же я по уши влюбился (и никогда потом моя любовь не достигала столь глубокого обожания) в девушку Элси из монастырской школы, куда я ходил. Элси мне виделась взрослой, так что было ей, вероятно, лет пятнадцать. После этого, как часто бывает, всякая сексуальность надолго меня покинула. К двенадцати годам знаний о сексе не прибавилось, а понимание его уменьшилось, поскольку самое существенное – связанное с ним приятное волнение, позабылось. До четырнадцати лет предмет не вызывал интереса, даже помыслить о нем бывало противно. «Факты жизни», почерпнутые в наблюдении животных, создавали представление искаженное и весьма неполное. То, что животные спариваются, и то, что человеческая плоть сродни животным, я знал, но насчет спаривания людей знал как бы нехотя, вспоминая об этом, только когда что-нибудь вроде фразы из Библии заставляло вспомнить. Отсутствие желания не стимулировало любопытство, и я согласен был оставить ряд вопросов без ответа. Так, зная, в принципе, откуда берется в женщине ребенок, я не знал, как он из нее появляется, и не стремился получить разгадку. Мне были известны все грязные словечки, в угрюмом настроении я охотно повторял их про себя, но значения самых крепких слов не знал и узнать не хотел. Абстрактные словеса типа нечестивых заклинаний. В том своем состоянии мне было легко оставаться в глупом неведении относительно любых творившихся вокруг сексуальных злодеяний, не сделавшись мудрее и к моменту, когда грянул скандал. Самое большее, что я смог уловить сквозь невнятно угрожающие тирады Флип, Самбо, прочих воспитателей, – преступление, в котором мы все виновны, как-то связано с половыми органами. Я замечал, не особо интересуясь, что пенис иногда непроизвольно встает (это начинается у мальчиков задолго до появления осознанных сексуальных желаний), теперь я стал склоняться к мысли, что данное телодвижение преступно. Во всяком случае, дело связано с пенисом – таков был мой глубокий вывод. Полагаю, рядом было немало столь же темных юных невежд.

После беседы о Храме Тела (сколько-то дней спустя – скандал, как вспоминается, тянулся несколько дней) мы, дюжина кандидатов в стипендиаты, сидели за длинным полированным столом, служившим для наших занятий под руководством директора. Сидели мы перед потупившей очи Флип. Протяжный отчаянный вопль донесся из комнаты этажом выше. Там пороли, исправляли поркой Рональда, маленького, не старше десяти лет ученика, каким-то образом причастного к злодейству. Обшарив наши лица, глаза Флип остановились на мне.

– Видите... – сказала она.

Не поручусь, что она произнесла: «Видите, что вы наделали», но интонация была ясна. Мы со стыдом понурили головы. Конечно, наша вина – как-то уж мы умудрились сбить с пути бедного Рональда, довести его до мучений и гибели. Взгляд Флип переместился на лицо другого паренька, звали его Хис. Тридцать лет прошло, не помню, процитировала она стих по памяти или достала Библию и велела Хису прочесть текст: «...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской»[11].

Ужас! Рональд как раз был одним из малых сих, а мы его соблазнили. Лучше бы это нам повесили на шею мельничный жернов на шею, нас бы потопили во глубине морской.

– А думал ли ты, Хис, задумывался ли, что это значит? – печально молвила Флип.

Хис не выдержал, разревелся.

Уже упоминавшийся мной Бичем тоже заплатил жгучим стыдом, уличенный в «черных кругах вокруг глаз».

– Бичем, ты в зеркало смотришься? – пытала Флип. – Тебе не стыдно? Ты думаешь, никто не понимает, отчего у тебя вокруг глаз черные круги?

И новое терзание: а у меня не почернело вокруг глаз? Насчет преступного и явного для детективов симптома мастурбаций я был не в курсе, хотя догадывался, что здесь признак порока, твоей порочности. И многократно, еще не постигнув смысла жутких стигматов, с тревогой вглядывался в свое отражение, страшась увидеть печать грешной тайны на собственном лице.

Все эти ужасы периодически накатывали, не колебля моей, так сказать, официальной правоверности. Истина о поджидающем финале с психушкой либо петлей самоубийцы пугала уже менее остро, но оставалась истиной. Примерно через полгода после скандала мне довелось снова увидеть Хорна, зачинщика, которого, жестоко выпоров, изгнали из школы. Сын весьма небогатых родителей, Хорн был в числе парий, что, несомненно, добавило Самбо поводов столь немилосердно обойтись с этим учеником. Изгнанный Хорн поступил в Истборн-колледж, небольшой местный частный интернат, глубоко презираемый в Киприане как заведение «не совсем». Лишь очень немногие наши воспи-

[11] Мф. 18:6

танники имели несчастье там оказаться, и директор всегда упоминал о них с какой-то брезгливой жалостью. Их участь, разумеется, была предрешена, им уже не светило ничего кроме места убогого конторщика. Мне Хорн виделся бедолагой, в тринадцать лет утратившим надежду на сколько-нибудь приличное будущее, — конченным и морально, и социально, и физически. Родители Хорна, думал я, не могли отправить опозоренного сына в заведение получше Истборн-колледжа, ведь ни в один «хороший» колледж его не взяли бы.

И вот нам, выведенным на прогулку, в городе повстречался Хорн. Выглядел он абсолютно нормально. Вполне пригожий темноволосый крепыш. Вроде даже повеселел: на лице его, прежде довольно бледном, цвел румянец, и его, похоже, ничуть не смутила встреча с нами. Он явно не стыдился ни своего изгнания, ни Истборн-колледжа. Если что-то и выражал его брошенный на нас взгляд, так это радость избавления от Киприана. Впрочем, встреча не особо меня впечатлила. Вывода из того, что погибший телом и духом Хорн демонстрировал здоровье и счастье, не последовало. По-прежнему я верил сексуальным мифам, внушенным мне усердием таких наставников, как Флип и Самбо. Секс по-прежнему был полон страшных таинственных угроз. В любое утро черные круги могли возникнуть вокруг твоих глаз и объявить, что ты среди погибших. А вместе с тем, надо заметить, это уже не слишком трогало. Подобные противоречия легко сосуществуют в детской голове благодаря жизнеспособности ребенка. Ребенок принимает — как он может не принять? — всякую чушь из взрослых авторитетных уст, однако юный организм и сладость жить рассказывают другую историю. Это как с адом, в который я благочестиво верил лет до четырнадцати. Ад есть, и красочная проповедь о преисподней может до обморока напугать, но ужас почему-то быстро тает. Пламя геенны огненной горит по-настоящему, жжет так же больно, как лизнувший твою руку язычок свечки, и, однако, по большей части ты способен созерцать адское пламя спокойно и бестрепетно.

5

Провозглашенные кодексом, которому учили в Киприане, религиозные, моральные, социальные, интеллектуальные параграфы на практике противоречили друг другу. Давал о себе знать конфликт между правившем в XIX веке идеалом воздержанности и захватившем власть

в начале XX-го идеалом роскоши и снобизма. На одной стороне церковное христианство, пуританство, упорство, трудолюбие, строгость к себе, трепет перед учёными умами — на другой стороне неприязнь к «умникам», страсть к развлечениям, презрение к рабочим и иностранцам, невротический страх перед бедностью, и, главное, уверенность в том, что важнее всего деньги и привилегии, причем крайне желательно не заработанные, но полученные по наследству. Тебя обязывали быть христианином и в то же время преуспеть, что невозможно. Мысль об отмене несовместимых идеалов меня тогда не посещала, я просто видел недостижимость и тех и других, поскольку от того, что ты делаешь, ничего не зависит — все зависит от того, кем ты являешься.

Очень рано, едва ли старше десяти лет, я пришел к выводу (никто мне не подсказывал; видимо, это носилось в воздухе), что хорошего не жди, не заимев свои сто тысяч фунтов. Сумму, надо полагать, навеяло чтение романов Теккерея. Проценты со ста тысяч составят четыре тысячи годовых (я не рисковал превысить надежные четыре процента), и это представлялось минимальным доходом, с которым реально примкнуть к обществу владетелей шикарных загородных вилл. Относительно истинного рая уже было ясно, что нет мне дороги туда, где обитают только уроженцы райских краев. Деньги можно было сделать загадочным мероприятием под названием «пойти в Сити»; правда, сто тысяч там, в Сити набиралось у тебя, лишь когда ты становился жирным и старым, а самым завидным у избранников небес являлось богатство, дарованное смолоду. Так что для подобных мне амбициозных представителей среднего класса, которым ни шагу без экзамена, единственным путем к успеху было корпеть, вкалывать по-черному. И усердно карабкаться по ступенькам стипендий к престижной службе в министерствах или администрации колоний, или, может, к адвокатуре. И помнить, что стоит на миг скиснуть, увильнуть, как тут же свалишься на дно конторской шушеры. Хотя и на вершине возможных для тебя постов, останешься персоной невеликой, прихвостнем больших шишек.

Даже если бы главные пункты житейской мудрости мне не вдолбили Флип и Самбо, просветили бы однокашники. Удивляюсь теперь, как глубоко и плотно мы были пропитаны снобизмом, как много нам говорили имена и адреса, как тонко мы улавливали оттенки акцента, привычек, покроя одежды. Были у нас мальчишки, которые и в пору общего угрюмого безденежья на середине зимнего семестра прямо-таки сочились деньгами. Хвастались эти всезнающие снобы наивно и безудержно. Особенно после каникул или перед каникулами поднима-

лась светская трескотня о Швейцарии, Шотландии с её гилли[12] и охотой на куропаток в вереске, а также ежесекундные «на дядиной яхте», «у нас в имении», «мой пони», «отцовское дорожное авто»... Полагаю, от сотворения мира не бывало эпохи столь вульгарно и навязчиво, без вуалей аристократичного изящества, выставлявшей свое вспухшее богатство, как те годы, до 1914-го. Годы, когда обезумевшие миллионщики в цилиндрах с загнутыми полями и лавандовых жилетах закатывали вечеринки с шампанским в раззолоченных плавучих домах на Темзе, годы танго «diabolo», узких юбок, юных щеголей в серых котелках и заменивших сюртуки визитках, годы «Веселой вдовы», «Питера Пэна», «Там, где кончается радуга» и остроумных новелл Саки[13], годы, когда утомительно длинные слова «шоколад» и «сигареты» сократились до «шок» и «сиг», а вместо «превосходный!» зазвучало «зверский!», годы дивных уик-эндов в Брайтоне и восхитительных чаепитий в кафе Трок. Кондитерской атмосферой лужаек с непременным поглощением клубничного мороженого под «Песню итонских гребцов», чересчур сладкой душистостью бриллиантина, мятного крема, конфет с ликерной начинкой – приторной безвкусицей грубой, по-детски жадной роскоши пропахло десятилетие перед 1914-м. Но удивительней всего общее тогдашнее убеждение в естественности, в незыблемой прочности крикливого, кичливого богатства английских нуворишей из высших и высше-средних классов. После 1918-го все стало уже не тем, что прежде. Снобизм и дорогие привычки конечно же вернулись, но выказываясь уже несколько стеснительно, оборонительно. До войны культ денег прекрасно обходился без горьких дум и тревог совести. Несомненная благодетельность денег стояла вровень с благом здоровья и красоты – лимузин, титул или толпа слуг сияли ореолом очевидной моральной добродетели.

Общий скудный бытовой уклад в Киприане располагал к определенной демократии, но любое упоминание каникул, тут же исторгавшее фонтаны бахвальства об автомобилях, дворецких и поместьях, сразу выявляло классовые различия. Особенно ярко контрасты жизненных стандартов обнаруживались в связи с примечательным тогдашним преклонением перед всем шотландским. Флип обожала поговорить о её шотландских предках, поощряла шотландских мальчиков

[12] Гилли (ghillies) – предназначенные для шотландских народных танцев мягкие кожаные тапочки с высокой шнуровкой.

[13] Перечислены названия оперетты Франца Легара, детских сказочных пьес Джеймса Барри и Клиффорда Миллса; Саки (наст. имя Гектор Хью Манро, 1870–1916) – английский писатель и журналист.

вместо школьных костюмчиков носить килты и родовые тартаны, даже дала своему младшему ребенку гэльское имя. Шотландцами следовало восторгаться, ибо это народ «суровый и непреклонный» («суровый» было, пожалуй, ключевым словом), непобедимый на полях сражений. Стену большой классной комнаты украшала гравюра с изображением атаки шотландской конной гвардии в битве при Ватерлоо, причем лица атакующих гвардейцев изумляли выражением необычайного наслаждения. Для нас образ Шотландии состоял из костров, крутых холмов, волынок, килтов, меховых сумок, двуручных мечей, а также чего-то бодрящего из смеси овсянки, протестантства и холодного климата. В основе же крылось совсем иное. Истинная причина культа Шотландии была в том, что лишь богачи могли весело проводить там лето. И для очистки совести английских оккупантов притворяться, что преклоняются перед страной, где они сгоняют крестьян с земли ради просторов охотничьих угодий, вознаграждая коренных жителей их превращением в холуйскую обслугу. Говоря о Шотландии, Флип прямо-таки лучилась наивным снобизмом; иногда даже имитировала легкий шотландский акцент. Шотландия была раем для избранных. Лишь им было дано потолковать о личном заоблачном блаженстве, указав остальным их место далеко-далеко внизу.

– В Шотландию летом собираетесь?

– Само собой! Мы каждый год туда.

– Папаша приобрел землицу там: три мили вдоль реки.

– А мой ружье мне подарил, двенадцатый калибр. Есть у нас там, где птичек пострелять. Ты чего слушаешь, Смит? Кышь отсюда! Ты же Шотландию в глаза не видел. Пари держу, тетерева от куропатки не отличишь.

И следом искусно воспроизведенный тетеревиный клёкот, олений рёв, и с нажимом про «наши гилли» и т.п.

И допросы новичков сомнительного социального происхождения – допросы, выясняющие всё так быстро и точно, что инквизиторы бы рот разинули.

– Сколько у твоего папаши годовых? Ты где в Лондоне живешь? Далеко от Кенсингтона, Найтсбриджа[14]? У вас сколько комнат? А слуг сколько? Дворецкий есть? Хоть повара-то держите? Одежду шьете на заказ или из магазина? На шоу ты в этом году сколько раз был? А сколько денег тебе с собой дали?

[14] Наиболее престижные жилые районы Лондона.

Помнится катехизис, по которому терзали новоприбывшего малыша не старше восьми.

– У вас авто есть?

– Да...

– Марка какая?

– Даймлер...

– А сколько лошадиных сил?

Пауза, и прыжок в темноту:

– Пятнадцать...

– Фары какие?

Несчастный малыш онемел от растерянности.

– Ну фары, тебе говорят, какие: на электричестве или ацетилен?

Долгая пауза, и опять прыжок в темноту:

– Ацетилен...

– Балда! Он говорит, что у авто фары ацетиленовые! Их уж сто лет не выпускают, где ж твой папаша такую рухлядь откопал?

– Да врет он! Нет у них никаких авто. Малый из работяг. Папаша его – работяга.

По основным своим социальным параметрам, я был, конечно, нехорош и ни на что хорошее претендовать не мог. А были люди, коим почему-то в полном пакете доставался набор известных добродетелей. Не только деньги, но и сила, и обаяние, и красота, и мускулы атлетов, и то, что называется «крепким нутром», «характером», а в жизни означает умение подмять под себя. Но ни одним из этих качеств я не обладал. В спортивных играх, например, был безнадежен. Мне удалось все же кое-чего добиться в крикете и плавал я неплохо, однако тут престиж не набирался, поскольку ценен у мальчишек лишь мужественный, храбрый спорт. Футбол – вот что ценилось, а я в футбол играл как трус. Меня воротило от игр, где я не находил ни удовольствия, ни смысла, и футбол мне казался не наслаждением погонять мяч, а специфичной дракой. Все наши заядлые футболисты были ватагой здоровенных молодцов, отлично подшибавших и ловко топтавших игроков послабее. Футбол! Образчик школьный жизни – сплошных триумфов силачей над слабаками. Эталонная добродетель победителей, способных быть мощнее, здоровее, богаче, популярней, элегантней, бессовестней других, чтобы господствовать над ними, всячески демонстрируя свое превосходство, измываться, заставлять их страдать и глупо выглядеть. Справедливость жизненной иерархии. Есть сильные, достойные приза и непременно его получающие, и есть слабые, кому по заслугам проигрывать всегда, во всем.

Установленные стандарты я сомнению не подвергал, ибо иных не наблюдалось. Могли ли быть неправыми сильные, модные, смелые, властные, богатые? Мир принадлежит им, так что их правила безусловно верны. И все же с самых ранних лет я ощутил, что не получится у меня по их правилам. Затаившееся в сердце «внутреннее я» то и дело вздрагивало от несогласия душевных фибр с моральным долгом. В любой сфере, мирской или мистической. Вот религия, например. Ты должен любить Бога, в этом у меня сомнения не было. И до четырнадцати лет я верил в Господа, во все свидетельства о нём. Но мне же было прекрасно известно, что не люблю я его. Ненавижу, как и Христа, и всех библейских патриархов. Если имелись некие симпатии к фигурам Ветхого Завета, так вызывали их такие персонажи, как Каин, Иезавель, Аман, Агаг, Сисара, а в Новом Завете друзьями мне были бы (если бы были) Анания, Иуда, Каиафа и Понтий Пилат. В религии, куда ни глянь, я упирался в психологический тупик. Молитвенник, скажем, предписывал и возлюбить Господа и страшиться, а как ты можешь полюбить кого-то, кого боишься? И в жизни те же самые проблемы. Моральный долг повелевал чувствовать благодарность к Флип и Самбо, а я нисколько её не чувствовал. Еще понятнее был долг любить отца, а я не питал нежных чувств к отцу, которого едва и видел до восьми лет, который был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим «нет, нельзя». Тут не присутствовал отказ, сознательное нежелание чувствовать как положено, как подобает. Просто не получалось. Правило и переживание, казалось, никогда не совпадают.

Как-то я наткнулся, правда, не в Киприане, а чуть позже, на стихотворную строчку, ударившую прямо в сердце, – «армия неизменного закона»[15]. Я всем существом понял, что значит оказаться Люцифером, поверженным, поверженным законно и не имеющим ни шанса отомстить. Учителя с их плетками, миллионеры с их шотландскими замками, атлеты с их кудрявыми шевелюрами – армия неизменного закона. Трудно мне было в те времена додуматься, что в жизни-то этот закон не столь уж неизменен, что очень даже можно его изменить. А тогда закон меня, мальчишку, приговорил. Я не имел денег, был слаб и некрасив, непопулярен, трусоват, меня бил хронический кашель, от меня разило потом. Ужасающий образ, но, должен сказать, на реальной почве. Неказисто я выглядел. Если и не совсем таким родился, то в Киприане постарались насчет этого. А вообще, ребенку свои жуткие изъяны ви-

[15] Финальная строчка стихотворения Джорджа Мередита «Люцифер в звездном свете».

дятся, невзирая на факты. Я, например, был уверен, что «пахну». Основание вероятностное: известно ведь, что от противных людей «пахнет», ну, значит и от меня. Или вот долго, пока не покинул школу, я полагал себя сверхъестественным уродом. Так говорили однокашники, а я не чувствовал в себе достаточной авторитетности, чтоб оппонировать. Кстати, глубокое убеждение в том, что я обречен на неуспех, засело во мне на многие годы. Лет до тридцати все мои планы строились с учётом не только неизбежного провала очередной колоссальной затеи, но также с перспективой весьма скорого переселения в загробный мир.

Однако же имелось нечто в противовес тоске вечной вины и неудачи – инстинкт выживания. Даже хилый, несмелый, невзрачный, пахучий и ни на что не годный хочет существовать и быть по-своему счастливым. Я не мог переделать шкалу ценностей, не мог превратиться в баловня успеха, но я мог принять свое невезение и постараться извлечь из него хоть что-нибудь хорошее. Принять себя как есть и все же выжить.

Намерение выжить, то есть сохранить какую-никакую независимость, было по сути криминальным, ибо нарушало всеми, в том числе мной, признанные законы. А жил-был у нас паренек, Джонни Хейл, чудовищно меня угнетавший. Могучий здоровяк с ярким румянцем и темными вьющимися волосами, он постоянно выворачивал кому-то руки, крутил уши, кого-то хлестал стеком (будучи из той самой «команды шестых») или демонстрировал чудеса на футбольном поле. Флип к нему очень благоволила (отсюда общая школьная привычка называть его по имени), Самбо хвалил его за «характер» и умение «поддерживать порядок». Свита подхалимов дала ему прозвище Командор.

Однажды в моечной раздевалке Хейл по какому-то поводу начал меня цеплять. Я огрызнулся. Он схватил мое запястье и резко, дико болезненным приемом заломил мне руку. Помню вплотную перед глазами ухмылку на румяном лице красавца. Был он, по-моему, немного старше меня и, разумеется, несравненно сильнее. Когда он прекратил пытку, в сердце моем взыграла злобная решимость. Сейчас, как только окажусь у него за спиной, тресну его неожиданно изо всех сил. Медлить не стоило, так как вот-вот должен был появиться педагог, чтоб увести нас «на прогулку», и с дракой не вышло бы. Примерно через минуту, напустив на себя самый безразличный вид, я приблизился к Хейлу и, обрушившись на него всем телом, двинул ему в зубы. Ловким ударом он отшвырнул меня, из угла рта у него побежала кровь. Ясное жизнерадостное лицо потемнело от гнева. Хейл отошел прополоскать рот в умывальном тазу.

– Отлично! – процедил он, когда нас уводили.

Вскоре он стал преследовать меня, вызывая на бой. Холодея от ужаса перед поединком с ним, вызовы я упорно отклонял: говорил, что одного обмена ударами достаточно, конфликт исчерпан. Любопытно, что вариант просто напасть на меня Хэйл не использовал; сказалось, видимо, общественное мнение, презиравшее простецкие драки. И постепенно страсти улеглись, дуэль не состоялась.

Повел я себя тогда против правил, равно уважавшихся противником и мной самим. Ударить человека врасплох – дело скверное. Но отказаться от последующих боевых действий было еще хуже, поскольку причиной являлась трусость. Если б отказ мой диктовался искренним осуждением драчливости, ну и нормально, но я-то уклонился от схватки исключительно из-за страха. А этим и моя месть обесценилась. Я ударил, стараясь не думать, просто в яростной жажде хоть разок отплатить, и будь что будет. Знал я, конечно, что неправильно действовать именно так, но проступок вознаграждался некоторым удовлетворением. Теперь всё было аннулировано. Мужество в первом акте, а во втором трусость, дочиста стершая значение храброго порыва.

Но я тогда не обратил особого внимания на чрезвычайно примечательный факт: Хэйл продолжал настойчиво вызывать меня на бой, но приставать ко мне он перестал. После того единственного моего мстительного удара он уже никогда не мучил меня своим гнетом. Прошло, пожалуй, лет двадцать, прежде чем я сделал выводы. В те времена я не умел разглядеть четкую моральную дилемму в мире, где сильный властвует над слабым, – нарушить правила либо погибнуть. Не увидел, что у слабого есть право на собственные правила, поскольку, даже осени меня подобная идея, рядом не было никого, кто мог бы её подтвердить. Жил я в мальчишеской среде стадных животных, не задающихся вопросами, принимающих закон сильных и мстящих за унижения, унижая особей помельче. Если чем-то и отличалась моя ситуация, если потенциально во мне было больше бунтарства, то лишь потому, что по мальчишеским стандартам я представлял собой убогий экземпляр. И никогда я не бунтовал разумом, только эмоционально. А единственной помощью мне (частенько себя презиравшему), кроме тупого эгоизма и неспособности совершенно обойтись без любви к себе, был инстинкт выживания.

Приблизительно через год после того, как я двинул в морду Джонни Хейлу, кончился мой срок в школе св. Киприана. Это было в конце зимнего семестра, я уезжал навсегда. С чувством выползаю-

щего из темной норы на солнечный простор я надел галстук Славного школьного братства, который мы всегда повязывали, оправляясь в путешествия. Хорошо помню чувство освобождения, словно галстук был и знаком возмужалости и амулетом против голоса Флип, плетки Самбо. Я убегал из рабства. Не то чтобы грели надежды, тем более намерения преуспевать в колледже больше, чем в Киприане. Но все-таки я вырвался! В колледже, как мне было известно, будет больше уединения, больше безразличия ко мне, больше шансов лентяйничать и потакать своим уродским слабостям. Много лет (сначала бессознательно, потом прицельно) я вынашивал план — если выиграю стипендию, то покончу со всякой зубрежкой-долбежкой. План этот, надо заметить, был полностью реализован: в ближайшие лет десять я в своих трудах вряд ли лишний раз пальцем шевельнул.

Флип пожала мне руку на прощание. Ради такого случая даже назвала меня по имени. Однако и лицо её, и голос выражали снисходительность, почти насмешку. Тон, которым она произнесла «всего хорошего!» очень напоминал издевки по поводу крошек-бабочек. Я выиграл две стипендии[16], но клеймо неудачника осталось при мне, поскольку измеряется успех не тем, что делаешь, а кем являешься. Я был мальчиком «не из лучших», не укреплял репутацию аристократичного воспитания в Киприане. Ни характера, ни отваги, ни здоровья, ни мускулов, ни денег, ни даже хороших манер, достаточных чтобы выглядеть джентльменом.

— Всего хорошего! — прощально улыбнулась Флип. А я прочел в её улыбке: «Не стоит напоследок ссориться. Не очень ты блистал у нас, не так ли? И не уверена, что ты произведешь наилучшее впечатление в колледже. Увы, мы ошиблись, потратив время и деньги на тебя. Наша система воспитания, видимо, не предназначена для мальчиков с твоим положением и твоей внешностью. О, ты не думай, что тебя здесь не поняли! Всё мы знаем о том, что ты прячешь в голове; знаем, что нет у тебя доверия к вещам, которым здесь тебя учили, нет в тебе благодарности за все, что здесь для тебя сделали. Но зачем сейчас говорить об этом? Отныне нам за тебя не отвечать, и мы с тобой уже не увидимся. Давай просто признаем нашу общую неудачу и расстанемся без неприязни. Итак, всего хорошего!».

Вот что я прочитал в улыбке Флип. Но как же я был счастлив тем

[16] В 1916 году Оруэлл одновременно выиграл стипендии в Веллингтоне и в Итоне. Правда, сразу вакансии для стипендиата в Итоне не оказалось, и сначала Оруэлл пару месяцев проучился в колледже Веллингтон, куда и направляется выпускник школы в его воспоминаниях.

зимним утром, когда сидел в поезде, на шее новенький шелковый галстук (в черно-зелено-голубую полоску, если правильно помнится), и поезд уносил меня прочь! Мир открывался оконцем лазурного просвета в сером небе. Колледж будет повеселее Киприана, хотя, в сущности, столь же чуждым. Там, где на первом плане деньги, спорт, титулованная родня, одежда на заказ, приглаженные щеткой волосы и обаятельные улыбки, успех мне не светит. Всё, что я получу, это передышка. Немного покоя, немного баловства, немного отдыха от опостылевшей зубрежки, а затем крах. Какая погибель ждет, неведомо: может, колонии или конторский табурет, а может, тюрьма или досрочная кончина. Но на пару лет будет, наверное, возможность поплевать в потолок, пожить неподсудным грешником, как доктор Фауст. Я твердо верил в свой злой рок, и вместе с тем сердце пело от счастья. Преимущество подростка — способность жить данным моментом, вполне предвидя будущее и не заботясь о нем. На следующий семестр я собирался в Веллингтон. Стипендию Итона я тоже выиграл, но неясно было, когда там откроется вакансия, так что я решил поучиться пока в Веллингтоне. А в Итоне у тебя своя комната — даже, может, с камином. А в Веллингтоне тебе отгорожена личная спальня в общежитии — можно вечерком сварить себе какао. Отдельность, совсем по-взрослому! И сколько хочешь просиживай в читальнях, и летним днем запросто увильнуть от спортплощадки, и шляйся по сельским холмам один, без надзирателя и кучи сотоварищей. И впереди каникулы. И купленное на прошлых каникулах ружье (марка «Кракшот», цена двадцать два шиллинга, шесть пенсов), и Рождество на следующей неделе. И блаженство обжорства. Уж очень соблазнительны были двухпенсовые кремовые булочки в бакалее возле нашего дома (шел 1916-й, продовольственные нормы еще не ввели). И даже такая мелочь, как по ошибке выданный мне в сумме на дорожные расходы лишний шиллинг — нежданная удача в пути угоститься чашкой кофе с парой пирожных — даже такая ерунда наполняла восторгом. Кусочек счастья перед надвигающимся будущим. Мрачным будущим, как мне мысленно представлялось. Провал за провалом, неудача вчера и неудача завтра — это было моим глубочайшим, крепчайшим убеждением.

6

Все это было тридцать лет назад и даже больше. Вопрос: а нынешний ребенок в школе, через какие испытания проходит он?

Единственный честный ответ, по-моему, — сказать, что точно мы не знаем. Конечно, нынешнее отношение к образованию гораздо более гуманно и разумно, чем в прежние времена. Снобизм, так густо наполнявший мое воспитание, сегодня практически мертв, так как исторически вымерло лелеявшее его общество. Вспоминается разговор, состоявший незадолго до моего прощания с Киприаном. Высокий белокурый русский мальчик чуть постарше меня спросил:

— Сколько твой отец имеет в год?

Прибавив к известной мне цифре несколько сотен для солидности, я ответил. Склонный к изысканной четкости русский мальчик достал блокнотик, карандаш и произвел вычисление.

— У моего отца доход в двести раз больше! — объявил он с каким-то радостно-улыбчивым презрением.

Диалог происходил в 1915 году. Интересно, что случилось с этим капиталом года через два? Еще интереснее, ведутся ли подобные беседы в сегодняшних школах?

Ясно, что налицо огромные перемены во взглядах, очевидный рост «просвещения» затронул даже рядовых, не склонных умничать людей среднего класса. Религиозная вера, например, в значительной степени испарилась, сменившись другой чушью мистического толка. Сегодня, думаю, мало кто станет рассказывать детям, что ребенок, который мастурбирует, непременно окончит дни в палате сумасшедшего дома. Порки тоже скомпрометированы и во многих школах отменены. Недокармливать учеников уже не считается обычным и даже похвальным методом воспитания. Никто уже открыто не задается целью сократить порции ребят до минимума или внушать им, что ради здоровья надо вставать из-за стола таким же голодным, как садился. В целом, положение детей улучшилось (отчасти оттого, что сильно уменьшилось их количество). С распространением некоторых знаний по психологии учителям и родителем уже труднее предаваться комфортной слепоте во имя дисциплины. Вот произошедший в наше время случай, свидетелем которого я не был, но известный мне от людей надежных. Девочка, дочь священника, продолжала орошать свою постель в возрасте, когда такие действия уже не подобают. В виде наказания отец привел грешницу на праздничное гуляние в саду и там, выставив дочь на обозрение перед большой компанией, огласил состав страшного преступления, причем для обозначения греховности личико девочки заранее было вымазано черной краской. Не думаю, что Флип и Самбо способны сделать что-то вроде этого, но сомневаюсь, что сюжет уж очень бы их удивил. Времена, конечно меняются. И все же...

Вопрос не в том, что мальчикам по воскресеньям еще велят пристегивать бутафорские воротники или рассказывают, что младенцев находят под крыжовенным кустом. Такого рода вещи, надо признать, исчезают. Вопрос в том, сохраняется ли в школах ситуация, вынуждающая детей годами жить среди иррациональных страхов и бредовых нелепостей. Но невероятно трудно узнать, что на самом деле думает и чувствует ребенок. Ребенок, на вид столь счастливый, в действительности, может быть, страдает от ужасов, которые он не умеет или не хочет открыть. Живет он в таком чужестранном подводном мире, куда мы способны проникнуть лишь памятью или гаданием. Наш главный ключ здесь то, что сами мы были детьми, хотя многие напрочь все забывают о собственном детстве. Ну сколько ненужных страданий приносят родители, отправляя детей в школу одетыми несоответственно шаблону и отказываясь видеть, сколь это важно! Ребенок порой не вымолвит ни словечка протеста, он ведь вообще большей частью таится. Опаска открывать истинные свои чувства у него переходит просто на инстинктивный уровень. Даже привязанность к ребенку, желание его защищать и лелеять часто становится причиной непонимания. Ребенка, вероятно, любить можно, как вряд ли кого из взрослых, но опрометчиво предполагать, что дитя непременно отвечает взаимностью. Оглянувшись на собственное детство, не помню, чтобы малышом я чувствовал любовь к какому-либо человеку зрелого возраста за исключением мамы, и даже ей я не доверял в том смысле, что застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний. Спонтанная и безусловная эмоция любви вскипала у меня лишь к юным существам. К старым (а «старый» для ребенка это человек за тридцать, если не за двадцать пять) я испытывал почтение, благоговение, восхищение или печаль от угрызений совести, но был, казалось, отрезан от них стеной страха и робости пополам с физическим отвращением. Люди слишком склонны забывать детские впечатления от взрослых. Огромные взрослые, их жесткие бугристые тела, морщинистая кожа, дряблые обвисшие веки, желтые зубы и веющий при каждом движении душок несвежей одежды, пива, пота и табака! Отчасти взрослые видятся детям чудищами, потому что ребенок смотрит снизу, а это очень неудачный ракурс для созерцания даже самых милых лиц. Кроме того, имея образцом свою новехонькую свежесть, ребенок чрезвычайно взыскателен насчет кожи и зубов. Но самый большой барьер для ребенка — неверное пред-

ставление о возрасте. Полагая запредельной жизнь после тридцати, дети делают фантастические ошибки: двадцатилетний им видится сорокалетним, сорокалетний – семидесятилетним и т.д. Когда я влюбился в Элси, мне она увиделась взрослой. Снова я ее встретил, когда мне было тринадцать, а ей года двадцать три, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми почти непристойным бедствием, которое с ними, с детьми, непонятным образом никогда не случится. Перешагнувшие за тридцать в глазах ребенка это безрадостные гротески – существа, которые хлопочут о всякой ерунде, которым жить уже недолго, да собственно и незачем. Только у ребенка подлинная, стоящая жизнь. Школьный учитель, воображающий, что дети его любят, ему доверяют, на самом деле объект, вдохновляющий потешаться и передразнивать. Взрослый, который не представляется опасным, ребятам почти всегда кажется смешным.

Я делаю обобщения, вспоминая свой личный детский опыт. И хотя память штука коварная, нет у нас лучшего способа исследовать работу детского сознания. Только собственной памятью можно понять, какой странной картиной мир отражается в глазах ребенка. Сошлюсь опять-таки на себя. Что бы я увидел, окажись я сегодняшний в моей школе 1915-го года? Какими бы мне показались Флип и Самбо, ужасные всесильные монстры? Передо мной стояла бы парочка глуповатых, пустоватых и бестолковых снобов, которые, задыхаясь от энтузиазма, карабкались по лестнице, угрожающий треск которой уже слышен был всякому человеку с мозгами. Испугали бы они меня не больше лесной белки. Между прочим, они виделись мне весьма престарелыми типами, хотя были, пожалуй, моложе чем я теперь. А появись вдруг передо мной Джонни Хейл, с его кулачищами и глумливой румяной физиономией? Просто нагловатый паренек из сотен подобных нагловатых пареньков. Два совершенно разных взгляда на некое реальное явление сосуществуют в моем сознании. Попытку посмотреть глазами другого ребенка и вовсе не осилишь, разве что воображением, способным унести невесть куда. Ребенок и взрослый живут в разных мирах. А если это так, то как мы можем быть уверены, что нынешняя школа не повторяет и сейчас для многих детей прежний страшный опыт? Сданы в утиль молитвенник, латынь, плетки, классовые и сексуальные табу, но страх, ненависть, снобизм, непонимание, возможно, на прежних местах. Личной моей главной бедой было отсутствие чувства соразмерности и сообразности. По этой причине я мог соглашаться с бесчинствами, верить нелепостям, страшно мучиться из-за вещей, вообще не стоивших

внимания. И не стоит отмахиваться, говорить мне, что, мол, был «дурачком» и надо бы «получше разбираться». Оглянитесь на собственное детство и вспомните, в какую чепуху верили вы, из-за каких глупостей вы страдали. Конечно, у меня был персональный вариант, но в сущности то же, что у множества других мальчиков. Уязвимость ребенка – он начинает с чистого листа. Не понимает и не оспаривает общество, в котором пришлось жить, и вот его, доверчивого и податливого, заражают чувством неполноценности, давят боязнью неисполнения страшных таинственных законов. Очень может быть, что происходившее со мной в Киприане, повторится (пусть и в иной, более тонкой форме) и с кем-нибудь из сегодняшней «просвещенной» школы. В одном, однако, я твердо уверен: закрытые школы-пансионы хуже обычных, где ребенок каждый день после уроков возвращается домой. Родной очаг должен быть рядом; это делает ребенка счастливее. Думаю, известные недостатки английских представителей высшего и среднего класса во многом связаны с основной до недавнего времени практикой отправлять детей воспитываться вдали от дома.

Покинув Киприан, я никогда уже туда не возвращался. Встречи выпускников, вечеринки однокашников вызывают во мне более чем холодную реакцию. Итон, где я был относительно счастлив, я тоже никогда потом не навещал. Один раз, в 1933-м, довелось проехать мимо его стен, я тогда с интересом отметил, что ничего не изменилось, только в магазинных витринах появились радиоприемники. Что касается Киприана, много лет я даже от названия школы содрогался, и невозможно было сколько-нибудь здраво поразмыслить, что же происходило там со мной. Только в последние десять лет я стал всерьез думать об этом, хотя память-то о школе всегда была во мне, жгла меня постоянно. Сейчас, я полагаю, меня бы мало впечатлило посещение этого места (если есть еще что посещать: несколько лет назад донесся слух про бушевавший там пожар). Случись мне проезжать через Истборн, я бы не стал делать крюк в объезд школьного ландшафта. Может, даже притормозил бы у школьных построек, остановился бы на секунду у низкой кирпичной стенки, взглянул бы на торчащее за футбольным полем безобразное здание с асфальтовой площадкой перед входом. А если бы вошел внутрь, вновь дохнуло бы чернилами и пылью классной комнаты, церковным запахом канифоли, затхлой сырью бассейна, вонючим холодком из уборных. Почувствовал бы наверно то же, что обычно чувствуют люди при подобных визитах: как мало все изменилось и как я сам поизносился. В реальности, однако, меня туда отнюдь не тянет.

Без крайней необходимости в Истбурне я не появлюсь. У меня даже возникло предубеждение против графства Суссекс, на землях которого возвели школу св. Киприана, и взрослым я в Суссексе был лишь раз и ненадолго. Теперь, впрочем, ненавистное место не имеет ко мне отношения. Чары его уже не действуют, у меня даже не хватает злости тешиться надеждой, что Флип и Самбо ушли в мир иной, а школа действительно сгорела.

1947

Фунты лиха в Париже и Лондоне

Перевод Веры Домитеевой

О злейший яд, докучливая бедность!
Джефри Чосер

I

Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей – хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.

Мадам Монс: «Sacrée Salope![1] Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? Espèce de traînée![2]

Квартирантка с четвертого этажа: «Va donc, eh! vielle vache!»[3]

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов.

Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.

Улица очень узкая – ущелье в скалах громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные «бистро», где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин;

[1] Чертова шлюха! (фр.).
[2] Ну и потаскуха! (фр.).
[3] Да заткнись, сволочь старая!

арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба.

Моя гостиница называлась «Отелем де Труа Муано» («Трех воробьев»). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей patronne[4], подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в *своем* номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.

Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было – сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшем себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам – служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.

[4] Хозяйка (фр.).

Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством.

Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом – как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.

Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие – молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги.

Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам – шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня Р. был единственным в квартале англичанином.

Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы. А тема моего рассказа – бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.

II

Жизнь нашего квартала. Ну, хотя бы наше бистро при входе в «Отель де Труа Муано». Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью «Crédit est mort»[5], красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги «для желудка», перестук костяшек в играх на аперитив и песни про «Les Fraises et les Framboises»[6], про Мадлен, озадаченную «Comment épouser un soldat, moi qui aime tout le régiment?»[7], и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудновато найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.

[5] «Кредит скончался» (фр.).
[6] «Землянички и малинки» (фр.).
[7] «Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк?» фр.).

Речи порой звучали странные. Как пример приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.

Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно.

Любимый сюжет рассуждений Шарля – любовь.

«Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont tué![8]

Да, messieurs et dames[9], женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли... Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф – обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине raffiné, vicieux[10],..

...Messieurs et dames, вам грустно, о, конечно. Ah, mais la vie est belle[11] – я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!

Наполним же кубки самосским вином,
Забудем о наших печалях!

Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня – и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.

Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой

[8] Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (фр.).
[9] Дамы и господа (фр.).
[10] Утонченным, порочным (фр.).
[11] Но жизнь прекрасна (фр.).

брат – он, кстати, адвокат – наведался в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан – уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братец не знал – безопасность гарантировалась.

Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазых рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати – смокинг, стрижка a l'américaine[12], – мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том, о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.

Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука – огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.

Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: «Сколько?». «Тысячу, – прохрипел женский голос. – Деньги вперед, иначе ходу нет».

Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры, затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.

[12] Под американца (фр.).

«Voilà![13] – проговорила она. – Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода».

Ах, господа, надо ли описывать – forcement[14], вы и сами это изведали – эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал предстал передо мной, а спальня – огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, messieurs et dames! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный – везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и все остальное, покрывалом; на постели девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть коротенькой юбкой колени.

Я замер в дверях. Позвал: «Иди же ко мне, цыпочка».

Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло – вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо напудрено и нарумянено, но все еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано только во взглядах подобных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.

Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, messieurs et dames, что я взялся вам изъяснить, – voilà l'amoure! Вот любовь подлинная, вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи бесцветны и бесплотны словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего

[13] Ну вот! (фр.).
[14] Неизбежно (фр.).

любовь – истинную любовь, – выше хотя бы тени, призрака этого восторга?

Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. «Пощадить? – рассмеялся я. – По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?» И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.

Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал – под парижскими мостовыми мы были скрыты подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, messieurs et dames, вам, не изощрившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, – о, моя юность! – никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!

Да, все в прошлом – в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле – car en réalité – сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Секунда блаженного экстаза, вслед за которой прах и пустота.

Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных... И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался – но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался, безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На девчонку я больше не взглянул, единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.

Вот, messieurs et dames, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни».

Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.

III

Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом – очень мудро, как оказалось, – авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течении которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.

В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек –цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных – никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов, десять пенсов).

Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков – шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.

Вообще, интересно – первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота – нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар, – нет, унылая серая скука. И та особая, чисто бедняцкая *жалкость*, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству.

Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, при-

знаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающем. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик – соответственно нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево.

Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем – хоп! насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.

Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «Pardon, monsieur», – щебечет она, – не возражаете побольше на два су?». Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.

Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем чтобы уже никогда там не появляться.

Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако,

надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.

Открываешь, что такое – быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исключительно из трусости.

Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским «jeune squelette»[15]; возродить «кости, изнывшие от пыток» могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.

Вот она – описывать ее можно и дальше, но суть та же, – жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.

Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань Сен-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «Merde![16] – кричал он. – *Опять* явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?». Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два бе-

[15] «Молодым скелетом» (фр.). Из стихотворения Ш. Бодлера «Веселый мертвец» (Шарль Бодлер. Цветы зла. Перевод Эллис. Л., 1970, с. 109).

[16] Буквально – «дерьмо!» (фр.); популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!».

лых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.

Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее исчезает. В определенном смысле, действительно чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто голодать – кошмар ведь?». И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.

И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества.

IV

Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой -вместо того чтобы вытащить вещи тайком, (популярнейшим трюком нашего квартала было «дернуть по-тихому»).

Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью «Liberté, Egalité, Fraternité»[17],

[17] «Свобода, Равенство, Братство» (фр.).

осеняющей во Франции даже двери полицейских участков) входишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек сорок-пятьдесят. Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкликает: «Numéro[18] такой-то, на пятьдесят франков?». Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять – сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «Numéro 83, сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Numéro 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга Numéro 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.

Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть франков триста, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу двести.

Наконец прозвучал мой номер: «Numéro 97!»

– Да, – поднялся я.

– Семьдесят франков?

Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.

Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:

– Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?

– Двести франков, – быстро проговорил я.

– Tiens![19] – вскинула брови мадам Ф. – Совсем, *совсем* неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!

[18] Номер (фр.).
[19] Вот как! (фр.).

Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.

Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артроз; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.

Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда из-за болезни, от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в Революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос наконец до официанта. Заболел он, когда служил в «Отеле Скриб», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.

О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. «Клозери де Лила» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции «Коммерс», а на «Камброн», столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким «Merde!».

Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий – их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:

– Voilà, mon ami![20]Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан – неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.

Ah, mais, mon ami[21], жизнь это взлеты и падения! Капитан русской армии и вдруг, бац! революция – все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в «Отеле Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером[22] и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.

Эх, однако знавал я что такое жить джентльменом, mon ami. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно... Эх, ладно, ça reviendra[23]. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!..»

Натура Бориса поражала странной пластичностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.

«Обслуживать гостей – играть в рулетку, – повторял он. – Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых – десять процентов к счету да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в «Максиме», например, за смену имеет пятьсот франков. И больше даже, если сезон... Я сам, бывали дни, по двести набирал – это в Биаррице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того – две сотни в день...

...Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то, я тогда работал в «Руайаль», один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. «А ну, гарсон, – говорит мне клиент (пьяный

[20] Вот, мой друг! (фр.).
[21] Ну что же, друг мой (фр.).
[22] От французского plongeur – мойщик посуды (в ресторане).
[23] Еще поживем! (фр.).

в дым), – я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков». Я дошел – он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили – растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?

Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. «Поживешь наконец по-человечески, – уговаривал он. – Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять – это трепотня. Писателю один путь в люди выйти – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, – ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться! Ты, mon ami, если совсем прижмет, сразу ко мне – устрою запросто».

Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я наверное сгожусь, эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера – только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.

V

Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан Манто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что «все более-менее нормально» – следовало полагать, мой приятель снова в «Отеле Скриб», вновь ежедневно набирает свои сто франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви, уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет «Голуаз» в предвкушении скорого благоденствия.

Утром я разыскал улицу Марше де Блан Манто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была

кромешнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа – известного «Бульона Зип», двадцать пять сантимов пакетик. Сердце слегка екнуло: употребляющие «Бульон Зип» либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса сто франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, «на самый верх». По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах «Бульона Зип» крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел.

Чердачная комнатушка метров девять, свет через тусклое оконце в потолке, меблировка – железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал, живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал:

– Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!

– Что случилось? – кинулся я.

– Да спина вдребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ох, дьявол, боль в спине – тебе не передать!

– Борис, мой дорогой, ты заболел?

– Не заболел, только оголодал до смерти – сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, mon ami.

Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в «Отеле Скриб». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал, все свои деньги он истратил, все вещи заложил, настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под Аустерлицким мостом, на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том (следовало изложение каких-то путаных обстоятельств), что еврей задолжал Борису триста франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал два франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогаликами. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место (прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь) и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала.

Большое было разочарование – придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше шестидесяти франков и мне необходимо срочно найти работу. Борис тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно:

– Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков – состояние! Будь добр, подай-ка мне ботинок, mon ami. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва негодяи войдут в пределы досягаемости.

– Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?

– Возможно? Никаких сомнений. На самом деле, у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс – вот-вот откроется. И une chose entendu[24], что я там буду метрдотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. Пять сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые.

– А пока? Скоро мне опять платить за комнату.

– О, что-нибудь найдем! У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг, – в Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех дамах, которые меня любили! Женщины, знаешь, никогда не забывают; только шепни – мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнето из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, mon ami. Деньги достать проще простого.

– Ну так пошли сейчас и найдем место.

– Сейчас, mon ami. Без куска не останемся, не бойся. Дело обычное, капризы солдатской фортуны – сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правило Фоша: «Attaquez! Attaquez! Attaquez!»[25].

К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некого имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным

[24] Дело решенное (фр.).
[25] Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (фр.).

содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым, двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры лодыжек. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами.

Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Риволи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела: молодые лощеные официанты, официанты не столь лощеные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена; не поскупившимся на двадцать франков место обычно находилось.

Потопали к «Отелю Скриб», час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями: недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам четырнадцать километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции «Пляс Итали» он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно и все что остается – криминал:

– Лучше грабить, чем голодать, mon ami. Я уж про это часто думал, прикидывал: жирный богач американец – темный закоулок под Монпарнасом – булыжник в чулке – трах! – карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул – войну отвоевал, не забывай.

Преступный план Борис в итоге все же отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить.

По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился (еда, видимо, действовала на его организм с силой крепчайшего коктейля). Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу:

– Завтра найдем что-нибудь, mon ami, я носом чую. Фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке – человек с мозгами голодным не останется.

На что способен человек с мозгами! Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений, и что ж, ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за пятнадцать франков. Потом – знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? – где клерк поставил «en or»[26], он приписывал «et diamants»[27], где было «пятнадцать франков», исправлял на «пятнадцать тысяч». Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тысчонку. Так что вот пораскинул я мозгами...

До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биаррице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.

VI

Работа и назавтра не нашлась, и еще три недели фортуна хмурилась. Двухсотфранковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан со скоростью двух миль в час, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, двенадцать раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов; дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный: ни в хромых, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной,

[26] Из золота (фр.).
[27] И бриллиантов (фр.).

начальник не заметил больной ноги. «Да, – кивнул он, – нужны двое на склад. Пожалуй, подойдете, заходите». Но едва Борис сделал шаг, фиаско: «А-а, вы хромаете, – malheureusment...[28]». Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вокзальные грузовые тележки, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм.

Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало petit bleu[29], сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В petit bleu значилось «срочно» и предлагалось двадцать франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс, и ускользает – нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристоен пиджак Бориса; брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак, огромнейший, пришлось надеть небрежно, нараспашку и все время держать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел семьдесят пять сантимов на автобус. В бюро, однако, ждало известие о том, что господин передумал и покинул Париж.

Борис мне рекомендовал сходить на Центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и ощупал ладонь:

– А ты как, сильный?

– Очень, – лживо уверил я.

– Bien[30]. Покажи себя, ну подыми-ка эту штуку.

Рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся: грузчики поднимали эту корзину на телегу *вчетвером*. Весила

[28] К сожалению (фр.).
[29] Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой (фр.).
[30] Хорошо, ладно (фр.).

она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить.

Подчас, в очередном приливе светлых надежд, Борис тратил пятьдесят сантимов на марку и отправлял какой-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила наконец лишь одна. Та, что когда-то кроме пылких ласк получила еще двести франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со знакомым почерком Борис восторженно обезумел. Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с крадеными леденцами. Борис прочел и молча передал листок мне. Послание гласило:

«Мой Обожаемый и Драгоценный Зверик!

Как изумительно было раскрыть Твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуи Твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно бы аромат засушенных нежных фиалок.

А про те двести франков, что Ты пишешь, о нет! никак. О мой Единственный, Ты не познаешь, какая боль во всей моей душе от Твоих затруднений! Но чего ж ожидать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания. И моя судьба тоже ужасно жестокая. Сестричка заболела (ах, бедняжка, как она мучилась!), на докторов ушло кошмар сколько. Ни франка не осталось, клянусь Тебе, у нас самих сейчас до крайности трудные времена.

Не унывай, мой Зверик, главное – не унывать! Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят и потом нам опять сияют лучи зари.

Верь, Драгоценный мой, я не забуду Тебя навек. И прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить Тебя до гроба,

Твоя Ивонн».

Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу. Моих шестидесяти франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил, мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои два франка, я добавлял три-четыре – покупались хлеб, сыр, картошка, молоко и над спиртовкой варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки (порция больше), кому из чашки, и всякий раз, к моему тайному негодованию, Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье

делалось все грязнее и противней, и уже три недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну, Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примирял с такой жизнью лишь табак. Курева у нас имелось вволю, так как Борис успел где-то свести знакомство с одним солдатом (рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами) и закупил у него пачек тридцать по полфранка.

Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде нисколько не худел. А вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать двухфранковые монеты. Однажды мы томились на улице Руайяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в Церковь Мадлен, поставить там полфранковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку (тоже за пятьдесят сантимов) как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой; во всяком случае, работу мы тогда упустили.

Иногда утром Борис просыпался на дне отчаяния. Лежал в кровати, чуть не плача, проклиная еврея, у которого жил. Еврей последнее время начал капризничать насчет выдачи ежедневных двух франков и, того хуже, напустил на себя важный, снисходительный вид. Борис говорил, что мне, англичанину, не понять, сколь мучительно русскому благородному человеку оказаться под еврейской пятой.

«Еврей, mon ami, – философски определял он, – это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает стыдиться этого. Подумать только, что российский офицер – не помню, говорил ли я тебе, mon ami, что служил капитаном во Втором сибирском? Да, капитаном, а отец-то полковником был. И вот я, куском хлеба обязанный еврею. Евреи это...

Вот я тебе расскажу, кто это. Как-то в начале войны шли мы маршем, остановились на ночлег в одной деревне. Жуткий старый еврей, борода рыжая как у Иуды, прокрался в мое помещение для постоя. Спрашиваю, чего ему надо. «Ваша честь, – говорит он, – я привел вам красивую юную девушку, только семнадцать исполнилось. И будет всего лишь пятьдесят франков». – «Спасибо, – отвечаю, – не хватало мне еще подхватить заразу». – «Заразу! – кричит еврей, – mais, monsieur le

capitaine[31], об этом можете не беспокоиться, это же моя собственная дочь!». Вот тебе еврейский характер.

Рассказывал я уже тебе, mon ami, что в царской армии считалось дурным тоном даже плевать в еврея? Нечего, мол, на него тратить слюну русского офицера. Да, эти евреи...»

В подобном настроении Борис обычно чувствовал себя совершенно больным и разбитым. До вечера лежал в замызганных, кишащих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было, ходы мы записывали на обрывке бумаги, позже сами сделали доску из фанерки от ящика, вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он говорил, что над шахматной доской совершено забываешь о голоде, однако в моем случае это явно не подтвердилось.

VII

Деньги мои быстро таяли – до восьми франков, четырех, одного, до двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги, ничего на них не купишь кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб всухомятку, потом на двое с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня, – не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой.

В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к Сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В Сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая «Записки Шерлока Холмса». Единственное, к чему был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение

[31] Но господин капитан! (фр.).

тела и мозгов, больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания это полнейшая апатия; это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодавший наблюдение подтвердит.

На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати, в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь:

– Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!

– Кто? Кого?

– Еврей! Мои два франка украл, собачий сын, ворюга! Ограбил дочиста, пока я спал!

Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически отказался впредь от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили, в итоге еврей все-таки согласился дать два франка, сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом – прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги.

Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо (грубейшая ошибка, когда ты голоден). Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаяние отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух:

– Так, mon ami, положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая! Но есть новость похуже: еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил – вздумал разом и деньги сэкономить и от меня скрыться. Если еврей смоется, я останусь без жилья, а патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан! Нам надо действовать решительно.

– Хорошо. Только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть.

– Это да, обязательно, но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать страшно – заберут мои фотографии! Ну, план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. Foutre

le camp[32] – внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Правильный маневр?

– Борис, мой дорогой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают.

– Ну так, стратегию конечно надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут – ох и скупердяи эти французы! Я, однако, придумал способ со всем справиться, если ты мне поможешь.

Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил:

– Слушай. Прежде всего необходимо заложить наши пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк Буржуа – двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь – сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделает как всегда, грошовая душонка: влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть – будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах.

– Так, а чемодан?

– А-а, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего двадцать франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне – бросил под Березиной целую армию!

Борис так воодушевился этим проектом (именовавшемся у него une ruse de guerre[33]), что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана – втихую смывшись, негде будет голову приклонить, – он игнорировал. Ruse de guerre вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто (прогулка в девять километров на пустой изголодавшийся желудок) и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой миной, настырный коротышка – типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.

– Merde! – чертыхнулся Борис. – Положение усложнилось! Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.

– Но как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно!

– Нет? Легко же ты сдаешься, mon ami! А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся.

Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом, но у патрона имелась только одна слабость – le Sport, беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере «Пти паризьен», потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашлянет в момент, по его мнению благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул – я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои не скрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка; смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня и мы удрали.

И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне – откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, – что carte d'identité[34] недостаточно: я должен предъявить паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с carte d'identité был непорядок (требовавшее уплаты за перерегистрацию, удостоверение не продлевалось), так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт Руайяль.

[32] Удрать (фр.).
[33] Военная хитрость (фр.).
[34] Удостоверение личности (фр.).

Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого, я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток.

Затем счастье словно по волшебству переменилось. Я брел обратно улицей Брока – вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу, такую же монету и купил фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни и соли не было, но мы сожрали картошку мигом, с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда.

В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал: если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на двадцать франков, я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу Numéro 83. Уселся я в первом ряду – не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков.

Наконец выкликнули: «Numéro 117!»

– Да, – встал я.

– Пятьдесят франков?

Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услыхал «семьдесят». До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера – даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись:

– Ну? Сколько дали? Меньше двадцати? Но десять-то уж дали? Nom de Dieu[35], пять – это наповал. Нет, mon ami, *не говори*, что пять. Если ты скажешь, что дали пять, ей-богу всерьез начну выбирать, где утопиться!

Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки, и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще в нем не случалось наблюдать.

[35] Ну уж, ей-богу (фр.).

«Ну что я тебе говорил? Капризы солдатской фортуны! Утром с пятью су, а теперь взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал – деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондари, которого пора бы навестить, – вытянул у меня, мошенник, четыре тысячи. Величайший прохиндей в трезвом состоянии, но – любопытная игра природы – становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. Merde! Двести уж пускай отдаст, allons-y![36]».

Мы отправились на улицу Фондари и приятеля разыскали, и он был пьян, но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились, посреди мостовой началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив – Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне как арбитру. Сути их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались, сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане prix fixe[37], куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов, два часа обвинявшие друг друга в воровстве, приятели дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую.

Ночевал Борис в квартале Коммерс у сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков, я был накормлен и напоен до отвала, располагал надежным запасом курева – действительно волшебное преображение после пары нерадостных деньков.

VIII

С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу (двадцать франков Борис, на непонятных условиях остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга). Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывезти из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще, русские беженцы в Париже – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рас-

[36] Пошли! (фр.).
[37] Твердых (т.е. дешевых) цен (фр.).

сказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров и, пообедав, дружески подзывал того к столу.

– А! – начинал князь. – Оба мы, стало быть, старые вояки? Плохи теперешние времена? Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка?

– Такого-то, сударь, – отвечал официант.

– Храбрый, доблестный полк! Помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность – бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста.

Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал. И вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании.

От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того как были сданы в ломбард наши пальто, он довольно таинственно спросил:

– Скажи, mon ami, есть у тебя политические убеждения?

– Нет, – ответил я.

– У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность отечеству, но остальное все – ...! А что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и библию наверняка читал. Я что хочу сказать – ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?

– Разумеется, не прочь.

– Ладно! В Париже действует подпольное русское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты, и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.

– Но чем же? Мне, во всяком случае, ничем, я ведь не русский.

– То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.

– Мне? Но я ничего не смыслю в политике.

– Merde! Они тоже. Кто ж *действительно* что-либо смыслит в политике? Проще простого – перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков «Дейли Мейл»? Спиши оттуда.

– Но «Дейли Мейл» газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.

– Ну списывай из «Дейли Мейл» наоборот, тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, mon ami, упустить этот шанс, тут светят сотни франков.

Идея мне совершенно не понравилась – парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество – может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Названия улицы не помню – какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле Палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти (там была прачечная), а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились и совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.

Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к «русскому господину» через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились – перед нами высился угрюмый молодой человек с шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски.

– Mot d'ordre![38] – рявкнул он, не дождавшись ответа.

Я испуганно замер. Паролей я не ожидал.

– Mot d'ordre! – повторил русский.

Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал: назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатушку с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный аляповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, – надписывал адреса на бандеролях наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски, с сильным акцентом.

[38] Пароль (фр.).

– Крайнее легкомыслие! – раздраженно воскликнул он. – Почему вы явились без белья?

– Без белья?

– Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную здесь внизу. Следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.

Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Вел диалог только небритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно – находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они. Вероятно, называют друг друга «батенькой», «голубчиком» или «Иваном Александровичем», как персонажи русских романов. И обсуждают революционность; небритый, наверно, заявляет: «Мы никогда не спорим, диспуты – игры буржуазии! Наши аргументы – дела!». Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал (всего франков у нас имелось лишь семнадцать). В конце концов, тряхнув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять.

Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки: «Являетесь ли коммунистом?» – «Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял». – «Знаете ли политический климат в Англии?» – «О, конечно, конечно!». Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. «А как насчет le Sport? Сможете ли давать статьи о le Sport?» (Футбол и социализм как-то таинственно связаны на континенте). – «О да, еще бы!». Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал:

– Évidemment[39], вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты? Подробности мы уточним.

– Охотно.

– Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас – сто пятьдесят франков за статью. И

[39] Вполне очевидно (фр.).

не забудьте в следующий раз прийти с бельем. Au revoir[40], товарищ!

Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой:

– Ну наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, mon ami, фортуна по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно. Слыхал, как он тебя стал называть «товарищем»? Сто пятьдесят франков за статью – Nom de Dieu, экая удача!»

Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты – снова мне ничего. Прождав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор.

Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации: узел «белья» смотрелся очень убедительно, – тайное общество испарилось! Гладильщица в прачечной не знала ничего кроме того, что «ces messieurs»[41] съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом! Утешало, что потеряли только пять франков, не двадцать.

Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов; думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и несомненно, мошенники еще промышляют им по другим городам. Смышленые ребята, роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья – гениально.

IX

Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в от-

[40] До встречи (фр.).
[41] Эти господа (фр.).

еле «Икс» около площади Конкорд, а во-вторых, вернулся наконец патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести:

– По одежке, по одежке встречают, mon ami. Дайте мне новый костюм – через час я займу тысячу франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? – с обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, mon ami?

– Выглядишь бледным.

– Проклятье, будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка!

Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону.

Патрон был невысоким плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве.

Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории плонжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью, патрон потряс мне руку.

– О, так вы англичанин? – воскликнул он. – Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?

– Mais certainement[42], – сказал я, угадывая нужный ответ.

– Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, дорогой monsieur, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?

По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все entendu: как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я плонжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается

[42] Ну разумеется (фр.).

открытие. «Ровно через две недели», – царственно ответил patron (он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел). – «Ровно через две недели, день в день!». Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану.

Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом «старинном» стиле (патрон именовал его «нормандским»: перекрестья темных фальшивых балок на белой штукатурке и т.п.), название для пущей средневековости придумано – «Трактир Жана Котара»[43]. Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, – изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись.

Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того – жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно.

– Получилось! Успех – всего-то пару недель продержаться! А что такое парочка недель? Жратва? Je m'en fous![44]Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой! Брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.

Два следующих дня прошли уныло. На последние шестьдесят сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в Ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу; кроме этого нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо кроме съестного. Помню обед, выбранный наконец Борисом: дюжина устриц, борщ (отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны), раки, цыпленок en casserole[45], говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди – относительно

[43] Жан Котар, постоянный персонаж поэзии Франсуа Вийона, это памятный своей суровостью старинный прокурор Парижа.
[44] Плевал я! (фр.).
[45] Тушеный (фр.).

еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспевания, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.

Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие «Трактира Жана Котара» мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером, часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну – ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана, согнутый пополам батон:

– Mon ami, mon cher ami – спасены! Угадай?

– Неужели ты нашел работу?

– В «Отеле Икс» около площади Конкорд – пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!

У него, хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать! А днем он велел дожидаться его в саду Тюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплющенный кулек: телячьи фрикадельки, ломти хлеба, кусочек камамбера и эклер.

– Voilà! Больше не смог вынести, швейцар – ушлая сволочь.

Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тюильри, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий унизительно, это для официанта страшное падение, однако временно, до открытия «Трактира Жана Котара», сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами покраж. Три дня спустя проблемы разом разрешились – один из плонжеров «Отеля Икс» уволился и по рекомендации Бориса место досталось мне.

X

«Отель Икс» – грандиозный дворец с парадной колоннадой; сбоку незаметной крысиной норкой ниша – служебный вход. Пришел я туда утром, без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей

конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился chef du personnel[46] (должность вроде помощника управляющего) и начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера, услышал мое «имею», искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять.

– Как раз искали человека попрактиковаться в английском, – пояснил он. – Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем «...» ! – Он произнес словцо, которое карябают на стенках лондонские мальчишки. – Ладно, пошли.

Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было), вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма: тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожащий шум от кухонных печей, точь-в-точь как от пароходной машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло – стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «range-toi, idiot!»[47], носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано: «Скорей найдешь в ноябре летний день, чем в «Отеле Икс» честную женщину». Все это выглядело диковато.

Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу под основным подвалом – я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. Chef du personnel объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, – носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца.

[46] Заведующий персоналом (фр.).
[47] Посторонись, болван! (фр.).

– Англичанин, да? Ну а я тут за все ответственный. Давай трудись! – Официант энергично изобразил тумак и шмыгнул носом. – Станешь отлынивать, – последовала серия крепких пинков по косяку, – рога мигом сверну, у меня не взбрыкнешь. И в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся!

Я весьма ретиво взялся за дело. Не отрываясь (на все передышки меньше часа), проработал с семи утра до девяти вечера: мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню.

Кухня эта превосходила всякое воображение – настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей вся металлическая арматура обмотана холстиной. В центре у плит крутится дюжина поваров; несмотря на белые колпаки пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и плонжеров с подносами. Голые по пояс поварята шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар, багровый, с роскошными усами, беспрерывно выкрикивает: «Ça marche, deux oeufs brouillés! Ça marche, un Chateaubriand pommes sautées!»[48], изредка отвлекаясь на проклятья в адрес плонжеров. Прилавков было три, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? *Таких* вот типчиков нам присылают!», а затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?»

– Из Англии, – ответил я.

– И как это я сразу не догадался! Что ж, mon cher monsieur l'Anglais[49], позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь fous-moi le camp[50]! Жди где положено!

Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь да ошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал: за день меня обозвали «marquereau» (сутенером) тридцать девять раз.

[48] Готово, два яйца-меланж! Готово, один картофельный соте-шатобриан! (фр.).
[49] Дорогой мой господин англичанин (фр.).
[50] Пошел отсюда! (фр.).

В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с пяти вновь начиналась работа. Я пошел покурить (курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире – единственном безопасном убежище). Потом труды мои продолжились, а четверть десятого, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня свиньей, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность.

– Кончай, малыш, – подмигнул официант. – Tu n'es pas débrouillard[51], но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по два литра вина да я еще бутылочку припрятал – хлебнем на славу!

Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про двух парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время для меня перекликался с Бенвенуто Челлини[52]. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось: взят я был «экстренным» – на одну смену за единовременные двадцать пять франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъял полфранка, якобы страховой сбор (чистое вранье, как позже выяснилось), а также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованные продукты. Затем подошел chef du personnel, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении:

– Возьмем, если ты хочешь, постоянным. Метрдотелю страшно нравится, как произносят названия блюд у англичан. Так что, подпишешься на месяц?

Вот и работа, и я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, где открытие через две недели? Не очень-то красиво пообещать работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на две недели? Chef du

[51] Ты не особо шустрый (фр.).
[52] Имеется в виду легендарная авантюрная жизнь великого скульптора эпохи Возрождения.

personnel пожал плечами – в отель людей берут не меньше чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс.

С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Риволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и назвал меня дураком:

– Идиот! Натуральный идиот! Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну можно ли быть таким олухом, чтоб заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось – обещать им этот месяц.

– Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше, – возразил я.

– Честней! Честней! Кто и когда что-нибудь слышал о чести-совести плонжеров? Mon ami, – он порывисто ухватил меня за лацкан и голос его потеплел, – mon ami, ты целый день там работал, ты видел, каково это, ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства?

– Наверное не могут, нет.

– Ну вот! Быстро беги обратно, скажи этому chef du personnel, что очень даже готов проработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют.

– Но как же насчет жалования, если я нарушу контракт?

Взбешенный моей тупостью, Борис хватил палкой о тротуар и заорал:

– А ты проси поденную оплату, не потеряешь ни гроша! Воображаешь, судятся с плонжером за нарушение контракта? Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить!

Я понесся назад, разыскал начальника персонала и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который и был взят. Это мне был первый урок плонжерской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность, – к работникам в больших отелях беспощадны, их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют процентов десять, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент, ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой.

XI

При увольнении контракт я не нарушил, ибо в «Трактире Жана Котара» некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. Начались мои труды в «Отеле Икс» – четыре дня в кафетерии, день помощником официанта четвертого этажа, еще день на замене уборщицы столовой. По воскресеньям – о блаженство! – отдых, хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой: днем с семи утра до двух и вечером с пяти до девятиодиннадцати, а в день, когда я служил при столовой, четырнадцать часов подряд. По нормам парижских плонжеров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной.

Наш кафетерий представлял собой полутемный подвальчик шесть метров на два и чуть более двух высотой; втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлеборезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколько дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже сорока трех градусов, временами доходило и до пятидесяти пяти. По одной стороне были люки пяти подъемников, напротив дверца чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан – мгновенно в климате прохладнее градусов на пятьдесят (мне всегда вспоминался гимн о Британии великой, которая от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии). Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое: огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец с оперной жестикуляцией полисмена-регулировщика, и странноватое лохматое существо, именовавшееся у нас Мадьяром (он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше). Кроме Мадьяра все мы отличались не мелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе.

Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал – на здешнем языке coup de feu[53] – обрушивался дважды в день. Первый coup de feu, когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В восемь утра подвал внезапно сотрясается от топота и крика, отовсюду яростные звонки, люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз и в люках гремит итальянская ругань официантов со всех пяти этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погреба, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, рас-

[53] Выстрел; в переносном смысле «самый разгар», «критический момент» (фр.).

кладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, сбивание мороженого, верчение кофемолок – все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в тридцати метрах, столовая метрах в шестидесяти. То, что мы отправляли на подъемниках нужно было регистрировать, и регистрировать тщательно – за горстку неотмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверху. Забот, в общем, хватало.

По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров двадцать пять, и все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа, проще не бывает, но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься как угорелый, похоже на задачу впопыхах разложить сложный пасьянс. Только, например, возьмешься жарить тосты – бах! сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же – бах! рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове «срочно – чай, кофе!» и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неотступно ходит за тобой, пристает насчет недостающей бутылки содовой, и ты пререкаешься с ним, выясняешь. Кто бы мог ожидать такого умственного напряжения! Марио говорил (без сомнения справедливо), что на прочные навыки для кафетерия нужен год.

С восьми до половины одиннадцатого как в бреду. То спешишь, задыхаешься, будто жить осталось несколько мгновений, а то вдруг штиль, поток распоряжений стихает и общий минутный покой. Тогда метешь пол, насыпаешь свежих опилок и кружками глотаешь кофе, воду, вино – что-нибудь, лишь бы влага. Работая, мы обычно сосали отколотые кусочки льда. Возле горящих газовых конфорок мутило, и питье заглатывалось литрами, через несколько часов даже фартук пропитывался потом. Время от времени мы безнадежно отставали, рискуя лишить часть клиентов завтрака, но Марио всегда вытягивал. Четырнадцатилетний стаж в кафетерии приучил его ни на миг не отвлекаться. Мадьяр был туп, я был неопытен, Борис (отчасти из-за хромоты, отчасти из-за постыдной для официанта должности) норовил увильнуть, но Марио работал великолепно. Его умение, раскинув длинные руки, одновременно варить яйца на плите и наливать кофе на столике напротив, при этом бдительно следить за тостами, руководить Мадьяром и еще напевать арии из «Риголетто» было выше всяких похвал. Патрон знал ему цену: нам всем в месяц платили по пятьсот, а Марио получал тысячу.

Кутерьма завтрака кончалась в половине одиннадцатого. Мы отскребали свои рабочие столы, убирались, вытряхивали мусор и, если все обстояло благополучно, по очереди шли курить в сортир. Можно было расслабиться; расслабиться, правда, лишь относительно, так как на перерыв давалось десять минут и никогда не получалось отдохнуть без помех. С двенадцати до двух новая волна суматохи – у клиентов ланч. Теперь мы главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно получая engueulades[54] от поваров. Повара уже часов пять потели возле печей, и темперамент их достаточно разогревался.

Ровно в два превращение в свободных граждан. Фартуки долой, надеваем пальто, выходим и (при наличии денег) ныряем в ближайшее бистро. Странно очутиться на улице после жарких полутемных подземелий. Ослепительный свет, ясно и холодно, будто полярным летом, а как приятен бензиновый воздух после вонючей смеси испарений пищи и пота! Порой в бистро случались встречи с нашими официантами и поварами, которые тут вели себя по-приятельски, ставили выпивку. На работе мы были их рабами, но вне службы по внутреннему этикету полагалось полное равенство и engueuledes не допускались.

Без четверти пять возвращение. До половины седьмого заказов нет, мы заняты чисткой серебра, мытьем кофейников, другими попутными делами. Затем самый высокий за день штормовой вал – ужин! Хотелось бы на время стать Золя, чтобы достойно обрисовать эту бурю. Суть заключалась в том, что каждый из пары сотен гостей требовал собственную трапезу, включавшую пять-шесть блюд, а полсотни людей должны были готовить кушанья, подавать, забирать потом объедки, убирать столики (всякий, знакомый с ресторанным делом поймет задачу). И при таком усиленном режиме персонал к вечеру уже совсем измотан, а многие работники пьяны. Никаких слов не хватит для изображения полной картины: беготня с грузами взад-вперед по узким лабиринтам, крик, сутолока, столкновения с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неутоленная по недостатку времени ярость вскипающих безумных ссор – неописуемо. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков. Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе.

В восемь тридцать резкое торможение. До девяти мы еще не свободны, но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не способным даже доковылять до чулана, взять со льда что-нибудь из питья. Иногда chef du personnel приносит пиво (пиво официально выдавалось как экс-

[54] Ругань, брань, головомойка (фр.).

тренное средство взбадривания). Хотя кормили нас съедобно и не более, насчет спиртного патрон не скупился, каждому позволяя два литра вина в смену и зная, что без официальных двух литров плонжер украдет три. Вдобавок в нашем распоряжении оставались многие недопитые бутылки, так что прикладывались мы и часто, и усердно, – штука полезная, работается под хмельком как-то повеселей.

Подобным образом прошло четыре дня, потом еще один, когда было получше, потом другой, когда похуже. К концу недели весьма ощущалась потребность в отдыхе. У завсегдатаев бистро моей гостиницы существовал обычай крепко напиваться субботним вечером, и я, имея впереди свободный день, охотно к ним примкнул. Упившись донельзя, мы разошлись в два часа ночи с тем чтобы отсыпаться до полудня. Полшестого меня внезапно разбудили. Посланный из отеля ночной сторож сдергивал одеяло и грубо тряс меня.

– Вставай! – орал он. – Tu n'es bien saoulé la gueule, pas vrai?[55] Ничего, очухаешься! Человек срочно нужен – работать давай иди.

– Как это работать? – сопротивлялся я. – У меня выходной.

– Выходной у него! Раз работа, так исполнять должен. Вставай!

Я встал и вышел на улицу, позвоночник раздроблен, под черепом пылающий костер. Ни о какой работе речи быть не могло. Однако после часа под землей самочувствие совершенно пришло в норму. Подвальная жара не хуже турецкой бани выпаривает почти любое количество спиртного. Плонжеры пользуются этим. Возможность влить в глотку литры вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, – завидное преимущество жизни плонжера.

XII

Лучше всего бывало мне в отеле, когда я помогал официанту четвертого этажа. Мы работали в небольшой кладовой, сообщавшейся с кафетерием через подъемный люк. Упоительная прохлада после подвала, и работа – главным образом полировка серебра и стеклянных бокалов, весьма гуманный вид труда. Официант Валенти, парень вполне приличный, наедине со мной общался почти как с равным, хотя конечно грубил при свидетелях, ибо официантам не пристало любезничать с плонжерами. В удачные для него дни Валенти подкидывал мне несколько франков

[55] Что, здорово надрался, да? (фр.).

от своих чаевых. Миловидный юноша двадцати четырех лет, а по виду восемнадцати, он, как и большинство официантов, следил за внешностью, умел носить одежду. В черном фраке и белом галстуке, сияя свежим лицом и пробором гладко зачесанных каштановых волос, смотрелся настоящим воспитанником Итона[56], при том что с двенадцати лет сам зарабатывал себе на жизнь, пробиваясь буквально из канавы. Опыт его уже включал и беспаспортный переход границы, и пятьдесят суток ареста в Лондоне за отсутствие разрешения на работу, и любовную связь с клиенткой отеля, старой богачкой, подарившей ему алмазный перстень и потом обвинившей в краже. Приятно было поболтать с ним, покуривая, выдыхая дым в шахту подъемника.

Худшим был день уборщика столовой. Тарелки, на которых приносилась еда из кухни, я не мыл, только другую посуду, приборы и стаканы, тем не менее даже это означало тринадцать часов у раковины и тридцать-сорок мокрых кухонных полотенец. Французский старомодный способ мытья посуды очень утяжеляет дело: о сушилках для посуды тут и не слыхивали, нет и мыльных хлопьев, есть лишь кусок черного глинистого мыла, упорно не желающего мылиться в парижской жесткой воде. Основная работа шла в непосредственно примыкавшем к столовой грязном, захламленном чулане (одновременно и моечной и кладовой). Кроме того, на мне были доставка блюд и обслуживание официантов, чья нестерпимая наглость не однажды заставляла применять кулаки для исправления манер. Женщине, постоянной здешней судомойке, эта публика совершенно отравила существование.

Забавно было, стоя в своей помойной конуре, представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия – безупречные скатерти, букеты, зеркала, золоченые карнизы, росписи с херувимами, а тут, вплотную, наша мерзкая грязища. Грязь действительно была омерзительная. До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месит себе салаты (на больших пальцах едоков следы сметаны из горшочков). Комната провоняла потом и кислятиной. В шкафах за стопками посуды всюду напихана краденая еда. Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, об этом не подозревали. Благо-

[56] Старинный, самый привилегированный английский колледж, питомцем которого был и сам Оруэлл.

даря кокосовому половику и зеркалу перед дверью в ресторан, официант, прихорошившись, выходил к гостям олицетворением опрятности.

Эти выходы стоило посмотреть. В дверях моментальная перемена – плечи расправлены, неряшливости, суетливой нервозности как ни бывало, по ресторанному ковру плавная церемонная поступь архиепископа. Помню, как-то помощник метрдотеля, вспыльчивый итальянец, на выходе обернулся к новичку, разбившему бутылку вина (двери, по счастью, хорошо глушили звук):

– Tu me fais chier[57]. Какой из тебя официант, ублюдок ты поганый? Официант! Не годен даже полы скрести в борделе своей мамаши, старой потаскухи! Marquereau!

С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь... И грациозным лебедем поплыл с подносом через зал. Секунд десять спустя почтительно изогнулся перед столиком. Ну кто бы, видя эту обходительность, эти манеры, эту натренированную деликатность улыбок, мог сколько-нибудь усомниться в аристократизме сего подателя тарелок.

Мыть здесь посуду я терпеть не мог – не тяжело, но зверски тупо и надоедливо. Страшно подумать, что есть люди, обреченные делать это десятилетиями. Судомойке, которую я заменял, было весьма за шестьдесят, и круглый год, шесть дней в неделю ей приходилось горбиться над раковиной, постоянно терпя вдобавок хамство официантов. Будучи в прошлом, по ее словам, актрисой (на самом деле, как я полагаю, проституткой; уборщица – финал большинства дам этой профессии), она носила мало подходящий ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколки. Следовательно, даже рабство по семьдесят восемь часов в неделю приканчивает человека не до конца.

XIII

На третий день службы в отеле chef du personnel, дотоле обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил:

– Вот что, кончай, немедленно сбривай усы! Nom de Dieu, где такое видано – плонжер с усами?

Я начал было возражать, но он отрезал: «Плонжер с усами – чушь! Чтобы завтра же явился без этого безобразия!»

[57] Ты меня достал!(фр).

По дороге домой я спросил Бориса, в чем дело. Он пожал плечами:

– Необходимо покориться, mon ami. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких, но так уж заведено.

Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился: официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и плонжерам, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских; официант или повар выше плонжера, как лейтенант относительно рядового. В верховном чине управляющий с его властью уволить кого угодно вплоть до поваров. Патрона мы никогда не видели (знали лишь то, что кушанья ему надо готовить еще внимательнее, чем клиентам); управляющий руководил всем, очень рьяно следя за дисциплиной, особенно в части увиливания от работы. Но нас, умников, подловить было нелегко. Пронизывавшую отель сеть служебных звонков штат приспособил для оповещения коллег. Сигнал «длинный-короткий-два длинных» предупреждал «начальство близко», и мы кидались изображать бурную хлопотливость.

Ступенькой ниже управляющего метрдотель. Ресторанным гостям он не прислуживал, разве что исключительно знатным особам, а командовал официантами и вообще направлял работу в зале. Его чаевые с премиальными винных компаний (два франка за пробку от шампанского) достигали двух сотен в день. Он находился на особом положении – ел у себя в кабинете, столовый прибор из серебра и возле стола пара начинающих лакеев в крахмальных белых куртках. Чуть ниже главного официанта главный повар, получавший около пяти тысяч в месяц. Обедал шеф-повар на кухне, но за отдельным столиком и с прислуживающим поваренком. Затем шел chef du personnel: месячный оклад всего полторы тысячи, зато право носить черный пиджак, самому ничего не делать и рассчитывать превосходных официантов и плонжеров. Затем повара, им платили от семисот пятидесяти франков до трех тысяч; затем официанты, у которых кроме маленькой твердой зарплаты набегало в день франков семьдесят чаевых; затем швеи и прачки, затем ученики официантов (оклад семьсот пятьдесят и пока без чаевых), затем плонжеры с той же ставкой семьсот пятьдесят, затем горничные, получавшие по пятьсот-шестьсот франков, и наконец работники кафетерия – пять со-

тен в месяц. Мы, «кафетьеры», были самым дном, нас сообща презирали и называли исключительно на «ты».

Имелись всякие другие специальности: и конторщик, и так называемый курьер, и кладовщик, и особый кладовщик винного погреба, и паж, таскающий за клиентом чемоданы, исполняющий мелкие поручения, и грузчик, и еще пекарь, развозчик льда, ночной сторож, швейцар. Различные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара – французы; официанты – итальянцы или немцы (француза-официанта в Париже едва ли сыщешь); плонжеры – из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все, и даже итальянцы между собой, на французском жаргоне.

У каждого подразделения свои льготы. Пекарям парижских отелей выпечка с браком продается по восемь су за фунт, плонжеры делят гроши от продажи помоев на корм свиньям. И везде процветает мелкое воровство. Расхищаются продукты – порции официантов всегда больше казенной нормы (каких-либо особых неприятностей из-за этого я не замечал), у поваров на кухне то же и масштабы еще крупнее, мы в кафетерии обпивались незаконными литрами чая и кофе. На винном складе кладовщик крал коньяк. По правилам отеля официантам запрещалось припасать алкоголь, с каждым заказом на спиртное следовало идти в погреб, а там кладовщик всякий раз каплю недольет, чтобы потом приторговывать, отпуская надежным сослуживцам стопочку коньяка за пять су.

Попадались воры, кравшие у своих; оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивавший нас швейцар. При моих пяти сотнях в месяц, через полтора месяца он нагрел меня на сотню с лишним. Поскольку я договорился брать поденно, он каждый вечер мне отсчитывал шестнадцать франков и ни сантима не давал за выходные (которые, конечно, тоже входили в общий счет), присвоив таким образом шестьдесят четыре франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных двадцати пяти франках, и он спокойно положил себе в карман еще семьдесят пять. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно, вернуть удалось только двадцать пять франков за последний отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он подтвердил мне правоту поговорки: «Змее верь больше чем еврею, еврею верь больше чем греку, но никогда не доверяй армянину».

Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи и с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял, где-то болтался, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов, один или двое из таковых наверняка шпионили – профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Моранди и другим официантом, у которого Моранди, по видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Моранди издевался над ним:

– Чего ты сделаешь-то, ну чего? Ну поимел я твою кралю, три раза переспали – красота! Чего ты сделаешь-то мне?

– А донесу вот в полицию секретную, что ты –- итальянский шпион!

Отрицать это Моранди не стал, он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам. Соперник дал задний ход.

Наиболее оригинальное впечатление на меня в отеле произвел один «экстренный», по соответственной расценке взятый на день вместо приболевшего Мадьяра. Это был серб, шустрый коренастый парень лет двадцати пяти, говоривший на шести языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило двенадцать, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к двум увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием:

– Какого дьявола ты вздумал тут курить? – заорал он.

– Какого дьявола ты отрастил такое рыло? – невозмутимо ответил серб.

Богохульство, степень которого не передать; шеф-повар за такую реплику плонжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп. «Уволен!» – рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные двадцать пять франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски, что за комедию парень ломал. И серб ответил:

– Сам рассуди, mon vieux[58], если я в полдень работал, так должны

[58] Старина, дружище (фр.).

мне этот день оплатить? Обязаны! Таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я завел систему: иду в отель, прошусь «экстренным», до двенадцати вкалываю, но, как полдень отбило, подымаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер? Обычно ухожу уже полпервого, сегодня в два – черт с ними, наплевать, четыре часа все равно себе оттяпал. Жаль только, по второму разу в одном месте не провернешь.

Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета.

XIV

Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего в отелях новичка поражают накаты бешеной суматохи, столь отличной от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него; надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свар и брани. И, надо сказать, перебранки – необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятья демонов и заменяет почти все глаголы единственным «пошел ты!». С губ шестнадцатилетней замарашки сыплются выражения, сразившие бы даже шоферов. (Почему Гамлет говорит «бранится, как судомойка»? Несомненно, Шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле). Тем не менее мы, ругаясь, ни голов, ни времени не теряли, а просто помогали друг другу уплотнить напряженные часы.

На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самой примитивной. Лентяя здесь быстро опознают и дружно заставляют убраться. Позиции у поваров, официантов и плонжеров весьма различны, но во всех живет гордость своим занятием.

Наиболее близки рабочему классу и далеки от лакейства повара. Они не получают таких денег, как официанты, зато у них выше престиж и место их значительно прочнее. Сам повар себя ощущает не прислугой, а мастером, его и называют «un ouvrier»[59] (официанта так никогда не назовут); он знает свою силу – знает, что в первую очередь от него зависит успех дела, что, опоздай он хотя бы на пять минут, порядок рухнет. Презирая всех работников не поварской профессии и полагая делом чести оскорблять каждого из них за исключением метрдотеля, повар гордится достигнутым долгой практикой артистизмом – сложно не столько приготовить еду, сколько суметь приготовить ее вовремя. От завтрака до ланча шеф-повару «Отеля Икс» заказов поступало на сотни кушаний с разными сроками исполнения, и хотя самолично он готовил немногое, но инструктировал и проверял каждое блюдо. Память его изумляла. Листки с заказами прикалывались на столе, однако шеф-повар редко туда поглядывал, все держал в голове и выкрикивал какое-нибудь очередное «Faites marcher une côtelette de veau!»[60]минута в минуту. Он был невыносимо груб, но подлинный артист. За точность, отнюдь не за превосходство в ремесле, предпочитают поваров-мужчин.

Совсем иной внутренний взгляд у официантов. Тоже есть гордость мастерством, но мастерством услужливым, лакейским. Дни официант проводит, непрерывно глазея на богачей, стоя возле их столиков, ловя их разговоры, примазываясь к ним улыбочками и осмотрительными шуточками – наслаждаясь неким приобщением к их расточительству. А кроме того, всегда существует собственный шанс разбогатеть; в некоторых кафе на Больших бульварах такие щедроты от гостей, что там лакеи сами платят хозяевам за рабочие места. Постоянно наблюдающий трату денег и грезящий об этих деньгах, официант в конце концов чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так как и самого себя он уже ощущает участником пиров.

Валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем двести тысяч франков и потом месяцами обсуждавшемся: «Какая ж роскошь, mon p'ti, mais magnifique![61] Ух ты черт! Шампанское, серебро, орхидеи – сроду такого не видал, хотя кой-чего приводилось. Ух, вот роскошь!»

– Ты ведь, однако, только прислуживал? – уточнил я.

– Ну да, конечно. Но какая ж роскошь!

[59] Умелый работник, мастер (фр.).
[60] Запускай телячью котлету! (фр.).
[61] Ну, дружок, просто великолепно! (фр., с вульгарным произношением).

Мораль – никогда не жалейте официанта. Например, вы сидите в ресторане, сидите уже полчаса после закрытия и представляете, что измученный официант вас презирает. Ошибаетесь. Глядя на вас, он не думает: «Лопнул бы ты, дубина!», а думает он: «Вот когда-нибудь накоплю денег и таким же господином буду сидеть». Полнейшая готовность служить тем радостям, которые его влекут и восхищают. Поэтому редко найдешь среди официантов социалиста, поэтому и хилый профсоюз, поэтому рабочий день двенадцать, порой даже пятнадцать часов. Это снобы, душевно вполне расположенные к лакейству.

Свой особенный взгляд изнутри и у плонжеров. В их работе перспектив нет, одно выжимание соков, ни следа творчества или же интереса. Сюда брали бы просто уборщиц, если б у женщин хватало сил. Все что тут требуется – постоянно быть на ногах и подолгу выносить кислородное голодание. Переменить эту жизнь невозможно, так как ничего из грошовой зарплаты не отложишь, а подыскать что-то другое, работая от шестидесяти до сотни часов в неделю, нет времени. Надеяться плонжер в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета.

Но даже у нижайшего плонжера, раба рабов, наличествует некий сорт гордости – гордость трудяги, берущего не содержанием, зато количеством труда. На этом уровне единственно доступный способ держать себя с достоинством это пахать как вол. Плонжер высшего пилотажа – «дебруйар», тот, кто самое невозможное исполнит, со всем справится, всегда изловчится (se debrouiller[62]). В «Отеле Икс» при кухне работал немец, известный местный дебруйар. Однажды важному клиенту, какому-то британскому милорду, вдруг среди ночи захотелось персиков, что привело официантов в смятение, поскольку фрукты эти на складе кончились, а магазины давно закрылись. «Без паники!», – сказал немец. Ушел и через десять минут возвратился с четырьмя персиками – своровал их в соседнем ресторане. Вот что такое дебруйар. С милорда взяли по двадцать франков за персик.

Старшина нашего кафетерия Марио демонстрировал тип образцового трудяги: всецело сосредоточенный на «работенке» и призывающий к тому же остальных. Четырнадцать лет службы в гостиничных подвалах закалили его обильное врожденное благодушие до крепости стального поршня; «faut être un dur» – «надо быть как кремень», говорил он, услышав чье-то нытье. И плонжеры частенько похвалялись «я как кремень», ощущая себя гвардейцами, а не судомойками мужского пола.

[62] Выйти из положения, выкрутиться (фр.),

Таким образом, чувство служебной чести присутствовало во всех подразделениях и очередной гигантский вал работы встречался во всеоружии соединенных сил. Вечный бой между отделами тоже определенным образом шел на пользу, так как охрана собственной льготной добычи отваживала посторонних грабителей и ловкачей.

Порядок многосоставного хозяйства с разномастным обслуживающим персоналом обеспечивался четкой задачей каждого и личной его добросовестностью. Это в отеле было хорошо. Но был и слабый пункт – усилия работников не совсем совпадали с нуждами клиентов. Гости, по их убеждению, платили за высококлассный сервис, а служащие, по их убеждению, получали за «работенку», вследствие чего высококлассный сервис преимущественно имитировался. В этом отношении отель со всеми его чудесами пунктуальности уступал худшему из наихудших частных домов.

Взять, для примера, чистоту. В рабочих помещениях «Отеля Икс» свежему глазу открывалась грязь вопиющая. По всем темным углам кафетерия присохла еще прошлогодняя гадость, а хлебница кишела тараканами. Я как-то предложил Марио истребить этих тварей. «Зачем убивать бедных букашек?» – укоризненно сказал он. Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки прежде чем взяться за масло. Тем не менее чистоту, причисляемую к «работенке», мы блюли. Во исполнение режима мыли рабочие столы и начищали медь регулярно; но распоряжений по-настоящему навести чистоту не поступало, да и некогда было. Мы просто отрабатывали наш урок, и так как первейшей задачей ставилась точность, берегли время, оставаясь в прежнем хлеву.

На кухне грязь была похлеще нашей. Это не фигура речи, а констатация факта, когда говорят, что французский повар способен плюнуть в суп (не тот, естественно, которым сам он намерен угоститься). Здешний повар артист, однако отнюдь не гений чистоплотности. В определенной мере небрезгливость даже необходима его артистизму: шикарный вид еды требует антисанитарной обработки. Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилкой маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус, перекладывает кусок, снова облизав свой инструмент, затем, чуть отступя, критически глядит на блюдо, подобно живописцу перед мольбертом, и наконец любовно завершает композицию толстыми розовыми пальцами, с утра

облизанными уже стократно. Будучи удовлетворен, шеф-повар тряпкой удаляет отпечатки пальцев с фарфоровых краев и вручает произведение официанту. И официант, конечно же, несет тарелку, запустив в соус *свои* пальцы – мерзкие, сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриолиненную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс в Париже свыше десяти франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления. В дешевых ресторанах по-другому, там эти пакости еду минуют; куски, подцепив вилкой из кастрюли, раскидывают по тарелкам без художеств. Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам бесплатным гарниром.

Неопрятность присуща отелям и ресторанам, цель которых не накормить, а сразить шиком. Работник слишком занят подачей пищи, чтобы помнить, что эту пищу едят. Еда для него просто «une commande»[63], вроде того как чья-то смерть от рака для врача просто «случай». Клиент заказывает, скажем, тост. Где-то в подвале некто, разрываясь на части, обязан быстро заказ исполнить. Может ли он приостановиться с мыслью: «Тост этот съедят – надо бы, значит, сделать его съедобным?». В голове у него только то, что выглядеть блюдо должно пристойно и отнять не больше трех минут. Пот со лба капает на хлеб – ну и что? Тост падает на пол, в месиво грязных опилок – ну и что, не с новым же возиться? Гораздо проще испачканный ломтик обтереть. По пути наверх тост опять падает, маслом вниз, – еще раз обтереть да и все. Такова система. Аккуратно в «Отеле Икс» готовили лишь самим себе и патрону. Всеобщей моральной заповедью было «гляди в оба, если хозяину, а для клиентов – наплевать, s'en fout pas mal![64]» Всюду в рабочих отделах сор и гадость; за фешенебельным фасадом тайная циркуляция грязи, как работа кишечника в теле красавицы.

Помимо свинского неряшества патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом, закупкой дрянных продуктов, которые повара, однако, умели стильно преподнести. Мясо в лучшем случае среднего качества, а овощи такие, что хозяйки, ходя по рынку, на них даже бы не взглянули. Сливки, продукт повышенного спроса, разбавлялись молоком. Чай и кофе худших сортов; джемы со всякой химией, из громадных жестянок без этикеток. Все вина дешевые, закупоренные, по экспертизе Бориса, как vin ordinaire[65]. Согласно правилам, загубив что-либо, урон оплачивали служащие, а потому испорченное ненадолго попадало в разряд отбросов. Когда официант третьего этажа уронил в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок, липких бумажек и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх. С этажей доходили глухие слухи об уже побывавших в употреблении простынях, которыми без стирки, лишь увлажнив и прогладив, вновь застилали кровати. На нас патрон скупился так же, как на клиентов. В огромном хозяйстве отеля не имелось, например, ни швабры, ни совка; управляться приходилось с веником и куском картона. Уборная для персонала была достойна Центральной Азии, вымыть руки нельзя было нигде кроме раковин с грязной посудой.

Но несмотря на все это «Отель Икс» входил в дюжину самых роскошных парижских отелей и пребывание здесь стоило бешеных денег. Стандартная цена за то, чтобы переночевать (без завтрака), – двести франков. Вино и табак вдвое дороже магазинных, хотя патрон, конечно, брал их оптом, по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром гость с четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. Валенти был взбешен: «Какого черта! А мои десять процентов? Что, десять процентов от соли и воды?!». И подал счет за завтрак – двадцать пять франков. Клиент безропотно заплатил.

По словам Бориса, то же происходило во всех парижских отелях, по крайней мере в роскошных и дорогих. Но мне кажется, что клиенты «Отеля Икс» особенно легко клевали на дутый шик, поскольку в основном это были американцы, слегка говорившие по-английски, нисколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Преспокойно могли набивать животы отвратительной американской «кашей», есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда, и, заказав poulet à la reine[66], поливать стофранковый деликатес грубым соевым соусом. Одному клиенту из Питтсбурга каждый вечер носили в спальню ужин – виноград, яичница и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно.

XV

Каких только рассказов не услышишь в отеле. Про наркоманов, про блудливых стариков, рыщущих по отелям смазливых пажей-боев,

[63] Заказ (фр.).
[64] И так, черт бы их взял, сойдет! (фр.).
[65] Ординарное (низкосортное, с выдержкой менее одного года) вино (фр.).
[66] «Цыпленок по-королевски» (фр.).

про воровство и шантаж. Марио рассказал про то, как горничная из отеля, где он прежде работал, украла у американки бесценное бриллиантовое кольцо. Несколько дней, не давая работать, обыскивали персонал, два детектива перерыли все сверху донизу, но ничего так и не нашли – работавший в пекарне любовник горничной запек кольцо в рулет, где драгоценность тихо и укромно дождалась прекращения следствия.

Валенти как-то в минуты отдыха поведал мне одну историю о себе: «Знаешь, mon p'tit, все это здорово, когда в отеле, но когда без работы, так ни к черту. Небось сам пробовал сидеть с пустым брюхом? Forcement, не то тарелки бы не мыл. Ну, я-то не чертов нищий плонжер, я официант, а тоже было дело – *и мне* пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, ни корки хлеба!

Чертовы, я тебе скажу, денечки. Вся радость, хоть за комнату вперед было заплачено. Жил я тогда в Латинском квартале, на улице Святой Элоизы в задрипанной гостинице, «Отель ***» – по имени какой-то здешней старинной шлюхи знаменитой. Остался без куска и сделать ничего не могу, даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу – полфранка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые по стенкамм любоваться. Я тебе так скажу, еще раз через это очень бы неохота.

В пятый день прямо ополоумел (сейчас думаю, точно тогда спятил). Висела там печатная картинка с личиком женским, давно приляпанная, вся уж выгорела, и вот разобрало меня – кто ж такая? Час прямо думал и в конце надумал – видно, самая та Святая Элоиза, которая здешняя покровительница. Раньше про все такое никогда, но тут-то, с голодухи, самое чудное дело в мозги заехало.

«Ecoute, mon cher,[67] – говорю я себе, – загнешься ведь при такой жизни. Давай-ка действуй. Что б вот тебе перед этой Святой Элоизой взять да и помолиться? Стань на колени, попроси деньжат послать хоть сколько. Попробуй, хуже-то небось не станет!»

Псих, да? А надо ж чем-то от голода спасаться. Тем более, вреда вроде бы никакого. Слез с койки, стал молитву говорить:

«Дорогая Святая Элоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста, деньжат немножко. Много-то я не прошу – купить хотя бы пару буханок и винца бутылку, силенки чтоб вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь если, так не представляешь, как я тебя благодарить буду. Не сомневайся – если чего пошлешь, сразу пойду свечку тебе поставлю в твоей церкви, которая вон с краю улицы. Аминь».

[67] Послушай, мой дорогой (фр.).

Насчет свечки я потому, что слыхал – нравится этим святым, когда им для почета свечки жгут. Все решил сделать, конечно, как обещал. Хотя я в бога-то не верю и на особо чего не рассчитывал.

Ну вот, залез обратно в койку, а через пять минут стучат. Пришла Мария, толстуха деревенская, тоже там проживала. Дура совсем, но девка первый сорт, не хотелось перед ней дохляком показываться. Глянула она на меня и в голос:

– Nom de Dieu! Что это с тобой? Чего разлегся посреди дня? T'en as une mine![68] В точности покойник!

Вид у меня наверно был веселый – пять дней не жрал и не вставал почти, и уже дня три как не мылся и не брился. Комната тоже свинарник настоящий. Мария опять кричит:

– Да что стряслось?

– Стряслось! – говорю я. – Ни черта! Голодный! Пять дней во рту ни крошки, вот что стряслось.

Мария заохала:

– Прям-таки ни крошки? Чего ж? Нисколько, что ли, нету денег?

– Денег! Сама ты сообрази, стал бы я голодать-то, когда бы были? Пять су в кармане и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать? Найдешь если тут на полфранка, значит умней меня.

Мария стала смотреть кругом. Ходила, тыкалась по углам в разный хлам – и вдруг прямо вся затряслась, глазищи круглые, губищи толстые выпятила:

– Балда! – кричит. – Дурень! А это *что?*

Смотрю, из кучи раскопала керосиновый бидон для той лампы, которую я уж давно с другим барахлом в заклад снес.

– И что? – говорю. – Бидон керосиновый, что ж еще?

– Дурень! Ты в лавке, когда керосину отпускали, за бидон три франка залог давал?

Ну верно, три с полтиной тогда выложил. Всегда ведь за бидон велят залог оставить, а после, как бидон вернешь, деньги назад.

– Давал, чтоб их ... – начал я.

– Вот балда! – орет Мария. И пляшет, так разошлась, я думал,

[68] Ну и вид у тебя! (вульг. фр.).

полы своими дубовыми башмаками проломит точно. – T'es louf![69] T'es louf! Чего ж обратно в лавку не бежишь залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом! Вот дурень!

Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бидон сдать. Пять дней рядом монеты были! Голову с подушки поднял: «Живо! – кричу Марии, – выручай, чертом несись на угол, к бакалейщику! Да куснуть притащи!»

Мария молча бидон хвать и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло, назад – в одной руке кило хлеба, в другой вина пол-литра. Не до спасибо даже было, цапнул хлеб и давай зубами рвать. А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евши? Сырой, холодный, к языку замазкой липнет, но хорош, дьявол! А вино – я бутылку в рот опрокинул и без отрыва, и прям в жилы по всему организму сила потекла. Эх, другая жизнь!

Кило хлеба сожрал, не передохнул. Мария все стояла руки в боки, глядела, как я ел.

– Ну, – говорит потом, – получше?

– Получше! – говорю. – Куда как лучше! Одно бы еще только – закурить.

Она рукой в кармане фартука пошарила, башкой мотает:

– Не, никак. Семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка – двенадцать су.

– Тогда, – кричу, – будет мне курево! Ну, дьявол, во валит удача! Пять су у меня есть, как раз и хватит.

Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику. А я тут коечего вспомнил, что вовсе из головы вон. Про эту, черт ее дери, Святую Элоизу. Я же ей свечку обещал, если денег пошлет, а разве ж не сбылось? «Франка бы три-четыре» попросил – и тут же на-ка тебе три с полтиной. Никуда, значит, не денешься, придется денежки все на свечку выкинуть. Зову назад Марию, говорю: «Не пройдет. Святая Элоиза – свечку ей обещал. На нее надо двенадцать су». И что, кретин, сам вылез? Сигарет даже после всего не купить.

– Святая Элоиза? – спрашивает Мария. – Она причем?

– Деньжат у нее попросил и свечку обещался ей поставить, а она вот молитву приняла – денег, как ни крути, подкинула. Обида, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет.

– С чего это Святая Элоиза в башку тебе ударила?

[69] Ты чокнутый! (вульг. фр.).

– С портрета, – говорю я, – гляди вон, на картинке.

Ну, Мария, как поглядела, от хохоту стала разрываться. Хохочет и хохочет, бегает, за бока жирные ухватилась, сейчас лопнет. Совсем тронулась девка. Минуты две говорить не могла, потом стонет:

– Балда! Чокнутый! Ты чего, впрямь перед этой картинкой на коленках стоял, молился? Да тебе кто сказал-то, что она Святая Элоиза?

– Но теперь точно, что она, – проверено!

– Дурак ты! Не Святая Элоиза это вовсе, а знаешь кто?

– Кто?

– ***! Та самая, от которой у нас и называется «Отель ***».

Это я, стало быть, молился перед шлюхой, с наполеоновского еще времени знаменитой!

Ну и пускай, вышло-то хорошо. Мы с Марией всласть посмеялись, потолковали и вывели, что Святой Элоизе ничего я не должен. Понятно, не она мне помогла, значит и нечего на свечки ей транжириться. Так что купил я все же свою пачку сигарет».

XVI

Время шло, но «Трактир Жана Котара» не обнаруживал признаков открытия. Однажды, в часы дневного перерыва мы с Борисом туда сходили – все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и троих мрачных кредиторов вместо двоих. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью, при этом очень расторопно обратившись ко мне (его будущей судомойке) и позаимствовав пять франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия «ровно через две недели, день в день!» и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. Дама – уроженка Русской Балтии, метра полтора ростом и в бедрах метр поперек – сообщила нам, что прежде чем опуститься до кулинарии пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности «Хижину дяди Тома»[70].

За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею плонжеров. Жизнь не особенно разнообразная. Без четверти шесть вскакиваешь как ошпаренный, заныриваешь

[70] Любительница английской литературы называет роман американской писательницы Г.Бичер-Стоу.

в заскорузлую от грязи одежду и, немытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брезжит рассвет, фасады темные, лишь изредка светятся окна кафе для работяг. Небо как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают трехметровыми метлами, стаи оборванцев что-то выуживают из помойных баков. Торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц вливаются в подземные входы метро. Мимо угрюмо громыхают переполненные, накренившиеся трамваи. Спешишь вниз к поезду, изо всех сил пробиваешься – в парижском метро в шесть утра надо буквально биться – и, стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до двух дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин.

Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов, нашей знати, все остальные расточали временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины плонжеров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице Сийе, обходившегося лишь по пять с четвертью франков (чуть больше десяти пенсов). Называлось это «взять комплексный обед», детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее. И это был обычный, главный вариант любви. Жениться с доходом плонжера невозможно, а к тонким романтичным чувствам труды в подвалах не располагают.

Потом еще четыре часа под землей и, весь в поту, всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари (фонари в Париже со странным пурпурным отсветом), за рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей, вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов, спешила продолжить путь. Затем вторая за день битва в метро и около десяти дома. Посидев до двенадцати я шел обыкновенно в тот подвальчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое, многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, но арабы обычно дрались между собой и христиан не трогали.

Raki, арабская рисовая водка, стоила гроши; работало это бистро круглосуточно, ибо счастливчики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать.

Вот такова рутинная жизнь плонжера, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал четырьмя франками в день для мелких развлечений, а это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить, – некий отяжеляющий покой, похожий, должно быть, на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь, проще не придумать: сон – работа, работа – сон, и никаких пауз для размышлений, и внешний мир почти не трогает сознания. Париж плонжера это его отель, метро, пара ближайших бистро и кровать. «Выбраться на природу» для него – отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку служанку, угощать ее пивом с устрицами. Выходной – проваляться до полудня, сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или же проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны плонжеру лишь «работенка», выпивка и сон, причем самое главное – поспать.

Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой, я выглянул – внизу распростертое тело, в конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв, череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню какой-то необычный, красно-лиловый как вино, цвет крови; помню, что, возвратясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике (целый день, мне сказали, школьники со всей округи бегали поглазеть). Но что меня теперь, оглядываясь назад, поражает, это то, что спустя три минуты я лег и заснул. Так же как остальные с нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать?

Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле – цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение; не столько отдых, сколько оргия сладострастья. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец. Густо наперченные простыни заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо и они эмигрировали в другие комнаты.

XVII

С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь стать активным членом общества. Субботним вечерком спускаться в бистро «Отеля де Труа Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями.

В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка два гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот, непременно орать во все горло. Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней – пели «Марсельезу», «Интернационал», или «Мадлон», или же «Ягодки и малинки». Азайя, рослая неуклюжая деваха, ломившая по четырнадцать часов на стекольном заводе, затягивала «Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le Charlstone»[71]. Ее подруга Маринетт, смуглая тоненькая гордячка корсиканка, плотно сдвинув коленки, танцевала danse du ventre[72]. Болтавшиеся между столиками старики Ружьеры клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла. Мертвецки бледный Р. тихонько надирался в своем углу. Пьяный Шарль, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной ручке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи. Азартно (проигравший угощал) кидали кости, метали стрелы в мишень. Испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игральный стаканчик об их животы, – на счастье. Мадам Ф. у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана chopines[73], рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп. Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот очень приятное местечко и сейчас собрались тут лучшие из людей.

Постепенно шум несколько ослабевал. Тогда примерно около полуночи раздавалось зычное «Граждане!» и грохот опрокинутого стула. Поднявшийся с налитым кровью лицом светловолосый работяга резко стучал бутылкой по столу. Песни смолкали, вокруг шелестело: «Тс-с! Фуре завелся!». На чудака Фуре, каменотеса из Лимузена, прилежного труженика, раз в неделю накатывал припадок дикого пьянства. Контуженный и потерявший память, забывший все о довоенных временах, он бы давно спился, если бы не благое попечение мадам Ф. В субботу, часов

[71] «Так отплясывала чарльстон, что у нее свалились панталоны» (фр.).
[72] Танец живота (фр.).
[73] Пол-литровые бутылки (разг. фр.).

в пять она посылала кого-нибудь «ловить Фуре, пока получку не спустил», а когда пойманного приводили, отбирала у него деньги, оставляя лишь на одну попойку. Однажды Фуре упустили, и его, напившегося до бесчувствия, свалившегося на площади Монж, едва не насмерть переехал автомобиль.

Особой странностью Фуре было то, что, являясь коммунистом, спьяну он круто выворачивал к бешеному патриотизму. Сев за столик поборником великих интернациональных принципов, после четырех-пяти литров вина вскакивал шовинистом, разоблачал шпионов, призывал громить всех иностранцев, и, не будучи вовремя укрощен, швырялся бутылками. Именно на этой стадии произносились его субботние речи. Всегда одно и то же, слово в слово:

– Граждане Республики! Есть ли тут среди вас французы? Если тут еще есть французы, я поднялся, чтобы напомнить – решительно напомнить о славных днях войны. Пробил час оживить в памяти дни единения и героизма – решительно оживить дни единения и героизма. Пробил час вспомнить павших героев – решительно вспомнить павших героев. Граждане Республики, я сам был ранен под Верденом...»

Здесь он частично раздевался, демонстрируя след своей раны. Гремели аплодисменты. Речи Фуре воспринимались нами как лучшее комическое зрелище. Это был знаменитый на весь квартал спектакль, к началу которого подходили зрители из других бистро.

Ловился Фуре всегда на одну приманку. Кто-нибудь, подмигнув, требовал тишины и просил его спеть «Марсельезу». Он запевал красивым звучным басом, начинавшем взволнованно рокотать на патриотическом призыве «Aux armes, citoyens! Formez vos bataillions!»[74]. Слезы катились по его щекам, наших насмешек он, в стельку пьяный, не замечал. С последней нотой парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступная его кулакам Азайя вопила «Vive l'Allemagne!»[75]. Лицо патриота до черноты багровело от такого позора. Зрители хором кричали «Vive l'Allemagne! À bas la France!»[76], и Фуре яростно рвался до них добраться. Но вдруг он портил всю потеху: бледнел, грустнел, тело мгновенно обмякало и, бессильное, извергало на стол потоки рвоты. Мадам Ф., взвалив подопечного как куль, тащила его к постели – утром Фуре появится тихим и смирным, купит обычный свой номер «Юманите»[77].

[74] «К оружию, граждане! В отряды собирайтесь!» (фр.).
[75] Да здравствует Германия! (фр.).
[76] Долой Францию! (фр.).
[77] Газета французской компартии.

Столики протирались тряпкой, мадам Ф. приносила батареи бутылок и караваи хлеба, мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни. Бродячий музыкант играл на банджо, пять су за номер. Пришедшие из бистро в конце улицы араб с подругой исполняли танец, где кавалер манипулировал раскрашенным деревянным фаллосом размером со скалку. В шуме все чаще появлялись паузы. Начинались беседы, обсуждались любовь, война, подходящие удочки для Сены, лучшие методы faire la révolution[78]. Наперебой излагались истории. Успевший протрезветь Шарль захватывал здесь лидерство и минут пять разглагольствовал о своей душе. Двери и окна отворялись проветрить комнату. С пустынных улиц слышалось, как вдали по бульвару Сен-Мишель громыхает молочный обоз. Ветерок освежал лбы, скверное африканское вино еще хлебалось с удовольствием, нам еще было хорошо, но уже созерцательно; ни орать, ни смеяться больше не хотелось.

К часу ночи ощущение счастья явно меркло. В погоне за уходящим весельем мы снова требовали вина, и мадам Ф. снова его приносила, но все уже было не то. Мужчин тянуло на скандал. Девушки, которых начинали донимать поцелуями и грубо лапать, во избежание худшего удирали. Большой Луи, нализавшись, ползал на четвереньках, гавкая, изображая собаку. Надоевшего, путавшегося в ногах, его раздраженно пинали. Собеседники выясняли отношения, хватая друг друга руками и сердясь на то, что их плохо слушают. Толпа редела. Мануэль с другими столь же азартными парнями переправлялись в арабское бистро, где игроки сидели до рассвета. Шарль, заняв у мадам Ф. тридцать франков, внезапно исчезал, вероятно в бордель. Один за другим люди допивали стаканы и, коротко распрощавшись «...sieurs, dames!», шли спать.

К половине второго последние капли праздника испарялись, оставляя лишь головную боль. Мы больше не были счастливыми гостями счастливейшего из миров, просто жалкими работягами, которые тупо, угрюмо напились. И вино, которое мы еще продолжали лить себе в глотку, делалось гнусным пойлом. Голова пухла, как резиновый шар, пол качался, рот от пятен вина синел, будто измазанный чернилами. Продолжать становилось вконец бессмысленно. Некоторых, выходивших из бистро на задний двор, тошнило. Мы кое-как доползали до наших коек и, успев лишь наполовину снять одежду, сваливались часов на десять.

Большинство моих субботних вечеров проходило именно так. И в общем, парочка часов безумного ликующего счастья стоила тяжкой

[78] Совершить революцию (фр.).

похмельной расплаты. В нашем квартале для многих, бессемейных и о семье не помышлявших, еженедельная крепкая пьянка была единственным, что делало эту жизнь годной для проживания.

XVIII

На очередном субботнем собрании в бистро малыш Шарль недурно нас развлек. Надо бы видеть его – пьяного, но несокрушимо красноречивого, как он стучит по цинковой буфетной стойке и громогласно требует тишины:

«Тише, messieurs et dames, потише, умоляю! Позвольте предложить вашему благосклонному вниманию историю – замечательную, поучительную историю, одну из памятных вех изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, messieurs et dames!

Это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково – дьявольски скверно! – личности сложной и утонченной в подобных обстоятельствах. Денежный перевод от семейства задерживался, все заложено до нитки и никакого выхода кроме жуткого варианта идти работать, что для меня абсолютно исключено. Жил я тогда с девицей по имени Ивонн – здоровенная безмозглая деревенщина вроде нашей Азайи, соломенные волосы и ноги бревнами. Оба мы третий день ничего не ели. Mon Dieu, невыразимые страдания! Девица, прижав ручищи к брюху, моталась туда-сюда по комнате, мерзким собачьим воем выла, что помирает с голода. Мрак и ужас.

Но человеку мыслящему нет преград. Я задал себе вопрос: «Как легче всего заработать, не трудясь?». Незамедлительно возник ответ: «Легче всего, если быть женщиной; у женщин всегда найдется чем поторговать, не так ли?». И вот, в процессе размышлений о том, что бы я сам предпринял, будучи женщиной, пришла идея – государственный Дом материнства. Вам, господа, знакомы эти учреждения? Там женщину enciente[79], не донимая расспросами, кормят даром. Поощряют деторождение. Любой беременной достаточно прийти и попросить – ее тут же накормят.

Mon Dieu, подумалось мне, если бы я только был женщиной! Я бы питался в таком заведении каждый день. Разве возможно без обследования распознать, реальна ли беременность? Зову Ивонн:

[79] Беременная (фр.).

– Прекрати свой невыносимый вой! Я придумал, как раздобыть еды.

– Как? – спрашивает она.

– Очень просто. Приходишь в Дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей.

Ивонн перепугалась:

– Mais, mon Dieu! Я ведь не беременна!

– Так что же? – объясняю ей. – Какие трудности? Что тут нужно кроме подушки, в крайнем случае – двух? Это внушение свыше, ma chere. Не просто так.

Ну, наконец уговорил; пристроили подруге подушку на живот, и я отвел Ивонн в дом материнства. Встретили ее там с распростертыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивонн налопалась так, что едва не треснула, сумев тихонько насовать по карманам хлеба и сыра для меня. Я ее ежедневно туда водил, пока деньги из дома не пришли. Мой интеллект нас спас.

Все прошло замечательно, но год спустя (я еще жил с Ивонн) мы как-то возвращались от бульвара Порт Руаяль вдоль казарм. Вдруг Ивонн, разинув рот, заполыхала, побелела, покрылась пятнами.

– Господи! – хрипит. – Погляди, кто идет! Это ж старшая медсестра из госпиталя. Мне конец!

– Мигом, – командую я, – смываемся!

Но поздно. Медсестра узнала Ивонн и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пенсне и щеки парой красных яблок. Этакая мамаша – наивреднейший женский сорт. Сияет и воркует:

– Хорошо ли вы себя чувствуете, ma petite? Младенец тоже, надеюсь, здоров? Это мальчик, как вам хотелось?

Ивонн так затрясло, что пришлось руку ей намертво стиснуть. Лепечет еле-еле:

– Нет...

– Ах вот как, значит, évidemment – девочка?

Ивонн совсем голову потеряла и – дура полная! – опять:

– Нет...

Медсестра, отшатнувшись, кричит:

– Comment![80] Не мальчик и не девочка? А кто же?

[80] Как же это! (фр.).

Теперь вообразите, messieurs et dames, опасность положения. Ивонн багровая как свекла и вот-вот разревется; еще секунда – во всем признается. И только небо знает, что последует. Однако я – у меня голова всегда на месте. Я вмешиваюсь и спасаю ситуацию:

– Родилась двойня! – твердо говорю я.

– Двойняшки? – восклицает медсестра и кидается к Ивонн, обнимает, целует в буйном восторге.

Да, господа, двойняшки...»

XIX

Мы проработали в»Отеле Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Риволи, он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу:

– Ура, свобода, mon ami! Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается.

– Завтра?

– Ну, денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было – кафетерию конец! Nous voilà lancés, mon ami![81] Фрак свой я уже выкупил.

Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто, да и терять прочное место в «Отеле Икс» нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что назавтра заявил об увольнении, а послезавтра в семь утра отправился к «Трактиру Жана Котара». Все заперто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище на улице Круа Нивер; нашел – спящим, причем с девицей, которую он подцепил ночью и у которой, как он успел шепнуть, оказался «весьма подходящий темперамент». О ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи.

В десять удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих «кое-каких мелочей», коротко говоря – никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели, кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше чем через десять дней ресторан мог открыться только чудом, а реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна:

[81] Мы все-таки прорвались, друг мой!

сидевший без гроша патрон нанял нас (четверых штатных служащих), чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалования не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить пока, за отсутствием кухни, не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу ради пустышки.

Борис, однако же, горел надеждой. Его обуревала единственная мысль – возможность вновь сделаться официантом и нарядиться во фрак. Во имя этого он рвался трудиться десять дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным. «Терпение! – продолжал он твердить. – Все само собой образуется. Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, mon ami!».

Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы – водопровод, газ, электричество – стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совершенно издержался – отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа создавало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспрестанно навещавшим его меланхоличным кредиторам мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу, или же Фонтенбло, или каком-либо ином достаточно отдаленном месте. Мне, между тем, становилось все голоднее. Уволившись с тридцатью франками в кармане, я должен был опять перейти на сугубо хлебную диету. Борис вначале смог авансом вытащить из патрона шестьдесят франков, но половину он сразу потратил, выкупив фрак, а другой половиной вознаградил девицу подходящего темперамента, и теперь ежедневно занимал у Жюля, второго официанта, по три франка на хлеб. Несколько суток нам пришлось обходиться даже без табака.

Иногда заходила взглянуть, как движутся дела, ресторанная повариха и, обозрев по-прежнему пустую, голую кухню, ударялась в слезы. Второй официант Жюль – бывший студент-медик, оставивший учебу из-за нехватки средств, – наотрез отказался помогать с обустройством. Это был венгр, смугловатый и быстроглазый парень в очках, очень болтливый. Особенно любивший поговорить, когда другие трудятся, он рассказал все о себе и собственном мировоззрении. Исповедовал он коммунизм, хотя в форме крайне причудливой (как дважды два мог доказать вам, что труд это есть зло и вред), к тому же отличался чисто венгерской

неукротимой гордостью. Лень и гордыня не лучшие свойства для официанта. Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп, после чего, не дожидаясь увольнения, прошествовал на выход.

День ото дня Жюля все больше распаляли трюки ловчившего с нами патрона. Все выше бил фонтан гневливой трескотни. Рубя воздух взмахами кулака, агитатор подстрекал меня к бунту:

«Брось ты швабру, не дури! Мы с тобой дети гордых народов, бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные! Мне, ты пойми, все это надувательство хуже пытки. Со мной, бывало, кто-нибудь сплутует хоть на пять су, так меня рвет – да, рвет от бешенства.

И ты, mon vieux, не забывай – я коммунист! À bas les bourgeois![82] Кто видел, чтоб я что-то делал, если можно не делать? Никто и никогда. И я не только не позволю пахать на себе, как болваны вроде тебя, но докажу свою свободу – украду просто из принципа. Однажды занесло меня в ресторан, где хозяин решил, что я ему пес покорный. Ну ладно, я тогда придумал, как вскрывать и опять незаметно запечатывать молочные бидоны. С вечера до утра, клянусь, возился около этого молока, хлебал его в день по четыре литра да еще сливок пол-литра. У хозяина уже ум за разум: куда девается? И не то что хотелось мне молока – материальное, ты понимаешь, я презираю, – принцип, только из принципа.

Ну вот, дня через три такая резь началась в животе, что побежал к врачу. «Что вы едите?» – спрашивает врач. – «Пью ежедневно четыре литра молока, пол-литра сливок.» – «Четыре литра?! Немедленно прекратите, у вас желудок лопнет.» – «Ха, вот беда какая! – отвечаю врачу. – Для меня принцип это все. Пусть даже лопну, но пить молоко не перестану».

Ну, а на следующий день хозяин ловит меня на краже, объявляет: «Я увольняю вас, уйдете в конце недели». – «Пардон, – говорю, – сударь, ухожу я прямо сейчас». – «Нет, – возражает он, – вы обязаны здесь отработать до субботы». Что ж, отлично, думаю, дорогой хозяин, мы посмотрим, кто от кого быстрей устанет. И начал как бы ненароком посуду ему колотить. Разбил за день девять тарелок, назавтра еще тринадцать – тут уж хозяин счастлив был со мной проститься.

Вот так, я не какой-то русский мужик»...

Минуло десять дней. Стало совсем невесело. Деньги у меня кончились совершенно, с платой за жилье я уже почти на неделю запазды-

[82] Долой буржуев! (фр.).

вал. Слишком голодные, то есть работники никчемные, мы лишь слонялись по унылым пустым комнатам. Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метрдотеля им был измышлен такой сюжет: патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятной игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону, сказал, что больше без аванса работать не могу. Неизменно любезный, патрон охотно обещал и тут же по своему обыкновению исчез. Я поплелся было домой, но почувствовал себя неспособным объясняться с мадам Ф. насчет долга, вследствие чего ночевал на бульваре. Очень некомфортабельно (ребра скамейки врезаются вам в зад) и много холоднее, чем я предполагал. До рассвета вполне хватило времени истерзать себя мыслями о том, почему я, дурак, сам, добровольно отдался в лапы этих русских.

А утром счастливый поворот. Патрон, видимо, пришел к соглашению с кредиторами, так как явился при деньгах, дал ход дальнейшим ремонтным работам и выплатил мне аванс. Купив макароны и кусок конской печенки, мы с Борисом впервые за десять дней поели горячего.

Все недоделки устранялись спешно, с халтурностью неописуемой. Столы, например, требовалось покрыть байкой, но, сочтя байку слишком дорогой, патрон закупил кучу старых, навеки провонявших потом солдатских одеял – под дорогими скатертями «в нормандском стиле» кто увидит? Накануне открытия мы до двух ночи принимали оборудование. Посуду, привезенную со склада лишь в восемь вечера, необходимо было еще перемыть. Поскольку доставка столовых приборов, салфеток, полотенец откладывалась до утра, тарелки вытирались рубашкой патрона и рваной наволочкой консьержки. Работали только я и Борис. Жюль прятался, патрон с супругой, кое-кем из кредиторов и компанией русских друзей сидели в баре, пили за удачу. Повариха, уткнувшись лбом в кухонный стол, рыдала – клиентов предполагалось человек пятьдесят, а плошек-поварешек едва хватало на десятерых. Чуть за полночь возник бурный конфликт с поставщиками, решившими конфисковать восемь взятых в кредит медных кастрюль. Жестоких кредиторов удалось смягчить парой стаканов бренди.

Опоздав на метро, мы с Жюлем спали подле кухонных плит. И первое, что утром предстало взору, – две громадные крысы, восседающие на столе и грызущие неубранную ветчину. Почудилось дурное предзнаменование, у меня сомнений не осталось в верной скорой погибели «Трактира Жана Котара».

XX

Взяли меня в «Трактир» плонжером, то есть я должен был мыть посуду, убирать кухню, чистить овощи, готовить чай, кофе, бутерброды, помогать у плиты и бегать с поручениями. Условия стандартные – пятьсот франков в месяц плюс кормежка, но никаких выходных и бесконечный рабочий день. Увидевший в «Отеле Икс» высший класс ресторанного дела, умело организованного при больших вложенных капиталах, я теперь познакомился с рестораном самого дрянного свойства. Об этом стоит рассказать, ведь каждому гостю Парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях, коих здесь сотни.

Следует добавить, что «Трактир» не принадлежал к сорту обыкновенных недорогих столовых для студентов и пролетариев. У нас в меню блюда дешевле двадцати пяти франков не значилось, нас возвышал жанр изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное средневековье (с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, «крестьянскими» расписными горшками и даже кованым дверным засовом), патрон и метрдотель русские офицеры, публика главным образом из русских эмигрантов – короче, мы решительно являли шик.

За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем неизбежного в наших рабочих условиях.

Кухня всего метров двенадцать и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться. Единственный мусорный ящик к полудню переполнен, пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов.

Газовых плит лишь три и без духовок; запечь что-либо посылали в соседнюю пекарню.

Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс.

Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда, и основную часть посуды я мыл холодной водой. При том что мыло липло, но не мылилось, подручным средством очистки от жира служили клочья газеты.

Кастрюль катастрофически не хватало, и, едва очередная пустела, нужно было тут же, не оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это означало примерно час ежедневной лишней работы.

Из-за каких-то плутней с электропроводкой, свет в кухне около

восьми вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам три свечки, но поскольку повариха, сплоховав, три и попросила, рачительный хозяин позволял только две.

Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бистро, наши метлы и мусорный ящик – у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долга прачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозила неприятностями инспекция по труду (после ряда приватных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой). Агенты все еще осаждавшей счетами электрической компании, разведав, что их подкупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если б супруга бакалейщика, усатая дама лет шестидесяти, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого каждый день первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних часов у раковины, я в том же духе терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс.

Естественные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот в таких условиях нам с поварихой нужно было кормить по тридцать-сорок посетителей, число которых могло возрасти до сотни. Задача, сразу стало ясно, непосильная. У поварихи рабочий день длился с восьми утра до полуночи, у меня – с семи до половины первого (больше семнадцати часов, практически без перерыва). Раньше пяти вечера даже присесть нам было некогда, а потом если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с восьми утра до двух ночи – по восемнадцать часов все семь дней недели; режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный.

Новая будничная колея быстро стала привычной, заставляя вспоминать об «Отеле Икс», как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицо, мчался к Пляс Итали и пробивался в метро. В семь оказывался среди мерзости запустения холодной, промозглой кухни – на полу месиво картофельных очисток и рыбьей требухи, на столах груды склеенных застывшим жиром грязных тарелок. С тарелок я, однако, пока вода не согреется, начать не мог и, притащив молоко, варил кофе для приходивших в восемь и рассчитывавших найти кофе горячим. Кроме того всегда требовалось вычистить несколько медных кастрюль. Эти посудины из меди – проклятие плонжеров, их вначале минут по десять каждую отскребаешь цепями и песком, а затем полируешь специальной пастой. Слава богу, искусство их изготовления пришло в упадок, и постепенно они исчезают с французских кухонь, хотя отдельные шедевры еще можно разыскать у старьевщиков.

Только я начинал мыть тарелки, повариха требовала оставить посуду и срочно чистить лук, но только я приступал к луку, заглянувший патрон отправлял меня на базар купить капусты. Принеся капусту, я получал распоряжение жены патрона сходить в дальнюю лавку за банкой маринованных томатов; к моменту возвращения выяснялась нехватка каких-то других овощей, а посуда так и стояла немытой. Подобным образом мы громоздили кучи работы, ничего толком не успевая.

До десяти все шло сравнительно легко, мы торопились, но еще не раздражались. Повариха еще находила время поговорить о своей артистической натуре, выразить несогласие с тем, что Лев Толстой писатель épatant[83], и, кроша мясо на дощечке, напевать высоким чистым сопрано. Однако в десять, когда полагалось кормить завтраком официантов и всего час оставался до прихода первых клиентов, налетал вихрь нервотрепки. Не тем неистово ревущим ураганом, что поднимался в «Отеле Икс», а бестолковой суетой, досадой, злобной мелочной склокой. В основном, из-за неудобства. Теснота жуткая, кушанья приходилось расставлять на полу и постоянно думать, как бы на них не наступить. То и дело толчки объемистого зада поварихи, сновавшей туда-сюда и беспрерывно меня распекавшей:

«Немыслимый идиот! Сколько раз говорить, со свеклой осторожней – сок вытечет! Ну-ка брысь, к раковине дай пройти! Нечего ножи чистить, срочно займись картошкой. Куда ты сунул мое сито? Брось картошку, кто за тебя будет пену снимать с бульона? Забирай скорее свой кипяток и мой посуду. Потом мыть будешь, поруби мне сельдерей. Нет, не так, болван, а вот так! Ну конечно! Опять горох у него выкипел! Все брось и срочно займись селедкой. Тарелки вымоешь когда-нибудь? С фартука у себя гадость эту сотри! Поставь салат на пол. Поставил прямо так, чтобы я вляпалась! Смотри же, снова перекипает! Кастрюлю мне достань. Не ту, другую! Ставь сюда. Унеси очистки. Время зря не трать, кидай их на пол. Да, под ноги! Хоть бы опилок, идиот, подсыпал – пол уже как каток. Ослеп? Не видишь, бифштекс горит? Mon Dieu, за что мне в наказание такой кретин? Что? Кто я? Ты хоть понимаешь, что тетушка моя была русской графиней?..».

Подобным образом до трех, довольно монотонно, за исключе-

[83] Потрясающий (фр.).

нием настигавшего повариху около одиннадцати crise de nerfs[84] с морем слез. После двух до пяти затишье для официантов, но у поварихи по-прежнему масса хлопот, а для меня пик напряжения возле гор грязной посуды, которую (всю или уж по крайней мере почти всю) надо было успеть вымыть к обеду. Труд мой осложнялся первобытной оснасткой: узенький подсобный столик, чуть теплая вода, мокрые полотенца и ежечасно наглухо забивавшейся слив. К пяти мы с поварихой, еще не евшие, ни разу не присевшие, буквально валились с ног и рушились – она на мусорный ящик, я на пол. Выпивали бутылку пива, взаимно извинялись за некоторые недавние резкие выражения. Силы наши давно иссякли бы без чая, который всегда прел на плите и поглощался многими пинтами.

С половины шестого снова гонка и опять свары, еще более злобные ввиду общей усталости. Очередные crises de nerfs у поварихи (ровно в шесть и ровно в девять, можно было часы сверять). Повалившись на мусорный ящик, повариха истерично рыдала с криком, что никогда – нет! никогда! – не помышляла дойти до такой жизни, что нервы ее не выдержат, что она училась музыке в Вене, что у нее на руках прикованный к постели муж... В иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры (и в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис, как старший официант, претендовал на соответственное увеличение своей доли чаевых); уже на следующий день после открытия они начали драку из-за двух франков, мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер, – патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжений о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмена, – дело, которое им исполнялось в совершенстве.

Поесть нам в кухне удавалось только после десяти вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, хныча о погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже уходил в полночь, после очередных, ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до двух. С двенадцати до половины первого я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени

[84] Нервного припадка (фр.).

не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. Что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался либо мимоходом заталкивал самую гнусную подальше, под плиту.

В половине первого, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно останавливал патрон, сама любезность: «Mais, mon cher monsieur[85], у вас такой усталый вид! Окажите мне честь, позвольте предложить вам стаканчик бренди».

Стаканчик предлагался столь учтиво, будто я не плонжер, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по семнадцать часов в сутки.

Последний поезд метро обычно шел полупустым – немалое преимущество, позволявшее наконец сесть и дремать минут пятнадцать. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу, но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике.

XXI

Так (с некоторым возрастанием нагрузки ввиду притока посетителей) прошло около двух недель. Я выгадал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном. Дней через десять, улучив минуту, я написал своему другу Б., просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать более пяти часов. Семнадцатичасовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться – отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно к тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме и не пару недель, а годами. В бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с семи утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чахоткой, умерла вскоре после моего отъезда из Парижа.

Недели не прошло, как от запарки все мы, кроме вечно скрывавшегося Жюля, сделались неврастениками. Ругань, поначалу периоди-

[85] О, сударь мой дорогой (фр.).

ческая, стала устойчивым климатом, морося беспросветным нудным дождем с порывами шквалистых ливней. «Дай мне кастрюлю, идиот!» – орала повариха (с ее ростом полки были недосягаемы). – «По шее тебе дам, старая шлюха», – отвечал я. Такие реплики рождались как бы сами собой, из атмосферы нашей кухни.

Ссорились мы по причинам невообразимо мелочным. Постоянным источником раздоров являлся, например, мусорный ящик – где ему стоять: возле плит и мешая поварихе, как хотел я, или же между мной и раковиной, как хотела моя противница. Однажды она зудела и зудела, пока я, исключительно назло ей, не схватил ящик, установив его в самом центре, чтобы она об него спотыкалась:

– Ну что, кляча? Не нравится – передвинь!

Бедняга, ей, конечно, не под силу была такая тяжесть, и, припав головой к столу, она зашлась надрывным ревом. А я глумился. Характерный пример того, как усталость берет верх над хорошим воспитанием.

Довольно скоро прекратились речи поварихи о Толстом, о ее артистической натуре, диалоги наши свелись к темам сугубо производственным, закончились также беседы Бориса и Жюля, и оба они перестали говорить с поварихой. Даже у нас с Борисом пошли разговоры сквозь зубы. Хотя мы заранее условились, что всякие служебные engueulades не в счет, однако чересчур сильные выражения срывались порой с языка, забыть их было трудновато, да и времени остыть, позабыть не было. Жюль совершенно погряз в лени и непрерывно крал еду – из чувства долга, подчеркивалось им. Нас, остальных, когда мы уклонялись от соучастия в покражах, он называл jaunes (штрейкбрехерами). Жюля обуревал своеобразный дух мщения и гнева; с чувством законной гордости он сообщил мне, что частенько перед тем как подать клиенту суп отжимает над тарелкой грязную мокрую тряпку – мстит представителям клана буржуазии.

Кухня все больше зарастала грязью, крысы, невзирая на несколько попавших в капканы жертв, наглели. Окидывая взглядом эту мерзость, с ошметками сырого мяса на полу, с нагромождением остывших сальных кастрюль, с липкой, забитой помоями раковиной, я сомневался, есть ли в целом мире ресторан столь же гнусный. Трое моих коллег, однако, дружно утверждали, что видели и погнусней. А Жюль, тот положительно наслаждался всяким кухонным безобразием. После полудня, когда делать ему было нечего, любил торчать в дверях, издеваясь над нашим рвением:

– Балда! Зачем их мыть, эти тарелки? Оботри об штаны. Какой смысл о клиентах заботиться? *Они* про наши дела знать не знают. Ведь

что такое ресторанная работа? Разрезаешь клиенту цыпленка, птичка выскальзывает на пол – извиняешься, кланяешься и уносишь. Через пару минут появляешься из другой двери – с тем же цыпленком. Вот что такое ресторанная работа!..

И как ни странно, при всей грязи, неумелости «Трактир Жана Котара» явно имел успех. Сначала нашими гостями были сплошь русские, друзья патрона, за ними потянулись американцы и другие иностранцы (но не французы). Наконец однажды вечером смятение, переполох – пожаловал первый француз. На время даже наши свары смолкли, все сплотились в усилии подать достойный ужин. Борис на цыпочках вбежал на кухню и, тыча большим пальцем через плечо, конспиративно прошептал:

– Ш-ш! Attention, un Francais![86]

Секундой позже заглянула жена патрона, шепча:

– Attention, un Francais! Уж позаботьтесь – и зелени и овощей двойную порцию.

Пока француз ел, патрон со своей супругой через окошко кухни наблюдали за выражением его лица. Назавтра француз привел еще двоих французов, и это означало обретение солидной репутации (вернейший признак скверного ресторана – исключительно иностранные посетители). Возможно, успех нашего заведения более всего объяснялся тем, что в миг единственного проблеска разума патрон купил столовые ножи, действительно способные что-либо резать. Пресловутый с*екрет* успешного ресторана, без сомнения, в острых ножах. Разгадка этой тайны меня порадовала, развеяв одну из чрезвычайно стойких моих иллюзий, а именно ту, что французы знают толк в настоящей еде. Или же, по меркам Парижа, наш ресторан *действительно* был весьма неплохим? «Плохие» в таком случае трудно даже вообразить.

Буквально через несколько дней после письма к Б. был получен ответ от лондонского друга, который некое местечко мне подыскал. Присматривать за врожденным дебилом – на фоне «Трактира Жана Котара» просто отдых в курортном санатории. Тут же фантазия моя нарисовала гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков чертополоха, жаркое из ягненка, пирог с патокой, сон по десять часов в простынях, благоухающих лавандой... Приятель посылал также пять фунтов купить билет и вызволить из ломбарда одежду, и, едва деньги прибыли, я вмиг, только за день предупредив, покинул ресторан. Мой столь внезапный и

[86] Внимание, француз! (фр.).

стремительный уход смутил патрона, бывшего как всегда не при деньгах, недоплатившего при расчете тридцать франков. Но мне предложен был стаканчик «Курвуазье» сорок восьмого года, что патрон, видимо, счел достаточным возмещением. Вместо меня наняли чеха, плонжера опытного, а беднягу повариху месяц спустя уволили. Позднее, как я слышал, с двумя профессионалами на кухне рабочий день плонжера сократился там до пятнадцати часов. Укоротить и этот срок без полной модернизации хозяйства не сумел бы никто.

XXII

Стоит вообще поразмышлять о жизни парижского плонжера. Если задуматься, то очень странно, что тысячи жителей громадной передовой столицы тратят все часы бодрствования на мытье тарелок в душных подземных норах. Вопрос, который я хочу поставить, – для чего? Кому все это нужно и зачем? Не собираюсь возмущаться в красивой позе, попытаюсь выяснить реальный жизненный смысл.

Начать, видимо, надо с того, что плонжер – один из рабов современной цивилизации. Не обязательно о нем скулить на каждом слове (плонжер частенько зарабатывает больше иного землекопа, лесоруба), но все-таки он так же несвободен, как если бы им торговали. Труд его рабский и тупой, он получает ровно столько, сколько нужно для поддержания сил, единственная его радость в украденных кусках. Жениться он не может, либо, если уж женится, жена тоже должна работать. Кроме каких-то редкостных удач, сбежать плонжеру от своей участи некуда, разве что за решетку. И сейчас в Париже немало университетских выпускников, отмывающих тарелки по десять, по пятнадцать часов в день. Объяснять это личной склонностью к безделью нельзя – бездельники в плонжеры не идут; просто людей подмяло будничной рутиной, отключившей сознание. Если бы плонжеры сохраняли способность думать, они давно бы создали профсоюз и бастовали, добиваясь лучших условий. Однако они не думают, досуга не имеют для подобных занятий. Их режим и делает из них рабов.

Но для чего же такое рабство? Принято заранее полагать, что любые труды направлены к разумной цели. Случится увидеть кого-то за работой трудной и неприятной, сразу вывод – это необходимая работа. Шахтерский труд, например, очень тяжек, однако он необходим, нам нужен уголь. Копаться в трубах с нечистотами малоприятно, но ведь

обязательно надо и там работать. Так же судят о плонжерах: раз кто-то должен пользоваться рестораном, кто-то другой должен посуду драить восемьдесят часов в неделю, и нет вопросов – требование современной культуры. С этим пунктом следует разобраться.

Действительно ли для культурной жизни позарез требуется труд плонжеров? Всякую черную тяжелую работу мы почему-то склонны считать «честной», мы прямо-таки поклоняться готовы деяниям крепких мозолистых рук. Человек рубит дерево, и мы, завороженные картиной работающих мускулов, уверены, что делается дело необходимое, полезное, в голове даже не мелькает, что, быть может, прекрасное живое дерево губят с целью водрузить на его месте гипсовую лепнину. Нечто подобное при взгляде на плонжера. Но капающий со лба труженика пот еще не гарантирует полезности трудовых действий. Масса сил, вполне вероятно, тратится лишь на роскошь, которая зачастую и роскошью-то не является.

В пример такой отнюдь не блистательной роскоши приведу крайне выразительный, поражающий европейцев факт. Представьте индийского рикшу, запряженного в повозку человека-пони. На улицах любого центра Юго-Восточной Азии их сотни – щуплых, дочерна смуглых доходяг в жалких отрепьях. Многие явно больны, многим уже явно за пятьдесят. Под солнцем и под ливнем рысью носятся долгие часы без передышки: голова вниз, руки судорожно вцепились в дышло, пот ручьем по седым усам. Недостаточно резвых раздраженно бранят словечком «bahinchut» (грубейшее местное оскорбление[87]). Зарабатывают рикши по тридцать-сорок рупий в месяц и за несколько лет выхаркивают свои легкие. Изможденные люди-пони быстро надрываются, превращаясь в ни на что не годный хлам. Их силы господа подпитывают заменяющим кормежку хлыстом. Тут беговая скорость по формуле «еда плюс кнут равняется энергии», причем кнута процентов шестьдесят, а еды – сорок. Шея человека-пони порой сплошная язва, его кожа под упряжью стирается до кровоточащего мяса. И тем не менее он еще может бегать, надо только нахлестывать так, чтобы боль ударов по спине была сильнее боли в груди. А если уж и хлыст не помогает, пора сдавать клячу на живодерню. Вот образчик ненужного труда, ведь никакой действительной необходимости в рикшах нет, люди-пони существуют лишь потому, что на Востоке так принято. Они для роскоши, и каждый, кому доводилось ездить в их повозках, знает, сколь этакая роскошь убога. Ничтожный,

[87] Подробнее см. прим. к стр. 172, прим. 116.

мизерный комфорт за счет повального голода, вынуждающего нищих страдать с терпением и равнодушием жвачных животных.

Возвращаясь к плонжеру. В сравнении с рикшой он конечно король, однако случай аналогичный. Это раб отеля или ресторана и рабство его в общем-то без надобности. Есть ли, в конце концов, *жизненная* потребность в шикарных ресторанах и отелях? Предполагается, что они дарят мир удовольствий, но ведь дарят они только дрянную пошлую имитацию. Недаром большинство людей гостиницы терпеть не может. У каких-то ресторанов кухня получше, но за деньги, которые с вас там сдерут, домашняя еда будет значительно вкуснее. Рестораны и отели безусловно нужны, и все же нет необходимости сгонять туда толпы рабов. А почему без них не обойтись? А потому что надо обязательно пускать клиентам пыль в глаза. Демонстрировать «шик» – попросту говоря, раздувать штат прислуги и соответственно поднимать цены. Выгодно исключительно владельцу, который купит себе славненькую виллу в Довиле. По сути, «шикарный» отель это такое место, где сотня людей дьявольски вкалывает, чтобы сотни две других людей, морщась, оплачивали то, в чем вовсе не нуждаются. Если бы в ресторанах и отелях отказались от ерунды и занимались только делом, плонжеры управлялись бы с работой не за десять-пятнадцать часов, а всего за шесть или восемь.

Допустим, мы установили, что труд плонжера, в общем, бесполезен. Тогда откуда, спрашивается, желание сохранять этот вид труда? Попробую, не трогая причин чисто экономических, показать, каким милым ощущением может сопровождаться мысль о людях, обреченных всю жизнь соскребать грязь с тарелок. Ведь многим (многим из живущих весьма неплохо) эта мысль несомненно мила. Как утверждал Катон[88], раб должен работать всегда, когда не спит. Нужен или не нужен его труд, неважно; он должен работать, так как работать само по себе хорошо – для рабов, во всяком случае. Тезис живучий, на его основе и наворочены горы всяческой бесполезной траты сил.

Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться. У богатых людей, склонных к честному размышлению, вопрос об улучшении жизни работяг обычно вызывает следующий ход мыслей:

«Да, разумеется, нищета очень огорчительна. А впрочем, эта неприятность нас не касается и грусть об этом не особенно мешает всем нашим радостям. И что-то делать, переделывать мы совершенно не собираемся. Нам жаль вас, бедные низшие классы, жаль вас, как киску в лишаях, но мы зубами и когтями будем драться против любого улучшения вашей жизни. В нынешней ситуации вы явно не столь опасны. Сейчас мы общим положением дел довольны и не рискнем увеличивать вашу вольность хотя бы на час в день. Так что, братья дорогие, придется уж вам попотеть, отрабатывая наши прогулки по Италии. Потейте, и черт с вами!».

Такова же позиция умных и образованных, в чем легко убедиться, читая сотни интеллектуальных эссе. Высокообразованные люди редко имеют меньше четырех сотен фунтов в год и, естественно, держат сторону богачей, воображая, что свобода бедняков угрожает их собственной свободе. Полагая альтернативой некий мрак марксистской социальной утопии, человек тонкого воспитания предпочитает оставить все по старому. Его, возможно, не приводят в восторг повадки богачей, но даже их вульгарность ему ближе и менее обременительна, чем проблемы нищих трудяг. Из-за боязни предположительно опасной толпы почти всякий образованный умник становится консерватором.

Страх перед толпой – страх суеверный, он основан на убеждении в непостижимом коренном отличии расы богатых от расы бедных. Но нет ведь никакой такой границы. Деление на бедных и богатых определяется доходом, лишь его суммой; рядовой миллионер – тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Поменяйте их местами и кто есть кто? Где грязь, где князь? Все это станет очень ясно, если сам без гроша покрутишься среди народа малоимущего. Но беда в том, что люди с образованием и воспитанием, люди, вроде бы призванные утверждать либеральные взгляды, никогда среди бедных не обретаются. Вообще, что большинство культурных граждан знает о бедности? Для публикации моего перевода стихов Вийона вдумчивый редактор счел нужным дать специальный комментарий к строчке «Ne pain ne voyent qu'aux fenestres»[89] – настолько непонятен ценителям поэзии голод. С подобными пробелами в знаниях суеверный ужас перед толпой взрастает вполне органично. Образованному человеку видятся орды полузверей, рвущих рабские цепи лишь затем, чтобы разграбить его дом, сжечь его книги, а самого его заставить работать у станка или чистить уборные. «Пусть что

[88] Марк Порций Катон (Старший, или Центор) – консул 195 г. до н. э., историк, оратор, автор руководств по различным отраслям практической деятельности.

[89] «В любом окне видящий только хлеб» (фр.). Из поэмы Ф. Вийона «Большое завещание»; в русском переводе Ф. Мендельсона это строчки «Но в сердце мрак и пуст живот, Он не наполнен и на треть, На девок ли теперь глядеть...» (Ф. Вийон. Стихи. М., 1963, с. 71).

угодно, – думает человек образованный, – пусть любая несправедливость, только бы удержать толпу в узде». Не видится, что при отсутствии врожденных различий между массами богачей и бедняков нет и проблем освободившейся толпы. Толпа фактически уже теперь свободна – толпа богатых, своей властью учредивших громадные каторжные цеха типа «шикарных» отелей.

Подведем итог. Плонжер – раб, причем раб никчемный, исполняющий тупую, в основном бесполезную, работу. Его держат при таком деле, главным образом, из-за смутного подозрения, что, получив больше досуга, он может стать опасным. И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются. Я говорю о плонжере, рассмотрев именно его случай, но то же в равной степени применимо к бесчисленному множеству профессий. Это лишь мое собственное мнение насчет причин существования плонжеров, соображения вне важнейших вопросов экономики и несомненно весьма банальные. Просто кое-что из мыслей, навеянных трудами у ресторанной кухонной раковины.

XXIII

Покинув «Трактир Жана Котара», я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил подстричься, выкупил одежду из ломбарда. И два дня восхитительного безделья. Я даже, надев лучший свой костюм, посетил наш «Трактир» – небрежно прислонившись к стойке бара, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов. Борис очень жалел, что я уволился как раз тогда, когда мы наконец прорвались и совсем скоро должны были начать купаться в золоте. Позднее я получил от Бориса весточку, где сообщалось, что у него чаевых по сотне в день, а также новая подружка, барышня très sérieuse[90] и никогда не пахнет чесноком.

Целый день я провел, обходя наш квартал и со всеми прощаясь. Напоследок выслушал рассказ Шарля про финал старика Руколя, нищего, обитавшего здесь раньше. Шарль, вероятно, как всегда сильно привирал, но история была славная.

[90] Очень порядочная (фр.).

Умершего за пару лет до моего приезда в Париж Руколя еще частенько вспоминали. Не Даниэль Дансер[91], масштаб помельче, однако тоже интересная фигура. В свои семьдесят четыре года старик каждое утро шел на рынок подбирать овощную гниль, ел кошатину, вместо белья обертывался газетой, топил печь фанерной обшивкой комнаты, штаны себе смастерил из мешка – и все это, имея на счету в банке полмиллиона. Хотелось бы мне лично с ним познакомиться.

Как многих нищих, Руколя сгубила рискованная инвестиция. Однажды в квартале замелькал бойкий и деловитый еврейский парень с первоклассным планом доставки в Англию контрабандного кокаина. Конечно, купить кокаин в Париже довольно просто, да и перевезти его тайком несложно, только вот обязательно какой-нибудь стукач донесет в таможню или полицию. Доносят, считалось вокруг, сами торговцы кокаином, так как вся контрабанда в руках синдикатов, не желающих конкуренции. Парень однако уверял, что опасности никакой: у него есть путь прямо из Вены, в обход известных каналов и без посредников-вымогателей. На Руколя он вышел через поляка, студента Сорбонны, готового вложить четыре тысячи, если Руколь даст шесть. Хватило бы закупить десять фунтов кокаина, нажив потом изрядный капиталец.

Поляк и еврей чуть не надорвались, вытягивая деньги из старого Руколя. Шесть тысяч для него было немного (в его матрасе хранилось гораздо больше), но он испытывал смертные муки, расставаясь с каждым грошом. Неделю без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. Старик ополоумел, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в пятьдесят тысяч у него кишки сводило спазмой, но пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог. Так и сидел в углу, обхватив голову руками, постанывая, временами дико вскрикивая, то и дело падая на колени (он был чрезвычайно набожен) и моля ниспослать ему силы. И никак не решался. И внезапно – более всего от изнеможения – решился: вспорол свой матрас с деньгами, выдал ровно шесть тысяч.

В тот же день еврей притащил кокаин и вмиг исчез. Между тем, как и следовало ожидать, благодаря шумным стенаниям Руколя сделка стала известна всему кварталу; уже следующим утром нагрянула полиция.

Поляка и Руколя обуял ужас. Полиция внизу, обшаривают комнату за комнатой, а на столе увесистый пакет кокаина, и спрятать некуда,

[91] Знаменитый английский нищий (в оригинале имя приведено во во французской транскрипции).

и лестница перекрыта, сбежать нельзя. Поляк готов был выкинуть порошок в окно, но Руколь даже слышать об этом не хотел. Шарль рассказывал, что был свидетелем драматической сцены: едва попробовали взять пакет у Руколя, тот прижал кокаин к груди и несмотря на свой преклонный возраст дрался как бешеный. Обезумев от испуга, он все-таки скорее пошел бы в камеру, чем выкинул сокровище.

Наконец, когда полицейские уже обыскали первый этаж, кто-то подал идею. У соседа Руколя, мелкого коммерсанта, имелась на продажу дюжина банок дамской пудры – предложено было в эти банки насыпать кокаин, выдав за безобидную косметику. Пудру мигом вытряхнули в окно и заменили кокаином, банки демонстративно, как предмет самый невинный, расставили по столу. Через пару минут вошла полиция. Простучав стены, обследовав половицы, заглянув в дымоход, вывернув наизнанку драные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить, когда инспектор заметил стоящие на столе банки:

– Tiens![92] Еще кое-что, сразу и внимания не обратил. Что это, а?

– Дамская пудра, – проговорил поляк со всем возможным в его состоянии спокойствием.

Но тут Руколь так громко, тревожно застонал, что полиция насторожилась. Одну из банок открыли, содержимое высыпали, инспектор, понюхав, высказал мнение о кокаине. Руколь и поляк начали клясться всеми святыми, что это пудра, – бесполезно, чем горячей они клялись, тем больше вызывали подозрений. Парочку арестовали и под конвоем повели к ближайшему участку.

В участке начался допрос у комиссара, а банку с порошком отослали в лабораторию. По словам Шарля, Руколь вел себя неописуемо. Он молил, плакал, заявлял то одно, то совершенно обратное, вдруг зачем-то выдал поляка и при всем том непрестанно голосил на всю улицу. Полицейские просто лопались от смеха.

Через час возвратился посланец с банкой кокаина и заключением эксперта. Улыбаясь, сказал:

– Это не кокаин, monsieur.

– Нет? Не кокаин? – изумился комиссар. – Mais, alors[93] – что?

– Дамская пудра.

Поляка и Руколя сразу же отпустили, вполне оправданных, но жутко злых. Еврейский парень их попросту надул. Впоследствии, когда

[92] Нате-ка! (фр.).
[93] Но тогда (фр.).

волнения утихли, выяснилось, что ту же шутку он сыграл еще с двоими из нашего квартала.

Поляк рад был отделаться, пусть даже потеряв четыре тысячи, но несчастный старик Руколь был совершенно раздавлен. Придя домой, он слег, и уже заполночь все еще слышались его вопли:

– Шесть тысяч франков! Nom de Jésus Christ! Шесть тысяч!

На третий день его хватил удар, а спустя две недели он скончался. От разбитого сердца, как пояснил Шарль.

XXIV

До Англии я добирался третьим классом через Дюнкерк и Тилбери (самый дешевый и не самый худший путь через Канал[94]). Поскольку за каюту надо было доплачивать, вместе с большинством пассажиров третьего класса я спал в салоне. Некоторые наблюдения из моего дневника:

«Ночевка в салоне; двадцать семь мужчин, шестнадцать женщин. Наутро никто из женщин не умывался. Мужчины почти все отправились в ванную комнату, а женщины просто достали свои зеркальца и припудрили несвежие лица. *Вопрос*: вторичный половой признак?».

Со мной ехала молодая румынская пара, сущие дети, совершавшие свадебное путешествие. Их любопытство к неизвестной Англии я удовлетворял чудовищным враньем. По дороге домой, после долгих тягот в чужом городе Англия виделась мне вариантом рая. Действительно, многое зовет вернуться на английскую землю: ванные, кресла, мятный соус, должным образом приготовленный молодой картофель, хлеб с отрубями, апельсиновый джем, пиво из настоящего хмеля – великолепно, если есть чем заплатить. Англия восхитительная страна для того, кто не беден, а я, имея перспективу надзора за дебилом, бедным быть, разумеется, не собирался. Мечта о скором блаженном житье очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем шире разливались мои хвалы всему английскому: климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и права – сплошное совершенство.

– А хороша ли в Англии архитектура?

– Блистательна! – отвечал я. – Одни лишь лондонские монументы чего стоят! Париж вульгарен: или грандиозно, или убого. Но Лондон!..

[94] Имеется в виду пролив Ла-Манш.

Тем временем пароход подошел к Тилбери. Первое здание у причала несомненно было отелем – чудовищный оштукатуренный барак, мелкие башенки которого пялились с берега наподобие глядящих со стены клиники кретинов. Слишком вежливые для каких-либо замечаний, румыны молча косились на отель. «Выстроен по французскому проекту», – уверил я. И даже когда поезд проползал сквозь трущобы восточных лондонских районов, я продолжал настаивать на красотах местного зодчества. Не было слов, достойных выразить прелесть Англии, теперь, когда я, вырвавшись из нужды, приближался к благополучию.

В офисе моего друга Б. все разом рухнуло. «Мне очень жаль, – встретил меня приятель, – но твои наниматели уехали за границу и пациента увезли. Впрочем, они должны вернуться через месяц. Пока, надеюсь, продержишься?»

Я оказался за порогом, даже не сообразив занять еще немного денег. Впереди месяц ожидания, а в кармане всего-навсего девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Новость меня сразила. Долго не удавалось собраться с мыслями. Весь день я проболтался по улицам, а ночью, слабо представляя, где найти в Лондоне дешевое пристанище, пошел в «семейный» отель-пансион. Заплатил семь с половиной шиллингов – осталось десять шиллингов и два пенса.

Утром составил план. Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться за помощью к Б., сейчас это все-таки неудобно, и на какой-то срок необходимо затаиться. Опыт научил меня не закладывать лучшие вещи. Всю одежду я оставил в вокзальной камере хранения, взял только не совсем новый костюм, который думал обменять на более поношенный, выиграв при этом около фунта. Собираясь месяц прожить на тридцать шиллингов, я должен был одеться плохо, буквально «чем хуже, тем лучше». Реально ли растянуть тридцать шиллингов на месяц, я понятия не имел, в Лондоне я ориентировался совсем не так, как в Париже. Может, милостыню просить или же торговать шнурками для ботинок? Из воскресных газет мне помнилось про нищих, у которых зашито за подкладкой тысчонки две. Во всяком случае, было точно известно, что голод в Лондоне не грозит, хотя бы об этом я мог не беспокоиться.

Продавать свой костюм я отправился в Лэмбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношеным тряпьем. В первой лавке, куда я сунулся, хозяин был вежлив, но бесполезен, во второй – крайне невежлив, в третьей – глух как пень или же притворялся таковым. Четвертый торговец, блондинистый мясистый малый, весь розовый как ломоть ветчины, оглядев меня, быстро и пренебрежительно пощупал ткань:

– Жиденький материальчик, прям дешевка (костюм был добротный и дорогой). Почем сдаешь?

Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством плюс разницу в цене, на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне. «Как насчет денег?» – напомнил я, уповая на фунт. Торговец поджал губы, посопел и выложил возле тряпок *шиллинг*. Я не собирался спорить с ним, но поскольку невольно открыл рот, он сделал движение, якобы забирая монету, – верно оценил мою беспомощность. Мне было позволено переодеться в задней комнатке.

Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холщовых брюк, шарфа и матерчатой кепки. Рубашку, носки и ботинки я оставил свои, в карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникло в новом наряде. Мне и раньше случалось плохо одеваться, но ничего хоть сколько-то подобного. Вещи были не просто мятыми и грязными, их отличала – как бы это выразить? – некая благородная ветхость, некая, вовсе не похожая на пошлую заношенность, патина старинной тусклой блеклости. Виды такой одежды демонстрируют бродяги или продавцы спичек. Часом позже на улицах Лэмбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пса субъект, явно бродяга; присмотревшись, я узнал самого себя в витринном зеркале. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна: пока вы хорошо одеты, она минует вас, но лишь появитесь без галстука, облепит со всех сторон.

На улицах я оставался до самой ночи, причем безостановочно ходил, серьезно опасаясь, что ввиду костюма полиция примет меня за попрошайку и арестует. Говорить я тоже не осмеливался, воображая, что будет замечено несоответствие между произношением и одеянием (страх, как я впоследствии убедился, напрасный). Новый мой костюм мгновенно перенес меня в новый мир. Отношение ко мне круто изменилось. Лоточник, которому я помог собрать рассыпавшийся товар, кинул с улыбкой: «Спасибо, браток». До сей поры «братком» меня никто не называл – эффект соответственной одежды. Впервые я заметил, как меняется в связи с вашим костюмом поведение женщин. Когда рядом проходит человек в мятом вылинявшем пиджаке, их передергивает и они брезгливо отшатываются, как от дохлой кошки. Одежда – мощнейшая вещь. В отрепьях сложно, по крайней мере поначалу, преодолеть ощущение действительной собственной деградации. Такое же чувство позора, неясного и тем не менее весьма чувствительного, испытываешь первой ночью в тюрьме.

Ближе к одиннадцати я стал высматривать ночлег. Зная по книгам о ночлежках (кстати, ночлежками они никогда не именуются), я полагал найти спальное место пенса за четыре. Приметил на обочине Ватерлоо-роуд какого-то работягу в спецовке и обратился к нему. Сказал, что без гроша, хотел бы переночевать как можно дешевле.

«Ага, – кивнул он, – там вон, на ту сторону поди, написано где над дверями «Тихий Отдых для Бессемейных Мужчин». Точно, отличный кип[95], я сам ходил. У них там дешево да еще *чисто*».

Окна торчавшей на указанном месте развалюхи едва светились, темнея заплатами выбитых и заклеенных бумагой стекол. В кирпичном коридоре навстречу снизу вышел худосочный, с заспанными глазами мальчишка. Из подвала послышался смутный шум, плеснуло жаркой, отдающей сырой затхлостью. Мальчишка, зевая, подставил ладонь:

– Кип надо? Гони бычок, и все дела.

Заплатив шиллинг, я вслед за мальчишкой по темной шаткой лесенке поднялся в спальню. Сладковато воняло больничной палатой и грязным бельем; окна, видимо, были наглухо забиты, вначале показалось, что воздуха просто нет. Горящая свечка позволила различить низкую комнату площадью метров двадцать и вмещавшую восемь коек. Шестеро квартирантов уже лежали, бдительно свернув рядом всю снятую одежду, включая поставленные сверху башмаки. В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял.

Постель оказалась жесткой как камень, подушкой служил валик, по твердости не уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе, – кровать гораздо короче стандартной, очень узкая, и матрас таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящие застарелым потом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа. К тому же вместо одеяла тоненькая хлопковая накидка, и согреться при всей духоте трудновато. И постоянная возня вокруг. Примерно через каждый час мой сосед слева, матрос вероятно, просыпался и, кляня бога с дьяволом, закуривал. Другой жилец, жертва простуженного мочевого пузыря, раз шесть за ночь вставал, чтобы шумно использовать ночной горшок. Квартировавшего в углу каждые двадцать минут терзало кашлем, регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать; человек хрипел, давился, будто ему все нутро выворачивало. Он как-то чиркнул спичкой – осветилось старческое лицо, впалые

[95] «Кип» на жаргоне – место для сна.

серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны (манера, которой я, должен признаться, не выношу). Всякий раз в ответ на кашель старика или ругань матроса летели сонные крики:

– Заткнись! Заткнись к черту, чтоб тебя ...!

Спал я в общей сложности не больше часа. Утром проснулся со смутным впечатлением придвинутого ко мне крупного темного предмета. Открыв глаза, увидел прямо перед своим лицом закинутую на мою кровать матросскую ступню. Ступня была очень смуглой, смуглой как у индусов, но от грязи. Стены пестрели пятнами, цвет сыроватых, недели три не стираных простынь достиг оттенка довольно плотной умбры. Я оделся и пошел вниз. В подвале обнаружилось несколько стоящих в ряд чугунных ванн, висела пара скользких мокрых полотенец на роликах. Имея при себе кусочек мыла, я уже хотел приступить к мытью, когда заметил, что внутренние стенки ванн чернеют грязью – слоем жирной липкой грязи, не светлее сапожной ваксы. Ушел немытым. Заведение по всем статьям не отвечало рекомендации « дешево да еще *чисто*». Зато, как мне позже открылось, оно было типичнейшей ночлежкой.

Перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку, я наконец решил зайти в торговое кафе на Тауэр-хилл. Лондонское торговое кафе, каких тысячи, показалось мне после Парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки которых хранили моду прошлого столетия, с меню, написанном обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет четырнадцати. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек без блюдец. Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон.

– Нельзя ли чая и хлеба с маслом? – спросил я юную официантку.

Она оторопела. Удивленно таращась, ответила: «Масла нету, только маргарин». И повторила буфетчику мой заказ фразой, столь же присущей Лондону, как вечный coup de rouge[96] Парижу:

– Полный чай с двойным бутером!

На стене рядом со мной висела табличка, предупреждавшая «Уносить сахар воспрещается», а ниже некий поэтического склада гость приписал: «Кто упрет отсюда сахар, того надо послать на ...», но кто-то еще не пожалел сил соскрести последнее слово. Это была Англия.

[96] Революционный бунт (фр.).

После стоившего три с половиной пенса чая- с- двойным- бутером у меня осталось восемь шиллингов и два пенса.

XXV

Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерлоо-роуд[97] я перебрался еще дальше к востоку и следующую ночь провел в ночлежке на Пеннифилдс. Заурядная лондонская ночлежка из тех, которые могут принять от полусотни до сотни постояльцев и управляются «полномочными», – наличие этих доверенных представителей владельцев свидетельствует о хорошем достатке хозяев, то есть о выгодности предприятий. В спальнях коек по пятнадцать-двадцать, постели опять-таки жесткие и холодные, но простыни – уже прогресс – постираны не далее чем неделю назад. Цена ночлега девять пенсов или шиллинг (за шиллинг спальня с койками длиной шесть футов вместо обычных четырех), платить положено наличными до семи вечера либо когда выходишь на улицу.

Внизу общая кухня с предоставленными всем и бесплатно дровяной плитой, бачком для чая, кое-какой утварью, тостерными вилками. Кроме того горящие круглые сутки в любой сезон две кирпичные печки. Топили, убирали и застилали койки поочередно сами жильцы. За старшину был похожий на викинга красавец Стив, портовый грузчик, слывший тут «головой», решавший споры и выставлявший неплательщиков.

Кухня мне нравилась. Глубокий низкий подвал, дремотная жара с дымком кокса, свет только от печных огней и по углам густые бархатные тени. С веревок под потолком свисает мокрое тряпье. Мелькая багровыми бликами, жильцы, главным образом грузчики, докеры, топчутся у плиты со своими плошками; некоторые совсем голышом, так как одежду постирали и теперь сушат. Вечерами игра в карты (в «нап» – «наполеон») или в шашки и песни: самая любимая – «А я парнишка, горе злое отца с матерью», вторая по частоте исполнения – про гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех ведро купленных по дешевке моллюсков. Дележ съестного был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек, явно одной ногой в могиле, все рассуждавший «Браун-то, как к дохтору сходимши, и помер враз», постоянно кормился за счет такого рода угощений.

Среди постояльцев пара-тройка дряхлых пенсионеров. Я раньше даже не подозревал, что в Англии есть люди, которые живут лишь на положенную ввиду преклонных лет пенсию десять шиллингов в неделю. Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удается существовать.

«А чего ж тут, – ответил он. – По девяти пенсов за кип – это те на неделю пяток шиллингов да три пенса. Потом клади три пенса, чтоб в субботу щетину поскоблить, – это те пятерик да шесть. Потом, гляди-ка, волос постричь хотя раз в месяц – еще, значит, пару пенсов накинь. И станется те на неделю четверик да четыре пенса для пищи и чтоб курнуть».

О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином (к концу недели вчерашним хлебом и чаем без молока), одежду наверно получал в пунктах благотворительности. И выглядел довольным, превыше еды ценя теплый угол и постель. Однако же, из жалких пенсионных десяти шиллингов еще уделять деньги на бритье – внушает благоговейный трепет.

Целый день я болтался по улицам между Уоппингом и Уайтчеплем. Все так странно после Парижа: все вокруг гораздо чище, гораздо тише и скучней. Не слышно ни грохота трамваев, ни кипучей шумной возни боковых улочек, ни громыхания марширующих через площади военных. Прохожие одеты лучше, лица мягче, спокойнее, однообразнее, без вызывающего жесткого индивидуализма французов. Меньше пьяных, меньше грязи, меньше ругани и больше бездельников. На всех углах кучки зевак, слегка оголодавших, подкрепляющих себя лишь чаем-с-бутером, блюдом, необходимым лондонцу каждые два часа. Сам воздух, кажется, лишен парижской лихорадочности. Там, в Париже, страна стаканчиков вина и потогонной системы, а здесь страна чашечек чая и трудовых договоров.

Интересно было наблюдать за толпой. Женщины в Ист-энде[98] хорошенькие (возможно, результат смешения кровей), Лаймхауз щедро приправлен Востоком – и китайцы, и отпущенные в увольнение моряки-индийцы, и торгующие шелковыми платками дравиды, и даже несколько бог знает как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. На Уайтчепле некто, называвший себя Гласом Евангельским,

[97] Странно, но факт общеизвестный: клопов на юге Лондона гораздо больше, чем на севере, и почему-то эти насекомые не совершают массового перехода через реку (прим. автора).

[98] Ист-энд – восточная , «пролетарская» часть Лондона. Далее упоминаются районы Ист-энда.

ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На Ост-Индиадок-роуд Армия спасения проводила церковную службу, в пении псалма «Кто подобен Иуде лживому?» отчетливо звучал мотивчик «Кому охота с пьяной матросней?». На Тауэр-хилл двое мормонов пытались воззвать к публике. Осаждавшая площадку аудитория горланила и не давала говорить. Кто-то обличал мормонов за многоженство; хмурый бородач, как видно неколебимый атеист, яростно прерывал ораторов, едва слышалось слово «бог». Шум, гам, перепалка:

«Дорогие друзья! Если позволите, нам бы хотелось вам сказать...» – «Пускай доскажут, имеют право, не встревай!..» – «Нет-нет, ты мне прежде ответь: ты можешь своего бога *показать»? Покажь* давай, тогда и верить в его буду...» – «Да заткнись, хватит к им вязаться!..» – «Сам заткнись! Многоженцы е...!» – «А че ж, нам многоженство не без пользы, взять хоть е... девок фабричных...» – «Дорогие друзья, если б вы только позволили...» – «Нет-нет, ты не виляй, ты говори: *видал* бога-то? З*а руку,* что ль, здоровался?..» – «Да не встревай, черт тебя подери, ну *не встревай же!»*...

Минут двадцать я стоял, ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов.

На Мидлсекс-стрит сквозь базарную толчею продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот ревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой.

– Играться? – орала она. – Думает, взятый, чтоб вот токо дудку ему купи? Давно не драла тебя? *Щас*, ублюдочек сопливый, ты у меня поиграешься!

Из дудки капельками падала слюна. Визжа в два голоса, мамаша с отпрыском исчезли. Очень и очень странно после Парижа.

Накануне вечером при мне в ночлежке на Пеннифилдс сцепились два жильца, сцена была гнетущая. Один из стариков-пенсионеров, лет семидесяти, голый до пояса (он стирал), бешено, срываясь на крик, поносил отвернувшегося к печке коренастого грузчика. Хорошо освещенное огнем, лицо старика дергалось от обиды и гнева. Видимо, случилось что-то серьезное.

Старикан: Ах ты ... !

Грузчик: Заткни пасть, ... старый, пока я те не двинул!

Старикан: Ну-ка, попробуй, ты, ... ! Я хоть старее годов на тридцать, а токо тронь, так в морду врежу – мочой весь завоняешь!

Грузчик: Ох, кабы я тя после на части не развалил, старый ...!

Так продолжалось минут пять. Окружающие сидели, понурившись, ссору старались не замечать. Тем временем грузчик мрачнел, а старикан все больше входил в раж. Подскакивал к противнику, кричал ему чуть ли не в самое лицо, шипел, плевался, как разъяренный кот. Пробовал даже нервно, не совсем удачно, ткнуть кулаком. Наконец взорвался:

– ...! Вот ты кто – ...! Пососи-ка своим вонючим ртом! Я те ... своим глотку заткну! ... ты, больше ничего, ... сучье отродье! На-ка, облизни! ... ты ! ... ! ... ! УБЛЮДОК ЧЕРНОМАЗЫЙ!

Выкрикнув это, старик вдруг рухнул на лавку, прижал к лицу ладони и завыл. Противник, видя, что народ настроен против него, ушел.

От Стива я потом узнал причину ссоры: все из-за съестного на какой-нибудь шиллинг. По некоторым причинам старик остался без своего хлеба с маргарином и трое суток ему предстояло питаться только угощением соседей, а грузчик, имевший работу и хороший сытный кусок, позубоскалил над стариком, отсюда и скандал.

Когда финансы мои сократились до шиллинга, четырех пенсов, я перебрался в Боу, в ночлежку, где брали лишь восемь пенсов. Спустился в затерянный среди переулков и тупиков душный тесный подвал метра три на три. С десяток квартирантов, большей частью чернорабочих, сидели у бьющего ярким светом огня. Несмотря на глубокую ночь сынишка полномочного, бледный и взмокший, резво ползал по коленям жильцов. Старик ирландец насвистывал слепому снегирю в крошечной клетке. Были и другие пичуги – чахлые создания, не знавшие ничего кроме этого склепа. Обитатели ночлежки, ленясь тащиться до уборной через двор, мочились прямо в огонь. Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами; поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу – тараканы.

В спальне шесть коек; простыни, крупно помеченные штампом «Украдено из дома №..., Боу-роуд», пахли кошмарно. Рядом спал дряхлый старик, рисовальщик на тротуарах, с каким-то особенным искривлением спины, заставившим его выгнуться, свесив зад в полуметре от моего лица. Эта часть его тела была голой, покрытой примечательным узором грязных разводов наподобие мраморной плитки. Среди ночи явился пьяный, свалившийся возле моей кровати. Имелись также клопы – не такой ужас, как в Париже, но достаточно, чтобы держать вас в боевой готовности. Местечко хуже некуда. Однако полномочный с женой там были людьми радушными, готовыми налить вам чашку чая в любой час дня и ночи.

XXVI

Наутро, после обязательного чая-с-двойным-бутером и покупки шепотки табака у меня осталось полпенни. Все же идти к Б. одалживать еще денег не хотелось, так что путь был только во временный приют для бродяг. Очень слабо представляя, как туда попадают, но зная, что такой приют есть в Ромтоне, я пошел. И часам к трем дня дошагал. На ромтонском базаре, возле стенки загона для свиней, стоял тощий морщинистый ирландец, несомненно бродяга. Я прислонился рядом, вынул из кармана коробку с табаком и предложил ему угоститься. Старик, заглянув в коробку, изумился:

– Ето ж, ей-бох, по шести пенсов табачина! Ох, силен! Хде ж ты, сатана дери, зацапал? *Ты-то* недавне вродь дорохи топчешь.

– Неужели у бывалого странника нет табака? – спросил я.

– Хо, у нас *имеется*. Хляди вон!

Он достал ржавую жестянку из-под бульонных кубиков, в ней лежало десятка два-три собранных на мостовой окурков. Другого табака, сказал старик, редко добудешь; потом добавил, что с лондонских мостовых, если стараться, за день подберешь аж до двух унций.

– Ты никак в тутошний торчок[99] ладишься, э? – прищурился старик.

Я подтвердил, надеясь, что смогу к нему пристроиться, и спросил, каков торчок здесь, в Ромтоне.

– А хорош, с какавой. Исть которы с чаем торчки, которы вот с какавой, которы с пойлой. На Ромтоне-то, слав те хосподи, нам пойлу не сували, как я последни раз бывши. Я после-то на Йорк ходил да круг Уэльса.

– «Пойло» это что?

– Пойла? Одну горячу мутну воду плеснут с овсянкой ихней драной на донце, вот те и пойла. Которы торчки с пойлой, ети хужее всяких.

Мы поболтали час-другой. Ирландец оказался милейшим стариком, только очень уж скверно пах, что, впрочем, неудивительно при том количестве болезней, которыми он страдал. Как выяснилось из его описания симптомов, все у него с головы до пят было неладно: на облысевшем темени экзема, сильная близорукость (очков не имелось), хронический бронхит, какая-то боль в спине, расстройство пищеварения,

[99] «Торчок» на жаргоне – учрежденный при работном доме (доме для нищих, постоянно проживающих на общественном содержании) временный приют с одноразовым ночлегом для нищих бродяг.

цистит, варикозное расширение вен, опухоль на большом пальце ноги и плоскостопие. С таким ассортиментом болячек он бродяжил уже пятнадцать лет.

Ближе к пяти старик спросил:

– Чайку-то хлебнуть хошь?

– Очень бы не мешало.

– Ладно, знаю тут одно место, хде задаром чаю с булкой дают. Чаек-то *хорош*. После велят молитвы драные хундеть, да сатана с ими! Все ж таки время переждем. Давай за мной.

Мы пришли в переулок, к покрытому жестью сарайчику типа загородного павильона для крикета. Перед входом уже топталось человек двадцать пять. Несколько настоящих чумазых босяков, а большинство – приличного вида ребята с севера, вероятно шахтеры или же безработные сезонники. Наконец дверь открылась. Леди в синем шелковом платье, с распятьем на груди, с золотыми очками на носу, пригласила войти. Внутри десятка три-четыре фанерных стульев, фисгармония, на стене литография с весьма кровоточивой сценой крестной казни.

Конфузливо сняв кепки, мы уселись. Леди разнесла чай и, пока мы ели-пили, прохаживалась, одаряя нас добрым словом. Темы были возвышенно-духовные: о Христе, всегда питавшем слабость к неотесанным беднякам вроде нас, о том, как радостны и животворны часы, проведенные в церкви, и как преображается скиталец, если он регулярно молится... Нас воротило. Мы сидели по стенке, скомкав в руках свои кепки (а без кепки бродяга себя ощущает нагишом на витрине), краснели, что-то глухо бормотали в ответ на обращения леди. Несомненно, ей хотелось всячески выказать участие. Подойдя с блюдом булочек к парнишке из нищих северных краев, она спросила:

– Ну а вы, мой мальчик, давно ли вы преклоняли колени в беседе с нашим Отцом Небесным?

У бедняги язык отсох, зато откликнулся желудок, громко и непристойно заурчавший, почуяв близость сладкой еды. Сраженному позором пареньку едва удалось проглотить свою булочку. Отвечать леди в ее стиле умел только один из нас – проворный красноносый малый с ухватками капрала, лишенного нашивки за пьянство. Никогда не слышал, чтобы в чьих-то устах упоминания «возлюбленного Господа нашего» звучали с меньшей дозой фальши. Сноровка, явно приобретенная в тюрьме.

Чаепитие завершилось, и бродяги стали украдкой переглядываться. Молча витал вопрос – нельзя ли улизнуть до предстоящих молений? Кто-то из гостей заерзал, еще сидя, лишь устремив взор к двери, словно

робко примеряя мысль о побеге. Леди одним взглядом пресекла бунт. Тоном не кротким, а кротчайшим она пропела:

– Думаю, вам все же не стоит уходить *сейчас*. Раньше шести приют ваш не откроется, у нас есть время немножко помолиться, воззвав к Отцу нашему. Полагаю, всем нам тогда станет легче и радостнее, вы согласны?

Красноносый кинулся помогать: услужливо выдвинул фисгармонию, затем роздал молитвенники. Делал он это спиной к леди, благодаря чему дал волю своим комическим талантам, уподобив стопку книжек колоде карт и шепча при вручении: «Накось, приятель, прям-таки одни е... козыря! Накось – четыре туза с королем!..».

Смиренные, мы опустились на колени подле грязной чайной посуды и принялись бубнить, что мы не делаем того, что нам следует делать, а делаем то, чего делать не следует, и как нам плохо от этого. Леди молилась благоговейно, не забыв, однако, зорко водить очами, дабы удостовериться в нашем усердии. Когда она переводила взгляд, мы ухмылялись, подмигивали, потихоньку отпускали непристойные шутки – активно, хотя несколько сдавленно, демонстрировали нашу лихость. Ни у кого за исключением красноносого не хватало духа читать молитвы в полный голос. С пением псалмов дело пошло веселей, только старый босяк, не заучивший ничего кроме «Вперед, воины Христовы!», иногда ревом своим нарушал стройность мелодий.

Молебен продолжался полчаса, после чего леди простилась с нами, в дверях пожав каждому руку.

– Во напасть-то, – сказал один из нас, когда мы отошли подальше. – Конца, думал, не станет этой волынке е... .

– Булку те дали, – заметил другой, – оплачивай.

– Молитвы, что ль, скулить за эту булку? Небось по милосердности много не кинут. Чаю двухпенсового не нацедят, пока тя на коленки е... не погнут.

Послышались одобрительные реплики. Бродяг, как видно, бесплатный чай нисколько не растрогал. А чай, кстати, был превосходный, отличался от чая в обычном кафе, как французское бордо от дряни с этикеткой «колониальный кларет», и все мы пили этот чай, наслаждаясь. Уверен также, что нас угощали искренне, без малейшего желания обидеть. В общем, должна бы, кажется, возникнуть благодарность, – но отнюдь, не возникла.

XXVII

Примерно без четверти шесть ирландец привел меня к торчку. Угрюмый тускло-желтый кирпичный куб в углу владений работного дома; решетки на крохотных окнах и стена высокой ограды с железными воротами слишком напоминали тюрьму. Уже толпилась в ожидании длинная очередь. Народ всякого вида и возраста, от румяного малого лет шестнадцати до скрюченной беззубой мумии лет семидесяти пяти. Были матерые бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам, по въевшейся в темные лица дорожной пыли, были безработные с фабрик и безработные батраки, был клерк в воротничке и галстуке, была парочка настоящих сумасшедших. Выглядело это сборище жутковато: ничего грозного или злодейского, просто вконец обнищавшая шелудивая команда, почти сплошь рвань, причем явно полуголодная. Приняли меня, однако, дружелюбно и без вопросов. Многие угощали табаком – то есть окурками, конечно.

Подпирая стену, покуривая, бродяги делились новостями о положении в других торчках. Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно. Опытный бродяга подробно вас проинформирует насчет любого торчка в Англии: вот там курить можно, зато полно клопов, а там постели хороши, но сторож больно драчлив, а там утром пораньше выпускают, но чай поганый, а там служители жулье, последний грош стащат... – объем сведений неисчерпаем. Известны постоянные маршруты, на которых ровно день от торчка до торчка. Как лучший путь, мне рекомендовали шоссе Барнет – Сент-Олбанз, предупредив обходить стороной Биллеркей, Челмсфорд и Айд-Хилл в Кенте. Самым роскошным в стране признавался торчок Челси; там даже, сказал кто-то, одеяла не хуже арестантских. Летом бродяги ходят далеко, зимой же всячески стараются кружить близ больших городов, где и обогреться легче и народ пощедрее. Но вообще не скитаться, не бродить они не могут, так как в определенный торчок или в два каких-то из лондонских торчков разрешено являться не чаще чем раз в месяц. За нарушение недельный тюремный срок.

Вскоре после шести ворота отворились, и во дворе, в конторе, нас начали поочередно регистрировать. Чиновник записывал имя, возраст и род занятий, а также откуда вы прибыли и куда направляетесь – туда давался специальный дорожный пропуск. Я указал родом занятий «живописец» (малевал же я детскими водяными красками, чем не занятие?). Был еще пункт «имеются ли деньги?», на что все отвечали «не имеется». По правилам торчки только для тех, у кого меньше восьми пенсов, и медяки в

пределах этой суммы положено сдавать при входе. Но бродяги предпочитают контрабандой протаскивать свою наличность, туго закрутив монеты обрывком тряпки, чтобы не звенело. Узелки обычно прячут в непременных у каждого бродяги мешочках с чаем и сахаром или же среди «документов». Свято чтя «документы», власти в них никогда не роются.

Зарегистрированных, нас повели из конторы в сам торчок. Вели двое: наш надзиратель в официальном чине бродяг-майора (должность эту чаще всего получают нищие из работного дома) и сторож в синей униформе, здоровенный мерзавец, оравший и погонявший нас как стадо. Все устройство торчка ограничивалось банной комнатой, уборной да коридором с двойным рядом сотни, наверное, спальных отсеков. Мрачный холод замазанных побелкой кирпичных стен, казенная опрятность, запах, который я как-то уже заранее предчувствовал: смесь скверного мыла, дезинфекции и клозета – холодный, унижающий запах неволи.

Выстроив нас в коридоре и распорядившись по шесть человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Ромтоне был как раз из тех, где вы могли курить, если сумели тайком пронести курево, но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы от бывалых бродяг знали, что здешний сторож никогда ниже коленей не шарит, и предварительно затолкали свои табачные припасы в ботинки вокруг щиколоток, а потом, раздеваясь, перепрятали в пиджаки, которые тут разрешали оставлять для пользования ими вместо подушек.

Сцена мытья была невероятно омерзительна. Полсотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров шесть на шесть, снабженном только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжьих ног мне не забыть вовеки. Меньше половины прибывших действительно купались (высказывались опасения, что от горячей воды «слабнешь»), но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскутья, так называемую ножную драть, которую бродяги навертывают на переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну; большинство пользовалось той же водой, где вымылись другие. Сторож пихал нас туда-сюда, вскипая бранью в адрес нерасторопных. Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул: «Заткни е... пасть и полезай живей!». Социальная атмосфера учреждения определилась, больше я уже ничего не спрашивал.

После мытья, связав нашу одежду в узлы, сторож выдал казенные рубахи – сомнительной чистоты серые хламиды вроде упрощенного варианта ночных сорочек. И сразу же нас развели по клетушкам, а затем

сторож с надзирателем принесли из работного дома ужин: каждому полфунта намазанного маргарином хлеба с пинтой горького, без сахара, какао в жестяной кружке. Мы это, сидя на полу, мигом сглотнули, и часов в семь нас заперли снаружи; заперли до восьми утра.

В рассчитанные на двоих отсеки разрешалось идти вдвоем с приятелем. Меня, приятелей не имевшего, поместили с таким же одиночкой, тощим и слегка косоглазым заморышем. Кирпичная коробка, теснота (площадь метра два с половиной на полтора), глазок в двери, зарешеченное оконце под самым потолком – точная копия тюремной камеры. Внутри было шесть одеял, ночной горшок, труба местного парового отопления и больше абсолютно ничего. Я осматривался со смутным чувством, что чего-то недостает, и вдруг ошеломленно понял, чего именно:

– Где же, черт побери, кровати?

– Кровати? – изумленно повторил сосед. – Нету кроватей! Разбежался! Тут нас прям на пол ложат. Ишь ведь! А ты че ж, не знал?

Отсутствие в торчках кроватей, как оказалось, было нормой. Мы свернули пиджаки, привалив их к трубе, и по возможности устроились. Стало ужасно душно, но все-таки не настолько тепло, чтобы употребить все свои одеяла на прослойку между телом и каменным полом. Лежали мы с соседом чуть не впритык, дыша друг другу в лицо, раздраженно брыкаясь в неспокойном сне, постоянно сталкиваясь коленками, локтями. Вертеться с боку на бок не помогало: как ни повернешься, камень давит сквозь тонкую подстилку и вскоре ноющую боль затекших мышц сменяет острейшая ломота. Дольше десяти минут не поспишь.

К полуночи со стороны соседа начались гомосексуальные попытки – особая гадость в задраенной, темной как склеп клетушке. Усмирить тщедушного агрессора мне не составило труда, но о сне, разумеется, пришлось забыть. Остаток ночи мы курили, разговаривали. Сосед поведал мне свою историю: монтер, три года без работы, жена, как только перестал носить зарплату, покинула, и он уже так долго вдали от женщин, что почти позабыл про них. Гомосексуализм, сказал он, обычное дело среди бродяг.

В восемь загремели замки и крики сторожа «на выход!». Двери открылись, выпустив клубы затхлой смердящей вони. Коридор мгновенно наполнился встрепанными фигурами в серых рубахах, с горшками в руках; все рвались в банную комнату. И не зря – по утрам на всю партию ночевавших ставится лишь одна бадья воды, так что, когда настала моя очередь, человек двадцать уже умылись, я только поглядел на хлопья

плавающей бурой пены и ушел. Завтрак принесли точно такой же, как ужин, потом роздали одежду и послали во двор трудиться: перебирать картофель для кухни работного дома. Задание чисто формальное, просто чтобы занять нас до санитарного осмотра, большинство бродяг откровенно бездельничало. Около десяти прибыл врач, велено было опять идти в дом, снова раздеться и ждать.

Голые и дрожащие, мы выстроились в коридоре. Невозможно представить этот парад чахлого уродства под беспощадным утренним светом. Одежда у бродяг плоха, но ею прикрывается нечто еще более жалкое. Бродягу по-настоящему увидишь, когда посмотришь на него голого. Вздутые животы, впалые груди, плоские ступни, дряблые хилые мускулы – всевозможные вариации порчи и немощи. Почти у всех признаки явного недоедания, у двоих подвязаны грыжи, а что касается древнего старца-мумии, то вообще непонятно, как он мог совершать свои ежедневные марши. Лица, небритые, помятые, опухшие после бессонной ночи, тоже впечатляли, всякий принял бы нас за едва вышедших из недельного запоя.

Медицинская проверка проводилась исключительно в целях выявления оспы. Молодой практикант, дымящий сигаретой, быстро шел вдоль шеренги, пробегая взглядом по обнаженной коже и нисколько не интересуясь здоровьем проверяемых. Увидев на груди соседа красную сыпь, я, спавший рядом, в нескольких дюймах, запаниковал – не оспа ли? Но медик, поглядев, махнул рукой – сыпь просто от голодной дистрофии.

По окончании осмотра мы оделись, нас вывели во двор, где сторож, выкликая по именам, вернул всякие личные пожитки, и затем каждому в конторе дали талончик на бесплатную еду. Шестипенсовый талон с направлением в кафе именно по тому маршруту, который был назван бродягой накануне. Между прочим, среди бродяг обнаружилось много неграмотных, просивших меня или других «ученых» расшифровать им их талоны.

Ворота отперли; толпа немедленно рассеялась. Как свеж и ароматен воздух – даже воздух глухой трущобной улочки – после духоты провонявшего сортиром торчка! У меня теперь появился приятель, с которым мы свели дружбу, перебирая картошку. Звали его, бледного, меланхоличного, довольно тщательно одетого ирландца, Падди Джакс, он направлялся к торчку в Эдбери и предложил мне идти вдвоем. Мы думали добраться часа в три дня, но, заблудившись в чаще унылых северных трущоб, вместо двенадцати миль отшагали четырнадцать. Талоны наши предназначались для илфордского кафе, куда мы и зашли. Разносившая

еду девчушка, схватив талоны, презрительно мотнула головой, после чего долго ходила, нас не замечая. Наконец брякнула на стол два «полных чая» с четырьмя смазанными подгоревшим жиром кусками хлеба – еду максимум пенсов на восемь. По паре пенсов от указанных шести в кафе всегда отжулят; у бродяги ведь не деньги, а талон, так что ни спорить, ни уйти в другое место этот клиент не может.

XXVIII

О Падди, моем спутнике на ближайшие полмесяца и первом бродяге, которого я хорошо узнал, надо сказать подробнее; он был, по-моему, типичен, десятки тысяч ему подобных топчут дороги Англии.

Довольно высокий, начинающий седеть блондин лет тридцати пяти, с водянистыми голубыми глазами. Черты лица приятные, но щеки впалые, того нечистого, землистого оттенка, который придает хлебно-маргариновый рацион. Одет чуть лучше большинства бродяг: спортивный твидовый пиджак и пара очень старых вечерних брюк, все еще красовавшихся истертым шелковым кантом. Кант, видимо, означал для Падди драгоценный след респектабельности – расползавшийся ветхий шнурок тщательно подшивался. Весьма заботясь о своей внешности, Падди бережно сохранял сапожную щетку и бритву, хотя давно продал и пачку «документов» и даже перочинный нож. Тем не менее бродяга узнавался за сотню ярдов. Нечто особое в дрейфующем стиле походки, в небрежной, а по сути боязливой, манере горбиться, выставив плечи. Сразу чувствовалось, что парню привычнее не кулаком вдарять, а получать пинки.

Вырос Падди в Ирландии, потом прошел обычные два года армейской службы, потом работал на шлифовально-металлическом заводе, откуда пару лет назад и был уволен. Своего нынешнего положения он ужасно стыдился, хотя повадки бродяг уже усвоил целиком. Беспрестанно шарил глазами по мостовой, не пропуская ни единого окурка, ни даже пустых сигаретных пачек, пополнявших его запас бумаги для самокруток. На пути в Эдбери он увидал и мигом цапнул валявшийся газетный сверток, содержавший, как выяснилось, два окаменевших по краям сэндвича с бараниной; добычу, по его настоянию, мы разделили поровну. Он никогда не проходил мимо торговых автоматов, не дернув за рычаг (говорил, что неполадки в механизмах дают иной раз вытря-

сти монеты). Но криминальных действий избегал. Заметив возле двери одного из окраинных домов Ромтона доставленную, вероятно по ошибке, бутылку молока, Падди замер, пожирая ее взглядом:

– Черт! Ить каков ето продукт без пользы киснет! Хапнет же кто сейчас, а? Хапнет запросто.

Ясно читалось искушение «хапнуть» самому. Он глянул туда-сюда – тихая улица без магазинов и никого вокруг. В тоскливой жажде молока худое серое лицо Падди совсем вытянулось. Потом он отвернулся, удрученно проговорив:

– Пусть его. Красть-то человеку чего хорошего. Я, слав те Господи, покудова ни раз еще не кравший.

Робость от постоянного недоедания, вот что пока хранило его добродетель. Доведись ему хорошенько набить брюхо пару дней кряду, он бы расхрабрился стащить бутылку молока.

В беседах Падди занимали два вопроса: унизительность позорной бродячей жизни и лучший способ выклянчить кусок. На эти вдохновительные темы он, шаркая по тротуарам, хныкал, жалостно причитал своим ирландским говорком:

«Да че же, сатаны мы, так мотаться? Ить ето ж с души рвет залазить в торчок драный. А кроме-то его куда подашься? Я, вон, второй месяц мясца не нюхавши, ботинки тоже уж прям развалившись и вообще уж... Черт бы! До Эдбери бы ткнуться при какой церкви чайку словить. У монастырских-то особо сладко чай варят. Как и жить бы человеку без святой веры? Мне уж сколько вот чаю давалось от монастырских, от баптистов, англиканских, других разных. А так-то я католик. На исповедь, сказать по-честному, лет с семнадцати не ходивши, но все ж таки святую веру взял и в чувстве и в понятии. И тоже вот у монастырских чайку всегда...».

Такого рода монологи тянулись днями напролет, почти без перерыва.

Невежество Падди изумляло и устрашало. Однажды он, например, спросил, кто был раньше кого, Наполеон или Христос. В другой раз я рассматривал витрину букиниста, а он очень встревожился, ибо на одной из обложек значилось «Подражание Христу» и Падди усмотрел тут богохульство. Сердито бросил: «Чой-то, сатаны какие, вздумавши *подражать* Ему?». Читать он мог, но книги им воспринимались как некая враждебная стихия. Решив по пути заглянуть в публичную библиотеку и зная, что Падди до чтения не охотник, я предложил ему зайти хотя бы передохнуть. Он предпочел, однако, дожидаться на улице, сказав: «Не, меня токо с вида всей етой сплошной чертовой книжности в дурман клонит».

Подобно большинству бродяг он алчно дрожал над спичками. Когда мы познакомились, в его кармане был целый коробок, но никогда он при мне спичку не зажег, а если я чиркал своей, то получал выговор за расточительность. Сам он прикуривал обычно у прохожих и был готов по полчаса ждать случая, чтобы задымить наконец от чужого огонька.

Ярче всего в нем проявлялась склонность жалеть себя. Казалось, думы о различных своих бедах не покидали его ни на миг. Долгое молчание вдруг прерывалось восклицанием «Не адско ль дело, как вот пальту в заклад снесешь?» или же «Чай-то ить в торчке одна моча!», будто важнее поводов для размышлений на свете не было. К тому же Падди грызло черной завистью ко всем более него преуспевшим – не к богачам, существовавшим в другом мире, а к людям, обеспеченным работой. Таких он язвил, как артист язвит собратьев, достигших славы. Если видел работающего старика, горько ронял: «Вишь, старый ... клещом, а парням в силах нету местов», если мальчишку – «Сатаны сопливы, токо и годны хлеб у человека отбивать». Всех иностранцев Падди называл «клятыми итальяшками», твердо считая чужаков виновниками безработицы.

На женщин он смотрел со смесью тоски и ненависти. Хорошеньких встречных не замечал, как объекты недосягаемые, слюнки у него текли при виде проституток. Плывет мимо парочка размалеванных затрепанных созданий – бледные щеки Падди розовеют, глаза его потом долго и жадно пялятся вслед. «Паскуды!..» – бормочет он с вожделением малыша перед витриной кондитерской. Он как-то рассказал мне, что два года (с тех пор как потерял работу) не имел дел с женщиной, разучившись метить выше проституток. В общем, обычный для бродяг характер – трусоватый, завистливый, шакалистый.

И все же Падди был славным товарищем, по натуре великодушным и готовым поделиться последней коркой, и действительно не раз делившим со мной последний свой кусок. Он бы наверно и трудился хорошо, если б его нормально подкормить. Но два года на хлебе с маргарином все ниже опускали планку желаний и возможностей. На убогом подобии еды и тело и мозги слабели, раскисали. Не врожденная гниль, а дрянная скудная пища истребила в Падди мужество.

XXIX

По дороге в Эдбери я сказал Падди, что есть друг, который наверняка ссудит меня деньгами, и лучше бы вернуться в Лондон, чем снова

мучаться в торчке. Но уж достаточно давно не навещавший этот торчок Падди, как истинный бродяга, упустить дармовой ночлег не мог; договорились идти в Лондон завтра с утра. У Падди, кстати, в отличие от меня, имевшего только полпенни, было два шиллинга, достаточных чтобы нам обеспечить по койке и несколько чашек чая.

Торчок в Эдбери мало отличался от торчка в Ромтоне. Хуже всего то, что там отобрали весь наш табак, предупредив о немедленном выдворении злостных курильщиков. Согласно «Акту о бродяжничестве» за курение в торчке могли даже судить – вообще бродягам чуть не каждый пункт закона грозит судом; впрочем, начальство, избегая лишних хлопот, обычно просто выгоняет нарушителей. Работы нам тут никакой не предлагалось, а отсеки были довольно комфортабельны – со спальными местами («двухъярусными»: на дощатой полке и на полу, застеленном соломой) и большой стопкой одеял, хоть грязных, зато без паразитов. Еда та же что в Ромтоне, только вместо какао чай; утром возможность (в обход правил, разумеется) взять еще кружку, уплатив бродяг-майору полпенни. Каждому перед уходом дали обеденный сухой паек из ломтя хлеба с сыром.

Когда мы возвратились в Лондон, до открытия ночлежек оставалось еще восемь часов и надо было убить время. Интересно, сколь многого вокруг себя не замечаешь. Тысячу раз я бывал в Лондоне, но так и не заметил сквернейшей местной штуки – здесь бесплатно даже присесть нельзя. В Париже, если карман пуст и не найти уличную скамейку, можешь сесть на тротуар. Бог знает, куда бы привела такая вольность на лондонских улицах, – вероятно, в тюрьму. К четырем дня мы уже слонялись часов пять, стертые ноги горели, животы подвело от голода, так как пайки мы съели сразу же за воротами торчка, и у меня ни грамма табака; в этом отношении собиравший окурки Падди несомненно выигрывал. Пытались зайти в церкви – все закрыто, в читальню – переполнено. Как последнюю надежду, Падди предложил вновь вчерашний работный дом, куда, конечно, не пускают раньше семи, но вдруг удастся прошмыгнуть. Мы дошагали до великолепного подъезда (сама постройка в Ромтоне действительно великолепна) и с очень беззаботным видом, всячески изображая постоянных жильцов, направились внутрь. Мигом выскочил какой-то бдительный малый, очевидно из начальства, загородил нам путь:

– Спавшие в прошлу ночь тут?

– Нет.

– Пошли вон, на ...!

Вынужденные повиноваться, мы еще пару часов протоптались на углу улицы. Малоприятно, зато я навеки отучился от выражения «бездельник с перекрестка», так что некую пользу это мне все же принесло.

В шесть мы двинулись к убежищу Армии спасения. На ночлег там до восьми не устроишься, да и свободных мест могло не оказаться, но официальный представитель у входа, называя нас «братья мои» и получив наше согласие оплатить две чашки чая, позволил войти. Главный зал убежища представлял собой выбеленный сарай, гнетуще чистый, голый и холодный. За столами на длинных деревянных лавках тесно жались человек двести довольно приличного, точнее приниженного, вида. Вдоль рядов прогуливались офицеры-миссионеры в униформе. По стенам красовались портреты генерала Бута[100], а также строгие запреты выпивать, стряпать, плеваться, выражаться, ругаться, ссориться, играть на деньги. Как образчик, приведу одно правило дословно:

«Всякий, будучи обнаружен за азартной игрой или же игрой в карты, удаляется и впредь не допускается категорически.

Информация по выявлению подобных лиц вознаграждается.

Офицеры обязаны привлекать каждого гостя к содействию по очищению убежища от МЕРЗОСТНОГО ЗЛА АЗАРТНЫХ ИГРИЩ.»

Особенно изящно было сформулировано насчет «азартной игры или же игры в карты».

На мой взгляд, эти стерильные богадельни мрачнее самой захудалой из ночлежек. Такой унылой безнадежностью веет от массы здешних постояльцев – обнищавших достойных граждан, растерявших по ломбардам свои крахмальные воротнички, но все еще грезящих о солидной чиновной службе. Для них убежища Армии спасения, где хотя бы гигиенично, последний оплот добропорядочности. Возле меня сидели двое иностранцев, чуть не в лохмотьях и однако безусловно джентльмены. Они играли в шахматы, лишь называя, даже не записывая ходы. Один из них был слеп. Я слышал их разговор о том, что хорошо бы купить наконец доску, что давно уже они копят необходимые полкроны, только никак не получается. Немало вокруг было молодых безработных клерков, нервных и малокровных. В центре соседней молодежной компании возбужденно ораторствовал худенький, долговязый, белый как мел юноша – стучал кулаком по столу, хвастался с каким-то лихорадочным пылом, а когда оказался вдали от ушей офицеров, впал в неслыханное богохульство:

– Говорю вам, ребята, я намерен завтра же получить работу. Я не из вашей драной стаи, чтобы тут на коленях ползать, я сумею сам себя

[100] Уильям Бут (1829 – 1912), основатель и глава устроенной по армейскому образцу христианско-благотворительной Армии спасения.

вытащить. Смотрите-ка что за плакатик нам повесили! «Господь поможет»! Ни шиша от него дождешься! Меня, ребята, на удочку с этим ... Господом не поймаешь. Будьте уверены! *Завтра же получу себе работу!..*

Поражал буйный, истеричный стиль тирады, юноша выглядел или нездоровым, или слегка подвыпившим. Часом позже я приоткрыл дверь в «читальную» комнатушку около главного зала; ввиду отсутствия каких-либо книг и газет захаживали туда редко, сейчас там в полном одиночестве стоял тот самый молодой клерк, стоял он на коленях и молился. На секунду, до того как я снова закрыл дверь, мелькнуло лицо, маска жестокого страдания, и вдруг по выражению лица я догадался – паренек истерзан голодом.

Ночевка здесь стоила нам по восемь пенсов, оставшиеся пять мы с Падди истратили в «баре», где цены были невысокими и все-таки несколько выше, чем в обыкновенных ночлежках. Чай, судя по всему, заваривался чайной *трухой*, которая, я полагаю, даром доставалась от благодетелей, хотя брали три с половиной пенса за чашку. Жуткая дрянь. Ровно в десять дежурный офицер чеканным шагом начал обход, дуя в свисток. Тут же все поднялись.

– В чем дело? – недоуменно спросил я Падди.

– То вот и значит, что кончай да иди в койку. И чтобы шустро, значит, насчет етого.

Послушно как овечки, две сотни людей под командой офицеров проследовали на ночлег.

Большая, во весь чердак спальня казарменного типа вмещала кроватей шестьдесят-семьдесят. Постели чистые и относительно удобные, но очень узкие и очень близко друг от друга, спящий дышит буквально в нос соседу. Вместе с жильцами ночевали два офицера, надзиравшие за соблюдением правил не курить и не болтать после отбоя. Нам с Падди спать пришлось урывками, поскольку рядом некий психопат, наверное контуженный, время от времени громко выкрикивал: «Пип!». Резкий, пронзительный звук наподобие автомобильного гудка, и никогда не угадаешь момент нового вопля, надежное средство не задремать. Этот Пип, как его тут называли, являлся постоянным жильцом, стало быть всякую ночь человек десять-двадцать из-за него лишались сна. Еще один пример самых разнообразных причин, по которым люди всегда недосыпают в ночлежках с их стадным бытом.

В семь, опять по свистку, подъем и обход офицеров, теребящих тех, кто замешкался. Потом мне доводилось ночевать во многих убежищах Армии спасения, помещения слегка отличались, но везде устав строгой

полувоенной дисциплины. Убежища эти, конечно, кров дешевый, однако, на мой вкус, тот же работный дом. Кое-где даже принудительная явка на идущие пару раз в неделю церковные службы: гость обязан блюсти обряды или же совсем уйти. Задуманная как живое воплощение христианского милосердия, на деле Армия спасения и заурядную ночлежку не смогла устроить без того, чтобы это благое милосердие не смердело.

В десять я отправился к Б. просить фунт. Он дал мне два и звал снова прийти когда понадобится, так что забота о деньгах для нас с Падди отпала по крайней мере на неделю. День мы шатались по Трафальгарской площади, высматривали – совершенно безуспешно – одного друга Падди, вечером пошли в ночлежку на боковой улочке возле Стрэнда[101]. Выложив по одиннадцать пенсов, попали в зловещую вонючую дыру, к тому же с дурной славой места, популярного у «нежных мальчиков». Во тьме подвальной кухни обособленно, вне круга общей компании, сидели на скамейке три юнца сомнительной наружности, в пижонских светлых костюмах. Надо полагать, «нежные мальчики» (типаж парижских юных апашей, только щеки не украшены длинными баками). Перед огнем торговались двое жильцов: один одетый с головы до пят, другой же в абсолютно натуральном виде. Оба были продавцами газет. Одетый, продававший голому вещи с себя, уговаривал:

– Шмотки что надо, ты в лучшей оснастке сроду не хаживал. Тутыш за пиджак, два бычка за штаны, один с рыжаком за штиблеты и шарф с кепкой бычок – все чохом на семь бобов[102].

– Держи карман шире! Пиджак – полтора, штаны – бычок и пару бычков остальное. Четыре с рыжаком за все.

– Лови удачу, кореш, – пять с рыжаком!

– Годится! Скидывай, мне уж бежать с вечерним выпуском.

Продавец не замедлил, и минуты через три роли переменились: голый целиком обмундирован, а приятель его в юбочке из листов вчерашней «Дейли Мейл».

Спальня была на пятнадцать коек; мрак, теснота и едкий душный запах распаренной мочи, такая скотская вонища, что поначалу дышишь короткими затяжками, боишься наполнить легкие. Только я лег, из темноты ко мне склонилась фигура, забормотавшая благовоспитанно и пьяно:

– Как, мальчик из славной доброй школы? – (Пьяный различил мой акцент, когда я что-то говорил Падди.) – Нечасто встретишь в этих

[101] Стрэнд – одна из главных лондонских улиц, соединяющая Сити и Вестминстер.

[102] Жаргонные и разговорные обозначения монет: «тутыш» – полкроны (2,5 шиллинга); «бычок», «боб» – шиллинг; «рыжак» – шестипенсовик (0,5 шиллинга).

стенах. А перед вами, позвольте представиться, старина итонец. Сквозь дни и годы бесподобный наш ветерок – вы понимаете.

Фальшивя, он задребезжал песенку, под которую воспитанники Итона гребут на лодках:

Свеж ветерок попутный,

И веет от лугов...

«Кончай, ..., орать!» – раздалось с нескольких соседних коек.

– Вульгарные людишки, – произнес старина итонец, – весьма вульгарные. Забавное, однако, местечко для нас с вами? Знаете ли, что говорят мне мои друзья? «Ты, М.., – твердят они, – пропащий». Абсолютная истина – *пропащий*. Пал на самое дно жизни; не то что эти ... вокруг, которым от рождения ниже не опуститься. Нам, павшим ребятам, надо бы слегка поддерживать друг друга. Печать юности навсегда – вы понимаете. Могу я предложить вам выпить?

Доставая бутылку шерри-бренди, он покачнулся и всей тяжестью рухнул поперек моих ног. Раздевавшийся Падди поднял его за шиворот:

– Вали обратно в койку, ... очумевший!

Старина итонец, шатаясь, добрался до своей кровати и вполз под простыни, не сняв ни галстука, ни пиджака, ни даже ботинок. Многократно среди ночи слышалось его бормочущее как бы со стороны «ты, М.., пропащий!». Утром он так и спал, в костюме, прижимая к себе бутылку. Был он на вид лет пятидесяти, с тонким, истасканным лицом и, что довольно любопытно, экипирован весьма щегольски. Торчавшие из нищенской постели элегантные дорогие туфли смотрелись подозрительно. И, между прочим, стоила его бутылка шерри-бренди здешнего двухнедельного проживания, то есть от бедности он не страдал. Должно быть, шлялся по ночлежкам в поисках «нежных мальчиков».

Кровати стояли почти впритык, и около полуночи я вдруг почувствовал, что сосед слева пробует нащупать у меня под подушкой кошелек; сопит, притворяясь спящим, и мягко, осторожной крысой, шарит. При свете дня он оказался горбуном с длинными обезьяньими руками. Когда я рассказал про попытку ограбления Падди, тот засмеялся:

– Во как! Привыкай, значит. По етим всем ночлежкам битком ворья. Хотя б даже где сейф: монету спрячешь, так ить одежу все равно с собой. Я раз видал, как деревяшку от инвалида сперли. Тоже вот случай был, пришел один мужик, толстущий, килов на сто, и денег у его было четыре фунта с лишком. Он их засунул под матрас – ну, грит, порядок, с под моей комплекции никакой ... ниче не вытянет. А и его уделали. В утро проснувшийся он на полу: братва-то вчетвером его матрас за углы взяли да и наземь, будто перышко. Решился он навек своих деньжат-то!

XXX

Следующим утром мы вновь отправились искать друга Падди, который звался Чумарем, а зарабатывал как «скривер» – рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Падди не существовало, туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Лэмбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной. Он обосновался близ моста Ватерлоо; стоя на коленях, перерисовывал с эскиза из грошового блокнотика портрет Уинстона Черчилля. Сходство угадывалось неплохо. Сам же Чумарь оказался маленьким, смугловатым, нос крючком и низко надвинутая шапка курчавых волос. Правая нога у него была страшно искалечена, ступня ужасающим образом вывернута пяткой вперед. Выглядел он типичным евреем, хотя всегда это решительно отрицал, называя свой крючковатый нос «римским», гордясь его подобием носу некого императора (я полагаю, Веспасиана[103]).

Речь Чумаря отличалась оригинальностью. Он говорил как кокни[104] и однако необычайно ясно, выразительно. Словно прочел много хороших книг, оставшись совершенно равнодушным к грамматике. Беседуя со мной и Падди на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла. Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова.

«Я-то, что говорится, скривер серьезный. Не чиркаю мелками, как школяры на досках, вроде разных тут. Цвет кладу по-настоящему, по-живописному; дерут только за колера драные больно дорого, особо за карминные[105]. К вечеру краски искрошишь на семь бобов, на два уж точно. Главным делом, я по карикатуре – политика, там, знаешь, крикет, все такое. Смотри сюда, – он показал мне свой блокнот, – верховные в полном комплекте, портретность прямо с газет срисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, вроде бы он слону под брюхо уперся, на слоне буквами

[103] Веспасиан (9–79 н.э.) – основатель императорской династии Флавиев. Восхождению его способствовали воинские победы (в частности покорение некоторых земель Британии), особой славы он достиг как триумфатор в войне с иудеями.

[104] Прозвище типичных лондонцев, массового населения, говорящего на своем особом , «неправильном» диалекте.

[105] Рисовальщики на тротуарах покупают малярные порошковые пигменты и, замесив их на сгущенном молоке, сами делают рисовальные цветные плитки (прим. автора).

«Внешний долг», а внизу надпись «Под ним поднимет ли?». Усек? Кого захочешь в карикатуру ставь, только чтоб не социалистам в масть – полиция гоняет. Раз вот изобразил: удав, который обозначен «Капитал», жрет кролика, который «Труд». Скоро пришлепал коп, глянул и мне: «Стирай мазню, вперед поберегись!». Ну, чего делать, стер. У копов власть как побирушку тебя прихватывать, с ними молчи и не вяжись».

Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием.

«Какой сезон смотря. Без дождя, под субботу и до воскресенья, так три жвача[106] возьму – народ-то, знаешь, в пятницу с получкой. А льет если, так вовсе не ходи: краску в момент до камня смоет. На круг прикинуть – выйдет так примерно в неделю фунт, зимой-то много не наработаешь. Когда конечно День гребца или там Кубок финальный, насшибаешь полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще *колупнуть* публику требуется; будешь сидеть просто, глазами хлопать, боба не соберешь. Обычный крап[107] – кидают по полпенни, а и того не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую мелочь тебе не дать. А приманить их самый правильный крючок это картину все подрисовывать: им интерес, чего ты красишь, станут и пялятся. Прокол, что только ты к ним с шапкой – команда наутек. Для верности бы козырной[108] нужен. Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе, тихарится – и вдруг кепчонку с головы дерг: «Судари, пожалте!», им уж деваться некуда, меж двух огней. На крап от шика-блеска не надейся. Главный крап от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне япошки полшиллинга раз кинули, черные крапают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты драные, как наш английский человек. Еще вот что: монеты сразу прячь, ну пенс какой, может, оставь в шапке. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо – хватит, мол, с тебя».

Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя «селедками вареными». Между тем, рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу (корпоративно установленный минимум между «точками» – двадцать метров). С негодованием Чумарь указал на работавшего неподалеку седобородого скривера:

– Видали бестолочь? Лет десять каждый день все одну картину тут чертит: «Верный друг» это у него, как пес ребенка из-под воды спасает.

[106] «Жвач» (в оригинале «quid» – кусок прессованного жевательного табака) на жаргоне – фунт стерлингов.

[107] «Крап» на жаргоне – подаяние, «крапать» – давать милостыню.

[108] «Козырной» на жаргоне – помощник, напарник уличных артистов и торговцев, работающий среди публики.

Сам-то, тупой старый ублюдок, карябает не лучше ребятни. Задолбил только, что в картине растушевку пальцем наводишь, вроде как обучили мальца птичку с газеты складывать. Навалом здесь таких. Бегают, норовят идеи мои стибрить, а мне чего? Им, полудуркам, своего ни ... в мозги не стукнет, так что я всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность. Слышу я однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял, так у меня картина готова раньше, чем парню башку вытянули. У меня в два счета.

Чумарь казался человеком интересным, хотелось ближе с ним познакомиться. Поскольку было решено, что он возьмет нас в ночлежку на южном берегу, я вечером опять пришел к его стоянке. Смыв свой рисунок с тротуара, Чумарь подсчитал выручку – шестнадцать шиллингов, а чистого дохода, сказал он, шиллингов двенадцать. Мы двинулись в Лэмбет. Чумарь ковылял медленно, переваливаясь как краб, разворачиваясь боком при каждом подтягивании больной ноги. Для опоры в обеих руках палки, ящик с красками закинут за плечо. На мосту он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял, и я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, Чумарь махнул посохом вверх:

– Гляди, Альдебаран-то? Цвет горит! Прям, апельсином ...м полыхает!

Восхищался Чумарь как заправский критик на вернисаже. Он изумил меня. Пришлось сознаться, что я ведать не ведаю, где этот Альдебаран, да и каких-либо различий в цвете звезд до сих пор не усматривал. Несколько огорченный моим невежеством, Чумарь дал вводный урок астрономии с показом основных созвездий. Я, не переставая удивляться, сказал ему:

– У вас, однако, большие знания о звездах.

– Не особо. Так, кое-чего знаю. Два письма имею от Королевской обсерватории – признательности за мои заметки про метеоры. Теперь вот снова по ночам хожу смотреть их. Звезды даром представлены; глаза раскрой и без билета гляди спектакль.

– Прекрасная мысль! Мне в голову не приходило.

– Да, выискивай свой интерес. Если бродяга, так не значит, чтобы думать про один чай-с-бутером.

– Но ведь непросто увлечься чем-то – чем-то, например, наподобие звезд, – живя довольно трудной жизнью.

– Намекаешь – булыжник разрисовывая? Кому как. Не обязан ты в щель драную конопатиться, когда мозги еще не напрочь пересохли.

– По-видимому, именно это и настигает большинство.

– Конечно. Вон, на Падди погляди – готов уже, лишь бы задаром чаю где словить, огрызок выклянчить. Одна дорожка почти всем им. Кисляи драные! Но *тебе* что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускай даже весь век бродягой топать.

– Ну, у меня прямо противоположный вывод, – возразил я. – По моим наблюдениям, человек, лишившись денег, сразу теряет и все силы и способности.

– Нет, это уж кто как. Если встал на самостоятельность, так можешь жить и дальше, каким жил, есть ли деньги или нету. Всегда можешь спокойно продержаться при своих книгах, своем разуме. Только скажи себе: «А *здесь-то* я свободен», – он постучал по лбу, – и все, полный порядок.

Чумарь продолжал рассуждения в том же духе, я внимательно его слушал. Собеседник оказался скривером очень необычным, кроме того мне впервые встретился человек, утверждавший, что бедность не имеет значения. Я многое узнал о нем из наших бесед в последующие дни (сутками шли дожди, работать Чумарь не мог). Биография у него была довольно любопытная.

Сын разорившегося букиниста, он смолоду освоил ремесло маляра, затем, в войну, служил в Индии и во Франции. После войны, найдя малярную работу в Париже, остался там. Франция ему нравилась больше, чем Англия (включая и презираемый им английский язык). В Париже он жил несколько лет, преуспел, накопил денег, посватался к юной француженке. Но в одночасье невеста погибла, попала под омнибус. Чумарь беспробудно запил. Лишь неделю спустя, еще нетвердо ступая, он снова вышел на работу и в то же утро упал с лесов, с четвертого этажа, вдребезги размозжив правую ногу. Страховку, придравшись к чему-то, ему выплатили только шестьдесят фунтов. Он вернулся в Англию, все накопления, пока искал работу, прожил, пытался торговать книгами в рыночных рядах Мидлсекс-стрит, продавать с лотка всякие безделушки и наконец утвердился на социальном дне, став скривером. Перебивался кое-как трудами своих рук, зимой полуголодный, зачастую ночевавший в торчке или прямо на набережной. Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого тряпья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки книг. Одетый подобно остальной уличной голи, он однако носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. Воротничок, годичного употребления или даже постарше, «разъезжался», и Чумарь его беспрестанно реставрировал лоскутками от края рубашки, укоротившейся уже настолько, что она едва заправлялась в брюки. С поврежденной ногой дела обстояли все хуже, грозила ампутация, а на коленях, днями напролет трущихся о камень, образовались громадные, твердые как подметка мозоли. Перспектива была ясна – впереди ничего кроме нищеты и смерти в работном доме.

При всем том Чумарь не испытывал ни страха, ни смущения, ни горькой жалости к себе. Прямо глядя на ситуацию, он создал собственный философский канон. Поскольку участь нищего, решил он, не его вина, каяться или волноваться здесь не о чем. Что касается поведения, то в отношении к обществу – враждебность и соответственно полнейшая готовность нарушать закон, если выпадает удобный случай. Принципиальный отказ от бережливости: летом он ничего не копил, спуская все излишки сборов на выпивку, поскольку обходился без женских ласк; с наступлением зимы, оказавшись на мели, требовал положенной социальной заботы. Выжимал каждый пенс из официальных учреждений и даже частных, если знал, что там не ждут благодарственных поклонов. Чурался, однако, религиозной филантропии, ибо ему, как он говорил, поперек горла гнусавить псалмы за булочку. Имелись и другие пункты его кодекса чести: например, особая гордость тем, что ни разу, в самый голодный час, он не поднял окурка с мостовой. Самого себя он ценил классом выше обычной нищей братии, этих, по его словам, жалких червей, неспособных даже блюсти достойную неблагодарность.

Чумарь неплохо говорил по-французски, прочел некоторые романы Золя, все пьесы Шекспира, «Путешествия Гулливера» и множество эссе. Умел ярко пересказать памятные впечатления. Так, разговаривая о похоронах, спросил меня:

«Видал когда-нибудь, как трупы жгут? Я-то видал, в Индии. Положили кощея старого на костер, через секунду я прям чуть из шкуры не выскочил, как он пошел копытами брыкать. Мускул в нем просто от огня спекался – все равно, отворотило меня. Ну, малость еще дед покорежился вроде угря на сковородке, а после брюхо затрещало и взорвалось – жахнуло так, что за полсотни ярдов оглохнешь. Я с того балагана крематорий не признаю».

Или вот из его рассказа про свой несчастный случай:

«Доктор мне говорит: «Пришибло тебя, сударь, на одну ногу, и уж удача твоя драная, что не на обе. Вот пришибло бы на обе – в гармошку драную смяло бы, кости б ножные враз из ушей повыскочили».

Ясно, что выражения принадлежали не доктору, а самому Чумарю, несомненно обладавшему даром слова. Сохранившему ясность и чуткость мысли, никогда не поддающейся натиску бедности. Оборванному,

зябнущему, голодающему, но способному, пока можно читать, думать и наблюдать свои метеоры, оставаться свободным «при своем разуме».

Будучи ядовитым атеистом (из тех, кого ведет не столько неверие в Господа, сколько личная неприязнь к Нему), Чумарь находил некое удовольствие в размышлениях о безнадежности всех человеческих порывов улучшить жизнь. Иногда, ночуя на набережной, он, по его рассказам, утешался, глядя на Марс или Юпитер, представляя, что и там наверно не спят, дрожат такие же бездомные. У него в связи с этим имелась оригинальная теория. Жизнь на земле, объяснял он, тяжела потому, что скверный климат противоречит человеческим потребностям. На Марсе, оледеневшем и безводном, существовать стократ труднее, и тамошняя жизнь согласовалась с жестокостью условий. Так что землянина за кражу шести пенсов просто в тюрьму сажают, а марсианина, скорей всего, варят живьем. Чем такое предположение вдохновляло Чумаря, я не понял. Человек это был совершенно исключительный.

XXXI

Ночлежка, куда нас привел Чумарь, стоила девять пенсов. Рассчитанное на полтысячи квартирантов, огромное, переполненное обиталище, место очень известное в среде бродяг, нищих и мелкого жулья. Смесь всех племен, включая чернокожих, и речь на всех языках мира. Были там, в частности, индусы, причем, когда я говорил с одним из них на плохом урду, он обращался ко мне «тум»[109] (фамильярность, от которой белые люди в Индии содрогнулись бы). Здесь жили ниже уровня расовых предрассудков. Мелькали всякие любопытные типы. «Дедуля» – старый, лет семидесяти бродяга, который зарабатывал на жизнь, во всяком случае на основные потребности, собирая окурки и торгуя вытряхнутым табаком по три пенса за унцию. «Доктор» – действительно врач, изгнанный из корпорации ввиду неких проступков, ныне продававший газеты, а при случае дававший весьма недорогие медицинские консультации. Щупленький матрос-индиец из Читтагонга, голодный и босой, сбежавший с британского корабля и уже неделю блуждавший по Лондону в полной растерянности, ничего не понимая, – до моих разъяснений думал, что он в Ливерпуле. Профессиональный сочинитель слезных писем, приятель Чумаря, патетически умолявший оказать финансовую помощь для погребения супруги, а, добившись результата, обжиравшийся в одиночку хлебом с маргарином, – мерзкая тварь, настоящая гиена. Говоря с ним, я заметил, что, как и большинство прохвостов, он сам уже почти верит в свое вранье. Эта ночлежка была настоящей Эльзасией[110] для подобных субъектов.

[109] Слово, непереводимое на английский. но хорошо понятное на французском. В наречиях Индостана второе лицо обозначено двумя местоимениями. Одно более уважительное – «эп» соответствует французскому «вы». Другое – «тум» соответствует французскому «ты», употребляется между близкими друзьями или в обращении высшей персоны к низшей. Англичанин никогда не позволит аборигену обращение «тум» (прим. автора).

За время нашего общения Чумарь несколько просветил меня относительно лондонской технологии нищенства. Предмет более сложный, чем кажется. Есть много специализаций, к тому же между просто попрошайками и теми, кто старается что-то дать за милостыню, резкая социальная грань. Сборы за те или иные «трюки», тоже очень разнообразны. Истории воскресных газет о нищих, умерших с парой тысяч под лохмотьями, это, конечно, сказки, но у высококлассных нищих случаются такие удачи, когда им удается сразу обеспечить себя на несколько недель. В разряде самых процветающих уличные акробаты и фотографы. На хорошей точке – например, возле театральной очереди – акробат нередко собирает по пять фунтов в неделю. Примерно столько же фотографы, хотя они очень зависят от погоды. Однако эти мастера используют ловкий прием для повышения доходов. Наметив в некотором отдалении жертву, один из них бежит к аппарату и делает вид, что снимает. Затем, когда жертва подходит ближе, ей радостно кричат:

– Порядок, сэр! Отличное будет фото! С вас боб.

– Но я же не просил меня снимать, – протестует жертва.

– Как? Не просили? А вроде бы, нам показалось, рукой-то вы махнули. Вот те на, зря пластину засветили. Эх, ведь на шесть пенсов разорение, вот ведь как...

Обычно тут жертва, проникшись жалостью, все-таки соглашается взять снимок. Тогда фотографы осматривают пластину, говорят, что имеется дефект, но они сейчас щелкнут заново, совершенно бесплатно. Разумеется, первого снимка не было, так что, если даже жертва отказывается, никакого убытка.

Шарманщики, подобно акробатам, считаются не столько нищими, сколько артистами. Друживший с Чумарем шарманщик по кличке Коротыш подробно рассказывал мне о своем деле. Они с помощником «рыхлят» торговые кафе и кабаки вокруг Уайтчепля и Кемэшел-роуд. Ошибочно думать, что шарманщики зарабатывают на улицах, девять де-

[110] Эльзасия – старинное название участка Лондона, принадлежавшего монастырю Белых монахов; в XVII веке всякого рода преступники укрывались там, пользуясь экстерриториальным «правом святости», отмененным в 1697 г. (прим. автора).

сятых они собирают в кафе и пабах – самых дешевых пабах, так как в дорогие их не пускают. Методом Коротыша было остановиться у входа в паб и завести какую-то мелодию, по окончании которой его помощник, стуча своей вызывающей сострадание деревянной ногой, шел внутрь и обходил публику со шляпой. Получение «крапа» непременно отмечалось еще одним прокручиванием музыки, так сказать на бис; это для Коротыша являлось вопросом чести – доказательством того, что выступал артист, а не торопящийся убежать попрошайка. Собирали Коротыш с напарником два-три фунта в неделю, но, учитывая пятнадцать шиллингов за прокат шарманки, в среднем каждому доставалось около фунта. Работали они с восьми утра до десяти вечера, по субботам и позже.

Скриверов признают артистами далеко не всегда. Чумарь меня познакомил с таким, который был «натуральным» художником, то есть настоящим, учившимся в Париже, выставлявшем свои работы в Салоне. Специализировался он на копиях старых мастеров, и – чертя самодельными мелками по уличным каменным плитам – делал это великолепно. Вот его рассказ о том, как он стал скривером.

«У меня жена и дети сидели без хлеба. И как-то возвращаюсь я домой, несу под мышкой целую пачку не проданных торговцами рисунков, ломаю голову, где бы мне раздобыть пару бобов. На Стрэнде вижу – парень ползает по тротуару, рисует мелом, а народ ему монетки кладет. Минуту спустя парень поднялся и в паб. «Черт возьми!», думаю, если он таким манером деньги делает, и я смогу. И прямо тут же встаю на колени, начинаю его мелками рисовать. Сам не знаю, как это вдруг вышло, мозги наверно помутились от голода. Между прочим, я раньше пастелью не работал, технику стал осваивать прямо на тротуаре. Ну, начали люди собираться, похваливают, уже девять пенсов рядом лежит. В это время выходит из паба тот парень, кричит мне: «Ты какого ... на моей точке приладился?». Я объясняю, что голодный и должен что-то заработать. «А-а, – говорит он, – ну тогда пойдем-ка пивка по кружке». И вот так, выпил я пивка и с того вечера сделался скривером. Набираю в неделю фунт. Шестерых детей на это не прокормишь; спасибо, что жена шьет, может немного подработать.

Хуже всего в уличном деле – холод, а еще то, что должен все терпеть, когда лезут к тебе. Я поначалу лучше не придумал как обнаженную фигуру копировать. Первый раз композицию сделал около церкви Святого Мартина-в-полях; подскакивает парень в черном, староста церковный или какой-то в этом роде, от ярости трясется, кричит мне: «Кто позволил намарать гнусную непристойность у стен святилища Господня?».

Пришлось все смыть. А нарисована была «Венера» Боттичелли. Я эту же Венеру сделал потом на набережной; полисмен проходил, увидел и, не говоря ни слова, стал сапожищами своими шаркать, пока не стер все.»

Чумарь привел аналогичный случай из собственной практики. Я и сам в Гайд-парке был свидетелем достаточно подлого поведения полиции, усмотревшей «оскорбление нравственности». Когда Чумарь нарисовал на тротуаре картинку-загадку с изображением Гайд-парка, спрятанных в гуще деревьев фигур блюстителей порядка и надписью «Найди-ка полисменов», я предложил ему изменить текст на «Найди-ка оскорбление нравственности», но он и слушать не захотел – сказал, что полиция загоняет и своей точки он лишится навсегда.

Ступенькой ниже скриверов те, кто поют на улицах псалмы или же предлагают купить спички, сапожные шнурки, пакетики со щепоткой лаванды под благородным наименованием «сухих духов». Все это откровенные попрошайки, получающие за свой нищенский вид, ни один из них не набирает более полукроны в день. Имитация торговли исключительно ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямик попросите у незнакомца пару пенсов, тот может подозвать констебля и сдать вас на неделю под арест, но если вы сотрясаете воздух вытьем «Допусти, Господи, в лоно Твое», либо ползаете, развозя каракули по тротуару, либо повесили на шею поднос со спичками – короче, тем или иным способом себя мучаете, – вы уже не правонарушитель, а вполне легитимный торговец. Продажа спичек, пение псалмов – просто-напросто узаконенное преступление. Преступление, надо сказать, не слишком прибыльное; никому из лондонских уличных псалмопевцев и продавцов спичек не заработать в год даже пятидесяти фунтов – небогато за ежедневные двенадцать часов у края тротуара, с задевающими ваш зад автомобилями.

Хотелось бы добавить пару слов насчет социального статуса нищих, так как, пообщавшись с ними и обнаружив в них обычнейших людей, нельзя не задуматься о том странном отношении, которое к ним проявляет общество. Бытует ощущение некого качественного различия между нищим и приличным, «работающим» человеком. Нищие – особое племя изгоев подобно ворам и проституткам. Работающий «трудится», а нищий «не трудится», являясь натуральным паразитом. Он, что всем очевидно, «не зарабатывает» свой хлеб, как его «зарабатывает» каменщик или литературный критик; это просто досадный нарост на теле общества, терпимый в силу гуманизма нашей эпохи, но по сути презренный.

Тем не менее, взглянув поближе, обнаружишь, что *качественной* разницы в добывании средств у нищих и огромного числа солидных граждан нет. Говорят – нищие не работают. Но что же тогда *работа*? Землекоп работает, махая лопатой; счетовод работает, итожа цифры; нищий работает, стоя во всякую погоду на улице, наживая тромбофлебит, хронический бронхит и т.п. Ремесло среди прочих ремесел. Бесполезное? Совершенно. Но и множество очень уважаемых профессий совершенно бесполезны. Как представитель социальной группы нищий часто даже выигрывает в сравнении с иными: он честнее продавцов патентованных снадобий, благороднее владельцев воскресных газет, учтивее торговцев-зазывал – словом, это паразит хотя бы безопасный. От общества он редко берет больше, чем требуется для элементарного выживания, и – что должно его оправдывать согласно принятым этическим воззрениям – сполна, с избытком платит своими муками. Не думаю, что в нищих есть нечто, позволяющее выделять их в отдельный класс людей или дающее большинству сограждан право их презирать.

Тогда вопрос – *почему* нищих презирают, презирают дружно и повсеместно? Полагаю, по той простой причине, что зарабатывают они меньше всех. На деле никого ведь не заботит, полезен или бесполезен труд, высокопродуктивен или паразитичен; требование одно – работа должна быть выгодной. Весь современный мир твердит про деловую активность, эффективность, социальную значимость, но содержит ли это что-либо кроме «добывай деньги, добывай законно, добывай как можно больше»? Деньги стали главнейшей мерой достоинства. По этому тесту у нищих ноль очков, вот их и презирают. Сумел бы нищий зарабатывать десяток фунтов в неделю, профессия его сразу вошла бы в ранг уважаемых. Реально глядя, нищий такой же бизнесмен, как остальные деловые люди, с тем же стремлением урвать где можно. Честью своей он поступается не больше основной части современников; он всего лишь ошибся – выбрал промысел, на котором невозможно разбогатеть.

XXXII

Хотелось бы попутно сделать несколько самых кратких замечаний относительно сленга и сквернословия. Вот ряд жаргонных слов (помимо самых известных), которые сегодня употребляются в Лондоне:

«трюкач» – живущий подаянием уличный артист любого жанра;
«скулёжник»– откровенный проситель милостыни;

«козырной» – помогающий собирать деньги напарник;
«пономарь» – уличный певец;
«топотун» – уличный танцор;
«мордолов» – уличный фотограф;
«лучник» – сторож оставленных автомобилей;
«гик» – мнимый покупатель, сообщник продающего всякую ерунду разносчика («джека-дешевки»);
«шило» – сыщик, следователь;
»толстопятый» – полицейский;
«надувала» – цыган;
«торба» – бродяга;
«джуди»[111] – женщина;
«крап» – денежное подаяние;
«фанка» – лаванда либо иное ароматическое средство в пакетике;
«бухальня» – пивная, кабак;
«брехня» – лицензия уличного лоточника;
«кип» – всякое место для сна либо ночлежка;
«коптильня» – Лондон;
«торчок», он же «волдырь» – временный приют для бродяг;
«тутыш» – полкроны (2,5 шиллинга);
«динер», он же «бычок» – шиллинг;
«черешок» – шестипенсовик (0,5 шиллинга);
«пустяшки» – мелкие монеты, медяки;
«барабан» – походный жестяной котелок;
«кочерыжки» – суп;
«трещотка» – вошь;
«голяк» – табак из окурков;
«колышек» либо «прут» – воровской лом, отмычка;
«поскребыш» – сейф;
«шипелка» – воровская ацетиленовая паяльная лампа;
«горланить» – глотать, пить;
«сбить» – украсть;
«шкиперить» – спать под открытым небом.

Почти половина этих слов найдется в больших словарях. Здесь интересно угадать происхождение, хотя кое-что – скажем, «тутыш» или «фанка» – необъяснимо. «Динер», вероятно, от римско-библейского «ди-

[111] Джуди – персонаж английского кукольного театра, подруга Панча.

нария». «Лучник» и соответственный глагол «лучить» то ли от внимательно светящего «луча», то ли от старинного «лучник» – стрелок из лука, хотя это очевидный пример появления нового слова, так как лучник-сторож машин вряд ли старше самого автомобиля. Любопытное словечко – «гик»; очевидно в некой связи с лошадью, понукаемой гиком, гиканьем. Происхождение «скривера» загадочно: по логике должно бы восходить к латинскому scribo (царапать грифелем, писать), однако ничего подобного в английском языке за последние полтораста лет не появилось, нельзя предположить и прямого заимствования от французов, у которых вообще нет ремесла скриверов. «Джуди» и «горланить» характерно для чисто истэндского жаргона, к западу от Тауэр-бридж этих слов не услышишь. «Коптильней» называют Лондон только бродяги. «Кип» – пришло из Дании, вытеснив прежнее, ныне совершенно устаревшее «дрых».

Речь и жаргон лондонцев очень быстро обновляются. Описанный Диккенсом и Сартисом[112] старый лондонский диалект – с типичной, например, заменой «уэ» на «вэ», а «вэ» на «уэ» – исчез бесследно. Акцент кокни, сложившийся, насколько известно, в сороковые годы прошлого века (впервые литературно зафиксирован повестью американца Германа Мелвилла «Белый бушлат»), тоже уже переменился; сегодня мало кто скажет «райс» вместо «рейс» или «ноус» вместо «нос», что еще прочно держалось двадцать лет назад. Наряду с произношением меняется сам жаргон. В начале века Лондон буквально помешался на «рифмующем жаргоне» – все переименовывалось стихотворными созвучиями: «нога» звучала как «скрипучая дуга», «красотка» как «под ветром лодка» и так далее. Прием был столь распространен, что попал даже на страницы романов, теперь же увлечение почти забыто[113]. Возможно, и все приведенные мною жаргонные слова лет через двадцать исчезнут.

Ругательства также меняются – во всяком случае, следуют моде. Например, пару десятилетий назад разговору лондонского рабочего люда постоянно сопутствовал эпитет «драный». Но, хотя литераторы попрежнему характеризуют им сугубо пролетарскую лексику, пролетарии его давно оставили. «Драный» сегодня у лондонцев (в отличие от уроженцев Шотландии или Ирландии) употребляется лишь людьми более-менее культурными. Слово явно продвинулось по социальной лестнице; вместо него ходячим, всюду прицепляемым определением стал «е...й».

[112] Роберт Смит Сартис (1803-1864) – английский романист, известный яркими сатирическими образами быта и нравов.

[113] Остатки сохранились некоторыми выражениями типа «не бери в полпенса», то есть «не бери в голову». Это «полпенса» возникло по цепочке: «голова» с рифмой «дешевая халва» – халва на полпенни – полпенса (прим. автора).

Несомненно, и «е...й» со временем поднимется, проникнет в светские салоны, а в массах заменится чем-то другим.

Вообще механика сквернословия, особенно английского, полна загадок. По глубинной природе брань иррациональна подобно магии, – собственно это же и есть род заклинаний. Вместе с тем очевидный парадокс: бранясь, желая потрясти и уязвить, мы произносим вслух нечто запретное (обычно из области сексуальных функций), однако, прочно утвердившись как бранное, выражение почему-то теряет смысл, благодаря которому сделалось бранным. Слово стало ругательным из-за определенного значения, но именно это значение утратило из-за того, что стало руганью. Тот же эпитет «е...й»: в прямом смысле он практически не используется и, хотя поминутно слетает с языка лондонцев, просто бренчит добавочным, абсолютно пустым звуком. Подобно быстро потерявшему подлинное содержание «пидору». Подобно аналогичным случаям французской бранной лексики, если, допустим, вспомнить весьма бессмысленно употребляемый глагол «foutre« или мелькающее в речах парижан словечко «bougre»[114], об исходном значении которого большинство говорящих понятия не имеет. Видимо, это правило – признанные бранью, слова обретают некий магический характер и в своем новом, особом статусе уже не годятся для выражения обыденного смысла.

Слова-оскорбления, похоже, повинуются тому же парадоксу, что бранные. Желание обидеть должно бы, кажется, найти определение чего-то гнусного, однако в жизни степень оскорбительности слова маловато связана с реальным содержанием. Например, жесточайшим оскорблением у лондонцев служит «отродье незаконное», хотя значение «внебрачное дитя» вообще едва ли оскорбительно. Худшее оскорбление для женщин и в Лондоне и в Париже – «корова», что скорее могло бы звучать комплиментом, ведь корова одно из самых симпатичных животных. Очевидно, оскорбительным слово становится лишь потому, что его таким назначают и воспринимают, независимо от лексической основы. Значение слов, в особенности бранных, это всегда лишь выбор общественного мнения. Очень любопытно наблюдать, как меняется тональность выражения при его переходе через границу. В Англии вы спокойно и без возражений печатаете «Je m'en fous»[115] – во Франции только «je m'en f...». Или еще пример, наш «барншут», искаженное индийское

[114] Foutre – подразумевающее половой акт «делать», в ряде устойчивых оборотов употребляется как «наплевать», «швырять» и пр.; le bougre – в разговорном языке «парень, пройдоха», в первоначальном смысле «извращенец» (фр.).

[115] Плевал я! (фр., см. предыдущее прим.)

«бахиншу»[116], – в Индии нецензурное грубое оскорбление, а в Англии мягкое подтрунивание. Мне даже довелось увидеть это слово в школьном учебнике, где комментатор пьесы Аристофана предложил его для толкования тарабарщины, произносимой персидским послом. Думаю, комментатор скорее всего знал о подлинном значении «бахиншу», но так как слово было иностранным и потерявшим магически-бранное качество, он счел его вполне печатным.

Заметным свойством грубых лондонских слов является также то, что их не употребляют в женском обществе. У парижан иначе. Парижский работяга, может быть, и предпочитает не выражаться при дамах, но соблюдает установку не слишком жестко, да и сами парижанки изъясняются весьма вольно. В этом пункте лондонцы более вежливы или, если угодно, педантичны.

Таковы несколько моих довольно случайных заметок. Жаль, что специалисты не ведут ежегодных учетных книг лондонского сленга и сквернословия, с фиксацией всех изменений. Это могло бы пролить свет на формирование, развитие и отмирание живой лексики.

XXXIII

Двух фунтов, взятых в долг у Б., хватило дней на десять. На столь продолжительный срок исключительно благодаря Падди, наученному в своих скитаниях экономить и полагавшему даже одну нормальную трапезу в день безумным мотовством. Едой в его понимании был просто хлеб с маргарином – вечный «чай-с-двойным-бутером», способный обмануть желудок на час-другой. Падди приучал меня жить (есть, спать, курить и пр.) из расчета полкроны в сутки. Кроме того он умел ближе к ночи подработать несколько шиллингов «лучником»; заработок незаконный, рискованный, зато реальный и немного пополнявший наш бюджет.

Однажды мы пытались устроиться «сэндвичами» (топтаться среди прохожих, таская на себе складной рекламный щит). С пяти утра начали обходить конторы, но в переулках у служебных входов уже стояли очереди по тридцать-сорок соискателей и через пару часов выяснилось, что для нас работы нет. Потеряли мы немного, работа сэндвичей незавидна: шиллинга три за десять часов труда – сурового труда, особенно в непогоду, когда и отойти, укрыться где-то нельзя из-за частых проверок, на месте ли ходячая реклама. Дополнительная неприятность в том, что тут нанимают на день, изредка на три дня и никогда на неделю, то есть каждое утро для начала нужно часами маяться в очередях. Количество безработных, согласных на любое место, вынуждает покорно принимать условия нанимателей. Мечта всех сэндвичей – по тому же тарифу раздавать прохожим листовки. И если вам на улице протянут очередной листок, возьмите, сделаете человеку доброе дело, поможете ему скорее справиться с нормой и освободиться.

Тем временем продолжалось наше ночлежное житье – существование под гнетом беспробудной убийственной скуки. Днями напролет все занятия – это сидеть в подвальной кухне, изучая вчерашнюю газету или же, когда достанется, затрепанный номер «Юнион Джека»117. Бесконечно шли дожди и от входивших с улицы валил пар, вонь на кухне стояла жуткая. Единственным волнующим событием являлся периодический чай-с-двойным-бутером. Не знаю, сколько людей в Лондоне прозябают подобным образом, должно быть тысячи, не меньше. Однако Падди блаженствовал, переживая лучшую пору за два последних кочевых года, ибо походные привалы и случаи разжиться парочкой шиллингов ему нравились, а вот длинные марши по дорогам несколько меньше. Вечное его нытье – не ныл Падди только с набитым ртом, – очень внятно доказывало, какой пыткой была для него безработица. Ошибка думать, что уволенный горюет лишь о потере заработка; нет, простому некнижному человеку, у которого в костях врожденная привычка трудиться, работа нужна даже больше, чем деньги. Люди с образованием еще способны переносить вынужденное безделье, одно из худших зол нищеты, но подобные Падди, не умеющие занять себя, без дела мучаются, как собаки на привязи. И нечего так уж лить слезы над теми, кто «с высоты брошен на дно жизни». Те, кто на этом дне от самого рождения, у кого мозг не заполнен и безоружен перед нищетой, – они действительно достойны жалости.

Мглу наползавшей унылой одури рассеивали лишь беседы с Чумарем. Однажды приключилось нашествие духовных просветителей трущобного грешного мира. Еще подходя к дому, мы с Падди услышали несущуюся из подвала музыку. Внизу, на кухне творили душеспасительный обряд три строго и солидно одетые персоны: почтенный пожилой

[116] На хиндустани (во французской, не совсем точной транскрипции) «bahin» – сестра, а «chut» – половой член. Назвать кого-то «бахиншу» значит провокационно сообщить, что вы в самых интимных отношениях с его сестрой. Произносимое как «барншут», слово было принесено британскими солдатами в Англию, где совершенно потеряло исходный смысл (прим. автора).

[117] Повторяющий название флага Британской империи массовый официозный журнал.

джентльмен в сюртуке, леди, игравшая на портативной фисгармонии, и лишенный подбородка безусый кукленок с распятием. Похоже было, что команда заявилась и развернула свое действо без какого-либо приглашения.

Весьма забавно выглядела реакция квартирантов. Ни малейшей грубости относительно вторгнувшихся благодетелей – их просто не замечали. В дружном согласии вся публика (примерно человек сто) вела себя так, словно пришельцев не видела, не слышала; терпела увещевания и псалмы, внимая им не больше, чем писку мошек. Ни слова из проповеди джентльмена в сюртуке не пробивалось сквозь обычный шум песен, ругани и гремящих кастрюль. Народ ел, пил, резался в карты чуть не вплотную с фисгармонией, мирно допуская это соседство. Никем не оскорбленные, всего лишь незамеченные, просветители вскоре закончили и удалились. Без сомнения, их утешало сознание собственной отваги, побуждавшей «самоотверженно идти в логово низости и порока» и т.п.

По словам Чумаря, эти господа наведывались регулярно несколько раз в месяц, и не пустить их, столь авторитетных для полиции, «полномочный» не мог. Любопытна человеческая уверенность в праве поучать, наставлять вас на путь истинный, едва доход ваш падает ниже определенной суммы.

К десятому дню два фунта от Б. усохли до шиллинга девяти пенсов. Оставив восемнадцать пенсов на ночлег, три пенса мы с Падди истратили на один обязательный и честно разделенный чай-с-двойным-бутером, не столько утоливший, сколько увеличивший аппетит. В полдень настиг чертовский голод, тогда Падди вспомнил про церковь возле станции Кингс-кросс, где раз в неделю для бродяг бесплатный чай. Поскольку день был подходящий, мы решили туда сходить. Чумарь же, несмотря на дождь и совершенно пустой карман, от этого похода отказался, сказав, что церкви не его стиль.

У ворот храма теснилась добрая сотня жаждущих, всякая шантрапа немытая, которая тучей слетается к объявленным даровым чаепитиям, как коршуны к издохшему быку. Вскоре ворота отворились, и пастырь с какой-то подручной пастушкой повели нас на хоры. Принадлежавшая евангелистам, церковь была угрюма и демонстративно уродлива, с надписями, возвещавшими кровь и пламень, и сборником псалмов, коих насчитывалось тысяча двести пятьдесят один и которые я, полистав страницы, мог бы предложить в качестве антологии наихудших стихотворений. Вслед за чаем ожидалась служба, поэтому на дне церковного колодца сидели прихожане; постоянной паствы в связи с будним днем

собралось всего несколько дюжин, главным образом пожилые жилистые дамы, напоминавшие отварных кур. А наверху шло чаепитие: каждый из нас получил фляжку чая и шесть ломтиков хлеба с маргарином. Едва еда была проглочена, десяток бродяг, разместившихся поближе к лестнице, сбежали, увильнув от проповеди и молитв; остальные – не более благодарные, но менее наглые – продолжали сидеть.

Орган издал несколько предварительных воющих вздохов, и служба началась. И тотчас, будто по сигналу, бродяги начали хулиганствовать самым непотребным образом. Нельзя было представить что-либо подобное в церкви. По всей кольцевой галерее люди, развалясь на скамьях, галдели, хохотали, стреляли сверху в прихожан хлебными шариками; мне пришлось чуть не силой удерживать соседа, желавшего закурить. В богослужении евангелистов бродягам виделось зрелище чисто комедийное. Действительно, служба с бесконечными молитвами-импровизациями и внезапными воплями «аллилуйя!» была достаточно комична, но выходки гостей переходили всякие границы. Среди паствы выделялся один особо рьяный прихожанин, именовали его здесь Брат Бутл, он чаше прочих оглашал свой молитвенный призыв, и каждое его выступление наверху встречали, неистово стуча ногами, словно на театральной галерке; прошлый раз, сказали мне, Брат Бутл импровизировал молитву целых полчаса, пока сам пастырь не прервал его. Когда Брат Бутл в очередной раз поднялся, кто-то из бродяг гаркнул на всю церковь: «Два к одному – не меньше семи минут отхватит!». А перед тем мы своим гоготом совершенно заглушили проповедь. Иногда снизу раздавалось негодующее «тише!», но впечатления это не производило. Мы настроились на веселое буйство, и ничто не могло нас усмирить.

Дикая, довольно отвратительная сцена. Внизу горстка обычных добропорядочных людей с трудом пытается молиться, а наверху те, кого эти люди накормили, изо всех сил стараются им помешать; глумятся, скалятся плотным кольцом чумазых обросших физиономий. Чем несколько женщин и стариков могли обуздать сотню разбушевавшихся бродяг? Они боялись нас, а мы их откровенно задирали. Мстили за унижение взявших от них подачку.

Пастырь, кстати, оказался храбрецом. Твердо прошел сквозь длинную грозную проповедь о Иешуа-Иисусе, сумел почти проигнорировать наш гвалт, наше хихиканье. Под конец только, видимо исчерпав ресурс выносливости, громко объявил: «Последние минуты проповеди я обращаю к грешникам *неспасаемым*». Сказал и вскинул лицо к галерее,

простояв так минут пять, дабы не осталось сомнений в том, кому именно не спастись. И думал, что задел нас! Даже когда пастор грозил геенной огненной, мы скручивали себе цигарки, а с последним «аминь» загрохотали вниз по лестнице, хохоча, договариваясь вновь прийти сюда на чай через неделю.

Случай заинтересовал меня. Очень уж это отличалось от обычного поведения бродяг – привычки кланяться и пресмыкаться за милостыню. Дело тут, конечно, было в значительном численном превосходстве, что позволило осмелеть. Принимающие подаяние практически всегда глубоко ненавидят благодетелей (многократно доказанное свойство человеческой натуры), и под прикрытием толпы дружков нищий свою тайную ненависть всегда проявит.

Тем же вечером Падди неожиданно заработал на посту «лучника» еще восемнадцать пенсов; ровно столько, чтобы купить нам еще сутки в ночлежке, а что касается еды, пришлось до следующего вечера голодать. Чумарь, который мог бы нас подкормить, весь день был далеко: из-за мокрых тротуаров ушел на улицы Кастла и Элефанта, зная там несколько точек под навесами. К счастью, у меня оставалось кое-какое курево, так что денек выдался все же не самый худший.

В половине девятого Падди повел меня на набережную, где, как ему было известно, раз в неделю некий священник раздает талоны на еду. Под мостом Чаринг-кросс ежились, отражаясь в дрожащих лужах, полсотни человек. У некоторых вид поистине устрашающий; жильцы набережной это отбросы еще более низкой категории, чем квартиранты торчков. Помню одного – подвязанное веревкой пальто без пуговиц, рваные брюки и ботинки, из которых торчали голые, даже не обмотанные пальцы. Бородатый как факир, он все время почесывался, соскребая с груди и плеч жуткую черную гадость вроде мазута, но и сквозь грязь, щетину различалось гипсовой белизны лицо, обескровленное какой-то зловещей хворью. А говорил он, я слышал, довольно грамотно, речью клерка или же продавца хорошего магазина.

Вскоре явился ожидаемый священник, и люди выстроились в том порядке, как приходили. Священник – миловидный, упитанный, с почти детским румянцем, внешне до странности напоминавший моего парижского приятеля Шарля, – был очень застенчив; ограничившись коротким и смущенным «добрый вечер», быстро пошел вдоль ряда, вручая талоны, не дожидаясь изъявлений благодарности. В итоге благодарность и возникла, священника признали «отличным, ...! малым». Кто-то (думаю, именно для ушей скромного церковника) крикнул: «Уж *этот* е... епископом не станет!», что, разумеется, означало величайший комплимент.

Талоны, по которым должны были накормить на шесть пенсов, адресовались столовой неподалеку, где хозяин, пользуясь отсутствием у бродяг выбора, давал за талон максимум на четыре пенса. Объединив свои талоны, мы с Падди получили столько, сколько в обычном кафе взяли бы пенсов за семь-восемь. То есть из фунта, честно раздававшегося священником, мошенник каждую неделю клал в карман не меньше семи шиллингов. И ограблениям такого рода бродяги подвергаются постоянно, и будет это продолжаться до тех пор, пока социальная помощь будет идти талончиками вместо денег.

Вернулись мы с Падди по-прежнему голодные и околачивались в кухне, наслаждаясь за неимением еды печным теплом. Только к одиннадцати прибыл Чумарь, измученный, еле доковылявшей на вывернутой, жутко нывшей ноге. Все точки под навесами разобрали и заработать скриверством не вышло, поэтому, кося глазом на полисменов, он просто попрошайничал. Насобирал восемь пенсов – пенни не добрал на кип. Вообще и час уплаты за ночлежку давно прошел, но он сумел проскользнуть в дом за спиной полномочного; теперь в любой момент его могли поймать, выставить ночевать на улицу. Чумарь достал все из карманов и осмотрел имущество, раздумывая, что продать. Выбрал он бритву, пошел с ней по кухне, через несколько минут выручил три пенса – хватало и койку оплатить, и купить кружку чая, да еще полпенса оставалось.

С кружкой в руках Чумарь сел возле печки обсушиться. Прихлебывая чай, он посмеивался, будто повторял про себя какой-то очень остроумный анекдот. Я удивленно спросил о причине веселья.

– Это ж умора драная! – сказал он. – Прям для «Панча»[118]! Чего, по-твоему, я учудил?

– Что?

– Бритву-то загнал, а сам вначале даже не побрился! Вот уж из всех придурков самый ...!

Он с раннего утра не ел, бог знает сколько отшагал на искалеченной ноге, насквозь промок, защитой от голодной смерти имел полпенни. И при всем том мог шутить над своим значительным убытком. Им нельзя было не восхищаться.

[118] Юмористический еженедельник, состоит главным образом из карикатур.

XXXIV

Наутро нашим капиталам пришел полный конец, и мы с Падди отправились в торчок. Потопали по Олд-Кент-роуд к городку Кромли; лондонские торчки, куда недавно навещавший их Падди пока являться не решался, для нас были закрыты, так что шестнадцать миль прогулки по асфальту, натертые на пятках волдыри, зверски оголодавшие желудки. Падди неотрывно обследовал мостовую, запасаясь перед торчком окурками. В конце концов это усердие было вознаграждено найденным пенни, мы купили толстый ломоть черствого хлеба и сжевали его на ходу.

В связи со слишком ранним для торчка прибытием маршрут наш удлинился походом в окрестности Кромли, к полосе защищавших луг посадок, под сенью которых можно было передохнуть. Судя по вытоптанной траве, клочьям газет и ржавым банкам, место служило популярным кочевым становищем. Понемногу подтягивались и другие странники. Стоял чудесный осенний день. Рядом пышно густели заросли пижмы; даже сейчас мне будто ударило в ноздри ее резким и сильным ароматом, перебивавшим тяжелый бродяжий запашок. В поле два крестьянских жеребенка, рыжевато-бурых с белыми гривами и хвостами, грызли калитку изгороди. Взмокшие бродяги обессилено валились на землю. Кто-то собрал хворост, разжег костер, и все мы пили пустой чай без молока из оловянного «барабана», передавая его по кругу.

Затем начались рассказы. Наиболее оригинальным типом в этой компании был некий Билл – закоренелый нищий старой классической породы, могучий как Геркулес и стойкий идейный враг труда. Хвастался, что с его мускулатурой работу находил когда хотел, но, дотянув до первой же получки, кошмарно напивался и получал расчет. А в промежутках жил «скулежкой», обхаживая главным образом владельцев лавочек. Говорил он примерно следующее:

«Я дале как до ... Кента не ходок. Народ тугой там, кентский-то. У их там скулежников уж больно много вьется. Ихний ... пекарь булку в яму лучше скинет, а те не даст. Вот Оксфорд да, самое место где скулить, Оксфорд-то да. И хлеба выскулишь, и бекона, и мяса, и в каждый вечер от студентов те рыжаков на кип накрапает. А одну ночь вот припоздал я, а чуток бы еще для кипа надо, так я иду к попу приходскому – скулю три пенса. Поп мне мои три пенса в руку и прям, змей, враз через секунду копу меня сдает. «Ты попрошайством занимался», – говорит коп. «Не, – говорю, – разок только у джентльмена попросил». Коп тут пошел меня трясти, ковырнул у меня с за пазухи фунт мяса да две буханки хлебные.

«Ну, – говорит, – а это чего ж такое? Двигай живо в участок». Клюв[119] мне семь суток припаял. Чтоб я еще когда скулил у этих попов ...! Нет уж, к чертям! Чтоб вот неделю в камере-то схлопотать?..»

По-видимому, эта жизнь целиком строилась вокруг «наскулить, напиться и схлопотать». Однако сам Билл хохотал, описывая свои похождения как грандиозную потеху. И хотя он вроде не слишком уж разбогател своей скулежкой (всей одежды лишь плисовый костюм, шарф, кепка, ни белья, ни носков), но был и толст и весел, даже попахивал пивком – редчайший запах от бродяг наших дней.

Двое недавно посещавших торчок в Кромли рассказали про тамошнее привидение. Несколько лет назад, поведали они, в торчке этом случилось самоубийство: протащивший бритву бродяга ночью зарезался. При утреннем обходе дверь в каморку зажало изнутри телом покойника, открыть ее открыли, но сломали мертвецу руку. Мщения ради, мертвец начал регулярно являться в свою последнюю келью, и всякому, кто ночевал там, после не удавалось прожить и года (случаев уже, разумеется, полным-полно). Теперь, когда в Кромли придешь и дверь если у тебя застревает, беги как от чумы – та самая клетушка, с призраком.

Два бывших моряка рассказали другую жуткую историю. Некий хитрец (рассказчики клялись, что знали его) придумал зайцем проехать на пароходе, шедшем в Чили. Грузили судно товаром в больших деревянных коробах, и он, найдя помощника среди докеров, спрятался в одном таком ящике. Только вот докер перепутал порядок загрузки. Кран, подцепив короб с сидевшим внутри безбилетником, поднял его и на судно поставил – на самое дно трюма, под многие тонны прочего груза. Никто ничего не узнал до конца рейса, когда безбилетника обнаружили уже гниющим, умершим от удушья.

Следующий рассказчик напомнил о Гилдрое, шотландском разбойнике: Гилдроя приговорили к виселице, а он убежал, захватил приговорившего судью и сам – шикарный парень! – судью повесил. Бродяги любят конечно героев исторических, но интересно, как они сюжеты о героях переиначивают. Скажем, по их версии Гилдрой бежал в Америку, хотя известно, что его поймали и казнили. Правка несомненно делается сознательно, целенаправленно – точно так же дети подправляют истории Самсона и Робин Гуда счастливыми, то есть весьма фантастичными, концовками.

В русле исторических повествований один очень старый бродяга заявил, что статья о «покушении на жизнь» возникла из-за случаев, когда

[119] «Клюв» на жаргоне –судья.

дворяне в старину травили кусачими гончими людей вместо оленей. Некоторые смеялись, но в голове у старика крепко сидела своя идея. Что-то понаслышке ему было известно и насчет «Хлебных законов», и насчет «права первой ночи» (которое он полагал доныне существующим), и о «Великом мятеже»[120], который он – путая, видимо, с крестьянскими бунтами, – считал восстанием бедняков против богачей. Вряд ли старик умел читать, во всяком случае он безусловно не пересказывал статьи в газетах. Долетевшие до него обрывки исторических сведений передавались бродягами из поколения в поколение, возможно на протяжении веков. Отзвук древней устной традиции, слабое эхо средневековья.

В шесть вечера мы с Падди вошли в торчок, в десять утра вышли оттуда. Ничего нового после торчков Ромтона и Эдбери, и привидение нам не явилось. Зато завязалось знакомство с парочкой бывших рыбаков из Норфолка, Вильямом и Фредом, озорными ребятами, большими любителями песен. Украшавшую их репертуар «Бедную Беллу» стоило записать. Впрочем, прослушав «Беллу» в следующие двое суток раз десять, я запомнил ее наизусть и перевру лишь словечко-другое. Песня такая:

Была она юной, была она чистой,
Глаза-бирюза, голосок серебристый,
О бедная Белла!
Ясным солнышком нежный румянец светил,
Но в кудрявой головке лишь ветер кружил,
И однажды с пути ее доброго сбил
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так была молода, не взяла она в толк,
Что коварны мужчины и путь наш жесток,
О бедная Белла!
«Мой любимый, – смеялась она, – не такой,
Он признает дитя, буду верной женой».
Завладел ее сердцем и светлой душой
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Она к милому в дом, а трусливый шакал
Уж мешок на плечо и далече удрал,
О бедная Белла!
Из поместья прогнали ее тот же час:

[120] (Great Rebellion) – гражданская война в Англии, 1642–1660 гг.

«Для распутных служанок нет места у нас».
Ей оставил лишь горе да слезы из глаз
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

И бродила всю ночь у холодной реки,
И никто не узнал ее черной тоски,
О бедная Белла!
Утро раннее сушит на камне росу,
Горе, горе! Несчастную Беллу несут.
Погубил ее жизнь и младую красу
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так-то, знай, что, как юные дни ни лихи,
Отольются бедою и болью грехи,
О бедная Белла!
Тихий снег на сырую могилу летел,
Говорили мужчины: «Таков наш удел»,
А хор женщин печальных угрюмо пропел:
«Все вы, парни, ублюдки паршивые!»

Сочинено, надо полагать, женщиной.

Фред и Вильям, исполнители этой баллады, представляли собой тот сорт отпетых прохиндеев, из-за которых у бродяг дурная слава. Узнав случайно, что в торчке Кромли собран запас старой одежды для раздачи вконец оборванным гостям, ребята на подходе к торчку сняли башмаки, кое-где распороли швы, частично отодрали подошвы и потом заявились с просьбой о помощи. При виде их драных подметок бродяг-майор выдал две пары почти новой обуви, наутро сразу же, чуть ли не возле выхода проданной за шиллинг и девять пенсов. За такие гроши привести практически в негодность свои хорошие ботинки парням казалось дельцем стоящим.

Из торчка все мы длинным унылым караваном побрели на юг, в сторону Нижнего Бинфилда и Айд-Хилла. По дороге случилась драка: двое вдруг поссорились (глупейший casus belli[121] состоял в том, что один сказал другому «больше жри», а тому послышалось «большевик» – смертельное оскорбление) и схватились посреди поля. Около дюжины зрителей остались наблюдать. В память мне врезалась деталь – поверженный противник падает и слетевшая кепка обнажает белизну совершенно се-

[121] Повод к войне (лат.).

дой шевелюры. Потом кто-то из нас вмешался, драку прекратили. Падди тем временем провел дознание, выяснив в итоге, что истинной причиной ссоры был как всегда дележ убогих крох съестного.

В Нижний Бинфилд мы прибыли совсем рано; чтобы занять время Падди отправился по дворам в поиске работенки. У одной задней двери ему наконец велели разобрать ящики на дрова, он в качестве необходимого помощника привел меня, и мы вдвоем все сделали. Тогда хозяин распорядился напоить нас чаем. Не забуду, с каким испуганным видом служанка вынесла поднос и, обомлев на полпути от страха, поставив чай наш прямо на дорожку, бросилась обратно в дом скорей закрыться. Такой ужас внушает само слово «бродяга». Получив за работу по шесть пенсов, мы купили трехпенсовый каравай и пол-унции табака, пять пенсов оставили про запас.

Наши пять пенсов Падди для страховки решил припрятать ввиду слухов о деспотизме местного бродяг-майора, который обладателей даже столь скудного капитала мог в торчок не пустить. Вообще бродяги имеют обыкновение прятать деньги, зашивая контрабандные суммы в одежду, что карается арестом (если поймают, разумеется). У Чумаря и Падди была на эту тему славная байка. Однажды некого ирландца (ирландцем называл его Чумарь, а Падди – англичанином), отнюдь не нищего, имевшего при себе целых тридцать фунтов, занесло в деревушку, где ему не удалось устроиться на ночь. Какой-то встреченный им бродяга посоветовал пойти в ближайший работный дом. Рекомендация здравая: негде переночевать – иди и за весьма умеренную цену возьми спальное место в приюте. Ирландец, однако, решил быть самым умным и даром получить такой ночлег, прикинувшись обычной бездомной голью. Тридцать фунтов он зашил под подкладку. Между тем, консультант его, который все наблюдал, пошел в тот же торчок, а там тихонько договорился с надзирателем – отпросился утром уйти пораньше, якобы на работу. И в шесть утра спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал было ирландец жаловаться на грабеж, но получил только тридцать суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.

XXXV

Устало растянувшись на газоне сквера Нижнего Бинфилда, мы лежали под неусыпным наблюдением глазевших в дверные оконца своих коттеджей местных жителей. Подошли священник с дочерью, некоторое время молча рассматривали нас, как рыб в аквариуме, потом ушли. Ожидающих постепенно собралось несколько дюжин. Явились, распевая очередную песню, Вильям и Фред, и те двое, что по пути дрались, и Билл-скулежник, успевший выскулить в пекарне черствых буханок, спрятанных за пазухой на его голой под курткой груди, а теперь, к нашему общему удовольствию, разделенных на всех. Была и женщина, первая женщина, которую я видел среди бродяг. Потрепанная и заляпанная грязью толстуха лет шестидесяти, в длинной, волочившейся по земле черной юбке, она сидела с чрезвычайно надменным видом, и, едва кто-нибудь располагался рядом, презрительно отсаживалась дальше.

– Куда путь держите, сударыня? – спросили ее.

Она лишь повела глазами и фыркнула.

– Да вы, сударыня, не дуйтесь, подсаживайтесь! Мы ж тут одна команда-то!

– Спасибо, – горько проронила толстуха. – Мне как захочется в компанию с босяками, так я уж вам сообщу.

Необычайно выразительно произнесла она с босяками вспышкой высветило всю душу, куцую бабью душонку, ничего не увидевшую, не понявшую за годы нищенских скитаний. Наверняка в прошлом благочестивая чинная вдовица, которую скинуло на дорогу неким дьявольски ироничным случаем.

Торчок открылся в шесть. День был субботний; это означало, что нам придется взаперти сидеть весь уик-энд (откуда взялось правило, не знаю – возможно, вследствие смутного ощущения связи между заслуженными выходными и безобразным поведением). При регистрации я записался как «журналист». Ближе к истине, чем «художник», поскольку иногда мне что-то платили за статьи, но очень глупо, ибо привлекло внимание начальства. Как только нас ввели внутрь и построили для обыска, меня вызвал бродяг-майор. Сухой и жесткий, с солдатской выправкой, похожий не на бандита, каким его заочно представляли, а на старого честного рубаку, командир резко бросил:

– Кто тут Бланк?

(До меня не сразу дошло, что это моя, присвоенная мной фамилия).

– Я, сэр.

– Так значит журналист?

– Да, сэр, – ответил я, трепеща. Самый поверхностный допрос мог обнаружить мое вранье и кончиться арестом. Но командир, лишь смерив меня взглядом с ног до головы, сказал:

– Джентльмен, стало быть?

– Хотелось бы полагать.

Он удостоил меня еще одним долгим взглядом, кивнул: «Ясно, драная неудача сшибла; подсекла, значит, драная» – и затем относился ко мне с очевидным благожелательным пристрастием, даже определенной почтительностью. Избавил от обыска, выдал перед мытьем (неслыханная роскошь!) отдельное чистое полотенце. Столь властно звучит титул «джентльмена» для честных солдатских ушей.

В семь нас, проглотивших свой чай с хлебом, отправили по клетушкам, на сей раз одиночным, с топчаном и соломенным матрасом, то есть дававшим наконец возможность хорошо выспаться. Но идеальных торчков не бывает, и специфическим дефектом Нижнего Бинфилда оказался холод. Отопление не работало, два тоненьких бумажных одеяльца почти не грели, а уже несмотря на осень начались суровые заморозки. Все отведенные для сна двенадцать часов прошли в беспрерывном верчении с боку на бок, чередовании минутных сонных провалов и будившего озноба. К тому же не закурить – так ловко спрятанный в пиджаках табак вместе с этими пиджаками до утра оставался недосягаемым. По всему коридору слышались из-за дверей стоны, порой переходящие в проклятья. Вряд ли хоть кто-нибудь проспал здесь более часа, от силы двух.

После завтрака и медосмотра бродяг-майор согнал нас всех в столовую и там запер. Неописуемо тоскливый, воняющий тюрьмой, заставленный рядами длинных грубых столов и лавок каменный сарай, в зарешеченные окошки высоко над головой не посмотреть, по голым выбеленным стенам никаких украшений кроме казенных часов и циркуляра о местных правилах. Набитые по лавкам как сельди в бочке, мы уже изнывали от скуки, а было еще только восемь утра. Заняться нечем, обсуждать нечего, даже нет места просто размять мышцы. Единственное утешение – курежка, к этому проступку здесь, если за руку не ловили, относились довольно снисходительно. Тщедушный, с гривой лохматых волос бродяжка шотландец, простецки изъяснявшийся жаргоном окраин Глазго, остался без курева (при обыске его жестянка с окурками выпала из ботинка), и я отсыпал ему табака. Дымили мы украдкой; едва слышалось приближение бродяг-майора, мигом, как школьники, совали самокрутки в карман.

Вот так, без дела, без движения, без воздуха, большинство бродяг просидели десять часов подряд. Бог знает, как они сумели это выдержать. Лично мне повезло: через пару часов начальник забрал несколько человек для различных подсобных работ и меня отрядил на самое желанное место – при кухне. Снова, подобно выдаче чистого полотенца, сработал завораживающий чин «джентльмена».

Поскольку никакой работы на кухне не было, я тихо шмыгнул под навес, где хранилась картошка и где в тот час несколько постоянных здешних обитателей скрывались от воскресной церковной службы. Имелись ящики, чтобы с комфортом посидеть, прошлогодние номера «Семейного вестника», даже ветхий библиотечный экземпляр «Рэфлза»[122]. Приютские занятно говорили о жизни в работном доме. В частности, о том, что самое ненавистное для них – униформа, это позорное клеймо благотворительности, а если б разрешалось носить свою одежду, ну хоть только кепку и шарф, так они и не против жить тут (в статусе нищих, под почти тюремным надзором). Обед мне дали настоящий, от общего стола: порции для удава, я так не объедался со дня дебюта в «Отеле Икс». Затем повар велел мне вымыть посуду, собрать и вынести объедки. Количество оставшейся в тарелках еды изумляло, в данных обстоятельствах – ужасало. Сваленная грязным месивом вместе со спитым чаем, половина всего – и мяса, и ломтей хлеба, и овощей – на помойку. Я набил пять мусорных баков еще весьма съедобной пищей, в то время как у полусотни бродяг в торчке пустое брюхо ныло после обеда из куска хлеба с сыром и, может, пары добавленных в честь воскресения холодных вареных картофелин. Политика благоволения к послушным, строго опекаемым нищим сознательно предпочитает скорее выкинуть еду, чем дать бродягам.

Около трех я вернулся в торчок. Просидевшие уже восемь часов в такой тесноте, когда и локоть не отвести, бродяги одуревали от скуки. Даже курение закончилось, ведь бродяжий табак добывается из окурков и быстро иссякает вдали от мостовых. Разговоры тоже почти прекратились, люди просто сидели, уставясь в пустоту, обросшие щетиной лица раздирало зевками во всю пасть. Царство тоски-печали.

Падди, чья задница совершенно онемела на жесткой лавке, хандрил и от нечего делать вяло беседовал с не очень похожим на бродягу молодым плотником, носившем воротничок и галстук, скитавшемся, по его словам, из-за отсутствия инструмента. Держался юноша несколько в стороне от остальных, считая себя не бездомным бедняком, но, скорее, вольным странником; таскал с собой обнаруживавший вкус к литературе томик «Квентина Дорварда»[123]. В торчки, сказал он, его загоняет лишь

[122] Речь идет о написанном в 1899 году романе Эрнста Уильяма Хорнунга «Рэфлз, взломщик-любитель». Интерес и симпатия к герою целой серии повествований о похождениях отважного авантюриста выразились не только в частых упоминаниях и образных перекличках, но и в специальном эссе Оруэлла «Рэфлз и мисс Блендиш».

[123] Роман Вальтера Скотта.

крайняя нужда, гораздо лучше ему спится в стогах или же под кустами живых изгородей. Он обошел все южное побережье, питаясь подаянием и ночуя в летних купальнях.

Заговорили о бродяжьей жизни. Молодой человек раскритиковал систему, которая полсуток держит бродягу в торчке, а остальные часы велит шляться туда-сюда, дрожа перед полицией. Свой случай – вот уже шесть месяцев общество его содержит, но нескольких фунтов купить рабочий инструмент не находится, – он назвал «сущим идиотизмом».

Тогда я рассказал ему о кухонных объедках в работном доме, высказав свое мнение на этот счет. И тут проснулся спящий в каждом британском пролетарии строгий и благонравный прихожанин. Столь же голодный, как толпа его соседей, молодой человек сразу усмотрел резоны, по которым пищу лучше отправить на помойку, нежели скормить бродягам. Последовало весьма суровое наставление:

– Нельзя иначе. Сделайте условия в таких приютах чуть получше, сюда хлынет вся накипь грязная со всей страны. Только дрянной кормежкой и отгонишь. Бродяжат негодяи, потому что работать не хотят, ничем их не исправишь и нечего с ними миндальничать, с этой швалью.

Я начал возражать, доказывать, но он не слушал, продолжая твердить:

– Да не жалейте вы этих бродяг, всю эту накипь. Вы о них не судите, как о нас с вами. Шваль она и есть шваль».

Примечательно, с какой виртуозностью ему удавалось отделять себя от «всех этих бродяг». Дороги трамбовал уже полгода, но полагал, что, милостью Господней, сам не бродяжит. Мне представляется, на свете очень много бродяг, благодарящих Господа за то, что они не бродяги. Вроде туристов, что так едко насмехаются над туристами.

Еле-еле проползли три часа. В шесть принесли ужин, оказавшийся совершенно несъедобным: хлеб, черствый еще утром (нарезанный накануне, в субботу вечером), приобрел твердость корабельных сухарей. К счастью, он был намазан салом, оставшимся от жарки мяса; этим застывшим салом, соскребая его, мы и поужинали, все же лучше чем ничего. Четверть седьмого нас отправили спать. Прибыла свежая партия бродяг, смешивать группы не положено (из опасения инфекций), так что в отсеки поместили новеньких, а нас отвели в спальни. Моя спальня была большой коробкой, с тридцатью койками почти вплотную и бадьей в качестве горшка. Мерзкая вонь, всю ночь хождения, кашель стариков, зато так много спящих, что комната согрелась и мы кое-как подремали.

После очередного утреннего медосмотра, получив на дорогу очередной кусок хлеба с сыром, мы разошлись. Уходя, Фред и Вильям, гордые обладатели целого шиллинга, накололи свои ломти хлеба на острые шипы ограды – в знак протеста, как они заявили. Уже второй кентский торчок донимал парней слишком жестким распорядком, и они отвечали приливом необычайно, на их взгляд, остроумного озорства. А вообще весельчаки большая редкость среди бродяг. Какой-то дурачок (в любом скоплении бродяг найдется слабоумный), ноя, что у него нет сил идти, цеплялся за ворота, пока бродяг-майор не отодрал его и не поддал пинка. Мы с Падди повернули на север, к Лондону. Большинство остальных поплелись дальше, к Айд-Хиллу, обсуждая тамошний торчок, по общему мнению худший в Англии[124].

Снова сиял чудесный осенний день, вокруг тихо, машины пробегали очень редко. Воздух – волшебный аромат шиповника после зловонной смеси пота, мочи и хлорки. Мы шли вдвоем; казалось, мы единственные на дороге. Вдруг сзади торопливый топот, кто-то нас окликает: шотландец, тощенький бродяжка из Глазго, задыхаясь, догнал, вытащил из кармана ржавую жестянку и приветливо, облегченно разулыбался:

– На-ка, браток, – сказал он от души. – Моих чинариков курни. Дымком вчера меня одалживал, а мне на выходе махру-то мою воротили. А за добро добром надо ответно – на-ка вот.

И он положил мне на ладонь пяток сплющенных, сыроватых, изжеванных окурков.

XXXVI

Несколько общих замечаний насчет бродяг. Бродяга, если хорошенько вдуматься, явление очень странное. Не странно ли, что целое племя десятками тысяч людей должно безостановочно ходить из конца в конец Англии, как толпы Агасферов[125]? Вопрос, конечно, требует ответа, но нельзя приступить к выяснению, не избавившись вначале от некоторых предрассудков. Все они основаны на уверенности в том, что каждый бродяга ipso facto[126] подлец. О подлости бродяг нам твердят с самого детства, и в сознании складывается образ типичного, так сказать идеального, бродяги – гнусного и довольно опасного существа, которое под страхом смерти не заставишь работать или мыться, которое желает

[124] Позже я побывал там и свидетельствую – отнюдь не худший (прим. автора).
[125] Агасфер или Вечный жид – согласно средневековой легенде, за непочтение к Христу осужденный на вечную жизнь, вечные скитания.
[126] Самим фактом существования (лат.).

только клянчить, пьянствовать и воровать кур. Образ не более правдоподобный, чем зловещий Китаец из комиксов, но прочно застрявший в мозгах. «Бродяга» мысленно сразу переводится как «страшилище», чьей черной тенью застилает картину реальных проблем.

Главное – ответить почему вообще существуют бродяги. Кстати, очень мало кому известно, что же толкает человека слоняться по дорогам. Вследствие глубокой веры в бродягу-монстра называют разные, большей частью мнимые причины: говорят, например, что бродяжат бродяги дабы увиливать от работы, жить поданым дармовым куском, вольготно разбойничать, даже (самое фантастичное) – потому что им нравится бродяжить. В одном трактате по криминологии мне и такое встретилось: бродяга это исторический атавизм, возврат к общественной кочевой стадии. Между тем, совершенно очевидная причина прямо перед глазами. Никакой это, разумеется, не атавистический кочевник, иначе коммивояжеры тоже атавизм. И не ради беспечной жизни люди бродяжат, а по той же причине, по которой автомобиль держится левой стороны, – действие жестко определено законом. Для неимущего, если о нем не позаботилась община, единственная помощь в специальных временных приютах, и так как убежище только на одну ночь, человека автоматически гонит из пункта в пункт. Надо бродить, согласно положениям закона, либо сидеть и умирать голодной смертью. Увы, воображение людей, впитавших образ бродяги-монстра, отдает предпочтение мотивам так или иначе злодейским.

Немного же, однако, остается от этого злодея после честного изучения фактов. Допустим, общепринятое мнение о страшной, бандитской натуре бродяг. Без всяких конкретных примеров можно a priori[127] утверждать, что таковых считанные единицы, – будь бродяги действительно опасны, с ними и обращались бы соответственно. Но в приютах, за смену принимающих по сто гостей, командуют толпой бродяг обычно три надзирателя. Так разве трое безоружных сторожей могли бы справиться с сотней бандитов? В реальности, понаблюдав, как бродяга позволяет всяким приютским служащим измываться над собой, видишь, что это существо на редкость покорное, забитое. Или убеждение в повальном алкоголизме бродяг – звучит просто насмешкой. Конечно, большинство из них не прочь выпить при случае, только условия жизни им случаев не дарят. Сегодня в Англии пинта мутноватой, называемой пивом водицы стоит семь пенсов; чтобы захмелеть, нужно влить в себя по меньшей мере на полкроны, а где же виданы бродяги с этаким капиталом? Вот представление о нахальных паразитах на теле общества («закоренелых попрошайках») не лишено оснований, хотя справедливо для очень малого процента от общего числа. Откровенного, циничного паразитизма, присущего, судя по сочинениям Джека Лондона, американскому бродяге, в английском характере нет. У заедаемых пуританской совестью англичан намертво вбитое ощущение греховности нищенства. Англичанина, который сам захотел бы стать паразитом, невозможно представить, и национальный тип сознания вряд ли особенно изменишь, выгнав человека с работы. Если помнить, что бродяга всего лишь оставшийся без работы и принужденный законом топтать дороги рядовой житель Англии, бродяга-монстр начисто исчезает. Я не настаиваю, разумеется, на ангельской натуре бродяг, я говорю только, что они из обыкновенной человеческой плоти, и если отличаются не лучшей манерой поведения, то это следствие, но не причина.

Так что отношение «корми еще всю эту сволочь!» столь же уместно здесь, как в отношении к больным или калекам. Когда ясно, до мелочей представишь бродягой себя самого, почувствуешь, на что похожа его жизнь. Невероятно пустая и крайне неприятная. Я описал хождения по торчкам – рутину бродяжьих будней, однако это лишь третье из непременно настигающих зол. Первое – голод, постоянный, едва ли не официально назначенный. Рацион приютов, видимо, даже не планировался кормить досыта, а получить что-то еще возможно только нищенством, то есть нарушая закон. В итоге от недоедания общая хилость и гнилость, в чем легко убедиться, взглянув на очередь перед торчком. Второе великое зло, вроде гораздо менее серьезное, но на деле действительно второе после голода, – бродяга лишается контактов с женщиной. Рассмотрим этот важный пункт подробнее.

Прежде всего, бродяги отлучаются от женщин тем, что в этой социальной группе женщин чрезвычайно мало. Казалось бы, среди бездомных должен быть общий, повсеместный баланс полов. Но нет, фактически, ниже определенного уровня общество становится почти полностью мужским. Отчет Совета Лондонского графства (ночная перепись 13 февраля 1931 года) демонстрирует следующее численное соотношение бродяг:

Ночующих на улицах: мужчин 60, женщин 18[128].

В негосударственных убежищах и ночлежных заведениях: мужчин 1057, женщин 137.

[127] Заранее, без доказательств (лат.).

[128] Данные явно преуменьшенные, к тому же пропорция чересчур хороша (прим. автора).

В подвале церкви Св. Мартина-в-полях: мужчин 88, женщин 12.

В муниципальных приютах и общежитиях: мужчин 674, женщин 15.

Цифры отчетливо свидетельствуют о соотношении живущих за счет благотворительности мужчин и женщин – примерно десять к одному. Почему? Возможно, женщин меньше затрагивает безработица; возможно также, что у каждой достаточно привлекательной женщины на крайний случай отыскивается некий покровитель. Так или иначе, для бродяги это приговор к пожизненному безбрачию. Ведь если ему не нашлось спутницы своего круга, то дама с более высоким – хотя бы чуточку повыше – положением недоступна ему как солнце в небе. Причины обсуждать не стоит; понятно, что женщина никогда, почти никогда не снизойдет до кавалера, который беднее ее самой. Таким образом, с момента выхода на дорогу жестокое безбрачие. Абсолютно никаких надежд обрести жену, любовницу, какую-нибудь подругу, разве что очень изредка бродяга ухитрится скопить несколько шиллингов на проститутку.

Последствия очевидны: и гомосексуализм, и случаи насилия. А за всем этим внутренняя деградация человека, осознающего, что его даже не воспринимают в качестве брачного партнера. Сексуальный импульс – импульс без преувеличения фундаментальный, голод в этой сфере способен деморализовать почти так же, как отсутствие пищи. Не столько в муках, сколько в медленным гниении тела и духа ужас бедности, и сексуальная подавленность весьма успешно помогает гнить. Отрезанный от женского пола, бродяга ощущает себя выкинутым в разряд калек или дегенератов. Никаким унижением не нанести больший удар по чувству собственного достоинства.

Из разряда великих зол и вынужденное безделье бродяг. Порядки у нас таковы, что бездомный или шагает по дороге, или заперт в приюте, или в ожидании мается у входа в приют. Ясно, какой это угнетающий, разлагающий образ жизни, особенно для человека малокультурного.

Помимо того можно перечислить множество мелких зол. Напомню лишь об одном – о постоянном дискомфорте, отсутствии в бродяжьем обиходе элементарнейших удобств. Люди как-то забывают, что у бродяги нет обычно никакой сменной одежды, что башмаки его не по ноге, что у него месяцами не бывает возможности посидеть на стуле. Но хуже всего, что эти мучения неизвестно зачем. Фантастически тягостная жизнь, не предполагающая какой бы то ни было цели. Трудно изобрести более тщетное занятие, чем перемещения от тюрьмы к тюрьме, вынуждающие восемнадцать часов в сутки или шагать, или тупо отсиживать взаперти. В Англии по меньшей мере десятки тысяч бродяг. И день за

днем их несметные силы – силы, способные вспахать гектары пашен, выстроить кварталы домов, проложить многие мили дорог, – тратятся на бессмысленные переходы. И день за днем, для некоторых, может, десятками лет, разглядывание стен приютской камеры. На каждого бродягу расходуется минимум фунт в неделю, взамен страна не получает ничего. Бродяги кружат и кружат унылым великопостным хороводом, чисто ритуальным, какой-либо практической пользы кому-либо вовсе не предполагающим. Все идет по закону, и мы так привыкли, что нисколько не удивляемся. Хотя это поразительно глупо.

Выяснив изъяны бродяжьей жизни, поставим вопрос: можно ли как-то улучшить положение? Отчасти можно, если, например, сделать муниципальные приюты чуть более жилыми, что уже и делается в некоторых местах. Кое-где за последний год введены некоторые улучшения быта, после инспекций признанные правильными, рекомендованные для повсеместного внедрения. Но это не решает главную проблему – проблему превращения надоедливого полудохлого попрошайки в уважающую себя личность. Простым увеличением комфорта здесь не поможешь. Даже с приютами положительно роскошными (чего не будет никогда129) жизнь бродяги все равно останется бесцельной, паразитической, навек отрезанной от семейного очага, пропадающей впустую для общества. Вытащить человека со дна необходимо и возможно только работой – не трудом ради труда, а реальным делом, которое исполнителю будет выгодно. Сейчас в подавляющем большинстве официальных приютов бродяги вообще ничего не делают. Одно время их направляли, отрабатывая пищу, бить щебенку, но вскоре прекратили, так как гигантские, на много лет вперед, запасы щебня лишили работы настоящих дробильщиков камней. Нынешняя праздность бродяг от того, вероятно, что дела не находится. Тем не менее для них есть довольно очевидный вид полезного труда: при каждом работном доме можно было бы организовать ферму или хотя бы огород, где всякому трудоспособному гостю предоставлялась бы возможность отработать дневную норму. Фермерско-огородная продукция пошла бы на общий стол, по крайней мере что-то добавилось бы к чаю с маргариновыми бутербродами. Конечно, никогда приюты не станут полностью окупать себя, однако начнется некое продвижение к этому, а толпы бродячих клиентов будут, надо надеяться, менее обременительны. Следует отметить, что бродяга мертвым грузом

[129] Справедливости ради надо отметить, что уже несколько приютов недавно улучшили условия, по крайней мере для сна. Но в большинстве все осталось по-прежнему, а относительно еды вообще нигде никаких перемен (прим. автора).

виснет на шее государства не только из-за своего безделья, но также из-за плохого, подорванного скверной пищей, здоровья; принятая система теряет живых людей так же успешно, как деньги. Стоило бы испытать на практике схему с расширением рациона бродяг, самостоятельно производящих часть продовольствия.

Мне возразят, что не получится вести хозяйство фермы или даже огорода трудами ежедневно сменяемых работников. Но кем доказано, что бродяг можно держать в приюте только день? Они могли бы оставаться на месяц, хоть на год, если для них имеется работа. Их постоянные скитания нечто весьма искусственное. В настоящее время оплата работным домам идет за партию бродяг, а потому там цель скорее вытолкать одних, впустив других, и соответственно правило дольше ночи не задерживаться. За возвращение в пределах месяца штрафная недельная отсидка, тюрьма не манит, и скиталец, естественно, предпочитает хождения. Но если бы бродяги трудились на работный дом, где им давали бы нормальную еду, дело другое. Из работных домов постепенно образовались бы частично окупаемые заведения, а востребованные бродяги, оседая на том или ином месте, прекратили бы бродяжить. Делали бы что-то сравнительно полезное, ели бы как люди, жили оседлой жизнью. Со временем, при удачной реализации такого плана, они, может быть, даже перестали бы видеться жалким сбродом, смогли бы завести семью, занять приличное место в обществе.

Это лишь очень сырая идея, которую легко оспорить по многим пунктам. И все-таки она намечает путь к более достойной жизни бродяг без дополнительных социальных расходов. Решение, в любом случае, где-то здесь. В самом вопросе «что делать с праздными полуголодными людьми?» подразумевается ответ – направить их силы на производство собственного пропитания.

XXXVII

Несколько слов о том, где в Лондоне бездомный может устроиться на ночлег. Кроме сугубо благотворительных учреждений нигде не найти *койки* дешевле чем за семь пенсов. Если же вы не располагаете указанной суммой, придется выбрать один из следующих вариантов.

1. Набережная. Вот что говорил относительно здешней ночевки Падди.

«С етой набережной беда, что больно рано спать туда иди. Прям от восьми скамейку занимай, не то без места будешь, мало лавок на всех-то. И как приходишь, сразу спать старайся: в ночь застынешь, а перед утром, в четыре, патруль тя вытурит. Кемаришь там кой-как – трамвай драный туда-сюда прям по башке катает и с лампочек рекламных через воду в глазу искрит. И холодрыга, жуть. Которы там привычны, так ети для тепла в газеты себя обертывают, ну а хрен ли толку? Считай, повезло сильно, когда покемаришь часа три драных».

Мне приходилось ночевать на набережной и я нахожу описание Падди абсолютно точным. Это, однако, много лучше, нежели не спать совсем, что обязательно произойдет, когда решишься провести ночь на других улицах. За исключением нескольких специально оговоренных пунктов – набережная и еще пара мест (одно позади Лицейского театра), – по лондонским муниципальным законам отдыхать ночью на улице разрешено, но уличенных в сне патруль должен сгонять. Правило из набора откровенно оскорбительных. Считается, что цель – предотвратить случаи смерти от переохлаждения, хотя ясно, что если уж бездомный умирает от голода и холода, он умрет как спящим, так и бодрствующим. В Париже этого правила нет. Там люди целыми колониями спят под мостами через Сену, в нишах подъездов, вокруг наружных вентиляционных люков метро и даже внутри самих станций. Вреда от этого не заметно. Никто, имея лучшие возможности, не станет ночевать на улице, и раз лишился человек крыши над головой, почему бы не дать ему уснуть, если он сможет.

«Двухпенсовый подвес». Ночевка классом чуть повыше уличной. В двухпенсовом подвесе клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо называемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, – лучше уж, чем на голом полу. Подобного типа пристанища есть и в Париже, только стоят там не два пенса, а двадцать пять сантимов (полпенни).

«Гроб». За четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно, и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться.

Кроме того обычные ночлежки ценой от семи пенсов и дороже. Лучшая из них – Раутон-хауз, где ты за шиллинг получаешь свой от-

гороженный спальный отсек и пользуешься превосходными ванными комнатами. Можно также за полкроны взять «люкс», практически гостиничный номер. Помещения Раутон-хауза великолепны; единственный тамошний недостаток – строгий режим, запрещающий готовить еду, играть в карты и т.п. Вероятно, самая убедительная реклама Раутон-хаузу то, что он всегда до отказа набит жильцами. Столь же великолепен Брюс-хауз, где берут на пенс больше.

Далее, лучше прочих по части гигиены общежития Армии спасения, цена семь-восемь пенсов. Общежития разные (довелось мне побывать и в таком, где грязи было, как в рядовой ночлежке), но в большинстве и чистота и хорошие ванные; впрочем, ванну оплачиваешь дополнительно. За шиллинг будешь спать в отдельном боксе. Кровати восьмипенсовых спален достаточно удобны, только их чересчур много (как правило коек по сорок в комнате) и стоят они так тесно, что на спокойный сон рассчитывать нельзя. От бесчисленных жестких ограничений пованивает тюрьмой и филантропией. Приюты Армии спасения годятся лишь для тех, кому важнее всего гигиеническая сторона.

Наконец, всякие ординарные ночлежки. Там, платишь ли семь пенсов или шиллинг, везде душно и шумно, постели одинаково грязны и одинаково неудобны. Искупается это вольной волей, атмосферой lessez-faire[130], теплом почти домашних кухонь, на которых можно посиживать в любое время суток. Не жилье, а берлоги, но с каким-то подобием человеческой жизни. Ночлежки для женщин, говорят, обычно еще хуже мужских. Заведений, приспособленных для семейных пар, чрезвычайно мало; не редкость, когда муж спит в одной ночлежке, жена в другой.

Обитающих сегодня в лондонских ночлежках по меньшей мере тысяч пятнадцать. Для людей с недельным заработком ниже двух фунтов это выход. Меблированную комнату так дешево вряд ли снимешь, а здесь и бесплатные печки с плитами, и какие-никакие ванные, и общество в изобилии. Что касается грязи, не самая страшная беда. Действительно плохо то, что идешь в ночлежку спать, но именно выспаться невозможно. Получаешь за свои деньги узенькую койку длиной метра полтора, с горбатым каменным матрасом, подушкой вроде чурбака, одной тонкой накидкой и парой серых вонючих простынь. Зимой выдают одеяла, но их всегда нехватка. К тому же коек в комнате минимум пять, а иногда по пятьдесят-шестьдесят, с полуметровыми проходами. В этих условиях, конечно, нормального сна не будет. Такими скотскими стадами люди спят еще только

[130] Вольности; дословно – «не приставайте, оставьте в покое» (фр.).

в казармах и больницах, но в палатах общественных больниц никто и не надеется отсыпаться, а в переполненных солдатских казармах хотя бы постели удобные и народ здоровый. Теперь представьте квартирантов ночлежек, почти поголовно страдающих хроническим кашлем, часто встающих из-за своих застуженных мочевых пузырей; шум и беспрерывная возня ночь напролет. По моим наблюдениям, спать удается от силы часов пять – просто гнусное надувательство за твои семь или более пенсов.

Законодательство могло бы здесь кое-что подправить. В уставе Лондонского графства множество указаний относительно ночлежных заведений и ничего об интересах самих жильцов, насчет которых только запрещения распивать спиртные напитки, драться, играть на деньги и т. д. Пункта, обязывающего предоставлять приличные кровати, нет. Хотя добиться этого было бы совсем просто – гораздо проще, чем искоренить азартную игру. Содержатели ночлежек должны были бы обеспечивать жильцов достаточно пригодными матрасами и постельным бельем, и прежде всего – сделать в спальнях перегородки. Неважно, сколь мал будет отдельный бокс, – важно, что человеку необходимо спать в одиночестве. Всего несколько дополнительных, строго обязательных пунктов дали бы огромные перемены. Ночлежки можно оборудовать с разумным комфортом даже при нынешних расценках. В муниципальном ночлежном доме Кройдона за девять пенсов и нормальные кровати, и стулья (уникальная для ночлежек роскошь), и кухня с окнами, а не под землей. Почему бы и прочим девятипенсовым ночлежкам не достичь того же уровня.

Разумеется, владельцы, имея сейчас колоссальный доход, станут en bloc[131] противиться любому изменению. В среднем ночлежка за ночь приносит от пяти до десяти фунтов, причем злостных должников тут практически не бывает (кредит строжайше запрещен), а расходы, за исключением арендной платы, мизерны. Всякое улучшение условий означало бы уменьшение толкотни, то есть снижение прибыли. Тем не менее пример муниципальной ночлежки в Кройдоне показывает, что и за девять пенсов хорошо обслуживать *возможно*. Несколько верно направленных законодательных параграфов везде создадут человеческие условия. Если власти вообще намерены заниматься ночлежными домами, то начинать надо с реальных удобств, а не дурацких запретов, которых никогда не допустили бы в гостинице.

[131] Единой массой, сплотившись (фр.).

XXXVIII

На пути из Нижнего Бинфилда мы с Падди заработали полкроны, прополов и убрав чей-то садик, и потом, после ночевки в Кромли, снова явились в Лондон. И через день-другой расстались. Я одолжил у друга Б. еще два фунта, в последний раз, так как до конца передряг оставалось продержаться всего неделю. Мой наконец прибывший дебил оказался не столь хорош, как я предполагал, но не настолько плох, чтобы мне захотелось обратно в торчок или в «Трактир Жана Котара».

Падди пошел на Портсмут, где какой-то приятель вроде бы мог помочь найти работу, с тех пор я его никогда не видел. Недавно до меня дошел слух, что он попал под колеса и погиб, но, может быть, сообщивший просто перепутал его с кем-то. Буквально позавчера я получил известие о Чумаре: сидит в кутузке – две недели за нищенство. Не думаю, что тюрьма его сильно беспокоит.

Здесь я закончу свою историю. Историю довольно тривиальную, могу лишь надеяться, что она будет неким образом интересна как вариант этнографического дневника. Я просто рассказал – есть мир, он совсем рядом и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь совсем без денег. Этот мир мне еще непременно надо будет изучить глубже и точнее. Я очень бы хотел узнать таких людей, как Марио, или Падди, или скулежник Билл не по случайным встречам, а близко, по-настоящему; я очень бы хотел понять, что же действительно творится в душах плонжеров, бродяг, постоянных жильцов набережной. Пока, конечно, мне приоткрылся лишь краешек нищеты.

Но все же кое-что, слегка хватив бедняцкого лиха, я усвоил. Я никогда уже не буду думать о бродягах, что все они пьяницы и мерзавцы, не буду ждать благодарности от нищего, которому я кинул пенни, не буду удивляться слабоволию тех, кого выгнали с работы, не буду опускать монеты в кружку Армии спасения, отказываться на улице от рекламных листовок и наслаждаться угощением в шикарных ресторанах. Начало есть.

1931

Дорога на Уиган-Пирс

Перевод Веры Домитеевой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил.

Рассчитанную на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом, приспособив его под лавочку, торгующую требухой, и меблированные комнаты, Брукеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам, так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище, нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелись когда-то цветастый, линялый как половая тряпка ковер, два стула с позолотой и драными сидениями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, стараясь усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек.

Моя кровать стояла в правом углу, около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык, поперек моей (дабы позволить двери открываться), спал я, поджав ноги, – распрямленные, они пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик «наверху» одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в пять утра, благодаря чему я мог наконец вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер шотландец,

пострадавший в забое при обвале (его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через два часа) и получивший за увечье пять сотен фунтов компенсации. Сорокалетний богатырь, седеющий, с короткими усами – типаж старшего сержанта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались коммивояжеры, распространители газет, рекламные агенты и прочий кратковременно гостивший люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортней остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившим своего рода приманкой. Окна, по низу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись, и утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, ты этого не замечал, но, стоило тебе выйти и вернуться, запашок крепко шибал в нос.

Я так и не узнал, сколько же в доме было спален, однако – диво дивное – там со времен еще до Брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк, поскольку с одной стороны был магазин, а с другой – кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возлежала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим желтовато-бледным и страдальчески озабоченным лицом оставалась неясной; подозреваю, что единственной причиной ее нездоровья являлось переедание. Перед плитой почти всегда висело на веревке сохшее белье, в центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел, но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старые газеты, заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку, подметив специфические крошки, изо дня в день наблюдать их передвижение по столу.

Торговое помещение было узким и холодным. Звездочками в ночи белели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца, рядом нечто темное и мохнатое под названием «черный рубец» и призрачно светящиеся отварные свиные ножки. Типичная лавчонка, где клиентам предлагается «тушеный горох с требухой» и мало что еще кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрина также зазывала «чаем», однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись.

Мистер Брукер, бывший шахтер, уже два года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом вёл некое предпринимательство. Одно время они с женой держали паб, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще я сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес; похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело, главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца, вечно угрюмый мистер Брукер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер кормлением жильцов большей частью занимался он и, как свойственно грязнулям, делал это сколь неряшливо, столь и медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из подпола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца; говорили, что там кишмя кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи: «Дайте-ка вспомнить, с тех пор мне уж три раза заморозку /мороженый рубец/ привозили...». Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали. Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта, теперь я думаю – просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами Брукеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели.

Постоянными жильцами были только шахтер шотландец мистер Рейли, два престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звался Джо (личности его типа фамилий как бы не имеют). Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие «желтой угрозы», дорожных убийств, астрологии или конфликта между наукой и религией. Двух стариков, как полагается, приговорила доживать в чужом углу официальная система по назна-

чению пенсий неимущим. Вручая Брукерам свои еженедельные десять шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму: койку на чердаке и питание, состоявшее, в основном, из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать «старший», угасал от какой-то зловещей хвори (видимо, от рака), поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу Старый Джек, было семьдесят восемь лет, из которых он больше пятидесяти проработал в шахте. Он сохранил и живой ум, и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. Старик любил мне рассказывать об укрощении впряженных в вагонетки, дико лягавшихся в узких штольнях лошадей. Узнав же о моей договоренности побывать в угольном забое, он презрительно заявил, что таким долговязым, как я (рост мой шесть с половиной футов), «ходку» по штрекам нипочем не одолеть, и убеждать его в определенном улучшении условий этих «ходок» было бесполезно. А вообще, он щедро проявлял дружелюбие и, перед тем как вскарабкаться к своей койке под самой крышей, всегда учтиво кидал на прощание: «Спокойной ночи, ребята!». Но больше всего в Старом Джеке меня восхищало абсолютное нежелание попрошайничать – оставаясь к концу недели без крошки табака, он неизменно отказывался угоститься чужим куревом. Брукеры застраховали жизни дряхлых жильцов договорами с полисным взносом шесть пенсов в неделю. Кто-то подслушал разговор, когда они тревожно допытывались у страхового агента: «Долго ль живут-то эти, которые раком больны?».

Джо, будучи, как и шотландец, заядлым читателем газет, целыми днями просиживал в бесплатной городской библиотеке. Весьма запущенного и заброшенного вида типичный безработный холостяк с наивно-презрительной миной на круглым, почти детском лице, выглядел он скорее беспризорным юнцом, чем мужчиной. Подобного рода моложавость, мне представляется, чаще всего идет от полной личной безответственности. Увидев Джо, я решил, что ему лет двадцать восемь, и был поражен, узнав, что сорок три. Джо любил пышные фразы и чрезвычайно гордился собственной проницательностью, позволившей избежать женитьбы. «Брачные узы – тяжкие оковы», – нередко повторял он мне, с очевидным ощущением своей мудрости и тонкости замечания. Шесть-семь из пятнадцати шиллингов его еженедельного пособия уходили на оплату койки у Брукеров. Иногда случалось видеть, как он в кухне варганит себе чашку чая, но питался Джо где-то вне дома; главным

образом, я полагаю, маргариновыми бутербродами и жареной рыбой с чипсами.

Кроме постоянных жильцов гостевала всякая временная публика: потертые коммивояжеры, заезжие артисты (непременно пошловатых жанров, поскольку приглашались они для популярных на севере воскресных эстрадных выступлений в больших пабах), агенты по распространению газет. Братию газетных распространителей я прежде не встречал. Их труд мне показался настолько ужасным, настолько безнадежным, что возникал вопрос, как, с возможной альтернативой посидеть в тюрьме, можно выбрать и вынести такое. Нанятых издателями воскресных еженедельников, агентов-распространителей снабжают картами со списком улиц и отправляют по городам «окучивать» определенные кварталы. Не сумевших гарантировать двадцать ежедневных заказов увольняют. Постоянное выполнение этой нормы дает крохотное жалование – два фунта в неделю; плюс, надо полагать, некий мизерный процент с каждой подписки. Дело вообще-то не совсем нереальное, ибо в рабочих районах каждое семейство выписывает какой-нибудь дешевый еженедельник, довольно часто меняя свои предпочтения. Однако долго ли продержишься в лямке распространителя? Газеты нанимают отчаявшихся бедолаг (потерявших место клерков, мелких торговых агентов и т. п), которые ценой неимоверных усилий добывают нужный минимум, но как только, выжатые до капли, они снижают показатель, их выкидывают и нанимают новых. Я познакомился с двумя распространителями общеизвестного еженедельника из числа крайне скверных. Оба содержали свои семьи, оба были немолоды, один уже стал дедом. После десяти часов на ногах, «окучив» предписанные улицы, они потом до поздней ночи сидели, заполняли пустые бланки рекламными обещаниями «призов» – надувательских штучек типа того, что, если вы, оформив подписку на полтора месяца, приложите к почтовой квитанции два шиллинга, вам подарят набор мисок. Толстяк, имевший внуков, обычно засыпал, уронив голову на ворох бланков. Ни тот, ни другой не могли себе позволить платить Брукерам за полный пансион. Оплачивая только спальные места, они стыдливо закусывали в углу кухни припасенными в чемоданах хлебом, маргарином и обрезками бекона.

У Брукеров имелось много сыновей и дочерей, большинство которых давно сбежали из дома. Некоторые осели в Канаде —«на Канаде», как выражалась миссис Брукер. Рядом жил лишь один сын, свиноподобный детина, работавший в гараже и регулярно приходивший в родительский дом, чтобы поесть. Здесь же целыми днями находилась

его жена с двумя ребятишками, не ней лежала основная часть стряпни и стирка, в чем ей помогала Эмми, невеста другого сына, обитавшего в Лондоне. Белесенькая, остроносенькая, понурая Эмми за какую-то нищенскую зарплату трудилась на заводе, а вечерами еще рабски пахала на Брукеров. Свадьба ее все откладывалась и, как я понял, вряд ли могла состояться, зато миссис Брукер уже впрягла ее как невестку, изводя брюзжанием с особо свойственной инвалидам неотступной придирчивостью. Прочая домашняя работа исполнялась – или не исполнялась – мистером Брукером. Хозяйка редко вставала со своего дивана в кухне (ночь она проводила там же) и была слаба для любого действия кроме поглощения пищи в гигантских количествах. Так что Брукер и обслуживал клиентов в лавке, и подавал еду жильцам, и «прибирался» в спальнях, невообразимо затягивая процесс каждого из ненавистных дел. Кровати нередко оставались не заправленными до шести вечера, и в любой час дня можно было встретить на лестнице Брукера, несущего полный ночной горшок, ухватив большим пальцем посудину за край. Утром он сидел у плиты и над ведром грязной воды чистил картофель со скоростью замедленной киносъемки. Трудно представить, что чистка картошки может внушать столь глубокое возмущение. «Чертова бабская возня», как называл он подобные занятия, вырабатывала в его организме некую едкую горечь. Брукер был из породы тех, кто бесконечно жует свои обиды, словно жвачку.

Подолгу оставаясь в доме, я, разумеется, выслушивал подробные отчеты о бедах Брукеров: очередной обидчик обманул их, отплатив черной неблагодарностью, лавка не окупается и содержание жильцов почти не дает прибыли... По местным меркам они не так уж бедствовали (от «Проверки средств»[1] с возможностью получать пособие как безработный, Брукер почему-то уклонялся), но плаксивые излияния любому, согласному слушать, составляли их главное удовольствие. Громоздясь на диване рыхлой кучей жира и нытья, миссис Брукер часами тянула одно и то же: «Покупателей нету. Прям я даж не знаю, что такое. Рубец-то на прилавке лежит да лежит, а уж какой прекрасный-то рубец! Не тяжко ль так-то вот?». И завершавшее очередную жалобу «не тяжко ль так-то вот?» звучало будто рефрен старинных баллад. Лавка, надо полагать, действительно не окупалась; царившая в ней мерзость запустения демонстрировала очевидный упадок бизнеса. Но совершенно бесполезно было бы объяснять, *почему* даже желающий что-то купить прохожий зайти внутрь

[1] «Проверка средств» (Means-Test) – официальное обследование финансового уровня для определения прав на различные государственные субсидии.

не решается, – ни хозяин, ни хозяйка не могли уразуметь, что валявшиеся в витрине лапками вверх дохлые прошлогодние мухи торговле не способствуют.

Однако что по-настоящему терзало Брукеров, так это мысль о двух старых пенсионерах, живущих в доме, занимающих кровати, получающих еду и дающих за все лишь по десятку шиллингов в неделю. Сомневаюсь, что хозяйские траты превышали эту сумму, хотя, конечно, доходы тут были крайне невелики. Но стариканы в глазах Брукеров являлись севшими на шею жуткими паразитами, которых содержат из милости. Старого Джека еще кое-как терпели, поскольку днем он уходил из дома, но вот прикованный к постели старый Хукер (хозяин специфично произносил его фамилию, опуская первую букву и растягивая «у» – «Уукер»[2]) вызывал просто ярость. Чего только я не наслушался насчет старика Хукера, его капризности, мучений перестилать его постель, его блажи насчет еды (того, вишь ли, ему «не хочется», сего «не хочется»), беспредельной его неблагодарности, а главное – упрямства, с которым дряхлый эгоист отказывался умирать! Брукеры весьма откровенно жаждали его смерти. Тогда, по крайней мере, им выдали бы деньги по страховке. Казалось, они ощущали нахлебника, лежащего наверху и день за днем их объедающего, как червя, непрестанно гложущего их кишки. Отрываясь от чистки картофеля, хозяин, поймав мой взгляд и мотнув головой к потолку, к чердаку с жильцом, ронял с невыразимой горечью: «Во б..., а?». Пояснять что-либо мне, хорошо осведомленному о всех пороках старого Хукера, не требовалось. Впрочем, у Брукеров имелись свои претензии к каждому из квартирантов (несомненно, включая и меня). Живший на пособие по безработице Джо входил в ту же категорию, что старики пенсионеры. Шотландец платил фунт в неделю, но редко покидал жилье, и хозяевам не нравилось что «вечно он тут торчит». Газетных распространителей не бывало по целым дням, но недовольство вызывало их питание собственным продовольствием, и даже лучший жилец Брукеров, механик Рейли, был в немилости, ибо, по словам хозяйки, будил ее, топая вниз из спальни рано утром. Брукеры бесконечно ныли, что никак не заполучить «солидных бизнесменов», вносящих плату за полный пансион и занятых своей коммерцией вне дома. Идеальным постояльцем им виделся некто, кто давал бы тридцать шиллингов в неделю, а приходил бы только ночевать. Вообще, как я заметил, люди, сдающие жилье, почти всегда ненавидят квартирантов. Деньги от них они хотят,

[2] В Англии произношение слов с пропуском начального звука «h» (эйч) характеризует вульгарный, простонародный выговор.

но самих их воспринимают как вторгшихся врагов и бдительно следят за ними с особой ревностью от нежелания, чтобы жилец вел себя чересчур уж по-домашнему. Все это, конечно, плоды дурной системы, что вынуждает человека селиться в чужом доме, в чужой семье.

Еда у Брукеров подавалась однообразно скверная. На завтрак ты получал два ломтика бекона, бледное жареное яйцо и куски хлеба с маслом, нередко приготовленные накануне и с неизменным отпечатком большого пальца. Мои попытки деликатно испросить позволение самому делать себе бутерброды успеха не имели, Брукер по-прежнему изготовлял их мне своими грязными руками, оттискивая на каждом четкую темную метку. Обед обычно состоял из консервированного мясного пудинга (думаю, в ход тут шли запасы не проданных в своей лавчонке трехпенсовых банок), вареного картофеля и рисового пудинга. К чаю предлагалось много хлеба с маслом и лежалого вида кексы, закупаемые, вероятно, как «вчерашняя выпечка». На ужин белесый и дряблый ланкаширский сыр с дешевым сухим печеньем, которое, однако, хозяева печеньем не называли, почтительно именуя «сливочным крекером» («возьмите-ка еще сливочный крекер, мистер Рейли, сливочный крекер к сыру так хорош...») и тем несколько маскируя факт, что единственным вечерним блюдом являлся сыр. Постоянно присутствовали на столе несколько бутылочек острого ворчестерского соуса и заполненная до середины банка джема. Соусом было принято поливать все вплоть до сыра, однако я никогда не видел, чтобы кто-нибудь рискнул угоститься джемом, представлявшим собой омерзительно засохшую бурую массу. Миссис Брукер ела отдельно, не упуская также случай закусить при каждой общей трапезе и весьма ловко устроить себе «капельку заварки», что означало чашку крепчайшего чая. В виде салфетки она использовала одеяло, а под конец моего пребывания завела моду утирать губы обрывками газет, из-за чего пол с утра усеивала гадость подолгу не выметавшихся сальных бумажек. Запах в кухне стоял ужасный, но, как и вонь в спальне, такую неприятность довольно скоро перестаешь замечать.

Пристанище было вполне нормальным для промышленных районов, что подтверждалось отсутствием каких-либо претензий со стороны жильцов. Единственным исключением при мне стал маленький черноволосый и остроносый кокни[3], агент табачной фирмы. На север страны он прежде не ездил, имея, надо полагать, работенку получше и останавливаясь в номерах повыше классом. Впервые ему пришлось

[3] Рядовой лондонец; тип бойкого столичного жителя.

столкнуться со столь убогим пансионом, приютом жалкого кочующего племени зазывал и распространителей. Утром, пока мы одевались (спал этот лондонец, конечно, на двуспальном ложе), я увидел в его озиравшихся глазах некое вопросительное отвращение. Глянув на меня и мигом распознав во мне земляка из южных областей, он с чувством бросил: «Чертовы скоты!». После чего собрал чемодан, спустился и твердо заявил Брукерам, что к жилью подобного сорта не привык, а потому немедленно съезжает. Брукеры остались в горестном недоумении. Их оскорбили до глубины души. Какая неблагодарность! Лишь разок переночевав, вдруг съехать невесть почему! Впоследствии хозяева многократно и всесторонне обсуждали этот случай. К перечню их обид добавилась еще одна.

В день, когда за завтраком под столом обнаружился ночной горшок, я решил, что пора попрощаться. Местожительство начинало действовать угнетающе. Не только грязь, вонь и отвратная еда, но ощущение одуряющей стоячей гнили в какой-то норе, где люди, копошась как тараканы, бесконечно заняты лишь неопрятной возней и нытьем. Самое кошмарное у подобных Брукерам – манера без конца нудить одно и то же. Возникает ощущение, что это вообще не люди, а призраки, вечно бубнящие свой вздор. Хнычущие жалобы миссис Брукер – по неизменному списку обид, с неизменным скулящим припевом «не тяжко ль так-то вот?» – допекли меня даже больше, нежели ее обычай утирать рот обрывками газет. Есть, конечно, вариант, определить всяких там Брукеров просто противными и позабыть о них, но ведь таких десятки, сотни тысяч, и они характерный побочный продукт современного мира. Принимая цивилизацию, их породившую, игнорировать их невозможно, поскольку такова уж часть даров промышленной эпохи. Колумб переплыл Атлантику, застучали двигатели первых паровых машин, верные традициям честные британцы одолели французские пушки при Ватерлоо, бесчестные бандиты девятнадцатого века, молясь Господу, набили себе карманы, – и все это вело сюда: в лабиринты трущоб, тесноту полутемных задних кухонь, где удручающе тоскливый, хилый люд копошится по-тараканьи муторно и монотонно. Есть своего рода долг вновь и вновь наблюдать, обонять (в особенности – обонять) подобные местечки, дабы не забывать, что они существуют. Хотя, пожалуй, слишком задерживаться там не стоит.

Поезд уносил меня вдаль, сквозь чудовищный ландшафт с терриконами шлака, дымящими трубами, грудами чугунного лома, грязными каналами, перекрестьями черных как сажа троп, затоптанных

угольной пылью с подошв шахтерских башмаков. Несмотря на март стоял жуткий холод, и всюду темными от копоти валами лежал снег. В городском предместье мимо медленно ползущих вагонов потянулись теснившиеся перпендикулярно к железнодорожной линии ряды убогих серых домишек. На одном из задних двориков молодая женщина, став на колени, тыкала палкой в отверстие свинцовой спускной трубы, шедшей от внутреннего и, видимо, засорившегося слива. У меня было время хорошенько рассмотреть ее – ее холщовый фартук, неуклюжие бахилы, красные от холода руки. А когда она вскинула голову на проходивший поезд, я, находясь довольно близко, поймал ее взгляд. Круглое бледное лицо, обычное изнуренное лицо трущобной девушки, которая в свои двадцать пять выглядит сорокалетней, и на нем, за секунду глаза в глаза, мне открылось самое безутешное выражение горечи и безнадежности. До меня вдруг дошло, как ошибаемся мы, говоря, что «им ведь все это совсем не так, как было бы для нас», что трущобному жителю и не представить ничего кроме трущоб. Нет, страдание в ее лице не было неосознанной животной мукой. Девушка превосходно знала, не хуже меня понимала, каково ей приходится, что за жуткая участь – в лютый холод стоять во дворе коленями на осклизлом камне и палкой прочищать помойный водосток.

Однако очень скоро поезд выехал на простор, и природа увиделась чем-то странным, почти искусственным наподобие парка, – индустриальные районы наполняют ощущением, что дым и грязь повсюду и нет клочка земли без этого. В небольшой густонаселенной, сплошь прокопченной стране вроде нашей загаженность как бы в порядке вещей. Горы шлака и заводские трубы кажутся пейзажем нормальным, более естественным, чем трава и деревья, и даже в сельской местности, втыкая в землю вилы, привычно ожидаешь вывернуть из почвы бутылку или ржавую жестянку. Но здесь белели чистые пышные снега, и лишь верхушки каменных межевых стенок вились по холмам темными дорожками. Мне вспомнилось, как Дэвид Лоуренс[4], описывая этот или близкий этому ландшафт, говорит о волнистых заснеженных холмах, что зыблются вдали «подобно мускулам». Я бы употребил иное сравнение: на мой взгляд, снег с темневшими извивами каменных стенок напоминал белое платье, расшитое черным кантом[5].

[4] Лоуренс, Дэвид Герберт (!885–1930), английский романист, поэт и эссеист, родился в поселке Иствуд (графство Ноттингемшир) в семье шахтера.

[5] Метафора, возможно, навеянная жизненными обстоятельствами; год работы над этой книгой для Оруэлла совпал со временем счастливой любви и женитьбы на Эйлин О'Шогнесси.

Хотя снег лишь слегка подтаял, солнце сияло ярко и сквозь плотно закрытое вагонное окно чудилось даже гревшим. По календарю наступила весна, и кое-кто из птиц, похоже, верил в это. Впервые в жизни, на проталине вблизи полотна, я увидел спаривание грачей, происходящее, оказывается, вовсе не на ветвях. Церемония ухаживания выглядела любопытно: дама стояла, разинув клюв, а кавалер, кружа вокруг избранницы, словно кормил ее. Всего полчаса я ехал в поезде, но, казалось, громадное расстояние пролегло от задней кухни Брукеров до этих пустынных снежных склонов, сверкающего солнца и больших, глянцево блестевших птиц.

Промышленная область нашего севера, в общем, действительно один огромный город с населением примерно равным числу жителей Большого Лондона, но, к счастью, с гораздо более обширной территорией, благодаря чему там еще остается место для пятачков чистоты и благопристойности. Ободряющий момент. Несмотря на упорные попытки запакостить все вокруг, человек в этом пока преуспел не до конца. Земля так велика, что даже в смрадной сердцевине цивилизации найдешь поля зеленой, не посеревшей от дыма травы; существует даже вероятность обнаружить речки, в которых вместо банок из-под консервированной лососины водится живая рыба. Долго-долго, чуть не целых двадцать минут, поезд катил по просторам холмистых полей, прежде чем пейзаж вновь начал окультуриваться пошлыми скопищами загородных вилл, а затем вновь трущобные окраины, коптящие трубы заводов, доменные печи, каналы, башни газгольдеров и прочие атрибуты индустриального города.

2

Наша цивилизация, как отмечает Честертон, в гораздо большей мере, чем принято думать, базируется на угле. И машины, что обеспечивают нашу жизнь, и машинное производство этих машин прямо или косвенно зависят от угля. В циркуляции организма Западного мира шахтер по важности на втором месте после землепашца. Атлант, на чьих плечах почти все остальное, не перемазанное угольной пылью. Так что, если есть случай и готовность к определенным испытаниям, процесс угледобычи весьма стоит того, чтобы его понаблюдать.

Спускаясь в шахту, важно оказаться в забое, когда там трудятся «навальщики». Это непросто, ибо посторонние мешают работе и не приветствуются, однако визит в другое время создаст ложное впечат-

ление. По воскресеньям, например, шахта выглядит вполне безобидно. Приходить надо, когда грохочут механизмы, клубится угольная пыль и видно, что такое шахтерский труд. В рабочие часы шахта подобна аду (по крайней мере, моему представлению о преисподней). Налицо почти все, что людям мерещится в аду: удушливое пекло, темень, шум, сумятица и, прежде всего, невыносимо тесное пространство. Всё кроме адского огня, поскольку здесь лишь слабый свет рудничных ламп и электрических фонариков, лучи которых едва пробивают плотную угольную мглу.

Когда наконец доберешься до места (о самой вырубке рассказ чуть позже), то, одолев последний промежуток тоннельной крепи, оказываешься среди блестящих черных стен высотой три-четыре фута. Это «плоскость забоя». Наверху гладкий потолок скалы, из которой вырублен уголь, под ногами тоже скала, высота галереи определяется толщиной пласта и, соответственно, немногим больше ярда[6]. Первое, что ошеломляет, на время перекрывая прочие ощущения, – жуткий грохот конвейерной ленты. Особенно далеко взгляду не проникнуть (свет твоей лампы тонет в клубах черной пыли), но по обеим сторонам прохода различаешь ряды полуголых, стоящих на коленях в четырех-пяти ярдах друг от друга людей, которые, совками набирая отколотый уголь, быстро кидают его через левое плечо – наполняют бегущую в ярде за спиной резиновую, шириной два фута, полосу прожорливого транспортера. Безостановочно течет искристая угольная река, унося в больших шахтах по несколько тонн в минуту. Где-то на магистральных путях уголь перегружается в шахтные вагонетки емкостью полтораста галлонов, подтягивается к стволу и клетью поднимается наверх.

Невозможно наблюдать «навальщиков» за работой без острого чувства зависти к их закалке. Труд у них по обычным меркам устрашающий, почти сверхчеловеческий. Надо не просто перебросить немыслимый объем угля, но сделать это в положении, которое удваивает или даже утраивает необходимые усилия. Работать постоянно приходится на коленях, в низкой пещере вообще не разогнуться, и ты, разок попробовав покидать уголёк, сразу поймешь, какой мощью тут нужно обладать. Стоя орудовать совком сравнительно легко, поскольку помогают и коленные и бедренные мышцы, но, опустившись на колени, работаешь лишь напряжением мускулов рук и живота. Да и все прочие условия дело не облегчают. Жара (уровень ее колеблется, но в большинстве шахт ис-

[6] Ярд (3 фута) = 91, 44 см.

тинное пекло), забивающая горло и ноздри, залепляющая веки угольная пыль и непрерывно стучащий конвейер, шум которого в тесном пространстве, как грохот пулемета. Однако и работают, и выглядят навальщики, словно сделаны из железа. Под слоем ровно покрывающей их с головы до пят угольной пыли внешне они действительно как кованые статуи. Только увидев шахтеров обнаженными в забое, поймешь, сколь физически великолепны эти люди. Фигуры у большинства некрупные (высокий рост – помеха в их труде), но почти все прекрасно сложены: широкие плечи, мощные торсы, плавно суженные к гибким талиям, плотные маленькие ягодицы, мускулистые бедра и ни унции лишней плоти. В жарких шахтах на горняках лишь тонкие кальсоны, башмаки на деревянных подошве и наколенники, в самых жарких – лишь башмаки и наколенники. На взгляд трудно отличить пожилых рабочих от молодых. Им может быть и шестьдесят, и даже шестьдесят пять, но, черные и обнаженные, все они выглядят похожими. Без молодого тела, без стройности, вполне годной для королевской гвардии, с шахтерским трудом не справиться, лишние фунты на талии работать в позе навальщика не позволят. Увиденное однажды зрелище – ряд черных лоснящихся фигур, что, стоя на коленях, выгнув спины, необычайно быстро, энергично черпают и перекидывают уголь, – незабываемо. Смена шахтеров длится семь с половиной часов, теоретически без перерывов или каких-либо «отлучек». Фактически все же минут пятнадцать они умудряются выкроить, чтобы подкрепиться взятой из дому едой: обычно это «хлеб с дрипингом[7]» и бутылка холодного чая. Впервые попав в забой, я вляпался ладонью в какую-то слизкую гадость, что оказалась комком сплюнутой табачной жвачки. Жевать табак у шахтеров в ходу, считается – помогает от жажды.

Лишь несколько спусков в шахту позволяют разобраться в том, что вокруг тебя происходит, так как впервые наблюдаемый процесс многократной погрузки-перегрузки угля не дает заметить что-то еще, до некоторой степени даже разочаровывает или, лучше сказать, не отвечает твоим ожиданиям. Заходишь в клеть – стальной ящик не шире телефонной будки, только раза в два-три длинней. Сюда плотно, как сардины в банке, набивается десяток человек; рослому гостю тут приходится слегка ссутулиться. Стальную дверь за тобой закрывают, и некто, управляющий с земли лебедкой, бросает тебя в пустоту. Секундный желудочный спазм, будто в момент автомобильного рывка, но движение ощущаешь не очень

[7] Дрипинг (dripping) – популярный в британском рационе капающий с жаркого жирный мясной сок.

сильно, пока, ближе ко дну, спуск не затормозится так резко, что ты готов поклясться – вас снова рванули вверх. На середине пути скорость спуска до шестидесяти миль в час, в глубоких шахтах и больше. Выбравшись из клети, оказываешься под землей на глубине ярдов четыреста. Стало быть, сверху гора приличного размера: сотни ярдов твердых скальных пород, костей вымерших животных, подпочвенного грунта, кремневой гальки, растительных корней, травы и топчущих ее коров – все это у тебя над головой, подпертое лишь деревянными стойками не толще твоей руки. Причем из-за скорости, из-за полнейшей темноты, в которой летел вниз, чувствуешь себя на глубине гораздо большей, чем в тоннеле метро под Пиккадилли.

Что еще изумляет, так это протяженность штреков[8]. Раньше я смутно представлял шахтера, рубящего уголь где-то поблизости от опустившей его клети. Мне в голову не приходило, что до места работы ему нужно добираться ходами горизонтальных выработок примерно столько же, сколько от Лондонского моста до Оксфорд-серкус. То есть вначале, разумеется, ствол шахты пробивают рядом с угольным пластом, однако по мере разработки его ветвей, забой отодвигается дальше и дальше. В среднем – на милю, достаточно обычно – на три, а рассказывают про шахты, где от ствола до забоя целых пять миль. И никакого сравнения с расстояниями на земле. Здесь милю или три надо одолевать по боковым штрекам, учитывая, что даже в магистральном тоннеле редко где можно распрямиться во весь рост.

Первые сотни ярдов особых тягот не замечаешь. Идешь, пригнувшись, по тускло освещенной галерее шириной восемь-десять футов и около пяти футов высотой, со стенами из сланцевых пород, наподобие пещер Дербишира. Через каждую пару ярдов деревянные стойки с перекрытиями балок, многие из которых прогибаются такими дугами, что вынуждают тебя приседать. Ступать неудобно: под ногами кучи угольной крошки, зазубренные обломки сланца, а в сырых шахтах месиво грязи, как на скотном дворе. Кроме того, затрудняют шаг рельсы для шахтных вагонеток (нечто вроде миниатюрной железной дороги с ящиками, груженными рудой). Все припорошено сланцевой пылью, и ощущается присущий, видимо, всем шахтам удушливый запах газа. Видишь загадочные механизмы, назначение которых тебе вовек не понять, висящие на проводах связки инструментов и порой стаи убегающих мышей. Мыши – на удивление обычное явление в шахтах, особенно тех, где использовались

[8] Штрек – горизонтальная горная выработка без непосредственного выхода на поверхность.

или продолжают использоваться лошади. Интересно бы знать, как вообще эти мыши тут заводятся; возможно, просто падают в ствол шахты, ведь известно, что благодаря большому коэффициенту поверхности тела относительно веса, мышь без ущерба для себя способна падать чуть не с любой высоты. Прижавшись к стене, пропускаешь цепочку вагонеток, медленно ползущих на тяге бесконечно длинного стального троса, приводимого в движение наверху. Пробираешься через завешенные мешковиной толстые деревянные двери, выпускающие вместе с тобой тугие волны воздушного потока. Двери эти – важный элемент системы шахтной вентиляции. Отработанный воздух выкачивается из штольни[9] посредством вентиляторов, а свежий через устье другой штольни втекает сам собой. Но естественное движение воздуха, выбирая в этом круговороте кратчайший путь, оставило бы глубокие штреки без проветривания, отсюда необходимость разделить тоннели частыми шлюзовыми перегородками.

Вначале идти пригнувшись даже несколько забавно, однако забавы такого рода быстро приедаются. Мне дополнительно мешала моя исключительная долговязость, но когда потолок снижается до четырех футов и менее, тут уже худо всем кроме ребенка или карлика. Мало того что надо согнуться пополам, ты еще должен так держать голову, чтобы видеть нависающие балки и успевать нырнуть под них. Соответственно, постоянное растяжение шейных мышц, хотя это ничто в сравнении с болью в бедрах и коленях. Через полмили начинается невыносимая, я не преувеличиваю, смертная мука. Возникает вопрос, как же ты доберешься до забоя, а главное – как ты сможешь вернуться? Шагаешь все медленней и медленней. На пару сотен ярдов попадаешь в коридор столь низкий, что вынужден продвигаться на корточках. Затем внезапно потолок взлетает на дивную высоту (вероятно, образовавшаяся еще в древности скальная полость), и ярдов двадцать можно пройти распрямившись. Ошеломляющее облегчение. Но затем снова длинный низкий коридор и череда балок, под которыми надо проползать. Опускаешься на четвереньки, что после ковыляния на корточках не так уж плохо. Правда, когда, протиснувшись под балками, хочешь подняться, выясняется, что колени временно отказались тебе служить. Позорно просишь о небольшой передышке, встречая сочувствие со стороны шахтера-проводника, который понимает разницу между собственной и твоей мускулатурой. «Осталось всего четыреста ярдов», – ободряет он, хотя для тебя это зву-

[9] Штольня – вспомогательная, обычно наклонная (разведочная, эксплуатационная, вентиляционная и пр.) выработка с выходом на поверхность.

чит не утешительнее «четырехсот миль». Наконец, с грехом пополам ты все же достигаешь искомого пункта. Чтобы пройти эту милю тебе потребовался целый час; горняк подобный путь проделал бы втрое быстрее. На месте тебе первым делом необходимо несколько минут полежать, растянувшись в угольной пыли, дабы восстановилась способность наблюдать шахтерскую работу и что-либо соображать.

Возвращение тяжелее не только из-за дикой твоей усталости, но и потому, что дорога назад идет чуть в гору. Низкие участки проходишь с черепашьей скоростью и уже ничуть не стыдишься попросить об отдыхе, когда немеют колени. Даже нести лампу становится нелегко, и нарастает вероятность ее уронить, после чего, если это лампа Дэви[10], она гаснет. Все сложней пробираться под балками, иногда и подныривать забываешь. А когда, подражая горнякам, стараешься держать голову ниже плеч, ударяешься о перекладины спиной. Такое случается и с шахтерами, вот почему в жарких шахтах, где работают полуголыми, у большинства, по их выражению, «застежка на хребте» – то есть ряд застарелых струпьев вдоль позвонков. Спускаясь по наклонным штрекам, шахтеры, ловко используя выемку в своих деревянных подошвах, становятся на вагонеточные рельсы и скользят вниз. Там, где «ходки» особенно трудны, у горняков с собой трости длиной около двух с половиной футов. На обычных участках трость держат за рукоятку, в самых низких местах, приседая на корточки, ее перехватывают ближе к основанию, где тоже сделано углубление для пальцев. Трости очень помогают идти. Кроме того, отличное недавнее изобретение – защитные деревянные шлемы. Они напоминают стальные армейские каски французов или итальянцев, только гораздо легче, внутри снабжены прокладкой и настолько прочны, что делают нечувствительным даже сильный удар по голове. Выбравшись наконец на поверхность, проведя в шахте часа три и одолев две мили по штрекам, ты обессилен больше, чем если бы протопал по земле двадцать пять миль. Еще неделю в ногах такое окостенение, что не присесть без героических усилий: опускаешься на стул специфическим образом, боком, не сгибая колен. Знакомые горняки, приметив твои негнущиеся ноги, подшучивают: «Что, не по вкусу шахтерская работенка?». Но даже опытный шахтер, если он долго не работал (по болезни, например), вернувшись к своему труду, первое время терпит немало мучений.

Может показаться, что я сгущаю краски, однако всякий, спускавшийся в шахту старого образца (а большинство английских шахт именно

[10] Безопасная рудничная масляная лампа с ограждающей пламя двойной металлической сеткой. Сконструирована в 1815 году английским физиком и химиком Хамфри Дэви.

таковы) и сам ходивший к месту вырубки, думаю, подтвердит мои слова. И вот о чем мне хочется сказать особо: кошмарные – отнимающие столько сил, сколько обычный человек тратит за день напряженных трудов, – хождения до забоя и обратно вообще не берутся в расчет, оставаясь просто неким приложением к шахтерскому делу вроде поездок к службе на метро. А ведь между двумя походами за смену шахтер еще бешено вкалывает свои семь с половиной часов. Мне никогда не приходилось добираться до угольного пласта больше мили, но зачастую здесь у горняка трехмильный путь, что для меня и прочего народа не шахтерских профессий физически оказалось бы совершенно невыполнимым. Вот этот момент всегда упускается из вида. В представлении о забое подземная глубина, тьма, духота, черные от угольной пыли рубщики, а мили, что необходимо осиливать по штрекам, как-то без всякого внимания. К тому же здесь и вопрос времени. Семь с половиной часов шахтерской смены не устрашают продолжительностью, однако сюда следует добавить, по крайней мере, ежедневный час на «ходки», а чаще это два часа, порой и три. Формально «ходка», конечно, не труд, и за нее не платят, но сил она требует никак не меньше. Удобно ссылаться на то, что сами-де шахтеры не возражают против этого. Понятно, что подобные тяготы они переносят не так, как вы или я. Они с детства привыкли, у них должным образом развиты мускулы, они умеют двигаться под землей с потрясающим, даже жутковатым проворством. Пригнув голову, шахтер широким шагом несется там, где я, например, еле ковыляю, и видишь, как он в нужные моменты на четвереньках легко перепрыгивает ямы почти на собачий манер. Только не стоит полагать, что это ему доставляет удовольствие. Я разговаривал со многими шахтерами, все они признают «ходку» по штрекам действием весьма трудоемким. Достаточно послушать их собственные обсуждения работ в шахте: речь у них непременно зайдет насчет «ходок». Бытует мнение, что со смены возвращаться легче, чем идти на нее. Однако горняки единодушно утверждают, что их особенно изматывает обратный путь. Да, таково условие их шахтерских трудов, и они с этим вполне справляются, хотя, конечно, при огромных затратах сил. Сопоставимо, на мой взгляд, с необходимостью перед работой и после нее взбираться на небольшую гору.

Побывав в двух-трех шахтах, начинаешь улавливать рабочие процессы под землей. (Должен, кстати, оговориться, что относительно технических сторон горной промышленности я совершеннейший профан – просто описываю свои наблюдения). Уголь содержится в узких швах внутри скальных напластований, так что угледобыча по сути похожа

на выковыривание центрального слоя из «неаполитанского» мороженого. В прежние времена шахтеры вручную отбивали уголь ломом и киркой – дело весьма небыстрое, поскольку в девственном состоянии уголь по твердости едва уступает камню. Теперь предварительный этап ведется электрической врубовой машиной, которая в принципе является чрезвычайно мощной ленточной пилой, режущей пласт не вертикально, а горизонтально прочнейшими двухдюймовыми зубцами. По воле направляющего пилу оператора машина может двигаться вперед или назад, попутно издавая грохочущий вой из самых жутких, что мне доводилось слышать, и вздымая угольную пыль тучами, которые не позволяют видеть дальше пары шагов и почти не дают дышать. Подпиленная футов на пять в глубину часть пласта крошится, отбивается уже сравнительно легко. Тем не менее, в подготовке «неподатливых» участков требуются еще взрывные работы. Электрическим буром наподобие миниатюрного отбойного молотка подрывник высверливает ряд отверстий, заполняет их минным порохом, замазывает глиной, сам становится за углом, если таковой имеется (положено отходить на двадцать пять ярдов), и посылает разряд электрического тока. Все это не для дробления пласта, а лишь затем, чтоб сетью трещин ослабить его плотность. Хотя, конечно, иногда чересчур сильный заряд рушит угольную стену, а подчас и скальный потолок.

Далее навальщики откалывают уголь и совками швыряют на ленту транспортера, уносящего чудовищные груды весом до двадцати тонн. С конвейера груз поступает в шахтные вагонетки, цепь которых на стальном тросе безостановочно подтягивается по магистральному пути к подъемной клети. Наверху уголь сортируют, просеивая сквозь решетки и промывая в случае необходимости. «Мусор», то есть сланец, с предельной щедростью используют в устройстве подземных путей. Все, что не пригодилось, выкидывают на поверхность, громоздя гигантские кучи «отвалов» – безобразных серых холмов, столь характерных в пейзаже шахтерских регионов. После извлечения угля, подпиленного врубовой машиной, забой углубляется футов на пять. Образовавшееся пространство за следующую смену оснащают новой секцией опор и балок; сюда, частично разобрав и заново собрав, передвигают конвейерную ленту. Отдельные фазы угледобычи по возможности ведутся в разные смены: машинная вырубка во второй половине дня, взрывные операции ночью (закон, не всегда соблюдаемый, требует проводить их в отсутствии работающих горняков), «навалка» в утренние часы.

Будучи даже внимательным, но лишь временным наблюдателем, пока не сделаешь ряд вычислений, не оценишь, с какой гигантской нормой справляется навальщик. Каждому из них положено взять уголь с участка шириной четыре-пять ярдов. Механически подрезанный вглубь на пять футов пласт в высоту имеет фута три или четыре, и соответственно человек должен выломать, перекидать на транспортер от семи до двенадцати кубических ярдов угля. Вес такого кубического ярда приблизительно тонна с третью – стало быть, требуется ворочать около двух тонн в час. Моего личного землеройного опыта вполне достаточно для понимания того, что это значит. Копая у себя в саду канаву и перевернув за день пару тонн земли, я чувствую, что честно заслужил свой ужин. Но земля несравненно мягче, пластичнее угля, и мне не надо копать, стоя на коленях в страшно глубокой подземной норе, где изнываешь от жары, глотаешь угольную пыль при каждом вздохе, не надо также милю добираться до места работ, согнувшись пополам. Горняцкий труд мне столь же не по силам, как трюки на воздушной трапеции или чемпионство на Больших скачках. Хотя я не живу и, упаси боже, не собираюсь жить физическим трудом, какую-то мускульную работу я все же мог бы исполнять. Я мог бы при необходимости довольно сносно подметать улицы, садовничать и даже, пусть довольно бестолково, трудиться на ферме. Но никаким напряжением, никаким обучением и тренажом я не сумел бы сделаться шахтером, чья работа за несколько недель свела бы меня в гроб.

Глядя на горняков в забое, вдруг ощущаешь, сколь разнятся миры человеческого обитания. Под землей, где идет угледобыча, совсем особенный мир, о котором многие не знают вообще ничего. Возможно, большинству даже желательно о нем не знать. Однако же тот нижний мир абсолютно необходим в пару нашему, верхнему. Едим ли мы мороженое, плывем через океан, печем хлеб или сочиняем книгу – фактически любое наше действие впрямую или косвенно связано с потреблением угля. Уголь требуется для всех мирных дел, а если вспыхивают войны, то тем более. Во времена восстаний шахтер должен продолжать трудится, иначе самой революции конец, – реакция нуждается в угле не меньше. При любых событиях на земле, уголь должен выдаваться на-гора бесперебойно (во всяком случае, без слишком долгих пауз). Чтобы Гитлер устраивал маршировки гусиным шагом, Римский папа обличал большевизм, матч по крикету собирал толпы на стадионе «Лордз», поэты славословили друг друга, – нужен уголь. А мы словно не ведаем о том; то есть, конечно, всем известно, что «уголь необходим», но мало кому, почти никому не интересно, как же он добывается. Вот я сижу, пишу перед своим уютным угольным камином. Хоть на

дворе апрель, мне еще нужно греться у огня. Пару раз в месяц к дому подъезжает телега, грузчики в кожаных безрукавках втаскивают тугие, отдающие смолистым запахом мешки и с грохотом ссыпают топливо в подвал под лестницей. Исключительно редко мозг мой специальным усилием сопрягает этот уголь с некими трудами в далеких шахтах. Просто «уголь» – нечто, чем надо запастись, твердое черное вещество, загадочно возникающее ниоткуда подобно манне небесной, с тем лишь отличием, что за него надо платить. Ты можешь запросто объехать на автомобиле весь север Англии, ни разу не вспомнив, что под тобой, сотнями футов ниже, идет шахтерская рубка угля. Между тем в известном смысле и движение твоей машины обеспечивают именно шахтеры. Их освещенный тусклыми лампами подземный мир для солнечного мира, как корень для цветка.

Не так давно условия в шахтах были значительно хуже сегодняшних. Еще живы старухи, работавшие в молодости под землей, на четвереньках таскавшие вагонетки с помощью прикрепленных к поясу, пропущенных между ног цепей. В этих упряжках ползали они обычно и во время беременности. Мне представляется, даже теперь, если б никак иначе, мы скорее бы примирились с трудом впряженных в угольные вагонетки беременных женщин, нежели лишили себя угля. Просто пришлось бы, разумеется, пореже мучить себя мыслями о тех бедняжках. Так ведь со всеми видами физического черного труда: ими держится наше существование, но в думах наших они не присутствуют. Шахтер – ярчайший представитель сословия работяг не потому лишь, что труд его устрашающе тяжел, а еще потому, что, жизненно необходимый, труд его совершается вдали от нас, от наших глаз и позволяет не осознавать его, как не осознается бегущая по венам кровь. Смотреть на действия шахтеров неким образом даже унизительно. Мелькает неуверенность насчет себя-«интеллектуала» и вообще персоны более важной. До тебя вдруг доходит (по крайней мере, в этот момент), что все «вышестоящие» на высоте только за счет того, что горняки парят кишки в забоях. И вы, и я, и редактор Литприложения «Таймс», и стихотворцы, и архиепископ Кентерберийский, и товарищ Икс, автор «Марксизма для младенцев», – все мы нашим относительным благополучием обязаны чумазым до самых глаз, наглотавшимся шахтной пыли работягам, что своими стальной мощи руками без устали швыряют уголь на транспортер.

3

Когда шахтер поднимается наверх, даже сквозь черную угольную маску видно, как он бледен. Бледность из-за спертого, грязного воздуха в забое и постепенно она исчезает. Но впервые посетившему горняцкий север человеку с юга зрелище выходящих после смены нескольких сотен шахтеров кажется диковатым и несколько зловещим. Изнуренные лица с густой чернотой в каждой впадине выглядят свирепо. Потом отмытых горняков уже не очень отличишь от прочих местных жителей. Грубая мешковатая одежда скрывает их великолепное телосложение, а небольшой их рост малозаметен благодаря походке с очень прямой спиной и расправленными плечами (реакция на постоянную сгорбленность под землей). Точней всего шахтеры узнаются по синим черточкам на лбах и носах. Внешность каждого из них навек помечена этой характерной штриховкой. Постоянно клубящаяся в шахте угольная пыль, проникая в любую царапинку и зарастая кожей, разрисовывает лица своеобразной, фактически самой настоящей, татуировкой. У некоторых ветеранов лбы сплошь в синих прожилках наподобие сыра рокфор.

Поднявшийся шахтер первым делом прополаскивает горло, освобождая носоглотку от самой вредоносной пыли, затем идет домой и сразу или же не сразу, это согласно привычке, моется. По моим наблюдениям, большинство предпочитает сначала поесть, как я и сам бы поступил в подобных обстоятельствах. Нормальная картина – сидящий за столом шахтер с лицом исполнителя негритянских блюзов: абсолютно черным кроме розовых губ, отчищенных едой. После трапезы ставится, наливается таз, и шахтер очень тщательно моет руки, потом грудь, шею и подмышки, потом лицо и голову (на голове особенно толстая корка грязи), потом жена куском фланели моет ему спину. Принято мыть лишь верхнюю половину туловища, и впадина пупка, по-видимому, остается гнездом угольной пыли, но даже при этой частичной процедуре нужна немалая сноровка, чтобы обойтись одним тазом воды. Лично мне по возвращении из шахты потребовалось две полных ванны. Промывание запорошенных углем век уже целое дело минут на десять.

В некоторых крупных и лучше оснащенных шахтах наверху имеются ванные. Огромное преимущество, поскольку горняки не только могут ежедневно – и весьма комфортабельно, даже роскошно – вымыться целиком, но благодаря индивидуальным шкафчикам с чистой и рабочей одеждой у черного как негр шахтера есть возможность через

двадцать минут после смены отправиться на футбольный матч при полном параде. Однако подобный комфорт встречается довольно редко: угольный пласт не бесконечен, так зачем тратиться, всякий раз оборудуя банные удобства наверху вновь пробитого ствола. Не знаю точных цифр, но, похоже, мытье на шахте доступно лишь трети рабочих. У большинства, по-видимому, тело ниже пояса черным-черно, по крайней мере, шесть дней в неделю. Дома же вымыться от головы до ног им практически невозможно. Каждую каплю воды требуется нагреть, и в крошечных помещениях, где кроме кухонной плиты и прочей обстановки еще толкутся жена, дети, а часто и собака, просто нет места для установки ванны. Даже с тазом надо управляться осторожно, чтобы ненароком не плеснуть на мебель. Представителям среднего класса нравится рассуждать о том, что шахтер, как ни благоустраивай его жилище, все равно не станет мыться должным образом, но это чушь, поскольку, если ванные для выходящих после смены горняков имеются, то пользуются ими фактически все. Лишь среди самых пожилых рабочих порой еще гуляет опасение чересчур частым мытьем ног «нажить прострел». Кроме того, шахтерские ванны целиком или частично оплачивают сами горняки из собственного Фонда социальной помощи. Иногда долю вносит угольная компания, иногда это полностью за счет Фонда, но престарелым леди из пансионов Брайтона по-прежнему нравится твердить: «Дайте шахтеру ванну – он только уголь будет в ней держать».

А вообще даже удивительно, что шахтер моется так регулярно при том, как мало у него времени между работой и сном. Полагать, что его рабочий день длится семь с половиной часов, весьма ошибочно. Семь с половиной часов он трудится в забое, но, как я уже пояснял, сюда надо добавить минимум час, а то и три, на «ходки» по штрекам. Значительное время также уходит на дорогу до шахты. В индустриальных районах острейшая нехватка жилья, и только у жителей маленьких шахтерских поселков дома вблизи горной разработки. Горожанам почти всегда приходится добираться до шахт автобусом, полкроны в неделю им обычно стоит транспорт. Один шахтер, у которого я квартировал, трудился в утреннюю смену. Смена эта длится с шести утра до половины второго, но он должен был подниматься без четверти четыре и возвращался домой после трех. В другом месте, где я останавливался, пятнадцатилетний подросток, работавший в ночную смену, уходил в девять вечера, затем, вернувшись в восемь утра, завтракал, вскоре ложился и до шести вечера спал. Так что свободного времени у него оставалось часа четыре в сутки (фактически гораздо меньше, учитывая время на еду, мытье и переодевания).

Для семейства подстраивать домашний распорядок к шахтерскому изменчивому графику, должно быть, чрезвычайно обременительно. С ночной смены шахтер приходит на завтрак вовремя, после утренней смены – в середине дня, после вечерней – уже ночью, и во всех вариантах ему сразу нужна основательная трапеза. Кстати, преподобный У. Р. Инге[11] в своей книге «Англия» упрекает шахтеров в обжорстве. Никак не могу согласиться. Едят они как раз на удивление немного. Те, рядом с которыми мне доводилось жить, обычно ели поменьше меня. Многие из них объясняют, что, плотно набив желудок перед сменой, трудно работать, а что касается пищи, которую они берут с собой (стандартно это хлеб с дрипингом и холодный чай), ею можно лишь слегка перекусить. Носят такой паек в подвязанных к поясу плоских жестянках, так называемых «захлопках». Вернувшегося с работы среди ночи голодного шахтера ждет жена, но, встав к утренней смене, горняк по традиции готовит себе завтрак сам. Очевидно, след не совсем угасшего суеверия, согласно которому увидеть женщину утром перед походом в забой – к несчастью. Говорят, в старину шагающий на утреннюю смену шахтер, встретив женщину, частенько поворачивал обратно и тем днем уже не работал.

До посещения угольных районов я разделял общую иллюзию насчет высоких шахтерских заработков. Постоянно слыша, что шахтеру платят 10-11 шиллингов за смену, путем несложной арифметики нетрудно вычислить доход около трех фунтов в неделю или полутора сотен в год[12]. Но здесь легко впасть в заблуждение. Во-первых, тарифная ставка 10-11 шиллингов касается лишь непосредственных добытчиков угля, а прочие – скажем, установщики крепежа, – получают всего по 8-9 шиллингов. К тому же нередко оплата у добытчиков сдельная, за тонны, выданные на-гора, и тогда заработок очень зависит от качества угля; кроме того, поломка механизма или «разрыв» (скальная жила поперек угольного пласта) могут на день-другой оставить вовсе без заработка. В любом случае нельзя строить расчеты, исходя из шахтерского труда шесть дней в неделю, пятьдесят две недели в год. Почти всегда находятся причины для временного отстранения от работ. По данным отраслевой статистики средний заработок британского шахтера (без различия пола и возраста) в 1934 году составил 9 шиллингов 1,75 пенса за смену, и если бы все гор-

[11] Инге, Уильям Ральф (1860–1954) – декан собора святого Павла в Лондоне, профессор теологии Кембриджского университета.

[12] Речь идет о временах до перехода Англии на десятичную денежную систему, когда фунт равнялся двадцати шиллингам, а шиллинг – двенадцати пенсам.

няки трудились все рабочие дни, это действительно бы означало почти 2 фунта 15 шиллингов в неделю, то есть примерно 142 фунта в год. Однако реальный доход значительно ниже, так как расчет сделан выплатам за отработанные смены, без учета вынужденных простоев.

Передо мной пять разных, выданных йоркширским шахтерам в начале 1936 года чеков на получение недельной зарплаты (недели эти не подряд). В среднем тут получается приличная сумма – 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса в неделю, почти 9 шиллингов 2,5 пенса за смену. Но эти чеки отражают ситуацию зимой, когда работа в шахтах идет полным ходом, а с наступлением весны торговля углем сворачивается и все больше шахтеров «временно увольняют»; тех же, кто формально продолжает трудиться, каждую неделю отстраняют на день или два. Из этого с очевидностью следует, что воображаемые 150 или даже 142 фунта годовых сильно завышают цифру действительных доходов. На деле средний заработок британского шахтера в 1934 году составил лишь 115 фунтов 11 шиллингов 5 пенсов. Суммы заметно колеблются в зависимости от региона, в Шотландии достигая цифры 133 фунта 2 шиллинга 8 пенсов, а в Дархеме не дотягивая до 105 фунтов. Данные взяты мною из книги мэра йоркширского города Барнсли Джозефа Джонса «Ведерко для угля». Мистер Джонс пишет:

«Средние цифры вбирают доход и молодежи, и опытных шахтеров, и начальства, и низшего персонала /.../ включают и неординарно высокий заработок, и солидные должностные оклады, и оплату сверхурочных.

Усредненные цифры не дают обнаружить положение тысяч взрослых рабочих, чьи доходы существенно ниже среднего показателя, кому платили только 30 –40 шиллингов в неделю и даже меньше».

(Курсив мистера Джонса). Но прошу обратить внимание, что и указанный, столь мизерный доход выше тех сумм, которые реально попадают в руки шахтера. В одном районе Ланкашира мне дали типичный список еженедельных вычетов. Вот его пункты:

Страхование (по безработице или болезни).
Прокат шахтерских ламп.
Заточка инструмента.
Контроль весовщика.
Амбулатория.

Больница.
Фонд взаимопомощи.
Профсоюзные взносы.
_____
Итого.....

Ряд этих платежей (типа профсоюзных взносов или фонда взаимопомощи), так сказать, добровольно взят на себя шахтерами. Другие вычеты определяет угольная компания. Тут бывает по-разному; не всюду, например, шахтера жульнически вынуждают платить за прокат лампы (выкладывая шесть пенсов в неделю, рабочий эту лампу покупает несколько раз в год), но, в целом, сумма индивидуального убытка примерно та же. По цифрам пяти йоркширских платежных чеков средний максимум недельной зарплаты 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса, но после всяческих удержаний это лишь 2 фунта 11 шиллингов 4 пенса, – 3 шиллинга 10 пенсов съели вычеты. Причем, естественно, тут зафиксированы только отчисления, назначенные угольной компанией, а с учетом профсоюзных взносов было удержано более четырех шиллингов. О вычетах из недельной зарплаты *каждого* взрослого шахтера в размере примерно четыре шиллинга можно говорить уверенно. Таким образом, представленные статистикой 115 фунтов годовых это чистыми всего лишь около 105 фунтов. Мне возразят: зато ведь у шахтера есть дотация в виде права покупать уголь по льготной цене (по восемь-девять шиллингов за тонну). Однако, согласно выкладкам мистера Джонса, «средняя по стране сумма всех шахтерских компенсаций едва достигает четырех пенсов в день». Компенсация, которая в большинстве случаев способна покрыть лишь расходы на проезд до работы и обратно! Итак, британский шахтер на руки получает и домой приносит не больше (скорее, чуть меньше) двух фунтов в неделю.

А сколько же угля при этом он добывает?

Годовой объем угледобычи в расчете на число рабочих отрасли довольно медленно, но постоянно растет. В 1914 на каждого шахтера приходилось 253 тонны, в 1934 – уже 280. Расчет этот, конечно, подразумевает горняков всех специальностей; добытчик в забое берет намного больше, нередко свыше тысячи тонн. Но даже среднестатистические «280 тонн» это весьма внушительно. Ярче всего сравнение шахтерской продуктивности с чьей-либо иной. Если я проживу до шестидесяти лет, то, вероятно, напишу около тридцати книг, которыми можно будет заполнить пару полок в стеллаже. Шахтер за это время даст 8 400 тонн

угля – достаточно, чтобы покрыть Трафальгарскую площадь двухфутовым угольным слоем или же обеспечить углем семь больших семейств на добрую сотню лет.

В пяти вышеупомянутых платежных чеках трижды возле фамилий горняков проставлен штамп «выбыл по причине смерти». Когда рабочий гибнет в шахте, его коллегам полагается сделать некоторый взнос для сбора средств вдове погибшего (обычно по шиллингу, автоматически вычитаемому компанией из шахтерской зарплаты). Однако сколь выразительна деталь – *специальный резиновый штемпель*. Количество несчастных случаев в горняцком деле так велико, что это как бы в порядке вещей, словно при ограниченных военных действиях. Ежегодно один из девятисот шахтеров погибает, один из пяти получает увечье. Большинство травм, конечно, можно назвать мелкими, но, копясь и копясь, они доводят до полной инвалидности. А степень риска такова: работа в течение сорока лет оставляет шансов избежать увечья семь к одному и не более двадцати к одному – избежать смерти в недрах шахты. Никакой другой труд не приближается к шахтерскому по уровню опасности (следующая в угрожающем списке отрасль это торговый флот, где ежегодно гибнет один моряк из тысячи трехсот). Приведенные данные соотносятся с общим числом горняков, а для работающих под землей риск, разумеется, гораздо выше. Всякий долго трудившийся шахтер в беседах со мной непременно упоминал либо о собственном достаточно серьезном несчастном случае, либо же о случавшихся у него на глазах смертях приятелей. В каждой шахтерской семье вам расскажут об отцах, дядьях, братьях, погибших в шахте («упал, семь сотен футов пролетел, и кусков бы не собрать, если б не новая его клеенчатая роба...»). От некоторых рассказов мороз по коже. Один горняк, например, описывал мне, как работавшего рядом с ним «подённого» придавило рухнувшей скалой. Товарищи подбежали, сумели освободить ему голову и плечи, чтобы тот мог дышать, – он еще был жив, говорил с ними. Но тут снова обвал, все разбежались и «подённого» вновь завалило. Вторично примчались, опять откопали голову и плечи, вновь несчастный говорил с ними. И третий обвал, после которого пришлось откапывать беднягу несколько часов, найдя его уже, конечно, мертвым. Рассказчик этой истории (на него самого однажды рухнула скальная кровля, однако ему удалось, спрятав голову между ног, сохранить некое пространство для дыхания) не считал описанный случай чем-то особенно ужасным. Его больше занимало, что «подённый» отлично знал, как опасен доставшийся ему участок, и каждый день шел туда в ожидании беды. «Так ему это в ум вошло, что он, на смену уходя, жену поцеловал. Она мне после говорила – впервые, мол, поцеловал за двадцать лет».

Самая известная и очевидная причина аварий – взрывы газа, который всегда, более или менее, присутствует в шахтной атмосфере. Есть специальные лампы для контроля воздуха, а если газ сгущается активно, это можно обнаружить даже голубоватым огоньком обычной лампы Дэви. Синева пламени, не исчезающая даже с выкрученным до предела фитилем, означает, что концентрация газа опасно высока. Однако точно определить затруднительно, ибо газ растекается неравномерно, сгущаясь в трещинах и разломах. Перед началом работ шахтер часто проверяет насыщенность газом, тыча своей лампой во все углы. Причиной возгорания могут стать или взрывные работы, или искра от удара по камню, или неисправная лампа, или особенно сложные для тушения, тлеющие в кучах угольной пыли «рудничные огни». Поскольку наиболее заметные, уносящие сотни жизней катастрофы обычно вызываются взрывами газа, бытует убеждение, что это главная опасность в шахтерском труде. На практике несчастья чаще происходят из-за постоянных и каждодневных угроз, в особенности из-за обрушений скальной кровли. Круглые дыры выпавших «валунов» над головой указывают, откуда срывались камни, способные убить не хуже пушечного ядра. И могу вспомнить только одного шахтера, который в беседах со мной не сетовал на увеличившие риск мощные механизмы и вообще «гонку». Отчасти здесь консерватизм мышления, но достаточно резонный. Во-первых, нынешняя скорость отбойки угля на целые часы оставляет новое пространство забоя без креплений, чем повышает угрозу обвала. Притом еще расшатывающая стены вибрация, а также шум – помеха человеческому чутью. Безопасность шахтера в огромной мере зависит от его хорошо развитой чуткости. Опытные горняки утверждают, что есть инстинктивное спасительное ощущение: «Чуешь, как камень сверху давит». На слух они способны уловить малейший скрип готовых сломаться балок. Кстати, деревянные опоры в шахтах до сих пор предпочитают металлическим именно потому, что деревянные скрипят, предупреждая о беде, а железные валятся неожиданно и мгновенно. В оглушительном машинном грохоте ничего не расслышишь – стало быть, меньше шансов уберечь себя.

Если шахтера завалило, сразу ему помочь, конечно, невозможно. Погребенного под горой камней и зажатого в жуткой щели, его надо не только высвободить, но еще милю или больше тащить по штрекам, где людям даже не распрямиться. Побывавшие под завалом рассказывают, что их извлекали, вытягивали на поверхность часа два. С клетью тоже

порой происходят аварии. Движение ее достигает скорости железнодорожного экспресса, а управляется она находящимся наверху оператором, который сам не видит что и как. Приборы позволяют следить за продвижением клети, но ведь случаются ошибки управления, и тогда клеть на полной скорости врезается в дно штольни. Кошмарная смерть. Только представить: замурованный в тесном стальном ящике десяток людей летит вниз сквозь сплошной мрак, в какой-то момент люди понимают, что механизм подвел, и несколько секунд ясно осознают, что их сейчас расшибет всмятку. Один шахтер рассказал мне, как, находясь в клети, не затормозившей на подходе ко дну, он и все остальные ощутили аварийную ситуацию. Они решили, что лопнул трос. Приземление прошло достаточно благополучно, но, выбравшись из клети, шахтер обнаружил во рту сломанный зуб, – так стиснулись его челюсти в ожидании страшного конца.

При той физической силе, которая необходима их трудам, шахтеры, если не считать производственных травм, должны бы, кажется, отличаться здоровьем. Однако их мучает ревматизм, человеку со слабыми легкими в насыщенных угольной пылью шахтах тоже долго не протянуть, но главная горняцкая болезнь – нистагм. Заболевание, заставляющее глазные яблоки странно подергиваться на свету, возникает, видимо, благодаря работе в полутьме и нередко приводит к полной слепоте. Рабочие, ставшие инвалидами по этой или иной связанной с шахтой причине, получают от компании денежную компенсацию либо единовременно, либо как пенсию. Такая пенсия везде не больше двадцати девяти шиллингов, но если она меньше пятнадцати, то инвалид еще имеет право на госпособие по безработице или дотацию в соответствии с актом «проверки средств». На месте увечного шахтера, я бы предпочел единовременную сумму: тогда хоть деньги наверняка получишь. Пенсий по нетрудоспособности ни один централизованный фонд не гарантирует, так что, если компания банкротится и прекращает платежи, шахтер, хотя формально он тоже в числе кредиторов, остается ни с чем.

В Уигане[13] я некоторое время проживал у шахтера, страдавшего нистагмом. На расстоянии комнаты он еще что-то различал, но дальше видел очень плохо. Девять месяцев ему выплачивали пенсию двадцать девять шиллингов в неделю, затем компания заговорила насчет перевода его на «частичную компенсацию» – четырнадцать шиллингов. Все

[13] Уиган – старейший шахтерский город на северо-западе Англии, в графстве Ланкашир.

теперь зависело от того, признает ли врач его состояние годным для легкой работы «наверху». Нет нужды пояснять, что и с положительным вердиктом медика никакой подходящей легкой работы ему бы не нашлось, зато он стал бы получать госпособие, а частная компания – еженедельно экономить на нем пятнадцать шиллингов. Наблюдая походы этого шахтера в контору за компенсацией, я остро ощутил, сколь глубоки до нынешнего дня различия, определяемые *статусом*. Человек почти потерял зрение на одной из самых важных, полезных для общества работ и больше кого-либо иного заслужил свою пенсию. И все же он не мог, так сказать, требовать положенные деньги – не мог, например, получать их тогда и как ему удобно. Раз в неделю, в назначенный день ему приходилось отправляться на шахту и там часами ждать возле конторы на холодном ветру, а в довершение он еще, можно не сомневаться, армейским жестом брал под козырек, благодаря за выданные шиллинги. Во всяком случае, он должен был впустую потратить день да еще выложить шесть пенсов за автобус. Для приобщенного к сословию буржуазии, даже такого захудалого, как я, совсем другой канон. Даже на грани нищеты за мной числятся некие права по моему буржуазному статусу. Зарабатываю я лишь чуть больше шахтера, но деньги мне, джентльмену, переводят на банковский счет, с которого я их беру, когда хочу. И даже если счет мой пуст, менеджер банка со мной достаточно любезен.

Гнусность пренебрежительного отношения, унизительно долгих ожиданий, непременных уступок ради чужого удобства – постоянное слагаемое жизни пролетария. Множеством способов на него беспрерывно давят, загоняя в рамки *пассивного* существования. Живет он не действием, а под воздействием. И чувствуя себя рабом неведомых могучих сил, он пребывает в твердом убеждении, что «они» не позволят ему ни того, ни сего, ни этого. Однажды на сезонном сборе хмеля я спросил у ишачивших там, мокрых от пота работяг (платили им меньше шести пенсов в час), почему не организуется союз поденщиков? Мне тут же возразили: никогда, мол, «они» не дадут сезонникам объединиться. Кто именно будет препятствовать, никто из сборщиков сказать не мог, но «они» явно были всемогущи.

Личность буржуазного происхождения идет по жизни в стойком ожидании когда-то получить желаемое (ну, в разумных пределах). Отсюда то, что в тяжелые времена вожди, как правило, из «образованных». Талантами они одарены не более всех прочих, да ведь и «образованность» сама по себе бесполезна, но эти люди привыкли к уважению своих прав и

соответственно наделены необходимой командирам самоуверенностью. Поэтому *их* лидерство всегда и всюду видится непреложным. В книге французского журналиста Проспера Лиссагаре «История Парижской коммуны», в описании репрессий после подавления восставших есть интересный пассаж. Власти искали главарей и, не имея информации о них, определяли таковых на глаз: по признакам принадлежности к высшим классам. Офицер шел вдоль строя арестованных, высматривая обличающие вожаков приметы. Одного человека расстреляли, поскольку на руке его были часы, другого – потому что у него было «интеллигентное лицо». Мне лично не хотелось бы получить пулю за «интеллигентное лицо», но как не согласиться, что во главе почти всякого бунта люди с правильной, культурной речью.

4

Приехав в очередной промышленный город, плутаешь по лабиринту узких слякотных проходов среди закопченных кирпичных хибар и засыпанных шлаком двориков с вонючими мусорными ящиками и будками полуразвалившихся уборных. Количество комнат в домах здесь варьируется от двух до пяти, но интерьеры жилищ поразительно однообразны. Всюду почти одинаковые, тесные (примерно десять на десять или двенадцать на двенадцать футов) общие комнаты, эти кухни-столовые-гостиные. Если площадь внизу побольше, имеется закуток для мытья посуды, если поменьше – раковина и котел здесь же, рядом с кухонной плитой. Позади дома либо крохотный дворик, либо такой индивидуальный отсек общего для нескольких домов двора, которого хватает вместить лишь ящик для мусора и сортир. Горячего водоснабжения нет нигде. Можно пройти, я полагаю, сотни миль вдоль домов, населенных шахтерами, каждый из которых приходит после работы черный от головы до пят, и не найти жилище с ванной. Строителям в свое время было бы очень просто установить водогрейные системы, работающие от кухонных плит, но подрядчик, видимо, экономил по десятку фунтов с объекта, да и в голову никому тогда не приходило, что шахтерам нужны ванные.

Отметим, что, в основном, дома у шахтеров старые, простоявшие не меньше полусотни лет, по любым сегодняшним нормам непригодные для человеческого обитания. Живут в них просто потому, что больше негде. И это главная проблема относительно жилья в промышленных

районах. Она не в том даже, что здания убоги, безобразны и лишены санитарных удобств, что дома скучены в невообразимо мерзких трущобах подле коптящих заводов, воняющих каналов и курящихся серным дымом холмов сланца (хотя все это безусловный факт), – главная проблема в том, что зданий элементарно не хватает.

«Дефицит жилья», который довольно широко обсуждается еще со времен войны[14], для людей с недельным доходом десять или хоть пять фунтов тема не слишком актуальная. Что же касается дорогих престижных домов, тут проблема отнюдь не здания, а поиск арендаторов. Пройдитесь по любой улице Мэйфера[15] и в половине окон вы увидите таблички «сдается внаём». Но в промышленных областях одно из худших проклятий бедности – сложность вообще найти жилище. И люди соглашаются на любую дыру, любой клоповник с прогнившими полами и треснувшими стенами, на вымогательство маклера и домовладельца-шкуродера – только бы получить крышу над головой. Я бывал в жутких жилищах, в домах, где, даже приплати мне, никогда не поселился бы и на неделю, но съемщики в них обитали по двадцать, по тридцать лет, мечтая лишь о том, чтобы прожить там до конца дней. Обычно, хотя не всегда, жильцы воспринимают эти условия как вполне нормальные. Некоторые, кажется, едва ли представляют, что где-то есть приличные дома, полагая клопов и дырявые крыши творением Божьим, другие горько клянут домовладельцев, но все под страхом худших вариантов цепляются за свои норы. При этакой нехватке жилья у местных муниципальных властей маловато возможностей благоустроить или вообще заменить ветхие постройки. Совет вправе определить дом «непригодным», но нельзя приказать его снести, пока жильцам не будет другого пристанища. Так что приговоренные здания стоят и стоят, делаясь, разумеется, все хуже, поскольку владельцу развалюхи нет резона тратиться сверх минимально необходимого на дом, который рано или поздно снесут. В таком городе, как Уиган, более двух тысяч жилых зданий давно признаны непригодными, и целые кварталы были бы обречены на снос, имейся хоть какая-то надежда выстроить новые. А в таких городах, как Лидс и Шеффилд, несть числа «сдвоенных» домишек, сам тип которых не годится для житья, но которые простоят еще не одно десятилетие.

Я осмотрел множество жилищ в шахтерских городах и поселках, коротко помечая для себя основные детали. Думаю, ясное представление об

[14] Имеется в виду Первая мировая война 1914 –1918 гг.
[15] Один из самых престижных районов Лондона.

увиденном даст часть этих записей, взятых сейчас почти наугад (кое-что здесь я ниже поясню и расшифрую). Итак, несколько записей из Уигана:

1. Дом в квартале Уоллгейт. Задняя стена глухая. Внизу 1, наверху 1. Общая 10× 12 футов, спальня такая же. Под лестницей чуланчик 5×5 (используется как кладовка, мойка и склад угля). Окна открываются. До уборной 50 ярдов. Аренда 4ш. 2п., налог 2ш. 6п., итого – 7ш. 3п.

2. Соседний дом. По площади, как предыдущий, но чулана под лестницей нет, просто стенная ниша с раковиной. Никаких помещений для кладовки и пр. Аренда 3ш. 2п., налог 2ш., итого – 5ш. 2п.

3. Дом в квартале Скоулис. Признан непригодным. Внизу 1, наверху 1. Обе по 15×15. Раковина и котел в комнате. Под лестницей угольный погреб. Перекрытия просели. Ни одно окно не открывается. Дом достаточно сухой. Хозяин хороший. Аренда 3ш. 8п., налог 2ш. 6п., итого – 6ш. 2п.

4. Соседний дом. Внизу 2, наверху 2. Есть угольный погреб. Стены еле держатся. Потолки над спальнями протекают так, что в дождь вода хлещет ручьем. Полы кривые. Окна внизу не открыть. Хозяин плохой. Аренда 6ш., налог 3ш. 6п., итого – 9ш. 6п.

5. Дом на Гринос-роу. Внизу 2, наверху 1. Общая комната 8×12. Стены в трещинах, проникает вода. Передние окна открываются, задние нет. Семья из десяти человек, восемь детей мал мала меньше. Ввиду чрезвычайной перенаселенности муниципалы пытаются найти им другое жилье, но безнадежно. Хозяин плохой. Аренда 4ш., налог 2ш. 3п., итого – 6ш. 3п.

Хватит, пожалуй, про Уиган. Таких страниц у меня много. Вот запись из Шеффилда – типичный пример одного из тысяч и тысяч «сдвоенных» домов:

Дом на Томас-стрит. Сдвоенный. Внизу 1, наверху 2 (т.е. три этажа, на каждом по одной). Имеется подвал. Все помещения по 10×14, раковина в столовой. Спальни наверху без дверей: открытые проемы с лестницы. Стены внизу сыроватые, в спальнях совсем ветхие, протечки со всех сторон. Дом такой темный, что всегда должен гореть свет. За электричество платят по полшиллинга в день (наверное, слегка преувеличено). Семья шесть человек; четверо детей, сплошь в соплях и прыщах. Муж на госпособии по безработице и болен туберкулезом. Один ребенок в больнице, остальные вроде бы здоровы. Снимают это жилье семь лет. Хотели бы переехать, но некуда. Аренда, включая налог: 6ш. 6п.

А вот парочка записей из Барнсли:

1. Дом на Уортли-стрит. Внизу 1, наверху 2. Общая комната 10×12. Котел с раковиной здесь же, под лестницей угольный погреб. Слив сделан плохо, раковина постоянно переполнена. Постройка очень дряхлая. Свет газовый, счетчик со щелью для монет. Дом темный, за освещение 4 пенса в день. Верхние комнаты – одна, просто разгороженная пополам. Стены совсем трухлявые, в задней – сквозная трещина. Оконные рамы сгнили, держатся прибитыми планками. В дождь всюду течет. Из канализационной трубы под домом страшная вонь, но муниципалы говорят, что для ремонта «пока нет возможности». Шесть человек, четверо детей, самому старшему ребенку пятнадцать. Младший (предпоследний) в больнице – подозревают туберкулез. Дом кишит клопами. Аренда, включая налог: 5ш. 3п.

2. Дом на Пил-стрит. Сдвоенный. Внизу 2, наверху 2, имеется большой подвал. Общая комната квадратная, раковина и котел здесь же. Соседняя равного размера и, вероятно, предназначалась быть гостиной, но служит спальней. Площадь наверху такая же. Очень темно, за газовое освещение 4 пенса в день. До уборной 70 ярдов. Четыре кровати и восемь человек: старики родители, две взрослые дочери (старшей двадцать семь), парень и трое младших. Одна кровать отцу с матерью, вторая – старшему сыну, еще две – для остальных пятерых. Клопов до ужаса («да как им не плодиться-то в тепле?»). Неописуемая нищета внизу, а наверху невыносимый запах. Аренда, включая налог: 5ш. 7п.

3. Дом в Мэплвелле (маленький шахтерский поселок близ Барнсли). Внизу 1, наверху 2. Общая комната 13×14, раковина здесь же. Стены с обвалившейся штукатуркой. Духовка без единой полки. Слегка ощущается утечка газа. Верхние каморки по 8 на 10. Четыре кровати (в семье шестеро людей, все взрослые), но «одна щас не прибрана» – похоже, нет постельного белья. Ближайшая к лестнице спальня без двери, а лестница без перил, так что рискуешь после сна шагнуть в пролет и с десятифуто-

вой высоты рухнуть на каменный пол. Наверху сквозь дыры прогнившего настила можно обозревать нижнее помещение. Клопы, хотя «уж их и моришь, и дезинфекцией поливаешь». Земляная дорога рядом с домом, как навозное месиво; зимой, говорят, едва пройти. Дворовые кирпичные уборные почти в руинах. Снимают это жилье уже двадцать два года, задолжали 12 фунтов, в счет чего платят дополнительно шиллинг в неделю. Хозяин, предъявляя повестки о выселении, требует съехать. Аренда, включая налог: 5ш.

И т.д., и т.п. Примеров в моем блокноте множество, и всякий пожелавший осмотреть жилища промышленных областей может добавить к списку сотни тысяч подобных. Теперь я должен пояснить кое-что в своих записях. Цифры с пометкой «внизу», «наверху» – количество комнат на каждом этаже. «Сдвоенный» дом – два семейных жилья в одной постройке с входами на противоположных сторонах; то есть когда вы видите вдоль улицы двенадцать домов, реальных жилищ тут двадцать четыре. Половина сдвоенного дома выходит на улицу, половина – во двор, но проход возле здания один. Результат очевиден. Уборные на задних двориках, так что, живя в фасадной части, вы добираетесь до клозета и мусорного ящика, лишь совершив прогулку вокруг здания, – путь, длиной иногда до двухсот ярдов. Если же ваш вход со двора, у вас прелестный вид на ряд сортиров. Дома с «глухой задней стеной» – тип обычного дома, где строитель, однако, почему-то (по чистой злобе, вероятно) не прорезал проем для задней двери. Особенность шахтерских домов – окна, которые нельзя открыть. Подрытая тоннелями шахт почва постоянно оседает и постройку перекашивает. В Уигане дивишься шеренгам дико накренившихся домов с невероятно косоугольными рамами окон. Многие наружные стены выпирают дугой, словно дом на последнем месяце беременности. Кирпичную стену можно переложить ровно, но вскоре ее вновь начнет выпячивать. Дом, где слив терзает коварством, окна навек заклинило, дверные косяки разъехались и требуют срочной замены, – этим местных жителей не удивишь. Рассказ о пришедшем со смены шахтере, который обнаружил, что попасть в дом сможет, лишь прорубив дверь топором, воспринимается комичным случаем. В некоторых моих записях есть пометки «хозяин хороший» или «хозяин плохой», поскольку о владельцах жилья обитатели отзываются весьма по-разному. Для себя я открыл (возможно, этого следовало ожидать), что наихудшие домовладельцы – самые мелкие. Констатировать такой факт неприятно, но объяснить нетрудно. Хотелось бы, чтобы типичным владетелем

трущобы оказался бесчеловечный жирный скряга (предпочтительно – епископ), наживающий золотые горы грабительской арендой. Увы, значительно типичней бедная старуха, которая вложила все сбережения долгих лет в покупку трех лачуг, теперь, живя в одной из них, пытается существовать, сдавая две другие, – и в результате никогда не наскребает денег на ремонт.

Эти сухие краткие заметки многое говорят только мне самому. Перечитывая их, я снова вижу те места, где побывал, но устрашающих условий в трущобах северного шахтерского края просто не выразить. Слабоваты слова. Что скажет запись «крыша протекает» или «четыре кровати на восьмерых»? Глаз скользнет, не особенно вникая. А сколько за этим горя и тягот! Например, перенаселенность. Зачастую в трехкомнатном домишке ютится семейство из восьми, даже десяти человек. Одна комната – общая, и так как в ней, на площади чуть более двенадцати квадратных метров, кроме плиты и раковины еще втиснуты стол, немало стульев и буфетный шкаф, места для койки тут не остается. Соответственно, восемь или десять человек спят в двух каморках, вмещающих обычно по две кровати. Особенно плохо, когда много взрослых, работающих членов семьи. Помню дом, где три девушки делили одну кровать, трудясь в разные смены и нервируя друг друга при каждом своем уходе-возвращении; помню молодого горняка, работавшего в ночную смену, спавшего на узкой койке днем и на ночь уступавшего ее другому члену семьи. Дополнительная сложность возникает, когда подрастают мальчики и девочки, которых уже не положишь рядом. Я видел дом, где жили отец, мать, их юные, лет по семнадцать, сын и дочь, но имелось лишь две кровати. Отец там спал вместе с сыном, а мать с дочерью – единственный вариант избежать угрозы кровосмешения. Или вот бедствие дырявых крыш и сырых стен, из-за чего в некоторых спальнях зимой почти невозможно находиться. Или вот полчища клопов. Если уж эти твари завелись, то никогда не сгинут, пока сам дом не сломают, – надежного средства их извести не существует. Или вот беда с окнами, которых не открыть. Надо ли пояснять, что это означает летом в душной комнатенке при беспрерывной готовке пищи на плите, топящейся чуть не круглые сутки. Или вот специфичные напасти сдвоенных домов. Полсотни ярдов до уборной или мусорного ящика не слишком стимулируют гигиеничность. У хозяек фасадных половин (во всяком случае, в проулках, куда муниципалы не заглядывают) развивается привычка выплескивать помои прямо из входных дверей, благодаря чему сточный желоб вечно полон раскисших корок и плесневеющей чайной заварки.

Стоит также призадуматься о том, что это значит для ребенка, – жить в половине «со двора» и расти в постоянном созерцании ряда сортиров вдоль кирпичной стенки.

Женщина в подобных домах – лишь несчастная ломовая лошадь, шалеющая от бесконечности забот. Она может высоко держаться духом, но ей не до высоких эталонов чистоты и опрятности. Всегда надо спешно что-то делать, а удобств никаких и в помещении не повернуться. Только умоешь одного ребенка, другой успел измазаться; только отскребешь кастрюльки после трапезы, уже пора варить-жарить для следующей. Хозяйства мне встречались самые разные. Некоторые были так приличны, как максимально позволяла ситуация, некоторые же настолько ужасны, что описать нельзя. Начать с такой существенной и царящей детали, как запах – буквально неописуемый. А грязь, а кавардак! Тут бак с помоями, там таз с невымытой посудой, всюду нагромождения плошек, на полу клочья газет и в центре обязательно этот кошмарный стол с липкой клеенкой, на котором куча кастрюль и сковородок, недоштопанные чулки, огрызки хлеба и кусочки сыра в сальных бумажках. А толкотня в комнатушке, где еле протиснуться между мебелью, да еще непременно по лицу хлещет сырое, висящее на веревке белье и под ногами детей густо, как поганок в лесу! Несколько сцен помнятся необыкновенно ярко. Почти голая общая комната в доме маленького шахтерского поселка; огромное семейство сплошь безработных и на вид полуголодных; целый отряд уныло, вяло развалившихся детей и взрослых обоего пола, до странности похожих рыжей шевелюрой, крепкой костью и лицами, опустошенными недоеданием и бездельем; один из них, сидящий перед огнем рослый парень, слишком апатичный, чтоб хоть заметить приход незнакомца, медленно стягивает с разутой ноги липкий носок. Жуткая комната дома в Уигане, где, кажется, вся мебель была из ящиков и деревянных бочек, притом едва державшихся. Старуха с грязными разводами на шее и висящими космами на своем ланкаширско-ирландском наречии яростно поносит домовладельца, а ее мать, мумия за девяносто, сидя позади на бочке, что служит ей стульчаком, глядит на нас безучастным кретинским взглядом. Я мог бы исписать страницы картинами подобных интерьеров.

Конечно, запущенность убогих пролетарских жилищ отчасти иногда на совести самих жильцов. Даже живя в сдвоенном доме, имея четверых детей и лишь пособие в тридцать недельных шиллингов, *ничто* не мешает вынести стоящий весь день посреди общей комнаты ночной горшок. Но столь же верно, что подобные условия существования не поощряют чувство собственного достоинства. Возможно, определяющий фактор – количество детей. Наиболее благопристойно всегда выглядит домашнее хозяйство там, где детей нет либо не более двоих, а при наличии, скажем, трех комнатушек и шестерых ребят добиться сколько-то приличного вида жилья, пожалуй, невозможно. Еще существенный момент, который следует учесть, – нижняя, общая комната не отражает степень бедности семьи. Вы можете посетить беднейших безработных, но, побывав у них только внизу, вынести ложное впечатление об их достатке. Глядя на довольно обильный ассортимент посуды и мебели в столовой, трудно поверить, что обитателей гнетет жестокая нужда. Только поднявшись в спальни, обнаружишь действительную пропасть нищеты. Не знаю, то ли гордость заставляет жильцов до конца цепляться за обстановку своих «кухонь-гостиных», то ли спальные принадлежности удобней, выгодней закладывать в ломбард, но именно спальни нередко меня просто устрашали. Надо сказать, что в семьях, уже годами живущих на пособие по безработице, нечто похожее на стандартный набор постельного белья встречается как исключение. Часто вообще ни простыней, ни даже матрасов и подушек – только груда старых пальто и всяких тряпок на ржавом остове железной койки. Увеличение числа домочадцев ухудшает дело. В знакомой мне семье из четырех человек (отец с матерью и два ребенка) имелось две кровати, но спали все в одной, поскольку не хватало принадлежностей, чтобы элементарно оснастить вторую.

Тем же, кого вдруг заинтересует наихудший вариант последствий нехватки жилья, необходимо посетить примыкающие к городам промышленного севера жуткие фургонные поселения. Со времен войны, когда ввиду жилищного дефицита для некоторых стало невозможным получить кров в нормальном доме, бесприютный народ временно, как предполагалось, обосновался в свезенных за городскую черту старых, отслуживших свой срок фургонах. Например, возле Уигана, города с населением 85 000, таких жилых фургонов стоит около двухсот, в каждом семья, – то есть общее число поселенцев, вероятно, около тысячи. Сколько подобных жителей по всем промышленным районам, подсчитать нельзя даже приблизительно: муниципалы о них умалчивают, перепись 1931 года тоже, видно, решила их игнорировать. Насколько мне удалось выяснить, колонии фургонов существуют близ большинства крупных городов Йоркшира и Ланкашира, а может быть и далее на север. Так что в Северной Англии, надо полагать, живут тысячи или даже десятки тысяч семей – не отдельных людей, а семей! – чьим единственным домом является фургон.

Однако слово «фургон» вводит в заблуждение. Мысленно возникает картина стоянки цыганского табора (в чудесную погоду, разумеется), с уютным треском костров, детишками, собирающими ежевику, и разноцветным ярким платьем на веревках. Колонии фургонов возле Уигана и Шеффилда на это совсем не похожи. Я видел несколько, уиганские осмотрел очень внимательно и, на мой взгляд, житье сопоставимой нищеты отыщешь только на азиатском Востоке. Мне тут сразу вспомнилась Бирма и лачужки индийских кули. На Востоке, правда, настолько худо быть не может: там не бывает наших сырых, продирающих до костей холодов и там спасающее от многих инфекций солнце.

На пустырях по берегам уиганского мутного канала, словно отходы из гигантского мусорного ведра, красуются свалки фургонов. Часть их и впрямь цыганские фургоны, только совсем ветхие, поломанные. В большинстве же это бывшие маленькие низкие автобусы (еще меньше тех, что бегали лет десять назад), с которых сняли колеса, установив кузова на деревянные подпорки. Есть и простые грузовые телеги с ребрами дуг, обтянутых холстом – единственной преградой между жильем и наружной природной атмосферой. Внутри бывшие транспортные средства шириной обычно футов пять, в высоту – около шести (я не смог полностью распрямиться ни в одном), длина колеблется от шести до пятнадцати футов. Наверное, в каких-то обитает по одному человеку, но мне не попалось фургона, приютившего менее двоих, а вот большие семьи я встречал. К примеру, был фургон длиною четырнадцать футов, который населяли семь человек, – семеро в пространстве, где на каждого приходился объем *значительно меньший*, чем кабинка общественной уборной. Тесноту и грязь в этих убежищах не представишь, пока не оценишь собственным глазом и в особенности – носом. Обстановка обязательно включает крохотную печурку и столько коек, сколько удается сюда впихнуть: иногда две, чаще одну, и как-то уж, вповалку, вся семья должна в ней улечься. На полу спать почти невозможно из-за сырости – при мне сворачивали плетеный матрас, все еще влажный в одиннадцать утра. Зимой такой холод, что печку надо топить круглые сутки, а все оконца, разумеется, задраены. Воду берут из гидранта, обычно единственного на колонию, и многим за каждым ковшом приходится топать до крана полтораста-двести ярдов. Санитарных удобств вообще никаких. Уборными служат будочки или шалаши, сооруженные на пятачках земли возле фургонов, и раз в неделю где-нибудь поодаль роют ямы для захоронения нечистот. Все поселенцы, особенно дети, невообразимо чумазы и, нет сомнения, покрыты паразитами. По-другому тут быть не может.

Мысль, часто посещавшая меня, когда я бродил от фургона к фургону: что происходит там внутри, если кто-нибудь умирает? Но это, конечно, из тех вопросов, что не решаешься задать.

В таких колониях люди живут по много лет. Теоретически муниципалам должно покончить с этим безобразием, переселить людей в дома, но так как здания не строятся, фургонному житью конца не видно. Большинство здешних обитателей, с которыми я говорил, давно оставили надежду вновь обрести нормальное пристанище. Население тут поголовно безработное, для него что дом, что работа – вещи, одинаково нереальные, недостижимые. Кому-то это вроде бы уже привычно и нипочем, а кто-то очень ясно понимает, на какое дно его кинуло. Передо мной стоит изможденное до предела, больше похожее на череп лицо одной женщины, взгляд которой выражал полное сознание невыносимой нищеты и деградации. Тщась держать в чистоте обильный выводок своих детей, она, я это видел, ощущала мои опасливые чувства в ее диком свинарнике. Необходимо помнить: эти люди не цыгане, это добропорядочный английский люд, у всех у них (кроме рожденных здесь детей) когда-то имелись дома; к тому же их фургоны гораздо хуже цыганских, а вдобавок лишены преимущества вольно укатить в другие края. Конечно, немало персон среднего класса убеждены, что низшему сословию такое житье не претит, и, случись им увидеть из окна поезда колонию фургонов, они тут же заявят, что люди туда скатились по собственному выбору. Я сейчас не намерен затевать дискуссию на эту тему. Но прошу обратить внимание, что жизнь в фургонах даже экономически невыгодна, поскольку обитатели старых повозок и автобусов платят за свой приют столько же, сколько бы они платили за обычные съемные домишки. Мне там не приходилось слышать о цене ниже пяти шиллингов (пять шиллингов за помещение, куда не втиснуть вторую койку!), а порой аренда фургона доходит до цены в полфунта. Неплохие деньжата кто-то делает, сдавая жильцам эти помойки! И как уютно в прениях относительно данной, все длящейся и длящейся печальной ситуации о нищете впрямую не упоминать, скорбеть лишь о нехватке зданий.

Беседуя с шахтером, я спросил однажды, когда в их местах остро встала проблема расселения? «Да когда нам растолковали насчет этого», – ответил он, подразумевая бытовавшие до недавних пор в народе столь низкие стандарты, что почти любая перенаселенность воспринималась как должное. Он также рассказал, как в пору его детства все одиннадцать членов семейства спали в одной комнате, не особо думая о том. Рассказал и про взрослое свое, уже с супругой, житье в сдвоенном

доме старого образца, где мало того, что от входной двери до уборной тащиться надо было пару сотен ярдов, но зачастую еще требовалось в очереди постоять: ведь той уборной пользовались тридцать шесть человек. Эти прогулки до клозета жена его была вынуждена совершать даже в период тяжелой, убившей ее болезни. Как заключил мой собеседник, такой уж был народ, такой породы, что терпел бы и терпел «пока им не растолковали насчет этого».

Не знаю, прав ли он. Что очевидно, это то, что *ныне* никто не считает терпимым положение, когда одиннадцать человек спят в одной комнате, и даже люди с приличным доходом смутно обеспокоены вопросом «трущоб». Отсюда постоянная на протяжении всех послевоенных лет трескотня по поводу «сноса трущобных клоак» и «переселения людей». Епископы, политики, филантропы и прочие важные лица рады благонравно потолковать о «сносе трущобных клоак», дабы отвлечь внимание от более серьезных зол и убедить, что ликвидация трущоб заодно ликвидирует и саму нищету. Только вот результат этих дебатов на удивление мизерный. Насколько можно видеть, за последнее десятилетие скученность в бедняцких кварталах не рассосалась, а, пожалуй, даже несколько увеличилась. Конечно, от города к городу большое различие в темпах борьбы с дефицитом жилья. Где-то муниципальное строительство почти стоит на месте, где-то ведется так активно, что вытесняет частные фирмы застройщиков. Например, в Ливерпуле жилищный фонд значительно обновлен и, главным образом, усилиями городских властей. В Шеффилде тоже сносят старые дома, возводят новые довольно быстро, хотя, учитывая беспримерный кошмар тамошних трущоб, со скоростью все же недостаточной[16].

Почему процесс в целом идет так медленно, и почему в некоторых городах деньги на это изыскивают легче, чем в других, мне неизвестно. На такие вопросы должен бы ответить некто более осведомленный о механизме местных органов управления. Муниципальный дом обходится обычно в три-четыре сотни фунтов (стоимость «прямых трудозатрат» дешевле, чем через подрядчика). Арендная плата за него, в среднем, чуть более двадцати фунтов в год, так что, даже с учетом предельной стоимости и процентов по займу, любой городской Совет, как представляется, мог бы настроить у себя домов на всех, готовых это жилье снять. Разумеется, во многих случаях жильцами стал бы народ на госпособии, и приток средств от их арендной платы походил бы на перекладывание денег из кармана в карман (местные органы получали бы аренду из сумм своей же социальной помощи). Но пособия людям все равно обязаны платить, а пока изрядную долю этих денег съедают частные домовладельцы. Причины, которыми всегда объясняют задержки со строительством, – нехватка средств и сложности с участками земли, поскольку муниципальное жилье сооружают не отдельными объектами, а целыми «районами», иногда сразу по сотне домов. Однако меня поражает загадочная вещь: многие северные города при вопиющей необходимости расселить жителей, изыскивают средства возводить роскошные административные здания. В Барнсли, например, недавно истратили сто пятьдесят тысяч фунтов на новую ратушу, хотя там всеми признана нужда в срочной постройке минимум двух тысяч жилых домов для рабочих, не говоря об общественных банях. (Общественные бани в Барнсли предоставляют *девятнадцать* мужских банных скамей – это в городе, где 70 тысяч жителей, главным образом шахтеров, ни один из которых не имеет дома ванной!) За полтораста тысяч муниципалитет мог бы отстроить триста пятьдесят домов, да еще оставить себе десять тысяч на ратушу. Впрочем, я уже признавался, что не постиг финансовых секретов местного управления. Я просто отмечаю факт, что городам отчаянно необходимы новые здания, а строительство зачастую идет с активностью паралитика.

Тем не менее работа все же *идет*, и районы муниципальных новостроек с рядами и рядами краснокирпичных домиков, одинаковых как горошины в стручке (кстати, откуда такое выражение? горошины весьма индивидуальны), – непременная часть предместий индустриальных городов. О том, каковы эти новые дома и чем отличаются от трущобных, мне проще всего рассказать, приведя очередные заметки из своего дорожного блокнота. Мнения арендаторов здесь тоже весьма различны, так что я выберу по одному примеру одобряемых и порицаемых жилищ. Обе записи из Уигана, обе о домах стандарта «без излишеств», с минимумом комнат и чрезвычайно тесным пространством для бытовых удобств.

1. Дом в районе Бич-Хилл.

Внизу. Просторная гостиная с кухонным камином, буфетами и встроенным шкафом; на полу линолеум. Маленькая прихожая, довольно большая кухня. Современная электрическая плита (напрокат от муниципалитета, обходится много дороже газовой).

Наверху. Две большие спальни и еще крошечная – годится только как кладовая или для временной ночевки. Ванная, туалет, горячая вода.

[16] К началу 1936 года в Шеффилде построено менее полутора тысяч муниципальных домов (при мне достроили 1398-й), тогда как подсчитано, что для полного расселения трущоб городу требуется сто тысяч зданий (*прим. автора*).

Сад маловат; есть в этом районе и более обширные, но, в основном они здесь меньше обычных частных садовых участков.

В семье четверо: муж с женой и двое детей. Муж на хорошей работе. Дом построен добротно, выглядит вполне мило. Имеется ряд ограничений: запрещено держать домашнюю птицу или голубей, брать квартирантов, сдавать площадь в субаренду и начинать какой-либо бизнес без разрешения городских властей (легко получить согласие только относительно квартирантов). Арендатор очень доволен домом и гордится им. Здания этого района содержатся в полном порядке. Власти ответственно выполняют ремонт, но требуют от жильцов следить за надлежащей опрятностью, чистотой территории и т п.

Аренда, включая налоги: 11ш. 3п. Автобусный проезд по городу – 2п.

2. Дом в районе Уэлли.

Внизу. Гостиная 10×14 футов, кухня значительно меньше, крошечная кладовка под лестницей, маленькая, но приличная ванная. Газовая плита, электрическое освещение. Туалет снаружи.

Наверху. Спальня 10×12 с маленьким камином, вторая спальня того же размера, но без камина и еще спальная каморка 6×7. В лучшей спальне стенной платяной шкаф.

Садик примерно 20×10 ярдов.

В семье шесть человек: родители и четверо детей, старшему сыну девятнадцать, старшей дочери двадцать два. Работу имеет только старший сын. Жилищем очень недовольны. Жалобы: «Дом холодный, вечно сырость и сквозняки. Камин в гостиной плохо топится и закоптил всю комнату (строители, видно, установили его слишком низко). От маленького камина в спальне вообще никакого толка. Стены наверху потрескались. В каморке спать невозможно, и пятеро ночуют в одной спальне, а старший сын – в другой».

Садовые участки этого района в совершенном небрежении.

Аренда, включая налог: 10ш. 3п. До города чуть больше мили, но автобус здесь не ходит.

Можно привести еще много примеров, но и этих достаточно, поскольку муниципальное жилье, в принципе, однотипно. Две вещи на поверхности. Первая – самые плохонькие дома здесь лучше старых, трущобных (только возможность иметь ванну и хотя бы небольшой садик перевесит почти любое неудобство в новом здании). Вторая – жить в новых

районах значительно дороже. Обычный случай, когда человека, платившего за ветхую лачугу шесть шиллингов в неделю, переселяют в дом, за который он должен платить уже по десять. Правда, это затрагивает лишь людей работающих, получающих зарплату. Живущим на пособие аренду устанавливают в четверть от получаемой субсидии или же назначают специальные дотации (хотя все-таки есть разряд муниципальных зданий, недоступных народу на пособии). Но существуют моменты, удорожающие жизнь в муниципальных районах независимо от характера личных доходов. Прежде всего, ввиду более высокой аренды помещений магазины дороже и их меньше. К тому же отдельно стоящий дом, который и внутри просторней прежних затхлых клетушек, согреть значительно труднее, и, стало быть, увеличение трат на топливо. Кроме того (это особенно касается работающих в городе), расходы на транспорт. Тут вообще одна из самых явных проблем обновления жилищного фонда. Расчистка города от лепящихся в центре трущобных гнезд означает переселение жильцов, а при масштабах муниципальной строки новые районы расползаются в предместья. Определенным образом это прекрасно: из тесноты зловонных переулков человека переселяют туда, где в комнатах можно дышать. Но с точки зрения самих переселяемых, их загоняют куда-то за пять миль от работы. Простейшее решение – квартиры в многоэтажных домах. Если уж люди не намерены покидать большой город, им все-таки придется научиться жить друг над другом. Однако северный рабочий люд крайне нерасположен к жилью в презираемых «многоэтажках». Практически любой вам скажет, что ему «хочется свой дом», и, судя по всему, съемный дом в гуще квартальной застройки видится несравненно более «своим», чем овеваемая чистым воздухом квартира.

Возвращаясь к примеру вызывающего недовольство муниципального жилья. Арендатор жаловался, что дом плохой, сырой, холодный и т.п. Возможно, дом действительно построили халтурно, но столь же вероятно, что претензии были преувеличены. Мне довелось видеть, какой халупой в центре Уигана являлось прежнее пристанище данного арендатора, который, обитая там, изо всех сил стремился получить муниципальный дом, а, переехав, тут же затосковал о трущобе. Это напоминает капризную привередливость, но выражает подлинные чувства. Очень часто (пожалуй, в половине случаев) я сталкивался с тем, что новое жилье людям действительно не нравится. Они рады покинуть вонючие развалюхи и понимают, как хорошо, что их детям наконец будет где играть, но им очень неуютно на новом месте. Исключения – люди с приличным заработком (так сказать, верхний слой рабочего класса), те, кого не пугает

некоторое увеличение расходов на топливо, обиход и автобусы. Однако большинству переехавших из трущоб недостает прежнего душного тепла их обиталищ. Слышишь их жалобы, что «в поле-то, за городом», то есть на городских окраинах, они «околевают» (мерзнут). И, разумеется, зимой во множестве новых районов довольно сурово. Некоторые новостройки, через которые я проезжал, расположены на холмах, на голых глинистых склонах, открытых ледяным ветрам, и как места для проживания выглядят угнетающе. Нет, речь не о душевном пристрастии обитателей трущоб к тесноте и грязи, во что столь сладостно верить холеным буржуа. (Перечтите хотя бы диалог о сносе трущоб из «Лебединой песни» Голсуорси, где устами филантропа, уверенного в том, что трущобы созданы ее жителями, но никак не наоборот, высказана обожаемая мысль сытых рантье). Дайте человеку достойное жилье —он быстро научится содержать его достойно. Свой красивый, нарядный дом повысит самоуважение, разовьет вкус к чистоте и позволит детям начать жизнь с лучшего старта. Но пока в муниципальных новостройках все-таки веет казенным, до некоторой степени даже тюремно-казарменным холодком, и люди, там живущие, хорошо это ощущают.

Именно здесь сложнейшее звено проблемы расселения. Проходя по мрачным, закопченным трущобам Манчестера, думаешь — только бы снести до основания эту мерзость и выстроить вместо нее приличные дома. Но беда в том, что разрушение трущоб уничтожает и кое-что иное. Конечно, новые жилища отчаянно необходимы и, разумеется, их следует строить гораздо, гораздо быстрее, однако акция переселения – возможно, с неизбежностью – включает нечто чудовищно бесчеловечное. Не только неприютный вид новехоньких необжитых построек. Всякий дом поначалу безобразен новизной, а сам тип нынешних муниципальных домов выглядит как раз вполне сносно. В предместьях Ливерпуля целые поселки сплошь из муниципального жилья, отнюдь не оскорбляющего глаз, а корпуса многоквартирных домов для рабочих в центре города (по образцу, я полагаю, подобных кварталов Вены) смотрятся просто замечательно. И все же непременно оттенок бездушной, безжалостной неволи. Возьмите, например, ограничения, которые на вас наложит проживание в муниципальном доме. Вам не позволят содержать свой дом и садик, как захочется (в ряде районов даже строжайше предписан единый стандарт садовых оград). Вам не позволят держать домашнюю птицу или голубей. А йоркширским шахтерам почтовые голуби в радость, у них на задних дворах голубятни, они по выходным устраивают состязания своих любимцев. Однако от голубей грязь, и городские власти пресекают

это увлечение. Еще серьезнее ограничения касательно магазинов. Количество торговых точек в районе твердо лимитировано, и предпочтение, как говорят, отдается универмагам или же сетевым филиалам (что вряд ли стопроцентно верно, хотя на мой взгляд, в общем, подтверждается). Это плоховато для массового покупателя, но для владельцев небольших лавок просто катастрофично. Многих мелких торговцев забывшая о них схема переселения доводит до полного краха. Целую часть города сносят, дома ломают, жильцов отправляют в дальние новостройки, – местный лавочник разом теряет клиентуру, не получив ни пенни компенсации. А переехать со своим бизнесом в тот же новый район не получится: даже если владелец магазинчика осилит более высокую аренду, ему, скорее всего, откажут в лицензии. Что касается пабов, они практически изгнаны из новых рабочих кварталов; лишь изредка увидишь заведения крупных пивоваренных компаний, гнетущие как пышным оформлением «под старину», так и немыслимой дороговизной. Представителю среднего класса здесь был бы досадный дискомфорт (милю тащиться, чтобы выпить кружку пива), но пролетарию, для которого паб —своего рода клуб, этим наносится серьезный удар по всей его социальной жизни. Переселить обитателей трущоб в приличные дома – огромное достижение, прискорбно лишь, что в специфичном духе нашего времени таким благим деянием предусмотрена необходимость лишить человека последних остатков свободы. И люди это чувствуют, вот эти свои чувства они и выражают жалобами, что в новых домах (зданиях, несравненно лучше прежних) им неудобно, холодно, «как-то не по себе».

Временами я склонен думать, что цена свободы не столько вечное борение, сколько вечная грязь. В некоторых муниципальных районах жильцов, прежде чем допустить их в новые дома, обязательно подвергают санитарной обработке на предмет избавления от вшивости. Весь скарб их до последней нитки тоже перед переездом увозят и окуривают для уничтожения насекомых. Поясняются данные меры тем, что очень *обидно* завезти нечисть в чистейшие помещения (а клоп, укромно таясь среди багажа, и впрямь сумеет не отстать от хозяев), но все это вызывает желание даже сам термин «гигиена» изъять из словаря. Клопы, конечно, гадость, но ситуация, в которой допустимо дезинфицировать людей, как скот, еще гаже. Впрочем, когда дело касается сноса трущоб, с некой долей властной жестокости следует, видимо, смириться. В конечном счете, важнее всего, чтобы люди больше не жили в хлеву. Я видел достаточно всяких трущобных нор, чтобы вполне тут разделять гневный пыл Честертона. Место, где дети получают возможность дышать чистым воздухом,

матери – облегчение трудов по хозяйству, а отцы – радость покопаться в своем садике, просто не может быть хуже зловонных тупиков Лидса и Шеффилда. Так что, подводя баланс, муниципальное жилье, конечно, лучше трущоб; жаль только, что отнюдь, отнюдь не во всем.

Изучая жилищную проблему в шахтерских городах, я посетил немало, наверно около двухсот домов и не могу завершить эту главу, не отметив, с какой любезностью, с каким добросердечием меня всюду встречали. Ходил я не один, всегда в сопровождении какого-нибудь помогавшего мне друга из местных безработных, но все же это наглость – лезть в дом к незнакомцам и просить показать трещины на стене их спальни. Однако люди проявляли необычайную терпимость, понимая как-то почти без объяснений, зачем я задаю свои вопросы и что хотел бы посмотреть. Вломись кто-то *ко мне* да начни вдруг допытываться, не текут ли потолки, хорош ли мой домовладелец и сильно ли допекают клопы, я посоветовал бы визитеру пойти к черту. Единственный подобный случай произошел, когда навстречу вышла глуховатая женщина, принявшая меня за тайного агента по обследованию нуждаемости, однако и она, быстро смягчившись, дала всю интересующую информацию.

Мне ведомо, что автору негоже касаться критики его произведений, но я сейчас хотел бы возразить обозревателю «Манчестер Гардиан», который по поводу моих книг высказался так:

«Сидя в Уигане или в столичном Уайтчепеле, мистер Оруэлл неизменно являет нам свой безошибочный дар упускать из вида любого рода позитивные моменты, дабы от всей души чернить и клеймить человечество».

Неправда. Мистер Оруэлл довольно долго «просидел» в Уигане, ничуть не вдохновившись заклеймить тамошнее человечество. Он очень полюбил Уиган, не пейзаж города – его народ. Но одно им и впрямь упущено из вида: знаменитый Уиганский пирс, который ему так хотелось посмотреть[17]. Увы! Старинный деревянный пирс снесен, и даже места, где он находился, с точностью уже не определить.

5

Статистические данные о двух миллионах безработных с легкостью побуждают воспринять это в том смысле, что два миллиона людей

17 Построенный на канале XV века пирс для угольных барж был снесен в 1929 г.

без работы, а прочая часть населения устроена сравнительно неплохо. Признаться, до недавнего времени я сам думал примерно так. Мои поправки не шли далее того, чтобы дополнить статистику безработицы народом в крайней нужде или по разным причинам просто незарегистрированным и полагать общим числом недоедающих (в Англии *все*, кому выпало жить на пособие или подобные жалкие средства, недоедают), самое большее, пять миллионов человек.

Колоссальная недооценка! Во-первых, статистикой учитывается лишь непосредственный *получатель* пособия, – то есть, как правило, глава семейства. Иждивенцы (если им не идут какие-то свои социальные выплаты) в реестрах не фигурируют. Чиновник биржи труда сказал мне, что количество лиц, *реально живущих* на пособие, можно представить, умножив официальную цифру, по меньшей мере, на три. Уже одно это вместо двух миллионов дает шесть. А кроме того, множество людей работают, но обеспечены ничуть не лучше безработных, ибо заработки их нельзя и близко обозначить как прожиточный минимум[18]. Учтя и эту категорию лиц, а также их иждивенцев, прибавив сюда стариков пенсионеров и прочую горемычную голь, недоедающего населения набирается далеко за десять миллионов человек. Сэр Джон Орр[19] полагает – двадцать миллионов.

Скажем, тот же достаточно типичный для промышленных областей Уиган. Взятых на страховой учет рабочих здесь числится 36 000 (26 000 мужчин и 10 000 женщин). Из них в начале 1936 года без работы были десять тысяч. Но то зимой, когда шахты функционируют в полную силу, а летом это, вероятно, тысяч двенадцать. Умножьте, как выше пояснялось, на три, получится тридцать тысяч или даже тридцать шесть. Население Уигана – около восьмидесяти семи тысяч; стало быть, на пособие там фактически существует каждый третий. Добавлю, что среди десяти-двенадцати тысяч тамошних безработных почти половина постоянно на пособии уже в течение семи лет. И пример Уигана на общем фоне наших индустриальных городов не самый худший. Даже Шеффилд, из-за войн или ожидания войны столь преуспевший в последние годы, дает ту же пропорцию: негде работать одному из трех шахтеров.

Впервые оставшись без работы, человек, пока действует его стра-

18 Например, недавнее обследование хлопкопрядильных фабрик Ланкашира показало, что более сорока тысяч *полностью занятых* работников имеют недельный заработок менее тридцати шиллингов. В Престоне, если брать только город, получающих больше тридцати шиллингов обнаружилось шестьсот сорок человек, а меньше этого – три тысячи сто тринадцать (*прим. автора*).

19 Орр, Джон Бойд (1880–1971) – шотландский ученый и педагог, работавший над проблемой питания и здоровья различных народов (лауреат Нобелевской премии мира 1949 г.).

ховка, получает «полную помощь», исчисляемую по следующей недельной норме:

Мужчина.....17ш.
Жена.....9ш.
Каждый ребенок младше 14 лет .....3ш.

Таким образом, общий доход типичной семьи с тремя детьми, один из которых старше четырнадцати, в этот период составит 32 шиллинга плюс то, что сможет заработать старший ребенок. Когда личный страховой фонд исчерпывается, человеку до перевода его на пособие КГП (Комитета Государственной Помощи) двадцать шесть недель выплачивают «переходное пособие» регионального УПБ (Управления Помощи Безработным), нормы коего таковы:

Одинокий мужчина ..... 15 ш.
Мужчина с женой ..... 24 ш.
Ребенок 14 –18 лет..... 6 ш.
Ребенок 11 –14 лет.....4 ш. 6 п
Ребенок 8 –11 лет..... 4 ш.
Ребенок 5 –8 лет .....3 ш. 6 п.
Ребенок 3 –5 лет ..... 3 ш.

Здесь недельный доход семьи с тремя детьми, ни один из которых не работает, составит 37ш. 6п. Арендную плату назначают в четверть пособия, то есть она будет минимум 7ш. 6п. (если аренда больше указанной четверти – дадут надбавку, если меньше – соответственно вычтут из пособия). Выплаты КГП теоретически исходят из местных норм, но определяются централизованным фондом по схеме:

Одинокий мужчина .....12 ш. 6 п.
Мужчина с женой ..... 23 ш.
Старший ребенок..... 4 ш.
Каждый последующий ребенок .. 3 ш.

Местные власти полномочны слегка увеличить объем госпособия, доплачивая (или не доплачивая) 2ш. 6п. «на одинокого мужчину» и доводя его недельное содержание до 15ш. Арендная плата при пособии от КГП также должна укладываться в четверть суммы. Доход указанного

выше типичного семейства тут будет 33 шиллинга. Помимо этого в большинстве мест есть дотация на уголь: шесть недель до и шесть недель после Рождества к пособию добавляют по полтора шиллинга (стоимость сотни фунтов топлива).

Нетрудно увидеть, что в среднем доходы семьи при всех вариантах около тридцати шиллингов. Вычтя четвертую часть как плату за жилье, можно убедиться, что каждого члена семьи, будь то ребенок или взрослый, необходимо накормить, одеть, обогреть, в общем –обеспечить на шесть-семь шиллингов в неделю. Таков уровень, на котором существует огромная масса людей, – минимум треть населения индустриальных областей. Официальные службы Проверки средств ведут очень строгий надзор, лишая помощи при малейшем признаке того, что безработный нашел еще какой-то денежный источник. Например, портовые грузчики, которых нанимают-то всего на несколько часов, обязаны ежедневно, утром и вечером, отмечаться на бирже труда, иначе они считаются работавшими и пособие им соответственно урезают. Я наблюдал случаи уклонения от предписаний контрольных органов, но, надо сказать, в промышленных городах, где еще теплится коллективизм и все соседи хорошо знают друг друга, сделать это значительно сложней, чем в Лондоне. Популярен прием, когда живущий с родителями парень добывает себе фиктивный адрес, чтобы получать отдельное пособие. Однако процветают слежка и доносительство. Знакомого мне безработного заметили за кормлением цыплят во дворе уехавшего на время приятеля. Администрацию тут же оповестили, что у него «куроводческое дело», и ему с немалым трудом удалось опровергнуть клевету. Любимый комический рассказ в Уигане о человеке, которого лишили пособия на основании данных о его работе «возчиком дров». Промыслом этим, по сообщению доброхотов, он занимался ночью. Бедняге пришлось сознаться, что возил он не дрова –собственную мебель, тайком смываясь от кредиторов.

Самым жестоким и бесчеловечным результатом системы Проверки средств является ее способность разбить семью, выгнать из дома немощных, возможно прикованных к постели, стариков. Достигший пенсионных лет вдовец жил бы и жил с кем-нибудь из своих детей, его еженедельный десяток шиллингов шел бы в общий бюджет, родные о нем, вероятно, неплохо бы заботились. Но нет! Живя у сына или дочери, в реестрах Проверки средств он подпадает под категорию «квартирант», вследствие чего пособие его детям сокращают. И старику за семьдесят приходится селиться в чужом углу, вручая пенсию хозяевам и существуя

на грани голода. Я лично был свидетелем подобных вариантов. Такое происходит и сейчас на всей территории Англии, происходит благодаря деятельному надзору Проверки средств.

Степень безработицы на нашем индустриальном севере ужасная, однако тамошняя бедность – чрезвычайная тамошняя бедность – не так очевидна, как нищета в столице. Все выглядит поплоше, поскромней, меньше автомобилей и нарядной публики, но явной голытьбы тоже поменьше. Даже в крупных городах вроде Ливерпуля или Манчестера удивляет малочисленность нищих. Лондон водоворотом втягивает всякий выброшенный за борт народ, и человеческая жизнь в его обширных дебрях теряется сиротливо, безымянно. Пока не нарушишь закон, никто внимания на тебя не обратит, ты можешь вконец опуститься, сгинуть, что вряд ли бы произошло в местах, где вокруг сплошь твои знакомые. Но в промышленных областях старинный коллективизм еще не выветрился, еще сильна традиция, и там почти у каждого семейство – то есть практически всегда свой кров. В городах с населением пятьдесят- сто тысяч нет даже временных приютов для бездомных (не возникло такой надобности) и, кстати, нет спящих на улице. Кроме того —воздадим справедливость правилам регулирования безработицы —правила эти не препятствуют людям вступать в брак. Семейная жизнь на двадцать три шиллинга в неделю недалека от края нищеты, однако муж с женой все-таки могут свить какое-никакое гнездо, и материально им живется значительно лучше, чем холостяку на его пятнадцать шиллингов. Существование одинокого безработного это кошмар. Живет он порой в ночлежке, а чаще в «меблированных комнатах», платя за недельное спальное место шесть шиллингов, как-то выкручиваясь на остальные девять (обычно шесть на еду, три на одежду, курево и развлечения). Никакого нормального питания и обихода ему ждать не приходится, к тому же постояльца, дающего всего шесть шиллингов, не поощряют находиться в доме больше необходимого. Поэтому дни он проводит, околачиваясь в публичной библиотеке либо ином доступном укрытии от непогоды. Побыть в тепле – почти главная забота одинокого безработного зимой. В Уигане излюбленным убежищем стали киношки, фантастически дешевые. Туда в любой момент вход открыт за четыре пенса, на утренние сеансы и за два. Даже полуголодный человек с готовностью отдаст два пенса, чтобы не мучиться на морозе. В Шеффилде меня, уставшего, угораздило по пути зайти на лекцию священника —ничего скучнее, бездарней я не слышал и, надеюсь, не услышу. Это оказалось просто физически невыносимо, и ноги сами понесли меня к выходу, но зал был битком набит безработными, согласными внимать всякой бессмыслице, сидя под крышей и в тепле.

Мне встречались безработные холостяки, прозябавшие в крайней нищете. Помню целую их колонию в одном городе, где они, в общем-то незаконно, заняли брошенную развалюху. Обстановку составлял мебельный хлам, вероятно со свалок; запомнилось, что столом там служила тумба с мраморной доской от старого умывальника. Впрочем, подобные вещи существуют как исключение. Холостяки в рабочей среде редкость, а женатому человеку безработица не так уж сильно меняет образ жизни. Дом его становится беднее, но все же остается домом, и стандартная ненормальная ситуация, когда муж без работы, а жена трудится в прежнем режиме, нисколько не колеблет позицию мужского превосходства. Не бывает такого, чтобы, как у среднего класса, центром семьи являлись женщина или ребенок, —у рабочего сословия это всегда и только мужчина, хозяин. Никогда, например, не увидишь мужа, занятого уборкой, мытьем посуды и т. п. Безработица не сломала эту традицию, что выглядит несколько несправедливо. Муж с утра до ночи баклуши бьет, тогда как у жены забот даже прибавилось, поскольку ей надо со всем управиться на меньшие деньги. Однако жены насколько я мог заметить, не протестуют. Полагаю, они, как и мужья, чувствуют, что мужчина утратит мужественность, если вдруг просто по причине отсутствия рабочих мест превратится в «хозяюшку».

Но отупляюще и оглупляюще безработица действует на всех, семейных или одиноких, и на мужчин сильнее, чем на женщин. Тут самый блистательный интеллект тускнеет. Несколько раз я встречал безработных с несомненным литературным даром; есть и другие, мне лично не знакомые, но чьи тексты мне попадались. Время от времени, очень редко, на страницах периодики появляются то их очерки, то небольшие рассказы, безусловно превосходящие массу поделок крикливой рекламной журналистики. Почему же они так скупо проявляют свой талант? Досуга у них хоть отбавляй, почему бы им не заняться писательством? А потому что для писательской работы нужны не только комфорт и одиночество (добиться одиночества в пролетарских домах весьма сложно), необходим сосредоточенный покой. Но попробуй-ка обрести душевное равновесие и волю, без которой ничего не создашь, когда над тобой черной тучей вечно висит отсутствие работы. Тем не менее, человек, полюбивший книги, может хотя бы занять себя чтением. Ну а как насчет тех, кому и читать трудновато? Взять, например, шахтера, с детства занятого горняцким делом, обученного только этому и ничему иному. Ему-то, черт

подери, чем заполнить свои пустые дни? Советы искать работу – чушь. Нет никакой работы, и всякому это известно. Да и нельзя искать работу ежедневно на протяжении семи лет. Существуют огородные участки, помогающие скоротать время и подкормить семейство, но в больших городах они есть у редких счастливцев. Несколько лет назад для безработных были организованы центры обучения ремеслам. В целом затея провалилась, но кое-где такие центры пока действуют. Я там бывал. В теплых помещениях специалисты учат людей столярничать, сапожничать, ткать на ручных станках, плести корзины и циновки и т. п. – идея в том, что человек, бесплатно получая инструмент и материал, может сам изготовить что-нибудь полезное для дома, для собственного быта. От большинства социалистов я слышал резко отрицательные отзывы: всё это, по их мнению, было затеяно лишь с целью держать безработных в покорном смирении, внушая иллюзию заботы о них. Подоплека, несомненно, именно такова. Займите человека починкой обуви, и у него убавится тяги к статьям «Дейли Уокер»[20]. Но еще эта тошно-благостная атмосфера, как на собраниях «молодых христиан»[21]. Безработные здесь, в основном, из привыкших брать под козырек, сам вид такого пролетария мгновенно сообщает: перед вами сторонник *умеренной* линии и голосует он всегда за консерваторов. И все же однозначную оценку дать трудно. Все-таки, наверное, лучше человеку возиться с ерундой типа плетения циновок из морской травы, нежели вообще не делать абсолютно ничего.

Гораздо благотворнее для безработных деятельность НДБТ – Народного движения безработных трудящихся. Эта революционная организация сплачивает потерявших работу людей, помогает во время забастовок противостоять штрейкбрехерству, дает юридические советы относительно официальной Проверки средств. Движение возникло стихийно, усилиями и грошами самих безработных. Я много общался с его участниками и восхищаюсь активистами, столь же обтрепанными, недокормленными, как рядовая масса. Еще более меня восхищают их такт, терпение: уговорить бедняка, живущего на пособие, вносить хотя бы «пенс в неделю» нелегко. Английский пролетариат, как я уже говорил, не выказывает особых лидерских талантов, зато прекрасно умеет организоваться. Свидетельство тому все профсоюзное движение; великолепны и мужские рабочие клубы (по сути, славные, отлично налаженные кооперативные пабы), что так популярны в Йоркшире. Во многих городах НБДТ имеет свои помещения, устраивает выступления коммунистических ораторов. Жаль только, что приходящий туда народ просто сидит у печки да иногда играет в домино. Если бы еще взять кое-что от идеи обучения ремеслам, было бы совсем здорово. Жутко смотреть на искусных рабочих, год за годом тупеющих в беспросветном безделье. Обязательно надо придумать, как и каким полезным делом занять их руки, не сворачивая при этом на стиль безумно обожающих какао «молодых христиан». Необходимо также уяснить, что для нескольких миллионов англичан (если снова не полыхнет война) никогда в этой жизни не найдется настоящей работы. Но одно здесь и можно и нужно срочно предпринять – выделить каждому желающему огородный участок, бесплатно снабдив людей инвентарем. Позорно, что у мужчин, обреченных влачить существование на пособие, нет возможности хотя бы вырастить овощи для своей семьи.

В полноте проблема безработицы открывается лишь в промышленных областях. На юге это тоже существует, но не так плотно, не так неизбывно. Во множестве сельских местечек о безработных едва слышали, в южных городах не увидишь целые районы, населенные получателями социальной помощи. Только пожив на улицах, где все вокруг лишены работы, где вероятность ее получения видится равной шансу заиметь самолет и значительно меньшей, нежели выигрыш сотни фунтов в почтовом футбольном тотализаторе, начнешь улавливать перемены внутри нашего общества. А то, что некий сдвиг произошел, сомнений не вызывает. Положение беднейших пролетариев в корне отличается от ситуации, имевшей место семь-восемь лет назад.

Сам я впервые осознал проблему в 1928-м. Я тогда только что вернулся из Бирмы, где «безработица» была лишь словом, а уезжал я туда юношей, в период еще продолжавшегося послевоенного бума. И в первых встречах с безработными британцами меня просто сразило, что они *стыдились* своих горестных обстоятельств. Я очень мало знал, но, тем не менее, уже не мог тешиться представлением, будто в том случае, когда потеря иностранных рынков приводит к появлению двух миллионов безработных, эти два миллиона виноваты более персон, у которых не вышло «зачистить Калькутту». В те дни, надо заметить, никто не желал признавать неизбежность безработицы, поскольку это означало бы признание ее длительной перспективы. В средних классах по-прежнему толковали о «тянущих пособие лентяях», о том, что «захочешь найти работу, так найдешь», и подобное мышление, конечно, заражало самых пролетари-

[20] «Дейли Уокер» (*Daily Worker*) – ежедневная газета, орган Коммунистической партии Великобритании; выходила с 1930 по 1966 гг.

[21] Имеется в виду «Ассоциация молодых христиан» – религиозно-благотворительная организация, которая занимается популяризацией религии среди молодежи, содержит свои клубы, общежития и т.п.

ев. Помню собственное изумление, когда, узнав среду бродяг и нищих, я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на свою судьбу со скорбным недоумением, как звери, угодившие в капкан. Им просто было не понять, что приключилось. Они ведь созданы трудиться, а нате-ка! И поначалу неизбежно их мучило сознание деградации. Таково было самоощущение безработных – беда, свалившаяся лично на тебя и по твоей личной вине.

Когда вдруг четверть миллиона шахтеров остается без работы, среди них обязательно окажется и какой-нибудь неприметный житель Ньюкасла Арчи Смит. Арчи Смит – просто один из четверти миллиона, статистическая единица. Но человеку сложно воспринимать себя единицей статистики. И пока живущий напротив Берти Джонс продолжает работать, Смит не может не чувствовать себя позорным неудачником. Соответственно, то переживание бессилия и отчаяния, которое является едва ли не самым большим злом безработицы, – хуже любых тягот, хуже неотвратимо деморализующего безделья (еще хуже лишь физическое вырождение детей, растущих в семье безработного). Всякий, кто видел постановку пьесу Гринвуда «Любовь на пособии», помнит душераздирающий момент, когда хороший, несчастный и недалекий работяга бьется головой о стол с криком: «Боже, пошли мне хоть какую-то работу!». Не драматическое преувеличение – реальность. Такой крик, и наверно теми же словами, десятки, сотни тысяч раз звучал в английских домах за прошедшие пятнадцать лет.

Теперь, думаю, не звучит – по крайней мере, не так часто. Жизнь есть жизнь: что толку брыкаться? В конце концов, даже до среднего класса – о, даже до рыцарей бриджа в провинциальных городках! – доходит наличие такой штуки, как безработица. Совсем недавно рокотавшее за каждым благородным чайным столом: «Дорогой мой, не верю я во всю эту чепуху насчет безработицы. Ну отчего же мы буквально на прошлой неделе искали человека прополоть клумбы и не нашли? Работать они не желают – вот что!..» слышится уже реже. Что касается рабочего сословия, у него прибавилось знаний по части политэкономии. Думаю, немалую роль сыграла «Дейли Уокер», чье влияние растет пропорционально тиражу. Так или иначе, опыт освоен, и не только из-за масштабов безработицы, а по причине её длительности. Годами получая вспомоществование, люди свыкаются; неприятное ощущение остается, но стыд уходит. Как глубоко укорененный страх перед долгами ослаб благодаря системе покупок в рассрочку, так поколеблена старинная

боязнь потерять независимость, живя на подачки. На улочках Уигана и Барнсли я видел нужду всех сортов, но *осознанного* положения кормящихся за счет общества нищих наблюдалось меньше, чем десять лет назад. В народе уяснили, что с позорной безработицей ничего не поделаешь. Теперь не один Арчи Смит, теперь и сосед его Берти Джонс без работы, и оба уже давным-давно. Взгляд на вещи меняется, когда всем достается одинаково.

Итак, жителям целых регионов предстоит весь их, так сказать, жизненный срок существовать на госпособии. Одно, по-моему, здесь ободряет – пожалуй, даже обнадеживает, – люди, приняв это, не пали духом. В отличие от представителей среднего класса, рабочих нищета не пришибает до земли. Взять хотя бы тот факт, что пролетарий и будучи на пособии спокойно, с легким сердцем женится. Это, конечно, раздражает пожилых леди в Брайтоне, но доказывает присущий народу здравый смысл: людям ясно, что потеря работы вовсе не означает утрату человеческого естества. Так что определенным образом в районах экономического бедствия не столь ужасно, как могло бы быть. Жизнь там течет достаточно нормально, значительно нормальней, чем ты был вправе ожидать при данных обстоятельствах. Семейства обнищали, но традиция семейного дома прочна. Народ живет как бы сокращенной версией прежнего быта. Вместо гневной обиды на судьбу он притерпелся, понизив свои стандарты.

Кстати, понижение стандартов не обязательно идет за счет отказа от излишеств ради насущного, чаще как раз наоборот – путем, если задуматься, более органичным. За десятилетие экономической депрессии заметно вырос спрос на дешевую роскошь. Основное влияние, я полагаю, оказали два послевоенных фактора – кинематограф и массовое производство дешевой нарядной одежды. Юнец, подростком оставивший школу, временно служит где-нибудь посыльным, а к двадцати он становится безработным и, вероятно, на всю жизнь, но за пару фунтов в рассрочку можно купить себе костюм, который, если не приглядываться, словно сшит на Сэвил-Роу[22]. Девчонка и в платье за меньшую цену может смотреться, как картинка журнала мод. У вас никаких перспектив, для жилья только угол в сырой спальне и в кармане только три пенса, но, недорого прифрантившись, вы можете постоять на перекрестке, всласть предаваясь грезам, представляя себя Кларком Гейблом или Гретой Гарбо, что многое вам компенсирует. И даже дома обычно найдется

[22] Лондонская улица с дорогими ателье элегантной мужской одежды.

чашка чая («дивного чая с ароматом сказки»), и у отца, что сидит без работы восьмой год, периодически минуты счастья возле чайника с заваркой «элитного сорта, выведенного на специальных плантациях для русского цесаревича».

Послевоенная торговля должна была отреагировать на спрос оголодавшей, обносившейся клиентуры, так что излишества теперь почти всегда дешевле товаров первой необходимости. Одна пара надежной прочной обуви стоит столько же, сколько две пары шикарно отделанных штиблет. За цену одной порции плотной еды можно купить два фунта карамелек. Мяса на три пенса много не купишь, зато получишь гору «рыбы-с-чипсами». Пинта молока стоит три пенса, пинта даже «легкого» пива – четыре пенса, но аспирина дадут семь пакетиков на пенни, а пачки чая хватит для сорока чашек. И прежде всего, азартные игры – роскошество по самым низким ценам. Даже практически нищие, имея пенни на лотерею, могут приобрести несколько дней надежды («чтоб интерес был жить», как они выражаются). Игровой бизнес вырос чуть ли не в главную отрасль национальной индустрии. Скажем, почтовой футбольный тотализатор с годовым оборотом около шести миллионов фунтов, выкаченных преимущественно из пролетарских карманов. Мне случилось находиться в Йоркшире, когда Гитлер вновь оккупировал Рейнскую область. Но Гитлер, Локарно[23], фашизм и угроза войны едва мерцали на горизонте местных интересов, зато решение Союза футбольных клубов Англии заранее не объявлять календарь матчей (попытка подавить футбольные тотализаторы) ввергла население Йоркшира в пучину ярости. А еще диво современной электротехники, щедро дарящей свои фокусы публике с полупустым желудком. Можешь всю ночь дрожать из-за отсутствия теплого одеяла, но уж утром пойдешь в городскую библиотеку – прочтешь в газетах все новости, что для твоей забавы телеграфом присланы из Сан-Франциско и Сингапура. Двадцать миллионов людей недоедают, зато каждому англичанину доступно радио. Потерянное в нормальном питании нам восполняют электротехникой. Целые категории рабочих дочиста ограблены, народу действительно нужна компенсация, частью которой выступает доступный шик – блестящий лак на тусклых буднях.

Вас лично увлекает такой шик? Меня – нет. Но, возможно, установка, которую выбрал простой народ, есть лучшее, что эти люди могли

[23] Имеется в виду состоявшая в октябре 1925 года в Локарно (Швейцария) конференция ряда западноевропейских держав, подписавших Рейнский гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французских и германо-бельгийских границ и сохранении демилитаризованной Рейнской зоны.

сделать в сложившейся ситуации. Они не стали ни бунтарями, ни холопами, а просто сохранили себя, свое достоинство и успокоились, облюбовав стандарты «рыбы-с-чипсами». Бог знает, какова бы оказалась альтернатива, продлись в их среде настроение смертельной безнадежности. Это могло бы привести к восстанию, а бунт в столь твердо управляемой стране, как Англия, обернулся бы лишь морем крови и режимом диких репрессий.

Разумеется, послевоенный расцвет всякой грошовой роскоши сыграл на руку властям. И весьма вероятно, рыба-с-чипсами, чулки из искусственного шелка, консервные деликатесы, недорогой шоколад (пять плиточек за шесть пенсов), кино, радио, футбольный тотализатор и крепкий чай между делом предотвратили революцию. Нас даже порой уверяют, что все это коварнейший маневр правящих классов – своего рода версия «хлеба и зрелищ», дабы держать в повиновении толпы безработных. Однако мой опыт контактов с высшим классом не убеждает относительно его столь тонкой изощренности. Да, так случилось, но само собой – в процессе органичного взаимодействия рыночных целей и стремления полуголодных людей хоть чем-либо себя вознаградить.

6

Когда я был маленьким мальчиком, каждый семестр в нашу школу приезжал университетский историк, выразительно читавший очередную лекцию о знаменитых битвах при Бленхейме, Аустерлице и т. д. Лектор любил цитировать наполеоновский афоризм «армия сильна сытым желудком» и неизменно заканчивал выступление обращенным к аудитории вопросом: «Так что важней всего на свете?». Ожидалось, что мы хором крикнем: «Еда!», и если зал молчал, историка это разочаровывало.

Определенным образом тот лектор был прав. Человек, в первую очередь, емкость для пищи; прочие его деяния и таланты, возможно, ближе подобию Божию, однако все это уже как производное, а вначале еда. Да и впоследствии – покойного хоронят, его слова и дела забывают, но все им съеденное продолжает жить в здоровой или хилой плоти его детей. Думаю, есть основание поспорить, заявив, что смена рациона важнее смены монархических династий и даже религиозных верований. Например, без изобретения консервов вряд ли могла бы состояться мировая война. История Англии последних четырех веков была бы совершенно иной без появления в конце средневековья корнеплодов

и многих других овощей, а позже –разных безалкогольных (чай, кофе, какао) и спиртных напитков, к которым не привык пивший лишь пиво британец. Даже удивительно, как редко признается тотальное значение продовольствия. Всюду памятники политикам, поэтам, епископам, но умельцам коптить грудинку или выращивать томаты – никогда. Император Карл V, рассказывают, почтил монументом одного гения за рецепт ярмутской копченой сельди, однако кроме этого мне ничего подобного не вспоминается.

Так что важнейшим (если смотреть в будущее – действительно главным) пунктом относительно безработных является их рацион. Как уже говорилось, типичное семейство безработного имеет около тридцати шиллингов в неделю, отдавая примерно четверть суммы за жилье. Стоит детальней изучить расходную часть семейного бюджета. По моей просьбе безработный шахтер и его жена составили список их обычных еженедельных трат. Пособие этого шахтера составляло тридцать два шиллинга, на его иждивении кроме супруги были двое детей, малыш двух с половиной лет и девятимесячный младенец. И вот перечень расходов:

Наименование	Шиллинги	Пенсы
Арендная плата за дом	9	0,5
Клуб покупателей бонусной одежды	3	0
Уголь	3	0,5
Газ	1	3
Молоко	0	10,5
Профсоюзные взносы	0	3
Страховки (детские)	0	2
Мясо	2	6
Мука (16 фунтов)	3	4
Дрожжи	0	4
Картофель	1	0
Дрипинг	0	10
Маргарин	0	10
Бекон	1	2
Сахар	1	9
Чай	1	0
Джем	0	7,5
Горох и капуста	0	6
Морковь и лук	0	4
Овсяные хлопья	0	4,5
Мыло, порошки, синька и т. п.	0	10
Итого	**32**	**0**

Дополнительно к перечисленным продуктам от клиники Охраны детства им еженедельно выдавались три пачки сухого молока.

Теперь несколько комментариев. Сразу видно, что многое в список не вошло: соль, перец, уксус, сапожная вакса, дрова для растопки, бритвенные лезвия, предметы утвари или постельного белья взамен пришедших в негодность (называю первое, что вспомнилось). Любые деньги на это означали бы сокращение трат по какой-либо графе. Более серьезная статья расхода – табак. Хотя данный шахтер не был злостным курильщиком, на сигареты ему требовалось уж никак не меньше шиллинга в неделю, стало быть, еще минус из продовольствия. Дороговато обходится членство в «клубах покупателей бонусной одежды», организованных крупными торговыми фирмами во всех промышленных городах, однако без клубных скидок безработным вообще бы не купить себе новых вещей. Не знаю, существует ли возможность покупать через такие клубы и постельное белье, но у этого шахтерского семейства относительно простынь и наволочек наблюдался жуткий дефицит.

Итак, за вычетом расходов на табак и прочие «не продовольственные» нужды, здесь получается шестнадцать шиллингов пять с половиной пенсов. Оставим ровно шестнадцать и сбросим со счетов младенца, которого бесплатно снабжает сухим молоком Охрана детства. Шестнадцать шиллингов, чтобы неделю обеспечивать едой и топливом троих, ребенка и двух взрослых. Вопрос: возможно ли это даже теоретически? В период дебатов по поводу Проверки средств разгорелся омерзительный публичный спор насчет недельного прожиточного минимума. Сколько помнится, одна школа диетологов представила схему питания человека на пять шиллингов девять пенсов, а другая, более щедрая, – на пять и девять с половиной. После чего в газеты посыпались письма от множества персон, утверждавших, что они кормятся всего на четыре шиллинга в неделю. Приведу один такого рода недельный продуктовый бюджет (опубликован был в «Нью Стейтсмен», перепечатан в «Ньюс оф зе Уорлд»[24]):

Наименование	Количество	Шиллинги	Пенсы
Серый хлеб	3 буханки	1	0
Маргарин	0,5 фунта	0	2,5
Дрипинг	0,5 фунта	0	3

[24] «Нью Стейтсмен» (*New Statesman*) – еженедельный общеполитический журнал, отражавший взгляды правых лейбористов; «Ньюс оф зе Уорлд» (*News of the World*) – популярная газета бульварного толка.

Сыр	1 фунт	0	7
Лук	1 фунт	0	1,5
Морковь	1 фунт	0	1,5
Печенье (в остатках)	1 фунт	0	4
Финики	2 фунта	0	6
Сгущенное молоко	1 банка	0	5
Апельсин	1 штука	0	5
Итого		**3**	**11,5**

Обратите внимание на отсутствие расходной строки о топливе. Фактически автор сообщил, что не мог себе позволить покупку угля и дров и ел все продукты в сыром виде. Было это письмо подлинным или фальшивым, сейчас значения не имеет. Главным, я полагаю, сам этот образчик мудрого расходования средств – с необходимостью кормиться на три шиллинга и одиннадцать с половиной пенсов в неделю едва ли удалось бы изобрести более питательное меню. Приблизительно такой рацион и возможен для живущих на пособие по безработице, если действительно сосредоточится на самых необходимых продуктах, а не как-то иначе.

Однако сравните данный список с приведенным ранее бюджетом безработного шахтера. Шахтерское семейство тратит лишь десять пенсов в неделю на зеленые овощи, лишь десять с половиной пенсов на молоко (напомню, что в семье кроме младенца ребенок младше трех лет) и ни полпенни на фрукты, зато шиллинг и девять пенсов уходит на сахар (около восьми фунтов сахара!) и целый шиллинг – на чай. Два с половиной шиллинга на мясо *могли бы* обеспечить приготовленный домашним способом настоящий мясной кусок, когда бы вместо этого не покупалось банок пять говяжьей тушенки. Соответственно, в основе рациона белый хлеб с маргарином, мясные консервы, картофель и сладкий чай – кошмарное питание. Не лучше ли больше тратить на полезные продукты типа апельсинов или серого хлеба с отрубями, даже если, подобно автору письма в «Нью Стейтсмен», экономить на топливе и есть морковь сырой? Да, лучше, однако люди из народа никогда на это пойдут. Простой человек предпочтет голодать, только бы не питаться серым хлебом и сырой морковью. И специфическое зло: чем меньше денег, тем слабее влечение к здоровой пище. Миллионер способен наслаждаться завтраком из апельсинового сока и ржаных хлебцев, а безработный не способен. Тут вперед выступает та самая тенденция, о которой я говорил в конце предыдущей главы. Когда ты безработный – стало быть, недокормленный, измученный бедностью, тоской и скукой, – не тянет

тебя к унылому здоровому питанию, тебе хочется чего-то «вкусненького». Купим-ка на три пенни три пакета чипсов! Сбегаем, возьмем брикет мороженного за два пенса! Поставим чайник и выпьем по чашечке отличного крепкого чайку! Вот так работает сознание, когда сидишь на пособии по безработице. Сдобный белый хлеб с маргарином и сладкий чай здоровья совсем не прибавляют, зато они *приятнее* (так, по крайней мере, кажется большинству) серого хлеба с дрипингом и чистой воды. Безработица это бескрайняя ноющая горечь, которая постоянно нуждается в дозах болеутоляющего – особенно чая, опиума англичан. Чашка чая или хоть аспирин как временные стимуляторы гораздо эффективней, нежели пресный серый хлеб.

А результат налицо – физическая деградация, которую можно наблюдать воочию либо увидеть в цифрах демографической статистики. Показатели физических данных у обитателей индустриальных городов крайне низки, ниже чем у лондонских рабочих. Шагая по улицам Шеффилда, ощущаешь себя словно среди древних пещерных жителей. Шахтеры сложены великолепно, но они маленького роста, и та мускулатура, что обретается их трудом, отнюдь не передается по наследству их потомкам. Во всяком случае, характерные местные дефекты представлены вполне наглядно. Наиболее явный признак неполноценного питания – плохие зубы. В Ланкашире придется долго искать пролетария с хорошими, здоровыми зубами. Вообще свои зубы у взрослых людей тут увидишь нечасто, да и на детских зубах черноватая гниль, в чем, по-видимому, виноват дефицит кальция. Дантисты говорили мне, что здешний человек, после тридцати сохранивший хоть часть своих зубов, – аномалия. От разных жителей Уигана я слышал, что желательно все зубы повыдергивать как можно раньше. «Беда только с этими зубами», – уверяла одна женщина. В очередном доме, где я останавливался, жили пятеро людей, самому старшему было сорок три, самому юному – пятнадцать. Лишь у паренька еще имелись свои зубы и, с полной очевидностью, ненадолго. Что касается демографии крупных промышленных городов, тот факт, что общая смертность и смертность младенцев в беднейших кварталах всегда минимум вдвое превышает этот показатель в кварталах солидных обитателей, вряд ли требует комментариев.

Разумеется, не стоит напрямую связывать телесное несовершенство с безработицей индустриальных областей, ибо физическая форма англичан давно клонится к упадку по всей стране. Вывод этот не доказать статистикой, но к нему неизбежно ведут зрительные впечатления и в сельской глуши, и в процветающей столице. Во время похорон Геор-

га V, когда тело короля везли к Вестминстеру, мне, зажатому толпой, случилось пару часов простоять на Трафальгарской площади. Глядя вокруг, нельзя было не заметить поразительно чахлую наружность соотечественников. Окружала меня публика совсем не пролетарская – в основном, племя торговцев или коммивояжеров с вкраплением более зажиточного элемента. Ну и видок был у компании! Хилая плоть, бледные сероватые лица под хмурым лондонским небом! Трудно было отыскать глазами мужчину крепкого сложения или ладную женскую фигуру, и ни пятнышка свежего румянца на щеках. При появлении траурного кортежа все джентльмены сняли шляпы, и, как сказал стоявший на другой стороне Стрэнда мой приятель: «Единственным цветным пятном в картине зарозовели лысины». Мне показалось, даже гвардия в отряде, сопровождавшем королевский гроб, выглядела уже не так, как двадцать-тридцать лет назад. Где же восхищавшие меня в детстве гиганты с мощно выпяченной грудью и густыми усами, взлетавшими парой орлиных крыльев? Полегли, погребены в болотах Фландрии, я полагаю. Вместо них бледные юноши, выбранные в гвардейцы за свой рост и соответственно похожие на длинные жерди в мундирах (нынешний англичанин ростом более шести футов это кожа да кости с мизерной добавкой прочего телесного вещества). Отчасти, конечно, физическое вырождение есть следствие того, что Мировая война, отобрав миллион самых здоровых парней, выкосила их, в большинстве не успевших дать потомство. Но процесс, видимо, начался раньше благодаря нездоровому образу жизни, внедренному промышленной эпохой. Я не имею в виду «городской уклад» (во многих отношениях город создает условия лучше деревенских) – я о нынешней технике, снабжающей человека сплошными эрзацами всего на свете. В конечном счете, как мы видим, консервы – оружие губительнее пулеметов.

К сожалению, английские пролетарии (да и вообще все англичане) относительно еды проявляют исключительное невежество и расточительность. Я уже писал когда-то, насколько цивилизованнее относится к пище французский рабочий, и не могу представить в его доме обычного британского транжирства. Конечно, на кухнях самых нищих безработных мотовства не заметишь, но там, где появляется возможность небрежно выкинуть продукт, его частенько и выкидывают. Есть просто поразительные примеры такого рода. Даже обычай северных краев выпекать собственный домашний хлеб изначально несколько расточителен: у перегруженной заботами хозяйки нет времени печь хлеб чаще одного, от силы двух раз в неделю и нельзя знать заранее, сколько будет съедено,

а сколько пойдет на помойку, так что пекут с огромными излишками. Обычно разом выпекается шесть больших пшеничных караваев и двадцать булок. Все это в русле старинного широкого отношения к жизни – милое английское качество, но злосчастное в наши дни.

И всюду, насколько мне известно, хлеб из непросеянной муки английским простым людом отвергается; в пролетарских кварталах его и не купишь. Иногда эту неприязнь объясняют – мол, серый хлеб «с трухой». Подозреваю, истинной причиной является то, что серый хлеб путают с черным, который ассоциативно издавна связан с папизмом[25] и деревянными башмаками. (Хватает в Ланкашире и католиков, и деревянных башмаков. Жаль, черного хлеба больше нет!). На здоровую пищу англичанин, особенно простолюдин, морщит губу почти автоматически. Год от года растет число людей, предпочитающих рыбные или овощные консервы настоящей рыбе и настоящему горошку, и уже многие, кто могут купить к чаю настоящее молоко, охотнее покупают сгущенку – даже эту жуть из муки и сахара, на жестяных банках которой крупная надпись «ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НЕПРИГОДНО». Кое-где предпринимаются попытки научить безработных больше ценить полезные продукты и умнее тратить деньги. Как отнестись к подобным акциям? Тут разрывает двойственное чувство. Я слышал речь одного коммуниста, с трибуны яростно громившего все это. В Лондоне, говорил он, фаланги светских дам имеют наглость отправляться в Ист-Энд, дабы учить жен безработных правильно делать покупки. Оратор приводил этот факт как образчик мышления правящего класса: сначала приговорить семью к жизни на тридцать шиллингов в неделю, а потом с дьявольским нахальством поучать бедняков, как тем расходовать свои гроши. Сердцем я признаю – он прав. И все-таки обидно, что лишь по недостатку знания и воспитания люди глотают консервную пакость, качеством несравнимую с коровьем молоком.

Сомневаюсь, впрочем, что, хорошо усвоив уроки бережливости, человек без работы извлек бы много выгоды. Именно потому, что он *не* бережлив, пособия держатся на относительно высоком уровне. Государство дает безработному пятнадцать шиллингов в неделю, поскольку это минимальная сумма, позволяющая англичанину выжить. Будь он, скажем, индийским или японским кули, умеющим существовать на рисе с луком, то получал бы не пятнадцать шиллингов в неделю, а, если очень повезет, пятнадцать шиллингов в месяц. Хотя наши пособия и мизерны,

[25] Т.е. католицизмом, враждебно воспринимаемым пролетарским, в массе – протестантским, населением.

но определены для населения с весьма высокими запросами и весьма скудным понятием об экономии. А предположим, научился бы английский безработный управляться с деньгами, выказал бы свою расчетливость, – что ж, думаю, недолго бы ему осталось ждать значительного сокращения пособия.

Существенно облегчает жизнь северных безработных дешевизна топлива. В шахтерских краях цена за сто фунтов угля около полутора шиллингов, тогда как в южной Англии – два с половиной. Работающие на шахте вообще имеют право брать уголь по восемь-девять шиллингов за тонну и те из них, у кого в доме есть подвалы, иногда, сделав обширный запас, продают топливо (подозреваю – нелегально) безработным соседям. Кроме того, у безработных широко и постоянно практикуется кража угля. Я называю это «кражей» соответственно формальной стороне действия, хотя ущерба от него нет никому и никакого. В горах поднятого на поверхность шлака всегда есть обломки угля, и безработные часами выбирают его из отвалов. С утра до ночи бродит по этим странным серым холмам народ с мешками и корзинами; в любой час видишь людей, ползающих сквозь сернистый дым (насыпи шлака часто тлеют изнутри), принужденных выискивать там и сям крохотные угольные самородки. Встречаешь уезжающих, катящих на своих диковинных велосипедах (собранных из ржавого старья со свалки, без седел, без цепей, почти всегда без шин), поперек которых приторочены мешки с какой-нибудь полусотней фунтов угля – трофеем за день поисков. Во время забастовок, когда всем туго с топливом, шахтеры кирками и совками так перекапывают шлак, что некоторые холмы сплошь покрываются пещерами, а в периоды длительных забастовок шахтеры, найдя выход угольной жилы, на много ярдов углубляются под землю.

В Уигане у безработных шлак стал объектом столь жестокой конкуренции, что в местном обиходе появилось особенное состязание – «бой за уголь». На него стоит посмотреть; я даже удивляюсь, что это еще не сняли для кино. Знакомый безработный взялся показать мне весь процесс. Мы добрались до места, до гряды отвалов вдоль железнодорожной линии. Пара сотен людей в драном старье, у всех под полами пальто подвязаны мешки и отбойные молотки, ждали, стоя «на высотке» (гигантской куче шлака). Поднятый из шахты свежий шлак грузовиками доставляется к вершине очередного отвала. Суть «боя за уголь» состоит в том, чтобы попасть на этот движущийся автопоезд; шлак из грузовика, в который ты сможешь запрыгнуть на ходу, считается твоим. Вот показалась вереница машин – с диким воплем толпа ринулась вниз по откосу,

торопясь поймать грузовики на объезде холма. Даже на этом повороте машины шли со скоростью двадцать миль в час. Но народ прыгал и, уцепившись за кольца задних бортов, карабкаясь по бамперам, в кузова забирались по пять-десять человек. Водители внимания на это не обращали. Сгрузив шлак на гребне отвала, машины поехали обратно к шахте, откуда уже двигалась новая автоколонна. Вновь повторился бешеный пиратский натиск оборванцев. В конце концов, оба заезда проиграли не более полусотни участников.

Мы поднялись к вершине холма. Мужчины разгребали привезенный шлак, а их жены и дети, ползая на коленях, проворно шаря руками во влажной пустой породе, выискивали куски угля размером с яйцо или меньше. Какая-то женщина хищно цапнула маленький осколок, потерла его о передник, удостоверилась, что уголь, и заботливо опустила в мешок. Конечно, беря грузовик на абордаж, не знаешь, что он везет: может, просто камень из ходового штрека, а может, лишь глинистый сланец тоннельной кровли. Никакого угля в таком сланце нет, однако имеется другой горючий минерал, так называемый «кеннел» («кеннельский уголь»), который очень похож на сланец, только чуть темнее и наподобие шиферных сланцев легко колется параллельными слоями. Тоже топливо, коммерчески для добычи невыгодное, но достаточно сносное, чтобы задаром себе его разыскивать. И те, кому достались грузовики глинистого сланца, тщательно выбирали «кеннел», надкалывая молотками сомнительные куски. У подножья «высотки» неудачники двух сегодняшних боев за уголь подбирали скатившиеся крохи угля не крупнее лесного ореха, радуясь и такой поживе.

Мы оставались там до конца. За пару часов весь привезенный в тот день шлак был просеян до последней крошки. Затем, взвалив мешки на плечи или пристроив их к велосипедам, люди отправились в двухмильный обратный путь до Уигана. Большинство семей собрали фунтов по двадцать-тридцать угля или «кеннела», так что в общей сложности покража составила от пяти до десяти тонн топлива. Этот грабительский промысел в Уигане ведется ежедневно (по крайней мере, зимой). Занятие, разумеется, чрезвычайно опасное. В тот день все обошлось благополучно, но несколько недель назад один человек, попав под грузовик, лишился ног, а неделю спустя другому размозжило пальцы. Хотя всем ясно, что оставшийся в грудах шлака уголь просто пропадет, формально это все же воровство, и для порядка компании через суд систематически штрафуют каких-нибудь очередных грабителей, вот и тем утром местная газета сообщила о наказании двух незаконных сборщиков. Но меры

эти никого не трогают (один из названных газетой штрафников при мне спокойно продолжал рыться в отвале), а штрафы шахтеры оплачивают в складчину. Для всех дело понятное: должен же безработный откуда-то брать топливо. И каждый день сотни мужчин рискуют головой, сотни женщин часами роются в грязи ради мешка скверного топлива ценой меньше десятка пенсов.

Ярким воспоминанием о Ланкашире стоит перед глазами сцена: замотанная шалью коренастая женщина в дерюжным фартуке, в тяжелых черных башмаках, ползает на коленях по сырому грязному шлаку – на ледяном ветру старательно выискивает крохи угля. И люди вполне готовы так надрываться – зимой они на все готовы ради топлива: оно тогда едва ли не важней еды. А вокруг до самого горизонта гигантские конусы отвалов и вышки шахтных лебедок, и ни одна шахта не способна продать весь свой добытый уголь. Поневоле вспомнишь майора Дугласа[26].

7

По пути на север глазам, привыкшим к виду юга или востока Англии, огромная разница становится заметна только после Бирмингема. В Ковентри ты словно в лондонском Финсбери-парке, бирмингемский Бычий рынок мало чем отличается от рынка в Норидже, и между всеми городами центральных графств тянется та же садово-коттеджная цивилизация, что на юге. Только еще севернее, после «Гончарного округа»[27], перед тобой во всей красе возникает индустриальное уродство – уродство настолько дикое и жуткое, что его требуется, так сказать, переварить.

Шахтный террикон отвратителен уже своей никчемностью. В прямом смысле отбросы, выкинутые на землю, словно великан опрокинул помойное ведро. В предместьях шахтерских городов зловещие ландшафты, где горизонт вокруг перекрыт зубчатой стеной темно-серых отвалов, почва из грязи и золы, а над головой стальные тросы, по которым многие мили медленно тянутся вагонетки со шлаком. Шлак в отвалах часто загорается, ночами видны алые ручейки змеящегося по насыпям пламени и слабо тлеющие, будто исчезающие, но оживающие вновь и

[26] Дуглас, Клиффорд Хью (1879–1952) – британский военный инженер, ставший экономистом. Автор теории социального кредита, выступавший за справедливое распределение общественных доходов и против ростовщичества частных банков.

[27] «Гончарный округ» – Сток-он-Трент, известный производством посуды и керамики комплекс из шести городков между Бирменгемом и Манчестером.

вновь синие огоньки горящей серы. Даже когда пирамиды шлака оседают (что с ними рано или поздно происходит), то зарастают лишь дрянной бурой осокой и сохраняют кочковатую поверхность. Один такой осевший террикон, по виду вмиг окаменевшее бурное море, в трущобах Уигана служил детской площадкой, именуясь там «свалявшимся матрасом». Пройдут века, машины избороздят, перепашут места, где прежде шла угледобыча, но участки старинных шлаковых отвалов все еще будут различимы с самолета.

Помнится зимний день в кошмарных окрестностях Уигана. Вокруг лунный пейзаж насыпей шлака, а в просветах между этими, с позволения сказать, холмами ряды дымящих черным дымом фабричных труб. Вдоль канала полоса мерзлой угольной грязи, истоптанной подошвами горняцких башмаков, и всюду пятна «заливин» – залитых грунтовыми водами ложбин, образовавшихся вследствие просадки подрытой шахтами почвы. И жуткий холод. «Заливины» покрыты горчичного цвета льдом, лодочники на баржах замотаны мешками до самых глаз, шлюзовые ворота обросли гроздьями сосулек. Словно мир, изгнавший всякую растительность, – ничего кроме дыма, шлака, льда, золы, грязи и мутной воды. Но даже Уиган красив в сравнении с Шеффилдом. Шеффилд, я полагаю, справедливо мог бы претендовать на звание самого безобразного города Старого света (жители, жаждущие хоть чем-то всех превзойти, возможно выдвинут такое требование). В этом городе с полумиллионным населением приличных зданий меньше, чем в обычной, с пятью сотнями обитателей, деревне на востоке Англии. А тамошняя вонь! Если изредка отступает серное зловоние, то лишь потому, что его перебивает запах газа. Даже воды бегущей через город мелкой речки окрашены ядовитой желтизной из-за какой-то химии. Остановившись однажды на улице, я пересчитал имевшиеся в поле зрения фабричные трубы: их оказалось тридцать три, и удалось бы насчитать гораздо больше, развейся на минуту густая пелена дыма и копоти. Характерным ландшафтом отпечатался в памяти наводящий смертную тоску пустырь (пустыри там почему-то еще тоскливей лондонских). Абсолютно голый, ни травинки, замусоренный дрянью рваных газет и дырявых кастрюль участок, направо ряд угрюмых четырехкомнатных домов из закопченного до черноты красного кирпича, налево тающий в дымной мгле частокол бесконечных фабричных труб, позади засыпанная шлаком насыпь железной дороги, а прямо в центре пустыря куб ярко-желтой кирпичной постройки с вывеской «Томас Грокок, перевозка автотранспортом».

Ночью, когда ужасные строения не видны да и все прочее во тьме, города вроде Шеффилда приобретают некое зловещее великолепие. Розовыми и зеленоватыми клубами медленно плывет густой дым, из-под колпаков на трубах литейных заводов, словно огненные циркулярные пилы, вьется зазубренное пламя. Через открытые двери цехов видишь гибкие полосы раскаленного железа, с которыми лихо управляются облитые алым светом литейщики; слышишь свист, грохот паровых молотов и звонкие удары по металлу.

Что касается гончарных городков, они почти одинаково безобразны на свой манер. Прямо в шеренгах закопченных домишек, так сказать посреди улицы, торчат похожие на врытые в землю гигантские бутыли бургундского, дымящие трубами чуть не в лицо конические кирпичные печи для обжига керамики. А где-нибудь неподалеку обязательно увидишь чудовищно огромный (шириной в сотни футов и почти такой же глубины) глиняный карьер, по одной стороне которого рельсовый путь с тянущейся цепью маленьких ржавых вагонеток, по другой – рабочие, умело, как скалолазы, отбивающие на кручах плотный грунт. Я проезжал там в снежную погоду, и даже снег был совершенно черным. Лучшее, что можно сказать о гончарных городках, – они невелики и довольно компактны. Не отъехав и на десяток миль, ты уже среди нетронутой природы, и с холмов городки эти уже видятся лишь грязными пятнышками.

Раздумывая относительно подобного уродства, задаешься двумя вопросами. Во-первых, неизбежно ли? Во-вторых, важно ли?

На мой взгляд, индустриализация вовсе не предполагает непременной некрасивости. Фабрика или даже газовый завод не обязательно должны быть безобразнее дворца, собачьей конуры или церковного собора. Все зависит от типа архитектуры. Северные промышленные города столь неприглядны, ибо выросли в период, когда строительство не знало современных стальных конструкций и дымоочистных устройств, когда вообще всех слишком занимали барыши, чтобы думать о чем-либо еще. Уродливость там сохраняется в значительной степени из-за того, что северяне к ней привыкли, перестали её замечать. Множество жителей Шеффилда либо Манчестера, подышав воздухом корнуэльских утесов, вероятно, не обнаружат в нем особой прелести. Однако после войны промышленность начала распространяться все южнее, приобретая почти симпатичный вид. Типичная послевоенная фабрика – не почерневшие кирпичные бараки с нагромождением коптящих труб, но сверкающие сооружения из бетона, стали и стекла, окруженные зелеными лужайками и клумбами тюльпанов. Взгляните на заводские корпуса,

когда поездом отправитесь из Лондона по Западной магистрали: это, возможно, не шедевры зодчества, но уж конечно не кромешная жуть газовых заводов Шеффилда. Вместе с тем, хотя северное индустриальное уродство очевидно и вызывает протест каждого новоприбывшего, я сомневаюсь, что оно имеет первостепенное значение. Может быть, даже нежелательно изощряться в камуфляже объектов индустрии под что-то, чем они отнюдь не являются. Как верно замечено Олдосом Хаксли, тайная сатанинская мельница должна выглядеть именно тайной сатанинской мельницей, а не храмом прекрасных загадочных богов. Кроме того, и в худшем из промышленных городов многое по-своему живописно, выразительно. Коптящие трубы или зловонные трущобы отталкивают, главным образом, поскольку подразумевают исковерканные жизни и больных детей. С чисто эстетической точки зрения это может обладать определенным мрачным очарованием. Лично я обнаружил, что нечто донельзя странное, пусть даже одиозное, в итоге магически завораживает. Устрашавшая меня в Бирме природа стала таким навязчивым видением, что пришлось написать роман, дабы избавиться от наваждения (истинный предмет изображения всех романов о Востоке – восточный пейзаж). Нетрудно, видимо, по примеру Арнольда Беннета, обнаружить специфическую красоту угрюмых промышленных городов; легко представить, допустим, Бодлера, воспевающего шахтный террикон. Но безобразен или же красив индустриальный вид, это вряд ли существенно. Действительное зло гораздо глубже и оно неискоренимо. Вот это важно помнить при соблазне полагать чистенькое оформление индустриализации гарантией ее безвредности.

Только попав на промышленный север, осознаешь, что очутился не просто в незнакомой обстановке, но в иной стране. Отчасти из-за некоторых реальных различий, а более всего, из-за прочно вколоченной в нас антитезы *север – юг*. В Англии сложился примечательный культ «северности», с некоей «северной» вариацией снобизма. Приехавший в южное графство йоркширец непременно даст понять свое убеждение в превосходстве над тобой, южанином. И, если спросишь, он охотно объяснит, что лишь на севере жизнь «настоящая», труд «настоящий» и люди «настоящие», тогда как южный народ сплошь бездельники и паразиты, жирующие за счет северян. У северянина есть «твердость», он суров, угрюм, бесстрашен, добросердечен и демократичен, а южанин ленив, изнежен и тщеславен – в теории, по крайней мере, так. Соответственно, южанин появляется на севере с тем смутным ощущением ущербности, которое испытывает цивилизованный

турист, рискнувший оказаться среди дикарей, а йоркширец, как и шотландец, прибывает в Лондон с настроением варвара-завоевателя. Очевидная реальность на мифы, взлелеянные давней традицией, не влияет. Как малорослый худосочный англичанин ощущает себя выше и сильней Карнеры[28] («какого-то итальяшки!»), примерно таково и отношение северян к южанам. Помню, один тщедушный йоркширец, который почти наверняка пустился бы наутек от гавкнувшего фокстерьера, сообщил мне, что на английском юге он чувствует себя «яростным викингом». Благоговейный культ севера нередко усваивают даже те, кто родом из других мест. Несколько лет назад мой друг, родившийся и выросший на юге, но ныне проживающий на севере, вез меня на машине через Суффолк. Проезжая через весьма симпатичную деревню, он, глянув на дома, заметил:

– Поселки в Йоркшире, конечно, страшные. Зато там замечательные люди! А тут наоборот: селения хороши, да население – гниль. Во всех этих коттеджах народ никудышный, вконец испорченный.

Не удержавшись, я спросил, есть ли у него тут знакомые. Нет, никого он тут не знал, но жители Восточной Англии, естественно, являлись никудышными. И другой мой приятель, по рождению тоже южанин, никогда не упустит случая воспеть северный край в укор югу. Цитата из одного его письма:

«Живу я сейчас в Клитероу, в Ланкашире... буквально ощущаю волшебство здешних рек, катящих среди гор и вересковых пустошей, – не то что на жирном вялом юге. У Шекспира «тщеславно серебрится Трент»[29], а по мне южные реки значительно самодовольней».

Любопытный образчик культа севера. Не только вас, меня и прочих английских южан щелкнули по носу, припечатав «жирными и вялыми», –оказывается, даже вода на северных широтах из H2O вдруг превращается в нечто неизъяснимо дивное. Особенно интересно, что автор процитированных слов чрезвычайно интеллектуальный человек «передовых» взглядов, и национализм в привычных формах для него отвратителен. Скажи ему что-нибудь вроде того, что «один британец дороже трех иностранцев», он это с ужасом отвергнет. Однако в любом сопоставлении севера и юга вывод у него заранее готов. *Все* националистические схемы различий – все претензии на превосходство ввиду особой формы черепа или особого наречия – абсолютная фикция, реальна лишь

[28] Примо Карнера (1906–1974) – легендарный итальянский боксер-тяжеловес ростом более двух метров.
[29] Шекспир. Генрих IV. Часть первая, акт 3, сцена 1.

человеческая вера в них. И, без сомнения, англичане насквозь проникнуты убеждением, что народы, живущие южнее, – хуже; этим до некоторой степени руководствуется даже наша внешняя политика. Поэтому, я полагаю, стоит уточнить, когда и почему это возникло.

Когда национализм впервые сделался религией, британцы, заметив, что на карте их остров почти в самом верху северного полушария, развили лестную для себя теорию о разрастании добродетелей по мере топографического продвижения к северу. На уроках истории в начальной школе нам примитивнейшим образом объясняли, что холодный климат людей закаляет, а жаркий расслабляет, из чего закономерно выводилась победа Нельсона над Испанской армадой. Чушь относительно беспримерной энергии англичан (фактически самых ленивых европейцев) изрекалась и перемалывалась, по меньшей мере, целое столетие. «Нам посчастливилось, – вещал в 1827 году «Куотерли ревью»[30], – ибо лучше тяжко трудиться на нашей суровой земле, чем роскошествовать среди олив, виноградников и грязных пороков». Эти «оливы, виноградники и грязные пороки» ярко выражают типично британское отношение к латинским народам. В мифологии Карлейля или Кризи «северянин» («тевтонский», позднее «нордический» тип) это дюжий решительный парень с белокурыми усами и чистой душой, а «южанин» – трусливый аморальный лицемер. Хоть данная теория и не достигла логического завершения, когда бы следовало утверждать, что нет никого лучше эскимосов, она внедрила представление о том, что люди к северу от нас повыше качеством. Отчасти этим объясняется столь глубоко пропитавший за последние полвека английскую жизнь культ Шотландии и всего шотландского. Индустриализация нашего севера добавила антитезе *север –юг* особой специфики. Еще сравнительно недавно северная часть Британии была отсталой, феодальной, а промышленность концентрировалась в Лондоне и на юго-востоке. Например, в годы Гражданской войны XVII в. (упрощая до схемы: в бунте буржуазии против феодализма) за парламент воевал народ южных и восточных областей, а население северных и западных краев стояло за короля. Однако с развитием на севере угольной индустрии там выкристаллизовался новый социальный тип – тип делового, самостоятельно всего добившегося северянина (диккенсовские мистер Раунсвел, мистер Баундерби[31]). Северный бизнесмен с его гнусным кредо «пробивайся или выбывай» сделался центральной фигурой девятнадцатого века и, словно труп верховного владыки, он правит

[30] «Куотерли ревью» (*Quarterly reviewer*) – литературно-публицистический журнал, отражавший взгляды партии консерваторов.
[31] Персонажи романов Диккенса «Холодный дом» и «Тяжелые времена».

нами до сих пор. Это назидательно представленный, скажем, в романах Арнольда Беннета герой, который начинает, имея полкроны, а финиширует, нажив полсотни тысяч, – герой, чьей главной гордостью является не только сохраненное, но приумноженное в богатстве хамство. Присмотрись к нему, и единственным его достоинством окажется умение делать деньги. Но пусть это даже убогий, узколобый и неотесанный невежда, нас приучили восхищаться им: ведь он имел «твердость» и «преуспел» – иначе говоря, набил мошну.

Такие умильные восторги в наши дни абсолютный анахронизм, поскольку северные бизнесмены больше не процветают. Однако фактами привычку не разрушить, и доныне у нас в почете северная «твердость». По-прежнему жива идея, что северянин «пробьется» (наживется) там, где южанин спасует. В глубине души каждый приезжающий в столицу йоркширец или шотландец видится себе Диком Виттингтоном[32], который, начав карьеру уличным продавцом газет, увенчает ее постом лорд-мэра. Самонадеянности им, действительно, хватает. Только не следует думать, что это качество присуще подлинным пролетариям. Отправляясь несколько лет назад в Йоркшир, на слишком вежливый прием я не рассчитывал. Зная лондонских йоркширцев с их вечным резонерством и горделивой демонстрацией сокровищ родимой мудрости («вовремя разок пришить – после сто раз не чинить», так-то вот в наших краях говорят!), я был готов столкнуться с изрядной грубостью. Но ничего подобного не обнаружилось, и менее всего среди шахтеров. Горняки Йоркшира и Ланкашира проявляли сердечность и учтивость, даже смущавшие меня (порой до такой степени, что если и существует племя, чье превосходство я почувствовал, это шахтеры). Кстати, не прозвучало ни единой нотки презрения ко мне как уроженцу другой части страны. При том что британская региональная кичливость – национализм в миниатюре, стоит особо отметить: пролетариат снобизмом подобного сорта не увлекается.

Тем не менее, разница между севером и югом действительно есть; во всяком случае, есть доля правды в представлении о Южной Англии как об одном большом курорте с толпами барственных бездельников. По климатическим причинам сословие трутней, живущих дивидендами, предпочитает селиться на юге. В текстильных городах Ланкашира ты можешь месяцами не услышать «культурной» речи, тогда как в южных городах брось камешек, так непременно угодишь в племянницу епископа или иную благородную особу. Ввиду отсутствия подобных, задающих тон господ, на севере усвоение буржуазных вкусов хотя и происходит, но очень медленно. И, например, все северные диалекты упорно сохраняются, в то время как говор южан сдается под натиском кино и столичного радио. Соответственно, ты со своей «культурной» речью на севере воспринимаешься скорее чужеземцем, нежели заезжим барином, что дает огромное преимущество в задаче найти контакт с рабочим классом.

Реально ли, однако, по-настоящему сблизиться с пролетариями? К этой проблеме я еще вернусь, пока только замечу, что мой ответ здесь отрицательный. Хотя, несомненно, север больше располагает, приближает к равенству отношений. В шахтерской семье тебя без особых затруднений могут принять как домочадца; в семействе простого южного фермера это весьма маловероятно. Шахтеров я видел достаточно, чтобы не полагать их идеальными, но знаю: многому научишься в их домашнем кругу, было бы лишь желание. Главное, что твои классовые эталоны и предубеждения проверяются тут иной традицией, не обязательно лучшей, но совершенно другой.

Ну, например, характер родственных связей. В семьях рабочих та же спаянность, что в семействах среднего класса, зато гораздо меньше деспотизма. У пролетария не висит вечным жерновом на шее фамильный престиж. Я уже говорил, что личностей среднего класса бедность крушит вдребезги, и не в последнюю очередь благодаря родне, без устали ворчащей, изводящей беднягу, не способного «преуспеть». Достаточно очевидны умение рабочих объединяться и невозможность этого в сословии с иным пониманием семейного долга. Сильный профсоюз служащих среднего класса не создать, поскольку здесь у каждого жена, которая во время забастовок будет настойчиво склонять супруга плюнуть на стачку и постараться занять хорошее место его товарища. Пролетариям также свойственна (весьма стесняющая поначалу) прямота в разговоре на равных. Предложишь рабочему человеку нечто для него нежелательное, он там, где люди с воспитанием соглашаются из деликатности, так и отрежет – не хочу. А отношение к «образованию»: как отличается оно от нашего и насколько оно трезвей! Чья-то ученость, в общем, вызывает уважение пролетариев, но если дело касается их самих, всю «образованность» они видят насквозь и отвергают здоровым инстинктом. Было время, когда я печалился, воображая грустные сюжеты о парнишках, вырванных из школы, жестоко брошенных «трудиться». Подобный при-

[32] Согласно легенде (она связана с реально управлявшим британской столицей в конце XIVв. Ричардом Виттингтоном) служивший у лондонского купца нищий мальчик сбежал от хозяина, но, услыхав в колокольном звоне: «Вернись, Дик Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!», вернулся, и со временем пророчество колоколов исполнилось.

говор судьбы казался мне ужасным. Теперь-то я, конечно, понимаю, что в рабочей среде из тысячи подростков не найти одного, кто не мечтал бы поскорей бросить учебу. Нелепо же, на взгляд таких ребят, попусту тратить годы на чепуху вроде истории и географии, их тянет к реальному делу. Ходить в школу, когда ты почти взрослый, – для пролетариев это не по-мужски, попросту смехотворно. Вот еще выдумали: здоровенному малому, которому давно уж пора приносить деньги в семью, до восемнадцати лет бегать в школьном костюмчике и даже подвергаться порке за плохо приготовленный урок! Да чтоб рабочий парень позволял кому-то себя выпороть! Нет, он уже не сосунок, как некоторые. Эрнст Понтифекс из романа Сэмюеля Батлера «Путь всякой плоти», получив кое-какой реальный опыт, называет годы своей школьной и университетской учебы «тошной изнурительной гулянкой». С позиции рабочего люда, многое в привычном существовании средних классов выглядит изнурительным и тошным.

Домашняя обстановка у рабочих – я говорю не о семьях безработных, а о домах сравнительно благополучных – дышит такой уютной, честной, человечной атмосферой, какую с трудом обнаружишь где-то еще. Надо сказать, шансов жить счастливо работяга (если у него постоянное место и неплохой, «с приростом», заработок) имеет больше, чем человек «образованный». Домашняя жизнь у него налажена как-то естественней и симпатичней. Сцены в его жилище часто вызывали у меня ощущение некоей стройной завершенности, точнейшей сообразности. Особенно зимними вечерами, когда пылает огонь открытой плиты и блики пламени играют на стальном щитке. По одну сторону очага хозяин с подвернутыми рукавами рубашки сидит в кресле-качалке, изучает газетный отчет о скачках; по другую – хозяйка с шитьем на коленях, дети наслаждаются мятными карамельками, а пес поджаривает себе бок, развалясь на тряпичном коврике... Неплохо бы вот так, с условием, что у тебя не только это, хотя, пожалуй, и *этого* достаточно.

Подобные сценки реже, чем до войны, но все еще воспроизводятся во многих английских домах. Наличие их, главным образом, зависит от того, есть ли у хозяина дома работа. И эти уютные вечера семейства, которое, плотно закусив копченой рыбой и крепким чайком, блаженствует у горящего очага, принадлежат лишь нашему времени, нашей эпохе. Загляни в светлое будущее лет через двести: абсолютно все изменится; ни единой детали, наверное, не сохранится. Когда труд полностью будет машинным и каждый станет «образованным», едва ли хозяин дома останется тем же работягой с большими грубыми руками, которому

сидя в одной рубашке приятно восклицать: «Ух, на дворе-то прямо колотун!». Не будет и пылающего угля, только какой-нибудь невидимый обогреватель. А мебель будет из металла, резины и стекла. Газеты, если и останутся, то уж конечно без новостей о скачках: с ликвидацией бедности угаснет азарт игр на тотализаторе, и лошади исчезнут с лица земли. Собак по соображениям гигиены тоже перестанут заводить. Да и детей благодаря ограничению рождаемости станет гораздо меньше. Так будет в следующей эпохе, а заглянув в средневековье, увидишь столь же непохожий и словно чужестранный мир. Лачуги без окон, топка по-черному, дым ест глаза, заплесневевший хлеб, расстроенный желудок, вши, цинга, ежегодно по младенцу, дети мрут как мухи и священник пугает рассказами о преисподней.

Но вот ведь интересно – не триумфы современной техники, не радио, кинематограф, не пять тысяч новых романов ежегодно, не гигантские толпы на ипподроме «Аскот» или матчах в Итоне и Харроу[33], а именно сценки в простых скромных жилищах (особенно те, что случалось видеть еще до войны, когда Англия благоденствовала) побуждают меня считать наше время, в общем, довольно сносным для житья.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

Долог путь от Мандалая[34] до Уигана, и сразу не понять, чем объясняется такой маршрут.

В предыдущих главах я кратко описал свои впечатления от Йоркшира и Ланкашира. Поехал я туда отчасти потому, что хотел вживе изучить худший вариант массовой безработицы, отчасти из желания узнать среду наиболее пролетарской части английских рабочих. Для меня, моего подхода к идеям социализма важно убедиться в искренности своих политических пристрастий, то есть самому решить, терпимо или нетерпимо существующее положение дел, и выработать личную позицию по страшно трудной классовой проблеме. Так что необходимо сделать от-

[33] «Аскот» – ипподром близ Виндзорского дворца (загородной королевской резиденции), где ежегодно проходят знаменитые четырехдневные скачки; Итон и Харроу – самые привилегированные из английских частных закрытых средних школ.

[34] Мандалай – крупнейший город на севере Бирмы, где Оруэлл в молодости служил офицером Имперской полиции.

ступление, пояснив, как формировались мои взгляды. Естественно, потребуется изложить кое-что из собственной биографии, чего я не стал бы касаться, если б не полагал себя достаточно типичным для своего сословия и свой случай довольно показательным.

По рождению я принадлежу к общественному кругу, который можно обозначить как низы верхов среднего класса. Тех невысоких верхов, что под знаменем Киплинга волной поднялись в последней трети девятнадцатого века и рухнули с отливом викторианского процветания. Впрочем, лучше обойтись без метафор, а просто указать слой населения с годовым доходом от трех сотен до двух тысяч и уточнить: мое семейство тут держалось довольно близко к нижнему пределу. Шкала по цифрам дохода удобна ввиду ее наглядности и внятности. Но относительно британской классовой системы весьма существенно, что деньги определяют в ней отнюдь не все. На вид элементарная, наша финансовая иерархия пронизана ветвистой кастовой структурой (вроде старинных призраков, витающих и в современных хлипких домах). Соответственно, есть такие верхи среднего класса, коим выпало жить, вернее влачить существование, на триста фунтов в год – деньги гораздо меньшие, чем у середняков среднего класса без лишних социальных амбиций. Вероятно, имеются страны, где легко угадать воззрения человека, исходя из его дохода, но в Англии подобная прямая связь не гарантирована; в Англии первостепенно выяснить личную установку. У морского офицера и его бакалейщика доход, вполне возможно, одинаковый, однако это люди разных взглядов, и вместе они могут оказаться только в крайних ситуациях типа войны или всеобщей стачки, да и тогда совсем не обязательно.

Разумеется, сейчас ясно, что «верхне-среднему» слою конец. В каждом сельском городке на юге Англии, не говоря о тоскливых лондонских окраинах, вымирают его последние представители, познавшие дни славы, а ныне лишь глухо ворчащие на мир, который перестал вести себя как должно. Стоит мне открыть томик Киплинга или войти в шикарный торговый пассаж, куда когда-то так любила ходить эта публика, как в голове всплывает: «Перемену и гибель во всем вижу я»[35]. Перед войной человек этого слоя, пусть даже не слишком преуспевающий, все еще чувствовал себя уверенно. Перед войной ты был либо джентльмен, либо нет, и если джентльмен, так изо всех сил, невзирая на сумму дохода, тянулся соответствовать. Широкий пролив отделял

[35] Из англиканского псалма Генри Лайта «Пребудь со мной»

имевших четыре сотни в год от тех, кто имел пару тысяч или хоть тысячу, но джентльмен с жалкими четырьмя сотнями упорно пытался не замечать водораздел. А знаком приобщения к верхам среднего класса являлась стойкая традиция всячески избегать занятий, сколько-то связанных с коммерцией, – здесь полагалось служить по военной или чиновной части, или трудиться в какой-то другой достаточно престижной (скажем, культурной) сфере.

Землей люди такого слоя не владели, но ощущали себя земельной знатью от Бога, предпочитая набор благородных джентльменских профессий вульгарной торговле. У мальчиков было в обычае над тарелкой с десертом гадать о своем будущем, считая изюминки пудинга с припевом: «Солдат, моряк, юрист, священник, медик» (кстати, поприще «медика» явно уступало всем перечисленным и добавлялось, главным образом, для благозвучия). Принадлежать этому социальному кругу, когда у тебя только четыре сотни годовых, штука сомнительная, ибо твой аристократизм тут почти исключительно в теории. Жить приходится как бы на двух уровнях. Теоретически ты полностью осведомлен о том, как держать слуг, как давать чаевые, хотя практически в редчайших случаях имеешь больше одной домашней прислуги. Теоретически досконально известно, как надо одеваться и как заказывать обед, хотя на практике ты никогда не можешь пойти к приличному портному или в приличный ресторан. Теоретически ты знаешь, как охотиться верхом, хотя отроду не владел ни лошадью, ни дюймом охотничьих угодий. Понятно, чем привлекала Индия (а прежде Кения, Нигерия и пр.) людей «верхне-среднего» слоя. Служить в колониях уезжали не наживаться (ради денег в чиновники или военные не идут), а потому что в Индии, с тамошней дешевизной лошадей, охоты и множества смуглых слуг, так просто было исполнять роль джентльмена.

Надо сказать, в убого-благородных семьях, о которых идет речь, бедность осознается и переживается много сильнее, чем в домах рабочих с заработком чуть выше сумм пособия. Счета за жилье, одежду, школу преследуют вечным кошмаром, и всякое излишество, даже какая-нибудь кружка пива, считается недопустимым расточительством. Фактически все деньги уходят на соблюдение приличий. Ясно, что люди этого разряда существуют в ложном положении, но, будь их относительно немного, проблему можно было бы не замечать. Однако же число их велико. Это большинство священников и педагогов, почти вся братия чиновников англо-индийской администрации, легион флотских и армейских офицеров, изрядное количество специалистов

и людей искусства. Реальное значение данного слоя – амортизация буржуазной машины. Для истинной, богатой буржуазии солидные капиталы, словно дамбы между ней и ограбляемой ею народной массой. С низшими сословиями респектабельный богач соприкасается лишь в лице мелких клерков, прислуги или коммивояжеров. Иная ситуация у низов буржуазной верхушки. Вот они – те, что изощряются благородно существовать на деньги, равные пролетарским доходам, – вынуждены достаточно тесно, порой вплотную контактировать с рабочим классом, и, я подозреваю, именно от них идет традиционное отношение верхов к «простому» люду.

И каково же это отношение? Отношение ироничного превосходства с припадками бурной ярости. Перелистайте любой номер «Панча»[36] за последние тридцать лет. Всюду образ рабочего человека – типаж сугубо комический; исключения составляют моменты, когда рабочий обнаруживает признаки чрезмерной успешности и тогда из забавного увальня-недотепы превращается в жуткого демона. Обличать подобный взгляд на пролетария толку мало. Полезнее выяснить, как такое возникло, и приблизить снобов к пониманию того, что выглядит пролетарий не смешней, не ужасней их самих, только у него свои устои и привычки.

Что касается убого-благородных семейств, они в положении семьи белых, проживающих в негритянском квартале. Тут уж приходится цепляться за свои джентльменские замашки, поскольку ничего иного не имеется, а тем временем всем соседям противны твой задранный нос, твоя культурная речь, твоя благовоспитанность – приметы ненавистного начальства.

Мне было совсем немного лет, не более шести, когда я узнал насчет классовых различий. До того героями моими являлись как раз рабочие люди: ведь они – кузнецы, рыбаки, каменщики – занимались необычайно интересными делами. Помню работников фермы в Корнуолле, которые устраивали мне катание на огородной сеялке, а иногда, поймав и подоив овцу, поили меня парным молоком. И каменщиков, возводивших рядом дом, дававших мне возиться со строительным раствором; бравых парней, от которых я подхватил первое для себя непристойное словечко. И жившего неподалеку слесаря, с детьми которого я убегал разорять птичьи гнезда. Но вскоре играть с детьми слесаря мне запретили, вообще велели держаться подальше от «простых» ребят. Ну да, это снобизм, если хотите, однако и необходимость, так как культурная семья

[36] «Панч» (*Punch*) – популярный еженедельный сатирический журнал консервативного направления.

среднего класса не может допустить, чтобы ее ребенок рос вместе с детьми малограмотных невежд. Так, очень рано, рабочее сословие перестало быть прекрасным дружественным племенем, сделавшись племенем врагов. Чувствуя чью-то неприязнь и не умея понять ее причины, мы, естественно, объясняем ее чистой зловредностью. В детстве мне, как почти всем детям нашего круга, «простые» люди виделись существами даже не совсем и человеческими. Наружность у них грубая, язык ужасный, ведут они себя по-скотски, всякого, кто не из них, ненавидят и только ждут случая нагло оскорбить, – таково было наше представление о них. Ложное представление, но вполне ясное для нас.

Здесь еще надо помнить, что перед войной классовая ненависть в Англии проявлялась гораздо откровенней, чем сейчас. В те годы можно было нарваться на оскорбление просто за свой вид представителя высших сословий; теперь такой вид побуждает, скорее, заискивать. Всем, кому больше тридцати, памятны времена, когда прилично одетому человеку нельзя было показаться в бедняцком квартале без того, чтобы его не обругали. Целые городские районы считались опасными из-за «хулиганов» (почти исчезнувший ныне тип), и лондонские трущобные мальчишки, с их пронзительным криком и дикарским нахальством, могли отравить жизнь любому, кто считал ниже своего достоинства огрызаться в ответ. Постоянным кошмаром моих дней дома, на школьных каникулах были мальчишеские банды «хамов», способных впятером, вдесятером напасть на одного. В учебное время[37] случалось, однако, и нам оказаться в большинстве, а «хамам» – в положении гонимых; помню парочку зверских баталий холодной зимой 1917-18. Традиция открытой вражды верхов и низов тогда насчитывала уже не меньше столетия. Характерная карикатура в «Панче» шестидесятых годов девятнадцатого века: хиленький, щупленький джентльмен, нервно озираясь, едет верхом по трущобной улице, а ватага мальчишек, кольцом окружив его, орет: «Гляди, раздулся как! Пугнём его конягу!». Представить только уличных мальчишек, что стали бы пугать его лошадь сегодня! Сегодня, надо думать, они вились бы вокруг в смутной надежде на чаевые. За последнюю дюжину лет английский пролетариат стремительно набрался раболепия. Неудивительно: угроза страшной безработицы заставит присмиреть. Перед войной, хотя пособий не платили, но мест, в общем, хватало, полновластье боссов не было столь отчетливым и в материальном отношении рабочий был относительно независим.

[37] То есть в закрытой частной школе, учащиеся которой враждовали с местными деревенскими подростками.

Особой беды от того, что надерзишь какой-то «шишке», ему не виделось, он и дерзил во всякой безопасной для себя ситуации. По мнению Г. Ж. Ренье, автора книги «Оскар Уайльд», сопровождавший суд над Уайльдом взрыв оголтелой народной ярости имел, по сути, социальную основу: «Подловив представителя высших классов, лондонская чернь заставила его попрыгать». Все это логично и даже естественно. Если обращаться с людьми так, как на протяжении двух столетий обращались с английскими рабочими, следует ожидать, что они обидятся. Впрочем, и отпрысков убого-благородных фамилий трудно винить за ненависть к пролетариям, которые для них олицетворялись хищно бродившими поблизости шайками юных «хамов».

Имелась и другая огромная сложность. Здесь мы приближаемся к разгадке глубинного социального противостояния на Западе – к действительной причине того, почему воспитанный в буржуазной среде европеец, даже называя себя коммунистом, без специального напряжения не способен воспринять пролетария равным себе. Это сформулировано четырьмя зловещими словами, которых теперь стараются не произносить, но которые во времена моего детства употреблялись довольно свободно. А формула такая: «низшие классы дурно пахнут».

«Низшие классы дурно пахнут» – вот что было нами накрепко усвоено. Барьер, похоже, непреодолимый. Никаким чувствам приязни и неприязни не сравниться по силе с укорененным *физическим* ощущением. Можно преодолеть национальную вражду, религиозную рознь, разницу в образовании, характере, интеллекте, но физическое отвращение – невозможно. У тебя может возникнуть симпатия к убийце и маньяку, только не к человеку с запахом, просто скверным запахом изо рта. Как бы ты ни желал ему добра, как бы тебя ни восхищали его душа и ум, втайне ты будешь брезгливо содрогаться от его зловонного дыхания. И если юношу растили, постоянно внушая, что работяги сплошь темные, ленивые пьяницы и мошенники, это еще ничего, но если мальчик вырос с убеждением в органичной нечистоплотности пролетарского населения, пагубное дело сделано. Нас приучили твердо верить: *они* – вонючие грязнули. А когда с раннего детства въелась некая подспудная гадливость, живое чувство потом вряд ли переучишь. Ребенком ты смотрел, как здоровенный потный землекоп шагает по дороге с лопатой на плече, разглядывал его линялую рубаху и заскорузлые от грязи плисовые штаны, представлял мерзкие сальные тряпки его нижнего белья и под ним немытое тело, целиком темно-бурое (именно таким оно мне виделось), шибающее резким душком, как от копченой свинины. Ты видел бродягу,

присевшего отдохнуть в канаве и снявшего башмаки, – ф-фу! До тебя, конечно, не доходило, что и бродяге его грязные ноги не в радость. И даже те из «низших классов», чья опрятность сомнений не вызывала (прислуга, например), все-таки слегка отвращали. Запах их пота, сама фактура их кожи неясно чем, но чем-то неприятно отличались.

Вероятно, каждому, выросшему в доме с ванной и приученному не комкать слова, знакомы подобные чувства – чувства, которые глубокой пропастью разделяют на Западе верхи и низы общества. Странно даже, насколько редко это признается. Пока что мне встретился лишь один текст, где об этом сказано без уверток: эпизод из книги Сомерсета Моэма «На китайской ширме». Мистер Моэм описывает прибытие на постоялый двор важного китайского чиновника, который разражается неистовой бранью, дабы сразу внушить всем, что среди жалких червей явилась сановная особа. Однако совсем скоро, утвердив свой высокий ранг должным, по его мнению, образом, сановник вполне дружелюбно усаживается поболтать у стола с простым носильщиком. Как высокое должностное лицо он чувствует необходимость произвести соответственное впечатление, но у него нет чувства, что нищие кули сотворены из другой глины[38]. Подобные сцены я наблюдал в Бирме сотни раз. У народов монголоидной расы (вообще, насколько мне известно, у всех азиатов) имеется врожденное сознание какого-то естественного равенства, природной близости между людьми, что просто невероятно на Западе.

«На Западе, – пишет далее мистер Моэм, – нас отделяет от собратьев обоняние. Хотя английский пролетарий – наш несколько деспотичный вождь и учитель, этим не отменяется идущий от него душок. И как иначе: на рассвете, когда с гудком торопишься поспеть на свой завод, не до тщательного мытья, а тяжкий физический труд не ароматен, а белье можно поменять не чаще, чем сварливая женушка управится с еженедельной стиркой. Я не виню рабочего за его запашок, но запашок присутствует. И это сильно затрудняет социальное общение человеку с чуткими ноздрями. Утренняя ванна делит общество на классы более эффективно, нежели рождение, воспитание и благосостояние».

Ну а действительно ли *пахнут* «низшие классы»? В целом, разумеется, они пахучее высших сословий. Естественно, учитывая обстоятельства их жизни, если даже сегодня ваннами снабжено менее половины английских домов. Кроме того, мода на полное ежедневное мытье в

[38] Речь о рассказе «Демократия» из сборника эссе С. Моэма «На китайской ширме»

Европе завелась совсем недавно, а пролетарии в своих привычках всегда консервативнее буржуазии. Хотя опрятность англичан явно возрастает, и есть надежда, что через сотню лет все они будут чисты почти так же, как японцы. Но зря любители идеализировать пролетариат, полагая необходимым восхвалять каждую его черту, пытаются и неряшливость причислить к пролетарским достоинствам. Любопытно, что здесь иногда рука об руку выступают социалист и честертоновского толка сентиментальный католик-демократ, дружно уверяющие, что грязь здоровей и «натуральнее», а чистота лишь прихоть, в лучшем случае – роскошь. (Согласно Честертону, грязь это просто некий «дискомфорт» и потому является для христианина своего рода добровольным подвигом смирения. К несчастью, претерпевать эти подвиги приходится и людям не столь правоверным. А ходить грязным действительно некомфортно; почти так же ужасно, как принимать зимним утром холодную ванну). Подобным радетелям пролетариата, видимо, не понять, что своими аргументами они лишь подтверждают: трудовой люд не вынужден, а склонен жить в грязи. На деле человек, имеющий возможность принять ванну, обычно это делает. Существенен, однако, вот какой пункт: люди из среднего класса уверены не только в том, что пролетарий вечно ходит чумазым и в несвежем белье (вышеприведенная цитата свидетельствует о подобном мнении и мистера Моэма), но хуже – в том, что грязен он как-то *природно*, изначально. В детстве одной из самых страшных вещей мне представлялась необходимость пить из бутылки после работяги. Однажды тринадцатилетним мальчиком я ехал в поезде из рыночного городка, вагон третьего класса был битком набит распродавшими свою живность местными свинарями. Кто-то достал, пустил по кругу кварту пива; бутыль переходила от одного рта к другому, к третьему, и каждый отхлебывал глоток. Не могу описать ужас, нараставший во мне по мере приближения той бутыли. Если настанет и моя очередь глотнуть из горлышка, побывавшего в *их* губах, меня, я чувствовал, непременно стошнит; с другой стороны, если предложат, я не осмелюсь отказаться из опасения оскорбить этих людей. Типичная дилемма буржуазного чистоплюя. Теперь-то, слава богу, таких мук я не испытываю. Тело рабочего человека отталкивает меня не больше, чем плоть миллионера. Мне по-прежнему не нравится пить из стакана после других (точнее говоря – других мужчин; относительно женщин я не против), но вопрос классовых различий тут абсолютно ни при чем. Походы плечом к плечу с бродягами излечили меня от социальной привередливости. Кстати, бродяги, хоть их в Англии привыкли называть «грязными», вовсе не

столь уж и грязны. И когда ночуешь рядом с ними, пьешь с ними чай из одной закопченной жестянки, вещи, казавшиеся раньше жутью, ничуть тебя не ужасают.

Я подробно останавливаюсь на этих моментах, ибо они жизненно важны. Чтобы перебороть привычку делить людей на классы, сначала надо выяснить, как сословия проявляются в глазах друг друга. Клеймить представителей буржуазии «снобами» и на том ставить точку бесполезно. Далеко не продвинуться без понимания, что снобизм связан с определенного рода идеализмом, идущим от воспитания, при котором ребенку практически одновременно внушается необходимость мыть шею, готовность умереть за родину и презрение к «низшим классам».

Мне скажут, что я отстал от времени, что нынешних детей растят в системе более гуманных воззрений. Возможно, классовое чувство сегодня видоизменилось, утратив прежнюю ожесточенность. Не скрывавший своей неприязни пролетарий ныне вежлив и услужлив; дешевая одежда и общее смягчение нравов несколько затушевали внешние различия. Но импульс сокровенных чувств, конечно, не исчез. В каждом представителе буржуазных кругов дремлет социальное предубеждение, готовое встрепенуться от любой мелочи, а если это человек за сорок, то он почти наверняка уверен, что его класс принесен в жертву рабочей массе. Сообщи джентльмену (не из интеллектуалов), который бьется соблюсти приличия на четыре-пять сотен в год, что он принадлежит к классу паразитов-эксплуататоров, он сочтет тебя сумасшедшим. Абсолютно искренне он укажет дюжину позиций, где материально ему далеко до пролетариев. Рабочие в его глазах отнюдь не племя угнетаемых рабов, – это свирепый морской вал, грозящий смыть его самого, всех его родных и близких, всю культуру и благопристойность. Отсюда боязливая тревога, как бы пролетарий не стал чересчур процветающим. В номере «Панча», вышедшем вскоре после войны, когда угольная отрасль еще была на подъеме, помещен примечательный рисунок. Пятеро шахтеров с угрюмыми, страшными физиономиями катят в дешевом автомобиле; стоящий у обочины приятель, окликнув, спрашивает, где они раздобыли такой шик, и в ответ: «А чего, купили!». Надо же как смешно, какой юмористический сюжет: шахтеры, покупающие автомобиль, пускай один на пятерых, – да это ведь чудовищно нелепо, вопреки всем законам естества. Таков был буржуазный взгляд десяток лет назад, и никаких свидетельств его коренного изменения я не вижу. Представление, что рабочий класс до крайности избалован, безнадежно развращен системой пособий, пенсий по старости, доступным обра-

зованием и т.д., до сих пор весьма популярно и лишь едва поколеблено недавним признанием наличия безработицы. Для многих (в старшем поколении для подавляющего большинства) типичные рабочие остаются отпетыми ловкачами, которые ездят на биржу труда на мотоциклах, в построенных им ваннах хранят уголь и «ах, вы не поверите, мой друг, они с этим своим пособием еще и женятся!».

Классовая ненависть сегодня кажется почти потухшей, так как о ней практически не пишут в прессе; не пишут отчасти из-за воцарившегося стиля медовой фальши, отчасти потому, что газеты и даже книги должны теперь учитывать пролетарских читателей. Вопрос, как правило, анализируется, обсуждается в частных беседах. Но если все же обратиться к публикациям, имеет смысл узнать «особое мнение» покойного профессора Сентсбери[39]. Сентсбери был человеком очень знающим, порой выступал с дельной литературной критикой, но в разговоре о проблемах экономики или политики он отличался от братьев по классу только своей непрошибаемостью и верностью временам, когда еще не виделось причин подстраивать свой голос под хоровой благостный тон. Согласно Сентсбери, социальное страхование безработных просто «благотворительная помощь нерадивым лентяям», а профсоюзное движение не более чем вариант организованного нищенства:

«Почему нынче едва ли не законом запрещено говорить «попрошайка»? – вопрошал он. – Разве *быть попрошайкой*, то есть полностью или частично существовать за счет других людей, не сделалось пылким и довольно успешным стремлением значительной доли населения и целой политической партии?»

Сентсбери, следует отметить, все-таки признал наличие безработицы. Он даже полагал ее необходимой и на столь долгий срок, сколь сможет вынести народ, лишенный рабочих мест:

«Разве форма временного, по потребности, рабочего найма не является невидимым предохранительным клапаном, регулятором здоровья во всём механизме трудовых отношений? ... В сложной производственно-финансовой структуре постоянная занятость с регулярной зарплатой невозможна, но безработица с гарантией пособий, сумма которых близка реальным заработкам, несет деморализацию, вслед за тем – разрушение и скорый конец».

Что делать рабочим, для которых не найдется никаких «форм временного найма», не сказано. По-видимому (Сентсбери весьма одобрительно оценивал старинные «Законы о бедных»), им придется идти в Работный дом или же ночевать на улицах. Тезис о том, что у каждого должно быть право на получение хотя бы минимальных средств к существованию, Сентсбери презрительно отверг:

«Даже «право на жизнь» ... не простирается далее права на защиту от убийства. Разумеется, будет благотворительная помощь, будет, надо надеяться, нравственный долг, возможно, к этим средствам поддержки малоимущего населения следует добавить ряд государственных коммунальных услуг, но все это вряд ли требует юридической строгости. Что касается безумной доктрины относительно каких-то прав каждого уроженца страны на владение ее фондами, подобный вздор, пожалуй, вообще не достоин внимания».

Изящная логика последнего пассажа представляет определенный интерес. Подобного рода фразы рассеяны по всей статье Сентсбери и во множестве украшают его прежние печатные труды. Чаще люди стесняются так изъясняться на бумаге, но Сентсбери громогласно высказывает мысли тихонь, затаившихся при своих безопасных пяти сотнях в год, и тем даже внушает невольное восхищение. Крепкое надо иметь нутро, чтобы открыто являть себя таким мерзавцем.

Это позиция известного реакционера. А как насчет «прогрессивно» мыслящей персоны из среднего класса? Сильно ли отличается лицо такого прогрессиста под революционной маской?

Некий выходец из буржуазного сословия принимает идеи социализма, возможно даже вступает в партию коммунистов. И что меняется реально? Ему надо зарабатывать на жизнь, и нельзя упрекать его, если в условиях капиталистического общества он не желает терять буржуазный материальный уровень. Но происходит ли переворот в его привычках, вкусах, манерах и представлениях – в его, на коммунистическом жаргоне, «идеологии»? Какие перемены совершаются, за исключением того, что голосует он теперь за лейбористов или даже коммунистов? Попрежнему крепки его связи с родным сословием. С людьми своего круга, где он слывет опасным большевиком, ему значительно уютнее, нежели с единоверцами из пролетариев. Его пристрастия в сфере гастрономии, гардероба, литературы, живописи, музыки, балета по-прежнему вполне буржуазны, и – самое показательное – женится он всегда на девушке своего же происхождения. Взгляните на любого такого социалиста. Вот, например, товарищ Икс, автор «Марксизма для младенцев». Товарищ Икс, так уж случилось, выпускник Итона. Он, разумеется, готов погибнуть на баррикадах, речи его сомнений в этом не оставляют, однако

[39] Сентсбери, Джордж (1845–1933) – историк литературы, профессор Эдинбургского университета

нижняя пуговка на жилете неизменно расстегнута, дабы не стеснять изрядное брюшко. Пролетариат для него абсолютный идеал, но удивительна его невосприимчивость к привычкам трудовых низов. Однажды он, возможно, лихо подымил самокруткой, но ему почти физически невозможно есть сыр с ножа, сидеть в помещении с кепкой на голове или пить чай из блюдца. Я знавал множество социалистов из буржуазной среды, часами слушал их тирады, громящие буржуазию, однако не встретил ни единого, кто усвоил пролетарские манеры за столом. А почему бы нет? Отчего бы, полагая пролетария кладезем всех добродетелей, не бросить церемонии и не позволить себе от души почавкать над тарелкой? По той единственной причине, что противно. Как видите, далеко не уйдешь от воспитания, с детства приучившего бояться, ненавидеть и презирать рабочий класс.

9

В свои четырнадцать-пятнадцать лет я был гадким юным снобом, хотя не самым худшим среди однокашников. Думаю, нет на свете места, где снобизм культивировался бы так трепетно и скрупулезно, как в английской закрытой частной школе. Здесь уж не скажешь, что наше пресловутое «образование» не дает результатов. Латынь и греческий стираются из памяти через несколько месяцев после выпуска (я учил греческий лет десять, а сейчас, в тридцать три года, даже не могу наизусть вспомнить греческий алфавит), но снобизм, если постоянно не выпалывать его, как вьюнок с грядок, держится в тебе до могилы.

Положение мое в школе было трудным, поскольку оказался я среди юнцов богаче, гораздо богаче меня; попасть затем в дорогой привилегированный колледж мне случилось лишь благодаря выигранной стипендии[40]. Обычный опыт мальчиков из низов верхушки среднего класса (детей священников, чиновников колониальной администрации и т. п.[41]), итог тоже достаточно обычен. С одной стороны, это заставило меня особенно цепляться за благородный тон, с другой – наполнило обидой и негодованием на богатых сынков, дававших мне почувствовать разницу между нами. Я презирал всякого, кто не опознавался как «джентльмен», но столь же ненавидел свинство богачей, особенно нажившихся недавно. Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь. Характерное для моей социальной прослойки кредо. Даёт романтичное ощущение себя аристократом в изгнании и очень успокаивает.

Однако те годы – на протяжении и сразу после войны – весьма своеобразно окрасили школьную атмосферу. Англия тогда была ближе к революции, чем потом или когда-либо прежде; чуть не всю страну охватило революционное чувство, теперь забытое или абсолютно переиначенное, хотя оставившее некий осадочный след. В сущности, под специфическими лозунгами, это был молодежный бунт, непосредственно связанный с войной. На фронте молодые жертвовали жизнью, а старые вели себя так, что и сегодня тошно вспомнить, – исполнившись непреклонным патриотизмом, отсиживались по тылам, в то время как их сыновей на фронте выкашивал огонь немецких пулеметов. Кроме того, руководили военными действиями, в основном, старики, и руководство отличалось крайней некомпетентностью. К 1918 году каждый моложе сорока был донельзя возмущен старшим поколением, и естественный после бойни антимилитаризм перерос в общий протест против ортодоксальности и всяческих авторитетов. Возник прямо-таки культ ненависти к «старичью», на которое возлагалась ответственность за все грехи. Все утвержденные ценности, от Палаты лордов до романов Вальтера Скотта, высмеивалось лишь потому, что их отстаивало «старичье». Вошло в моду держаться «большевиком», как это тогда называлось, и вообще отрицать, противоречить. Пацифизм, интернационализм, гуманизм, феминизм, свободная любовь, развод без сложностей, аборты, атеизм – любые, самые невнятные идеи подобного рода принимались с энтузиазмом, в мирное время не вскипающим. И, разумеется, поветрие захватило не успевших повоевать юношей, в том числе даже учащихся закрытых школ. Считая себя новым – просвещенным! – поколением, мы негодующе отбрасывали догмы, навязанные гнусным «старичьем». Сидевший в нас классовый снобизм никуда не исчез, впереди, естественно, рисовалась варианты жить на дивиденды или занять теплое местечко, но быть «против властей» тоже казалось вполне естественным.

Мы насмехались над курсом школьной военной подготовки, христианской верой, даже над обязательным спортом и королевским семейством, не сознавая, что просто подхвачены волной всеобщего отвращения к войне. Запомнились два случая той нашей специфич-

[40] Стипендию для продолжения образования в Итоне Оруэлл получил благодаря своим успехам (главным образом, по истории литературы) в частной школе Св. Киприана в Суссексе.

[41] Дед Оруэлла был англиканским священником, отец служил в администрации Британской Индии.

ной революционности. Однажды преподаватель английского устроил нам письменную контрольную с проверкой общих знаний, где среди прочего требовалось назвать десять выдающихся современников. Нам было лет по семнадцать, и из шестнадцати юнцов нашего класса пятнадцать включили в свой список Ленина. Это в снобистской дорогой закрытой школе, в 1920 году, когда еще свежи были кошмары русской революции. Второй случай связан с проводившимися в марте 1919-го так называемыми «торжествами мира». Учителя решили, что мы должны отпраздновать окончание войны в традиции победного рева над поверженным врагом: с факелами прошествовать по школьному двору, хором вопя шовинистические песни типа «Правь, Британия». Ученики же – полагаю, к их чести – шествие превратили в глумление и на известные мелодии орали всякие богохульные слова. Я сомневаюсь, что нечто подобное могло бы произойти сегодня. Знакомые мне сегодняшние ученики закрытых школ, даже интеллектуалы, по своим взглядам гораздо консервативней школяров пятнадцатилетней давности.

Итак, в свои семнадцать лет я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем. Читал, перечитывал Уэллса, Шоу, Голсуорси (они еще числились в разряде опасно «передовых» писателей) и сам себя полагал социалистом. Ни четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс – живые люди, у меня не имелось. Читая книги (например, «Люди бездны» Джека Лондона) я страшно переживал за пролетариев, но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки. А стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные угольные забастовки, шахтеры виделись исчадьем ада, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать, боясь, не прячется ли там злодейский Роберт Смилли[42]. Всю войну и некоторое время после нее на шахтах не хватало рабочих и заработки были высоки, теперь же ситуация ухудшилась так резко, что горняки восстали. Воевавшие, которых в армии держали соблазном радужных послевоенных перспектив, вернулись домой, где не оказалось ни работы, ни хотя бы жилья. Кроме того, бывшие воины возвращались с чисто солдатским – вольным, несмотря на армейскую дисциплину, отношением к жизни. Бурлили возмущенные чувства. Не забыть тогдашней песенки с припевом:

[42] Смилли, Роберт (1857–1940) – лидер профсоюзного движения британских горняков.

Только то из прежнего отыщешь,
Что богач кует деньгу, бедняк – детишек.
И удачи не видать
Ни чуточки,
А зато какая нам досталась шуточка!

Народ еще не привык разгонять скуку безработных дней бесконечными чашками чая. Люди все-таки еще ждали того счастливого житья, за которое сражались в окопах, и откровенная вражда к благополучной культурной публике выражалась даже острее прежнего. Оглядываясь назад, мне вспоминается, что половину времени я обличал капитализм, а половину – ярился на неслыханно дерзких водителей автобусов.

Мне не исполнилось и двадцати, когда я отправился в Бирму служить в индийской Имперской военной полиции. На такой дальней «заставе империи» классовый вопрос вроде бы потерял актуальность. Критерий явной социальной розни там отсутствовал: первостепенную важность имело не то, учился ли ты в благородной школе, а то, достаточно ли бела твоя кожа. Фактически большинство белых не являлись бы «джентльменами» в Англии, но кроме рядовых солдат и нескольких невнятных личностей все жили самым джентльменским образом (то бишь держали слуг и называли вечернюю трапезу «обедом»), и местным обществом британцев рассматривались как единый класс – класс «белых людей», резко возвышавшийся над классом «аборигенов». Однако этот смуглый низший класс воспринимался иначе, чем пролетарии на английской земле. Существенным моментом было отсутствие физической брезгливости к «аборигенам», во всяком случае бирманцам. Смотрели на них свысока и, тем не менее, охотно допускали теснейший бытовой контакт; предрассудков на этот счет не я не заметил даже у закоренелых ревнителей цвета кожи. Имея много слуг, ты быстро привыкаешь к барской лени, и я, например, позволял бирманскому бою одевать, раздевать себя, хотя не вынес бы прикосновений английского лакея. Эмоционально я ощущал бирманцев как неких нянюшек. Подобно большинству народов, жители Бирмы источают свой запах – трудно описать его, от него словно покалывает зубы, – но этот запах ничуть не казался мне отвратительным. (Кстати, мы тоже для людей Востока пахнем весьма специфично. Китайцы, как я знаю, говорят, что от белого человека несет трупом. Бирманцы тоже так считают, хотя у них хватало учтивости не сообщать об этом мне). Определенным образом я даже ощущал свою ущербность: ведь если смотреть в лицо фактам, внешними данными азиаты превос-

ходят европейцев. Сравните гладкую как шелк кожу бирманца, которая с возрастом лишь тускнеет, но остается тугой, – и шершавую, дряблую, морщинистую кожу белого человека за сорок лет. У белого мужчины на голенях, запястьях, на груди заросли безобразной густой шерсти, а у бирманца лишь кустики жестких черных волосинок кое-где в надлежащих местах, вообще же тело безволосое, да и лицо обычно безбородое. Белый почти всегда лысеет, бирманец – крайне редко, практически никогда. Зубы бирманца идеальны, хотя красноватого цвета от сока постоянно жующегося бетеля, – у белого зубы обязательно портятся и крошатся. Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх, – у азиата стройная осанка и он до старости ладно сложен. Общепризнанно, что среди белых изредка появляются особи, в молодые годы блистающие несравненной красотой, но в целом, что ни говори, восточные люди миловиднее. Впрочем, об этом я не задумывался, обнаружив, что «аборигены» намного симпатичнее противных английских «низших классов». Мышление мое тогда не выходило за рамки рано и прочно усвоенных предубеждений. На короткое время меня, двадцатилетнего, прикомандировали к армейскому Британскому полку. Конечно, я искренне восхищался рядовыми солдатами, как всякий юнец восхищается крепкими, бодрыми парнями, которые на пять лет старше и чья грудь увешана боевыми медалями. И все же мнилось что-то противное в них, парнях из «простого люда», сближаться с ними отнюдь не тянуло. По утрам, когда отряд отправлялся на марш, а мы с младшим лейтенантом топали сзади, от испарений сотни разогретых жарой тел у меня сводило кишки. Абсолютная, как вы понимаете, предвзятость. Физически солдат благополучен, насколько это вообще возможно для белого мужчины. Он молод и, благодаря постоянным тренировкам на свежем воздухе, здоров, строгая дисциплина понуждает его к чистоте и опрятности. Но мне чудилось иное. Я знал, что впереди шагает разящий потом *низший класс*, и от сознания этого меня подташнивало.

Процесс истребления (по крайней мере, убавления) моего социального снобизма шел исподволь, растянувшись на несколько лет. Изменить отношение к проблеме классов помогли моменты, напрямую с этим не связанные, даже, казалось бы, посторонние.

Проведя пять лет офицером полиции в Бирме, я под конец возненавидел империализм, которому служил, с неописуемой яростью. В свободной атмосфере Англии этого до конца не понять. Чтобы по-настоящему возненавидеть империализм надо побыть его частью. Со

стороны британские порядки в Индии (или, скажем, французские в Марокко, голландские на Борнео) видятся логичными, доброжелательными, плодотворными, и они *действительно* таковы: под управлением иностранцев коренному населению обычно живется лучше, чем под властью соплеменников. Но став участником системы, неизбежно придешь к признанию ее незаконной тиранией. Самому толстокожему английскому сахибу это прекрасно известно. Каждое туземное лицо на улице заставляет почувствовать себя вломившимся чудовищем. И большинство британцев в Индии вовсе не так уверены насчет своих позиций, как полагают в Англии. От совершенно неожиданных персон, от проспиртованных джином старых бандитов из верховной администрации мне доводилось слышать фразы типа: «Зря, нас, конечно, принесло в эту треклятую страну. Но раз уж мы здесь, надо, черт возьми, держаться». В наше время никто уже не верит, что есть право вторгаться в чужие страны и силой подчинять народы. Иностранный гнёт – зло значительно более явное и понятное, чем притеснение экономическое. Привычно допуская наш грабеж заморских территорий ради того, чтобы полмиллиона бездельников купались в роскоши, мы на своей земле бились бы до последнего против каких-нибудь китайских захватчиков. Так что даже праздная публика, без малейших угрызений совести живущая чужим трудом, достаточно ясно ощущает, как несправедливо было явиться с другого конца света и против воли людей завладеть их странами. В итоге индийского британца непременно преследует чувство вины, которое он тщательно скрывает, ибо свобода слова не допускается, любое нелояльное замечание может испортить карьеру. По всей Индии полно англичан, втайне ненавидящих и систему, и свое в ней участие, но только изредка, в абсолютно надежной компании позволяющих прорваться накипевшему чувству. Помню, однажды ночью мне случилось ехать в поезде с человеком из департамента образования (имени незнакомца я так никогда и не узнал). Жара не давала уснуть, и мы всю ночь проговорили. Полчаса осторожных расспросов убедили каждого из нас, что собеседник «безопасен», после чего мы до утра, пока поезд медленно тянулся сквозь непроглядный мрак, попивали пиво и проклинали Британскую империю – проклинали от души, всем сердцем и разумом. Нам было замечательно. Но болтали мы о вещах запрещенных и под утренним ярким солнцем, когда поезд вполз в Мандалай, распрощались виновато, как согрешившие любовники.

Насколько мне удалось заметить, всех белолицых служащих в Индии временами мучает совесть. Исключение составляют те, кто за-

нят делом нужным стране независимо от присутствия либо отсутствия британцев: врачи, инженеры, специалисты лесного хозяйства. А я служил в военной полиции, то есть был активно действующим элементом деспотического режима. К тому же, в полиции напрямую сталкиваешься с имперской гнусностью, и есть большая разница: просто качать из страны деньги или исполнять грязную работу. Большинство людей за смертную казнь, но сами в палачи бы не пошли. Даже бирманские европейцы косо посматривали на людей из полиции, зная их зверские приемы. Помню, я инспектировал полицейский пост, и туда по какому-то поводу зашел знакомый мне американский миссионер. Подобно большинству миссионеров пуританских сект, это был совершеннейший осел, хотя довольно славный малый. Один из моих туземных подчиненных как раз измывался над арестованным (сцена эта у меня описана в романе «Дни в Бирме»). Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал: «Да-а, не хотелось бы служить на вашем месте». Меня прожгло стыдом. Хорошеньким же дельцем я занимаюсь! Даже американский миссионер, туполобый девственник-трезвенник со Среднего Запада, имеет основания снисходительно меня жалеть! Ощущение позора продолжало преследовать и тогда, когда рядом не было свидетелей, готовых устыдить. Во мне стало нарастать непередаваемое омерзение ко всей машине так называемого правосудия. Как ни крути, сама система наказаний (в Индии, между прочим, гораздо более гуманная, чем в Англии) – жуткая штука. Ей требуется персонал чрезвычайно нечувствительный. Жалкие заключенные в вонючих тюремных клетках, серые покорные лица осужденных на долгий срок, шрамы на ягодицах провинившихся, выпоротых бамбуком, вой женщин и детей, когда уводят их родича, – подобные вещи невыносимы, если ты непосредственно причастен ко всему этому. Однажды мне довелось официально присутствовать на казни через повешение, и впечатление было – процедура эта хуже тысячи разбойных убийств. Входя в тюрьму, мне каждый раз казалось (чувство, знакомое многим посетителям тюрем), что мое место по ту сторону решетки. Я думал – и продолжаю думать, – что самый страшный преступник нравственно выше судьи, приговаривающего к виселице. Но, разумеется, такого рода мысли приходилось таить в себе, поскольку на Востоке англичанин вынужден хранить молчание. В конце концов, я выработал анархистскую теорию, согласно которой всякая государственная власть есть зло и наказание приносит вреда больше, чем преступление, а если человеку доверять и не начальствовать над ним, он будет вести себя прилично. Эту сентиментальную чушь я давно оставил. Конечно, мирных людей нужно защищать от насилия. Всюду, где существует криминал ради выгоды, необходимо иметь суровый закон и применять его безжалостно; альтернатива – Аль Капоне. Но тот, кому положено выносить, исполнять приговоры, все-таки непременно почувствует наказание как зло. Не сомневаюсь, даже в Англии многих судей, работников полиции и тюрем нередко посещает тайный ужас из-за того, что они вытворяют. А наш гнет в Бирме был двойным: мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и т. п., мы это делали, будучи интервентами, оккупантами. И до самих бирманцев смысл нашей юрисдикции не доходил. Посаженный в тюрьму вор не считал себя справедливо наказанным уголовником, он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков, а примененные к нему меры – свирепым произволом. Лица за толстыми тиковыми брусьями полицейских камер или железными прутьями тюремных решеток так ясно об этом говорили. Увы, я не научился равнодушно воспринимать выражение человеческих лиц.

Отправляясь в 1927 году домой в отпуск, я уже всерьез подумывал бросить офицерскую службу, и, вдохнув английского воздуха, решился – не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего чем просто скинуть форму. На протяжении пяти лет я был сотрудником репрессивной системы, и это подарило мне больную совесть. Впечатанные в память бесконечные лица – лица обвиняемых на скамье подсудимых, лица приговоренных в камере смертников, лица подчиненных, над которыми я куражился, лица старых крестьян, с которыми обходился пренебрежительно, и слуг, которых в минуты гнева учил кулаком (каждый на Востоке хоть изредка позволяет себе такое: восточные люди весьма способны спровоцировать), – нещадно терзали меня. Сознание огромной вины требовало искупления. Эмоции чрезмерные, но вы попробуйте годами делать нечто, что лично для вас неприемлемо, и, вероятно, исполнитесь тех же чувств. Я все упростил до идеи: угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда не правы, – наивно и неверно, но естественно после того, как сам являлся одним из угнетателей. Созрела мысль бежать не только от империализма – от любой формы превосходства человека над человеком. Я хотел опуститься, оказаться на самом дне, среди жертв и вместе с ними против тиранов. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Единственно достойным мной был признан отказ от жизненных успехов. Любой намек на стремление «преуспеть», иметь хотя бы несколько сот годовых, казался духовным уродством, видом подлости.

И вот тогда мое внимание привлек английский рабочий класс. Впервые я задумался о нем и только потому, что обнаружил некую аналогию. Пролетариат символизировал жертву несправедливости, подобно угнетаемым бирманцам. Антитеза в Бирме была крайне проста: белые наверху, темнокожие внизу; и я, понятное дело, сочувствовал темнокожим. Теперь выяснилось, что эксплуататорство и тиранию не обязательно искать так далеко. На родине, под боком имелся угнетенный класс, терпевший муки и лишения, по-своему не менее жестокие, чем имперские притеснения на Востоке. Со всех уст не сходило слово «безработица». Для меня это после Бирмы было довольно ново, однако постоянное кудахтанье среднего класса («все эти безработные просто бездельники... ») меня не обмануло. Я часто думал: верят ли себе даже болваны, несущие такую дичь? Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории я в те дни не испытывал. Мне казалось – порой, честно сказать, кажется и сейчас, – что экономический грабеж прекратится, как только нам по-настоящему захочется его прекратить, и при горячем, искреннем желании с ним покончить метод едва ли очень важен.

О жизни рабочего класса я не знал ничего. Изучал цифры безработицы, но что стоит за ними, понятия не имел. Во-первых, мне было неведомо, что худший вид бедности есть бедность «приличная». Жуткий крах выброшенного на улицу достойного честного труженика, его отчаянная битва с непонятным и всесильным законом экономики, распад семейства, разъедающий душу позор, – все это было за пределами моего опыта. Бедность мне виделась как лютый голод и грязные лохмотья. Соответственно, сознание устремилось к наиболее очевидным изгоям общества: бродягам, нищим, проституткам, криминальным элементам. «Низшие из низших» – вот с ними мне хотелось быть. Страстно мечталось вообще уйти из респектабельного мира. Я много размышлял на эту тему, планировал, как все продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из старых обносков... В жизни, однако, так не получается. Кроме необходимости принять во внимание родных и близких, сомнительно, что образованный человек *сможет* выбрать такую участь в спектре открытых ему путей. Но все-таки возможно было пожить среди отверженных, узнать, каков их быт, на время стать частицей их мира. Вот я отправлюсь к ним, и меня примут, и я там окажусь на самом дне, и – так я ощущал, хоть сознавал всю неразумность ощущения, – доля вины с меня спадет.

Определив курс, я наметил порядок действий. Пойду, надлежащим образом переодевшись, в Лаймхаус, Уайтчепел или иной скверный

лондонский район, устроюсь спать в ночлежке, заведу у доков знакомство с грузчиками, нищими лоточниками, попрошайками и даже, может, уголовниками. Разузнаю насчет бродяг: как присоединиться к ним, как попадают в специально созданные для бродяг ночные полутюремные приюты и т.п., а затем, набравшись необходимых знаний, сам отправлюсь бродяжничать.

Вначале было нелегко. Требовалось притворяться, а у меня ни капли актерских талантов. Я не умею, например, скрывать свой выговор, во всяком случае, долее пары минут. И поскольку мне представлялось (вот оно, наше классовое сознание!), что, едва я открою рот, во мне узнают «джентльмена», для недоверчивых была сочинена история о моих злоключениях. Убедительное тряпье я приобрел, тщательно загрязнил в нужных местах, и, хотя мой неподходящий рост[43] не спрячешь, я, по крайней мере, уже знал, на кого должен походить. (Кстати, как мало людей это знают; взгляните на любое изображение бродяги в «Панче», – всегда типаж двадцатилетней давности). Итак, однажды вечером, переодевшись в доме у приятеля, я вышел и побрел в восточном направлении, дойдя наконец до какой-то припортовой ночлежки в Лаймхаусе. Местечко выглядело довольно угрюмо. Ночлежка обнаружилась вывеской в окне: «Отличные койки для одиноких мужчин». Господи, как пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог! Теперь смешно, но я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев. Хотелось найти контакт с ними, хотелось даже стать одним из них, и все-таки они казались опасными иноземцами. Темный дверной проем виделся входом в жуткое подземелье – нечто вроде полного крыс коллектора. Вошел я с тяжким предчувствием драки. Сейчас признают во мне чужака, решат, что я прибыл шпионить, накинутся, отдубасят и вышвырнут вон. Храбрости я набрался, но перспектива не вдохновляла.

Откуда-то изнутри появился мужчина в рубашке с засученными рукавами – «управляющий» заведения. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал, человек просто потребовал девять пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай, играли в шашки портовые грузчики, землекопы и несколько матросов. На меня, вошедшего, компания лишь мельком глянула. Но дело было поздним субботним вечером, по комнате мотался напившийся молодой здоровяк. Мой приход привлек

[43] В произведениях Оруэлла неоднократно встречается замечание о том, что классовую принадлежность англичанина легко определить по его росту: долговязые представители буржуазии заметно отличаются от низкорослых, коренастых пролетариев.

его внимание, он шатнулся ко мне, глаза на его мясистом багровом лице блеснули угрозой и подозрением. Я напрягся: драка не заставила себя ждать. В следующий момент здоровяк кинулся мне на грудь и обхватил ручищами за шею: «Чайку испей, браток! – жалостливо взрыдал он. – Испей чайку!».

Я выпил чашку чая. Состоялось своего рода крещение. Страхи мои исчезли. Никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал назойливым любопытством; все были вежливы, милы и принимали меня запросто, с полным доверием. Дня три я оставался в той ночлежке, а через несколько недель, набравшись знаний касательно привычек нищего люда, ушел в свой первый бродяжий поход.

Об этом подробно рассказано в моей книге «Фунты лиха в Париже и Лондоне» (практически все описанные эпизоды действительно имели место, только иначе скомпонованы), не стоит повторяться. Позднее я подолгу – порой по желанию, порой по необходимости – скитался и бродяжил, месяцами жил в ночлежках. Но та первая экспедиция прочнее всего в памяти, – так странно, просто фантастично было в самом деле оказаться на дне, среди «низших из низших», на равных с пролетарским людом. Бродягу, правда, не назвать типичным пролетарием; а все-таки среди бродяг ты слит с определенной группой, низшей кастой рабочего класса, и подобного единения другим путем, насколько мне известно, не добьешься. Несколько дней я бродяжил по северным предместьям Лондона вместе с одним ирландцем. На время мы стали закадычными приятелями, ночевали вдвоем в камере приюта для бродяг, он мне поведал свою историю, а я ему, фиктивную, свою. Мы клянчили объедки у внушавших надежду дверей и честно делились добычей. Я был ужасно счастлив – удалось! Я наконец в самом презренном, нижайшем геологическом слое стран Запада! Классовый барьер рухнул (или казался рухнувшим). И там, в том жалком, бесприютном, по сути чрезвычайно скучном, бродяжьем мирке я испытал такое облегчение, что, хоть сегодня эта авантюра видится мне нелепой, переживания были весьма впечатляющие.

10

Дружба с бродягами помогает избавиться от многих предрассудков, но межклассовую проблему этим, к сожалению, не решить.

Бродяги, попрошайки, уголовники и прочие социальные отщепенцы – публика чрезвычайно специфичная, для пролетариата характерная не больше чем писательская интеллигенция для буржуазии. Довольно просто найти общий язык с заграничным «интеллектуалом», и очень нелегко – с иностранным обывателем средних слоев. Много ли англичан видели домашнюю обстановку французской рядовой буржуазной семьи? Разве что на свадебном торжестве, по-другому практически невозможно. Нечто подобное и относительно британского рабочего класса. Не составляет труда задушевно сойтись с воришкой, если знаешь, где с ним встреться, однако крайне сложно стать душевным другом каменщика.

Но отчего столь просто быть на равных с люмпенами? Мне часто говорили: «Бродяги, безусловно, сразу видят, что вы не из них? Они, конечно, сразу замечают, что у вас иные манеры, совсем иная речь?». Должен сказать, немалая часть, добрая четверть бродяг не замечает ничего. Во-первых, многим людям свойственно определять человека по одежде, не вслушиваясь в его произношение. Мне неоднократно доводилось с этим сталкиваться, когда я выпрашивал куски у задних дверей. Кое-кто был удивлен моей «культурной» речью, большинство же видело лишь то, что я грязный и рваный. Во-вторых, бродяги стекаются отовсюду, а диалектов на британских островах изрядно, речь некоторых бродяг необычна, едва понятна для других, и пришедший из Дархема, Кардиффа или Дублина может не различать, какой южноанглийский выговор является «культурным», какой нет. К тому же «образованные» очень редко, но встречаются среди бродяг. И даже если вдруг станет известно о твоем чуждом происхождении, отношение к тебе вряд ли изменится, поскольку для этой компании важно одно – ты, как и все тут, «в заднице». Притом чересчур лезть с вопросами не принято. Захочется, можешь попотчевать людей своей историей (и большинство бродяг, получив хоть малейший повод, охотно это делают), но понуждать к рассказам о себе никто не будет и всякий твой сюжет сочтут достаточным. Даже епископ, обрядившись соответственно, мог бы стать своим в босяцком кругу; ему даже не надо было бы скрывать епископский ранг при условии, что бродяги полагали бы его лишенным духовного сана дерзким отступником. Когда ты топаешь с бродягами и внешне от них не отличаешься, спутников твоих мало интересует, кем тебе доводилось прежде быть. Этот особый, отринутый от мира мирок, где все равны, действительно демократичен, – возможно, к демократии он ближе, чем что-либо иное в Англии.

С обычными пролетариями ситуация совершенно другая. Ну, для начала, быстро и просто в их среду не попадешь. Надень старье, пойди в ближайший бродяжий приют, и ты уже бродяга, но грузчиком или шах-

тером тебе не стать. Этой работы, даже если сил хватает ее выполнять, ты не получишь. Участие в левом движении позволит наладить тесный контакт с рабочей интеллигенцией, но для широких пролетарских масс эти товарищи не намного типичнее бродяг или карманников. Остается такой путь, как проживание квартирантом в домах пролетариев, что, впрочем, сильно смахивает на филантропические посещения трущоб. Несколько месяцев подряд я жил в шахтерских семьях. Ел за одним столом с членами семьи, спал на одной из их кроватей, умывался над их кухонной раковиной, пил с ними пиво, метал стрелки в картонную мишень, часами напролет беседовал. Но, хотя я находился среди них и, надеюсь, не был им неприятен, своим я все-таки не стал, и они это сознавали еще лучше меня. Сколь бы ты не симпатизировал им, сколь бы интересными не находил беседы с ними, всегда той чертовой горошиной под периной принцессы чувствуется сквознячок классовых различий. Не отвращение или неприязнь, всего лишь некое *различие* – и уже по-настоящему не сблизиться. Даже с шахтерами, считавшими себя коммунистами, потребовались деликатные маневры, чтобы они не называли меня «сэр», и все они всегда, кроме моментов особенного оживления, старались ради меня смягчать их грубоватый северный говор. Они мне нравились, ко мне, кажется, тоже относились искренне и сердечно, и все-таки я там ходил как иностранец, что всеми нами превосходно ощущалось. Какие пути не изыскивай, проклятие классовых различий встает между вами каменной стеной. Ладно, пускай не каменной стеной – тонкой стеклянной стенкой аквариума; прозрачной перегородкой, которую так легко не замечать и сквозь которую никак не проникнуть.

К сожалению, в наши дни модно делать вид, что это стекло проницаемо. Разумеется, все в курсе относительно существования классовых предрассудков, однако каждый утверждает, что *лично он* неким таинственным образом совершенно от них избавлен. Снобизм как раз из тех пороков, которые отлично видятся в других и никогда – в самих себе. Не только верой и правдой исповедующие социализм, но любой «интеллектуал» уверенно полагает себя абсолютно непричастным к подлой классовой розни: уж он-то в отличие от окружающих способен воспринимать реальность вне таких глупостей, как деньги, чины, звания, положение и т.п. «Я не сноб» сделалось универсальным кредо. Кто нынче не глумится над Палатой лордов, армейской кастой, королевской фамилией, закрытыми школами, любителями верховой охоты, пансионами старых леди и джентльменов, сельским «светским» обществом и вообще над социальной иерархией? Позиция обязательная,

принимается почти автоматически. Особенно это заметно в романах. Претендующий на серьезное направление романист, живописуя высший класс, настроен непременно иронически. Образ какого-нибудь пэра или баронета рисуется с насмешкой почти инстинктивной. Для подобной стилистики есть дополнительное основание – бедность современного культурного языка. Речь «образованных» людей сделалась столь бесцветной и безжизненной, что у романистов возникла проблема. Легче всего ее решить, подхлестнув юмористичность до степени фарса, то бишь изображая всякого представителя высших классов непроходимым тупицей. Прием понравился, распространился и стал употребляться практически рефлекторно.

А все же любой из нас в глубине души знает, что это чепуха. Все мы браним классовые отличия, но очень немногие всерьез хотели бы их упразднить. И становится очевидным тот существенный факт, что революционность взглядов отчасти проистекает из прочной тайной уверенности в неизменном порядке вещей

Желающим получить яркую иллюстрацию этого стоит проштудировать романы и пьесы Джона Голсуорси, держа в уме даты его произведений. Голсуорси – образец сверхчувствительного, со слезинкой, довоенного гуманиста. Начинает он комплексом болезненной жалости вплоть до мысли, что каждая замужняя дама это ангел, прикованный к сатиру. Его постоянно сотрясает гневная дрожь из-за страданий переутомленных клерков, малоимущих фермерских рабочих, падших светских женщин, несчастных преступников, проституток и животных. Мир, как явствует из его книг (романы «Собственник», «Правосудие» и пр.), четко делится на угнетателей и угнетенных, причем угнетатели царят, подобно гигантским каменным идолам, сокрушить которых невозможно всем земным запасом динамита. Однако впрямь ли автору так хочется их свергнуть? О нет, в битве с несокрушимой тиранией опорой ему служит именно сознание этой несокрушимости. Когда же, совершенно неожиданно, привычный порядок начинает рассыпаться, его охватывают несколько иные чувства. Тогда, отбросив свое чемпионство в драке мопса со слоном тирании и беззакония, он устремляется к защите той позиции (см. роман «Серебряная ложка»), что излечившихся от былой немощи пролетариев массово, как гурты скота, следует высылать в колонии. Проживи Голсуорси еще десяток лет, он, вполне вероятно, пришел бы к некоей благородной версии фашизма. Неизбежная судьба сентиментальных гуманистов. При первом же столкновении с реальностью все их убеждения изменяются диаметрально.

Той же начинкой лицемерия обычно горчит слоеный пирожок «передовых» взглядов. Возьмем, допустим, империализм. Всякий левый «интеллектуал», естественно, антиимпериалист. От имперского вымогательства он открещивается столь же автоматично и самодовольно, как от вымогательства классового. Даже интеллектуалы правого толка, определенно не борцы с британским империализмом, считают нужным кинуть со стороны брезгливо-удивленный взгляд. И как легко дается здесь остроумие: бремя белого человека, «Правь, Британия», сочинения Киплинга, занудливые бывшие сахибы – ну кто способен упомянуть об этом, не хихикнув? Ну а, с другой стороны, какой культурный человек хоть раз в жизни не повторил анекдот насчет старого солдата-индуса, сказавшего, что в Индии, если британцы ее покинут, от Дели до Пешавара не останется ни девственниц, ни рупий? Таково отношение левых к империализму, – отношение вялое, абсолютно безвольное. А это вопрос самый главный: вы за единство или за распад Империи? И в глубине души никакой англичанин (и менее всего любители высмеивать сахибов) не желает ее развала. Кроме всего прочего, ублажающий нас довольно высокий уровень жизни напрямую зависит от прочно припаянных колоний, особенно наших тропических колоний в Индии, Африке. Чтобы Англия могла жить относительно комфортно, сотни миллионов индусов должны жить на грани голода, – ах, как жесток этот капитализм! Но каждый раз, садясь в такси или наслаждаясь земляникой со сливками, вы молчаливо признаете существующий режим. Альтернатива – скинуть за борт имперские дела, сократив британскую территорию до холодного островка, на котором нам всем придется крепко вкалывать, питаясь, в основном, селедкой и картофелем. Это последнее, чего желает представитель левого фланга, и он же продолжает ощущать, что лично не несет никакой моральной ответственности за империализм. Охотно принимает дары Империи, замаливая грех глумлением над охранителями имперской системы.

Здесь начинаешь схватывать фальшь и в отношении большинства людей к классовой проблеме. Пока это просто вопрос об улучшении условий для рабочих, каждый приличный человек согласен – надо улучшать. Например, относительно шахтеров. Если бы шахтер не полз к забою на четвереньках, а катил туда в удобной тележке, если бы смена его вместо семи с половиной часов длилась всего три, если бы он жил в добротном доме с пятью спальнями и ванной и получал десять фунтов в неделю, – замечательно! Тем более что все, у кого здравые мозги, отлично понимают: такая роскошь вполне достижима. Мир наш (во всяком

случае, потенциально) очень богат; умело используя его ресурсы, мы при желании могли бы жить как принцы. На поверхностный взгляд и в социальной стороне вопроса та же простота. Ведь всем желательно покончить с классовой рознью, всех уже замучила проклятая неловкость в контактах с простым народом. Отсюда соблазн разрешить проблему бодрым кличем на манер скаутских вожатых. Эй, парни, бросьте-ка величать меня «сэр»! Разве мы все не одного людского племени? Давайте помнить: мы равны, и дружно встанем рядом! Какое, к черту, имеет значение, что я умею выбрать стильный галстук, а вы нет, что я глотаю свой суп беззвучно, а вы хлебаете свой с шумом водопада в сточной трубе... и т.д., и т.п. Вреднейшая чушь, но звучная и весьма подходящая запудривать мозги.

Увы, одним желанием снести классовый барьер далеко не продвинуться. То есть желание хорошее и нужное, однако малоэффективное, если не осознать, куда оно ведет. Глядя правде в глаза, необходимо уяснить: ликвидация классовых различий означает ликвидацию существенной части самого себя. Вот я, типичный представитель среднего класса. Заявить о своем стремлении избавиться от разделяющих классовых особенностей мне легко, но почти все в моем мышлении обусловлено именно ими. Все мои понятия – о добре и зле, приятном и неприятном, смешном и серьезном, красивом и безобразном – в сущности, понятия *буржуазные*. Мои вкусы в литературе, еде и одежде, мое чувство чести, мои манеры за столом и мои обороты речи, даже моя походка и жестикуляция сформированы определенным воспитанием, определенным положением где-то чуть выше середины на социальной лестнице. И если я это понимаю, хлопать пролетария по плечу и сообщать ему, что он такой же славный малый, пустое дело. Для реального сближения с пролетариатом требуется такое усилие, к которому я, скорее всего, не готов. Требуется не только подавить собственный социальный снобизм, но заодно отказаться от множества личных вкусов и пристрастий. Во имя избавления от гнусной социальной розни мне, в конце концов, придется измениться буквально до неузнаваемости. Так что речь не просто об улучшении условий для рабочих, об изживании одиозных снобистских глупостей — речь о полной перестройке присущего высшему и среднему классу отношения к жизни. И здесь мое «да» или «нет» зависит, надо полагать, от того, в какой степени я сознаю, на что должен пойти.

Между тем многие воображают, что можно обойтись без коренной ломки своих привычек, всей своей «идеологии». Ширятся ряды энтузиастов социального выравнивания; доброхотов, искренне полагающих,

что они заняты ниспровержением классовых различий. Социалист, восторженно увлеченный пролетариатом, устремляется в «летние школы», где, как предполагается, раскаявшийся буржуа и пролетарий падут в объятия друг друга и побратаются навек (те самые «летние школы», откуда благовоспитанные люди возвращаются с рассказами о том, как замечательно там было, а пролетарии – с несколько иным словесным комментарием). И все это приторно-христианское пережевывание на удивление живучих идей Уильяма Морриса[44], сюсюканье обывателей: «Зачем же непременно всем равняться на низы? Почему бы не на верхи?» с предложением «подтянуть» рабочий класс (до их обывательских стандартов) посредством гигиены, фруктовых соков, ограничения рождаемости, высокой поэзии и пр. Даже сам герцог Йоркский (ныне уже король Георг VI) опекает ежегодный летний лагерь, где питомцы закрытых школ должны на отдыхе подружиться с трущобными мальчишками, – где эти ребята и сосуществуют наподобие цирковой «счастливой семейки» из пса, кота, двух хорьков, кролика и трех канареек, настороженно и нервно сидящих в одной клетке под зорким оком дрессировщика.

Плановые, натужные усилия снять социальный барьер, по моему убеждению, чрезвычайно ошибочны. Иногда они просто бесполезны, а когда дают результат, то, как правило, *укрепляют* классовые предрассудки. Собственно, этого и следовало ожидать. Если искусственно, форсированным темпом смешивать социальные слои, возникающая от неловкости и неестественности сила трения выносит на поверхность чувства, которые могли бы мирно покоиться в глубинах. Как я уже упоминал относительно Голсуорси, при первом соприкосновении с действительностью взгляды сентиментальных гуманистов полностью преображаются. Только царапни записного пацифиста – и обнаружишь ура-патриота. Пока состоящие в НРП[45] буржуа и бородатые пропагандисты фруктовых соков смотрят на пролетариев через перевернутый бинокль, они на все готовы ради бесклассового общества, но доведись им испытать *реальный* контакт с пролетарием (например, в субботней ночной драке с пьяным грузчиком), их мигом отшатнет к самому пошлому буржуазному снобизму. Впрочем, социалистам из среднего класса вряд ли грозят поединки с пьяными грузчиками, они общаются обычно с рабочей интеллигенцией. Но эта интеллигенция резко делится на два типа. Есть те, что продолжают трудиться механиками или простыми рабочими, – такие, может, не очень стараются улучшить выговор, однако «развивают свое мышление» и содействуют левым лейбористам, коммунистам в свободное от работы время. А есть такие, что меняют (наружно, во всяком случае) свой жизненный уклад и, получив образование путем государственных стипендий, сами присоединяются к среднему классу. Первые представляют великолепный человеческий тип. Мое знакомство с подобными людьми позволяет думать, что они вызвали бы уважение и восхищение даже у закоренелых тори. Персоны второго типа – за исключением отдельных личностей вроде Дэвида Лоуренса – менее восхитительны.

Прежде всего, к сожалению (хотя это органичный итог системы образовательных стипендий), пролетарии очень склонны проникать в средний класс через среду литературной интеллигенции. Но человеку по натуре скромному и порядочному проторить здесь собственную дорогу непросто. В наши дни английский литературный мир – по крайней мере, его высокоинтеллектуальный сектор, – представляет собой ядовитые джунгли, благоприятные лишь для цветения сорняков. Солидно и благопристойно держаться в литературном свете могут лишь писатели с признанной популярностью, скажем, авторы детективов, а быть умником, пишущим для заумных журналов, значит обречь себя на участие в бесконечной закулисной возне. Успеха здесь добьешься, если вообще добьешься, не столько талантом писать, сколько умением быть душою вечеринок и лизать задницу паршивым мелким львам. И как раз в этом секторе радушно привечают авторов пролетарского происхождения. «Способный» паренек из рабочей семьи – парнишка, выигрывавший стипендии и явно не приспособленный вкалывать у станка, – может найти иные пути социального подъема (допустим, сделавшись активистом НРП), но он гораздо чаще предпочитает писательство. Сегодняшний литературный Лондон изобилует получившими образование молодыми выходцами из низов. В массе это народ удручающий, для своего класса нетипичный, и обидно, что чаемое буржуазным интеллигентом товарищество с пролетарием осуществляется на встречах с этими людьми. Кончается обычно тем, что интеллигента, идеализировавшего рабочий класс, не зная о нем ничего, вновь захлестывает бешеный снобизм. Ситуация (если, конечно, сам в ней не участвуешь) выглядит довольно комично. Полный добрых намерений бедняга, торопясь обнять пролетарского брата, кидается ему навстречу с распростертыми объятиями, но очень скоро, не обретя братства и лишившись пяти заимствованных фунтов, пятится в негодовании: «Какого черта! Этот парень не джентльмен!».

[44] Моррис, Уильям (1836–1894) – английский художник и писатель. Главным современным злом полагал убивающее чувство прекрасного машинное «штампованное искусство», идеалом социального устройства видел общины, где все заняты ручным трудом и художественными ремеслами.

[45] НРП – Независимая Рабочая партия Великобритании (Independent Labour Party)

Дабы не стать жертвой подобных досадных случаев, следовало бы хорошенько удостовериться насчет собственных, столь глубоких, убеждений. Я уже отмечал, что левизна типичного «интеллектуала», как правило, фальшива. Исключительно из подражания он глумится над вещами, фактически для него святыми. Возьмем тот же школьный кодекс чести, его пункты «дух единства» и «нельзя бить лежачего» и прочую трескучую болтовню. Кто не смеялся над этим? Кто, полагая себя «интеллектуалом», осмелился над этим не смеяться? Однако если смеешься не ты, а некто *со стороны*, как-то уже не по себе (так мы всю жизнь ругаем Англию, но впадаем в ярость, услышав наши ежедневные упреки из уст иностранца). Никого так не веселят традиции наших закрытых школ, как Бичкомбера, штатного юмориста «Дейли Экспресс»[46]. Он потешается, и весьма справедливо, над благородным кодексом, согласно коему нет греха хуже плутовства за карточным столом. А счел бы Бичкомбер очень забавным, если б в мошенничестве с картами был уличен его приятель? Сомневаюсь. Собственные воззрения начинаешь по-настоящему понимать, только встретившись с представителем иной культуры. Будучи «интеллектуалом», вы воображаете, что вмиг очистились от буржуазности лишь тем, что запросто труните над патриотизмом, Славным Школьным Братством и полковником Блимпом[47]. Но с точки зрения интеллектуала-пролетария (по рождению все-таки чуждого буржуазной культуре) в вас, быть может, существеннее не отличие от Блимпа, а сходство с ним. Вполне возможно, интеллектуалу из низов вы с Блимпом видитесь людьми одного клана, и он в определенной мере прав, хотя ни вы, левак и демократ, ни твердолобый шовинист-полковник этого даже в мыслях не допустите. Так что встречи буржуа и пролетария, столь успешные на митингах, в жизни не всегда оборачиваются восторгом наконец-то вновь нашедших друг друга близнецов. Слишком часто тут происходит столкновение чужеродных культур, эмоционально характерное для военных конфликтов.

Пока коллизия рассматривалась мной с позиций буржуа, который, нарвавшись на оскорбление своих тайных святынь, испуганно бежит назад, к уютному консерватизму. Не менее важно осмыслить ненависть, вскипающую в сердце просвещенного пролетария. Своей энергией, порой со страшными мучениями, он пробился в среду, где ожидал найти больше свободы, больше интеллектуальной тонкости, но все, что он там обнаружил, оказалось чем-то пустым, тусклым, лишенным каких-либо горячих чувств – вообще какой-либо подлинной жизни. Люди нового окружения иной раз чудятся ему лишь манекенами с толстым бумажником и прохладной водицей вместо крови. Во всяком случае, об этом он *говорит*, к этому почти непременно сведет беседу с вами любой интеллектуал простецкого происхождения. Известный, навязший в зубах жанр его унылых причитаний: буржуазия «мертва» (любимое ныне словечко, чрезвычайно эффектное ввиду своей бессмысленности), буржуазные ценности презренны, буржуазная культура обанкротилась... Желаете примеры, загляните в любой номер «Левого обозрения» либо в тексты молодых литераторов-коммунистов вроде Эли Брауна, Филипа Хендерсона и других. Искренность многих тут сомнительна, но даже честнейший из честнейших Дэвид Г. Лоуренс твердит о том же. Интересно, с каким упорством у него развивается идея насчет омертвевшей, по меньшей мере – выхолощенной, буржуазии. Егерь Мэллорс, герой романа «Любовник леди Чаттерлей» (а по сути, сам автор), сумел подняться из низов и не особенно жаждет туда вернуться, поскольку у английских пролетариев «несимпатичные привычки», но и тот высший слой, где он теперь неким образом пребывает, кажется ему племенем полудохлых евнухов. Символом чего муж леди Чаттерлей в романе представлен натуральным физическим импотентом. Есть у Лоуренса и стихи о юноше (опять-таки о самом авторе), который из последних сил карабкался на дерево, чтобы «добраться до верхушки», но спустился оттуда со следующим впечатлением:

Вскарабкаться на самый верх,
Чтоб обезьяной стать навек!
Забыть, что прежде парнем был,
Что по земле ходил-бродил,
Торчать на ветке, тосковать да бормотать с амбицией.

Трещат, галдят, бормочут там
Талдычат свысока,
И ни полслова от души –
Кишка у них тонка.

Еще скажу кое о чем:
Там цыпочек полно,
Но петушки-то возле них
Перевелись давно...

[46] Под псевдонимом Бичкомбер (на сленге это приблизительно «пляжный бродяга») юмористическую колонку «Кстати» в «Дейли Экспресс» вел писатель Джон Бингем Мортон.
[47] Полковник Блимп – олицетворяющий косность и шовинизм толстяк, персонаж популярных в 1930-е гг. карикатур Дэвида Лоу.

Яснее свое отношение не выразить. И вряд ли, говоря о «талдычащих свысока», Лоуренс подразумевает только истинных буржуев с доходом выше пары тысяч годовых. Похоже, речь обо всех, кто, так или иначе, взращен буржуазной культурой: воспитан в доме, где изъясняются деликатно и держат хоть какую-то прислугу. Вот тут осознаешь угрозу литературно-пролетарских причитаний – стонов, способных пробудить жестокую непримиримость. Ведь получив такое обвинение, ты в глухом тупике. Лоуренс сообщает мне, что я, барчук, учившийся в закрытой школе, – евнух. Ну, и что делать? Предъявить медицинское свидетельство о своей мужской состоятельности? Приговор Лоуренса этим не отменишь. Упрекнув меня в недостойном поведении, мне оставляют возможность исправиться, но, уподобив калеке-кастрату, искушают тут же расквитаться как можно больнее. Нет лучше способа нажить врага, чем намекнуть человеку на его неисцелимое увечье.

Таков в сухом остатке итог большинства непосредственных контактов буржуа и пролетариев – разжигаемый принудительным сближением, непременно вызывающий обиды взаимный антагонизм. Есть лишь один разумный путь к межклассовой гармонии – продвигаться к ней медленно, не форсируя темп. И если в душе вы полагаете себя джентльменом, стоящим выше посыльного из бакалейной лавки, достойнее так и сказать без всякого притворства. Конечно, желательно поскорей прикончить свой снобизм, но роковое заблуждение изображать, что вы это уже осилили.

Уж очень тоскливо наблюдать бесконечные превращения пылких двадцатипятилетних социалистов в тридцатипятилетних спесивых консерваторов. Откат вообще-то довольно естественный для выходца из среднего класса, и ход мысли тут понятный. А что если бесклассовое общество вовсе не означает райскую жизнь, где кроме канувшей навеки социальной вражды все останется неизменным, но означает оно мрачный мир, которому без надобности наши устои, вкусы, идеалы (наша «идеология»). А вдруг слом гадких классовых барьеров штука коварная? Вдруг это лишь безумная скачка во тьме, в конце которой нас поджидает ласково оскалившийся тигр? Со слегка снисходительным умилением мы отправились приветствовать пролетарских братьев, и нате-ка! Пролетарские братья не просят наших приветствий – просят они, чтобы мы удавились. Подойдя в своих размышлениях к *этому* пункту, дрогнувший интеллектуал кидается прочь и, если резво припустит, способен добежать до фашизма.

11

Ну а как же социализм?

Не требует доказательств, что мы сегодня по уши завязли в проблемах, серьезность которых очевидна последним тугодумам. Мы живем в мире, где все несвободны, где фактически никому не гарантирована безопасность, где почти невозможно существовать, сохранив честность и порядочность. У той огромной части рабочего класса, о которой речь шла в первой части этой книги, нет шансов улучшить свое положение без кардинальных изменений всей системы. Лучшее, на что может надеться британский пролетарий, – временный спад безработицы в связи с подъемом отрасли, которая получит искусственный стимул вроде перевооружения. Даже средние классы впервые в их истории почувствовали себя ущемленными. Голод их пока не пугает, но многие и многие ощутили тягостную растерянность, им все труднее и труднее воодушевляться своим полезным делом, своим уютным достатком. Даже счастливчиков на вершине общества, настоящих богачей, нередко посещают мысли о бедствиях низов и еще чаще – страх перед зловещим будущим. И это лишь начало, начало в стране благополучной, за века накопившей горы награбленных сокровищ. Какие неведомые ужасы готовит завтрашний день, нам, укрывшимся на нашем острове, сейчас и не представить.

Тем временем каждому, у кого шевелятся мозги, известно, что есть такой выход, как мировая, искренне и честно налаженная система социализма. Социализм, даже лишив прочих даров, по крайней мере, нас накормит. Вообще социализм это же столь элементарный здравый смысл, что я порой изумляюсь, отчего он еще не утвердился прочно и повсеместно. На плывущем сквозь пространство плоту нашего мира запасов провизии хватит для всех, а идея всеобщего сотрудничества со справедливым распределением труда и пропитания так очевидна, что никто, пожалуй, не отказался бы ее принять, разве что по каким-то особым личным мотивам цепляться за нынешний строй. И все-таки социализм *не* утвердился. В реальности он даже явно отступает. Почти всюду социалисты сдают позиции бешено атакующим фашистам, и зачастую это совершается с кошмарной быстротой. Сейчас, когда я пишу эти строчки, испанские фашисты бомбят Мадрид, и, может, ко дню публикации книги список фашистских государств пополнится еще одним названием, не говоря о контроле фашистов над Средиземноморьем, что со временем может и британскую внешнюю политику передать в лапы Муссолини. Впрочем, я сейчас не намерен пускаться в широкие политические дискуссии.

Меня волнует, что социализм теряет почву именно там, где должен бы стоять крепко и твердо. Настолько нужная, необходимая – ведь каждый пустой желудок тут аргумент «за» – *идея* социализма ныне менее популярна, чем десять лет назад. В большинстве, англичане сегодня не просто равнодушны к социализму, но отчетливо враждебны. По-видимому, главным образом, из-за ошибочных методов агитации. Социализм в том виде, в каком он преподносится, содержит нечто неприятное и отталкивает как раз тех, кто должен бы служить ему опорой.

Еще вчера это казалось не слишком важным. Совсем недавно социалисты – особенно ортодоксальные марксисты – объясняли мне со снисходительной улыбкой, что социализм настанет сам собой, согласно неким таинственным законам «исторической необходимости». Вера в такие чудеса, возможно, не иссякла, но, мягко говоря, заметно пошатнулась. Отсюда неожиданные попытки коммунистов в разных странах объединяться с демократическими силами, чего они, коммунисты, много лет чурались как огня. Момент кризисный, а потому отчаянно необходимо обнаружить, *почему* социализм утратил привлекательность. И бесполезно игнорировать неприязнь к социализму как проявление глупости или корысти. Хотите устранить эту неприязнь, тогда надо её понять, – разобраться в психологии противников или хотя бы внимательно рассмотреть их доводы. Спор не решить по справедливости, не выслушав обе стороны. Так что, как ни парадоксально, защиту социалистической идеи мне придется начать с нападок на нее.

В предыдущих трех главах я пытался проанализировать препоны, созданные нашей архаичной социальной системой (и снова буду вынужден это затронуть, ибо убежден, что нынешняя тупость в трактовках классовой проблемы активно способствует бегству потенциальных социалистов в лагерь фашизма). Следующую главу хотелось бы посвятить моментам, отвращающим от социализма чуткие и тонкие умы. Теперь же просто взглянем на первые, самые общие возражения, которые слышишь от достаточно благоразумных (не тех, что сразу отмахиваются: «А деньги-то где взять?») критиков социализма. Пускай их возражения покажутся пустыми или вздорными, важно обсудить симптомы – выяснить подоплеку неприязни. И прошу обратить внимание, что сам я в этом споре на стороне социализма, хотя вынужден сейчас выступить «адвокатом дьявола». Должен же я понять, почему люди, чьим сердцам близки фундаментальные цели социализма и чей разум способен уяснить его работоспособность, при одном упоминании о социализме кидаются прочь.

Часто тебе без долгих раздумий отвечают: «Я против не социализма, я против социалистов». Логически аргумент слабоватый, но ввиду массовости довольно весомый. Как и в случае с христианством, худшая реклама социализму – его сторонники.

Первое, что бросается в глаза, – глубоким знанием социалистической теории отличаются исключительно персоны средних классов. Типичный социалист это не тот угрюмый, хрипло ворчащий пролетарий в замасленной спецовке, что видится трепетным пожилым леди. Это юный сноб-радикал, который лет через пять выгодно женится и станет ревностным католиком, а еще чаще – строгий, важный человечек, убежденный трезвенник со склонностью к вегетарианству, в прошлом отдавший дань баптизму или методизму, достигший определенного положения и, главное, ничуть не намеренный его лишаться. Последний тип необычайно характерен для социалистических партий любого толка (по-видимому, целиком воспроизводит лейбористов старого образца). Кроме того, кошмарное – вызывающее настоящую тревогу – количество непременно наводняющей левацкие собрания публики с причудами. Такое впечатление, что слова «коммунизм», «социализм» магнитом стягивают со всей Англии нудистов, пламенных поборников фруктовых соков и сандалет на босу ногу, сексуальных маньяков, энтузиастов траволечения, квакеров, пацифистов и феминисток. Однажды этим летом, когда я ехал через Лечуорт[48], в автобус, запыхавшись, влезли два старика странноватого вида. Обоим было приблизительно по шестьдесят. Низенькие, толстощекие, румяные и с непокрытой головой, у одного непристойно голый череп, у другого пышная седая грива а ля Ллойд Джордж, оба в фисташкового цвета рубашках и спортивных шортах, так туго обтянувших огромные зады, что различалась каждая ямка. Появление их вызвало легкий шок. Сидевший рядом пассажир, по виду коммивояжер, глянув на них, потом на меня, снова на них и на меня, шепнул: «Социалисты! Точно говорю вам – краснокожие!». И вероятно, он был прав: под Лечуортом находился организованный социалистами учебный лагерь. Однако примечательно, что в глазах коммивояжера чудаковатость означала социализм, а социализм – чудаковатость. Обывательское мнение настроено опознавать социалиста по чертам непременной эксцентричности. Похоже, подобное представление бытует и среди самих социалистов. Вот, например, передо мной проспект другого летнего лагеря, где вслед за информацией о сроках и условиях пребывания идет просьба за-

[48] Лечуорт – построенный в 1903 г. недалеко от Лондона первый город-сад.

ранее известить устроителей о моей диете — «обычной или вегетарианской». Им, понимаете ли, обязательно нужно выяснить столь важный пункт. Одной подобной детали достаточно, чтобы оттолкнуть множество приличных людей. Инстинкт сразу говорит людям, что чудак, вопреки нормам человечества желающий гастрономическими вывертами на пяток лет продлить существование своей туши, это особь не совсем человеческой породы.

И еще безобразный факт — большинство благовоспитанных социалистов, теоретически присягнувших бесклассовому обществу, клещами цепляются за мельчайшие знаки собственного социального престижа. Помню ужас, охвативший меня при первом посещении митинга НРП в лондонском филиале партии (в северных областях, где буржуазной публики пожиже, могло быть по-другому). Вот *эти* пошленькие скопидомы, думал я, и есть борцы за дело пролетариата? На каждом из присутствовавших леди и джентльменов печать надменной мещанской кичливости. Зайди вдруг сюда настоящий пролетарий, какой-нибудь чумазый шахтер, они поежатся в брезгливом раздражении, а кое-кто гордо покинет зал. Та же тенденция наблюдается в литературе социалистов, которая, даже если автор не демонстрирует безупречно изящный слог, абсолютно чужда рабочей аудитории и строем речи, и способом мышления. Таких авторов, как Коул, Уэбб, Стрейчи, не отнесешь к подлинно пролетарскими писателями. Сомнительно, существует ли вообще сегодня нечто, что можно назвать пролетарской литературой (даже статьи «Дейли Уокер» пишутся тщательно отцеженным южно-английским языком), и скетчи хорошего эстрадного комика ближе народной лексике, чем творения любого писателя, увлеченного социализмом. Что же касается специального жаргона коммунистов, то их тексты далеки от нормальной речи, как учебник математики. Не забыть обращенное к рабочим выступление одного профессионального коммунистического лектора – сплошная книжность, переполненная конструкциями со всякими «вопреки вышеизложенному...», «невзирая на упомянутый аспект...» и, разумеется, бренчавшими в каждой фразе «классовым сознанием», «пролетарской солидарностью», «идеологией». Затем, поднявшись, к толпе незатейливо и внятно обратился ланкаширский рабочий. Ясно, кто из двоих ораторов имел больший успех, хотя знанием коммунистических догматов ланкаширский работяга, прямо скажем, не блистал

Вообще, надо усвоить, что пролетарий, пока он действительно пролетарий, исключительно редко является социалистом в прямом и полном смысле. Он может голосовать за кандидата-лейбориста, иной

раз даже за коммуниста, но его понимание социализма весьма отличается от знания в головах поднаторевших в теории книжников. Для трудяг, которых видишь в любом пабе субботним вечером, социализм, главным образом, означает повышение зарплаты, сокращение рабочего дня и укрощение наглых боссов. Настроенным более революционно (участвующим в демонстрациях, занесенным в черные списки) важны еще лозунги, чтобы сплотиться против угнетения и угрозы насилия. Но, насколько позволяет судить мой опыт, ни один действительный пролетарий не добирается до теоретических основ. На мой взгляд, он часто понимает социализм точнее ортодоксального марксиста, так как в отличие от последнего всегда помнит, что это справедливость и обычная порядочность. Того, что социализм не сводится к справедливой оплате труда, что реформа подобного масштаба призвана перестроить нашу цивилизацию и весь наш образ жизни, он, правда, не улавливает. Социалистическое будущее представляется ему как избавленное от худших пороков сегодняшнее общество с теми же центральными интересами: семья, паб, футбол и местные городские новости. А что до философской стороны марксизма, трюков с горошиной и тремя наперстками «теза» — «антитеза» — «синтез», мне еще не встречалось пролетария, который бы хоть сколько-то увлекся этой хитрой игрой. Конечно, среди социалистов-книжников немало выходцев из низов, но они не остались пролетариями, не занимаются больше физическим трудом. Это упомянутый в прошлой главе типаж получивших образование пролетарских юношей, которые проникают в средний класс через круги литературной интеллигенции, либо становятся членами парламента от лейбористов, либо входят в официальное руководство профсоюзов. Явление самое неутешительное. Призванный отстаивать интересы своих товарищей, бывший рабочий паренек все данные ему способности использует на то, чтоб заиметь непыльное местечко и «отшлифовывать» себя. Более того, вместо борьбы с буржуазностью он сам становится типичным буржуа, что, впрочем, зачастую не мешает ему оставаться правоверным марксистом. Хотелось бы мне встретить прочно подкованного «идеологически» и продолжающего вкалывать в цеху или забое шахтера, докера, сталелитейщика.

Одна из параллелей между коммунизмом и католицизмом в том, что лишь образованный слой паствы строго внемлет учению. В английских католиках (я имею в виду не коренных папистов, а новообращенных типа Рональда Нокса, Арнольда Ланна) изумляет пафос самопознания. Им, видимо, невозможно даже думать, тем более писать

о чем-либо помимо собственного пребывания в лоне католичества, и вместе с органично вытекающим отсюда самовосхвалением это весь товарный ресурс католического литератора. Но особенно интересно их стремление в опоре на догму истолковывать всякую вещь вплоть до деталей обихода. Даже напитки, как выясняется, могут быть правоверными или еретическими, о чем свидетельствует начатая Честертоном, Бичкомбером и прочими кампания во славу пива против чая. Согласно Честертону, у настоящих христиан в обычае пить пиво, тогда как чай – напиток язычников, а кофе – «опиум пуритан». Неудачно для данной теории, что множество католиков выступает за сухой закон, а также невероятное пристрастие ирландцев, армады католичества, к чаю, но меня занимает склад ума, способного даже еду и питье сделать поводом для религиозной нетерпимости. Католик-пролетарий никогда не додумался бы до подобного абсурда. Его не тянет размышлять о католицизме, и он не слишком сознает свое отличие от некатолических соседей. Попробуйте сказать ирландскому работяге в доках Ливерпуля, что его чашка чая – примета язычества, он обзовет вас дураком. Ему не очень свойственно вникать в глубины и нюансы церковного догмата. В домах католиков Ланкашира увидишь распятие на стене и «Дейли Уокер» на столе. Идейным фанатизмом отличаются лишь люди образованные, в особенности литераторы. То же, mutatis mutandis[49], относительно коммунистов. Их символ веры в логически четкой форме у пролетария не обнаружишь.

Мне могут возразить, что даже если сам социалист и не из пролетариев, им движет любовь к рабочему классу. Ведь вдохновляет и ведет его стремление, презрев свой буржуазный статус, сражаться на стороне пролетариата.

Но так ли это? Иногда, глядя на социалиста – пишущего трактаты социалиста-интеллектуала с его лохматой шевелюрой, джемпером и цитатами из Маркса, я недоумеваю: что же, черт возьми, его воодушевляет? Любовь к людям, особенно из рабочего класса, у него, крайне далекого от живой действительности, предположить трудновато. Полагаю, основным движущим мотивом многих социалистов является просто гипертрофированная тяга к порядку. Существующая система раздражает их не тем, что плодит нищету, и еще менее тем, что не позволяет свободно дышать, а, главным образом, неразберихой. Им хочется свести мир к диспозиции на шахматной доске. Вот, например, пьесы

[49] Mutatis mutandis – с соответствующими изменениями (*лат.*).

такого пожизненного социалиста, как Бернард Шоу. Много ли в них понимания пролетарской жизни или хотя бы знания о ней? Сам Шоу говорит, что выводить на сцену пролетария следует «как объект сострадания»; на самом деле он не показывает его даже так, разве что, в стиле юморесок Джекобса[50], комическими масками обитателей Ист-Энда («Майор Барбара», «Обращение капитана Брасбаунда»). Относится Шоу к рабочему человеку в лучшем случае с насмешливостью шаржей из «Панча», а иногда, в драматичных коллизиях (вспомните, скажем, неимущего юношу в пьесе «Мезальянс») рисует его просто жалким и отвратительным. Бедность, в особенности убожество бедняцкого мышления, по мнению драматурга, следует упразднить *сверху*, принудительно, если придется, и, может, даже лучше – принудительно. Отсюда благоговение перед «великими» людьми, влечение Шоу к диктатурам, фашистским или коммунистическим; Сталин и Муссолини для него (судя по его репликам относительно итало-абиссинской войны и бесед Сталина с Уэллсом) личности одинаково крупные, масштабные. О том же менее откровенно поведала в своей медовой автобиографии миссис Сидни Уэбб, бессознательно, но выразительно обрисовав чванливость мнящих себя социалистами посетителей трущоб. На деле для многих, именующих себя социалистами, революция не означает вбирающего их самих движения масс, для них это набор реформ, что «нами», мудрыми, будут назначены «им», неразумным низшим классам. Однако было бы ошибкой счесть социалистов-книжников вялыми и лишенными эмоций. Весьма редко проявляя признаки душевной симпатии к эксплуатируемым, они великолепно демонстрируют ненависть – правда, довольно специфичную, академичную – к эксплуататорам. Славный спорт обличения буржуазии в большой чести. Удивительно, с каким пылом авторы бичуют, яростно ниспровергают класс, к которому сами принадлежат по рождению или усвоенному стилю существования. Ненависть к буржуазной «идеологии» иной раз простирается даже на литературных персонажей. Согласно Анри Барбюсу, герои романов Пруста, Андре Жида и им подобных – «типы, которых страстно хотелось бы иметь по ту сторону баррикад». Очень воинственно. Читая когда-то «Огонь» Барбюса, мне казалось, что личный опыт баррикадных боев поселил в сердце автора отвращение к рекам крови. Но, разумеется, вонзать штыки в ужасно живучих буржуа на страницах статьи приятней, чем на настоящей баррикаде.

[50] Джекобс, Уильям Уайтмарк (!863–1043) – британский писатель-юморист.

Ярчайший пример травли буржуазного сословия мне встретился в книге Мирского «Британская интеллигенция»[51]. Интересное, выразительное сочинение, с которым стоит ознакомиться, чтобы понять возвышение фашизма. Мирский (в прошлом князь Мирский) – русский белоэмигрант, приехавший в Англию и несколько лет читавший лекции по литературе в Лондонском университете. Позднее он был обращен в коммунистическую веру, вернулся в Россию и написал свою книгу как некое разоблачение британской интеллигенции с позиций марксизма. Книга дико злобная, с откровенным подтекстом «теперь вам меня не достать и можно как угодно вас расписывать!» и кроме общего искажения картины содержит ряд конкретных, надо полагать, вполне целенаправленных подтасовок. Конрад, например, объявлен «империалистом не меньше Киплинга», произведения Лоуренса названы «порнографией» и «заметанием следов пролетарского происхождения» (словно Лоуренс был лавочником, который пролез в Палату лордов!). Подобные штучки беспокоят, памятуя, что адресованы они российскому читателю, не имеющему никакой возможности проверить их правдивость. Но в данный момент я о впечатлении англичанина. Литератор аристократических кровей, ни разу в жизни, вероятно, не общавшийся с рабочими на равных, изрыгает потоки ядовитой клеветы, свирепо понося «буржуазных» коллег. Почему? По всей видимости, исключительно от злости. Автор воюет против британской интеллигенции, но *во имя чего*? На это в тексте ни намека. В итоге создается ощущение, что коммунизм не предлагает ничего кроме *ненависти*. Опять-таки удивительное сходство с позицией неофитов католицизма. Сочинения, равные по градусу ожесточенности, быстрей и вероятнее всего найдешь у популярных апологетов католичества. Тот же яд и то же мошенничество, хотя, надо отдать справедливость католикам, манера у них все-таки приличнее. Странно, однако, что духовным братом товарища Мирскому оказывается не кто иной как его святейшество в Риме. Коммунист и католик говорят вещи разные, по смыслу даже противоположные, и оба они с удовольствием сварили бы друг друга в кипящей смоле, но на сторонний взгляд в них чрезвычайно много общего.

Социализм *в той форме, в какой он сегодня преподносится*, особенно влечет тип людей хмуро недовольных или даже немилосердных. С одной стороны, полный гнева социалист-пролетарий – этот не очень

[51] Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) – поэт, критик, историк литературы. В эмиграции стал одним из идеологов евразийства. По возвращении в СССР написал книгу «Интеллидженсия» (1934) о среде, творчестве и взглядах английских писателей. В 1937 был арестован, умер в лагере под Магаданом.

представляет общие принципы, желает только ликвидировать нищету. С другой – социалист начитанный, теоретически постигший, что нынешней цивилизации пора на слом, и жаждущий дотла ее разрушить. Такой род интеллектуальных радикалов целиком и полностью из коренного либо свежего состава среднего класса. К вящему несчастью, здесь же (и в ужасающем, если не подавляющем, количестве) присутствует упомянутый выше разнообразно крикливый народ –громящие буржуазию на манер Шоу пустозвоны и всегда чующие, куда ветер дует, молодые социал-литераторы, сегодня коммунисты, завтра фашисты, а также унылое племя высокоумных дам и бородатых трезвенников в сандалетах, которое слетается на запах «прогрессивного», как мухи на дохлого кота. У обычного порядочного человека, чьи душевные устремления в унисон с *фундаментальной* социалистической идеей, от данной публики впечатление, что все эти партии социалистов дело чуждое и сомнительное. Хуже того, его приводят к циничному выводу, что социализм, видимо, участь роковая и неминуемо грядет, но лучше бы как можно позже. Повторюсь: судить о самом движении по его сторонникам, разумеется, не совсем справедливо. Однако люди неизменно судят именно так, а потому в общественном мнении понятие социализма окрашено представлением о социалистах – людях угрюмо туповатых или попросту малосимпатичных. «Социализм» чудится государственным устройством во вкусе и стиле наших умелых ораторов. Делу это наносит огромный вред. Расскажи человеку насчет диктатуры пролетариата умно, тактично, и он спокойно выслушает, но заяви ему о диктатуре формально, с бесчувственным самодовольством, – слушатель изготовится к драке.

У многих людей ощущение, что грядущая, вероятно, система социализма относительно нашей нынешней будет чем-то вроде бутылки колониального бургундского в сравнении с бокалом первоклассного божоле. Живем мы, по общему признанию, среди цивилизации гибнущей, но в прошлом великой и местами даже продолжающей цвести. Она еще сохраняет свой «букет», тогда как предполагаемое социалистическое будущее, подобно колониальному бургундскому, лишь вода с кисловатым привкусом железа. Отсюда тот печальный факт, что наиболее даровитых людей искусства никак не убедить молиться в храмах социализма. Особенно это касается писателей, чье творчество с политическими взглядами связано непосредственней и очевидней, нежели, скажем, у живописцев. Не кривя душой, приходится констатировать, что всё, имеющее основание числиться социалистической литературой, тоскливо, безвкусно и просто плохо. Взгляните на сегодняшнюю ситуацию в Англии.

Целое поколение выросло с приязнью к идее социализма, и все же У. Х. Оден (так сказать, высшая точка в лирике социалистов) это какой-то размякший Киплинг, даже слабее поэтов своего круга[52]. Все сильные авторы, все значительные произведения – по другую сторону. Хотелось бы верить, что в России (о ее сегодняшней литературе мне, впрочем, ничего не известно) по-другому; возможно, там хотя бы послереволюционное буйство прибавило писателям энергии. Но можно сказать уверенно: западноевропейский социализм литературных шедевров не создал. Прежде, когда воззрения были менее определенными, имелся ряд сильных авторов, полагавших себя «социалистами», хотя употреблявших термин с туманной широтой. У Ибсена и Золя это означало немногим более чем «прогрессивный», у Анатоля Франса так обозначалась просто антиклерикальность. Что же касается сознательных пропагандистов социализма (Шоу, Барбюс, Эптон Синклер, Уильям Моррис, Уолдо Фрэнк и многие другие), их политические рассуждения всегда были пустопорожней болтовней. Я, конечно, не призываю забраковать социализм по той причине, что он не нравится крупным писателям, и не считаю, что искусство должно твориться для искусства, хотя отсутствие прекрасных песен мне видится дурным знаком. Я просто отмечаю: подлинные дарования к социализму нынче или равнодушны, или активно и болезненно враждебны. И это плохо не только для писателей – для самого социализма, который так нуждается в талантах.

Вот каков внешний аспект отвращения к социалистическим идеям. Мне хорошо известны стандартные аргументы с обеих сторон возможного здесь спора. Все сказанное выше я излагал ярым социалистам, которые старались обратить меня в свою веру, а в ответ на мои попытки их переубедить клеймили меня въедливым злопыхателем. От общения с персонами некоторых социалистов, особенно начетчиков-марксистов, просто заболеваешь. Наивно поддаваться впечатлениям подобного рода? Глупо? И даже недостойно? Все так, но штука в том, что *это существует* и должно быть принято во внимание.

12

Однако есть трудности гораздо серьезнее тех временных и локальных проблем, о которых говорилось в предыдущей главе.

[52] Мнение Оруэлла о поэзии Одена вскоре коренным образом изменится: см., например, его эссе 1940 года «Во чреве кита».

Явное обилие мыслящих людей на стороне противника социалисты склонны объяснять осознанной или неосознанной продажностью, косным неверием в то, что социализм «будет работать», или же просто боязнью бед и неудобств в период установления нового строя. Мотивы жизненные, тем не менее множество людей, не имея ни одного из них, социализм все-таки отвергают. Отвергают по причинам внутренним, духовным («идеологическим»). И вовсе не потому, что в их представлении социализм «не будет работать», а как раз потому, что работать он будет слишком хорошо. Страшит их не действительность собственных дней, а реальность победившего социалистического будущего.

Мне крайне редко встречались убежденные социалисты, способные понять, что думающим людям может быть неприятна цель, поставленная социализмом. Марксисты, например, заведомо пренебрегают подобными буржуазными сантиментами. Вообще, марксисты не большие мастера разбираться в мышлении врага или критика – будь по-другому, ситуация в Европе, возможно, оказалась бы не столь плачевной. Освоив метод, объясняющий буквально все на свете, они не часто утруждают себя изучением умов с иной начинкой. Приведу достаточно выразительный пример. Обсуждая популярный (и, безусловно, небеспочвенный) тезис о том, что фашизм это продукт коммунизма, мистер Н. Холдуэй, автор из числа наиболее даровитых нынешних марксистов, пишет:

«Старый миф о коммунизме, ведущем к фашизму... Доля истины тут есть: деятельность коммунистов предупреждает правящий класс, что либерально-демократические партии уже не способны держать пролетариат в узде и диктатура капитала, чтобы выжить, должна принять другую форму».

Изъян марксистского метода в полной красе. Обнаружив экономическую причину, автор ни словом не касается духовной, для него совершенно несущественной, стороны явления. Фашизм у него – исключительно маневр «правящих классов». Но это могло бы объяснить лишь профашистский настрой капиталистов. А как же миллионы тех, кто не владеют капиталами, не получают, зачастую и не ждут здесь выгоды, но, тем не менее, активно пополняют собой ряды фашистов? Очевидно, ими движут мотивы чисто идеологические. Он ищут укрытия в фашизме, поскольку коммунизм, явно или мнимо, нападает на некие их ценности (патриотизм, религия и пр.), лежащие гораздо глубже материальных интересов; и в *этом* смысле коммунизм действительно ведет к фашизму. Увы, марксист почти всегда нацелен доставать экономических кошек из идеологических мешков, чем выявляется часть истины, но с ущербом

едва ли не гибельным для задач пропаганды. И мне хотелось бы теперь обсудить именно этот – духовный – отказ от социализма, который ярко проявляется у людей чутких и восприимчивых. На этой проблеме придется задержаться, ибо она мощно заявила о себе, однако в среде социалистов ее практически игнорируют.

Первое, что стоит отметить, – социалистическая идея тесно связана с идеей машинного производства. Вероучение социализма в основе урбанистично. Взраставший одновременно с индустриализацией, идейный социализм всегда опирался на городской пролетариат, городских интеллектуалов, и вряд ли сама его концепция могла возникнуть в каком-либо обществе, кроме индустриального. Для этой эпохи идея социализма органична, поскольку частная собственность терпима лишь в системе хотя бы относительного самообеспечения индивидуумов, семейств и прочих общественных единиц, что в новых условиях делается абсолютно невозможным. Индустриализация просто *требует* форм коллективизма. Не обязательно социализма, разумеется, – возможно, некоего, уже предвещаемого фашистским порядком, рабовладельческого строя. Верна и обратная зависимость: машинное производство внушает идею социализма, но и социализм как мировая система подразумевает машинное производство, так как нуждается во многом, чего требует модернизация жизнеустройства. Ему, например, требуется постоянная связь и товарообмен между частями земли, требуется достаточно централизованный контроль, приблизительно равный для всех уровень жизни и, вероятно, некий общий стандарт образования. Стало быть, мы можем представить, что социализм в любом реальном варианте будет механизирован не меньше, чем ныне Соединенные Штаты, а скорее гораздо больше. Этого уж ни один социалист не станет отрицать. Социалистический мир всегда изображается чрезвычайно организованным и полностью механизированным, зависящим от машин, как древние цивилизации от рабов.

Такая вот прелесть (или гадость). Многие, пожалуй большинство мыслящих людей, не влюблены в машинную цивилизацию, но лишь болван сегодня может нести вздор с призывом выкинуть машины. Беда, однако, в том, что технический прогресс обычно связывается с идеей социализма не в качестве нужного компонента, но как самоцель, объект почти религиозный. Недаром же столько пропагандистских материалов посвящается быстрому подъему промышленности в Советской России (плотина на Днепре, тракторные заводы и т.д.). Карел Чапек тут попал в точку жутким финалом своего романа «РУР», когда роботы, уничтожив

последнего человека, заявляют о намерении «построить много домов» (так, исключительно ради строительства). Наиболее рьяные сторонники социализма являются столь же рьяными энтузиастами технического прогресса. И опять социалисты не способны представить, что на сей счет имеется чье-то совсем другое мнение. Самый убедительный, как им кажется, аргумент – потрясти вас сообщением, что нынешняя техника ничто в сравнении с завтрашней, при всемирном социализме. Вместо одного аэроплана будет полсотни! Всю ручную работу будут выполнять техника, и все, изготовляемое нынче из кожи, дерева и камня, будет делаться из стали, стекла и резины! Ни беспорядка, ни расхлябанности, ни пустынь, ни диких животных, ни сорняков, ни болезней, ни бедности, ни боли... Сплошной порядок и *эффективность*! Но от видений будущего в духе лучезарных уэллсовских фантазий чуткую душу бросает в дрожь. Обратите внимание, что эта роскошная версия «прогресса» не является неотъемлемой частью социалистической доктрины, но декларируется как единственная. А в результате свойственный всякой человеческой натуре потенциал консервативных чувства легко мобилизуется против социализма.

Чувствительную личность непременно посещают моменты сомнения насчет техники, да и порождающей её научной мысли. Важно, однако, различать исторические причины такого недоверия, оставив в стороне ревность современных литераторов к ненавистной науке, переплюнувшей высокое искусство. Самое раннее из известных мне нападений на науку и технику, обнаруживается в третьей части «Путешествий Гулливера»[53]. Впрочем, атака Свифта – по-своему блестящая – все-таки неуместна и даже глуповата, поскольку у обличителя здесь явный (как ни странно это звучит относительно автора «Гулливера») недостаток воображения. Свифту наука представлялась копанием в ерунде, а механизмы – бессмысленным изобретательством. Ему, с его критерием очевидной практической пользы, не хватило прозорливости увидеть, что новинка, сегодня никчемная, завтра может стать весьма результативной. Лучшим из всех достижений он называет «умение вырастить два колоска на стебле, где прежде рос только один», хотя не видит «при чем тут механика». Чуть позже презираемые механизмы начали действовать, сфера применения научной мысли расширилась, и вспыхнул знаменитый, так волновавший наших дедушек конфликт науки и религии. Бой закончился тем, что обе стороны объявили о своей победе, но предвзятое отноше-

[53] «Путешествие в Лапуту».

ние к научно-техническим новшествам у наиболее стойких сторонников веры сохраняется до сих пор. На протяжении всего девятнадцатого века слышались их протесты (читай, например, роман Диккенса «Тяжелые времена»), хотя основой обычно служили просто бесчеловечность и уродливость начальной стадии промышленной индустрии. Другое дело – нападки Сэмюэля Батлера в широко известной главе его сатиры «Едгин»[54]. Правда, живя в более благодушную эпоху, когда у личности высшего разряда еще была возможность оставаться вольным дилетантом и многое воспринимать как сугубо интеллектуальный экзерсис, Батлер, ясно разглядевший нашу жалкую зависимость от машины, вместо тревоги за последствия предпочел шутливый гротеск. Только в наши дни, видя полное торжество механизации, можно, наконец, *почувствовать* машинную угрозу самому человеческому существованию. Вряд ли человек способный думать и переживать хоть раз, глядя на стулья из гнутых железных труб, не ощутил, что техника — враг жизни. Ощущается угроза, впрочем, не столько разумом, сколько инстинктом.

Люди в общем-то понимают, что «прогресс» это надувательство, но приходят к такому выводу путем, так сказать, мыслительной стенографии. Попробую логически восстановить обычно опускаемые звенья. Прежде всего, вопрос: в чем назначение машины? Очевидно, первейшая ее функция в экономии усилий, и те, кого машинная цивилизация вполне устраивает, редко видят причины заглянуть несколько глубже. Вот, например, человек, заявляющий, даже кричащий, что в современном механизированном мире ему замечательно, – мистер Джон Биверс, автор книги «Мир без суеверий». Цитирую:

«Безумие утверждать, что сегодняшний рабочий с недельным заработком три-четыре фунта чем-то ниже скотника на ферме восемнадцатого века. Или вообще любого, занятого в сельском хозяйстве прошлого и настоящего. Это просто выдумка. Чертовски глупо голосить насчет облагораживающих трудов в полях, на фермах, противопоставляя их труду в паровозных депо или цехах автомобильного завода. Работа – досадная неприятность. Работать мы должны, но все наши труды имеют целью обеспечить нам досуг и средства провести этот досуг наиболее приятным образом».

И еще:

«У человека будет достаточно времени и возможностей, чтобы устроить на земле собственный рай, не беспокоясь о сверхъестественном. Земная жизнь станет такой приятной, что попам не о чем будет рассказывать нам свои байки. Половину ерунды выбьет из них одним метким ударом...».

Целая глава (четвертая глава книги мистера Биверса) об этом, и чтение ее представляет определенный интерес как пример поклонения машине в самой пошлой, вульгарной и грубой форме. Искренняя позиция достаточно значительной части современного общества. Всякий пожиратель аспирина из столичных предместий горячо поддержит подобную тираду. Притом заметьте, с каким гневом («а вот уж не-ет!») мистер Биверс реагирует на предположение, что дед его, возможно, был лучше него, и еще более ужасное предположение, что возврат к старомодным простому обиходу заставит усиленно напрягать мускулы. Смысл работы, понимаете ли, — «обеспечить нас досугом». Досугом для чего? Видимо, чтобы поскорее стать мистером Биверсом. Однако из речей насчет «земного рая» хорошо вырисовывается цивилизация его грез: нечто вроде сетевых ресторанчиков «Лайонз», где saecula saeculorum[55] можно вволю наслаждаться шумом и толчеей. У всех ценителей машинного мира — скажем, в произведениях Герберта Уэллса — найдешь подобные пассажи, и как часто мы пропускаем мимо ушей их патетичную трескотню в стиле «машины, новое племя наших рабов, которые освободят человечество...». Единственная опасность техники им видится в применении разрушительных машин, например, боевых самолетов. За исключением войн и стихийных катастроф будущее в их глазах это шагающий невиданными темпами технический прогресс. Машины, чтобы меньше трудиться, меньше думать, меньше страдать, повышать гигиеничность, эффективность, организованность и давать еще больше гигиены, порядка, машин... и до финальной вершины по образцу уэллсовской утопии, что так метко спародирована в романе Хаксли «Дивный новый мир» как рай вконец отупевших людишек. Разумеется, будущими отупевшими людишками мечтатели себя не видят, в грядущем видятся они себе Людьми-Богами. Только с чего бы это? Весь машинный прогресс направлен к растущей и растущей эффективности, то есть, в конечном счете, нам обещается мир, где уже *нет ничего нехорошего*. Но в таком мире целый ряд «богоподобных» качеств будет иметь ценность не большую, чем умение животных шевелить ушами. В сочинениях Уэллса «Люди как боги» и «Сон» жители будущего изображены смелыми, благородными, сильными. Но сохранится ли смелость в том мире, где опасности исчез-

[54] Название является анаграммой слова «нигде» (в оригинале «Erewhon» от «nowhere»).

[55] Во веки веков (*лат.*).

нут (ведь машинный прогресс нацелен их ликвидировать). Возможна ли там смелость? И зачем сила в мире, где не нужно будет никаких усилий? И как насчет верности или великодушия? В мире, где все правильно и прекрасно, такие качества будут не только лишними, но, вероятно, невообразимыми. Многое из того, что восхищает в людях, обусловлено противостоянием горю, бедам, трудностям, но все эти несчастья машинный прогресс призван устранить. В книгах, подобных утопиям Уэллса, людям оставлены и сила, и отвага, поскольку это свойства симпатичные, необходимые полноценному человеку. Что ж, может быть, жители блаженного завтра будут искусственно творить опасности, дабы являть отвагу, а вялые от безделья мышцы станут накачивать гимнастикой с гирями. Здесь перед нами колоссальное противоречие в идеях прогрессистов. Развитие техники стремится сделать условия твоего существования мягкими и безопасными, а сам ты все равно стремишься быть храбрым и твердым, – неистово рвешься вперед, крепко держась за старину. Совсем как если бы лондонский брокер ходил в офис в кольчуге и желал изъясняться на церковной латыни. Так вот поборник прогресса одновременно выступает поборником архаики.

Между тем технический прогресс, я думаю, постепенно изымает из жизни риск и трудности. Мнение мое можно оспорить, поскольку в данный момент новшества вроде бы демонстрируют обратное. Например, переход от лошади к автомобилю. На первый взгляд, учитывая огромную смертность от дорожных аварий, автомобиль явно не способствует снижению риска. Кроме того, лихая езда по колдобинам требует мужества и выдержки столько же, сколько укрощение мустангов или скачка с препятствиями. Однако все машины совершенствуются в направлении большей безопасности и легкости управления. Угроза автомобильных аварий исчезнет, если мы наконец всерьез займемся состоянием дорог (а рано или поздно проблемой этой придется заняться), да и автомобиль тем временем станет таким, что всем кроме слепых и паралитиков после пары уроков не составит труда справиться с вождением. Даже теперь, чтобы прилично водить автомобиль нервов и навыков нужно меньше, чем для умения прилично держаться в седле, а через двадцать лет, возможно, автомобилисту вообще не понадобится ни этих навыков, ни этих нервов. Стало быть, пересадка с лошади на автомобиль в итоге окажется шагом к отупению человечества. Или совсем уж, кажется, небезопасное изобретение – самолет. Первые летчики отличались высочайшей смелостью, и пока еще пилоту требуется исключительное самообладание. Но тенденция в действии: самолеты, подобно автомобилям, будут становиться надежнее; миллионы инженеров, совершенствуя летательные аппараты, работают над этим. В конце концов, хоть совершенство и недостижимо, появится самолет, пилот которого будет нуждаться в смелости и ловкости не больше, чем новорожденный младенец в шагомере. Так развивается весь машинный прогресс. Техника, усложняясь, становится все проще в пользовании, все надежнее защищенной от неумелого, неосторожного обращения, – соответственно, строится мир для вялых, дряблых недоумков. Мистер Уэллс, вероятно, парировал бы это тем, что абсолютной надежности никогда не достичь и, сколько не повышай эффективность, всегда останутся не взятые барьеры. Например (любимая, бесконечно провозглашаемая мистером Уэллсом мысль), наведя на планете полнейший порядок, человечество поставит задачу исследовать и колонизовать другие звезды. Но это лишь продление цели, а цель-то прежняя. Населите другую планету, и вновь пойдет та же игра: от четко отлаженной земной жизни к отлаженной солнечной системе, галактике, вселенной... Присягнув идеалу технической эффективности, присягаешь идеалу слабости и слабоумия. Неприятная штука, а потому весь грезящийся прогресс сводится к неистовой борьбе за достижение цели, до которой не дай боже когда-нибудь добраться. Нечасто, но время от времени встречаешь людей, уловивших, что нечто под названием «прогресс» влечет за собой нечто под названием «вырождение», и все же остающихся на стороне прогресса. И примечательно, что мистером Шоу в мечтах воздвигнут памятник Фальстафу как первому оратору, восславившему трусость.

Но ситуация еще печальнее. Я отметил абсурдность стремления к техническому прогрессу с параллельным желанием сохранить человеческие качества, прогрессу этому не нужные. А есть ли вообще *какая-либо* область наших деяний, которая не пострадает от господства машин?

Функция машин – экономия труда. В мире, полностью оснащенном техникой, машины будут выполнять всю скучную тяжелую работу, освобождая нам время для более интересных занятий. Звучит великолепно. Больно видеть, как полдюжины мужчин надрываются, копая водопроводную траншею, когда простейший механизм вычерпал бы эту землю за пару минут. Почему бы не поручить такой труд машине, а людям не заняться чем-то еще. Только вопрос: чем именно? Видимо, чтобы, освободившись от «работы», заняться какой-то «не работой». Но что является работой, а что нет? Столярничать, сажать деревья, корчевать пни, охотиться, рыбачить, кормить цыплят, фотографировать, играть на рояле, строить дом, жарить омлет, шить платье, делать шляпку, чинить

мотоцикл – это работа? Одному – работа, другому – забава. Фактически очень немного видов деятельности поддается тут объективной, независимой от конкретного варианта классификации. Землекоп, может быть, хочет посвятить досуг игре на фортепиано, а профессиональный пианист, быть может, мечтает отдохнуть, копая грядки. Следовательно, противопоставление тяжкой «работы» и вожделенной «не работы» весьма условно. Когда у человека через край еды, питья, сна, любовных утех, общения, развлечений или просто возможности бездельничать, ему все же чего-то не хватает, он ищет и обычно находит себе какое-нибудь дело, хотя не обязательно считает его работой. На уровне выше последней или предпоследней степени кретинизма жизнь, главным образом, означает постоянные усилия. Человек не брюхо на ножках, как представляется вульгарным гедонистам; ему также даны мозги, глаза и руки. Оставляя руки без работы, отключаешь огромную часть сознания. Вернемся к рабочим, копавшим водопроводную траншею. Машина освободила их от рытья земли, и они собираются чем-то себя развлечь – столярничеством, например. Но какое бы занятие они ни выбрали, найдется освобождающий от него механизм. С техникой на любой случай столярничать, шить, чинить мотоцикл уже не понадобится так же, как рыть ямы лопатами. От ловли кита до удаления косточек из вишен все будет делаться машинами. Техника посягнет даже на сферу, обозначенную у нас «высоким искусством», и это уже происходит, если вспомнить кино и радио. Предельно оснастите мир машинами, и они полностью избавят вас от любых действий, – иначе говоря, от самой жизни.

На первый взгляд, проблема небольшая. Ну, почему бы, несмотря на все машины, нам не потешить себя «рукотворчеством»? А это не так просто, как кажется. Допустим, я решил по вечерам, отслужив свои восемь часов в офисе, заняться «творческим ремеслом»: соорудить себе, к примеру, стол. Заметьте, здесь сразу есть надуманность, так как заранее понятно, что мой самодельный стол будет значительно хуже фабричных. Но даже если, не обескураженный, я начну делать стол, мне не почувствовать эмоций старинного краснодеревщика, тем более не испытать чувств Робинзона Крузо. Ведь всю основную работу за меня уже выполнила техника. Инструменты, которыми я пользуюсь, требуют минимальных навыков. Набор рубанков позволяет быстро выстругать брусок любой конфигурации – не надо ни сноровки, ни глазомера мастера, действовавшего лишь долотом и стамеской. Доски для столешницы я покупаю уже отшлифованными, ножки стола – уже выточенными на токарном станке. Можно вообще пойти купить готовые части стола и лишь

собрать их дома, ограничившись в своих трудах прилаживанием деталей и подчисткой соединений с помощью наждачной бумаги. Так в наши дни, а дальше еще больше. С доступными *в будущем* инструментами и материалами не останется никакой возможности ошибиться, то есть приобрести навык. Сделать стол будет легче и скучней, чем почистить картошку. И о каком же «рукотворчестве» тогда болтать? Искусный ручной труд (которому надо долго учиться) исчезнет совершенно. Некоторые его виды уже исчезли, не выдержав конкуренции с машиной. Пройдитесь по любому кладбищу и попытайтесь найти красивую искусную резьбу на плитах, установленных после 1820 года. Камнерезное мастерство пало так низко, что на возрождение его нужны столетия.

Но отчего все-таки невозможно сохранить для человека и технику и «рукотворчество»? Разве нельзя культивировать старинные ремесла в виде украшающего досуг хобби? Многих увлекает эта идея, столь изящно разрешающая проблему машинной цивилизации. Гражданин Утопии, нам говорят, после работы, где он ежедневно по два часа щелкает кнопкой на заводе томатных консервов, дома будет услаждать себя старинным примитивным ремеслом, удовлетворять свой творческий инстинкт выпиливанием узорных дощечек, росписью глиняных горшочков или ручным ткачеством. А почему ж такой нелепостью выглядит (и, безусловно, является) эта идиллия? Потому что есть не всегда осознаваемый, но всегда действующий принцип: наличие механизма обязывает его использовать. Никто не ходит за водой с ведром, если вода течет из крана. Это очень ярко проявляется видами туристического транспорта. Всякий, кому доводилось пользоваться древним способом передвижения в отсталых странах, знает, что разница между таким путешествием и современным вояжем на поезде или в автомобиле, как разница между жизнью и смертью. Неудобств у человека, который странствует на верблюде или на воловьей телеге, предостаточно, зато он, по крайней мере, во время поездки живет, тогда как пассажиру железнодорожного экспресса или пароходного лайнера его очередной переезд – только пауза, интервал, сорт временного небытия. И все-таки, раз существуют железные дороги, расстояния лучше преодолевать поездом (или пароходом, автомобилем, самолетом). Вот я, живущий в сорока милях от Лондона, – почему, собравшись туда, я не навьючиваю мула и не отправляюсь в двухдневный пеший поход до столицы? Потому что проносящиеся мимо каждые десять минут скоростные пригородные автобусы превратят мой черепаший поход в пытку. Для наслаждения способом древних странствий надо чтобы иной вариант был недоступен. Не настроено человеческое существо зря

надрываться. Так что нелепость утопического спасения души возней с лобзиком очевидна. Там, где все смогут выполнять машины, они и будут все выполнять. А развлекаться в будущем архаичными приемами труда, зачем-то измышляя себе сложности, было бы только дурацким любительством, фальшивым и никчемным. Все равно что усесться ужинать с каменными топорами вместо вилок и ножей. Заняться ручным трудом в грядущую эру машин значило бы откатить назад, к цивилизации нынешних вилл и ресторанчиков, бутафорски разделанных «под старину».

Тенденция развития техники подразумевает намерение истребить человеческую потребность действовать и напрягаться. Сделать ненужной, даже невозможной активность человеческих рук и глаз. Апостол «прогресса» заявит, что это ерунда, но от картины кошмарных отдаленных последствий не отмахнешься. Зачем, например, утруждать свои руки и такими мелочами, как необходимость высморкаться или заточить карандаш? Наверняка для этого можно приделать к плечам какую-то ловкую штукенцию из стали и резины, а рукам дать возможность свисать безвольными плетьми. И так со всеми органами, всеми способностями. И у людей в конце концов никаких дел, сохранилась лишь надобность дышать, есть, пить, спать и плодить потомство; все остальное выполнятся машинами. Логическим итогом станет низведение человека до чего-то наподобие упрятанных в склянку мозгов. Вот цель, к которой мы движемся, хотя стремимся, разумеется, не к этому; ну, так и тип, дующий ежедневно по бутылке виски, пьет не с целью нажить цирроз печени. «Прогресс» не то чтобы нацелен упрятать мозг в стеклянный гроб, но, безусловно, он предполагает впереди какой-то жуткий, недочеловеческий уровень дряблости и беззащитности. И очень скверно, что сегодня в общественном мнении «социализм» неразрывно связан с «прогрессом». Неприязнь к машинной технике воспринимается враждой к социализму, ведь социалисты всегда ратуют за механизацию, рационализацию, модернизацию; во всяком случае, считают это своим долгом. Недавно, к примеру, видный деятель НРП смущенно, с покаянной грустью признался мне, что «обожает лошадей». Лошади, понимаете ли, принадлежат уходящему сельскому прошлому, а любые нежные чувства к старине отдают ересью. Не верю в такую установку, но обязан верить. Одного этого достаточно для объяснения, почему стольких порядочных людей от социализма с души воротит.

Поколение назад интеллектуала отличала некая революционность, сегодня его скорее отличает реакционность. В этой связи интересно сравнить роман Уэллса «Спящий просыпается» с написанным через

тридцать лет романом Хаксли «Дивный новый мир». У обоих писателей картина рая, где сбылись мечты прогрессистов, весьма мрачна. По части конструктивной фантазии «Спящий», на мой взгляд, сильнее, но роман многое теряет из-за противоречий, неизбежных для Уэллса, первосвященника «прогресса», не способного критически относиться к своему идолу. Читателю представлен сверкающий великолепием, странно зловещий мир, где изнеженные привилегированные классы вкушают свое хилое блаженство, а рабочие, низведенные до первобытного рабства и животного невежества, тяжко трудятся в подземных пещерах. Вдумавшись в этот образ (он развит и в замечательном рассказе из «Историй о времени и пространстве»), увидишь его нелогичность. Почему в мире технических чудес рабочим потребовалось вкалывать больше чем теперь? Машины изобретают, чтобы избавляться от труда, а не увеличивать его тяжесть. Пролетариев в таком будущем могут поработить, третировать, даже заставить голодать, но участь приговоренных ишачить как скот им не грозит, иначе для чего же обилие техники? Либо все делают машины, либо люди – одно из двух. Армия полудиких, косноязычных рабочих в синих спецовках загнана под землю только чтобы превратить их в «ползающих тварей». Уэллс хочет предупредить о возможном сбое, неверно взятом направлении «прогресса», но единственным злом ему тут представляется неравенство, при котором один класс – видимо, лишь по причине врожденного жестокосердия – подавляет другой и захватывает всю власть, все богатство. Слегка разверните ситуацию (автор достаточно внятно зовет свергнуть богатых владык), смените этот мировой капитализм на мировой социализм, и все будет отлично. Машинная цивилизация продолжит свой ход, но продукция будет делиться поровну. Мысль, на которую автор не отважился, – сама машина может стать врагом. В более характерных для себя утопиях («Люди как боги», «Сон») он вновь дает оптимистичную картину человечества, «освобожденного» техникой и ставшего лучезарным просвещенным племенем, занятым, в основном, беседами о своем превосходстве над предками. «Дивный новый мир» принадлежит литературе следующего поколения, ясно увидевшего надувательство «прогресса». Здесь тоже имеются неувязки (наиболее важные отмечены Джоном Стрейчи в «Грядущей борьбе за власть»), тем не менее это незабываемая атака на тупиц с их абсолютным счастьем. Остротой сатирической гиперболы Хаксли, надо полагать, выразил мнение большинства думающих людей о цивилизации машин.

Враждебность чуткого человека к машине нежизненна в том смысле, что налицо факт: машина появилась и ее не отменишь. Так что

обсудим разумное отношение к ней. Принять машину надо, но лучше, пожалуй, принимать ее так же, как лекарство, то есть неохотно и подозрительно. Подобно медицинским препаратам она и полезна, и опасна, и формирует привычку (при постоянном употреблении – до полной зависимости). Достаточно взглянуть вокруг, чтобы понять, с какой зловещей скоростью машина подчиняет нас. Взять хотя бы произошедшую за столетие активной машинизации ужасную порчу вкуса. Упадок слишком явный и очевидный чтобы его доказывать. Но как отдельный пример, вот вам вкус в самом прямом значении – вкус к еде. В технически развитых странах благодаря консервированию, холодильникам и различным синтетическим продуктам человеческое нёбо почти омертвело. Английские овощные лавки под видом столь любимых у нас яблок предлагают сверкающие ярким глянцем комья ваты из Америки или Австралии, и народ, видимо, с удовольствием их потребляет, позволяя английским яблокам гнить под деревьями. Гладкие, ровные, словно наштампованные американские яблоки людям милее, а чудесный вкус английских яблок они просто перестали ощущать. В любой бакалее брикеты упакованного в фольгу фабричного сыра и пачки маргарина с ярлыком «масло комбинированное», полки всех, даже молочных магазинов забиты рядами отвратительных жестяных банок, всюду обилие шестипенсовых сладких рулетов и двухпенсовых стаканчиков мороженного, а также химической отравы, заливаемой в горло как пиво, поскольку так значится на этикетке. Куда ни глянь, гадость машинного изготовления торжествует над старомодным продовольствием, вкус которого отличается от опилок. Ситуация с пищей повторяется относительно мебели, зданий, одежды, книг, увеселений – всего, что составляет нашу жизненную среду. Для миллионов людей, их число растет с каждым годом, ревущее радио стало привычнее, даже *органичнее*, чем мычание стад и щебет птиц. Сохранись у человека, хотя бы у него во рту, уровень нормальных вкусовых ощущений, машинизация не продвинулась бы так далеко, поскольку масса ее изделий оказалась бы попросту отвергнутой. В здоровом мире не было бы спроса на консервы, аспирин, патефоны, стулья из железных труб, ежедневные газеты, пулеметы, телефоны, автомобили и т.п., зато имелся бы устойчивый спрос на продукцию, сделать которую машина не способна. Однако машинное производство процветает, неодолимо разлагая мир. Против него возражают, но остаются его потребителями. Даже голозадый дикарь, явись он среди нас, за пару месяцев уразумел бы дефект нашей цивилизации. Машинный продукт портит вкус, испорченный вкус повышает спрос на

машинные изделия, что ведет к еще большей машинизации, – порочной круг утвердился крепко.

Плюс еще одна тенденция, благодаря которой мир почти автоматически, хотим мы того или нет, стремительно машинизируется. Речь о том, что, постоянно имея стимул и материальную подпитку, способность современного западного человека изобретать, совершенствовать технику сделалась почти инстинктом. Новые машины изобретаются и улучшаются почти бессознательно, будто в сомнамбулическом сне. Раньше, когда жизнь на этой планете воспринималась не иначе как тяжкой и требующей огромных усилий, естественным виделось использовать неуклюжие орудия предков. Крайне редко какие-нибудь чрезвычайно оригинальные личности предлагали новшества; так что веками и тысячелетиями предметы вроде телеги, серпа или плуга оставались практически неизменными. Нам кажется, что шуруп известен с давних пор, однако до середины девятнадцатого века никто не додумался заострить его кончик, и многие столетия для ввинчивания тупоконечных шурупов приходилось сначала выдалбливать отверстия. Невероятная в наши дни косность. Теперь едва ли не у каждого на Западе есть способность придумать хоть какую-то новинку; западный человек изобретает технику так же органично, как полинезиец плавает. Дайте западному человеку задание что-то изготовить вручную, он тут же начнет придумывать механизм для выполнения работы, а дайте ему механизм, он тут же займется его усовершенствованием. Мне хорошо известна данная наклонность, поскольку — пусть в самом малопродуктивном варианте — она имеется и у меня. Не обладающему ни умением, ни терпением изобрести что-то реальное, мне все же постоянно видятся призраки устройств, способных облегчить труд моих мускулов или мозгов. Какие-то из этих призрачных штуковин человек технически более одаренный сумел бы, вероятно, даже соорудить и применить. Правда, в нашей экономической системе создание (точней, внедрение в производство) самой полезной вещи целиком зависит от ее коммерческой выгоды, а потому социалисты правы, утверждая, что при социализме технический прогресс пойдет много быстрей. Хотя прогресс при любом строе не остановить, капитализм пренебрегает всем, не обещающим скорую прибыль, а порой хоронит изобретения столь же безжалостно, как гибкое стекло из рассказа Петрония[56]. Например, несколько лет назад один талант изобрел патефон-

[56] Речь об эпизоде из «Сатирикона» римского писателя Гая Петрония Арбитра. Рассказ о стекольщике, который изобрел и продемонстрировал Цезарю гибкий, небьющийся стеклянный фиал, после чего правитель из страха, что такое стекло обесценит золото, повелел казнить изобретателя.

ную иглу, способную служить десятки лет; крупная патефонная фирма купила у него патент, и больше об этой игле никто не слышал. Устранив критерий наживы, социализм даст волю изобретателям; машинизация уже не пойдет, а помчится.

Перспектива довольно жуткая, ибо уже сегодня ясно, что процесс вышел из-под контроля. Ускоряется он теперь в силу привычки. Химик совершенствует синтетический каучук, механик конструирует новый поршневой палец... зачем? Цель несколько туманна – инстинктивно действует импульс изобретать и улучшать. Отправьте пацифиста трудиться на пушечном заводе, через два месяца он вам представит улучшенный снаряд. Отсюда появление отравляющих газов и прочих адских кошмаров, от которых сами изобретатели не ждали блага для человечества. К вещам вроде отравляющих газов мы *обязаны* относиться, как король Бробдингнега к пороху[57]. Однако нас, живущих в научно-техническую эпоху, гипнотизирует убеждение в том, что нельзя тормозить «прогресс», ограничивать знание. На словах мы согласны – машина для человека, а не человек для машины. На практике любая попытка усомниться в правильном развитии техники воспринимается как покушение на святость знаний, а потому своего рода кощунство. И даже если человечество дружно восстало бы против машин, решило бы бежать в спасительно простой, надежный образ жизни, спастись оказалось бы трудновато. Мало было бы, как в «Едгине» Батлера, разломать все современную механику – пришлось бы сокрушить привычное мышление, которое быстро создаст уйму новых машин на обломках старых. А это мышление в разной мере, но свойственно нам всем. Всемирная армия ученых и инженеров тащит по пути «прогресса» нас, остальных, еле поспевающих, но торопящихся за ними со слепым муравьиным упорством. Меньшинство людей хочет, большинство очень не хочет так двигаться, и все-таки движение продолжается. Процесс машинизации сам стал машиной, сверкающим огромным лимузином, мчащим нас невесть куда. По-видимому, к пуховым перинам светлых утопий и закупоренным в склянке мозгам.

Вот отчего возникает протест против машины. Неважно даже, насколько он обоснован. Важно, что подобные возражения отзываются в каждой душе, не приемлющей машинную цивилизацию. И, к сожалению, из-за вбитой в головы связки «социализм – прогресс – техника – Россия – трактор – гигиена – техника – прогресс» людям, которых машинная среда угнетает, обычно противен и социализм. Тот, кому ненавистны центральное отопление и стулья из железных труб, это, как правило, тот же, кто при упоминании социализма бормочет насчет «общинного муравейника» и, страдальчески морщась, удаляется. По моим наблюдениям, редкие социалисты понимают, отчего так, или хотя бы это *замечают*. Отловите социалиста из самых речистых, изложите ему основные пункты этой главы и послушайте его ответы. Я их выслушал столько раз, что знаю наизусть.

Во-первых, вам скажут, что невозможно «отменить прогресс», «повернуть его вспять» (словно это сотни раз не случалось в человеческой истории!). Далее вас обвинят в апологии средневековья и начнут разливаться насчет стародавних ужасов, не забыв о проказе, инквизиции и т.п. Впрочем, обличение канувших веков для певцов современности тема побочная, главным номером их программы является дифирамб сегодняшнему человеку, с его невиданно высокими запросами, его неслыханно высоким жизненным стандартом. Обратите внимание, что все это пока не ответ. Нелюбовь к механизированному будущему вовсе не означает непременных реверансов перед какой-либо прошлой эпохой. Превзойдя ученых-историков расторопным умом, Герберт Лоуренс нашел идеал в жизни этрусков (чрезвычайно подходящих по причине почти полной нашей неосведомленности о них). Но в идеализации этрусков и пеласгов, шумеров и ацтеков, иных исчезнувших экзотических народов нет надобности. Картина чаемой прекрасной жизни не нуждается в подтверждающих реальностях исторических аналогий с указанием времени и места. Вернув собеседника к теме разговора, настоятельно объясните, что вас не тянет к жизни замысловатой и комфортной, что вам, напротив, хочется жить проще и трудней. Тогда социалист определит это желанием вернуться к «натуральности», подразумевая вонючую первобытную пещеру, словно ничего не имелось между кремневым скребком и сталелитейными заводами Шеффилда, плетеными лодками и океанским лайнером «Куин Мэри».

В конце концов, вы все-таки получите достаточно внятный ответ, звучащий примерно так: «То, что вы говорите, может быть, неплохо. Да, несомненно, было бы достойно и красиво стать крепче, жить без аспирина, центрального отопления и т. д. Но дело, видите ли, в том, что всерьез никто не стремится к этому. Это означало бы вести крестьянскую жизнь, то есть зверски надрываться, а не играть в селянина, возделывая клумбы. Но я не хочу непосильной работы, вы не хотите и никого, изве-

[57] В романе Свифта Гулливер предлагает королю Бробдингнега, страны великанов, получить секрет пороха и завладеть всем миром, но добрый король гневно отвергает «столь выгодное предложение».

давшего деревенский труд, подобный путь не манит. А у вас такие мечты лишь потому, что вам не приходилось пахать от зари до зари...».

Вот это уже ближе к правде, к тому, что можно было бы выразить честно и коротко: «Мы слабы, так давайте и дальше нежить нашу слабость!». Машина, повторю это, нас подчинила, сбежать от нее будет весьма трудно. Однако и конечный ответ социалиста все-таки снова отговорка, поскольку огрублен ёмкий глагола «хотеть». Допустим, я тот самый, до некоторой степени разумный современный человек, который умрет, если утром не выпьет чашку чая и не получит в пятницу очередной номер «Нью Стейтсмена». Ясно, что изнурять себя крестьянскими трудами мне «не хочется» в том смысле, в каком мне «не хочется» поменьше пьянствовать, платить долги, делать зарядку, хранить верность жене и пр. Но в ином, более глубоком смысле хочется мне как раз всего перечисленного, и в *этом* смысле я хочу цивилизации, где «прогресс» не сводится к сотворению теплицы для отупевших людишек. Аргументы, приведенные мною от лица социалистов, книжных социалистов-теоретиков, фактически исчерпывают все, что удалось от них услышать, когда я тщился рассказать, *чем* они отгоняют возможных сторонников. Ну и еще, конечно, излюбленный их аргумент насчет того, что, нравится это людям или не нравится, социализм неизбежно победит в силу такой успокоительно-спасительной штуки, как «историческая необходимость». Хотя этой могучей «исторической необходимости» (точнее, горячей вере в нее) отчего-то не удалось пересилить Гитлера.

Между тем думающий человек, разумом склонный к левизне, а по чувствам скорее консерватор, нерешительно медлит у врат социалистического храма. Идея видится ему прекрасной и *насущной*, но, поглядев на занудных социалистов, не вдохновившись их тусклыми идеалами, он сворачивает в сторону. До недавнего времени ему естественно было свернуть к индифферентности. Лет пять-десять назад типичный благородный литератор писал книги о барочной архитектуре и презирал политику. Но это стало менее уютным, вышло из моды. Эпоха ужесточилась, проблемы не прояснились, уверенность, что все навеки останется неизменным (то есть на ваши дивиденды никто не покусится), пошатнулась. Сидеть на ограде, сверху наблюдая события, раньше было комфортно, как на подушках церковных скамей высшего духовенства, но забор стал неудобным сидением и заставляет ерзать – у благородного литератора все больше оснований занять определенную сторону. Интересно отметить, что большинство наших ведущих авторов, еще недавно исповедовавших искусство для искусства и полагавших чересчур вульгарным

даже голосовать на выборах, сегодня обретают собственный политический взгляд, а молодые писатели (по крайней мере, не из числа явных трепачей) с юности увлечены политикой. Я очень опасаюсь, что в момент угрожающего кризиса интеллигенция массово рванет к фашизму. Когда именно грянет кризис, сказать трудно; все, надо полагать, зависит от ситуации в Европе, но, возможно, в пределах двух ближайших лет, а может, даже года. Тогда каждый человек с мозгами и достоинством кожей почувствует необходимость принять сторону социалистов. Однако ввиду груза старых предрассудков далеко не каждый сам на это решится. И потому надо успеть убедить человека – убедить методами, принимающими в расчет его точку зрения. Социалистам непозволительно и дальше впустую тратить время на свои догматичные проповеди. Их задача – быстро, безотлагательно ширить ряды приверженцев социализма, а не плодить фашистов, как это часто у них получается.

Говоря о фашизме в Англии, я не обязательно представляю Мосли[58] и его прыщавых почитателей. Английский фашизм, если он возникнет, будет, конечно, солидней, элегантней (поначалу, наверное, и называться фашизмом не будет); вообще сомнительно, что опереточный вождь типа Мосли у большинства англичан способен вызвать что-либо кроме насмешки. Впрочем, шутовской вид Мосли может ему и поспособствовать. Для политического восхождения (вспомним карьеры Гитлера, Наполеона III) иногда полезно, чтобы лидера не сразу восприняли всерьез. Но меня сейчас занимает явная у некоторых искушенных мудрецов симпатия к фашистам. Фашизм, каким он видится такому интеллектуалу, это своего рода зеркальное отражение социализма, неверно понятого, пародийного конечно, но вызывающего протест из желания во всем идти *наперекор* «социалистам». И если вы позволяете видеть социализм в дурном и ложном свете – позволяете по указке самодовольных узколобых марксистов считать его идеи пренебрежительным выплескиванием за борт европейской культуры, вы рискуете толкнуть людей к фашизму, заставляете нервного интеллектуала занять такую яростно-оборонительную позицию, в которой он глохнет для любых доводов. Подобные настроения уже вполне отчетливы у ряда крупных мастеров (Эзра Паунд, Уиндхем Льюис, Рой Кэмпбелл...), у многих католических авторов, у сторонников «кредита Дугласа»[59], некоторых популярных ро-

[58] Мосли, Освальд (1896–1980) – английский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов.

[59] Дуглас, Клиффорд (1879–1952) – британский инженер, автор популярной в свое время экономической теории «социального кредита».

манистов и даже, если копнуть поглубже, у столь превосходящего обычных консервативных умников Элиота и его бесчисленных последователей. Хотите наглядно убедиться в растущем среди англичан сочувствии фашизму, почитайте газетные читательские письма с поддержкой действий итальянцев в Абиссинской войне, а также восторги (см. «Дейли Мэйл» от 17 августа 1966) англиканского и англокатолического клира по поводу фашистского мятежа в Испании.

Чтобы сражаться с фашизмом, надо уяснить то привлекательное, что содержится в нем наряду с основной мерзостью. На деле фашизм, конечно, просто бесстыдная тирания; методы достижения им власти таковы, что даже апологеты фашизма предпочитают о них не говорить. Но чувство – чувство, импульсивно влекущее в лагерь фашистов, – может быть вовсе не столь низменным. *Не всегда* это ужас от рассказов о большевистской кровожадности, которыми обожают пугать воскресные еженедельники. Потрудившийся кинуть свой взгляд обнаружит, что рядовой фашист зачастую представляет собой благонамеренного обывателя, встревоженного, например, ужасным положением безработных. Фашизм притягивает не только консерваторов крайне скверного пошиба, но и вполне порядочных консервативно настроенных людей. Уважение к традиции и дисциплине – уже почва для этой притягательности. А тому, кто по горло сыт топорной, абсолютно бестактной социалистической пропагандой, легче, вероятно, увидеть фашизм последним бастионом западной культуры. Даже отъявленный фашистский бандит с дубинкой и касторкой для допросов не обязательно ощущает себя бандитом, скорее – Роландом в Ронсевальском ущелье, защитником христианского мира от варваров. И нельзя не признать, что повсеместному росту фашизма в значительной мере способствовали промахи самих социалистов. Отчасти ошибочная коммунистическая тактика саботировать демократию (рубить сук, на котором сидишь), но главным образом неумение представить людям свои доводы, так сказать, верной стороной. Социалисты не старались ясно донести, что цель социализма – справедливость и свобода. Сосредоточившись на факторах экономических, игнорируя наличие человеческой души, явно или неявно они декларировали идеал сугубо материалистический. В итоге фашизм получил возможность играть на инстинктивно возникающем у человека протесте против гедонизма и дешевой концепции «прогресса», получил возможность изображать себя опорой европейской традиции, апеллировать к христианской вере, патриотизму и воинской чести. Речи о фашизме как о «повальном истерическом садизме» или

ином массовом психозе не просто тщетны, они пагубны. Убеждая себя и других, что это лишь временное умопомрачение, которое пройдет само собой, вы грезите во сне, от которого вас разбудят ударом резиновой дубинки. Единственно необходимый путь – исследовать фашистскую аргументацию, понять ее позитивные моменты и ясно показать людям, что все, способное привлечь в фашизме, изначально содержит и социализм.

Ситуация отчаянная. Даже если не произойдет ничего худшего, улучшения обстоятельств, описанных в первой части данной книги, при нашей нынешней системе не предвидится. Зато угроза фашизации Европы стремительно растет. И если не удастся очень быстро и широко распространить систему *живых, действенных* социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм когда-нибудь будет низвергнут. Перед социализмом сейчас единственный враг – фашизм. Власти империалистических стран, хотя им тоже грозит пасть жертвой бандитов, по-настоящему бороться с фашизмом не станут. Правители наши (те из них, кто способен оценить проблему) скорее раздадут все заморские территории Британии итальянцам, немцам и японцам, чем позволят социализму восторжествовать. Легко было смеяться над фашистами, пока их знаменем виделся лишь кликушеский шовинизм, пока казалось, что эти государства «избранных» наций вот-вот сцепятся в драке и перебьют друг друга. Но ничего подобного; фашизм стал международным движением, обнаружив не только способность к объединению ради грабежа, но и некие, может еще не до конца оформленные, претензии на весь мир. Мечту о государстве сменила мечта о планетарном господстве. Как мной уже отмечалось, развитие техники непременно ведет к той или иной форме коллективизма, однако совсем не обязательно требует равенства, то есть социализма. При всем уважении к марксистам-экономистам, отчего ж не представить единое мировое общество, в экономической части коллективистское (изгнавшее критерий наживы), но в сфере политики и культуры полностью подавленное узкой кастой повелителей с их головорезами. Примерно этого и добиваются фашисты. Режим подобного государственного, точнее мирового рабовладельческого строя мог бы оказаться весьма прочным – рационально используемых ресурсов земли хватило бы надолго; да и рабы, возможно, содержались бы в сытости и довольстве. Называть фашистский предел мечтаний «муравейником» это незаслуженно обижать муравьев –уместнее образ курятника под управлением хорьков. Вот против такой гнусной перспективы мы и должны объединиться.

А единственное, *за что* нам надо бороться, – свобода и справедливость, ведущий принцип социализма. Хотя «ведущий» как-то перестало соответствовать. Идеал почти полностью забыт. Погребен под горой догматизма, доктринерства, партийных склок и скудоумных панегириков «прогрессу», как бриллиант под грудами навоза. Задача социалиста вновь извлечь алмаз на свет. Свобода и справедливость! Эти слова должны разбудить мир призывом сигнального горна. Последние годы, последние десять лет уже явственно, все шло кувырком, вдохновенная музыка заглохла. Мы достигли той точки, когда само слово «социализм», с одной стороны, вызывает представление о самолетах, тракторах, заводах из бетона и стекла, а с другой – о толпе странных фигур, среди которых козлобородые вегетарианцы, большевистские комиссары из породы гибридов гангстера с граммофоном, возвышенные леди в сандалетах, лохматые марксисты с их жвачкой многомудрых терминов, бывшие квакеры, фанатики ограничения рождаемости и подлипалы парламентских лейбористов. Социализм – по крайней мере, на нашем острове – не пахнет более бунтарством и свержением тиранов; пахнет он нелепым чудачеством, культом машин и тупым преклонением перед Россией. Не получится, причем очень быстро, выветрить этот запашок – победу одержит фашизм.

13

И, наконец, что же конкретно можно сделать?

Заметки в первой части моей книги иллюстрируют наше общее бедственное положение; во второй части я пытался показать, почему, на мой взгляд, столько нормальных порядочных людей, отвергая единственный способ выбраться из ямы, не приемлют социализм. Очевидная неотложная необходимость – привлечь к себе этих людей, пока фашизм не пустил в ход свои козыри. Не хочу поднимать вопрос различных партийно-политических методов. (Разногласия неактуальны: сегодняшняя угроза фашизма несомненно создаст тот или иной Народный фронт). Важнее любых партийных ярлыков – эффективное распространение социалистической идеи, с тем чтобы подготовить людей к соответствующим *действиям*. Имеются, я верю, миллионы тех, кто бессознательно сочувствует кардинальным целям социализма, кого удалось бы достаточно быстро убедить, найдя слова, способные их тронуть. Каждый, кто испытал материальные тяготы, каждый, в чьем сердце ненависть к войне

и тирании, потенциально на стороне социалистов. Ну, а моя задача сейчас предложить, кратко наметить, пути восстановления дружбы между социализмом и наиболее разумной частью его противников.

Я подразумеваю здесь противников, которые сами себе враги, ибо им ясно, что капитализм есть зло, да только их мутит и передергивает при упоминании социализма. Причин отвращения, как уже отмечалось, две: персональная узколобость многих социалистов, а также привычное отождествление социализма с концепцией вульгарно примитивного «прогресса», чему противится чувство традиций, врожденное эстетическое чувство. Позвольте начать со второго пункта.

Столь характерная для чутких людей неприязнь к «прогрессу» и машинной цивилизации – позиция исключительно оборонительная. Неприязнь эта, однако, еще не причина отвергать социализм, поскольку никакой хоть сколько-то реальной альтернативы неприятному прогрессу нет. Утверждая: «Я против механизации, стандартизации и потому против социализма», вы тем самым говорите: «Мне было бы стократ лучше без всяких машин», а это уже чепуха. Все мы иждивенцы техники, и если бы она вдруг разом отключилась, большинство из нас не вынесло бы катастрофы. Вы вправе, и у вас, пожалуй, есть все основания ненавидеть засилье машин, но о том, чтобы их принять либо отвергнуть, вопрос не стоит. Машинная цивилизация *состоялась*, мы стали ее частью, критиковать ее теперь возможно лишь изнутри. Только романтичные олухи способны растабаривать о своем бегстве от нее, вторя литературным господам в их живописных виллах с ванной и теплым клозетом или «настоящим мужчинам», которые отправляются жить «первобытной жизнью», прихватив автоматическую винтовку и четыре фургона консервов. И почти нет сомнений в дальнейшем победном шествии машин, ибо надежд на то, что они сами себя остановят или уничтожат, маловато. Какое-то время назад в моде были рассуждения о войне, которая теперь обернется «гибелью цивилизации», но, хотя в сравнении с грядущей большой войной все прежние покажутся играми, вряд ли даже такой кошмар положит конец развитию техники. Конечно, столь уязвимую для воздушных атак страну, как Англия (а то и всю Западную Европу) можно обессилить несколькими тысячами метко сброшенных бомб, но битва, разом истребляющая промышленность всех стран на свете, пока невозможна и немыслима. В общем, как ни желательно многим вернуться к более простому, не зависящему от машин существованию, желанного возвращения не предвидится. Это не фатализм, а констатация факта. Что же касается неприятия социализма ввиду нежелания получить

государство-муравейник, так ведь и муравейник, увы, тоже *состоялся*. В данный момент выбор не между большей или меньшей степенью гуманизма. Просто – между социализмом и фашизмом, который несколько лучших своих пунктов заимствовал из социализма, а вот достоинства его не взял.

Так что задача тонко мыслящих людей не списывать социализм в утиль, но делать социализм умнее, человечнее, духовнее. Когда социалистическая система обретет реальность, тогда умеющие видеть фальшь «прогресса» ему воспротивятся, и вот тогда это будет их долгом, их специальной миссией. В мире машин они должны будут стать некоей постоянной оппозицией, что не имеет ничего общего с обструкционизмом либо предательством. Однако все это относительно будущего. Теперь же всякий порядочный человек, будь по характеру он консерватор или анархист, обязан содействовать социалистам. Ничто иное не спасет нас от нынешних бед и грядущих кошмаров. Противостоять социализму *сегодня*, когда двадцать миллионов англичан едва сводят концы с концами, а фашизм подчинил пол-Европы, самоубийственно. Это как развязать гражданскую войну в момент вторжения варваров.

И конечно, надо преодолеть барьер предубеждений чисто нервических. Упоминалось о большом количестве людей, которых отвращает не социализм, а племя социалистов. Социализм в нынешнем его бытовании противен часто оттого, что видится забавой чудаков, доктринеров, салонных большевиков. Но нужно понимать, что подобная публика на авансцене лишь до поры, пока движением не овладел народ пристойный, с более крепкими мозгами. Когда движение облагородится, странные неприятные типы отхлынут, уйдут в тень. Пока же следует, сжав зубы, их игнорировать, для дела они не нужны. А наше дело, наш долг – борьба за свободу и справедливость. За истинный социализм, который, если отсеять всякую шелуху, означает именно это – свобода и справедливость. И сейчас надо помнить только суть. Чураться социализма из-за обилия толпящихся при нем тупиц и клоунов так же абсурдно, как отказаться ехать поездом, поскольку вам противно лицо вагонного проводника.

И относительно самих социалистов – социалистов из числа теоретически подкованных, активно выступающих на митингах и в прессе.

Мы в ситуации, когда всем представителям левого лагеря отчаянно необходимо, притушив свои разногласия, сплотиться. Понемногу это уже начинает происходить. Далее, очевидно, бескомпромиссным социалистам все же потребуется наладить союз с людьми не столь твердых левых убеждений. Недоверие социалиста к подобным союзам,

как правило, резонно: пугает опасность превратить красное движение в нечто бледно-розовое, еще менее полезное, чем парламентская группа лейбористов. Скажем, действительно есть риск, что наметившийся вроде социалистический по духу Народный фронт явится просто политическим маневром против итальянского и немецкого (не английского) фашизма. Необходимость объединиться перед лицом фашистской угрозы и впрямь может втянуть социалиста в альянс с его худшими врагами. Но обязательно надо искать соратников; тактические союзы с кем бы то ни было не опасны, если на первом плане у тебя основы твоего движения. А каковы они? Что отличает настоящего социалиста? Я полагаю, истинный социалист – тот, кто стремится – не только мечтает, но стремится – увидеть тиранию павшей. Правда, большинство ортодоксальных марксистов не приняли бы, вероятно, мое определение или приняли бы весьма неохотно. Иногда, слушая их, особенно читая их работы, появляется впечатление, что для них все занятие социализмом сводится к охоте на ересь: плясать бешеным колдуном и бить в тамтамы, завывая: «Чую-чую, веет духом правых уклонистов!». Из-за таких вещей гораздо легче и приятней ощущать себя социалистом среди пролетариев. Пролетарский социалист, как и пролетарский католик, в доктрине не силен и, открыв рот, частенько завирается, зато ухватывает суть. Ему понятно главное: социализм уничтожает гнет, и «Марсельеза», если бы ему перевести текст песни, тронула бы его глубже трактатов по диалектике материализма. Ни к чему сегодня настаивать, чтобы вступление в ряды социалистов означало присягу марксистской философии плюс льстивое поклонение России. Нет времени формировать лигу диалектических материалистов, необходим блок угнетенных против угнетателей. Нужно, привлекая дельных людей, отмести краснобаев-либералов, жаждущих убрать иностранных фашистов, дабы по-прежнему беспрепятственно получать свои заграничные дивиденды; надо отогнать пустозвонов с резолюциями «против фашизма и коммунизма», то есть против и крыс и крысиного яда. Социализм – ниспровержение тирании всюду: как за границей, так и у себя. Установите этот твердый ориентир, и у вас не возникнет больших сомнений относительно того, с кем вам по пути. Что касается некоторых разногласий, глубочайшее философское расхождение – мелочь в сравнении со спасением двадцати миллионов англичан, чьи организмы хиреют из-за скверного питания; так что давайте-ка отложим теоретические споры.

Я не считаю, что социалисты должны поступаться принципами, но многим из привычных атрибутов пожертвовать просто необходимо.

Было бы, например, крайне полезно устранить въевшийся в образ социалиста привкус нелепой эксцентричности. Хорошо было бы собрать в кучу и сжечь все эти сандалеты, балахоны, зеленые рубахи, а всех этих вегетарианцев, трезвенников, сладко блеющих мистиков отправить заниматься йогой в их замечательный Уэлвин-Гарден-Сити[60]! Но это, боюсь, недостижимо. Однако тем социалистам, кто поумней, вполне *возможно* прекратить отпугивать потенциальных сторонников вредным и совершенно неуместным стилем поведения. Так много мелкого самодовольства, которое легко попридержать. Скажем, угрюмо-начетнический взгляд типичного марксиста на литературу. Из массы памятных примеров приведу лишь один. Он ярок при всей тривиальности. В газете «Уокер Уикли» (одной из предшественниц «Дейли Уокер») имелась колонка бесед с читателями под названием «Книги на редакторском столе». Несколько недель там велось обсуждение творчества Шекспира, и один из подписчиков в досаде написал: «Дорогой товарищ! Надоело слушать про буржуазных авторов вроде Шекспира. Разве нельзя поговорить о писателях пролетарских... и т.д.». Ответ редактора был прост: «Просмотрев алфавитный указатель к тексту «Капитала», – сообщил он, – вы обнаружите, что Шекспир несколько раз был упомянут Марксом». Читатель, конечно, притих. С благословения Маркса Шекспир обрел уважение. Вот уровень ментальности, из-за которой нормальный человек шарахается от социалистов. Не стоит укреплять авторитет Шекспира подобным методом. И затем ужасный жаргон, который полагают обязательным практически все социалисты. Не вдохновляют эти «буржуазная идеология», «пролетарская солидарность», «экспроприация экспроприаторов» — от них становится тошно. Даже затертое и потерявшее значение «товарищ» подрывает доверие к социализму. Сколько прохожих раздумывали, не пойти ли на митинг, но, поглядев на сознательных социалистов, величающих друг друга «товарищ», решительно шагали в ближайший паб! Здоровый инстинкт – кому нужно, чтоб ему прилепили смешной бессмысленный ярлык, который даже после долгой практики не выговаривается без некоторого стыда? Поддерживать представление о том, что социалисты непременно носят сандалеты и бубнят насчет «диалектики материализма», губительно. Либо наглядно убедить, что в социалистическом движении можно быть человеком, либо дело проиграно.

[60] Имеется в виду не только данный городок в Хартфордшире, но тип подобных общинных поселений, где культивировался специфичный образ жизни «в гармонии с красотой и природой».

За всем этим встает огромная, сложнейшая проблема. И означает она, что к вопросу социальных различий помимо грубой мерки материального достатка надо подходить честнее, внимательнее чем до сих пор.

Сложностям в связи с расслоением общества, я посвятил три главы. Главное тут, на мой взгляд, что английская классовая система, пережив свой расцвет, *продолжает* жить и не показывает никаких признаков отмирания. Это так запутывает ситуацию, что ортодоксальные марксисты (к примеру, Эли Браун в небезынтересной работе «Судьба средних классов») предпочитают определять социальный статус по цифре дохода. С экономической точки зрения, действительно есть лишь два класса: богачи и бедняки, но социально существует хитрая иерархия слоев, традиции которых впитываются с раннего детства и —главное —прочно сохраняются до конца жизни. Индивидуальные примеры несоответствия делению по простому экономическому принципу всюду. Вот такие писатели, как Герберт Уэллс и Арнольд Беннет, которые, достигнув высот материального благополучия, сохранили пуританскую честность низов среднего класса, а вот миллионеры, так и не сумевшие освоить грамотное произношение верхов. Вот лавочники, чей доход гораздо ниже, чем у каменщиков, однако сами они (и все общество) считают положение мелких торговцев несравненно более высоким. Вот ученик обычной муниципальной школы, ставший управителем заморской провинции, а вот воспитанник элитной школы, ныне торгующий по домам пылесосами. Если бы социальная стратификация четко определялась материальным положением, воспитанник элитной школы, как только заработки у него сравнялись с бедняцкими финансами, заговорил бы языком малоимущих масс. А он? Напротив, он вдесятеро крепче, как за спасательный трос, хватается за любой знак своего благородного воспитания. И полуграмотный миллионер хоть и копирует произношение дикторов Би-би-си, но редко достигает успехов в маскировке. В культурном отношении покинуть слой, которому принадлежишь от рождения, необычайно трудно.

С общим падением благосостояния социальные аномалии становятся массовым явлением. Невежд-миллионеров, правда, не прибавляется, зато все чаще питомцы престижных школ торгуют пылесосами, все больше разорившихся мелких хозяев вынуждены идти в Работные дома. Целыми группами населения люди среднего класса постепенно пролетаризируются, хотя – и это важный пункт – перспективу пролетаризации они (по крайней мере, в первом поколении) не приемлют. Взять, например, меня, с моим буржуазным воспитанием и пролетарским доходом. Какому классу я принадлежу? Экономически – явно «рабочему», но как

представить себя не принадлежащим «буржуазному»? И, предположим, надо занять чью-то сторону; на чью же сторону я должен встать: верхов, сживающих меня со света, или же пролетариев с их абсолютно чуждым обиходом? Что касается лично меня, в критический момент я буду с рабочим классом. Ну а десятки, сотни тысяч других, оказавшихся в этой позиции? А как насчет гораздо более многочисленной, включающей уже миллионы, армии клерков и других мелких служащих, чьи традиции не столь уж буржуазны, но кому наверняка не понравится, если назвать их пролетариями? У этих представителей среднего класса те же заботы и те же враги, что у рабочих: всех грабит, унижает та же система. Но сколько из них это понимают? Слегка поднимется уровень жизни, и они снова, в одной фаланге с притеснителями, встанут против естественных своих союзников. Средний класс, доведенный до края нищеты и все-таки хранящий в сердце непримиримость антипролетарских чувств, – готовая опора фашистским лидерам.

Ясно, что надо пока не поздно увлечь этот эксплуатируемый средний класс движением социалистическим. Прежде всего, увлечь конторских служащих – их ведь такое множество, что, грамотно объединившись, они будут огромной силой. Ясно и то, что ничего подобного еще не делалось. Известный стереотип: последний, в ком можно надеяться найти искру бунтарства, – клерк или коммивояжер. Но почему? В значительной степени, думаю, по причине «пролетарского» перекоса пропаганды социалистов. Символом классовой борьбы в ней избраны мифические образы: «пролетарий», вольнолюбивый богатырь в темном фартуке молотобойца, и злой жирный «капиталист» в цилиндре и меховом пальто. Теоретически предполагается, что никого между этими фигурами не существует, а фактически в странах типа Англии примерно четверть населения – между. Твердя о «диктатуре пролетариата», позаботьтесь вначале элементарно объяснить, *кто* есть пролетариат. Ввиду тенденции идеализировать мускулистых работяг это всегда остается неясным. И кто из жалкого дрожащего полчища клерков и коммерческих агентов с заработком ниже, чем у шахтеров или портовых грузчиков, причислит себя к пролетариям? Пролетарий для них (так уж их научили) это человек без крахмального воротничка. Так что, пытаясь привлечь их речами о «классовой борьбе», удается лишь отпугнуть их: позабыв о цифре дохода и дорожа своим воротничком, они устремляются защищать класс, выжимающий из них все соки.

Здесь у социалистов работы непочатый край. Необходимо четко, внятно показывать, где линия, разделяющая эксплуататоров и наемных

работников. Прояснять главное: весь небогатый, незащищенный от угрозы увольнения народ в одной лодке и должен бороться сообща. Может быть, стоило бы чуть пореже рассуждать о «буржуа и пролетариях», почаще – о жертвах и грабителях. Во всяком случае, надо отбросить вводящую в заблуждение привычку изображать, что пролетарий это исключительно рабочий с молотом или киркой. До каждого клерка, инженера, коммивояжера, до любого оказавшегося на мели лавочника или мелкого чиновника необходимо донести, что они – пролетариат, что так же, как для землекопа или станочника, социализм это знамя их команды. Нельзя оставлять их с привычным представлением, что идет борьба между теми, кто изъясняется культурно, и теми, кто малограмотно комкает слова, – тогда они, конечно, будут держаться на «культурной» стороне.

Я говорю о том, что надо убедить людей разных сословий объединиться, уговорить их на время отставить моменты классовых различий. Звучит, конечно, подозрительно. Слишком напоминает летний лагерь герцога Йоркского, где разглагольствуют о солидарности британской нации и дружных всенародных усилиях преодолеть тяготы, что отдает не то дурью, не то фашизмом, не то тем и другим. Не может быть сотрудничества классов, интересы которых противоположны. Какая дружба у капиталиста с рабочим? Кот не может сотрудничать с мышью, а если мышка так глупа, чтоб согласиться, недолго ждать, когда ее проглотят. Но вот на основании общих жизненных интересов сотрудничать вполне возможно. Все, у кого страх перед боссом и мороз по коже при мысли об арендной плате, должны действовать сообща: мелкий фермер и фабричный слесарь, конторская машинистка и шахтер, учитель и автомеханик. Есть некоторая надежда побудить их к этому, если удастся втолковать, в чем заключается их общий интерес. Но успеха тут не добиться, если агитировать, задевая социальные предрассудки, которые у многих столь же сильны, как соображения материальные. В конце концов, привычки и манеры банковского клерка действительно отличаются от манер и привычек портового грузчика, и ощущение превосходства сидит у клерка очень глубоко. Когда-нибудь, конечно, ему надо будет избавиться от своей спеси, но сейчас не лучший момент отчитывать, перевоспитывать его. Огромным преимуществом обернулось бы прекращение бессмысленной травли, которую социалистическая пропаганда ведет относительно всяких житейских проявлений буржуазности. Все речи и тексты левых авторов – от первополосных статей в «Дейли Уокер» до отдела юмора в «Ньюс Кроникл» – украшены массой набивших оскомину и зачастую очень глупых насмешек над такими, по терминологии

коммунистов «буржуазными ценностями», как благородное изящество или джентльменская честь. Стиль подобных уничижительных сарказмов когда-то и с определенным основанием был введен самими буржуа, но сегодня он просто вреден, поскольку подменяет мелочами главный вопрос. Отвлекает внимание от того важнейшего факта, что бедность есть бедность, орудуешь ты кувалдой или авторучкой.

Опять-таки вот я, с моим происхождением и моим средним заработком около трех фунтов в неделю. Такого, как я, было бы наверно полезнее иметь на стороне социалистов, нежели подталкивать к фашизму. Но если постоянно измываться над моей «буржуазной идеологией», если назойливо намекать на мою второсортность по причине неумелых физических трудов, добиться можно только моей враждебности. Зачем-то вдруг понадобилось сообщать, что я уж от природы никудышный и должен изменить себя каким-то неведомым и неподвластным мне способом. Я не способен переделать на пролетарский лад свой выговор и, разумеется, свои вкусы, свой идеал, да и не стал бы никогда менять их. С какой стати? Я не прошу никого говорить в моей манере, так почему же меня призывают следовать чужим образцам? Гораздо лучше было бы принять как данность все эти непростительные классовые отметины и вообще минимально их касаться. Здесь есть подобие проблеме национальных, расовых различий, и опыт показал, что даже с чужеземцами, самыми неприятными из чужеземцев, *можно* сотрудничать, когда действительно необходимо. Экономически я в одной лодке с шахтером, землекопом, сельским пахарем, – напомните об этом, и я буду бороться в одном строю с ними. Но культурно я отличаюсь от шахтера, пахаря, землекопа, – уязвите меня этим, и я, возможно, пойду биться против них. Будь я отдельным странным типом, ну и ладно; но то, что верно для меня, верно для множества, колоссального множества людей. Каждый банковский клерк, в кошмарах видящий себя с нищенской торбой, каждый лавочник, балансирующий на грани банкротства, примерно в том же положении. Они – тонущий средний класс, и большинство цепляется за старые сословные привычки с верой, что это держит их на плаву. Жестоко и неумно *начинать* разговор с ними приказом отбросить спасательные пояса. Велика опасность, что в ближайшие годы целые слои среднего класса резко повлечет вправо. И они станут грозной силой. Пока они слабы, поскольку не умеют объединяться, но если, отпугнув, вы их сплотите в союз против вас, считайте, что разбудили дьявола. Намек на такую вероятность мы наблюдали во время всеобщей забастовки.

Подведем итог. Нет шансов выправить внутреннюю ситуацию, описанную в первых главах этой книги, нет шансов уберечь Англию от фашизма, если не сделать социалистическую партию действительно эффективной. Партия должна стать по-настоящему решительной и достаточно сильной численно. И это достижимо, если мы предложим цель, желательность которой признает обычный приличный народ. Поэтому кроме всего прочего пропаганде следует поумнеть. Меньше насчет «классового сознания», «экспроприации экспроприаторов», «буржуазной идеологии» «пролетарской солидарности» и неразлучных священных сестрах Тезе, Антитезе, Синтезе, – больше о справедливости, свободе и тяжелом положении безработных. И поменьше насчет индустриального прогресса, тракторов, Днепровской плотины, новой рыбоконсервной фабрики в Москве — прямого отношения к идее социализма эти вещи не имеют, но отгоняют многих, в том числе большинство владеющих пером. Все, что необходимо, это впечатать в сознание общества два пункта: первый – интересы всех, кого эксплуатируют, едины; второй – социализм совместим с традиционной благопристойностью.

Что касается чрезвычайно сложного вопроса классовых различий, единственно возможная сегодня тактика это вести себя тоньше и не распугивать людей успешнее, чем привлекать. И, прежде всего, охладить пыл чересчур назойливых стремлений изменить чей-то классовый стереотип. Если вы представитель буржуазии, наберитесь терпения и не кидайтесь заключить в объятия пролетарского брата – ему это, возможно, не понравится, а вы, не встретив понимания, обнаружите, что ваш снобизм не так мертв, как вам думалось. Если же по рождению или промыслу божьему вы пролетарий, не спешите глумиться над Славным Школьным Братством –оно ведь, в частности, символизирует терпимость и благожелательность, которые, быть может, со временем пригодятся и вам.

Я все же верю, я надеюсь, что в живом действенном социализме, обеспеченном поддержкой большинства англичан, вопрос классовых противоречий решится быстрее, чем кажется сегодня. В ближайшие годы у нас получится или не получится создать ту партию социалистов, в которой мы нуждаемся. Не получится – вспухнет свой фашизм, гнусный по-своему: приторно-елейный и благородно переименованный, с вежливым полисменом вместо нацистских горилл, львом и единорогом[61] вместо свастики. Получится – будет борьба, самая настоящая, посколь-

61 Лев и единорог – геральдические звери на гербе Великобритании.

ку наши плутократы смириться с властью подлинно революционной не захотят. И когда народ действительно разойдется на два враждебных лагеря, то все сторонники социализма, встав в один ряд, смогут иначе взглянуть друг на друга. И тогда, может быть, вся эта хмарь классовых предрассудков рассеется, и мы, тонущий средний класс – школьный учитель, полуголодный журналист-внештатник, живущая на мизерную пенсию одинокая дочь полковника, безработный выпускник Кембриджа, морской офицер без корабля, клерки, торговые агенты, трижды разоренные сельские бакалейщики – все мы плавно опустимся еще ниже, став рабочим классом, которым, собственно, давно являемся. И, вероятно, там окажется не так ужасно, как мы боялись. Ведь кроме безупречного произношения терять нам, в общем-то, и нечего.

1937

Памяти Каталонии

Автор перевода неизвестен

Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и
тебе не сделаться подобным ему.
Но отвечай глупому по глупости его, чтоб он
не стал мудрецом в глазах своих.
Притчи 26, 5-6

1

За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.

Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25–26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека – я имею в виду мужчину, – который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:

– Italiano?[1]

[1] Итальянец? (прим. пер.)

Текст воспроизводится по неофициальному зарубежному изданию 1960-х годов

– No, Inglés. Y tú?[2] – ответил я на своем ломаном испанском.

– Italiano.

Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку, У меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видеться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.

Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны – красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.

Было это в конце декабря 1936 года, то есть менее семи месяцев назад, но время это кажется ушедшим в далекое, далекое прошлое. Позднейшие события вытравили его из памяти более основательно, чем 1935 или даже 1905 год. Я приехал в Испанию с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», – все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «Buenos dias» говорили «Salud!»[3]

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок – заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками – красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города – Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К «прилично» одетым можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, – почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались – предосторожность на случай воздушного налета, – полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд.

[2] Нет, англичанин. А ты? (прим. пер.)

[3] Добрый день. Салют, привет. (прим. пер.)

Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же – была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры – больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англосаксонских стран казалась умилительной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались – по несколько центавос[4]штука – наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были – «секция» (примерно тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «колонна», которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещение еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные

[4] Мелкая монета. (прим. пер.)

футбольные матчи – пятьдесят на пятьдесят – на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не пускали, ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос – побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба – вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами – доски на козлах, – из сальных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки – поррона. Поррон – это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать «формой» в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие – обмотки, третьи – высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки

обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров P.O.U.M.[5], вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз пробирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы – в большинстве своем шестнадцати-семнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, – совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его «сеньором». «Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи?» Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне

[5] P.O.U.M. – Partido Obrero de Unificación Marxista. Объединенная партия рабочих-марксистов. (прим. пер.)

было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего несколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, – как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном P.O.U.M. положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходившие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменяли. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.

Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади Plaza de España. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал канючить:

– Ио се манехар фузиль. Но се манехар аметраллодора. Киеро апрендер аметраллодора. Куандо вамос апрендер аметраллодора?[6]

[6] Я умею обращаться с винтовкой. Я не умею обращаться с пулеметом. Хочу выучить пулемет. Когда мы будем заниматься пулеметом? (Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero apprender ametralladora. Quándo vamos apprender ametralladora?). (прим. пер.)

В ответ он всегда смущенно улыбался и обещал начать обучать стрельбе из пулемета «маньяна». Нечего и говорить, что это «завтра» никогда не наступило. Прошло несколько дней и новобранцы научились ходить в строю и неплохо вытягиваться по команде «смирно». Кроме того, они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но на том и кончались все их военные познания. Однажды, во время перерыва в занятиях, к нам подошел вооруженный карабинер и позволил посмотреть свою винтовку. Оказалось, что из всего моего взвода, кроме меня, никто не умел даже зарядить винтовку, не говоря уж об умении целиться.

Все это время я продолжал единоборство с испанским языком. В казармах кроме меня был только еще один англичанин, даже офицеры не знали ни слова по-французски. Мое положение затруднялось еще и тем, что между собой мои товарищи говорили по-каталонски. Мне не оставалось ничего другого, как всюду таскать с собой словарь, который я всякий раз выхватывал из кармана в критический момент. Но если уж быть иностранцем, то только в Испании! Как легко приобретаются здесь друзья! Не прошло и двух дней, как человек двадцать ополченцев звали меня по имени, помогали узнать все местные ходы и выходы, проявляли чудеса гостеприимства. Я не пишу пропагандистской книжки и не собираюсь идеализировать ополченцев P.O.U.M. Вся эта система имеет серьезные недостатки, да и публика была разношерстная, ибо к тому времени запись добровольцев сократилась, а большинство лучших людей уже было на фронте или даже погибло. Был в наших рядах и абсолютно бесполезный элемент. Родители приводили записывать пятнадцатилетних ребят, не скрывая, что делают они это ради десяти пезет в день – нашего дневного жалования, а также ради хлеба, который ополченцы получали вволю и могли тайком передавать родителям. Но я убежден, что каждый, кто попадет в среду испанских рабочих (следует, пожалуй, сказать – каталонских рабочих, ибо среди моих знакомых, кроме нескольких арагонцев и андалузцев, были только каталонцы) будет поражен их внутренним благородством, и прежде всего – их прямотой и щедростью. Испанская щедрость, щедрость в полном смысле этого слова, по временам даже способна смутить. Если вы попросите сигарету, испанец будет настаивать, чтобы вы взяли у него всю пачку. Но кроме того, есть в них щедрость в более глубоком смысле, подлинная широта души, с которой я встречался не раз и не два в наиболее трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и других иностранцев, ездивших по Испании во время войны, заявлял, что в глубине души испанцы горько сетуют

на иностранную помощь. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне ничего подобного наблюдать не приходилось. Я помню, что за несколько дней до того, как я покинул казармы, с фронта в отпуск прибыла группа бойцов. Они возбужденно делились своими фронтовыми впечатлениями и с энтузиазмом рассказывали о какой-то французской части, которая стояла рядом с ними под Уэской. Французы дрались храбро, – говорили они, добавляя с воодушевлением: «Мас валентес ке нострос» (Más valientes que nosotros), «Смелее нас!» Я, конечно, возражал, но они мне разъяснили, что французы лучше их знали военное дело, лучше бросали гранаты, стреляли из пулемета и т. д. Этот эпизод очень характерен. Англичанин скорее дал бы себе руку отрезать, чем сказал бы что-либо подобное.

Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в отчаяние от некоторых черт) их характера. На фронте это отчаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы многое делают хорошо, но война – это не для них. Все иностранцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде всего, – от их чудовищной непунктуальности. Есть испанское слово, которое знает – хочет он этого или нет – каждый иностранец: «mañana», «завтра» (буквально – «утро»). При малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с сегодняшнего дня на «маньяна». Это факт такой печальной известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испании ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не происходит в назначенное время. Как правило все опаздывает; но время от времени, как будто специально для того, чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некоторые события происходят раньше назначенного срока. Поезд, который должен уйти в восемь, обычно уходит в девять-десять, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхищаюсь испанцами за пренебрежение временем, превратившимся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим неврозом.

После множества слухов, mañanas и отсрочек, мы внезапно получили приказ двинуться в сторону фронта через два часа, хотя нам еще не успели выдать всего нужного снаряжения. В результате некоторым бойцам пришлось отправиться в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлынули неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые принялись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать рюкзаки. Как это ни унизительно, но мой новый кожаный патронташ помогла мне прила-

дить испанка, жена Вильямса, еще одного англичанина-ополченца. Это было нежное, темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее единственное предназначение – качать детей в колыбели, но она храбро дралась во время июльских уличных боев. В казармы она пришла с ребенком, родившимся через десять месяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, запарившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение, полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных накрест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов, топанье ботинок и позвякивание жестяных фляг, а потом громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец, возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем вели нас самым длинным путем, километров пять или шесть, чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько минут остановили, чтобы выслушать революционный марш, исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфаторов – крики и энтузиазм, красные и красно-черные флаги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины, машущие из окон домов. Каким естественным все это казалось тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня! В поезд набилось так много народу, что не было места даже на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю минуту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставляя позади Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с обычной для военного времени скоростью – около двадцати километров в час.

2

Город Барбастро, хотя и лежал далеко в тылу, вид имел мрачный и обшарпанный. Толпы ополченцев в потрепанной форме шагали по улицами, стараясь согреться. На развалившейся стене я обнаружил прошлогодний плакат, гласивший, что такого-то числа на арене будет убито «шесть красивых быков». Сколько уныния было в этих выцветших красках плаката! Куда делись «красивые быки» и красивые матадоры? Даже

в Барселоне, как я слышал, бои быков почти не устраивались. Почему-то все лучшие матадоры оказались фашистами.

Нашу роту повезли на грузовиках в Сиетамо, а затем западнее в Алькубьерре, село, лежащее сразу же за линией фронта у Сарагосы. Сиетамо трижды переходило из рук в руки, пока в октябре анархисты окончательно не утвердились в городе. Часть домов было разрушено снарядами, а почти все остальные носили следы пуль. Теперь мы находились на высоте 500 метров над уровнем моря. Было чертовски холодно, неизвестно откуда надвинулся густой туман. Шофер грузовика заблудился где-то между Сиетамо и Алькубьерре (одна из неотъемлемых черт этой войны) и мы много часов сряду искали дорогу в тумане. В Алькубьерре мы прибыли поздней ночью. Кто-то повел нас через грязные лужи к конюшне для мулов. Мы закопались в мякину и сразу же заснули. В мякине спать не плохо, хуже чем в сене, но лучше чем на соломе. Лишь при утреннем свете я обнаружил, что в мякине полно хлебных корок, рваных газет, костей, дохлых крыс и мятых консервных банок из-под молока.

Теперь мы были недалеко от фронта, достаточно близко, чтобы уловить характерный запах войны – по моему опыту – это запах кала и загнивающей пищи. Алькубьерре не подвергалось бомбардировке и выглядело благополучнее большинства других сел в прифронтовой полосе. Но мне думается, что даже в мирное время каждому, кто проезжал эту часть Испании, не могла не броситься в глаза особая, грязная нищета арагонских деревень. Они построены как крепости со множеством скверных, ютящихся вокруг церкви хибарок, слепленных из глины и камней. Даже весной вы нигде не увидите цветка, возле домов нет палисадников, – лишь задворки, где тощие куры бегают по навозным кучам. Погода была отвратительная: то дождь, то туман. Узкие дороги превратились в моря сплошной грязи. В ней буксовали грузовики и плыли неуклюжие крестьянские телеги, влекомые вереницей мулов; иногда в упряжке шло шесть мулов, всегда впрягаемых цугом. Из-за отрядов войск, непрерывно тянувшихся через село, оно утопало в невообразимой грязи. Здесь никогда не знали, что такое уборная или канализация какого-либо рода; в результате теперь не оставалось ни одного клочка земли, по которому можно было бы пройти, не глядя с опаской под ноги. Церковь уже давно использовали в качестве уборной, загадили и поля на сотни метров вокруг. Первые два месяца войны навсегда связаны в моей памяти с холодными сжатыми полями, покрытыми по краям коркой человеческих испражнений.

Прошло два дня, но мы еще не получили винтовок. Побывав

в Comité de Guerra[7] и осмотрев ряд дырок в стене – следы пуль (здесь расстреливали фашистов), вы исчерпывали все достопримечательности Алькубьерре. На фронте, видимо, было затишье; через село проходило очень мало раненых. Главным развлечением было прибытие дезертиров из фашистской армии, которых приводили под конвоем. На этом участке многие из солдат, сражавшихся против нас, были вовсе не фашисты, а незадачливые мобилизованные, имевшие несчастье проходить действительную службу в тот момент, когда началась война, и мечтавшие о побеге. Время от времени небольшие группки этих солдат решались на переход линии фронта. Нет сомнения, что число дезертиров было бы больше, если бы у многих из них родственники не оставались на фашистской территории. Эти дезертиры были первыми «настоящими» фашистами, которых я увидел. Меня поразило, что они ничем не отличались от наших, если не считать комбинезонов цвета хаки. Они всегда прибывали к нам голодными как волки, после одного или двух дней блуждания по ничейной земле. Но у нас с триумфом подчеркивали, вот, дескать, фашистские войска умирают с голоду. Я смотрел, как кормили одного из дезертиров в крестьянском доме. Зрелище было, скорее, печальным. Высокий парень лет двадцати, с сильно обветренным лицом, в изорванной одежде, присев на корточки возле очага, с отчаянной быстротой кидал себе в рот из миски ложку за ложкой тушеное мясо; его глаза, не переставая, бегали по лицам ополченцев, стоявших вокруг и глазевших на него. Я думаю, он еще наполовину верил в то, что мы кровожадные «красные», которые расстреляют его, как только он кончит еду; вооруженный часовой успокаивающе похлопывал парня по плечу, что-то приговаривая. Запомнился день, когда враз явилось пятнадцать дезертиров. Их с триумфом провели через всю деревню, причем впереди ехал человек на белом коне. Мне удалось сделать не очень удачную фотографию, которую у меня потом украли.

На третий день нашего пребывания в Алькубьерре прибыли винтовки. Старший сержант с грубоватым темно-желтым лицом выдавал нам оружие в конюшне. Я пришел в отчаяние, увидев, что выпало на мою долю. Это был немецкий «Маузер» образца 1896 года, то есть более чем сорокалетней давности. Винтовка заржавела, затвор ходил с трудом, деревянная накладка ствола была расколота, один взгляд в дуло убедил меня, что и оно безнадежно заржавело. Большинство винтовок было не лучше, а некоторые даже хуже моей. Никто даже не подумал о том, что

[7] Военный Комитет. (прим. пер.)

винтовки получше следовало бы дать тем, кто умеет с ними обращаться. Самая лучшая винтовка, сделанная всего десять лет назад, оказалась у пятнадцатилетнего кретина по прозвищу maricón («девчонка»). Сержант отвел на обучение пять минут, разъяснив, как заряжать винтовку и как разбирать затвор. Многие из ополченцев никогда раньше не держали винтовку в руках и лишь очень немногие знали, зачем нужна мушка. Были розданы патроны по пятьдесят штук на человека. Затем нас выстроили в шеренгу и мы, закинув за спину рюкзаки, двинулись в сторону фронта, находившегося всего в пяти километрах от нас.

Центурия – восемьдесят человек и несколько собак – вразброд отправились в путь. Каждая колонна ополчения имела при себе в качестве талисмана, по меньшей мере, одну собаку. Возле нас плелся несчастный пес, на шкуре которого выжгли большими буквами P.O.U.M. Казалось, что он стыдился своего злосчастного вида. Впереди колонны, рядом с красным знаменем, ехал на вороном коне наш командир, кряжистый бельгиец Жорж Копп. Чуть впереди его гарцевал молоденький и очень смахивающий на бандита боец ополченской кавалерии. Он галопом взлетал на каждый бугорок и застывал на вершине в самых живописных позах. Во время революции было захвачено много отличных лошадей испанской кавалерии, лошади были отданы ополченцам, которые, разумеется, делали все, чтобы заездить их насмерть.

Дорога вилась среди желтых неплодородных полей, запущенных еще со времени сбора прошлогоднего урожая. Впереди лежала низкая сьерра, отделяющая Алькубьерре от Сарагосы. Мы приближались к фронту, приближались к бомбам, пулеметам и грязи. В глубине души я испытывал страх. Я знал, что в данную минуту на фронте затишье, но в отличие от большинства моих соотечественников я помнил первую мировую войну, хотя и не принимал в ней участия. Война связывалась у меня со свистом пуль, градом стальных осколков, но прежде всего она означала грязь, вши, голод и холод. Как ни странно, но холода я боялся больше, чем врага. Мысль о холоде преследовала меня во время всего пребывания в Барселоне; случалось даже, что я не спал по ночам, думая о холоде в окопах, о побудке в предрассветной мгле, о долгих часах на карауле, с заиндевевшей винтовкой, о ледяной грязи, попадающей в башмаки. Признаюсь, что я испытывал нечто вроде ужаса, глядя на людей, маршировавших рядом со мной. Вы, пожалуй, не сможете себе представить, что это был за сброд. Мы тащились по дороге, как стадо баранов; не успев пройти и двух километров, мы потеряли из виду конец колонны. А половина наших так называемых бойцов была детьми, причем, детьми в

буквальном смысле слова, ребятами не старше шестнадцати лет. Но все они были счастливы и приходили в восторг от мысли, что наконец-то идут на фронт. Приближаясь к линии фронта, ребята, шедшие впереди с красным знаменем, начали выкрикивать: «Visca P.O.U.M.! Fascistas-maricones!»[8] и так далее. Им хотелось, чтобы эти крики были воинственными и угрожающими, но в ребячьих устах они звучали жалобно, как мяуканье котят. Так вот они – защитники Республики – толпа оборванных детей, вооруженных изношенными винтовками, с которыми они не умели даже обращаться. Помню, я задавал себе тогда вопрос: а что, если над нашими головами вдруг появится фашистский самолет? Станет ли летчик пикировать на нас и выпустит ли пулеметную очередь? Я уверен, что даже с воздуха было видно, что мы не настоящие солдаты.

Дойдя до сьерры, мы повернули направо и стали взбираться по узкой тропе для мулов, вившейся по склону горы. В этой части Испании холмы имели странную форму – подковообразные, с плоскими вершинами и очень крутыми склонами, опадавшими в глубокие овраги. На холмах рос только карликовый кустарник и вереск, всюду виднелись белые кости известняка. Фронт не представлял здесь сплошной линии окопов; в этой гористой местности ее трудно было бы построить; это была цепь укрепленных постов, сооруженных на вершинах холмов. Их называли «позициями». Издалека можно было увидеть нашу «позицию» на вершине подковы; неровная баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг, дым костра. Подойдя ближе, вы чувствовали тошнотворную, приторную вонь, от которой я не мог потом отделаться в течение долгих недель. Месяцами все отбросы сваливались прямо у позиции – гора гнилых хлебных корок, экскрементов и ржавых банок.

Рота, которой мы пришли на смену, собирала свои рюкзаки. Они держали фронт три месяца; форма солдат была вся в грязи, их башмаки разваливались, почти все они заросли густой щетиной. Из своего окопа вылез капитан, командир позиции Левинский, которого все, впрочем, звали Бенжамен. Это был польский еврей, говоривший по-французски как француз, молодой человек лет двадцати пяти, невысокого роста, с черными жесткими волосами, с бледным и живым лицом, которое, как у всех на этой войне, было постоянно грязным. Высоко над нами свистнуло несколько случайных пуль. Позиция представляла собой полукруг, диаметром примерно в сорок пять метров, с бруствером, сложенным из мешков с песком и кусков известняка. Здесь же было отрыто около тридцати или сорока окопчиков, напоминавших крысиные норы. Вильяме, я и испанец, шурин Вильямса, нырнули в первый приглянувшийся нам свободный окоп. Где-то впереди время от времени бухали винтовочные выстрелы и прокатывались эхом по каменистым холмам. Мы едва успели скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался новый выстрел, и один из наших ребятишек отскочил от бруствера; кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и каким-то образом умудрился взорвать затвор; осколки разорвавшейся гильзы в клочья порвали ему кожу на голове. Это был наш первый раненый и ранил он себя сам.

Вечером мы выставили свой первый караул и Бенжамен показал нам всю позицию. Перед бруствером в скале была выбита сеть узких траншей, с примитивными амбразурами, сложенными из кусков известняка. В этих траншеях и за бруствером размещалось двенадцать часовых. Перед окопами была натянута колючая проволока, а потом склон опадал в, казалось, бездонный овраг. Напротив виднелись голые холмы, серые и холодные, местами просто обнаженные скалы. Нигде не видно было и следа жизни, даже птицы не летали. Я осторожно глянул в амбразуру, пытаясь обнаружить фашистские окопы.

– Где противник?

Бенжамен описал рукой широкий круг.

– Там. (Бенжамен говорил на кошмарном английском).

– Где там?

По моим представлениям о позиционной войне, фашистские окопы должны были находиться в пятидесяти или ста метрах от наших. Я же не видел ничего, – по-видимому, их окопы были очень хорошо замаскированы. И вдруг я понял, что Бенжамен показывает на верхушку лежащего напротив нас холма, за овраг, по меньшей мере в семистах метрах от нас. Я увидел тонкую полоску бруствера и красно-желтый флаг – фашистская позиция. Я был невероятно разочарован. Мы находились так далеко от противника! На этом расстоянии от наших винтовок пользы не было никакой. Но в этот момент раздался чей-то возбужденный возглас. Два фашиста (из-за расстояния мы различали только две серые фигурки) ползли по голому склону противоположного холма. Бенжамен выхватил у стоящего рядом бойца винтовку, прицелился и нажал спусковой крючок. Щелк! Холостой патрон; я подумал: скверное предзнаменование.

Не успели новые часовые занять свои посты в траншее, как они открыли яростный огонь, стреляя в белый свет, как в копеечку. Я видел фашистов, – маленькие как муравьи, они сновали за бруствером туда и

[8] Да здравствует ПОУМ! Фашисты – трусы! (прим. пер.)

обратно, а по временам, на мгновение, как черная точка, нахально высовывалась незащищенная голова. Было очевидно, что стрелять совершенно бесполезно. Но, тем не менее, стоящий слева от меня часовой, по испанскому обычаю покинувший свой пост, подсел ко мне и стал упрашивать, чтобы я выстрелил. Я пытался объяснить ему, что попасть в человека на таком расстоянии из моей винтовки можно, разве что, случайно. Но это был сущий ребенок: он продолжал показывать винтовкой на одну из точек, нетерпеливо скаля зубы, как собака, ждущая момента, когда она сможет броситься вслед за кинутым камушком. Не выдержав, я поставил прицел на семьсот метров и пальнул. Точка исчезла. Надеюсь, что пуля прошла достаточно близко, чтобы фашист подскочил. Впервые в жизни я выстрелил в человека.

Увидев, наконец-то, фронт, я вдруг почувствовал глубокое отвращение. Какая же это война?! Мы почти не соприкасались с противником, я ходил по окопу в полный рост. Но чуть погодя, мимо моего уха с отвратительным свистом пролетела пуля и врезалась в тыльный траверс. Увы! – Я пригнулся. Всю свою жизнь я клялся, что не поклонюсь первой пуле, которая пролетит мимо меня, но движение это, оказывается, инстинктивное, и почти все, хотя бы раз, его делают.

3

В окопной жизни важны пять вещей: дрова, еда, табак, свечи и враг. Зимой на Сарагоском фронте они сохраняли свое значение именно в этой очередности, с врагом на самом последнем месте. Враг, если не считаться с возможностью ночной атаки, никого не занимал. Противник – это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как бы согреться.

Попутно замечу, что за все время моего пребывания в Испании я видел очень мало боев. Я находился на Арагонском фронте с января по май, но между январем и концом марта на фронтах, если не считать Теруэльского, ничего, или почти ничего, не происходило. В марте шли тяжелые бои за Хуэску, но лично я принимал в них очень небольшое участие. Позднее в июне, была эта злосчастная атака на Хуэску, в ходе которой несколько тысяч человек было убито в один день, я же был ранен еще до этого. Все то, что принято называть ужасами войны почти не коснулось меня. Самолеты не сбрасывали бомб поблизости, снаряды, сколько я помню, никогда не разрывались ближе чем в пятидесяти метрах от меня.

Лишь однажды я участвовал в рукопашной схватке. (Замечу, что один раз – это на один раз больше, чем нужно). Я, конечно, часто попадал под пулеметный огонь, но обычно огонь велся с далекого расстояния. Даже под Хуэской было сравнительно безопасно, при условии, что вы принимали разумные меры предосторожности.

Здесь, среди холмов, окружающих Сарагосу, нас донимали только скука и неудобства позиционной войны, – жизнь, как у городского клерка лишенная существенных событий и почти такая же размеренная: караул, патруль, рытье окопов; рытье окопов, патруль, караул. На вершинах холмов, фашисты или республиканцы, горстки оборванных, грязных людей, дрожащих вокруг своих флагов и старающихся согреться. А дни и ночи напролет – случайные пули, летящие через пустые долины и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств попадающие в человеческое тело.

Часто, глядя на холодный, зимний пейзаж я думал о тщете всего происходящего. Войны наподобие этой всегда заканчиваются ничем. Раньше, в октябре, за эти холмы велись отчаянные бои; а потом, когда из-за нехватки солдат, оружия и, в первую очередь, артиллерии, крупные операции стали невозможными, обе армии окопались и закрепились на вершинах тех холмов, которые им удалось захватить. Вправо от нас держал позицию небольшой отряд P.O.U.M., а левее на отроге находилась позиция P.S.U.C., перед которой высилась гора, усыпанная точками фашистских постов. Так называемая линия фронта шла такими зигзагами взад и вперед, что никто не смог бы разобраться в положении, если бы над каждой позицией не реял флаг. P.O.U.M. и P.S.U.C. вывешивали красный флаг, анархисты – красно-черный, либо республиканский – красно-желто-пурпурный. Вид был изумительный, следовало только забыть, что вершину каждой горы занимали солдаты, а кругом все было загажено консервными банками и человеческим калом. Вправо от нас сьерра поворачивала на юго-запад, освобождая место широкой, с прожилками потоков, равнине, тянущейся до самой Хуэски. Посреди равнины было разбросано несколько маленьких кубиков, напоминавших игральные кости; это был город Робрес, находившийся в руках фашистов. Часто по утрам долина тонула в море облаков, над которыми высились плоские голубые холмы, делавшие пейзаж похожим на фотонегатив. За Хуэской виднелось много таких холмов, покрытых меняющимся каждый день снежным узором. Далеко-далеко плыли в пустоте исполинские вершины Пиренеев, на которых никогда не тает снег. Но и внизу в долине все выглядело мертвым и голым. Видневшиеся напротив

холмы были серы и сморщены, как кожа слона. В пустом небе почти никогда не появлялись птицы. Никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивающих ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним солдаты.

По ночам и в туманные дни в долину, лежащую между нами и фашистами, уходили патрули. Наряды эти никто не любил – слишком холодно, да и заблудиться недолго. Вскоре я выяснил, что могу идти в патруль всякий раз, когда мне вздумается. В огромных ущельях не было ни дорог, ни тропинок; нужно было каждый раз запоминать приметы, чтобы найти дорогу обратно. По прямой линии фашистские окопы находились от нас в семистах метрах, но чтобы добраться до них нужно было пройти больше двух километров. Мне доставляло удовольствие блуждать в темных долинах под свист случайных пуль, с птичьим тирликаньем пролетавших высоко над головой. Еще лучше были вылазки в туманные дни. Туман часто держался весь день; обычно он покрывал только вершины, а в долинах было светло. Приближаясь к фашистским позициям, следовало ползти медленно, как улитка; было очень трудно передвигаться бесшумно по склонам холмов, не ломая кустов и не роняя камней. Лишь на третий или четвертый раз мне удалось подобраться к фашистской позиции. Лежал очень густой туман, я подполз вплотную к колючей проволоке и начал прислушиваться. Фашисты разговаривали и пели. Но потом я вдруг со страхом услышал, что несколько из них спускаются по холму в моем направлении. Я спрятался за куст, который вдруг показался мне очень маленьким, и попытался бесшумно взвести курок. Но фашисты свернули в сторону, не дойдя до меня. За прикрывшим меня кустом я обнаружил различные следы прежних боев – горку пустых гильз, кожаную фуражку с дыркой от пули, красный флаг, несомненно принадлежавший нашим. Я забрал флаг с собой, на позицию, где его без всяких сентиментов порвали на тряпки.

Как только мы прибыли на фронт, меня произвели в капралы, или cabo, как говорили испанцы. Под моей командой было двенадцать человек. Должность не была синекурой, особенно на первых порах. Центурия представляла собой необученную толпу, состоявшую главным образом из мальчишек 15–18 лет. Случалось, что в отрядах ополчения попадались дети 11–12 лет, обычно беженцы с территории занятой фашистами. Запись в ополчение была наиболее простым способом их прокормить.

Как правило, детей использовали на легких работах в тылу, но случалось, что они попадали и на фронт, где превращались в угрозу для собственных войск. Я помню, как такой маленький звереныш кинул в свой же окоп гранату, «для смеху». В Монте Почеро, сколько мне помнится, не было никого моложе пятнадцати лет, хотя средний возраст бойцов был значительно ниже двадцати. Пользы от ребят этого возраста на фронте нет никакой, ибо они не могут обходиться без сна, что в окопной войне совершенно неизбежно. Сначала никак нельзя было наладить ночную караульную службу. Несчастных ребятишек из моего отделения можно было разбудить только вытащив за ноги из окопа. Но стоило лишь повернуться к ним спиной, как они бросали пост и ныряли в свой окопчик, или же, несмотря на дикий холод, мгновенно засыпали, стоя, опершись на бруствер. К счастью, враг был на редкость малопредприимчив. Бывали ночи, когда мне казалось, что двадцать бойскаутов с духовыми ружьями или двадцать девчонок со скалками легко могут захватить нашу позицию.

В этот период и еще долгое время спустя каталонское ополчение было организовано так же, как и в самом начале войны. В первые дни франкистского мятежа все профсоюзы и партии создали собственные отряды ополченцев; каждый из них был по сути дела политической организацией, подчиненной своей партии не в меньшей мере, чем центральному правительству. Когда в начале 1937 года была создана Народная армия, представлявшая собой «неполитическую» формацию более или менее обычного типа, в нее, – так гласила теория, – влились отряды ополчения всех партий. Но долгое время все изменения оставались только на бумаге. Соединения новой Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу лишь в июне, а до этого времени система народного ополчения оставалась без изменений. Суть этой системы состояла в социальном равенстве офицеров и солдат. Все – от генерала до рядового – получали одинаковое жалованье, ели ту же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство было основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно похлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить у него сигарету, и никто не счел бы это странным. Во всяком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял собой демократию, а не иерархическую систему подчинения низших органов высшим. Существовала как бы договоренность, что приказы следует исполнять, но, отдавая приказ, вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но не было воинских званий в обычном смысле слова, не было чинов, погон,

щелканья каблуками, козыряния. В лице ополчения стремились создать нечто вроде временно действующей модели бесклассового общества. Конечно, идеального равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и не предполагал, что такое приближение к равенству вообще мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть войну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи справедливым, он был все же неуместен. В данных обстоятельствах ополчение не могло быть намного лучше. Современная механизированная армия не рождается на пустом месте, и если бы правительство решило ждать, пока не будет создана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встречая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополчение, и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства. В действительности же, всякий новый набор ополченцев представлял собой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры называли солдат «товарищами», а потому, что всякая группа новобранцев – это всегда недисциплинированная толпа. Демократическая «революционная» дисциплина на практике гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии дисциплина – теоретически – добровольна, ибо основана на классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии, дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточное место между этими двумя типами вооруженных сил). В ополчении никогда бы не смирились с издевательствами и скверным обращением, характерным для обычной армии. Обычные военные наказания существовали, но их применяли только в случае серьезных нарушений. Если боец отказывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взывая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имевшие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что из этого «ничего не получится», на самом же деле «получалось». Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отрядов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел, стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я короткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойцами, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев находились под огнем, и у меня не было никаких трудностей добиться выполнения приказов или найти добровольца для опасного задания. В основе «революционной» дисциплины лежит политическая сознательность – понимание, почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь

нужно время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеивались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря «революционной» дисциплине отряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание. Одиночных дезертиров можно расстрелять – такие случаи были, – но если бы тысячи ополченцев решили одновременно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удержать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А ополчение держало фронт (хотя, сказать правду, на его счету было немного побед) и к тому же, оно почти не знало дезертирства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел в P.O.U.M., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства, причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необученность, необходимость минут пять уговаривать бойца выполнить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а испанское ополчение, право, ничем не походило на английскую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно признать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожидать.

А пока дрова, дрова и снова – дрова. В дневнике, который я вел в эти месяцы, нет, пожалуй, ни одной записи, в которой не говорилось бы о дровах, вернее – об отсутствии таковых. Мы находились на высоте 700–1000 метров над уровнем моря, была середина зимы, и стоял невообразимый холод. Правда, температура не опускалась очень низко и часто по ночам не доходила даже до нуля, к тому же в полдень, примерно на час, показывалось зимнее солнце; но если в действительности и не было так холодно, нам этот холод казался очень сильным. Иногда со свистом налетал порыв ветра, срывавший шапки и лохмативший волосы, иногда окопы заливал туман, пронизывавший до костей, часто шли дожди; достаточно было пятнадцатиминутного дождя, чтобы превратить нашу жизнь в муку. Тонкий слой земли, покрывавший известняк, превращался в слизистую жижу, по которой неудержимо скользили ноги, тем более, что ходить приходилось по склонам холма. Темной ночью я, случалось, падал пять-шесть раз на протяжении двадцати метров, а это было опасно, ибо затвор заедало из-за набившейся в него грязи. На протяжении многих дней грязь покрывала одежду, башмаки, одеяла, винтовки. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько мог унести, но многие из бойцов были одеты из рук вон плохо. На весь гарнизон, насчитывавший

около ста человек, имелось всего двенадцать шинелей, которые выдавались только часовым. У большинства бойцов было только по одному одеялу. Как-то ледяной ночью я занес в дневник список надетых на меня вещей. Он любопытен, поскольку показывает, какое количество одежды способен напялить на себя человек. На мне были: толстая нательная рубашка и кальсоны, фланелевая рубаха, два свитера, шерстяной пиджак, кожаная куртка, вельветовые бриджи, обмотки, толстые носки, ботинки, тяжелый плащ-дождевик, шарф, кожаные перчатки с подбивкой и шерстяная шапка. И тем не менее, я трясся как осиновый лист. Правда, следует признаться, что я необычайно чувствителен к холоду.

Единственное, что имело для нас значение – это были дрова. Вся штука заключалась, однако, в том, что дров-то на деле не было. Наша гора не могла похвастаться своей растительностью и, в лучшие времена; теперь же, после того как многие месяцы здесь стояли мерзнущие ополченцы, на ней нельзя было найти даже прутика толщиной в палец. Все время, свободное от еды, сна и караулов, мы проводили в долине за позицией в поисках топлива. Думая об этом времени, я вспоминаю прежде всего о том, как карабкался по почти отвесным откосам острых известняковых скал, разбивая ботинки, в попытке добраться до какого-нибудь чахлого кустика. Трем солдатам в течение нескольких часов удалось собрать такое количество хвороста, которого хватало на час горения. Отчаянная погоня за топливом превратила нас в ботаников. Каждая былинка, росшая на склонах горы, классифицировалась в зависимости от ее «горючих» свойств; различные виды вереска и трав годились для растопки, но сгорали в течение нескольких минут, дикий розмарин и тонкие кустики дрока шли в огонь лишь тогда, когда костер уже успевал разгореться, карликовый дуб (деревце, чуть ниже куста крыжовника) почти не поддавался огню. На самой вершине, влево от нашей позиции, рос сухой, великолепно горевший тростник. Но собирать его нужно было под вражеским обстрелом. Завидев нас, фашистские пулеметчики открывали ураганный огонь, выпуская сразу целую ленту. Обычно они брали слишком высокий прицел, и пули, как птицы, пели над головами, но иногда они откалывали известняк в неприятной близости и тогда нужно было упасть и прижаться к земле. Но мы продолжали собирать тростник. Ничто не было так важно, как топливо.

По сравнению с холодом, все другие неудобства казались нам ничтожными. Мы, разумеется, ходили постоянно грязными. Воду, как и пищу, нам привозили на вьючных мулах из Алькубьерре и на одного человека приходилось чуть больше литра в день. Вода была отвратительная, не прозрачнее молока. Официально нам выдавали воду только для питья, но мне всегда удавалось украсть вдобавок полную жестяную кружку, чтобы умыться. Обычно, я один день мылся, а брился на следующий. Чтобы проделать обе эти операции в одно и то же время не хватало воды. Позиция немилосердно воняла, за нашей небольшой баррикадой всюду валялись кучи кала. Некоторые из ополченцев испражнялись в окопе, вещь омерзительная, особенно когда ходишь в темноте. Но грязь меня никогда не беспокоила. О грязи слишком много говорят. С удивительной быстротой привыкаешь обходиться без носового платка и есть из той же миски, из которой умываешься. Через день-два перестает мешать то, что спишь в одежде. Ночью нельзя было, конечно, ни раздеться, ни снять башмаков; следовало постоянно быть готовым к отражению атаки. За восемьдесят дней я снимал мою одежду три раза, правда, несколько раз мне удавалось раздеваться днем. Вшей у нас не было из-за холода, но крысы и мыши расплодились в большом количестве. Часто говорят, что крысы и мыши вместе не живут. Оказывается, они вполне уживаются – когда есть достаточно пищи.

В других отношениях нам было неплохо. Еда была вполне приличная, вина отпускали вдоволь. Нам выдавали пачку сигарет в день и коробку спичек на два дня, а кроме того мы получали даже свечи. Это были очень тоненькие свечки, похожие на те, которыми украшают рождественские куличи. Все единодушно считали, что их украли из церкви. Каждый окоп получал по три семисантиметровых свечи в день, каждой из которых хватало примерно на двадцать минут горения. В то время свечи еще были в продаже, и я захватил с собой несколько фунтов. Позднее, нехватка свечей и спичек ощущалась мучительнейшим образом. Значение этих вещей начинаешь понимать лишь тогда, когда их лишаешься. Во время ночной тревоги, например, когда каждый хватается за свою винтовку, топча всех по пути, возможность зажечь свечу может спасти жизнь. У каждого ополченца имелись кремень с огнивом и с полметра желтого фитиля. Это было его самое драгоценное имущество, если не считать винтовки. Кремень с огнивом имели то огромное преимущество, что искру можно было высечь даже на ветру, зато она не годилась для разжигания костра. Когда спички окончательно исчезли, единственной возможностью разжечь костер стал порох, который мы высыпали из гильзы и поджигали искрой.

Мы жили необычной жизнью, тем более, что мы воевали, если это можно назвать войной. Ополченцы жаловались на бездействие, шумно добивались объяснения, почему нас не поднимают в атаку. Но было со-

вершенно очевидно, что если враг не начнет первым, то ждать боя придется еще очень долго. Во время своих периодических инспекций Жорж Копп говорил с нами совершенно откровенно. «Это не война, – заявлял он обычно, – а комическая опера со случающейся время от времени смертью». Впрочем застой на Арагонском фронте имел свои политические причины, о которых я в то время не имел понятия; но чисто военные трудности, не говоря уже об отсутствии людских резервов, были для всех очевидны.

Эти трудности начинались прежде всего с характера местности. Фронт, и с нашей, и с фашистской стороны, прикрывали позиции, представлявшие собой исключительно сильные естественные препятствия, подойти к которым можно было, как правило, только с одной стороны. Достаточно было вырыть несколько окопов, чтобы сделать такую позицию неприступной для пехоты, разве что атакующая сторона имела бы громадный численный перевес. Дюжина бойцов с двумя пулеметами могла легко удержать нашу позицию, даже если ее штурмовал бы целый батальон противника. Так же обстояли дела и на большинстве соседних позиций. Сидя на макушке холмов, мы представляли собой заманчивую цель для артиллерии; но артиллерии у врага не было. Иногда, глядя на окружающий нас пейзаж, я мечтал, – страстно мечтал, – о нескольких батареях. Пушки раздолбили бы неприятельские позиции с такой же легкостью, с какой молоток раскалывает орех. Но у нас пушек не было совершенно. Фашисты изредка ухитрялись подтянуть одно-два орудия из Сарагосы и выпустить несколько снарядов, которые падали в пустые овраги, не причинив никакого вреда. Фашисты прекращали огонь, так и не успев пристреляться. Не имея артиллерии, под дулами пулеметов, можно было выбрать лишь один из трех путей: зарыться в землю на безопасном расстоянии, скажем четырехсот метров, наступать по открытой местности и дать себя расстрелять в упор, или же делать ночные вылазки, которые все равно не меняют общего положения. По существу, выбирать можно было между самоубийством и полной неподвижностью.

Вдобавок ко всему этому, полностью отсутствовали какие бы то ни было военные материалы. Необходимо некоторое усилие, чтобы представить, как скверно было снаряжены ополченцы тех дней. В военном кабинете каждой солидной английской школы было больше современного оружия, чем у нас. Мы были вооружены так плохо, что об этом стоит рассказать подробнее.

На этом участке фронта вся артиллерия состояла из четырех минометов, на каждый из которых приходилось всего пятнадцать мин.

Само собой разумеется, что минометы были слишком драгоценны, чтобы из них стрелять, поэтому они хранились в Алькубьерре. Примерно на каждые пятьдесят человек приходился пулемет; это были пулеметы старых образцов, но из них можно было вести довольно прицельный огонь на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Помимо этого, мы располагали только винтовками, причем место большинству из них было на свалке. Винтовки были трех образцов. Во-первых, длинный маузер. Как правило, эти винтовки служили уже не менее двадцати лет, от их прицельного устройства было столько же пользы, как от поломанного спидометра, у большинства нарезка безнадежно заржавела; впрочем, одной винтовкой из десяти можно было пользоваться. Затем имелся короткий маузер, или мускетон, по существу кавалерийский карабин. Эта винтовка пользовалась популярностью из-за своей легкости и небольшого размера, удобного в окопных условиях. Кроме того мускетоны были сравнительно новы и имели приличный вид. В действительности же пользы от них не было почти никакой. Их собирали из старых частей, ни один из затворов не подходил к винтовке, три четверти из них заедало после первых пяти выстрелов. Наконец, было несколько винчестеров. Из них было удобно стрелять, но пули летели неизвестно куда, к тому же обойм не было и после каждого выстрела приходилось винтовку перезаряжать. Патронов было так мало, что каждому бойцу, прибывавшему на фронт, выдавалось всего по пятьдесят штук, в большинстве своем исключительно скверных. Все патроны испанского производства были набиты в уже однажды использованные гильзы и поэтому даже самую лучшую винтовку очень скоро заедало. Мексиканские патроны были сортом повыше и мы берегли их для пулеметов. По настоящему хорошей амуниции – немецкой – у нас почти не было, ибо забирали мы ее у пленных или дезертиров. Я всегда держал в кармане обойму немецких или мексиканских патронов – на случай непредвиденных обстоятельств. Но когда такие обстоятельства наступали, я редко стрелял из своей винтовки, опасаясь, как бы эту проклятую штуку не заело, и боясь остаться без патронов.

У нас не было ни касок, ни штыков, почти не было пистолетов и револьверов, одна бомба приходилась на пятьдесят человек. Бомбой нам служила жуткая штука, известная под названием бомбы «F.A.I.»[9], ибо их изготовляли в первые дни войны анархисты. Она была сделана по принципу гранаты Миллса, но чеку придерживала не шпилька, а шнурок. Вы

[9] Federación Anarquista Ibérica – Федерация Анархистов Иберии. (прим. пер.)

рвали шнурок и как можно быстрее старались избавиться от гранаты. У нас говорили, что это «беспристрастные» бомбы, они убивали и тех, в кого их бросали, и того, кто их бросал. Были и другие виды гранат, еще более примитивные, но пожалуй менее опасные, – для бросающего, разумеется. Лишь в конце марта я впервые увидел гранату достойную своего назначения.

Не хватало не только оружия, но и всего другого снаряжения, необходимого на войне. Мы не имели, например, ни карт, ни схем. Полной топографической карты Испании не существовало вообще. Единственными подробными картами местности были старые военные карты, почти все оказавшиеся в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни перископов, ни полевых биноклей, если не считать нескольких личных, ни сигнальных ракет, ни саперных ножниц для резки колючей проволоки, ни инструмента для оружейников, нечем было даже чистить оружие. Испанцы, казалось, никогда не слышали о протирке и пришли в изумление, когда я изготовил нужный инструмент. Когда надо было прочистить винтовку, шли к сержанту, хранившему длинный, обычно изогнутый и царапавший нарезку медный шомпол. Не было даже ружейного масла. Винтовки смазывались оливковым маслом, если его удавалось достать; в разное время я смазывал свою винтовку вазелином, кольдкремом, и даже свиным салом. Не было, также, ни ламп, ни электрических фонариков. Я думаю, что в то время на всем нашем участке не было ни одного электрического фонаря, а ближе чем в Барселоне купить его было нельзя, да и там с трудом.

Шло время, и под звуки беспорядочной стрельбы, трещавшей среди холмов, я с нарастающим скептицизмом ждал событий, которые внесли бы немножко жизни, или вернее смерти, в эту дурацкую войну. Мы воевали с воспалением легких, а не с противником. Если расстояние между окопами превышает пятьсот метров, получить пулю можно только случайно. Сколько мне помнится, пятеро первых раненых, которых я увидел в Испании, были ранены собственным оружием. Я не хочу сказать, что это было сделано умышленно, – нет, они были ранены случайно или по небрежности. Серьезную опасность представляли наши изношенные винтовки. Некоторые из них имели скверную привычку стрелять, когда ударяли прикладом о землю; я видел бойца, прострелившего себе таким образом руку. В темноте свежие ополченцы всегда стреляли друг в друга. Как-то под вечер, еще до наступления сумерек, часовой пальнул в меня на расстоянии двадцати шагов, но промазал, – пуля прошла в одном метре. Сколько раз неумение испанцев стрелять метко спасло мне жизнь. В

другой раз я отправился в разведку в тумане, заблаговременно предупредив об этом командира. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой крикнул, что идут фашисты, и я имел удовольствие слышать, как командир приказывает открыть беглый огонь в моем направлении. Я, конечно, лег на землю и пули пролетали надо мной. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что огнестрельное оружие опасно. Помню, это было уже после описанных выше событий, я фотографировал пулеметную команду, сидевшую за пулеметом, нацеленным прямо на меня.

– Только не стреляйте, – полушутя сказал я, наводя на них фотоаппарат.

– Нет, мы и не собираемся стрелять.

И в ту же секунду затарахтел пулемет и струя пуль пролетела возле меня так близко, что крупинки пороха обожгли щеку. Пулеметчики выстрелили случайно, но сочли это великолепной шуткой. А всего несколько дней назад они стали свидетелями того, как политрук, балуясь автоматическим пистолетом, нечаянно застрелил погонщика мулов, всадив ему в легкие пять пуль.

Определенную опасность представляли собой и грудные пароли, бывшие в то время в ходу в армий Нужно было помнить и пароль и отзыв. Обычно это были высокопарные революционные лозунги, вроде: Cultura – progreso, or Seremos – invencibles[10]. Неграмотные часовые часто не могли запомнить эти возвышенные слова. Однажды, паролем выбрали слово Cataluña, а отзывом – Eroica. Хаиме Доменак, крестьянский паренек с лунообразным лицом, пришел ко мне в полном недоумении и спросил, что означает слово Eroica.

Я объяснил, что Eroica, это то же самое, что valiente, героизм. Минуту спустя, когда он в темноте вылез из окопа, его остановил криком часовой:

– Alto! Cataluña![11]

– Valiente! – гаркнул Хаиме, убежденный, что это и есть отзыв.

Бах!

Впрочем, часовой промахнулся. На этой войне, все делали все возможное, чтобы не попасть в кого-нибудь.

[10] Культура – прогресс. Будем – непобедимы. (прим. пер.)
[11] Стой! Каталония! (прим. пер.)

4

На этом участке фронта я пробыл три недели. Потом в Алькубьерре прибыло из Англии 20 или 30 человек, присланных Независимой лейбористской партией. Меня и Вильямса присоединили к ним, чтобы все англичане были вместе. Наша новая позиция находилась немного западнее прежней возле Монте Оскуро, откуда открывался вид на Сарагосу.

Наша позиция примостилась на острой, как бритва известняковой скале, в которой были вырыты ходы, напоминавшие ласточкины гнезда. Ходы шли далеко вглубь скалы, там было совершенно темно и так низко, что нельзя было даже стоять на коленях, не то что в полный рост. Влево от нас, на скалах оборудовали свои позиции еще два отряда P.O.U.M., причем одна из этих позиций привлекала особое внимание бойцов всего фронта – там кухарили три женщины. Красавицами назвать их было нельзя, но тем не менее командование сочло необходимым запретить доступ на эту позицию солдатам других укреплений. Вправо, в пятистах метрах от нас, у поворота дороги на Алькубьерре был пост, удерживаемый отрядом P.S.U.C. В этом месте проходил фронт. Ночью видны были фары грузовиков, подвозивших нам снаряжение из Алькубьерре, и фары фашистских машин, идущих из Сарагосы. Видна была и сама Сарагоса, тонкая полоска огоньков, напоминавших корабельные иллюминаторы, примерно в двадцати километрах юго-западнее нас. Правительственные войска любовались с этого места Сарагосой еще в августе 1936 года, смотрят они на нее и теперь.

Нас было около тридцати человек, включая одного испанца – Рамона, шурина Вильямса – и дюжина испанских пулеметчиков. Если не считать одного-двух исключений, – война, как известно, всегда привлекает всякую шваль, – англичане были великолепные ребята, отличались выносливостью и покладистым характером. Пожалуй, самым симпатичным из всех был Боб Смайли, внук знаменитого вождя горняков, погибший потом в Валенсии совершенно бессмысленной смертью. Англичане и испанцы, несмотря на языковую преграду, всегда хорошо уживаются вместе, что несомненно следует поставить в заслугу испанцам. Как выяснилось, испанцы знали только два английских выражения. Одно – «окей, бэби», другое же – употребляемое барселонскими проститутками в разговорах с английскими моряками – боюсь, что наборщики не напечатают.

И снова на фронте ничего не происходило: лишь иногда свистела заблудившаяся пуля, либо, очень редко, падала фашистская мина, и

все бежали в траншею на верхушке горы, посмотреть где она взорвалась. Враг был здесь немного ближе к нам – метрах в трехстах-четырехстах. Его ближайшая позиция находилась как раз напротив нашей, и амбразуры неприятельских пулеметных гнезд постоянно соблазняли наших бойцов, напрасно тративших патроны. Фашисты редко утруждали себя винтовочной стрельбой, но зато посылали точные пулеметные очереди в каждого, кто высовывался. Тем не менее, лишь дней через десять, а то и больше, появился у нас первый раненый. Напротив нас стояли испанские войска, имевшие, как показывали дезертиры, несколько немецких унтеров. Здесь, видимо, были и мавры, – вот должно быть, бедняги, страдали от холода, – ибо на ничьей земле валялся труп мавра, одна из местных достопримечательностей. В полутора или трех километрах левее нашей позиции кончалась сплошная линия фронта и тянулась заросшая лесом лощина, не принадлежавшая ни фашистам, ни нам. И мы и они посылали туда дневные патрули. Это была неплохая игра – в бойскаутском духе, – хотя мне не довелось увидеть фашистский патруль ближе, чем на расстоянии нескольких сот метров. Покрыв солидное расстояние, передвигаясь ползком по-пластунски, мы пересекали фронтовую линию и добирались до места, откуда виден был крестьянский дом с развевающимся монархистским флагом. В доме размещался местный штаб фашистов. Время от времени мы выпускали по этому дому винтовочный залп и сразу же прятались, чтобы пулеметчик нас не засек. Надеюсь, что мы разбили хотя бы несколько окон, ибо штаб находился в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было никакой уверенности, что на такой дистанции попадешь даже в дом.

Дни стояли ясные и холодные, иногда в полдень выглядывало солнце, но мороз не легчал. На склонах холмов попадались проклюнувшиеся головки диких крокусов и ирисов; близилась весна, но шла она очень медленно. Ночи были еще холоднее, чем раньше. Вернувшись на рассвете с караула, мы разгребали остатки кухонного костра и становились на жарко-красные угли. Мы жгли подметки башмаков, зато согревали ноги. Иногда по утрам в горах занимались зори такой красоты, что для этого стоило, пожалуй, вставать в немыслимую рань. Я не терплю гор, не люблю даже любоваться ими, но иногда, захваченный рассветом, поднимавшимся высоко в горах за нашей спиной, увидев первые стрелки золота, как лезвия пронизывающие темноту, а потом внезапно нахлынувший свет и моря карминных облаков, уходящих в невообразимую даль, я переставал жалеть о том, что не спал всю ночь, что ноги мои онемели и что завтрака придется ждать не менее трех часов. В тече-

ние этих месяцев я видел больше рассветов, чем за всю ранее прожитую жизнь. Этих рассветов с меня хватит до конца дней.

Нас было немного, а это значило, что нужно было дольше простаивать в карауле, а следовательно – больше утомляться. Я начал страдать от нехватки сна, неизбежной даже на самых спокойных участках фронта. Кроме караулов и патрулей были постоянные ночные тревоги и подъемы, не говоря уж о том, что нельзя как следует выспаться в окаянной земляной норе, когда ноги так и ноют от холода. За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я около дюжины суток не спал совсем; с другой стороны, не набралось бы, пожалуй, дюжины ночей, которые я проспал бы целиком. Двадцать-тридцать часов сна в неделю были нашей нормой. Отсутствие сна сказывается не так скверно, как можно подумать, просто ходишь как ошалелый, и карабкаться по горам становится труднее. Но общее самочувствие хорошее, хотя гложущий голод не оставляет ни на минуту. Боже мой, какой голод! Всякая еда кажется вкусной, даже вечная фасоль, которую в конце концов возненавидели все, кто побывал в Испании. Воду, если мы ее получали, везли за много километров на мулах или бедных заморенных ослах. По каким-то причинам арагонский крестьянин хорошо относится к мулам, но отвратительно к осликам. Если ослик заупрямится, его, как правило, сразу же пинают в мошонку.

Выдача свечей прекратилась, мало осталось и спичек. Испанцы научили нас мастерить лампы, используя оливковое масло, банку из-под сгущенного молока, гильзу и кусок тряпки. Когда у нас изредка заводилось оливковое масло, мы зажигали эти лампы. Они горели, непрерывно чадя и давали свет в четверть свечи; их света было достаточно только для того, чтобы найти в темноте свою винтовку.

Надежды на настоящий бой не было. Уходя с Монте Почеро, я подсчитал свои патроны и обнаружил, что в течение трех недель трижды выстрелил по врагу. Говорят, что нужно выпустить тысячу пуль, чтобы убить человека, следовательно, должно было пройти двадцать лет, прежде чем мне удастся убить первого фашиста. На Монте Оскуро враг был ближе и мы стреляли чаще, но' я вполне уверен, что я ни в кого не попал. Следует сказать, что на этом участке фронта в этот период самым действенным оружием была не винтовка, а мегафон. Не имея возможности убить врага, мы на него кричали. Этот метод ведения войны настолько необычен, что нуждается в разъяснении.

Если вражеские окопы находились на достаточно близком расстоянии, начиналось перекрикива-ние. Мы кричали: «Fascistas – maricones!»[12] Фашисты отвечали: «Viva España! Viva Franco!»[13] Если они знали, что напротив находятся англичане, они орали: «Англичане, го хоум! Нам иностранцы не нужны!» Республиканские войска, партийные ополченцы создали целую технику «кричания», с целью разложения врага. При каждом удобном случае бойцов, обычно пулеметчиков, снабжали мегафонами и посылали пропагандировать. Им давали заранее подготовленный материал, лозунги, проникнутые революционным пафосом, которые должны были объяснить фашистским солдатам, что они наймиты мирового капитала, воюющие против своих же братьев по классу и т. д. и т. п. Фашистских солдат уговаривали перейти на нашу сторону. Эти лозунги выкрикивались без передышки: бойцы сменяли друг друга у мегафонов. Так продолжалось иногда ночи напролет. Пропаганда, несомненно, давала результаты; все соглашались с тем, что струйка дезертиров, которая текла в нашем направлении, была частично вызвана ею. И можно понять, что на продрогшего на посту часового, бывшего членом социалистических или анархистских профсоюзов, мобилизованного насильно в фашистскую армию, действовал гремевший всю ночь напролет лозунг: «Не воюйте с братьями по классу!» Такая ночь могла стать последней каплей для человека, колебавшегося – дезертировать или не дезертировать. Но такой способ ведения войны совершенно расходился с английскими понятиями. Должен признаться, что я был удивлен и шокирован, впервые познакомившись с ним. Переубеждать врага вместо того, чтобы в него стрелять? Сейчас я убежден, что со всех точек зрения это был вполне оправданный маневр. В обычной позиционной войне, не имея артиллерии, очень трудно нанести потери неприятелю, не потеряв самим примерно столько же людей. Если вы можете убедить какое-то число вражеских солдат дезертировать, тем лучше; по существу дезертиры для вас полезнее трупов, ибо они могут дать информацию. Но на первых порах мы все были обескуражены; нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к войне. На позиции, занимаемой справа от нас отрядом P.S.U.C. пропаганду вел истинный мастер своего дела. Иногда, вместо того, чтобы выкрикивать революционные лозунги, он начинал рассказывать фашистам, насколько нас кормят лучше, чем их. В отсутствии фантазии, при рассказе о республиканских рационах, его упрекнуть нельзя. «Гренки с маслом! – его голос отдавался раскатами эхо по всей долине. – Сейчас мы садимся есть гренки с маслом! Заме-

[12] Фашисты – трусы. (прим. пер.)
[13] Да здравствует Испания! Да здравствует Франко! (прим. пер.)

чательные гренки с маслом!» Я не сомневаюсь, что как и все мы, он не видел масла недели, если не месяцы, но фашисты, услышав в ледяной ночи, крики о гренках с маслом, должно быть, пускали слюнки. Впрочем, у меня самого текли слюнки, хотя я хорошо знал, что он врет.

Однажды в феврале мы увидели приближающийся к нам фашистский самолет. Как обычно, мы вытащили на открытое место пулемет, задрали его ствол вверх и легли на спину, чтобы лучше целиться. Наша стоявшая на отшибе позиция не заслуживала в глазах врага особого внимания и, как правило, те немногие фашистские самолеты, которые появлялись здесь, облетали нас стороной, чтобы избежать пулеметного огня. На этот раз самолет прошел прямо над нами, но слишком высоко, чтобы стоило в него стрелять. Из него выпали не бомбы, а белые блестящие лепестки, закружившиеся в воздухе. Несколько листков упало на нашу позицию. Это были экземпляры фашистской газеты «Heraldo de Aragón»[14], извещавшей о падении Малаги.

В эту ночь фашисты сделали неудачную попытку атаковать нас. Я как раз укладывался спать, полумертвый от усталости, как вдруг над нашими головами зачастил град и кто-то, просунувшись в окоп закричал: «Атакуют!» Я схватил винтовку и кинулся на свой пост, находившийся на вершине возле пулемета. Не видно было ни зги, и стоял дьявольский шум. Нас поливали огнем, должно быть, пять пулеметов, глухо рвались гранаты, по-идиотски выбрасываемы фашистами у своего же бруствера. Было совершенно темно. Внизу в долине, влево от нас, я мог различить зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов. Это ввязался в бой какой-то фашистский патруль. В темноте вокруг нас покали пули – цок-цик-цак. Над головой просвистело несколько снарядов, упавших далеко от нас, да к тому же, (как обычно на этой войне), не разорвавшихся. Я на мгновение не на шутку испугался, когда в тылу вдруг заговорил еще один пулемет. Пулемет оказался нашим, но мне сначала почудилось, что мы окружены. Потом наш пулемет заело, как заедало всегда из-за скверных патронов, а шомпол куда-то запропастился в непроницаемой темноте. Единственное что оставалось, это стоять и ждать, когда в тебя попадут. Испанские пулеметчики пренебрегают прикрытием, более того, они умышленно подставляют себя под пули, и я вынужден был поступать так же. Этот эпизод, хотя и не очень значительный, был чрезвычайно интересен. В первый раз я был, в буквальном смысле слова, под огнем. И к моему унижению, обнаружил, что я страшно испугался. Так, оказывается, чувствуешь себя всегда под сильным огнем – боишься не столько того, что в тебя попадут, сколько неизвестности куда попадут. Все время не перестаешь думать, куда клюнет пуля и все тело приобретает в высшей степени неприятную чувствительность.

[14] Вестник Арагона. (прим. пер.)

Прошел час или два, и огонь стал затихать, а потом совсем умолк. У нас был один раненый. Фашисты выдвинули на ничейную землю несколько пулеметов, но держались на безопасной дистанции и не сделали попытки штурмовать наш бруствер. По сути дела они не атаковали, а просто транжирили патроны и весело шумели, празднуя падение Малаги. Для меня главный урок заключался в том, что после этой истории я стал более недоверчиво относиться к военным сводкам, публикуемым в газетах. Спустя день или два газеты сообщили, что доблестные англичане отразили ураганную атаку кавалерии и танков (это по отвесным-то откосам!).

Когда фашисты известили нас о падении Малаги, мы решили, что это ложь, но на другой день пришли более достоверные слухи, а потом появилось и официальное сообщение. Постепенно стала известна вся эта позорная история – как город был отдан без единого выстрела, как ярость итальянцев обрушилась не на республиканских солдат, заранее эвакуировавшихся, а на гражданское население, как мирных жителей, пытавшихся бежать, преследовали на протяжении сотни километров, расстреливая из пулеметов. Эта новость оставила у солдат на передовой неприятный привкус, все ополченцы как один были убеждены, что падение Малаги – результат предательства. Впервые я услышал о предательстве и отсутствии единства. Впервые у меня появились глухие сомнения в отношении этой войны, в которой до сих пор так восхитительно просто было решить на чьей стороне правда.

В середине февраля мы покинули Монте Оскуро и были включены, вместе со всеми отрядами P.O.U.M., стоявшими на этом участке, в армию, осаждавшую Хуэску. Грузовик вез нас километров восемьдесят по студеной равнине, вдоль подстриженных виноградников и едва проклюнувшихся ростков озимого ячменя. В четырех километрах от наших новых окопов виднелась Хуэска, маленькая и светлая, как кукольный городок. Много месяцев назад, после взятия Сиетамо, генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьем кофе в Хуэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Хуэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придется побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Хуэске.

5

До последних чисел марта на восточном участке фронта под Хуэской ничего не происходило, почти ровным счетом ничего. Мы находились в тысяче двухстах метрах от врага. Когда фашисты были отбиты и закрепились в Хуэске, республиканская армия не проявила особого рвения в погоне за врагом, и линия фронта в этом месте выгнулась подковой. Позднее, при переходе в наступление, пришлось выпрямлять фронт – задача не из легких под огнем противника, – но в настоящее время врага, как будто, вовсе не существовало. Нас занимало лишь одно – как согреться и раздобыть чего-нибудь поесть. Это не значит, однако, что у меня не было живого интереса и к целому ряду других вещей, но об этом я напишу позднее. Пока же я буду держаться ближе хронологии и попытаюсь дать представление о внутриполитическом положении на республиканской стороне.

Вначале я пренебрегал политической стороной войны, и только в описываемый период политика начала привлекать мое внимание. Если вас не интересуют ужасы партийной политики, прошу пропустить эти страницы. Я выделяю политическую часть моего повествования в особые главы именно с этой целью. В то же время невозможно писать об испанской войне с чисто военной точки зрения, – это была прежде всего война политическая. Ни одно событие, особенно в первый год, не может быть понято, если вы не разбираетесь в какой-то мере в том, что представляла собой внутрипартийная борьба, которая велась в рядах республиканцев за линией фронта.

Приехав в Испанию, я первое время не только не интересовался политикой, но даже и не подозревал о ее существовании. Я знал, что идет война, но не имел никакого представления о характере этой войны. Если бы меня спросили, почему я пошел в ополчение, я ответил бы: «Сражаться против фашизма». А на вопрос, за что я сражаюсь, я ответил бы: «За всеобщую порядочность». Я принял определение, данное этой войне журналами «Ньюс-Кроникл» – «Нью стейтсмен»: защита цивилизации от вспышки безумия среди армии полковников Блимпов[15], оплачиваемых Гитлером. Меня глубоко взволновала революционная атмосфера Барселоны, но я не сделал попытки понять ее. Что касается калейдоскопа политических партий и профсоюзов с их нудными названиями P.S.U.C., P.O.U.M., F.A.I., C.N.T., U.G.T., J.C.I., J.S.U., AIT. – то они просто меня раздражали. С первого взгляда казалось, что Испания страдает эпидемией сокращений. Я знал, что я служу в чем-то, носящем название P.O.U.M., (я вступил в ополчение P.O.U.M., а не в другое лишь потому, что прибыл в Барселону с направлением от I.L.P.), но мне и в голову не приходило, что между партиями имеются существенные различия. Когда на Монте Почеро мне сказали, что слева позицию держат социалисты (имея в виду P.S.U.C.), я был удивлен и спросил: «А разве мы не социалисты?» Мне казалось идиотизмом, что народ, борющийся за свою жизнь делится на партии. Я стоял на простой точке зрения: «Отбросим всю эту партийную чепуху и займемся войной». Это было то правильное «антифашистское» отношение, хитро пропагандируемое английскими газетами, главным образом для того, чтобы помешать читателям понять подлинную сущность борьбы. Но такое отношение нельзя было сохранить в Испании, особенно в Каталонии. Хотелось ему того или нет, каждый, рано или поздно, выбирал себе партию. Человека могли не интересовать партии и их «линии», но всякому было совершенно очевидно, что речь шла о его собственной судьбе. Служа в ополчении, вы были солдатом антифашистской армии, но одновременно пешкой в гигантской схватке, которую вели между собой два политических направления. Когда я ползал в поисках хвороста по склонам гор, размышляя, война ли это или просто выдумка «Ньюс кроникл», когда я прятался от пулеметного огня коммунистов во время барселонского мятежа, когда, наконец, я бежал из Испании, преследуемый по пятам полицией, – все это происходило со мной потому, что я служил в ополчении P.O.U.M., а не в P.S.U.C. Оказалось, что разница между этими двумя сокращениями очень велика!

Чтобы понять, как произошло размежевание сил в рядах республиканцев, следует вспомнить, с чего все началось. Можно полагать, что 18 июля, в день начала боев, все антифашисты Европы вздохнули с надеждой. Наконец-то нашлось демократическое правительство, вступившее в схватку с фашизмом. На протяжении многих лет так называемые демократические страны уступали фашистам на каждом шагу. Японцам разрешили хозяйничать, как им заблагорассудится, в Маньчжурии, Гитлер пришел к власти и приступил к резне своих политических противников всех мастей и оттенков; Муссолини сбрасывал грузы бомб на абиссинцев, в то время как пятьдесят три нации (надеюсь, я не ошибся в числе) благочестиво причитали: «Руки прочь!». Но когда Франко сделал попытку свергнуть умеренно-левое правительство, испанский народ, неожиданно для всех, дал ему отпор. Казалось, что наступил поворотный пункт (не исключена возможность, что так оно и было на самом

[15] Полковник Блимп – нарицательный образ английского консерватора. (прим. пер.)

деле). Но были факты, ускользнувшие от внимания общественности. Во-первых, Франко нельзя было полностью отождествлять с Гитлером или Муссолини. Его восстание было военным мятежом, поддержанным аристократией и церковью. Целью мятежа, особенно на первых порах, было не столько установление фашизма, как восстановление феодализма. В результате, против Франко выступил не только рабочий класс, но и различные слои либеральной буржуазии, те самые круги, которые поддерживают фашизм, если он выступает в более современной форме. Еще большее значение имел тот факт, что испанский рабочий класс выступил не в защиту «демократии» и статуса кво, как это мог бы сделать, скажем, рабочий класс Англии; сопротивление испанских рабочих сопровождалось, – можно даже сказать, было, – подлинным революционным взрывом. Крестьяне захватили землю; многие заводы и почти весь транспорт перешли в руки профсоюзов, церкви были разрушены, а священники изгнаны или убиты. Газета «Дейли мейл», под приветственные крики католического духовенства, представила Франко как патриота, освобождающего страну от диких орд «красных».

В первые месяцы войны действительным противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. Как только вспыхнул мятеж, организованные городские рабочие ответили на него всеобщей забастовкой, потребовали оружие из правительственных арсеналов, и в результате борьбы, получили его. Если бы они не выступили стихийно и более или менее независимо, вполне возможно, что Франко не встретил бы сопротивления. Этого нельзя утверждать с полной уверенностью, но есть основания допускать такую возможность. Правительство не сделало ничего, или почти ничего, чтобы предотвратить мятеж, о подготовке которого было давно известно. А когда мятеж вспыхнул, правительство показало себя таким слабым и неуверенным, что в течение одного дня Испания переменила трех премьеров[16]. Единственный шаг, который мог спасти положение – раздача оружия рабочим – был сделан неохотно и под давлением народных масс. Но в конечном итоге оружие было роздано и в больших городах восточной Испании фашисты были разбиты усилиями прежде всего рабочего класса, при поддержке ряда воинских частей, сохранивших верность правительству (жандармерия и т. д.). На такие усилия способен, мне думается, лишь народ, поднявшийся на революционную борьбу, то есть верящий, что он сражается за нечто большее, чем просто сохранение статуса кво. В уличных боях в

[16] Кирога, Барриос и Хираль (Quiroga, Barrios, and Giral). Первые два отказались выдать оружие профсоюзам.

течение одного единственного дня погибло три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними динамитными шашками, бежали через площади городов на штурм зданий, в которых засели отлично обученные солдаты с пулеметами. Такси, мчавшиеся со скоростью 100 километров в час, с ходу давили пулеметные гнезда, устроенные фашистами в стратегически важных пунктах. Даже не зная ничего о захвате земли крестьянами и о создании местных советов, трудно было поверить, что анархисты и социалисты, эта опора сопротивления, могли видеть цель своей борьбы в сохранении капиталистической демократии, которая – особенно с точки зрения анархистов – была не более чем централизованной машиной обмана масс.

А тем временем рабочие получали оружие и на данном этапе не собирались выпускать его из рук. (Год спустя было подсчитано, что каталонские анархо-синдикалисты все еще имеют 30 тысяч винтовок). Во многих местах владения профашистских помещиков были захвачены крестьянами. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, делались попытки образовать зачаточные органы рабочей власти – создавались местные комитеты, рабочие патрули сменяли старую буржуазную полицию, профсоюзы формировали отряды рабочего ополчения. Конечно, этот процесс не всюду шел одинаково, – в Каталонии он продвинулся дальше, чем в других районах страны. Были районы, где местные органы власти оставались почти без изменений, в других же местах они уживались бок о бок с революционными комитетами. Кое-где были созданы независимые анархистские коммуны. Некоторые из них продержались около года, а затем были разогнаны правительством. В Каталонии, первые несколько месяцев власть находилась почти целиком в руках анархо-синдикалистов, контролировавших большую часть основных отраслей промышленности. Таким образом, то, что произошло в Испании, было не просто вспышкой гражданской войны, а началом революции. Именно этот факт антифашистская печать за пределами Испании старалась затушевать любой ценой. Положение в Испании изображалось как борьба «фашизма против демократии», революционный характер испанских событий тщательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а общественное мнение обмануть легче чем где бы то ни было, в ходу были лишь две версии испанской войны: распространяемая правыми – о борьбе христианских патриотов с кровожадными большевиками, и левая версия – о джентльменах-республиканцах, подавляющих военный мятеж. Суть событий удалось скрыть.

Чем это было вызвано? Начнем с того, что профашистская печать распространяла бессовестную ложь о зверствах республиканцев, и благонамеренные пропагандисты, отрицая, что Испания «стала красной», несомненно хотели тем самым помочь правительству. Но основной повод был иным. Если не считать маленьких революционных групп, существующих во всех странах, мир был полон решимости предотвратить революцию в Испании. В частности, Коммунистическая партия, при поддержке Советской России, делала все, чтобы предотвратить революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция окажется губительной и что стремиться следует не к переходу власти в руки рабочих, а к буржуазной демократии. Нет необходимости уточнять, почему «либералы» в капиталистических странах заняли сходную позицию. Иностранные капиталовложения играли в испанской экономике очень важную роль. Например, в Барселонскую транспортную компанию было инвестировано десять миллионов английских фунтов, а тем временем профсоюзы реквизировали весь транспорт в Каталонии. Если бы революция пошла дальше, не было бы никакой компенсации убытков или она составила бы ничтожные суммы. Победа капиталистической республики означала бы спасение иностранных капиталов. Поскольку революцию нужно было задушить, удобнее всего было притвориться, что никакой революции вовсе нет. Это давало возможность без труда прикрывать истинную суть любого события; любой акт передачи власти профсоюзов в руки центрального правительства можно было представить как необходимую меру, вызванную военной реорганизацией. Таким образом создавалось крайне любопытное положение. Вне Испании лишь очень немногие осознали, что в стране происходила революция; в самой Испании в этом никто не сомневался. Даже газеты P.S.U.C., контролируемые коммунистами и проводившие более или менее антиреволюционную линию, писали о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая печать за границей трубила, что в Испании нет ни малейших признаков революции, что захвата рабочими заводов, создания рабочих комитетов и т. д. не было, а если даже они имели место, то не следует «придавать им политического значения». Газета «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 г. заявляла, что только «гнусные лжецы» могут утверждать, будто испанский народ борется не за буржуазную демократию, а за социальную революцию. А с другой стороны член валенсийского правительства Хуан Лопез заявил в 1937 году, что «испанский народ проливает свою кровь не за демократическую республику и ее бумажную конституцию, а за... революцию». Оказывалось таким образом, что «гнусные лжецы» были и

в составе правительства, за которое нам предлагали драться. Некоторые зарубежные антифашистские газеты опускались даже до такого жалкого обмана, что утверждали, будто разорялись только те церкви, которые фашисты использовали в качестве своих укрепленных пунктов. В действительности же разгром церквей носил повсеместный характер и был явлением само собой разумеющимся, ибо для испанцев церковь была частью капиталистической шайки. За шесть месяцев моего пребывания в Испании я видел только две неповрежденные церкви, а примерно до июля 1937 года нигде не отправлялась служба, если не считать одной или двух протестантских церквей в Мадриде.

Впрочем это было только начало революции, а не завершение ее. Даже там, где рабочие могли свергнуть правительство или полностью принять на себя его функции (безусловно в Каталонии, а возможно и в других районах), они этого не делали. Совершенно очевидно, что они не могли этого сделать, когда Франко стоял у самого порога, а часть средней прослойки населения была на его стороне. Страна находилась в переходном состоянии и могла либо взять курс на социализм, либо вернуться в положение обыкновенной капиталистической республики. Крестьяне завладели большей частью земли и собирались удержать ее, если, конечно, не победит Франко; все основные промышленные предприятия были обобществлены, но сохранение этого положения или восстановление капиталистической системы, зависело в конечном итоге от того, какая группа одержит верх. На первых порах и центральное правительство и полуавтономное каталонское правительство представляли – это можно сказать с полной уверенностью – рабочий класс. В правительство, возглавляемое левым социалистом Кабальеро, входили министры, представлявшие U.G.T. (социалистические профсоюзы) и C.N.T. (синдикалистские профсоюзы, контролируемые анархистами). Каталонское правительство было на какое-то время совершенно вытеснено Антифашистским Комитетом обороны[17], состоявшим главным образом из представителей профсоюзов. Поздне Комитет обороны был распущен, а каталонское правительство реорганизовано, и в состав его были включены представители профсоюзов и различных левых партий. Но каждая последующая перетасовка правительства была шагом вправо. Сначала из него изгнали P.O.U.M.; шесть месяцев спустя Кабальеро заменили правым социалистом Негрином; вскоре из центрального пра-

[17] Comité Central de Milicias Antifascistas (Центральный комитет антифашистских ополчений). Делегаты избирались в соответствии с численностью организации. Девять делегатов представляли профсоюзы, три – каталонскую либеральную партию, два – различные марксистские партии (P.O.U.M. коммунистов и др.).

вительства был исключен C.N.T., потом U.G.T.; после этого C.N.T. был устранен также из каталонского правительства. Наконец, через год после начала войны и революции, правительство состояло уже только из правых социалистов, либералов и коммунистов.

Общий сдвиг вправо наметился в октябре-ноябре 1936 года, когда СССР начал поставлять правительству оружие, а власть стала переходить от анархистов к коммунистам. Ни одно государство, кроме России и Мексики, не сочло нужным прийти на помощь правительству Испании; Мексика, по понятным причинам, не могла поставлять оружие в большом количестве. В результате, русские имели возможность диктовать свои условия. Нет никакого сомнения, что смысл этих условий был таков: «Предотвратите революцию, или не получите оружия». Не приходится сомневаться и в том, что первый шаг, направленный против революционных элементов – изгнание P.O.U.M. из каталонского правительства, был сделан по приказу СССР. Отрицают, что советское правительство осуществляло прямой нажим, но это не имеет большого значения, ибо известно, что коммунистические партии во всех странах проводят советскую политику, а никто не отрицал того факта, что именно коммунистическая партия была главным вдохновителем борьбы сначала с P.O.U.M., потом с анархистами и тем крылом социалистов, которое возглавлял Кабальеро, то есть с революционной политикой в целом. Как только СССР включился в войну, триумф коммунистической партии был обеспечен. Во-первых, признательность России за поставку оружия и тот факт, что коммунистическая партия, особенно после прибытия интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, необычайно повысили авторитет коммунистов. Во-вторых, советское оружие распределялось через коммунистическую и союзные с ней партии. Коммунисты следили за тем, чтобы как можно меньше этого оружия попадало в руки их политических противников[18]. В-третьих, провозгласив нереволюционную программу, коммунисты смогли привлечь на свою сторону всех, кого пугали экстремисты. Было легко, например, поднять крестьян побогаче против политики коллективизации, проводимой анархистами, Число членов коммунистической партии неимоверно возросло, но прежде всего – за счет выходцев из средних слоев – лавочников, чиновников, офицеров, зажиточных крестьян и т. д. Война по существу велась на два фронта. Борьба с Франко продолжалась, но одновременно правительство преследовало и другую цель – вырвать у профсоюзов всю захваченную ими власть. Достигалась эта цель с помощью малозаметных маневров (кто-то назвал эту политику политикой булавочных уколов), – ив целом очень хитро. Явно контрреволюционные мероприятия не проводились, и до мая 1937 года почти не было необходимости прибегать к силе. Рабочих очень легко было принудить к послушанию с помощью пожалуй даже слишком очевидного аргумента: «Если вы не сделаете того-то и того-то, мы проиграем войну». Само собой разумеется, что от рабочих неизменно во имя высших военных соображений требовали отказаться от того, что они завоевали в 1936 году. Но этот аргумент всегда действовал безотказно, ибо революционные партии меньше всего хотели проиграть войну; в случае поражения – демократия и революция, социализм и анархия становились ничего не значащими словами. Анархисты, единственная революционная партия, достаточно крупная, чтобы заставить с собой считаться, вынуждена была уступать шаг за шагом. Процесс обобществления был приостановлен, местные комитеты распущены, рабочие патрули расформированы (их место заняла довоенная полиция, значительно усиленная и хорошо вооруженная). Крупные промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, перешли в ведение правительства (захват барселонской телефонной станции, повлекший за собой майские бои, был одним из эпизодов этого процесса); наконец, и это самое главное, отряды рабочего ополчения, сформированные профсоюзами, постепенно расформировывались и вливались в народную армию, «неполитическую» армию полубуржуазного типа, с дифференцированным жалованием, привилегированной офицерской кастой и т. д. и т. п. В тогдашних обстоятельствах это был главный, решающий шаг. В Каталонии ликвидация ополчения произошла позже, чем в других областях, ибо революционные партии были здесь особенно сильны. Совершенно очевидно, что рабочие могли сохранить свои завоевания только в том случае, если бы им удалось удержать под собственным контролем часть вооруженных сил. Как обычно, расформирование ополчения производилось во имя повышения боеспособности; никто не спорит, что коренная военная реорганизация была необходима. Однако, вполне можно было реорганизовать ополчение и повысить его боеспособность, оставив отряды под прямым контролем профсоюзов. Главная цель этой меры была иной – лишить анархистов собственных вооруженных сил. К тому же, демократический дух, свойственный рабочему ополчению, порождал революционные идеи. Коммунисты великолепно отдавали себе в этом отчет и поэтому не прекращали ожесточенной борь-

[18] Именно поэтому на Арагонском фронте, где стояли преимущественно анархистские части, было так мало советского оружия. До апреля 1937 года единственным таким оружием, попавшим мне на глаза, – если не считать самолетов, которые, возможно, были советского производства, а может и нет, – был один единственный автомат.

бы с принципом равного жалованья всем бойцам, независимо от звания, проповедуемым P.O.U.M. и анархистами. Происходило всеобщее «обуржуазивание», умышленное уничтожение духа всеобщего равенства, царившего в первые месяцы революции. Все происходило так быстро, что люди, приезжавшие в Испанию после нескольких месяцев отсутствия, заявляли, что они не узнают страны. То, что беглому, поверхностному взгляду представлялось рабочим государством, превращалось на глазах в обыкновенную буржуазную республику с нормальным делением на богатых и бедных. Осенью 1937 года «социалист» Негрин публично заявил «мы уважаем частную собственность», а те депутаты кортесов[19], которые бежали в начале войны из Испании, опасаясь преследований за профашистские взгляды, стали возвращаться на родину.

Весь этот процесс становится понятнее, если вспомнить, что он является следствием временного союза, который заключают между собой рабочие и буржуазия, видящие опасность со стороны фашизма в некоторых его проявлениях. Этот союз, известный под именем Народного фронта, по сути своей – союз врагов. Представляется неизбежным, что в результате один партнер всегда проглатывает другого. Единственной неожиданной особенностью испанской ситуации, вызвавшей массу недоразумений за пределами страны, было то, что коммунисты занимали в рядах правительства место не на крайне левом, а на крайне правом фланге. В действительности ничего удивительного в этом не было, ибо тактика коммунистических партий в других странах, прежде всего во Франции, со всей очевидностью показала, что официальный коммунизм следует рассматривать, во всяком случае в данный момент, как антиреволюционную силу. Политика Коминтерна в настоящее время полностью подчинена (учитывая международное положение, это простительно) обороне СССР, зависящей от системы военных союзов. В частности, СССР заключил союз с капиталистическо-империалистической Францией. Этот союз потеряет всякий смысл для СССР, если французский капитализм ослабеет, из чего и следует, что коммунистическая политика во Франции должна быть контрреволюционной. Это значит, что французские коммунисты не только идут сейчас под трехцветным знаменем и поют «Марсельезу», – значительно важнее, что они отказались от ведения эффективной агитации во французских колониях. Менее трех лет назад секретарь французской ком-партии Торез заявил[20], что французских

[19] Кортесы – однопалатный парламент Испании (прим. ред.).
[20] В палате Депутатов, март 1835 год.

рабочих никогда не заставят воевать против их германских товарищей. Сейчас он один из наиболее громогласных патриотов во всей Франции. Ключ к линии коммунистической партии любой страны – военные связи – настоящие или потенциальные – этой страны с Советским Союзом. Позиция Англии, например, пока неясна и поэтому английская коммунистическая партия все еще относится к правительству враждебно и подчеркнуто выступает против перевооружения. Если же Великобритания вступит в союз или подпишет военный договор с СССР, английские коммунисты, наподобие французским, волей-неволей превратятся в хороших патриотов и империалистов; первые признаки уже налицо. Коммунистическая «линия» в Испании совершенно очевидно зависела от того факта, что Франция, союзница России, не хотела иметь в лице Испании революционного соседа и сделала бы все возможное, чтобы предотвратить освобождение Испанского Марокко. «Дейли мейл», распространявшая россказни о красной революции, финансируемой Москвой, была еще дальше от истины, чем обычно. В действительности, именно коммунисты, в первую очередь, предотвратили революцию в Испании. Позднее, когда контроль перешел полностью в руки правых, коммунисты показали, что они готовы идти значительно дальше чем либералы, в охоте на революционных лидеров[21].

Я попытался изобразить общий ход испанской революции в первый ее год, ибо это помогает понять положение сейчас. Но я не хочу этим сказать, что в феврале положение рисовалось мне именно таким, каким я его изобразил выше. Прежде всего, тогда еще не произошли те события, которые помогли мне в решающей мере осознать положение, и кроме того мои тогдашние симпатии несколько отличались от нынешних. Частично это объяснялось тем, что политическая сторона войны нагоняла на меня скуку, и я, естественно, спорил со взглядами, которые слышал особенно часто – со взглядами P.O.U.M. и I.L.P. Большинство англичан в нашем отряде были членами I.L.P., (было также несколько коммунистов) и они, как правило, значительно лучше меня разбирались в политических вопросах. На протяжении долгих недель, в скучный период, когда в районе Хуэски ничего не происходило, я участвовал в бесконечной политической дискуссии. Представители разных направлений не прекращали споров в пронизываемых сквозняком, скверно пахнущих амбарах, в душной темноте окопов, за бруствером морозной ночью. То

[21] Лучше всего борьба в рядах правительственной коалиции изображена в книге Франца Боркенау «Испанская арена» (Franz Borkenau «The Spanish Cockpit»). Это наиболее убедительная книга об испанской войне, из всех вышедших до сих пор.

же самое было и среди испанцев, и большинство газет отводили внутрипартийной борьбое самое видное место. Нужно было быть глухим или полным тупицей, чтобы не составить кое-какое представление об основных идеях каждой из партий.

С точки зрения политической теории значение имели лишь три партии – P.S.U.C., P.O.U.M. и C.N.T. – F.A.I., для простоты называемые анархистами. Я начну с P.S.U.C. поскольку это самая крупная партия, одержавшая в конечном итоге победу. Уже в то время P.S.U.C. заметно шла в гору.

Замечу, что когда говорят о «линии» P.S.U.C. имеют в виду «линию» коммунистической партии. P.S.U.C. (Partido Socialista Unificado de Cataluña) – Социалистическая партия Каталонии; она была создана в начале войны в результате слияния различных марксистских партий, в том числе Каталонской коммунистической партии, но в описываемое время она находилась целиком под контролем коммунистов и была членом III Интернационала. В Испании не было больше подобных примеров официального союза между социалистами и коммунистами, но позиции коммунистов и правых социалистов можно считать полностью тождественными. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что P.S.U.C. был политическим органом U.G.T. (Unión General de Trabajadores), то есть социалистических профсоюзов. Они насчитывали по всей стране примерно полтора миллиона человек. В состав U.G.T. входило много секций рабочих и ремесленников, но с началом войны в него хлынул поток представителей средних классов: в первые «революционные» дни многие сочли полезным стать членом U.G.T. или C.N.T. Эти два профсоюзных объединения были, по существу, смежными организациями, но C.N.T. имела более четко выраженный рабочий характер. Таким образом P.S.U.C. была частично партией рабочих и в то же время партией мелкой буржуазии – лавочников, служащих, зажиточных крестьян.

Программу P.S.U.C., о которой писала коммунистическая и прокоммунистическая печать во всем мире, можно примерно сформулировать следующим образом: «В настоящее время единственная важная цель это победа. Без победы в войне все теряет свой смысл, а поэтому теперь не время говорить о расширении революции. Мы не можем допустить отчуждения крестьян, навязывая им насильственную коллективизацию, и мы не можем себе также позволить отпугнуть средние классы, сражающиеся вместе с нами. Прежде всего необходимо положить конец революционному хаосу. Мы должны иметь сильное центральное правительство, а не местные комитеты, а также хорошо обученную регулярную армию под объединенным командованием. Цепляние за остатки рабочего контроля и бессмысленное повторение революционных фраз не только бесполезно, не только мешает революции, но помогает контрреволюции, ибо раскалывает наши ряды, а этот раскол может быть на руку фашистам. На нынешнем этапе мы боремся не за диктатуру пролетариата, мы боремся за парламентскую демократию. Тот, кто пытается превратить гражданскую войну в социалистическую революцию, помогает фашистам и, если не умышленно, то объективно является предателем».

«Линия» P.O.U.M. расходилась с этой политикой по всем пунктам, кроме, конечно, пункта о необходимости одержать победу. P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista) была одной из тех раскольнических коммунистических партий, которые появились в последнее время во многих странах, как оппозиция «сталинизму», то есть действительному или мнимому изменению курса коммунистической политики. P.O.U.M. состояла из бывших коммунистов и членов бывшего Рабоче-Крестьянского блока. В численном отношении это была небольшая партия[22], не имевшая существенного влияния за пределами Каталонии, и была сильна исключительно большим числом политически сознательных членов в ее рядах. Главным оплотом P.O.U.M. в Каталонии была Лерида. Партия не выражала взглядов ни одного из профсоюзных блоков. Бойцы ополчения P.O.U.M. были в своем большинстве членами C.N.T., но те из их числа, что состояли в партии, входили, как правило, в состав U.G.T. Но влияние P.O.U.M. имела только в C.N.T. Линия P.O.U.M. выглядела примерно так:

«Бессмысленно говорить о том, что буржуазная «демократия» выступает против фашизма. Буржуазная «демократия» – не больше, чем еще одно из названий капитализма; то же самое можно сказать и о фашизме. Бороться с фашизмом во имя «демократии» это значить бороться с одной формой капитализма во имя другой, которая в любую минуту может превратиться в первую. Единственная реальная альтернатива фашизму – рабочий контроль. Поставить себе более ограниченную цель, значит либо отдать победу Франко, либо впустить фашизм черным ходом. В настоящее время рабочие должны зубами держаться за все, что им удалось вырвать силой; если они пойдут на малейшие уступки полубуржуазному правительству, их наверняка обманут. Необходимо сохра-

[22] P.O.U.M. насчитывала: в июле 1936 г. – 10.000 членов, в декабре 1936 г. – 70.000, в июне 1937 г. – 40.000. Но это официальные цифры из источников P.O.U.M., враждебные партии круги сократили бы эти цифры, я думаю, раза в четыре. Единственное, что можно с уверенностью сказать о численности испанских партий, это то, что каждая партия дает завышенную оценку числа своих членов.

нить в нынешней форме рабочее ополчение и полицию, всеми силами препятствуя их «обуржуазиванию». Если рабочие не возьмут под свой контроль вооруженные силы, вооруженные силы установят контроль над рабочими. Война и революция неотделимы».

Программу анархистов изложить труднее. «Анархистами» называли великое множество людей, высказывающих самые различные и противоречивые взгляды. Политическим органом объединения профсоюзов C.N.T. (Confederación Nacional de Trabajadores), насчитывавшего около двух миллионов человек, была F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica), подлинная анархисткая организация. Но даже члены F.A.I., хотя и имели, как, впрочем, большинство испанцев некоторую анархистскую окраску, не были анархистами в подлинном смысле этого слова. После начала войны они сделали шаг в сторону обычного социализма, ибо обстоятельства принудили их принять участие в деятельности центральных административных органов и даже, в нарушение всех своих принципов, войти в состав правительства. Тем не менее они коренным образом отличались от коммунистов, прежде всего в том, что как и P.O.U.M., стремились к рабочей власти, а не к парламентской демократии. Анархисты усвоили лозунг P.O.U.M. «Война и революция неотделимы!», но относились к нему менее догматично. В общих чертах, C.N.T. – F.A.I. выступали за следующую программу: 1. Рабочие каждой отрасли промышленности т. е. транспорт, текстильные предприятия и т. д. осуществляют прямой контроль над производством; 2. Власть в руках местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Непримиримая вражда по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя и наименее четко сформулированный, был самым важным. Анархисты отличались от большинства так называемых революционеров тем, что, проповедуя довольно расплывчатые принципы, они по-настоящему ненавидели привилегии и несправедливость. В идеологическом отношении, коммунизм и анархизм прямо противоположны. На практике же, то есть во всем что касается наиболее желательной формы устройства общества, различие, в основном, заключается в том, на что каждая из этих идеологий делает основной нажим, но и эти разногласия непримиримы. Коммунисты делают упор на централизм и оперативность, анархисты – на свободу и равенство. Анархизм имеет в Испании глубокие корни и вероятно переживет коммунизм, когда исчезнет советское влияние. В первые два месяца войны именно анархисты, больше чем кто-либо другой, спасли положение, а гораздо позднее анархистское ополчение, несмотря на свою недисциплинированность,

считалось самым боевым среди частей, состоящих исключительно из испанцев. Начиная примерно с 1937 года анархисты и P.O.U.M. в какой-то мере действовали вместе. Если бы анархисты, P.O.U.M. и левые социалисты действовали совместными силами с самого начала войны и проводили бы реалистическую политику, исход войны был бы, возможно, иным. Но в первый период, когда каждой из революционных партий, казалось, что в её руках все козыри, объединить силы было невозможно. Старинная зависть была причиной раздора между анархистами и социалистами, P.O.U.M., как партия марксистская, скептически относилась к анархистам, а с чисто анархистской точки зрения, «троцкизм» P.O.U.M. был ничем не лучше «сталинизма» коммунистов. И тем не менее, коммунистическая тактика была направлена на сближение этих двух партий. P.O.U.M. ввязался в злосчастные майские бои в Барселоне, инстинктивно приняв сторону C.N.T., а позднее, когда P.O.U.M. был запрещен, только анархисты осмелились выступить в его защиту.

Итак, расстановка сил, в общих чертах выглядела следующим образом... С одной стороны C.N.T. – F.A.I., P.O.U.M. и фракция социалистов – сторонников рабочего контроля; с другой – правые социалисты, либералы и коммунисты – сторонники централизованного правительства и регулярной армии.

Легко понять, почему в то время политика коммунистов казалась мне предпочтительнее направления P.O.U.M. У коммунистов была четкая практическая программа, больше всего отвечавшая доводам здравого смысла (правда, если заглядывать всего на несколько месяцев вперед). Повседневная же политика P.O.U.M., их пропаганда и все прочее было поставлено из рук вон плохо; если бы дела в P.O.U.M. обстояли лучше, они смогли бы привлечь больше последователей. Главным, однако, было то, что коммунисты – так мне казалось – действительно ведут войну, в то время как мы и анархисты топчемся на месте. В то время так думали все. Коммунисты пришли к власти и привлекли массы людей, отчасти потому, что средние прослойки населения поддержали их антиреволюционную политику, но частично и потому, что коммунисты представлялись единственной силой, способной выиграть войну. Советское оружие и отважная оборона Мадрида частями, которыми командовали главным образом коммунисты, превратили их в героев в глазах всей Испании. Кто-то сказал, что каждый советский самолет, пролетавший над нашими головами, служил делу коммунистической пропаганды. Революционный пуризм P.O.U.M. казался мне тщетным, хотя я и признавал его логичность. Ведь в конечном итоге важно было лишь одно – выиграть войну.

Тем временем дьявольская межпартийная грызня шла на страницах газет, памфлетов, книг, на плакатах, одним словом – повсюду. Я чаще всего читал тогда газеты P.O.U.M. «La Batalla» и «Adelante»[23], содержащие бесконечные нападки на «контрреволюционеров» из P.S.U.C. казавшиеся мне самодовольными и нудными. Позднее, лучше познакомившись с прессой P.S.U.C., и коммунистов, я понял, что P.O.U.M. вполне безобидна по сравнению со своими противниками, не говоря уже о том, что у P.O.U.M. было значительно меньше возможностей. В отличие от коммунистов P.O.U.M. не имела дружественной прессы за рубежами страны. В самой Испании, поскольку цензура была преимущественно в руках коммунистов, газеты P.O.U.M. запрещались или штрафовались, если они публиковали неугодные коммунистам материалы. Следует признать, что газеты P.O.U.M., хотя и были полны славословий в честь революции и цитат из Ленина, повторяемых до тошноты, обычно не опускались до личной клеветы. К тому же они вели полемику только на страницах газет. Их большие красочные плакаты (в Испании, где много неграмотных, плакаты имеют большое значение) не содержали нападок на соперничающие партии, а призывали к борьбе с фашизмом или же носили отвлеченно революционный характер. Такими были и песни, распеваемые ополченцами. Коммунисты вели себя совершенно иначе. Подробнее я остановлюсь на этом позднее, здесь же ограничусь лишь кратким описанием того, как вели свои атаки коммунисты.

На первый взгляд казалось, что коммунисты и P.O.U.M. расходятся только в вопросах тактики: партия P.O.U.M. выступала за немедленную революцию, а коммунисты – против. Пока все ясно: можно привести доводы в поддержку как одной, так и другой точки зрения. Далее, коммунисты утверждали, что пропаганда P.O.U.M. раскалывает и ослабляет правительственные силы, подвергая опасности исход войны. И снова, хотя меня этот аргумент в конечном итоге не убеждает, можно сказать, что доля истины в нем есть. Но здесь раскрывается отличительная черта коммунистической тактики. Сначала потихоньку, а потом все более громко коммунисты стали заявлять, что P.O.U.M. вносит раскол в ряды республиканцев не по ошибке, а умышленно. P.O.U.M. был объявлен шайкой замаскированных фашистов, наймитов Франко и Гитлера, сторонниками псевдореволюционной политики, которая наруку фашистам. По словам коммунистов, P.O.U.M. была «троцкистской» организацией, «франкистской пятой колонной». А это значило, что десятки тысяч рабочих, в том числе восемь или десять тысяч бойцов, мерзших в окопах, и сотни иностранцев, пришедших в Испанию сражаться с фашизмом, зачастую жертвуя налаженным бытом и правом вернуться на родину, оказались предателями, наемниками врага. Эти слухи распространялись по всей Испании с помощью плакатов и других средств агитации, снова и снова повторялись коммунистической и прокоммунистической печатью во всем мире. Если бы я занялся коллекционированием цитат, я мог бы заполнить ими полдюжины книг.

[23] Бой. Вперед. (прим. пер.)

Итак, коммунисты называли нас троцкистами, фашистами, убийцами, трусами, шпионами. Признаюсь, в этом было мало приятного, особенно, когда я вспоминал кое-кого из тех, кто сочинял эту пропаганду. Каково было видеть пятнадцатилетнего испанского парнишку, выносимого на носилках из окопа, смотреть на его безжизненное белое лицо и думать о прилизанных ловкачах в Лондоне и Париже, строчащих памфлеты, в которых доказывается, что этот паренек – переодетый фашист? Одна из самых жутких черт войны состоит в том, что военную пропаганду, весь этот истошный вой, и ложь, и крики ненависти стряпают люди, сидящие глубоко в тылу. Ополченцы из отрядов P.З.Ц.С., которых я знал по фронту, коммунисты-бойцы интернациональных бригад, попадавшиеся время от времени на моем пути, никогда не называли меня троцкистом или предателем; это занятие они оставляли журналистам-тыловикам. Те, кто писали против нас памфлеты и смешивали с грязью на страницах газет, сидели в полной безопасности у себя дома, или, по крайней мере, в редакциях в Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Кроме оскорблений, сыпавшихся в порядке межпартийной грызни, газеты были полны обычной военной чепухи – барабанного грохота, прославления своих и оплевывания противника. И все это, как обычно, делалось людьми, не участвовавшими в боях, людьми, готовыми бежать без оглядки пока ноги несут, лишь бы удрать с поля боя. Война научила меня – это один из самых ее неприятных уроков, – что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая[24].

Я был совершенно убежден, что мы – сторонники правительства – ведем войну, ничем не похожую на обычную, империалистическую войну. Но наша военная пропаганда не давала оснований для такого вывода. Едва начались бои, как красные и правые газеты одновременно начали злоупотреблять бранью. Памятен заголовок в «Дейли мейл»: «Красные

[24] Мне хотелось бы сделать одно только исключение – для газеты «Манчестер гардиан». Работая над этой книгой, я просмотрел подшивки многих английских газет. Из наших больших газет только «Манчестер гардиан» вызвала у меня еще больше уважения – за свою честность.

распинают монахинь!» В это же время «Дейли уоркер» писала, что Иностранный легион Франко «состоит из убийц, торговцев женщинами, наркоманов и отребья всех стран Европы». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» потчевала нас россказнями о фашистских баррикадах, сложенных из живых детей (чрезвычайно неудобный материал для возведения баррикад), а мистер Артур Брайан уверял, что в республиканской Испании «отпиливание ног консервативным купцам» дело «самое обычное». Люди, которые пишут подобные вещи, сами никогда не воюют; они, возможно, полагают, будто подобная писанина вполне заменяет участие в сражении. Всегда происходит то же самое: солдаты воюют, журналисты вопят, и ни один истинный патриот не считает нужным приблизиться к окопам, кроме как во время коротеньких пропагандистских вылазок. Иногда я с удовлетворением думаю о том, что самолеты меняют условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим то, чего до сих пор не знала история – ура-патриота, отхватившего пулю.

Для журналистов эта война, как и все другие войны, была бизнесом. Разница заключалась лишь в том, что если обычно журналисты приберегают свои ядовитейшие оскорбления для врага, на этот раз коммунисты и P.O.U.M. постепенно стали писать друг о друге хуже, чем о фашистах. Тем не менее, в то время мне трудно было воспринимать все это всерьез. Межпартийные распри раздражали меня, вызывали отвращение, но, все же, они представлялись мне не более чем домашней склокой. Я не верил в то, что они изменят что-либо, не верил в наличие действительно непримиримых разногласий по политическим вопросам. Я осознал, что коммунисты и либералы твердо решили задержать дальнейшее развитие революции; я не понимал, что они в состоянии повернуть ее вспять.

Почему я так думал – понятно. Все это время я находился на фронте, а на фронте социальная и политическая атмосфера оставались без перемен. Я выехал из Барселоны в начале января, а отпуск получил лишь в конце апреля; все это время, собственно говоря, и позже, на участке арагонского фронта, контролируемого отрядами P.O.U.M. и анархистами, – по крайней мере внешне, – ничего не изменилось. Революционная атмосфера оставалась такой же, какой я знал ее раньше. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец по-прежнему общались как равный с равным, говорили друг другу «ты» или «товарищ». У нас не было класса хозяев и класса рабов, не было нищих, проституток, адвокатов, священников, не было лизоблюдства и козыряния. Я дышал воздухом равенства

и был достаточно наивен, чтобы верить, что таково положение во всей Испании. Мне и в голову не приходило, что по счастливому стечению обстоятельств, я оказался изолированным вместе с наиболее революционной частью испанского рабочего класса.

Неудивительно поэтому, что когда мои более развитые в политическом отношении товарищи говорили, что к войне нельзя относиться только с чисто военной точки зрения, что выбирать нужно между революцией и фашизмом, я был склонен смеяться над их словами. В целом я принимал коммунистическую точку зрения, сводившуюся к формуле: «Мы не можем говорить о революции, пока мы не выиграли войну», считая неприемлемой позицию P.O.U.M., гласившую: «Мы должны идти вперед, ибо иначе мы пойдем назад». Когда позднее я понял, что прав был P.O.U.M., во всяком случае более прав, чем коммунисты, это произошло не в области чистой теории. На бумаге позиция коммунистов выглядела убедительно; вся беда заключалась лишь в том, что их дела заставляли сомневаться в их искренности. Часто повторяемый лозунг: «Сначала война, потом революция», был выдуман для отвода глаз, хотя в него искренне верили рядовые бойцы ополчения P.S.U.C., считавшие, что после победы революция пойдет вперед. В действительности же, коммунисты вовсе не думали о том, чтобы отложить испанскую революцию на более подходящее время. Они делали все, чтобы революция никогда не произошла. Постепенно это становилось все яснее и яснее – по мере того как у рабочего класса отбирали власть, а все больше и больше революционеров всех оттенков оказывались в тюрьмах. Каждый шаг оправдывался военной необходимостью: этот предлог был, так сказать, сшит как по заказу. В действительности же, коммунисты стремились вытеснить рабочих с выгодных позиций и загнать их в такое положение, чтобы после окончания войны они были не в состоянии противиться реставрации капитализма. Прошу обратить внимание, что я не выступаю здесь против рядовых коммунистов, и уж конечно меньше всего против тех тысяч из их числа, которые пали геройской смертью в боях под Мадридом. Не эти люди определяли политику партии. В то же время невозможно поверить, что те, кто занимал руководящие посты, не ведали, что творили.

Но в конечном итоге стоило выиграть войну, даже если революция была обречена. Однако под конец я начал сомневаться и в том, что политика коммунистов направлена на достижение победы. Очень немногие осознали, что на разных этапах войны может возникнуть необходимость в изменении политической линии. Анархисты, по-видимому, спасли по-

ложение в первые два месяца войны, но были неспособны организовать сопротивление на следующем этапе; коммунисты, видимо, спасли положение в октябре-декабре, но до окончательной победы было еще очень далеко. В Англии военную политику коммунистов приняли без всяких возражений; прежде всего потому, что лишь малая толика критических замечаний в ее адрес смогла просочиться в газеты, а также потому, что генеральная линия – ликвидация революционного хаоса, увеличение выпуска продукции, создание регулярной армии – казалась вполне реальной и дельной. Стоит указать на внутреннюю слабость коммунистической линии.

Для того, чтобы душить в зародыше каждое революционное проявление и сделать войну как можно более похожей на войну обычного типа, необходимо было отказываться от возникавших стратегических возможностей. Я писал выше, как мы были вооружены, или лучше сказать разоружены, на Арагонском фронте. Есть все основания полагать, что оружие умышленно задерживалось, из опасения, что оно может попасть в руки анархистов, которые позднее используют его для революционных целей; в результате было сорвано большое наступление на Арагонском фронте, которое заставило бы Франко отойти от Бильбао, а быть может, и от Мадрида. Но не это самое главное. Значительно важнее другое: после того, как война в Испании превратилась в «войну за демократию», стало невозможным заручиться массовой поддержкой рабочего класса зарубежных стран. Если мы готовы смотреть в лицо фактам, мы вынуждены будем признать, что мировой рабочий класс относился к войне в Испании равнодушно. Десятки тысяч прибыли в Испанию, чтобы сражаться, но десятки миллионов апатично остались позади. В течение первого года войны в Англии было собрано в различные фонды «помощи Испании» всего около четверти миллиона фунтов, наверное вдвое меньше суммы, расходуемой еженедельно на кино. Рабочий класс демократических стран мог помочь своим испанским товарищам забастовками и бойкотом. Но об этом не было даже речи. Рабочие и коммунистические лидеры во всех странах заявили, что это немыслимо; они были несомненно правы, – ведь они в то же время во всю глотку орали, что «красная» Испания вовсе не «красная». После первой мировой войны слово «война за демократию» приобрели зловещее звучание. В течение многих лет сами коммунисты учили рабочих всего мира, что «демократия» – это всего навсего более обтекаемое определение понятия «капитализм». Сначала заявлять «Демократия – это обман», а потом призывать «Сражаться за демократию» – тактика не из лучших. Если бы

коммунисты, поддержанные Советской Россией с ее колоссальным авторитетом, обратились к рабочим мира во имя не «демократической Испании», а «революционной Испании», трудно поверить, что их призыв не встретил бы отклика.

Но самое главное было то, что ведя нереволюционную политику, было трудно, а то и совсем невозможно, нанести удар по франкистскому тылу. Летом 1937 года на контролируемых Франко территориях находилось больше населения, чем под контролем республиканского правительства – значительно больше, если считать также испанские колонии. В то же время численность войск обеих сторон была приблизительно одинаковой. Всякому известно, что имея в тылу враждебное население, невозможно держать армию на фронте, не располагая армией сходной численности для охраны дорог, борьбы с саботажем и т. д. Отсюда понятно, почему в тылу Франко не было подлинного народного сопротивления. Нельзя себе представить, что население занятой им территории, это во всяком случае относится к городским рабочим и бедным крестьянам, любило или поддерживало Франко, но каждый шаг вправо делая преимущество республиканского правительства все более и более иллюзорным. Лучшим свидетельством этому был вопрос Марокко. Почему Марокко не восстало? Франко пытается навязать им позорную диктатуру, а марокканцы предпочитают его правительству Народного фронта! Но поднять восстание в Марокко значило придать войне революционный характер, поэтому не было даже попытки призвать к восстанию. Для того, чтобы убедить марокканцев в добрых намерениях республиканского правительства, необходимо было объявить Марокко свободным. Можно себе представить, насколько такой шаг пришелся бы по вкусу французскому правительству! Лучший стратегический ход войны был упущен в тщетной попытке умилостивить французский и британский капитализм. Суть всей коммунистической политики сводилась к стремлению превратить войну в обычную, нереволюционную, то есть такую, в которой все преимущества были на стороне врага. Войну обычного типа можно выиграть лишь благодаря техническому преимуществу, то есть в конечном итоге, заручившись неограниченными поставками оружия; главный же поставщик республиканского правительства – Советский Союз находился в значительно менее выгодном географическом положении, чем Италия и Германия. Отсюда следует, что лозунг P.O.U.M. и анархистов: «Война и революция неотделимы», был, возможно, вовсе не таким уж непрактичным, каким он казался на первый взгляд.

Я объяснил, почему коммунистическая антиреволюционная политика представляется мне ошибочной. Хочется, однако, верить, что я ошибся, предсказывая ее влияние на исход войны. Здесь я хотел бы оказаться тысячу раз неправым. К тому же, нельзя, разумеется, знать, что случится дальше. Правительство может снова сделать поворот влево, марокканцы могут восстать по собственной инициативе, Англия может решить заплатить Италии за отказ от участия в войне, возможно удастся выиграть войну чисто военными средствами – заранее знать ничего нельзя. Я оставляю изложенные выше соображения и пусть время покажет был ли я прав или ошибался.

В феврале 1937 года положение представлялось мне в ином свете. Мне надоело до тошноты бездействие на Арагонском фронте, а главное, я чувствовал, что не сумел внести своей доли в борьбу. Мне вспоминался плакат на улицах Барселоны, требовательно спрашивающий у прохожих: «Что ты сделал для демократии?» Я мог дать лишь один ответ: «Получал пищевой паек». Вступив в ополчение, я дал себе слово убить одного фашиста – в конце концов, если бы каждый из нас убил по одному фашисту, то их скоро не стало бы совсем. Но пока я не убил ни одного, да и вряд ли имел на это шансы в будущем. И, конечно, мне хотелось попасть в Мадрид. Все бойцы, независимо от их политических взглядов, стремились в Мадрид. Это, по-видимому, означало переход в интернациональную бригаду, ибо у P.O.U.M. было под Мадридом очень мало войска, а у анархистов – меньше, чем раньше.

Пока, конечно, нужно было оставаться в строю, но я рассказывал всем, что когда мы пойдем в отпуск, я, если представится возможность, перейду в интернациональную бригаду, то есть под командование коммунистов. Многие старались переубедить меня, но никто не пробовал вмешиваться. Нужно признать, что в P.O.U.M. еретиков не преследовали, может быть относились к ним даже слишком терпимо; если вспомнить наши обстоятельства, никого, за исключением явных профашистов, не преследовали за политические взгляды. За время своего пребывания в ополчении я многократно и резко критиковал «линию» P.O.U.M., но никогда не напоролся из-за этого на неприятности. Ни на кого не оказывалось давление с целью побудить его вступить в партию, хотя мне думается, большинство ополченцев состояли в партии. Лично я никогда в партию не вступил, о чем позднее, когда P.O.U.M. подвергся преследованиям, успел пожалеть.

6

А тем временем, ежедневно, точнее еженочно тянулась служба – караулы, патрули, рытье окопов, грязь, дожди, свист ветра и, время от времени, снег. Лишь когда окончательно утвердился апрель, ночи стали заметно теплее. Март на нашем плоскогорье напоминал март в Англии с его ярким синим небом и порывистыми ветрами. Озимый ячмень поднялся на фут от земли, на вишнях завязывались розовые бутоны (линия фронта шла через заброшенные вишневые сады и огороды), в канавах начали попадаться фиалки и дикий гиацинт, скорее напоминавший неприглядный колокольчик. У самых наших окопов бурлил чудесный, зеленый ручеек, – впервые с момента прибытия на фронт я увидел прозрачную воду. Однажды, стиснув зубы, я полез в речушку, чтобы искупаться первый раз за шесть недель. Купание вышло, признаться, короткое, температура воды была только чуть выше нуля.

А пока все оставалось по-прежнему, не происходило ровным счетом ничего. Англичане стали поговаривать, что это не война, а дурацкая пантомима. Прямым огнем фашисты достать нас, по существу, не могли. Единственную опасность представляли случайные пули, особенно – на выдвинутых вперед флангах. Там пули сыпались с разных направлений. Все наши потери в этот период были вызваны шальными пулями. Непонятно откуда взявшаяся пуля раздробила Артуру Клинтону левое плечо и, боюсь, навсегда парализовала руку. Изредка постреливала артиллерия, но огонь был неприцельный. Свист снарядов и грохот разрывов мы воспринимали как некоторое развлечение. Ни один фашистский снаряд не попал в наш бруствер. В нескольких сотнях метров позади нас виднелось поместье Ла Гранха, в его просторных помещениях находились наши склады, штаб и кухня. Вот в нее-то и целились фашистские артиллеристы, находившиеся на расстоянии пяти или шести километров. Впрочем, они так никогда и не накрыли цель, – им удалось лишь выбить стекла и поцарапать осколками стены. В опасности был лишь тот, кто оказывался на дороге в момент, когда начиналась стрельба и снаряды рвались в полях по обеим сторонам дороги. Почти сразу же все мы овладели таинственным искусством узнавать по звуку летящего снаряда, разорвется он близко или далеко. В этот период у фашистов были очень скверные снаряды. Имея крупный калибр (150 мм), снаряды эти делали воронки, имевшие не более 1м. 80см. в диаметре и примерно в 1м. 20см. в глубину. Кроме того, по меньшей мере один из каждых четырех снарядов не разрывался. Окопные романтики рассказывали о саботаже на

фашистских заводах, о холостых снарядах, в которых вместо взрывчатки находили записки: «Рот фронт», но я лично никогда таких снарядов не видел. Дело просто в том, что стреляли в нас безнадежно старыми снарядами; кто-то поднял латунную крышку взрывателя с выбитой датой – 1917. У фашистов были такие же орудия, как у нас и того же калибра, поэтому неразорвавшиеся снаряды часто вправляли в гильзы и выстреливали обратно. Говорили, что есть один снаряд – ему даже дали особое прозвище, – который ежедневно путешествовал туда и обратно, не взрываясь.

По ночам маленькие патрули посылались на ничейную землю. Подобравшись к фашистским окопам, они слушали доходившие до них звуки (сигналы рожка, гудки автомашин), по которым можно было судить о том, что происходит в Хуэске. Фашистские войска часто сменялись, и подслушивание позволяло приблизительно определять их численность. Нас специально предупредили, чтобы мы прислушивались к колокольному звону. Было известно, что фашисты перед боем всегда отправляют мессу. В полях и садах мы натыкались на покинутые глинобитные хибарки. Предварительно затемнив окна, мы обшаривали эти домики при свете спички и находили иногда такие полезные вещи, как широкий нож-резак или забытую фашистским солдатом баклагу (они были лучше наших и очень высоко ценились). Бывали и дневные вылазки, но днем обычно приходилось ползать на четвереньках. Как странно было ползти по этим пустынным плодородным полям, где все вдруг замерло в самый разгар урожайной страды. Прошлогодний урожай остался неубранным. Не срезанные виноградные лозы змеились по земле, кукурузные початки стали твердыми как камень, чудовищно разрослась кормовая и сахарная свекла, превратившись в бесформенные одеревенелые глыбы. Как, должно быть, проклинали крестьяне обе армии! Время от времени небольшие группы бойцов уходили на ничейную землю копать картошку. Примерно в полутора километрах от нас, на правом фланге, где окопы сближались, было картофельное поле, на которое мы наведывались днем, а фашисты только ночью, ибо наши пулеметы занимали здесь господствующую позицию. Как-то ночью фашисты нагрянули толпой и опустошили все поле, что нас очень разозлило. Мы нашли другую делянку, подальше, но там не было никакого укрытия, и картошку приходилось копать лежа на животе. Занятие утомительное. Когда вражеские пулеметчики засекали нас, приходилось распластываться по земле, как крыса, старающаяся прошмыгнуть в щель между дверью и полом. В это время пули взбивали землю в нескольких метрах от нас. Но игра стоила свеч. Картошки не хватало. Если удавалось собрать мешок, ее можно было обменять на кухне на баклагу кофе.

У нас по-прежнему ничего не происходило, казалось даже, что и произойти то ничего не может. «Когда мы пойдем в атаку?», «Почему мы не атакуем?» – эти вопросы задавали без устали и испанцы и англичане. Странно слышать от солдат, что они хотят драться, зная, чем это пахнет, но они действительно рвались в бой. В окопах солдат всегда ждет трех вещей: боя, выдачи сигарет и недельного отпуска. Теперь мы были вооружены немного лучше, чем раньше. Каждый боец имел по сто пятьдесят патронов вместо прежних пятидесяти, постепенно нам выдали штыки, каски и по несколько гранат. Слухи о предстоящем наступлении не прекращались. Теперь я думаю, что их распространяли умышленно – для поддержания боевого духа солдат. Не требовалось специального военного образования, чтобы понять, что под Хуэской крупных боевых действий не предвидится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Стратегическое значение имела дорога в Яку, тянувшаяся вдоль противоположной стороны города. Позднее, когда анархисты перешли в наступление, стремясь захватить дорогу, нам было приказано произвести «отвлекающие атаки» и оттянуть на себя фашистские войска.

В течение шести недель на нашем участке фронта была произведена только одна атака. Наш ударный батальон атаковал Маникомо – бывший сумасшедший дом, превращенный фашистами в крепость. В рядах ополчения P.O.U.M. служило несколько сот немцев, бежавших из гитлеровской Германии. Их свели в специальный батальон, названный Ударным. С военной точки зрения они резко отличались от других отрядов ополчения, больше походя на солдат, чем какая-либо другая часть в Испании, если не считать жандармерии и некоторых соединений Интернациональной бригады. Из затеи перейти в наступление, разумеется, ничего не получилось, – да и какое наступление правительственных войск в ходе этой войны не было загублено? Ударный батальон взял штурмом Маникомо, но части, не помню какого ополчения, не выполнили приказа о захвате холма, господствовавшего над крепостью. Их вел на приступ капитан, один из тех офицеров регулярной армии, в лояльности которых были все основания сомневаться, но которых правительство, тем не менее, брало на службу. То ли испугавшись, то ли пойдя на предательство, капитан предупредил фашистов и бросил гранату на расстоянии двухсот метров от их окопов. Я с удовлетворением узнал, что бойцы пристрелили своего капитана на месте. Но атака потеряла эффект неожиданности, сильным огнем противник скосил ряды атакующих опол-

ченцев, принудив их отступить, а к вечеру ударный батальон оставил Маникомо. Всю ночь по разбитой дороге в Сиетамо ползли санитарные машины, добивая тяжелораненых тряской на ухабах.

К этому времени мы все обовшивели; хотя было еще довольно холодно, вшей температура устраивала. У меня большой опыт общения с насекомыми разных видов, но ничего омерзительнее вшей мне встречать не приходилось. Другие насекомые, например москиты, кусаются больнее, но они, по крайней мере, не обитают на вашем теле. Вошь несколько напоминает малюсенького рачка и живет, обычно, в швах штанов. Избавиться от нее совершенно невозможно, разве что, путем сожжения всей одежды. Вошь откладывает в швах брюк блестящие маленькие яйца, наподобие зернышек риса, из которых с поражающей быстротой выводятся новые поколения. Думаю, что пацифистам неплохо бы украшать свои памфлеты увеличенной фотографией вши. Вот она – военная слава! На войне солдат всегда заедают вши, если, конечно, достаточно тепло. Где бы солдат ни дрался – под Верденом, под Ватерлоо, у Флоддена, под Сенлаком или под Фермопилами – у него всегда в паху ползали вши. Мы боролись с насекомыми, прожаривая швы одежды и купаясь так часто, как позволяли условия. Кроме вшей, вряд ли что-либо могло заставить меня лезть в ледяную воду реки.

Все подходило к концу – башмаки, одежда, табак, мыло, свечи, спички, оливковое масло. Наша форма разваливалась, многие бойцы носили вместо ботинок сандалии на веревочной подошве. Повсюду валялись горы изношенной обуви. Как-то мы два дня жгли костры из ботинок, оказавшихся неплохим топливом. К этому времени моя жена приехала в Барселону и присылала мне чай, шоколад и даже сигары, когда ей удавалось их достать. Но и в Барселоне тоже ощущался недостаток продуктов, в первую очередь табака. Чай был манной небесной, у нас не было молока, и редко случался сахар. Из Англии в адрес бойцов постоянно отправлялись посылки, но они никогда к нам не доходили; пища, одежда, сигареты – либо не принимались почтой, либо конфисковались во Франции. Любопытно знать, что лишь один отправитель сумел переслать моей жене несколько пачек чая и однажды – памятный случай – коробку бисквитов. Этим отправителем были интендантские склады Военно-Морского флота. Бедняги! Армия и Флот с честью выполнили свой долг, но им, вероятно, было бы приятнее, если бы посылка шла к солдатам Франко. Больше всего нас мучила нехватка табака. Сначала мы получали по пачке сигарет в день, затем по восемь штук, а потом по пять. Наконец нам пришлось перенести десять убийственных дней без курева.

Впервые я увидел в Испании зрелище столь обыденное для Лондона – я видел людей, собирающих окурки.

В конце марта у меня выскочил нарыв на руке, нарыв пришлось вскрыть, а руку подвесить на перевязь. Не было, однако, смысла из-за такого пустяка везти меня в госпиталь в Сиетамо, и я остался в так называемом «госпитале» в Монфлорите, который был, по существу, перевязочным пунктом. Я провел там десять дней, часть времени пролежав в постели. Практиканты (так называли фельдшеров) украли у меня, практически все ценные вещи, в том числе фотоаппарат, а заодно и все мои снимки. На фронте все воруют, это неизбежный результат плохого снабжения, но особенно отличаются госпитальные работники. Позднее, в барселонском госпитале, я встретил американца, прибывшего в интернациональную бригаду на судне, торпедированном итальянской подводной лодкой. Американец рассказывал, что когда его раненого несли на берег, то санитары, вталкивая носилки в машину, успели снять с него наручные часы.

С рукой на перевязи, я провел несколько чудесных дней, бродя по окрестностям Монфлорите. Это была обычная испанская деревушка – кучка глинобитных и каменных домов, узкие кривые улочки, изъезженные грузовиками до такой степени, что они стали походить на лунные кратеры. Сильно поврежденная церковь была отведена под военный склад. Во всей округе было только две сравнительно больших усадьбы – Торре Лоренцо и Торре Фабиан, и только два крупных здания, видимо, дома помещиков, некогда владевших этой землей. Они как бы любовались своим богатством, глядя на убогие хижины крестьян. Сразу же за рекой, неподалеку от линии фронта, стояла огромная мельница с пристроенным к ней домом. Чувство стыда и неловкости вызывал вид ржавеющих без дела дорогих машин, разобранного на дрова пола. Позднее, тыловые части начали присылать сюда людей на грузовиках, которые принялись за дело систематически. На дрова пошла вся мельница. Солдаты обычно рвали полы ручным гранатами. В Ла Гранха, где находились наши склады и кухня, некогда, должно быть, помещался монастырь. На площади в акр, а то и больше, стояли хозяйственные постройки, в том числе конюшня на тридцать-сорок лошадей. Деревенские дома в этой части Испании в архитектурном отношении не представляют интереса, но хозяйственные постройки, сооруженные из камня и глины, с круглыми сводами и великолепными потолочными балками, имеют благородный вид. Построены они по образцам, не менявшимся, должно быть, многие века. Иногда вы, сами того не желая, вдруг понимали, что чув-

ствуют бывшие владельцы этих усадеб – фашисты – при виде того, как здесь хозяйничают бойцы ополчения. В Ла Гранхе, все пустующие комнаты были превращены в уборные – кошмарное месиво из обломков мебели и экскрементов. В примыкавшей к дому маленькой церкви, стены которой были изрешечены пулями, кал лежал сплошным толстым слоем. Тошнотворная свалка ржавых консервных банок, грязи, лошадиного навоза и разложившейся пищи украшала большой внутренний двор, где повара раздавали еду. Вспоминались слова старой солдатской песни:

Вот так крысы,
Ростом с кошку,
В интендантстве завелись!

В Ла Гранхе крысы действительно напоминали размерами котов; большие, разжиревшие, они бродили по горам мусора, обнаглев до того, что разогнать их можно было только выстрелами.

Наконец-то на дворе установилась весна. Небесная синева стала нежнее, воздух вдруг пропитался пряным ароматом. В канавах шумно спаривались лягушки. Возле водопоя, куда водили мулов всей деревни, я нашел изящных зеленых лягушат, размером с маленькую монетку, такого яркого цвета, что молодая трава блекла рядом с ними. Деревенские ребятишки отправлялись с ведрами ловить улиток, которых они жарили живьем на кусках жести. Как только погода установилась, крестьяне вышли в поле на весеннюю пахоту. Испанская аграрная революция – явление настолько непонятное, что мне так и не удалось выяснить, была ли земля обобществлена или крестьяне просто разделили ее между собой. Думаю, что теоретически землю обобществили, поскольку верховодили здесь P.O.U.M. и анархисты. Во всяком случае, помещиков не было, земля обрабатывалась, народ казался довольным. Дружелюбие крестьян по отношению к нам не переставало меня удивлять. Тем из их числа, кто постарше, война должна была представляться бессмысленной; она принесла с собой нехватку самого необходимого и ужасающе скучную жизнь для всех. Кроме того, крестьяне и в лучшие времена не любят, когда в их деревнях расквартировывают солдат. И тем не менее, они относились к нам неизменно дружелюбно, понимая, видимо, что хотя мы и невыносимы кое в чем, мы стоим между крестьянами и бывшими их помещиками. Гражданская война явление несуразное. Хуэска лежала менее чем в десяти километрах от деревни. В Хуэску крестьяне ездили на рынок, там у них были родственники, туда каждую неделю в течение всей своей жизни они отправлялись торговать птицей и овощами. А теперь вот уже восемь месяцев непреодолимый барьер колючей проволоки

и пулеметного огня лежал между ними и городом. Случалось, что они забывали об этом. Однажды я спросил у старушки, несшей маленькую железную лампу, из тех, которые наполняют оливковым маслом: «Где я могу купить такую лампу?» – «В Хуэске», – ответила она не задумываясь и мы оба рассмеялись. Деревенские девушки, очаровательные созданья с угольно-черными волосами и танцующей походкой, вели себя очень откровенно и непосредственно, что тоже, вероятно, было результатом революции.

Мужчины в потрепанных голубых рубашках и черных вельветовых штанах, в широкополых соломенных шляпах, шли за плугами, которые тащили упряжки мулов, ритмично шевеливших ушами. Жалкие плуги едва царапали землю, не оставляя за собой ничего похожего на настоящую борозду. Все сельскохозяйственные орудия местных крестьян безнадежно устарели, что объясняется прежде всего дороговизной металла. Когда ломался, например, лемех, его латали, потом латали снова, и так до тех пор, пока на нем не оставалось живого места. Грабли и вилы делались из дерева. Крестьяне, редко носившие башмаки, не знали лопаты; они копали землю неуклюжей мотыгой, вроде тех, которыми пользуются в Индии. Здешняя борона видимо не изменилась со времен каменного века. Эти бороны, величиной с кухонный стол, сколачивались из досок, в которых выдалбливались сотни дырочек, а в каждую из дырочек вставлялся кремень, обтесанный точно таким же способом, каким обрабатывали камень десять тысяч лет назад. Помню, что я почувствовал нечто вроде ужаса, увидев впервые это орудие в брошенной хижине на ничьей земле. Я долго рассматривал его, прежде чем до меня дошло, что это борона. Мне стало дурно при мысли о том, сколько труда нужно вложить, чтобы сделать такую штуку, от сознания бедности, заставлявшей пользоваться кремнем вместо стали. С того времени я стал относиться гораздо более доброжелательно к промышленному развитию. В деревне были и два современных трактора, видимо отобранных у крупного помещика.

Раза два я дошел до маленького огороженного кладбища, лежавшего примерно в миле от деревни. Убитых на фронте обычно отвозили в Сиетамо; здесь же лежали деревенские покойники. Странное кладбище, совсем непохожее на английское. Никакого почтения к мертвым! – Все заросло кустами и жесткой травой, всюду валяются человеческие кости. Но особенно удивило меня полное отсутствие религиозных надписей на могильных камнях, хотя все они были поставлены до революции. Только один раз, кажется, я здесь обнаружил столь обычную для католических

кладбищ надпись: «Молитесь за душу такого-то». Большинство надписей носило совершенно мирской характер, много было шутливых стихов, восхвалявших добродетели усопшего. Крест или беглое упоминание о небе попадались на одной из четырех-пяти могил, но и их почти всюду сбил долотом какой-то ревностный безбожник.

Народ в этой части Испании, как мне показалось, совершенно лишен религиозных чувств, – я имею в виду ортодоксальную религиозность. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании, я ни разу не видел крестившегося человека, а ведь это движение, казалось бы, должно стать машинальным, не зависящим от революции. Конечно, испанская церковь вернется к жизни (есть поговорка – ночь и иезуиты всегда приходят снова), но так же очевидно, что с началом революции она совершенно рухнула. Такое, думаю, не могло бы приключиться в подобных обстоятельствах даже с умирающей англиканской церковью. Для испанского народа, во всяком случае для Каталонии и Арагона, церковь – это просто-напросто обман. Христианскую веру, возможно, в какой-то степени заменил анархизм, широко распространившийся и несомненно имеющий религиозную окраску.

В тот день, когда я вернулся из госпиталя, мы передвинули наши окопы примерно на тысячу метров вперед, где им полагалось быть и раньше, и заняли позиции на берегу небольшого ручья, в нескольких сотнях ярдов от фашистов. Эту операцию следовало провести несколько месяцев назад; теперь ее цель была отвлечь часть сил противника и помочь анархистам, атаковавшим дорогу на Яку.

Мы не спали шестьдесят или семьдесят часов, и события вспоминаются сквозь туман, точнее отдельными картинками. Я помню, что мы подслушивали разговоры противника на ничьей земле, в сотне метров от Каза Франчеза, крестьянского дома, превращенного в часть линии фашистской обороны; семь часов сряду мы лежали в вонючем болоте, мокли в пропахшей камышами воде, чувствуя, как тело погружается все глубже и глубже. Память сохранила запах камыша, леденящий холод, неподвижные звезды в черном небе, хриплое кваканье лягушек. Стоял уже апрель, но я не помню в Испании ночи холоднее. Хотя всего в ста метрах позади нас рылись окопы, стояла полная тишина, нарушаемая лишь хором лягушек. Только один раз в течение всей ночи я услышал посторонний звук, – знакомое шлепанье лопаты, трамбующей мешок с песком. Как это ни странно, время от времени испанцы вдруг проявляют чудеса организованности. За семь часов шестьсот человек отрыли тысячу двести метров траншей, защищенных бруствером и сделали это

так тихо, что фашисты не слышали ни одного звука, хотя они были на расстоянии всего 150-300 метров. В течение ночи мы потеряли только одного человека. На следующий день, конечно, потери возросли. Каждый боец точно знал, что ему нужно делать, а как только работа была закончена, сразу же явились разносчики пищи с бурдюками вина, в которое был подмешан коньяк.

Потом рассвело и фашисты внезапно обнаружили нас прямо под своим носом. Мы находились в двухстах метрах от Каза Франчеза, но казалось, что ее квадратное белое строение нависало прямо над нами, а пулеметы, видневшиеся в заложенных песком верхних окнах, были наведены точно на наши окопы. Мы глазели на Каза Франчеза, удивляясь, почему фашисты нас не замечают, как вдруг брызнул бешеный град пуль. Все попадали на колени и начали яростно окапываться, углублять траншею, рыть боковые лисьи норы. Поскольку моя рука все еще была в перевязке и копать я не мог, я провел большую часть дня за чтением детективного романа «Пропавший ростовщик». Содержания книги я не помню, но очень живо вспоминаются все ощущения, которые сопровождали чтение: мокрая глина на дне окопа, я все время убираю ноги, о которые спотыкаются люди, пробегающие мимо меня, визг пуль над самой головой. Томас Паркер был ранен навылет пулей в бедро, что, как он заявил, совсем не входило в его расчеты. Мы несли потери, но их нельзя было даже сравнить с тем потерями, которые мы могли иметь, если бы фашисты обнаружили нас ночью. Позднее мы узнали от дезертира, что пять фашистских часовых было расстреляно за халатность. Но даже и сейчас они могли нас всех перестрелять, если бы догадались подтащить несколько минометов. Очень неудобно было выносить раненых по узким, тесным трап-шеям. Я видел, как вываливался из носилок и задыхался в агонии солдат в черных от крови бриджах. Раненых нужно было нести километра полтора, а то и больше, ибо санитарные машины никогда не подъезжали близко к фронтовой линии, даже когда к ней вела дорога. Если же санитарные машины приближались к передовой, то фашисты били по ним из пушек, с некоторым, впрочем, основанием, ибо в современной войне никто не подумает дважды, прежде чем использовать санитарные машины для подвозки боеприпасов.

На следующую ночь мы ждали в Торре Фабиан приказа атаковать. Приказ об отмене атаки был передан в последнюю минуту по рации. Мы ждали в амбаре, сидя на мякине, тонким слоем покрывавшей груды перемешанных человеческих и коровьих костей. Амбар кишмя кишел крысами. Мерзкие животные выскакивали со всех сторон. Нет ничего,

что я ненавидел бы больше крысы, шныряющей по моему телу в потемках. Впрочем, мне удалось наподдать одной так здорово, что она отлетела в сторону.

Ждем сигнала. В пятидесяти или шестидесяти метрах от фашистского бруствера длинная цепь людей, сидящих на корточках в оросительной канаве. В темноте видны лишь острия штыков и белки глаз. За нашей спиной сидят Копп и Бенжамен, а возле них связист с рацией на спине. На западе видны розовые вспышки орудийных выстрелов, а вслед за ними, через несколько секунд следуют мощные взрывы. Потом мы услышали потрескивание рации и отданный шепотом приказ отходить, пока не поздно. Мы отошли, но недостаточно быстро. Двенадцать несчастных парнишек из J.C.I. (Молодежной лиги P.O.U.M.; в ополчении P.S.U.C. лига называлась J.S.U.), залегших всего в сорока метрах от фашистской позиции, были захвачены рассветом врасплох и не смогли отступить. Весь день пролежали они, прикрытые лишь пучками травы, фашисты стреляли, как только замечали малейшее движение. К ночи семеро из ребят были убиты, пятерым удалось выползти с наступлением темноты.

Много дней подряд мы вслушивались в звуки боя, который вели анархисты по другую сторону Хуэски. Звуки были неизменно те же: внезапно, еще до рассвета, грохот нескольких десятков одновременно взорвавшихся снарядов – даже на далеком расстоянии дьявольский гул – и затем непрерывный рев ураганного огня из винтовок и пулеметов, тяжелый катящийся звук, странным образом напоминающий барабанный бой. Постепенно в стрельбу включались все укрепления, окружавшие Хуэску, и мы стояли, сонно прислонившись к брустверу, слушая свист пуль, бессмысленно чертивших над нами воздух.

Днем оружейная стрельба велась беспорядочно. Был обстрелян и частично разрушен Торре Фа-биан, в котором теперь разместилась наша кухня. Любопытно, что если смотреть на артиллерийскую стрельбу с безопасного расстояния, то всегда хочется, чтобы цель была накрыта, даже если под огнем находится ваш обед и несколько товарищей. В это утро фашисты стреляли хорошо; возможно, за дело принялись немецкие наводчики, – они точно взяли в вилку Торре Фабиан. Первый снаряд – перелет, второй – недолет, третий накрыл цель. Взлетели взорванные балки, кусок крыши поднялся, как подброшенная игральная карта. Следующий снаряд отсек угол дома, так аккуратно, как если бы его отрезал ножом великан. Но повара приготовили обед во время – достижение немалое.

Шли дни, и мы научились различать скрытые от глаза, но зато хорошо слышимые пушки. Мы узнавали две батареи русских 75-миллиметровок, стрелявшие совсем недалеко от нас. Слыша их, я почему-то представлял себе толстого игрока в гольф, ударяющего по мячу. Это были первые русские пушки, которые мне довелось увидеть, вернее, услышать. Снаряд выходил из жерла с большой скоростью и летел низко. Поэтому до нас доходили почти одновременно звук выстрела, свист снаряда и взрыв. За Монфлорите стояли два тяжелых орудия, выпускавших по нескольку снарядов в день. Их глубокое, глухое рычание напоминало далекий рев прикованного к скале чудовища. Из средневековой крепости на горе Арагон, взятой штурмом правительственными войсками в прошлом году (говорили, что она пала впервые в истории) и защищавшей один из подступов к Хуэске, била тяжелая пушка, должно быть столетней давности. Ее грузные снаряды летели так медленно, что казалось их можно было догнать, слегка ускорив шаг. Звук снаряда почему-то больше всего напоминал свист едущего на велосипеде человека, Самый зловещий звук, несмотря на малые размеры, издавали минометы. Их снаряд представлял собой нечто вроде крылатой торпеды, величиной с литровую бутылку, похожей на стрелки с оперением, которые бросают в цель в кабачках. Металлический скрежет выстрела наводил на мысль о дьявольской кузнице, в которой ударяют по наковальне с чудовищной глыбой хрупкой стали. Иногда над нами пролетали самолеты и сбрасывали воздушные торпеды, от взрыва которых ходуном ходила земля в радиусе нескольких километров. Разрывы фашистских зениток метили небо маленькими облачками, какие можно увидеть на скверных акварелях, но ни разу они не приближались к самолету даже на тысячу метров. Когда на вас пикирует самолет, поливая позицию пулеметным огнем, внизу слышится будто биение крыльев гигантской птицы.

На нашем участке фронта было затишье. В двухстах метрах вправо от позиции, где фашисты занимали господствующую высоту, их снайперам удалось подстрелить несколько наших товарищей. Влево от нас, даже на расстоянии метров в 200, на мосту через ручей шла своеобразная дуэль между фашистскими минометчиками и бойцами, сооружавшими цементную баррикаду поперек моста. Маленькие хищные мины со свистом пролетали по воздуху и – звинг-бум! звинг-бум! Разрывы мин были оглушительны вдвойне, когда они рвались на асфальтированной дороге. В сотне метров от места взрыва можно было стоять в полной безопасности, глядя на фонтаны земли и черного дыма, тянувшиеся кверху, как волшебные деревья. Бедняги-солдаты, строившие баррикаду, большую

часть дня отсиживались в лисьих норах, вырытых в стенах траншей. Но жертв было меньше, чем можно было ожидать, и баррикада неуклонно росла, превращаясь в цементную стену толщиной более чем в полметра с амбразурами для двух пулеметов и небольшой полевой пушки. Цемент, за неимением другого железа, армировался старыми кроватями.

7

Как-то вечером Бенжамен сказал, что ему нужно пятнадцать добровольцев. Было решено провести на фашистскую позицию атаку, которая была отменена в прошлый раз. Я смазал маслом мой десяток мексиканских патронов, покрыл слоем грязи штык винтовки (чтобы, поблескивая, он не выдал нас врагу), запаковал краюху хлеба, кусок красной колбасы и давно припасенную сигару, которую жена прислала мне из Барселоны. Гранат выдали по три штуки на человека. Испанское правительство сумело наконец, наладить производство приличных гранат. Она действовала по принципу гранаты Миллса, но имела не одну чеку, а две. Граната взрывалась через семь секунд после того, как вырывали обе чеки, одна из которых выходила слишком туго, а вторая – очень легко. Это был главный недостаток гранаты. У нас был выбор: оставить обе чеки на месте, рискуя тем, что в нужный момент тугая заест, либо вырвать ее заранее и ходить в постоянном страхе, что граната взорвется в кармане. Но все же это была довольно неплохая граната.

Около полуночи Бенжамен повел пятнадцать человек вниз, к горе Фабиан. С вечера беспрерывно лил дождь. Оросительные канавы переливались через край, и стоило оступиться, как вы оказывались по пояс в воде. В полной темноте, под проливным дождем притаилась темная масса людей. Копп обратился к нам сначала по-испански, а потом по-английски, разъяснив план атаки. Фашистские укрепления на этом участке были вытянуты в форме буквы Г. Нам предстояло взять штурмом бруствер, построенный на возвышенности у сгиба линии. Примерно тридцать человек, половина испанцев и половина англичан, во главе с командиром нашего батальона Хорге Рока (батальон ополчения насчитывал около 400 человек), и Бенжаменом должны были подползти к фашистским окопам и перерезать проволоку. Потом Хорге бросит первую гранату. По этому сигналу мы закидаем фашистов градом гранат, и не давая им опомниться, захватим окопы. Одновременно семьдесят бойцов Ударного батальона атакуют другую фашистскую «позицию», лежащую

в двухстах метрах вправо от нас и соединенную с первой траншеей связи. Чтобы мы не перестреляли друг друга в темноте нам выдадут белые нарукавные повязки. В этот момент прибыл вестовой и доложил, что повязок нет. Раздался чей-то жалобный голос из темноты: «Пусть тогда фашисты наденут повязки».

Ждать оставалось час или два. Сеновал над стойлом для мулов был так разбит снарядами, что ходить по нему в потемках было невозможно. Половина пола была вырвана и недолго было свалиться с шестиметровой высоты на камни. Кто-то разыскал лом, вывернул из пола разбитые доски, и через несколько минут мы сидели вокруг костра, подсушивая мокрую одежду. Один из бойцов вытащил колоду карт. Разошелся слух – один из тех таинственных слухов, которыми полнится война, – что будут раздавать горячий кофе с коньяком. Мы ринулись вниз по разваливающейся лестнице и стали бродить по двору, выспрашивая в темноте, где дают кофе. Увы! Никакого кофе не было. Вместо этого нас собрали, построили в ряд, и мы зашагали вслед за Хорге и Бенжаменом, заторопившимися в ночь.

Все еще шел дождь и, не было видно ни зги, но ветер утих. Непролазная грязь. Тропинка, шедшая через свекольное поле, превратилась в сплошное месиво грязи, по которому наши ноги скользили, как по смазанному жиром столбу. Прежде чем мы добрались до исходной позиции, каждый из нас несколько раз упал, винтовки покрылись слоем грязи. В окопах ждала кучка людей – наш резерв и врач у выложенных в ряд носилок. Мы пролезли через брешь в бруствере и бултыхнулись в очередной оросительный канал. Снова вода по пояс, снова хлюпанье скользкой грязи в башмаках. Хорге ожидал на траве, пока мы все не выберемся из окопа. Потом, согнувшись в три погибели, он начал медленно красться вперед. Фашистский бруствер был от нас примерно в ста пятидесяти метрах, мы могли добраться незамеченными только передвигаясь совершенно бесшумно.

Я шел впереди вместе с Хорге и Бенжаменом. Пригнувшись до самой земли, но с поднятым лицом, мы двигались почти в полной темноте, причем, по мере приближения к цели, шаги наши делались все медленней и медленней. Дождь не сильно хлестал по нашим лицам. Оглядываясь назад, я видел ближайших ко мне бойцов – горбатые тени, напоминавшие большие черные грибы, медленно скользили вперед. Но каждый раз, как только я приподнимал голову, мой сосед Бенжамен яростно шептал мне в ухо: «Голову вниз! Голову вниз!» Я мог бы ему ответить, что беспокоиться нет нужды, зная по опыту, что в темную ночь нельзя

увидеть человека на расстоянии двадцати шагов. Значительно важнее было идти тихо. Услышь нас фашисты, им достаточно было бы нажать на гашетку пулемета, чтобы обратить нас в бегство или перестрелять всех до одного.

Но идти тихо по размокшему грунту было почти невозможно. Как мы ни старались, наши ноги вязли в грязи и каждый шаг сопровождался хлюпаньем. На беду ветер стих и, несмотря на дождь, стояла совсем тихая ночь. Звуки разносились далеко. Вдруг я пнул консервную банку и в ужасе подумал, что все фашисты в округе услышали меня. Но нет, ни звука, ни выстрела, ни движения в фашистских окопах. Мы продолжали красться, с каждым шагом все медленнее. Я не могу передать всю глубину моего желания попасть наконец туда. Лишь бы только добраться до места, откуда можно швырнуть гранату, прежде чем нас услышат. В такие минуты страх отступает, – остается лишь отчаянное, безнадежное стремление преодолеть отделяющее от противника пространство. Я испытывал подобное чувство на охоте, то же мучительно страстное желание подобраться на выстрел, та же кошмарная уверенность, что это невозможно. А как удлиняется расстояние! Я хорошо знал местность, нам нужно было пройти меньше ста пятидесяти метров, но казалось, что это целая миля. Ползя так медленно, ощущаешь, должно быть, подобно муравью, бесконечное разнообразие земли: вот чудесный клок гладкой травы, потом отвратительный ком вязкой грязи, высокий шуршащий камыш, который нужно обогнуть, горка камней, возле которой теряешь надежду проползти бесшумно.

Мы ползли уже целую вечность, и мне начало казаться, что мы заблудились, как вдруг в темноте показались едва заметные параллельные полоски. Это была наружная ограда из колючей проволоки (у фашистов две линии заграждения). Хорге встал на колени, пошарил в карманах. Единственные наши ножницы для резки проволоки были у него. Хруп, хруп. Мы осторожно оттянули в стороны концы проволоки. Теперь надо было ждать тех, кто подтягивался вслед за нами. Казалось, что они поднимают ужасный шум. До фашистского бруствера оставалось не более пятидесяти метров. И снова вперед, пригнувшись к земле. Медленно поднимаешь ногу, потом опускаешь ее на землю неслышно, как кот, подбирающийся к мышиной норе; прислушиваешься, ждешь, потом другая нога. Раз я поднял голову. Бенжамен молча положил ладонь на мою шею и сильно надавил. Я знал, что внутреннее проволочное заграждение натянуто всего в двадцати метрах от бруствера. Мне казалось невероятным, чтобы тридцать человек могли добраться до него незамеченными. Ведь

одного дыхания достаточно, чтобы выдать нас с головой. И все же мы добрались. Фашистский бруствер уже виден, высоко нависшая над нами черная насыпь. Хорге снова стал на колени, повозился. Хруп, хруп. Бесшумно эту штуку не разрежешь.

Теперь и внутреннее заграждение позади. Мы ползем на четвереньках, пожалуй немного быстрее чем прежде. Если у нас будет время рассредоточиться вдоль траншеи, тогда все в порядке. Хорге и Бенжамен отползают вправо. Теперь наши бойцы должны один за другим пролезать через узкую дыру в проволочном заграждении. И в этот момент на фашистском бруствере сверкнул огонь и грохнул первый выстрел. Часовой наконец-то нас услышал. Хорге привстал на колено и широким движением метнул гранату. Она взорвалась где-то на бруствере. Сразу же, гораздо быстрее, чем можно было ожидать, с фашистского бруствера ударило десять или двадцать винтовок. Итак, они нас ждали. Мгновенно в мертвенно-бледном свете стали видны все мешки с песком. Бойцы, не успевшие подползти ближе, кидали гранаты и некоторые из них взрывались, не долетая до бруствера. Казалось, что каждая амбразура извергает струи огня. Всегда очень неприятно оказаться под огнем в темноте. Кажется, что каждая вспышка винтовочного выстрела предназначена для тебя. Но хуже всего – гранаты. Вам не понять этого ужаса, если вы не видели, как она рвется возле вас в темноте. Днем слышен лишь грохот взрыва, а в темноте к нему прибавляется ослепительная красная вспышка. Я кинулся на землю после первого залпа. Все это время я лежал в слизкой грязи на боку и яростно боролся с чекой гранаты. Эта дьявольская штука ни за что не хотела вылезать. Наконец я понял, что тяну не в ту сторону. Я выдернул чеку, швырнул гранату и снова кинулся на землю. Граната взорвалась, не долетев до бруствера; испуг помешал мне прицелиться как следует. В этот момент прямо передо мной взорвалась граната, так близко, что я почувствовал жар взрыва. Распластавшись на земле, я так сильно вдавил свое лицо в грязь, что шея заболела и я решил, что меня ранило. Сквозь грохот я услышал голос англичанина, спокойно сказавшего: «Я ранен». Граната действительно ранила нескольких человек, не задев меня. Я привстал на колени и снова бросил гранату, не заметив куда она попала.

Фашисты стреляли, наши сзади стреляли, и я очень ясно сознавал, что нахожусь между двух огней. Я почувствовал выстрел над самым ухом и понял, что боец находится прямо позади меня. Я приподнялся и заорал: «Не стреляй в меня, болван!» В этот момент я увидел Бенжамена, находившегося в десяти-пятнадцати метрах и махавшего мне рукой. Я

побежал к Бенжамену. Для этого нужно было пересечь линию плевавшихся огнем амбразур, и я бежал, приложив левую руку к щеке; идиотский жест – как если бы рука могла остановить пулю, по я чертовски боялся ранения в лицо. Бенжамен с довольной, зловещей улыбкой на лице, стоял на одном колене и тщательно целясь, стрелял из своего пистолета по винтовочным вспышкам. Хорге был ранен первым залпом и лежал где-то в укрытии. Я стал на колени возле Бенжамена, выдернул чеку из моей третьей гранаты и метнул ее. Здорово! На этот раз сомнения не было. Граната взорвалась за бруствером, в том углу, где стоял пулемет.

Фашистский огонь внезапно ослаб. Бенжамен вскочил на ноги и крикнул «Вперед! В атаку!» Мы кинулись по невысокому крутому склону, увенчанному бруствером. Я сказал «кинулись», но правильнее было бы сказать «поплелись». Впрочем, трудно двигаться быстро, если ты промок и вымазан с головы до ног грязью, в руке тяжелая винтовка со штыком и сто пятьдесят патронов. Я был уверен, что на бруствере меня поджидает фашист. Если он выстрелит, то на таком расстоянии промах невозможен, но почему-то я ждал не выстрела, а именно удара штыком. Я представлял себе, как скрещиваются наши штыки и думал: чья рука окажется сильнее? Но никто меня не ждал. С неясным чувством облегчения я увидел низкий бруствер и мешки с песком, по которым удобно было карабкаться наверх. Обычно через них трудно перелезть. Внутри все было разнесено вдребезги, всюду валялись бревна и куски черепицы. Наши гранаты разрушили все строения и блиндажи. Но вокруг по-прежнему не было ни живой души. Я подумал, что они притаились где-то под землей и крикнул по-английски (все испанские слова вдруг вылетели у меня из головы): «Вылезайте! Сдавайтесь!» Никакого ответа. Вдруг человек, в сумерках он казался тенью, скользнул по крыше разбитой хижины и метнулся влево. Я кинулся за ним, без толку тыкая штыком в темноту. Обежав хижину я увидел человека, не знаю был ли это тот же самый, которого я заметил раньше, убегавшего вдоль траншеи, что вела к соседней фашистской позиции. Должно быть я почти догнал солдата, ибо видел его очень четко. Он был без шапки и видимо совсем голый, если не считать одеяла, которое натягивал на плечи. Если бы я выстрелил, его разнесло бы на куски. Но опасаясь, чтобы мы не перестреляли друг друга нам не приказали стрелять в фашистских окопах, а бить только штыком. Впрочем, я и не думал стрелять. В моей памяти вдруг всплыла картинка двадцатилетней давности: учитель бокса в школе показывает, как он поразил штыком турка в Дарданеллах. Я ухватился за конец приклада и сделал выпад, целясь в спину бегущего. Не достал. Еще выпад, и снова

напрасно. Так мы бежали, он вдоль траншеи, а я поверху, тыкая его в лопатки и не доставая. Теперь мне это кажется комичным, но думаю, что ему тогда было не до смеха.

Солдат, конечно, знал место лучше меня и вскоре исчез. Когда я вернулся, захваченная позиция была полна народа. Стрельба немного ослабла. Фашисты все еще поливали нас с трех сторон сильным огнем, но теперь нас разделяло большее расстояние. До поры до времени позиция была в наших руках. Помню, что я с видом оракула изрек: «Мы сможем удержать это место полчаса, не больше». Я и сам не знаю, почему я сказал именно полчаса. Глядя через бруствер направо, можно было увидеть бесчисленные зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов, прошивавших темноту. Но они были далеко, в ста или в двухстах метрах. Теперь надо было обшарить позицию и забрать все, что могло пригодиться. Бенжамен вместе с несколькими бойцами рыскали -в развалинах большой хижины или блиндажа посреди позиции. В сильном возбуждении Бенжамен выбрался через разбитую крышу, таща за веревочную ручку ящик боеприпасов.

– Товарищи! Боеприпасы! Полно боеприпасов!

– Нам боеприпасы не нужны, – раздался голос. Нам нужны винтовки.

Это была правда. Половина наших винтовок, залепленных грязью, отказала. Их можно было почистить, но в темноте опасно вытаскивать затвор; положишь куда-нибудь и не найдешь У меня был маленький электрический фонарик, который моя жена ухитрилась найти в Барселоне, другого освещения мы не имели. Несколько человек с исправными винтовками начала беспорядочно стрелять по далеким вспышкам. Но и они не рисковали вести беглый огонь, – даже лучшие из винтовок, разогревшись, могли отказать. В траншее нас было шестнадцать человек, в том числе один или двое раненых. Несколько раненых, испанцев и англичан, лежали за бруствером. Ирландец из Бельфаста Патрик О'Хара, имевший некоторый опыт в оказании первой помощи, сновал взад и вперед с пакетами бинтов, перевязывая раненых. И каждый раз, когда он лез через бруствер, в него, разумеется, стреляли свои же, хотя он, что было силы, орал: «P.O.U.M.!»

Мы начали осматривать позицию. На земле лежало несколько убитых, но я не стал на них смотреть. Меня интересовал пулемет. Все время, пока мы лежали перед бруствером, я спрашивал себя, почему пулемет не стреляет. Я посветил фонариком в пулеметное гнездо. Горькое разочарование! Пулемета не было. Тренога стояла, валялись ящики с

патронами, но пулемета не было. Видимо, они сняли его и унесли, при первом сигнале тревоги. Конечно, они действовали по приказу, но поступили глупо и трусливо. Оставив пулемет на месте, они могли всех нас перестрелять. А мы-то мечтали о трофейном пулемете.

Мы шныряли по всем углам, но ничего ценного не находили. Кругом валялось много фашистских гранат, довольно примитивных. Они взрывались, если потянуть за веревочку. Я положил несколько штук в карман, на память. Нельзя было не удивляться, глядя на нищету фашистских окопов. Здесь не были разбросаны, как у нас, одежда, книги, пища, разные мелкие личные вещи; казалось, что у этих бедных фашистских солдат не было ничего своего, кроме одеял и нескольких кусков тяжелого мокрого хлеба. В дальнем конце стояла маленькая землянка, немного выступавшая над землей, с крохотным окошком. Мы посветили в окно фонарем и у нас вырвался крик восторга. У стены стоял цилиндрический предмет в кожаном футляре, высотой примерно в метр двадцать, имевший около пятнадцати сантиметров в диаметре. Пулеметный ствол! Мы кинулись в землянку, вытащили предмет из футляра и убедились, что это не пулеметный ствол, но вещь еще более ценная для нашей, плохо оснащенной, армии. Это был большой телескоп, думаю шестидесяти- или семидесятикратный, со складной треногой. По нашей стороне фронта таких телескопов не было вообще, и они были нам нужны до зарезу. Мы с триумфом вытащили телескоп и прислонили его к брустверу, чтобы захватить потом с собой.

В этот момент кто-то крикнул, что фашисты приближаются. И действительно, стрельба усилилась. Было, однако, ясно, что фашисты не пойдут на контратаку справа, ибо в этом случае им пришлось бы пересечь ничью землю и штурмовать собственный бруствер. Если у них было хоть на грош здравого смысла, они должны были атаковать нас с тыла. Я пошел на другую сторону позиции. Она напоминала формой подкову, блиндажи находились посредине. Следовательно, слева нас также прикрывал бруствер. Несмотря на сильный огонь с этой стороны, у нас не было потерь. Опасное место находилось прямо впереди нас, там, где не было никакого прикрытия. Пули сыпались градом. Стреляли с соседней фашистской позиции, которую бойцам ударного батальона захватить не удалось. Выстрелы слились в оглушающий шум, это был непрекращающийся барабанный грохот массированного ружейного огня, подобный которому я всегда слышал на расстоянии. Теперь я в первый раз оказался в самом его центре. Стреляли по всему фронту. Дуглас Томпсон, держа на весу раненую руку, прислонился к брустверу и стрелял одной рукой

по вспышкам вражеского огня. Какой-то боец, отложив свою заевшую винтовку, заряжал винтовку Томпсона.

На этой стороне нас было четверо или пятеро. Мы понимали, что нам следует делать – перетащить мешки с песком с переднего бруствера и забаррикадировать незащищенную сторону, причем сделать это надо было быстро. Фашисты били поверх наших голов. Но каждую минуту они могли снизить прицел. По вспышкам, возникавшим со всех сторон, я видел, что мы имеем дело с сотней, а то и двумя сотнями фашистов. Мы стали выворачивать из бруствера мешки с песком и перетаскивать их на двадцать шагов вперед, сваливая в кучу. Работёнка была не из легких. Весу в мешках было не меньше центнера и приходилось напрягать все силы, чтобы такой мешок высвободить; потом гнилая мешковина рвалась, и нас обдавало влажной землей, которая набивалась за воротник и в рукава. Я помню, какой ужас наводили на меня хаос, темнота, грохот, скольжение по грязи, борьба с лопающимися мешками. И все время мне мешала винтовка, с которой я не расставался, опасаясь ее потерять. Я даже крикнул кому-то, тащившему вместе со мной мешок: «Ничего себе война! Проклятая штука!» Внезапно через передний бруствер перескочило несколько высоких фигур. Когда они приблизились, мы увидели, что солдаты одеты в форму ударного батальона. Наши радостные крики замолкли, когда мы выяснили, что это не подкрепление, а всего лишь четыре бойца – три немца и испанец. Позднее мы узнали, что случилось с ударным батальоном. Они не знали местности и в темноте батальон завели не туда, куда нужно было. «Ударники» нарвались на колючую проволоку и фашисты перестреляли многих из них. Эта четверка, к счастью для себя, заблудилась. Немцы не знали ни слова ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански. С большим трудом, сильно жестикулируя, мы объяснили им, что делаем и уговорили помочь нам.

Фашисты подтащили пулемет. Можно было видеть, как он плюется огнем в сотне или двухстах метрах от нас. Над нашими головами с холодным потрескиванием проходили пули. Довольно быстро мы накидали достаточно мешков с песком, чтобы уложить невысокий бруствер, за который могли залечь и стрелять те несколько человек, что были на этой стороне укрепления. Я приготовился стрелять с колена. Над нами пролетел минометный снаряд и разорвался где-то на ничейной земле. Это была новая опасность, но, прежде чем они нас нащупают, пройдет еще несколько минут. Теперь, когда мы закончили схватку с этими проклятыми мешками, с песком, все, что происходило вокруг можно, было воспринимать и как некую забаву; звуки, темнота, приближающиеся

вспышки, наши бойцы, отвечающие на эти вспышки огоньками выстрелов. Было даже время немного поразмыслить. Я, помнится, спросил себя, испытываю ли я чувство страха, и решил, что нет.

Снаружи, где я, видимо, был в меньшей опасности чем здесь, меня трясло от страха. Вдруг снова закричали, что фашисты подходят. На этот раз сомнения не было, вспышки выстрелов значительно приблизились. Я увидел вспышку всего метрах в двадцати от нас. Было ясно, что они пробираются вдоль траншеи. На таком расстоянии можно было уже бросать гранаты. Все мы, восемь или девять человек, сидели тесно прижавшись друг к другу и одна удачно брошенная бомба могла разорвать нас на куски. Боб Смайли, обливаясь кровью, которая текла из маленькой раны на лице, привстал на колено и швырнул гранату. Мы пригнулись, ожидая взрыва. Фитиль прочертил красную дугу в воздухе, но граната не взорвалась (не взрывалось, по меньшей мере, четверть всех брошенных гранат). У меня остались только фашистские гранаты, которым я не очень доверял. Я крикнул, нет ли у кого лишней гранаты. Дуглас Мойль пошарил в кармане и передал мне одну. Я бросил гранату, а сам кинулся плашмя на землю. По счастливой случайности, которая бывает раз в год, я угодил точно в то место, в котором видел вспышку выстрела. Раздался взрыв, и сразу же потом – вопли и стоны. Хоть одного мы задели наверняка. Не знаю убил ли я его, но безусловно тяжело ранил. Бедняга! Услышав стон фашиста, я почувствовал к нему что-то вроде сочувствия. Но в этот момент, в тусклом свете винтовочных вспышек, я увидел или мне показалось, что я увидел фигуру, стоявшую возле того места, где вспыхнул выстрел. Я вскинул винтовку и нажал спуск. Новый вопль, но думаю, что это был все еще результат взрыва гранаты. Мои товарищи швырнули еще несколько бомб. Теперь мы увидели вспышки выстрелов метрах в ста от нас, а то и больше. Значит, мы их отогнали, во всяком случае временно.

Все стали ругаться и допытываться, почему, черт возьми, не присылают подкрепления. Будь здесь автомат или двадцать бойцов с исправными винтовками, мы смогли бы держать эту позицию против батальона. В этот момент Падди Донован, заместитель Бенжамена, посланный в тыл за диспозицией, перелез через передний бруствер.

– Эй! Вылезайте! Отступаем!

– Что?

– Отходить! Сматывайся отсюда!

– Почему?

– Приказ. На старую позицию, мигом. Бойцы уже перелезали через передний бруствер. Несколько из них возились с тяжелым ящиком для боеприпасов. Я вспомнил о телескопе, оставленном у бруствера на другой стороне позиции. Но в этот момент я увидел, что четверо бойцов ударного батальона, выполняя какой-то таинственный, им одним известный приказ, кинулись в соединительную траншею, которая вела к соседней фашистской позиции. Они бежали навстречу верной смерти, быстро исчезая в темноте. Я бросился за ними, стараясь вспомнить как по-испански говорят «отступать». Наконец я заорал: Atrás! Atrás!, что, видимо, правильно передавало смысл. Испанец понял и вернул всех обратно. Падди ждал у бруствера.

– Давай, скорее.

– Да, но телескоп!

– Нас... на твой телескоп! Бенжамен ждет снаружи.

Мы перелезли через бруствер. Падди держал проволоку, пока я пролезал через заграждение. Едва мы покинули прикрытие фашистского бруствера, как оказались под шквальным огнем, окружавшим нас со всех сторон. Стреляли, разумеется, и наши бойцы, огонь велся вдоль всей линии фронта; мы кружили в темноте, как заблудившееся стадо овец. К тому же мы волокли трофейный ящик с боеприпасами, в который входит 1750 обойм, весивший килограммов пятьдесят, ящик с гранатами и несколько фашистских винтовок. Хотя расстояние от фашистского бруствера до нашего не превышало двухсот метров и большинство из нас хорошо знало местность, мы почти сразу же заблудились. Мы скользили по грязи, зная наверняка только одно, – что в нас стреляют с обеих сторон. Луны не было, но небо начало понемногу сереть. Наша позиция лежала к востоку от Хуэски; я предложил подождать первого рассветного луча, и определить, где восток, а где запад; но все остальные были против. Мы продолжали месить грязь, то и дело меняя направление, по очереди таща ящик с боеприпасами. Наконец, мы увидели впереди низкую приплюснутую полосу бруствера. Это мог быть наш, но с таким же точно успехом – и фашистский бруствер. Никто из нас не имел ни малейшего понятия, куда мы пришли. Бенжамен подполз на животе по высокому камышу на двадцать метров до бруствера и окликнул часового. В ответ гаркнули «P.O.U.M.». Мы повскакали на ноги, перелезли через бруствер еще раз окунулись в оросительную канаву – буль-буль! – и оказались, наконец, в безопасности.

За бруствером нас уже ждали Копп и несколько испанцев. Доктор и санитары ушли. Всех раненых, видимо, уже унесли, не хватало только Хорге и одного из наших бойцов по фамилии Хидлстоун. Копп, очень

бледный, расхаживал взад и вперед, даже жирные складки на его затылке побледнели. Не обращая никакого внимания на пули, посвистывающие над самой его головой, Копп бормотал: «Хорге! Cogño! Хорге». А потом по-английски: «Если Хорге погиб – это ужасно, ужасно!» Хорге был его личным другом и одним из его лучших офицеров. Внезапно он повернулся к нам и вызвал пятерых добровольцев – двух англичан и трех испанцев – пойти поискать пропавших бойцов. Вместе с тремя испанцами вызвались идти Мойль и я.

Когда мы выбрались наружу, испанцы начали бормотать, что становится опасно – слишком светло. И действительно, небо стало пепельно-голубым. С фашистской позиции до нас доносились возбужденные голоса. Видимо их теперь там было значительно больше, чем раньше. Когда мы были в шестидесяти или семидесяти метрах от фашистского бруствера, они нас услышали или увидели, мощный залп заставил нас броситься плашмя на землю. Кто-то из фашистов швырнул гранату через бруствер – верный признак паники. Мы лежали в траве, ожидая когда можно будет двинуться вперед. Вдруг мы услышали или нам показалось – я не сомневаюсь, что это была чистая игра воображения, но тогда она представлялась вполне реальной, – что голоса фашистов слышны значительно ближе, чем раньше. Они покинули бруствер и направляются к нам. «Беги!» крикнул я Мойло и вскочил на ноги. Боже мой, как я бежал! Еще совсем недавно, той же ночью, я подумал, что невозможно бежать, будучи облепленным с головы до ног грязью, таща на себе винтовку и патроны. Теперь я обнаружил, что человек способен мчаться во все лопатки в любых условиях, если он думает, что за ним гонятся пятьдесят или сто вооруженных врагов. На бегу я почувствовал, что возле меня как бы пролетел рой метеоритов. Это меня обогнали три испанца. Они остановились лишь у самого бруствера, где я их и догнал. Дело, конечно, было в том, что наши нервы совсем сдали. Я знал, что в предрассветной мгле один человек может незаметно пробраться там, где пятеро не пройдут. Я добрался до наружной проволоки и обшарил местность так тщательно, как мог, но все же не очень основательно, ибо весь путь пришлось проделать ползком. Позднее мы узнали, что и Хорге и Хидлстоун были доставлены на, перевязочный пункт. Хорге отделался легким ранением в плечо, а Хидлстоун получил ужасную рану – пуля прошла через правую руку, поломав в нескольких местах кость; когда он лежал беспомощный на земле, рядом с ним разорвалась граната, поразившая его многочисленными осколками. К счастью, Хидлстоун выжил. Позднее он рассказал мне, что прополз некоторое расстояние на спине,

а потом уцепился за раненого испанца и они, помогая друг другу, добрались до своих.

Светало. На фронте, на много миль вправо и влево от нас продолжалась беспорядочная стрельба, напоминавшая дождик, закапавший вдруг уже после того, как отбушевала буря. Какое унылое это было зрелище: лужи грязи, плакучие тополя, желтая вода в окопах; такими же несчастными выглядели бойцы с измученными лицами, небритые, в грязи с головы до ног, закопченные до самых глаз. Когда я добрался до землянки, три моих товарища уже крепко спали. Они кинулись на землю в полном обмундировании, прижав к груди грязные винтовки. Наша землянка насквозь отсырела. Я умудрился, после долгих поисков, набрать кучу сухих щепок и развести маленький огонек. Потом я закурил заветную сигару, которая, к моему удивлению, не поломалась в течение ночи.

Позже мы узнали, что наша атака удалась. Это был всего-навсего рейд с целью оттянуть силы фашистов с участка в районе Хуэски, где наступали анархисты. Я считал, что фашисты бросили против нас сто или двести человек, но дезертир рассказал нам позднее, что их было шестьсот. Думаю, что он лгал. Дезертиры, по понятным причинам, часто стараются завоевать расположение ложью. Очень жаль было телескопа. Мысль о том, что я упустил такой великолепный трофей, не дает мне покоя и по сей день.

8

Дни становились жарче, и даже ночью было сравнительно тепло. На расщепленной пулями вишне, стоявшей возле нашего бруствера, начали завязываться густые гроздья ягод. Купание в реке перестало быть мучением и превратилось в удовольствие. Дикие розы с бутонами величиной с блюдце покрыли изрытые воронками поля вокруг Торре Фабиан. За линией фронта можно было встретить крестьян с дикой розой за ухом. По вечерам они выходили с зелеными сетями на ловлю перепелов. Крестьяне раскидывали сеть на траве, ложились на землю и кричали, подражая самочке-перепелке. Все самцы, находившиеся поблизости, слетались на крик. Когда перепела оказывались под сетью, ловец кидал камень, чтобы их вспугнуть, птицы взлетали и запутывались в сети. Ловят, видимо, только самцов, и это показалось мне несправедливым.

Соседний участок занимал отряд андалузцев. Я не знаю точно, как они попали на этот фронт. Злые языки твердили, что они бежали из Ма-

лаги так быстро, что забыли остановиться возле Валенсии. Но так злословили каталонцы, считающие андалузцев расой полуварваров. Андалузцы действительно были людьми темными. Лишь немногие из них умели читать и они не знали той единственной вещи, которую в Испании знал всякий – к какой политической партии они принадлежали. Андалузцам казалось, что они анархисты, но они и в этом не были уверены до конца; возможно они были коммунистами, эти грубоватые, крестьянского вида люди, пастухи или батраки с оливковых плантаций, с лицами, обгоревшими на жестоком солнце далекого юга. Оказалось, что андалузцы могут принести нам большую пользу – они умели мастерски сворачивать высушенный испанский табак в цигарки. Сигареты перестали выдавать, но иногда нам удавалось купить в Монфлорите пачку самого дешевого табака, который на вид и на ощупь напоминал рубленную солому. Запах у него был неплохой, но сухие стебли никак не удавалось завернуть в бумагу, а если кто и ухитрялся смастерить самокрутку, то табак сразу же высыпался, а в руке оставалась пустая бумажная трубочка. Андалузцы умудрялись каким-то образом крутить великолепные цигарки, ловко подворачивая концы бумаги.

Двое англичан свалились от солнечного удара. То время памятно мне жарой полуденного солнца; я помню тяжесть мешков с песком, которые я таскал, раздевшись до пояса, на обгоревшем от солнца плече; развалившуюся одежду и обувь, падавшую с нас кусками. Нам приходилось вступать в схватки с мулом, развозившим еду; он не боялся винтовочной стрельбы, но убегал, услышав звук рвущейся шрапнели. Донимали москиты, только начавшие свои налеты, крысы, обнаглевшие до того, что они пожирали кожаные пояса и патронташи. Ничего не происходило, если не считать случайных жертв фашистского снайпера, жидкого артиллерийского обстрела или воздушных налетов на Хуэску. Деревья покрылись густой листвой и мы соорудили на тополях, окаймлявших линию фронта, платформы для снайперов, похожие на шалаши, какие строят охотники. По другую сторону Хуэски наступление выдыхалось. Анархисты понесли тяжелые потери и не сумели полностью перерезать дорогу на Яку. Им удалось придвинуться к дороге настолько, чтобы держать ее под пулеметным огнем и не пропускать машин, но фашисты воспользовались километровой щелью и соорудили в огромной траншее объездную полуподземную дорогу, по которой шли туда и обратно грузовики. Дезертиры сообщали, что в Хуэске очень много боеприпасов, но не хватает продовольствия. Однако город сдаваться не собирался. Хуэску, вероятно, не удалось бы взять штурмом, имея пятнадцать тысяч плохо вооруженных бойцов. Позднее, в июне правительство перебросило с Мадридского фронта свежие силы, сконцентрировав под Хуэской тридцать тысяч человек и огромное количество самолетов, но город взять все же не удалось.

Я уехал в отпуск, пробыв на фронте сто пятнадцать дней, – наиболее бесполезных, как мне тогда казалось, дней моей жизни. Я вступил в ополчение, чтобы драться в фашизмом, но воевать мне, по существу, так и не пришлось. Я всего лишь влачил существование как некий пассивный объект, получая довольствие взамен за ничего-неделанье, если не считать того, что я страдал от холода и нехватки сна. Возможно, такова участь всех солдат на большинстве войн. Теперь, однако, оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Мне хотелось бы, правда, больше сделать для испанского правительства; но с точки зрения моего личного развития, эти первые три-четыре месяца, проведенные на фронте, были совсем не такими бесполезными, как я думал тогда. Я прожил несколько месяцев, совершенно непохожих на мою прежнюю жизнь, и, пожалуй, на мою будущую, и научился вещам, которых иначе никогда бы не познал.

Главное заключалось в том, что все это время я находился в полной изоляции, – на фронте чувствуешь себя совершенно отрезанным от внешнего мира: даже о событиях в Барселоне мы имели лишь смутное представление, – среди людей, которых можно, пусть не совсем точно, назвать революционерами. Способствовала ополченская система, сохранившаяся на Арагонском фронте почти без изменений до июня 1937 года. Рабочее ополчение, сформированное профсоюзами и объединявшее людей, имевших приблизительно одинаковые политические взгляды, позволило собрать в одном месте наиболее революционный элемент страны. Более или менее случайно я попал в единственный во всей Западной Европе массовый коллектив, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм воспринимались как нечто нормальное. На Арагонском фронте я находился среди десятков тысяч людей, в большинстве своем – хотя не исключительно – рабочих, живших в одинаковых условиях, на основах равенства. В принципе, это было абсолютное равенство, почти таким же было оно и на деле. В определенном смысле это было неким предвкушением социализма, вернее мы жили в атмосфере социализма. Многие из общепринятых побуждений – снобизм, жажда наживы, страх перед начальством и т. д. – просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте обычные

классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы – все остальные. Все были равны. Конечно, такое положение не могло сохраняться долго. Это был лишь непродолжительный и местный эпизод гигантской игры, ареной которой служит вся земля. Но этот эпизод продолжался достаточно долго, чтобы наложить свой отпечаток на всех, кто в нем участвовал. Как бы мы в то время ни проклинали всех и вся, позднее мы поняли, что соприкоснулись с чем-то необычным и в высшей степени ценным. Мы жили в обществе, в котором надежда, а не апатия или цинизм, были нормальным состоянием духа, где слово «товарищ» действительно означало товарищество и не применялось, как в большинстве стран, для отвода глаз. Мы дышали воздухом равенства. Я хорошо знаю, что теперь принято отрицать, будто социализм имеет что-либо общее с равенством. Во всех странах мира многочисленное племя партийных аппаратчиков и вкрадчивых профессоришек трудится, «доказывая», что социализм, это всего-навсего плановый государственный капитализм оставляющий в полной сохранности жажду наживы как движущую силу. К счастью, существует и совершенно иное представление о социализме. Идея равенства – вот, что привлекает рядовых людей в социализме, именно за нее они готовы рисковать своей шкурой. Вот в чем «мистика» социализма. Для подавляющего большинства людей – социализм означает бесклассовое общество. Без него нет социализма. Вот почему так ценны были для меня те несколько месяцев, что я прослужил в рядах ополчения. Испанское ополчение, пока оно существовало, было ячейкой бесклассового общества. В этом коллективе, где никто не стремился занять место получше, где всего всегда не хватало, но не было ни привилегированных, ни лизоблюдов, – возможно, было предвкушение того, чем могли бы стать первые этапы социалистического общества. И в результате, вместо того, чтобы разочаровать, социализм по-настоящему привлек меня. Теперь, гораздо сильнее, чем раньше, мне хочется увидеть торжество социализма. Возможно, это частично объясняется тем, что я имел счастье оказаться среди испанцев, чья врожденная честность и никогда не исчезающий налет анархизма, могут сделать приемлемыми даже начальные стадии социализма.

Конечно, в то время я еще не сознавал перемен, происходящих в моем мышлении. Как и все вокруг меня, я ощущал прежде всего скуку, жару, холод, грязь, вшей, лишения, время от времени – опасность. Теперь все выглядит иначе. Теперь тот период, казавшийся таким бесполезным и скучным, приобрел для меня большое значение. Он настолько непохож на прожитую мной ранее жизнь, что приобрел те волшебные

свойства, которые обычно выпадают на долю воспоминаний о событиях многолетней давности. Пока описанные мною события длились, было чертовски трудно, но зато теперь мой мозг имеет отличную пищу для размышлений. Мне бы очень хотелось передать вам атмосферу того времени. Надеюсь, что в какой-то степени мне удалось это сделать в предыдущих главах книги. В моей памяти все пережитое связано с зимним холодом, обтрепанной формой ополченцев, овальными испанскими лицами, телеграфным постукиванием пулеметных очередей, запахом мочи и сгнившего хлеба, жестяным вкусом фасолевой похлебки, жадно выхватываемой из грязных мисок.

Весь этот период я вижу с удивительной отчетливостью. Я снова мысленно переживаю события, казалось бы слишком мелкие, чтобы их помнить. Я снова в землянке на Монте Почеро, я лежу на выступе известняка, служащем постелью, а молодой Рамон посапывает, уткнувшись носом мне в лопатки. Я бреду по грязной траншее, в тумане, который клубится, как холодный пар. Я ползу по склону горы, стараюсь удержаться, хватаюсь за корень дикого розмарина. Надо мной посвистывают случайные пули.

Я лежу, укрывшись среди маленьких елочек, в лощине западнее Монте Оскуро. Рядом Копп, Боб Эдварде и три испанца. Справа от нас по голому серому склону холма взбирается цепочка фашистов, напоминающих муравьев. Совсем недалеко от нас раздается сигнал фашистского горна. Копп, поймав мой взгляд, мальчишеским жестом показывает фашистам нос.

Я посередине двора в Ла Гранхе. Толпа бойцов лезет со своими мисками к котлу с тушенкой. Толстый измученный повар отгоняет их половником. Рядом за столом бородатый человек с большим автоматическим пистолетом за поясом, пилит буханку хлеба на пять частей. За моей спиной голос с акцентом «кокни» лондонских окраин (Билл Чамберс, с которым я здорово поругался, позднее убитый под Хуэской) напевает:

Крысы, крысы, крысы,
Крысы, большие как коты ...

С визгом пролетает снаряд. Пятнадцатилетние ребятишки кидаются плашмя на землю. Повар ныряет за свой котел. Все встают со сконфуженными лицами, когда снаряд падает и разрывается в ста метрах от нас.

Я патрулирую взад и вперед вдоль нашей позиции, шагаю под темными ветвями тополей. Рядом в канаве, полной воды, плавают крысы, поднимающие шум, что твоя выдра. За спиной начинает желтеть рассвет, и закутанный в свою шинельку часовой-андалузец поет.

За ничейной землей, метров сто или двести от нас, поют фашистские часовые.

25 апреля, после обычных обещаний – «маньяна» – завтра, нас сменила другая часть, и мы, сдав винтовки и запаковав заплечные мешки, пошли в Монфлорите. Я без сожаления покидал фронт. Вши в моих брюках размножались гораздо быстрее, чем я успевал их уничтожать. Вот уж месяц, как у меня не было носков, а в ботинках почти не осталось подметки, так что я в сущности вышагивал босиком. Человек, живущий нормальной цивилизованной жизнью, ничего не желает так страстно, как я, мечтавший о горячей ванне, чистой одежде и сне между простынями. Мы поспали несколько часов в сарае в Монфлорите, еще до рассвета прыгнули в попутный грузовик, успели на пятичасовой поезд в Барбастро, захватили, к счастью, скорый поезд в Лериде, и 26 апреля в три часа дня приехали в Барселону. Здесь-то и начались настоящие неприятности.

9

Из Мандалая (Верхняя Бирма) вы можете доехать поездом в Маймио, главную горную станцию провинции, на краю Шанского плоскогорья. Впечатление необычное. Вы покидаете типичный восточный город – палящее солнце, пыльные пальмы, запахи рыбы, пряностей, чеснока, налитые соком тропические фрукты, толпа темнолицых людей. А поскольку вы привыкли к этому городу, вы захватываете, так сказать, его климат с собой, в вагон. Когда поезд останавливается в Маймио на высоте тысячи трехсот метров над уровнем моря, мысленно вы все еще находитесь в Мандалае. Но выходя из вагона вы попадаете на другой материк. Внезапно вы вдыхаете студеный сладкий воздух, напоминающий воздух Англии, вы видите вокруг себя зеленую траву, папоротник, ели, краснощеких горянок, продающих корзинки земляники.

Я вспомнил об этом, вернувшись в Барселону после трех с половиной месяцев пребывания на фронте. Вспомнил, потому что пережил такое же чувство внезапного, резкого изменения климата. В поезде, на всем пути в Барселону, сохранялась фронтовая атмосфера: грязь, шум, неудобства, рваная одежда, чувство лишения, товарищества, равенства. На каждой станции в поезд, уже в Барбастро битком набитый ополченцами, лезли крестьяне; крестьяне с пучками овощей, с курами, которых они держали вниз головой, с подпрыгивающими на полу мешками, в которых, оказывается, были живые кролики, наконец солидное стадо овец, занявших все свободные места в купе. Ополченцы горланили революционные песни, а всем встречным красоткам посылали воздушные поцелуи либо махали красными и черными платками. Из рук в руки переходили бутылки вина и аниса, скверного арагонского ликера. Из испанского бурдюка можно послать струю вина прямо в рот приятеля, сидящего в другом конце вагона, что значительно облегчало дела. Рядом со мной черноглазый паренек, лет пятнадцати, рассказывал о своих невероятных, несомненно выдуманных от начала до конца, приключениях на фронте двум разинувшим рты крестьянам с дублеными лицами. Потом крестьяне развязали свои узлы и угостили нас липким темно-красным вином. Все были глубоко счастливы, так счастливы, что трудно передать. Но когда поезд миновал Сабадель и остановился в Барселоне, мы окунулись в атмосферу вряд ли менее чуждую и враждебную по отношению к нам и нам подобным, чем атмосфера Парижа и Лондона.

Всякий, кто во время войны дважды посетил Барселону с перерывом в несколько месяцев, неизменно обращал внимание на удивительные изменения, происшедшие в городе. Любопытно при этом, что и люди, увидевшие город сначала в августе, а потом опять в январе, и те, кто подобно мне побывали здесь сначала в декабре, а затем в апреле, говорили в один голос: революционная атмосфера исчезла. Конечно, тем, кто видел Барселону в августе, когда еще не высохла кровь на улице, а отряды ополчения квартировали в роскошных отелях, город казался буржуазным уже в декабре; но для меня, только что приехавшего из Англии, он был тогда воплощением рабочего города. Теперь все повернуло вспять – Барселона вновь стала обычным городом, правда слегка потрепанным войной, но утерявшим все признаки рабочей столицы.

До неузнаваемости изменился вид толпы. Почти совсем исчезла форма ополчения и синие комбинезоны; почти все были одеты в модные летние платья и костюмы, которые так хорошо удаются испанским портным. Толстые мужчины, имевшие вид преуспевающих дельцов, элегантные женщины, роскошные автомобили – заполняли улицы. (Владение частными машинами, кажется, еще не было восстановлено, но каждый человек «что-то собой представлявший» мог раздобыть автомобиль). По улицам взад и вперед сновали офицеры новой Народной армии. Когда я уезжал из Барселоны, их еще вообще не было. Теперь на каждые десять солдат Народной армии приходился один офицер. Часть этих офицеров служила раньше в ополчении и была отозвана с фронта

для повышения квалификации, но большинство из них были выпускниками офицерских училищ, куда они пошли, чтобы увильнуть от службы в ополчении. Офицеры относились к солдатам, может быть и не совсем так, как в буржуазной армии, но между ними явно определилась сословная разница, выразившаяся в размерах жалованья и в крое одежды. Солдаты носили грубые коричневые комбинезоны, а офицеры – элегантные мундиры цвета хаки со стянутой талией, напоминавшие мундиры английских офицеров, но еще более щегольские. Я думаю, что из двадцати таких офицеров, может быть один понюхал пороху, но все они носили на поясе автоматические пистолеты; мы, на фронте, не могли достать их ни за какие деньги. Я заметил, что когда мы, грязные и запущенные, шли по улице, люди неодобрительно поглядывали на нас. Совершенно понятно, что как и все солдаты, провалявшиеся несколько месяцев в окопах, мы имели жуткий вид. Я походил на пугало. Моя кожаная куртка была в лохмотьях, шерстяная шапочка потеряла всякую форму и то и дело съезжала на правый глаз, от ботинок остался почти только изношенный верх. Все мы выглядели примерно одинаково, а кроме того мы были грязные и небритые. Неудивительно, что на нас глазели. Но меня это немного расстроило и навело на мысль, что за последние три месяца произошли какие-то странные вещи.

В ближайшие же дни я по множеству признаков обнаружил, что первое впечатление не обмануло меня. В городе произошли большие перемены. Два главных факта бросались в глаза. Прежде всего – народ, гражданское население в значительной мере утратило интерес к войне; во-вторых возродилось привычное деление общества на богатых и бедных, на высший и низший классы. Всеобщее равнодушие к войне удивляло и вызывало неприязнь. Оно ужасало людей, приезжавших из Мадрида, даже из Валенсии. Это равнодушие частично объяснялось отдаленностью от фронта; подобное настроение я обнаружил месяц спустя в Таррагоне, жившей почти ничем не нарушенной жизнью модного приморского курорта. Начиная с января число добровольцев по всей Испании стало сокращаться. И это было знаменательно. В феврале в Каталонии первому набору добровольцев в Народную армию сопутствовала волна энтузиазма, которая, однако, не сопровождалась увеличением числа новобранцев. Война продолжалась всего около шести месяцев, а испанское правительство вынуждено было прибегнуть к мобилизации, вещи понятной, когда речь идет о войне за пределами страны, но неестественной в условиях войны гражданской. Без сомнения, это объяснялось тем, что развеялись революционные надежды, появившиеся в начале войны. Члены профсоюзов пошли в ополчение и в первые же недели войны отогнали фашистов к Сарагосе, прежде всего благодаря своей вере в то, что они борются за рабочее государство. Теперь становилось все более очевидно, что дело рабочего контроля проиграно и поэтому нельзя сваливать вину за некоторую меру равнодушия на простой народ, прежде всего городской пролетариат, составлявший основу армии в любой войне, будь то внутри самой страны или за рубежом. Никто не хотел оказаться проигравшим в этой войне, но большинство только и мечтало о том, чтобы война кончилась. Это настроение ощущалось повсеместно. Всюду слышны были нарекания: «Ох, уж эта мне война! Кончилась бы она поскорее». Политически сознательные люди гораздо лучше ориентировались в ходе междоусобицы анархистов и коммунистов, чем в ходе войны с Франко. Народные массы больше всего занимала нехватка продовольствия. «Фронт» представлялся неким мифическим далеким местом, куда отправляются молодые люди, чтобы исчезнуть навсегда, либо возвратиться через три-четыре месяца с карманами полными денег. (Ополченцам обычно выплачивали всю сумму перед самым отпуском). На раненых, даже если они прыгали на костылях, особого внимания никто не обращал. Ополчение вышло из моды. Магазины, чрезвычайно чуткий барометр общественных вкусов, ясно свидетельствовали об этом. Когда я впервые приехал в Барселону, магазины – в ту пору бедные и запущенные – специализировались на ополченском снаряжении. В каждой витрине можно было увидеть военные фуражки, куртки на молнии, портупеи, охотничьи ножи, фляжки, кобуры для револьверов. Теперь магазины выглядели значительно наряднее, но война отступила на задний план. Как я убедился позднее, когда закупал нужные мне вещи перед отъездом на фронт, многие из вещей, без которых никак не обойтись на передовой, вообще нельзя было достать.

А между тем велась систематическая пропаганда, направленная против ополчения различных партий и восхвалявшая Народную армию. Создалось любопытное положение. Теоретически, начиная с февраля, все вооруженные силы были включены в состав Народной армии. На бумаге ополчение стало частью регулярной армии с различным жалованием для солдат и офицеров, с чинами, погонами и т. д. Дивизии формировались из «смешанных бригад», которые должны были состоять из регулярных частей и отрядов ополчения. На деле же изменились только имена. Например, отряды P.O.U.M., называвшиеся раньше дивизией имени Ленина, теперь назывались 29-й дивизией. До июня на Арагонский фронт прибыло очень мало регулярных частей, в связи с чем ополчению уда-

лось сохранить свою особую структуру и собственный характер. Но на всех стенах уже красовались надписи, сделанные рукой сотрудников правительственного аппарата: «Нам нужна Народная армия!», по радио и коммунистической печати не прекращались иногда очень злобные нападки на ополчение, солдаты которого изображались плохо обученными и недисциплинированными. В конечном итоге, вся эта пропаганда создавала впечатление, что было нечто постыдное в уходе на фронт добровольцем, в то время как ожидание мобилизации заслуживало похвалы и поощрения. А тем временем ополчение держало фронт, давая Народной армии возможность обучаться в тылу. Но об этом старались не говорить и не писать. Отряды ополчения, направлявшиеся на фронты, больше не маршировали по улицам города с барабанным боем и развевающимися знаменами. Их украдкой увозили поездом или на грузовиках в пять часов утра. Зато с большой помпой проводили по улицам те немногие части Народной армии, которые начали уходить на фронт; но даже их провожали без особого энтузиазма, из-за общего падения интереса к войне. Официальная печать искусно использовала в пропагандных целях тот факт, что ополченцы числились на бумаге частью Народной армии. Все успехи неизменно приписывались Народной армии, а вину за неудачи всегда сваливали на ополчение. Случалось, что одно и то же соединение хвалили, а затем поносили как часть ополчения.

Но кроме всего этого резко изменилась социальная обстановка. Не испытав этого на собственном опыте, трудно понять, что произошло. В первый мой приезд Барселона показалась мне городом, в котором почти совсем исчезли классовые различия и разница в имущественном положении. Шикарная одежда была редкостью, никто не раболепствовал и не брал чаевых, официанты, цветочницы, чистильщики сапог, смотрели вам прямо в глаза и называли «товарищем». Я не понял тогда, что в этом была смесь надежды с одной стороны и притворства с другой. Рабочий класс верил в начатую, но так и не завершенную революцию, а буржуа испугались, временно замаскировавшись под рабочих. В первые месяцы революции было, должно быть, много тысяч людей, которые, наплялив комбинезоны, начали скандировать революционные лозунги, чтобы спасти свою шкуру. Теперь все вошло в норму. Шикарные рестораны и отели были полны толстосумов, пожиравших дорогие обеды, в то время как рабочие не могли угнаться за ценами на продукты, резко подскочившими вверх. Кроме дороговизны ощущалась также нехватка всевозможных продуктов, что также било главным образом по бедным, а не по богатым. Рестораны и отели доставали все, что хотели, видимо, без особого труда,

в то время как в рабочих кварталах выстраивались длиннющие хвосты очередей за хлебом, оливковым маслом и другими продуктами. В мой первый приезд Барселона поразила меня отсутствием нищих; теперь их здесь развелось великое множество. Возле гастрономических магазинов на Рамблас каждого выходившего покупателя окружали стаи босоногих мальчишек, пытавшихся выклянчить крохи съестного. Исчезли «революционные» обращения. Теперь незнакомые люди редко говорили друг другу «ты» или «товарищ»; вернулись старые «сеньор» и «вы». «Buenos dias» постепенно вытеснило «Salud». Официанты снова нацепили свои крахмальные манишки. Я, помнится, вошел с женой в галантерейный магазин на Рамблас, чтобы купить пару носков. Продавцы гнулись в три погибели перед покупателями, они кланялись и потирали руки, как этого не делают теперь даже в Англии, где это было так принято двадцать или тридцать лет назад. Незаметно, украдкой вернулся старый обычай давать на чай. Рабочие патрули были распущены, а на улицах снова появилась довоенная полиция. За этим сразу же последовало открытие кабаре и шикарных публичных домов, многие из которых были в свое время закрыты рабочими патрулями[25].

Все было направлено теперь на удовлетворение запросов богачей. Приведу незначительный, но знаменательный пример. Не хватало табака. Народ ощущал это так остро, что на улицах продавали сигареты из нарезанного солодового корня. Один раз и я их попробовал. (Многие их пробовали – не более одного раза). Франко захватил Канарские острова, где выращивается весь испанский табак. Правительство имело в своем распоряжении лишь запасы, сделанные еще до войны. Они уже были почти совсем исчерпаны, и табачные лавки открывались только раз в неделю. Простояв в очереди несколько часов, вы могли получить – если вам везло – крошечную пачку табака. Официально правительство не разрешало покупать табак за границей, ибо это означало расходование золотого запаса, необходимого для покупки оружия и других насущных товаров. В действительности же контрабандный ввоз дорогих иностранных сигарет, вроде «Лаки страйк», не прекращался. Спекулянты туго набивали мошну. Вы могли открыто купить контрабандные сигареты в гостиницах и почти так же открыто на улице, если были в состоянии заплатить за пачку десять пезет (дневное жалование ополченца). Богачи пользовались плодами контрабанды, и поэтому ей попустительствовали. Если вы имели достаточно денег, вы могли купить все, что угодно, в лю-

[25] По некоторым сведениям рабочие патрули закрыли 75 процентов всех публичных домов.

бом количестве, разве что за исключением хлеба, который рационировался сравнительно строго. Этот яркий контраст между богатством и бедностью был невозможен всего несколько месяцев назад, когда рабочий класс был, или казался, у власти. Но было бы несправедливо объяснить все сдвигами в распределении политической власти. Виной тому была в частности безопасность жизни в Барселоне, где почти ничего не напоминало о войне, если не считать редких воздушных налетов. Все, кто побывал в Мадриде, утверждали, что там обстановка совсем иная. Общая опасность рождала у жителей Мадрида чувство товарищества. Толстяк, поедающий перепелку, на глазах у голодных детей, зрелище противное, но у вас меньше шансов увидеть его, когда рядом бьют пушки.

Помню, что через день или два после уличных боев, проходя по одной из фешенебельных улиц, я увидел в витрине кондитерской изысканнейшие торты и пирожные, продававшиеся по невероятно высокой цене. Такую кондитерскую можно увидеть в Лондоне на Бонд-стрит или в Париже на рю де ля Пэ. Я помню, что почувствовал что-то в роде ужаса и удивления, глядя на эту витрину в голодающей стране. Но избавь меня Господь от искушения изображать себя лучше других. После нескольких месяцев фронтовых лишений, я с жадностью набросился на приличную еду, вино, коктейли, американские сигареты. Признаюсь, я не отказывался ни от какой роскоши, разумеется, в пределах моих денежных возможностей. В первую неделю до начала уличных боев, я с головой ушел в несколько занимавших меня дел. Прежде всего, как я сказал выше, я старался ублажить себя, как только мог. Во-вторых, переев и перепив, я прихварывал и всю неделю чувствовал себя неважно. Провалявшись в постели пол дня я вставал, съедал солидный обед и снова слегал. Одновременно я вел тайные переговоры, имевшие целью покупку револьвера. Мне был до зарезу нужен револьвер – в рукопашной схватке оружие гораздо более полезное чем винтовка, – а достать его было необычайно трудно. Правительство выдавало револьверы полицейским и офицерам Народной армии, но отказывало в них ополченцам. Приходилось покупать револьверы нелегально, у анархистов, имевших тайные склады. После продолжительной волокиты приятель-анархист ухитрился раздобыть для меня маленький 26-миллиметровый автоматический пистолет, оружие скверное, пригодное лишь для стрельбы в упор. И все-таки это было лучше, чем ничего. Кроме этого, я готовился покинуть ополчение P.O.U.M. и перейти в другую часть, с тем чтобы попасть на Мадридский фронт.

Уже долгое время я открыто заявлял всем, что собираюсь уйти из P.O.U.M. Следуя своим личным симпатиям, я охотнее всего пошел бы

к анархистам. Записавшись в C.N.T., можно было попасть в ополчение F.A.I., но мне сказали, что его вероятнее всего пошлют на Теруэльский, а не на Мадридский фронт. Чтобы попасть в Мадрид надо было вступить в интернациональную бригаду, а для этого необходима была рекомендация члена коммунистической партии. Я отыскал приятеля-коммуниста, служившего в испанских санитарных частях, и рассказал ему о своем деле. Он загорелся и попросил меня, если возможно, убедить еще несколько англичан из I.L.P. перейти вместе со мной в интербригаду. Если бы мое самочувствие в то время было лучше, я скорее всего согласился бы. Вполне возможно, что меня послали бы в Альбасете до того, как в Барселоне начались уличные бои. В этом случае, не будучи очевидцем событий, я, возможно, поверил бы в официальную версию. С другой стороны, если бы я находился во время боев в Барселоне, уже успев перейти под командование коммунистов, я оказался бы в безвыходном положении, – ведь в P.O.U.M. служили мои фронтовые товарищи. Но у меня еще оставалась неделя отпуска, и мне очень хотелось по-настоящему окрепнуть, прежде чем отправиться на фронт. А кроме того, – такие мелочи, кстати, и определяют судьбу человека, – я ждал пока сапожник сошьет мне новую пару походных ботинок. Я сказал моему другу-коммунисту, что окончательный ответ дам ему попозже. Пока же я хотел отдохнуть. У меня даже возникла мысль, не поехать ли нам с женой на несколько дней на море. Неплохая идейка! – Но политическая обстановка таила в себе предостережение. Сейчас было не время для таких прогулок.

Под внешней безмятежной оболочкой тылового города, с его роскошью и растущей беднотой, за его веселыми многолюдными улицами, полными цветочных киосков, многоцветных флагов, пропагандистских плакатов, – за всем этим безошибочно угадывалась ожесточенная политическая борьба и ненависть. Люди самых различных взглядов пророчествовали: «Скоро начнутся беды». Источник опасности был очевиден и прост: борьба между теми, кто хотел двигать революцию вперед, и теми, кто хотел ее задержать или предотвратить, то есть, в конечном счете, между анархистами и коммунистами. Вся политическая власть в Каталонии находилась в руках P.S.U.C. и ее либеральных союзников. Но была еще одна, трудно поддающаяся оценке сила – C.N.T., вооруженная хуже противника и менее четко представлявшая свои цели, но зато многочисленная и державшая ключевые позиции в ряде важных отраслей промышленности. При таком соотношении сил столкновение было неминуемым. С точки зрения каталонского правительства, контролируемого P.S.U.C., оно должно было, для укрепления

собственной власти, разоружить рабочих – членов C.N.T. Как я уже говорил выше, роспуск рабочего ополчения был, в конечном итоге, направлен на достижение именно этой цели. Одновременно были восстановлены, усилены и перевооружены довоенная полиция, гражданская гвардия и тому подобные соединения. Нетрудно было разгадать смысл этих действий. Гражданская гвардия была жандармерией обычного типа, которая вот уж около ста лет исполняла функцию охраны имущих классов. Одновременно был оглашен декрет о сдаче оружия всеми частными лицами. Этот декрет, разумеется, не выполнялся; было ясно, что отобрать оружие у анархистов можно только силой. В городе ходили различные слухи, часто неясные и противоречивые из-за вмешательства военной цензуры, о мелких стычках, происходивших по всей Каталонии. В ряде районов вооруженная полиция совершила облавы на анархистов. В Пуигсерде, на французской границе, отряд карабинеров был послан для захвата таможни, которую занимали анархисты. Был убит известный анархист Антонио Мартин. Подобные инциденты произошли в Фигуэрасе и, насколько я знаю, в Таррагоне. Более или менее крупные стычки произошли в рабочих пригородах Барселоны. Вот уж некоторое время члены C.N.T. и U.G.T. устраивали взаимные побоища. Иногда за убийствами следовали массовые провокационные похороны, явно ставившие своей целью разжигание политических страстей. Похороны убитого незадолго до моего приезда в Барселону члена C.N.T. были превращены в манифестацию с участием нескольких сот тысяч человек. В конце апреля, вскоре после того, как я приехал в Барселону, был убит, невидимому кем-то из C.N.T., видный член U.G.T. Ролдан. Правительство распорядилось закрыть все магазины и организовало грандиозное траурное шествие, в котором участвовали главным образом части Народной армии. Шествие продолжалось два часа. Я смотрел на него из окна своей гостиницы без всякого энтузиазма. Ясно было, что так называемые похороны – это предлог для демонстрации силы; продолжая в том же духе, можно было легко дойти до кровопролития. В эту же ночь нас с женой разбудили выстрелы на Plaza de Cataluña, в ста или двухстах метрах от гостиницы. На следующий день мы узнали, что застрелили члена C.N.T. Сделал это, по-видимому, кто-то из U.G.T. Впрочем, вполне вероятно, что все эти убийства были делом рук провокаторов. Об отношении капиталистической печати к вражде между коммунистами и анархистами можно судить по простому факту – смерть Ролдана широко рекламировалась, а об ответном убийстве печать скромно умолчала.

Приближалось 1 мая и шли разговоры о колоссальной демонстрации, в которой примут участие как C.N.T., так и U.G.T. Руководители C.N.T., более умеренные, чем многие из их сторонников, давно уж старались найти путь примирения с U.G.T.; их главной целью было объединение обоих профсоюзных блоков в одну мощную коалицию. Предлагалось поэтому, чтобы C.N.T. и U.G.T. прошли по городу вместе, демонстрируя свою солидарность. Но в последнюю минуту демонстрацию отменили. Было совершенно очевидно, что она вызовет только беспорядки. В результате, 1 мая не было отмечено. Барселона, так называемый революционный город, был, должно быть, единственным городом в нефашистской Европе, который не праздновал этот день. Признаюсь, однако, что у меня отлегло от сердца. В рядах P.O.U.M. должны были шагать отряды I.L.P., и все ожидали беспорядков. Меньше всего мне хотелось впутаться в какую-нибудь бессмысленную уличную драку. Шагать по улице под красными флагами, украшенным возвышенными лозунгами и погибнуть от автоматной очереди, выпущенной кем-нибудь из окна – нет, совсем не так представляю я себе осмысленную смерть.

10

3 мая, примерно в полдень, приятель, которого встретил в холле гостиницы, бросил небрежно: «Говорят, была потасовка на телефонной станции». Я не обратил внимания на его слова.

В этот же день, часа в три или четыре пополудни, идя по Рамблас, я услышал за собой несколько винтовочных выстрелов. Обернувшись, я увидел несколько молодых ребят с винтовками в руках и красно-черными анархистскими платками на шее, кравшихся по боковой улице, шедшей от Рамблас на север. Они видимо перестреливались с кем-то, засевшим в высокой восьмиугольной башне (кажется, это была церковь), возвышавшейся над боковой улицей. Я сразу же подумал: «Началось!» И мысль эта совсем меня не удивила. Уже много дней все ожидали, что вот-вот «начнется». Я понял, что мне нужно возвращаться в гостиницу и посмотреть, не случилось ли чего с женой. Но группа анархистов, стоявших на перекрестке, отгоняла жестами прохожих и не велела пересекать линию огня. Снова раздались выстрелы. Стреляли с башни по улице, и перепуганная толпа кинулась вдоль по Рамблас подальше от пуль. По обеим сторонам улицы слышен был металлический лязг – это владельцы магазинов с треском опускали стальные шторы витрин. Я видел двух

офицеров Народной армии, осторожно отступавших за деревья, держа руку на кобуре. Толпа ринулась к входу метро, в центре Рамблас. Я сразу же решил не следовать ее примеру. Так можно было, чего доброго, проторчать несколько часов под землей.

В этот момент ко мне подбежал американский врач, которого я знал по фронту. В страшном возбуждении он схватил меня за рукав:

– Пошли скорее в гостиницу Фалкон. (Это гостиница была чем-то вроде общежития P.O.U.M., где обычно останавливались ополченцы, приехавшие в отпуск). Там собираются парни из P.O.U.M. Началось! Мы должны держаться все вместе.

– Но что вся эта чертовщина значит? – спросил я.

Доктор продолжал тянуть меня за рукав. Он был слишком возбужден, чтобы дать ясный ответ. Из его слов следовало, что он был на Plaza de Cataluña, когда несколько грузовиков с вооруженными жандармами подъехали к телефонной станции, на которой работали, в основном, члены C.N.T. Жандармы внезапно атаковали здание станции, подоспело несколько анархистов и началась пальба. Я понял, что «потасовка», о которой говорил утром мой приятель, началась с того, что правительство потребовало передать в его распоряжение телеграф и, разумеется, натолкнулось на отказ.

Когда мы шли по улице, мимо нас, в обратном направлении промчался грузовик, набитый анархистами с винтовками в руках. На кабине, вцепившись в ручки легкого пулемета, лежал на горке матрасов растрепанный паренек. Когда мы добрались до гостиницы Фалкон, находившейся в нижнем конце Рамблас, в холле уже толпилось много людей. Никто толком не знал, что нужно делать и ни у кого, за исключением бойцов ударного батальона, охранявших здание, не было оружия. Я перешел улицу и поднялся в помещение местного комитета P.O.U.M. На верхнем этаже, где ополченцы обычно получали жалованье, тоже гудела возбужденная толпа. Высокий мужчина лет тридцати с бледным и красивым лицом, одетый в гражданское, пытался навести порядок; он раздавал ремни и пачки патронов, сваленные в кучу в углу комнаты. Винтовок еще не было. Доктор исчез; должно быть уже появились раненые, и нужна была его помощь. Появился еще один англичанин. Потом из внутренних помещений высокий мужчина и другие люди стали приносить охапки винтовок. Другому англичанину и мне, как иностранцам сначала не хотели дать винтовки, отнесясь к нам несколько подозрительно. Но появился ополченец, знавший меня по фронту, после чего нам не очень охотно, выдали по винтовке и по несколько обойм.

Вдали слышались выстрелы, и улицы совсем опустели. Все говорили, что по Рамблас пройти невозможно. Жандармы захватили самые высокие дома на улице и стреляли по каждому прохожему. Я готов был рискнуть и пойти в гостиницу, но вокруг говорили, что каждый момент можно ожидать нападения на местный комитет и нам лучше остаться на месте. В каждой комнате, на лестнице, возле здания на тротуаре стояли небольшие группы людей и возбужденно говорили. Никто, казалось, не знал в чем дело. Мне лишь удалось уяснить себе, что жандармы напали на телефонную станцию и захватили различные стратегические пункты, господствовавшие над зданиями, которые контролировались рабочими. И все считали, что жандармы выступили против C.N.T. и рабочего класса в целом. Бросалось в глаза, что в этот момент никто не винил правительство. Неимущие классы Барселоны относились к жандармам с ненавистью и, как мне казалось, были уверены, что жандармы действуют по собственной инициативе. Услышав, как обстоят дела, я облегченно вздохнул. Обстановка приобретала ясность. С одной стороны C.N.T., с другой полиция. Я не питаю особой любви к идеализированному «рабочему» – плоду воображения коммунистов, воспитанных в буржуазном обществе, но когда я вижу конкретного рабочего, схватившегося со своим исконным врагом – полицейским, я не должен спрашивать себя дважды, на чьей я стороне.

Прошло много времени, а в нашем конце города все было как будто спокойно. Мне не приходило в голову позвонить в гостиницу и узнать, все ли в порядке у жены. Я был твердо убежден, что телефонная станция прекратила работу. На деле же она отключилась всего на несколько часов. В двух зданиях собралось около трехсот человек. В основном, это были бедняки, жители боковых улиц набережной реки. Среди них было немало женщин, некоторые – с грудными детьми, и кучка мальчишек-оборванцев. Думаю, что многие из них не имели представления о происходящем и прибежали в здание P.O.U.M., ища защиты. Были здесь и ополченцы-отпускники, а также несколько иностранцев. По моей оценке, на нас всех приходилось в общей сложности не более шестидесяти винтовок. Комнату наверху непрерывно осаждала толпа, требовавшая оружия. Ответ был один: винтовок больше нет. Молоденькие ополченцы, для которых все происходящее было вроде увеселительного представления, шныряли в толпе и старались выманить, а то и просто украсть винтовку у зазевавшегося. Очень скоро один из них ловко выхватил у меня винтовку, после чего его и след простыл. Я снова оказался безоружным, если не считать моего маленького автоматического пистолета с единственной обоймой.

Стемнело. Я проголодался, но в Фалконе еды не было. Мы с приятелем решили отправиться к нему в гостиницу, находившуюся неподалеку, и подкрепиться. На улицах было совсем темно и тихо. Ни живой души, витрины всех магазинов закрыты стальными шторами. Баррикад еще не было. Нас довольно долго не впускали в закрытую на все замки и засовы гостиницу. Вернувшись обратно, я узнал, что телефон работает и пошел наверх, чтобы позвонить жене. Любопытно, что во всем здании не оказалось телефонной книги, а я не знал номера гостиницы «Континенталь». Около часа я рыскал по всем комнатам, пока не нашел путеводителя, в котором был номер гостиницы. Мне не удалось связаться с женой, но я поймал представителя I.L.P. в Барселоне Джона Макнэра. Он сказал мне, что все в порядке, никого не подстрелили и спросил, как дела в комитете. Я ответил, что все было бы хорошо, да вот только беда – кончились сигареты. Я пошутил, но через полчаса появился Макнэр с двумя пачками сигарет «Лаки страйк». Ему пришлось прогуляться по темным – хоть глаз выколи, – улицам, где то и дело попадались вооруженные патрули анархистов, дважды остановивших его для проверки документов под пистолетным дулом. Я не забуду этот героический поступок. Мы жадно затягивались дымом сигарет.

У каждого окна были выставлены вооруженные часовые, возле дома на улице дежурила небольшая группа бойцов ударного батальона, проверявших документы случайных прохожих. Проехала, щетинясь стволами винтовок, патрульная машина анархистов. Рядом с шофером сидела черноволосая красавица лет восемнадцати, держа на коленях автомат. Я убивал время, бродя по огромному зданию, в лабиринтах которого трудно было разобраться. Всюду валялись мусор, поломанная мебель и рваная бумага, казавшиеся неизбежными атрибутами революции. Везде спали люди; на поломанном диване, стоявшем в коридоре, мирно посапывали две бедно одетые женщины. В этом здании раньше помещался театр-кабарэ. В некоторых комнатах сохранились эстрадные помосты, на одном из них сиротливо высился рояль. Наконец, я нашел то, что искал – склад оружия. Мне часто говорили, будто все враждующие партии – P.S.U.C., P.O.U.M. а также C.N.T. – F.A.I. готовят впрок оружие, и я не мог поверить, что в двух главных форпостах P.O.U.M. имеется всего 50 или 60 винтовок. Перед комнатой, служившей складом оружия, часового не было. Мне и еще одному англичанину без труда удалось взломать тонкую дверь. Попав в комнату, мы убедились, что нам сказали правду – оружия действительно больше не было. Весь склад состоял из двух дюжин малокалиберных винтовок устаревшего образца и несколь-

ких охотничьих ружей без патронов. Я пошел обратно в штаб и справился, нет ли у них лишних револьверных патронов. Патронов не оказалось. Одна из анархистских патрульных машин привезла несколько ящиков с бомбами. Я захватил парочку. Это были самодельные бомбы, которые взрывались, если потереть верхушку снаряда чем-то вроде спички. Впрочем, они выглядели так, что им ничего не стоило взрываться и без чьей-либо помощи.

На полу спали люди. В какой-то комнате, не переставая, плакал ребенок. Хоть стоял май, ночь была холодная. Я срезал с одной из эстрад занавес, завернулся в него и несколько часов поспал. Помню, мне вдруг пришла в голову мысль о том, что если я начну слишком ворочаться во сне, меня может разорвать на кусочки одна из адских машин в моем кармане. В три утра меня разбудил все тот же высокий красивый мужчина, видимо командир. Он дал мне винтовку и поставил на часы к одному из окон, сказав, что виновник нападения на телеграф, начальник полиции Салас арестован. (Позднее мы узнали, что Саласа только сняли с этого поста. Тем не менее известие подтверждало общее мнение, что гражданская гвардия действовала самовольно). Как только рассвело, на улице стали строить две баррикады, одну – возле местного комитета, а другую возле гостиницы Фалкон. Барселонские улицы вымощены квадратной брусчаткой, которая легко укладывается в стенку, а под брусчаткой лежит щебень, годный для набивания мешков. Сколько красоты было в этом зрелище возведения баррикад. Как я жалел, что при мне не было фотоаппарата! Со страстной энергией, свойственной испанцам, когда они наконец-то всерьез принимаются за дело, длинный ряд мужчин, женщин и совсем маленьких детей выворачивал из мостовой булыжники, грузил их на где-то раздобытую тачку, тащил тяжелые мешки, сгибаясь под тяжестью щебня. В дверях комитета стояла молодая немецкая еврейка в слишком для нее длинных форменных брюках и улыбалась, глядя на строителей. За несколько часов баррикада выросла в человеческий рост. У амбразур стали часовые, за одной из баррикад разожгли костер и жарили яичницу.

Винтовку у меня забрали, и делать мне было нечего. Я и еще один англичанин решили вернуться в гостиницу «Континенталь». Издалека доносились звуки выстрелов, но на Рамблас, кажется, было спокойно. По дороге мы завернули на рынок; торговля шла всего на нескольких прилавках. Их осаждала толпа людей, жителей лежащего неподалеку рабочего квартала. Не успели мы зайти на рынок, как снаружи грохнул винтовочный залп, со стеклянной крыши во все стороны брызнули

осколки. Народ кинулся бежать с базара. Но торговцы остались. Мы ухитрились выпить по чашке кофе и купили кусок козьего сыра, который я запихнул в карман с бомбами. Через несколько дней этот сыр пришелся очень кстати.

На углу улицы, где днем раньше я видел стреляющих анархистов, теперь высилась баррикада. Стоявший за ней человек (я был на другой стороне улицы) крикнул, чтобы я был осторожнее. Гражданские гвардейцы, засевшие на колокольне, стреляли без разбора по каждому, кто появлялся на улице. Я выждал, а потом перебежал открытое пространство. И действительно, в неприятной близости от меня просвистела пуля. Когда я приблизился к зданию P.O.U.M., все еще не пересекая улицу, стоявшие у дверей «ударники» прокричали мне что-то, но я не разобрал их слов. Вид на здание мне заслоняли деревья и газетный киоск (как это бывает в Испании, посередине улицы проходила широкая аллея) и я не видел, куда указывают солдаты. Зайдя в «Континенталь» и убедившись, что все в порядке, я сполоснул лицо и вернулся в здание P.O.U.M., находившееся метрах в ста от гостиницы. К этому времени винтовочный и пулеметный огонь со всех сторон достиг такой силы, что казалось, будто идет настоящее сражение. Я разыскал Коппа и не успел справиться, что нам делать, как вдруг внизу послышался страшный грохот. Я был уверен, что по нам открыли орудийный огонь. На самом же деле оказалось, что рвались ручные гранаты.

Копп выглянул в окно, заложил за спину свой стек и сказал: «Пошли, поглядим». Сохраняя свою обычную невозмутимую мину, как бы прогуливаясь, он стал спускаться с лестницы. Я следовал за Коппом. В дверях стояла группа ударников. Словно играя в кегли, они скатывали вниз по мостовой бомбу за бомбой, которые взрывались метрах в двадцати от дома с жутким оглушающим громом, к которому примешивалась и винтовочная пальба. Из-за газетного киоска, стоявшего в аллее посреди улицы, выглядывала голова американского ополченца, которого я хорошо знал. Только позднее я понял, что случилось. Рядом со зданием P.O.U.M. находилось кафе с гостиницей наверху. За день до начала боев в это кафе «Мокка» явилось двадцать или тридцать вооруженных гвардейцев. Как только началась стрельба они захватили здание и забаррикадировались в нем. Видимо, им приказали захватить кафе, которое предполагалось потом использовать для атаки на здание P.O.U.M. Рано утром они попытались сделать вылазку, началась стрельба, один ударник был тяжело ранен, а гвардеец – убит. Гвардейцы вновь заперлись в кафе, но когда увидели американца, шедшего по улице, открыли по нему огонь,

хотя он был без оружия. Американец залег за киоском, а «ударники» вновь старались загнать гвардейцев бомбами в помещение кафе.

Копп глянул вокруг, шагнул вперед и одним движением руки остановил рыжего немца-«ударника», вытаскивающего зубами чеку гранаты. Копп крикнул, чтобы все отошли от дверей и на нескольких языках разъяснил, что мы должны избегать кровопролития. Потом он вышел на мостовую, снял – на глазах гвардейцев с пояса пистолет и положил его на землю. Два офицера испанского ополчения сделали то же самое, после чего все трое медленно пошли к двери кафе, где прятались гвардейцы. Я бы не сделал этого и за двадцать фунтов. Они шли, без оружия, навстречу до смерти перепуганным людям, державшим в руках заряженные винтовки. Белый от страха гвардеец в рубашке с засученными рукавами вышел на переговоры с Коппом. Он возбужденно указывал на две невзорвавшиеся бомбы, лежавшие на мостовой. Копп вернулся обратно и сказал, что лучше бы эти бомбы взорвать, а то они угрожают всем прохожим. Ударник выстрелил в одну из бомб и взорвал ее, потом выстрелил в другую, но промазал. Я попросил у него винтовку, и с колена выстрелил в бомбу. Тоже мимо. Увы! Это был мой единственный выстрел за все время беспорядков. Мостовая была усеяна битым стеклом – остатками вывески кафе «Мокка». Стоявшие возле дома две автомашины, в том числе и машина Коппа, сильно пострадали от пуль, осколки бомб вдребезги разнесли ветровые стекла.

Копп позвал меня наверх и разъяснил положение. Если здание P.O.U.M. подвергнется нападению, наша задача его защищать, но руководители P.O.U.M. разослали инструкцию, в которой предлагали держаться оборонительной тактики и не открывать огня, если этого можно избежать. Прямо напротив нас находился кинотеатр «Полиорама», над ним музей, а над музеем, высоко над линией крыш, маленькая обсерватория с двойным куполом. Купол возвышался над улицей, и несколько бойцов с винтовками могли сорвать любую атаку на здания P.O.U.M. Сторожа кино были членами C.N.T. и соглашались нас впустить. Что касается гвардейцев в кафе «Мокка», то с ними хлопот не будет. Они драться не хотят и никого не тронут, лишь бы их не трогали. Копп повторил, что нам приказано не стрелять, если в нас самих не стреляют, или не нападают на занятые нами дома. Из слов Коппа я заключил, хотя он этого не сказал, что руководители P.O.U.M., страшно обозленные тем, что их втянули в это дело, все же не могут не выступить на стороне C.N.T.

В обсерватории уже находились часовые. Следующие три дня и три ночи, я просидел на крыше «Полиорамы». Слезал я с нее ненадол-

го, только чтобы забежать в гостиницу и наскоро поесть. Моя жизнь была вне опасности, донимали лишь голод и скука, но я вспоминаю этот период как один из самых несносных в моей жизни. Думаю, что мне вряд ли пришлось пережить что-либо более отвратительное, более разочаровывающее, наконец, более нервирующее, чем эти дни уличных боев.

Сидя на крыше, я раздумывал о безумии всего происходящего. Из маленького окошечка обсерватории открывался на много миль вокруг вид на высокие стройные здания, стеклянные купола, причудливые волны черепичных крыш ярко-зеленого и медно-красного цветов. На востоке сверкало бледно-голубое море – впервые за время моего пребывания в Испании я увидел море. Весь этот огромный город с его миллионным населением застыл в судороге, в кошмаре звуков, рождение которых не сопровождалось ни малейшим движением. На залитых солнцем улицах было пусто. Ничего не происходило. Только баррикады и окна, заложенные мешками с песком изрыгали дождь пуль. На улице не было ни одной машины. Виднелись неподвижные трамваи, брошенные на Рамблас вагоновожатыми, убежавшими, как только началась стрельба. И все это время, не прекращаясь ни на минуту, как тропический ливень, на город обрушивался шквал огня, глухим эхом отдававшийся в тысячах каменных домов. Та-та, та-та-та, бух! Иногда огонь затихал, чтобы потом снова взорваться оглушительной канонадой. Так продолжалось целый день до наступления ночи, и на рассвете начиналось снова.

На первых порах было очень трудно определить, что произошло, кто с кем воюет, кто кого побеждает. Барселонцы так привыкли к уличным боям, и так хорошо знают географию своего города, что инстинктивно угадывают, какая политическая партия захватит ту или иную улицу и дом. Иностранцу все казалось совершенно непонятным. Глядя на город с высоты моей обсерватории, я мог только заключить, что Рамблас, одна из главных улиц Барселоны, стала линией раздела. Справа от нее находились рабочие кварталы, оплот анархистов; налево, в узких улочках кто-то с кем-то дрался, но в основном они контролировались P.S.U.C. и гражданской гвардией. На нашем конце Рамблас, возле Plaza de Cataluña положение было таким запутанным, что никто бы в нем не разобрался, если бы на каждом доме не был вывешен партийный флаг. Главным ориентиром была здесь гостиница «Колон», господствовавшая над Plaza de Cataluña. Там находился штаб P.S.U.C. В окне возле второго О в огромной вывеске «Колон» был установлен пулемет, простреливающий всю площадь. В ста метрах вправо от нас, в большом универсальном магазине

засели члены молодежной лиги P.S.U.C. (равнозначно британской Лиге Молодых Коммунистов). Окна магазина, глядевшие на обсерваторию, были заложены мешками с песком. Комсомольцы спустили красный флаг и вместо него подняли национальный каталонский. На телефонной станции, с которой все и началось, развевались рядышком каталонский флаг и анархистское знамя. Здесь был достигнут какой-то компромисс: телефон работал бесперебойно, из здания никто не стрелял.

Мирно было и на нашей позиции. Гвардейцы, засевшие в кафе «Мокка», спустили стальные шторы и сложили баррикаду из мебели. Потом с полдюжины из них залезли на крышу, как раз напротив нас, и соорудили вторую баррикаду из матрасов, подняв над ней каталонский флаг. Было ясно, что гвардейцы не хотят воевать. Копп достиг договоренности с ними; если они не будут стрелять в нас, мы не будем стрелять в них. К этому времени Копп завел с гвардейцами приятельские отношения и навестил их несколько раз в кафе «Мокка». Гвардейцы, разумеется, прибрали к рукам все запасы спиртного в кафе и подарили Коппу пятнадцать бутылок пива. Взамен Копп дал им одну из наших винтовок, – взамен винтовки, которую они где-то умудрились потерять днем раньше.

Сидение на крыше мне осточертело. Когда донимала скука, я, не обращая внимания на адский шум, часами читал книжки, которые мне посчастливилось купить несколько дней назад. Иногда я вдруг остро ощущал, что всего в пятидесяти метрах от меня сидят вооруженные люди, следящие за моими движениями. Это напоминало окопы. Несколько раз я поймал себя на том, что называю – по привычке – гражданских гвардейцев «фашистами». Обычно нас было в карауле шесть человек: в каждой башенке – по одному часовому, а остальные сидели на свинцовой крыше, где единственной защитой был каменный бортик. Я хорошо понимал, что гражданская гвардия может в любую минуту получить по телефону приказ открыть по нам огонь. Они, правда, обещали нас предупредить в этом случае, но уверенности в том, что они сдержат слово, не было. Однажды мне показалось, что заварухи не миновать. Один из гражданских гвардейцев, сидевший напротив меня на крыше, вдруг привстал на колено и стал стрелять. Я в это время находился в башенке. Прицелившись в гвардейца, я закричал:

– Эй! Не стреляй в нас!

– Что?

– Не стреляй, а то и мы начнем!

– Нет, нет! Я не в вас стреляю! Глянь вниз!

Он показал винтовкой на боковую улочку, огибавшую один из на-

ших домов. И действительно, какой-то парень в голубом комбинезоне, с винтовкой в руках, юркнул за угол. Видимо, он только что выстрелил в гвардейца.

– Я в него стрелял. Он выстрелил первый. (Видимо так оно и было). Мы не хотим в вас стрелять. Мы такие же рабочие, как и вы.

Он поднял кулак в антифашистском салюте, я ответил ему тем же и крикнул:

– Пива у вас не осталось?

– Нет, все выпили.

В тот же день в меня без всякой видимой причины пальнул юнец из дома, где сидели комсомольцы. Когда я высунулся из окна, он внезапно прицелился и выстрелил. Видимо, я показался очень заманчивой мишенью. Я не стал в него стрелять. Хотя он находился всего в каких-нибудь ста метрах от меня, пуля даже не задела крыши обсерватории. Как обычно, меня спасла «меткость» испанских стрелков. Из этого здания в меня стреляли еще несколько раз.

Дьявольская трескотня не прекращалась. Но, насколько я мог видеть, и судя по тому, что говорили другие, обе стороны только и делали, что оборонялись. Люди не выходили из домов или отсиживались за баррикадами и палили в людей напротив. Примерно в полукилометре от нас находилась улица, на которой почти прямо друг против друга стояли дома C.N.T. и U.G.T. С той стороны слышалась особенно сильная стрельба. Когда, на следующий день после прекращения боев, я прошелся по той улице, я увидел витрины магазинов, напоминавшие решето. (Большинство барселонских лавочников наклеили на окна крест-накрест полоски, только началась стрельба. «Континенталь» до отказа заполнило удивительнейшее сборище людей. Здесь были иностранные журналисты, люди с подозрительным политическим. прошлым, американский летчик на службе у правительства, различные коммунистические агенты, в том числе зловещий русский толстяк с револьвером и аккуратной маленькой бомбой за поясом, о котором говорили, что он агент ГПУ (его сразу же прозвали Чарли Чаном), несколько семей зажиточных испанцев, видимо, сочувствовавших фашистам, два или три раненых бойца интернациональной бригады, несколько шоферов, перевозивших во Францию апельсины на больших грузовиках и задержанных здесь событиями, офицеры Народной армии. Народная армия в целом оставалась нейтральной и не вмешивалась в бои, но некоторое число солдат сбежало из своих частей и участвовало в боях в индивидуальном порядке. В четверг утром я видел несколько солдат на баррикадах P.O.U.M. Вначале, пока нехватка продовольствия еще не ощущалась слишком остро, а газеты не успели еще разжечь ненависть, была склонность обратить все дело в шутку. Такие вещи случаются в Барселоне каждый год, – говорили испанцы. Итальянский журналист Джорджио Тиоли, мой добрый приятель, вдруг явился в перепачканных кровью брюках. Он вышел на улицу поглядеть, что происходит, наткнулся на раненого и стал его перевязывать, как вдруг кто-то в шутку швырнул в него гранатой. К счастью, рана оказалась поверхностной. Я помню, он сказал, что следовало бы пронумеровать барселонскую брусчатку, тогда можно было бы без хлопот строить и вновь разбирать баррикады. Помню еще, что когда я однажды пришел в свой номер усталый, голодный и грязный после ночного караула, то застал у себя нескольких бойцов интернациональной бригады. Они относились к событиям совершенно равнодушно. Будь они хорошими партийцами, им следовало бы поагитировать меня, убедить перейти на их сторону, а то и просто отобрать бомбы, которыми были набиты мои карманы. Вместо этого бойцы сочувственно заметили, что это не дело – проводить отпуск в карауле на крыше. Все считали, что происходит всего лишь пустяковая потасовка между анархистами и полицией. Несмотря на размах боев и число жертв, я думаю, что это мнение было ближе к истине, чем официальная версия, представлявшая события как запланированное восстание. В среду, 5 мая, обстановка начала меняться. На жутких, слепых улицах замаячили первые прохожие, они шли по своим делам, размахивая белыми платками, а посреди Рамблас, которая не простреливалась, забегали мальчишки, выкрикивая на пустой улице названия газет. Во вторник анархистская газета «Solidaridad Obrera» назвала нападение на телефонную станцию «чудовищной провокацией», – или чем-то вроде этого, – а до среды успела перестроиться и начала уговаривать граждан вернуться на работу. Вожди анархистов выступали с такими же призывами по радио. Гражданская гвардия, напав на телефонную станцию, одновременно захватила и редакцию газеты P.O.U.M. «La Batalla». Но газета тем не менее вышла, правда, указав новый адрес редакции. Несколько номеров попало к нам, в них были призывы оставаться на баррикадах. Люди не знали, кого слушаться и терялись в догадках. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь ушел с баррикад, но всем уже успела надоесть бессмысленная борьба, которая ни к чему не вела: никто не хотел затевать гражданскую войну, зная, что она приведет к поражению в войне с Франко. Это опасение высказывалось со всех сторон. Судя по слухам, цели членов C.N.T. были ясны с самого начала: возвращение телефонной станции и разоружение ненавистной гражданской гвардии.

Если бы каталонское правительство обязалось выполнить эти требования и, кроме того, решилось бы положить конец спекуляции продовольствием, нет сомнения, что баррикады исчезли бы в течение двух часов.

Но правительство не собиралось уступать. Распространялись каверзные слухи. Говорили, будто валенсийское правительство послало шесть тысяч человек для оккупации Барселоны, а пять тысяч анархистов и членов P.O.U.M. сняты с Арагонского фронта и брошены на защиту города. Только первый из этих слухов подтвердился. С нашей башни на крыше обсерватории мы видели низкие серые силуэты военных кораблей, входящих в гавань. Дуглас Моуль, бывший моряк, сказал, что корабли похожи на английские эсминцы. Оказалось, что это и на самом деле были английские эсминцы, хотя мы узнали об этом только позднее.

Вечером нам сказали, что на площади Испании четыреста гвардейцев сдалось анархистам; дошел также неясный слух, что на окраинах (то есть в рабочих кварталах) C.N.T. контролирует положение. Похоже было, что мы побеждаем. Но в тот же вечер Копп вызвал меня и с очень серьезным видом сообщил, что по имеющимся сведениям правительство собирается поставить P.O.U.M. вне закона и объявить ему войну. Эта новость поразила меня. Я начинал понимать смысл событий. Еще раньше я смутно предвидел, что по окончании боев всю вину свалят на P.O.U.M., поскольку это было самая слабая партия и подходила больше других для роли козла отпущения. А тем временем кончался наш местный нейтралитет. Если правительство объявляло войну P.O.U.M., нам не оставалось ничего другого, как защищаться. Не было сомнений, что гвардейцы, засевшие в соседнем кафе, получат приказ атаковать нас. Нас могло спасти только наступление. Копп ждал телефона. Если придет подтверждение слуха о том, что P.O.U.M. объявляется вне закона, мы сразу же начнем готовиться к захвату кафе «Мокка».

Помню, что весь длинный, кошмарный вечер мы укрепляли наш дом, опустили стальные шторы и заложили главный ход кирпичами, которые оставили рабочие, ремонтировавшие дом. Мы проверили наше оружие. Считая шесть винтовок часовых на крыше «Полиорамы», мы имели двадцать одну винтовку, в том числе одну испорченную; на каждую приходилось по пятьдесят патронов. У нас было несколько дюжин бомб, несколько пистолетов и револьверов – и все. Десяток бойцов, главным образом немцы, вызвались атаковать кафе «Мокка», как только придет приказ. В атаку следовало идти по крышам, на рассвете, чтобы захватить гвардейцев врасплох. Их было больше, чем нас, но боевой дух наших солдат был выше. Не приходится сомневаться, что атака удалась

бы, хотя могли быть убитые. В нашем здании не было продовольствия, если не считать нескольких плиток шоколада. Пополз слух, что «они» перекроют воду. (Никто не знал, кто это – «они». Это могло быть правительство, ведающее подачей воды, либо C.N.T. – толком никто ничего не знал). Мы наполнили водой все унитазы в уборных, всю посуду, какую удалось раздобыть, даже те пятнадцать пивных бутылок – теперь уже пустых, – которые гвардейцы дали Коппу.

Настроение у меня было хуже некуда, к тому же я здорово устал, так как провел без сна почти шестьдесят часов. Внизу возле баррикады вповалку спали люди. Наверху была маленькая комнатка с диваном, которую мы собирались использовать как перевязочную, хотя во всем здании не оказалось, разумеется, ни йода, ни бинтов. Моя жена пришла из гостиницы и предложила свои услуги как медицинская сестра. Я лег на диван, решив соснуть полчасика перед атакой на кафе «Мокка», в которой меня, конечно, могли убить. Помню, что пистолет, висевший на поясе, впивался мне в бок и мешал улечься как следует. А потом вспоминаю мое внезапное пробуждение. Возле дивана стояла жена. Было уже совсем светло, ничего не случилось, правительство не объявило войну P.O.U.M., воду не перекрыли, и, если не считать вспышек беспорядочной стрельбы на улицах, все шло нормально. Жена сказала, что у нее не хватило духу разбудить меня и она провела ночь в кресле.

Вечером наступило что-то вроде перемирия. Стрельба стихла и улицы внезапно заполнились людьми. В нескольких магазинах поднялись шторы, собравшаяся на рынке толпа требовала продуктов, хотя прилавки были почти пусты. Трамваи, однако, не ходили. Гвардейцы по-прежнему отсиживались за своей баррикадой в кафе «Мокка». Ни одна из сторон баррикад не разобрала, все бегали, закупая продукты, и со всех сторон слышался один и то же вопрос: «Вы думаете, что это уже кончилось? Вы думаете, что это начнется снова?» «Это» – бои – представлялось теперь чем-то вроде стихийного бедствия, наподобие бури или землетрясения, одинаково поражающего всех, но которого никто не в силах остановить. Я думаю, что сторонам действительно удалось договориться о перемирии на несколько часов, но часы эти промелькнули словно минуты. Внезапно, как ливень в июне, грянули выстрелы, и все побежали прятаться. Стальные шторы с треском защелкнулись, улицы опустели, словно по мановению волшебной палочки, бойцы вернулись на баррикады и «это» началось снова.

Я пошел на свой пост на крыше с чувством глубокого отвращения и ярости. Участвуя в подобных событиях, человек, мне кажется, име-

ет право чувствовать себя чем-то вроде исторической личности, ибо в определенном смысле он творит историю. Но на деле этого не происходит, ибо в исторические минуты всегда берут верх детали низменного порядка. Во время боев, я никогда не делал правильного «анализа» положения, что так хорошо удавалось журналистам, сидевшим в сотнях миль отсюда. Я думал прежде всего не о справедливости или несправедливости этой злосчастной междоусобицы, но о неудобствах и скуке сидения день и ночь на дурацкой крыше, о голоде, мучившем все больше и больше – никто из нас не ел как следует с понедельника. Я не переставал думать о том, что как только это безобразие здесь кончится, надо как можно быстрее отправляться на фронт. Я был взбешен. Проведя сто пятнадцать дней на фронте, я приехал в Барселону с единственной мечтой хотя бы немного отдохнуть, воспользоваться комфортом городской жизни. А вместе этого я проводил свое время сидя на крыше, напротив гвардейцев, которым вся эта музыка надоела так же, как и мне, которые то и дело приветственно махали, заверяя, что и они «рабочие» (они говорили это, рассчитывая, что я не буду в них стрелять), но которые, получив приказ, несомненно открыли бы по мне огонь. Может быть, на наших глазах делалась история, но мы этого не ощущали. Все вокруг нас скорее напоминало скверное время на фронте, когда людей было мало и каждому приходилось выстаивать долгие часы на карауле. Ни о каком героизме не могло быть и речи. Нужно было стоять на посту, томиться от скуки, едва не падая с ног от усталости, потеряв всякий интерес к происходящему.

В гостинице, разношерстные обитатели которой не осмеливались носа высунуть на улицу, воцарилась кошмарная атмосфера подозрительности. Всюду бродили шпиономаны, видевшие в каждом человеке агента коммунистов, троцкистов, анархистов, и еще Бог весть кого. Русский агенть, толстяк, хватал за пуговицу иностранных беженцев и внушительно разъяснял, что все эти события – ничто иное, как анархистский заговор. Я разглядывал его с некоторым интересом, ибо впервые (если не считать журналистов) мне довелось увидеть человека, профессией которого было распространение лжи. Что-то отвратительное было в этой пародии на элегантную жизнь, которая продолжалась за спущенными шторами, под грохот винтовочной стрельбы. В большую столовую как-то залетела пуля. Она пробила окно и отколола кусочек мрамора от колонны, поэтому теперь все обедали в темной задней комнате, где всегда не хватало столиков. Меньше стало и официантов, – часть из них была членами C.N.T. и бастовала, – временно решив расстаться со своими

крахмальными манишками. Но еда по прежнему разносилась очень церемонно, хотя есть, по существу, было нечего. В этот четверг главным блюдом за обедом были сардины – по одной сардинке на человека. Уже несколько дней в гостинице не было хлеба, иссякал даже запас вина, поэтому мы пили все более и более старые вина, по все более и более высокой цене. Недостаток продовольствия ощущался и несколько дней после окончания боев. Я помню, что три дня подряд мы с женой завтракали маленьким козьим сыром без хлеба, не заливая ничем. Вдоволь было только апельсинов. Их в большом количестве принесли в гостиницу французские шоферы. Этих свирепо выглядевших парней сопровождали несколько испанских красоток и здоровенный грузчик в черной блузе. В любое другое время заносчивый метрдотель сделал бы все, чтобы досадить шоферам, а скорее всего вообще не пустил бы их в отель, но теперь они пользовались большой популярностью, ибо в отличие от нас, имели свой запас хлеба, а мы его у них клянчили.

Я провел эту последнюю ночь на крыше, а на следующий день все выглядело так, как если бы бои действительно кончились. Припоминаю, что в этот день, в пятницу, стрельба почти совсем прекратилась. Никто точно не знал, пришли ли войска из Валенсии. Кстати, они прибыли именно в тот вечер. Радио передавало правительственные призывы, в которых увещевания перемешивались с угрозами: всем предлагалось разойтись по домам. Правительство извещало, что лица, задержанные после определенного часа с оружием в руках, будут арестованы. Хотя никто не обращал на эти призывы особого внимания, баррикады быстро пустели. Не сомневаюсь, что главной причиной была нехватка продовольствия. Со всех сторон слышалось одно и то же: «Еды больше нет, надо идти на работу». В то же время гвардейцы, знавшие, что до тех пор пока в городе есть хоть .крошка хлеба, они получат свою норму, не уходили с постов. К вечеру улицы приобрели почти совсем нормальный вид, хотя покинутые баррикады все еще оставались на своих местах. На Рамблас было полно народу, почти все магазины открылись, и – что самое утешительное, – дернулись и покатились по улицам, казавшиеся замерзшими, трамваи. Гвардейцы все еще занимали кафе «Мокка» и не спешили разбирать баррикады, но некоторые из них вытащили стулья на улицу и расселись, держа меж колен винтовки. Проходя мимо, я подмигнул одному из них, гвардеец ответил мне вполне дружелюбной улыбкой. Он меня, конечно, узнал. С крыши телефонной станции был снят анархистский флаг, теперь там развевался только каталонский. Это значило, что рабочие были окончательно разбиты. Я понял, хотя из-за

своей политической неграмотности – менее ясно, чем следовало бы, что как только правительство почувствует себя более уверенно, начнутся репрессии. Но в тот момент это меня совсем не занимало. Я чувствовал только глубокое облегчение, – пальба утихла, можно было пойти купить чего-нибудь поесть, а потом немного отдохнуть и прийти в себя перед отъездом на фронт.

Был уже, должно быть, поздний вечер, когда на улицах показались впервые подразделения, прибывшие из Валенсии. Это была штурмовая гвардия, соединение подобное гражданской гвардии и карабинерам (то есть предназначенное прежде всего для несения полицейской службы) – отборные части республиканской армии. Войска появились внезапно, будто выросли из-под земли. На всех улицах появились патрули – группы по десять человек, рослые солдаты в серых или голубых мундирах, с длинными винтовками за плечами. Каждая десятка имела один автомат. А нам предстояло выполнить деликатную работу. Шесть винтовок, которыми были вооружены наши часовые, все еще оставались на крыше обсерватории. Необходимо было любой ценой вернуть их обратно в здание P.O.U.M., то есть всего-навсего перенести через улицу. Но это значило нарушить приказ правительства. Если бы нас поймали с винтовками, то, конечно, арестовали бы, а главное – сконфисковали бы оружие. Имея в здании всего двадцать одну винтовку, мы не имели права рисковать потерей шести. После долгого спора, как это сделать, было решено, что я и рыжий испанский мальчишка начнем незаметно выносить оружие. Мы сняли пиджаки и повесили винтовку на левое плечо – приклад подмышкой, а дуло просунули в штанину брюк. К несчастью, это были длинные винтовки «Маузер», и даже человек моего роста не может безнаказанно засунуть дуло «Маузера» в штанину. Спуск по винтовой лестнице обсерватории с негнущейся левой ногой был настоящей мукой. Выйдя на улицу, мы убедились, что способны передвигаться только очень медленно, так медленно, чтобы не приходилось сгибать ноги в колене. Кучка людей, собравшаяся возле кинотеатра, с любопытством глядела, как я полз черепашьим шагом. Позднее я не раз задумывался о том, что эти люди говорили обо мне. Видимо, решили, что я ранен на войне. Во всяком случае, все винтовки были благополучно перенесены на место.

На следующий день все улицы кишели штурмовой гвардией. Гвардейцы ходили как победители. Не было сомнения, что правительство хочет продемонстрировать свою силу населению, отлично сознавая и без того, что народ не будет сопротивляться. Если бы существовала реальная опасность новой вспышки беспорядков, то гвардейцев держали

бы в казармах, а не рассеяли по всему городу маленькими группками. Это были великолепные солдаты – лучше их я в Испании не видел, – и хотя в определенном смысле это были «враги», один их вид доставлял мне удовольствие, к которому примешивалось изумление. Я привык на Арагонском фронте к обтрепанному, плохо вооруженному ополчению, и мне было невдомек, что республика имеет такие войска, как штурмовая гвардия. Это были крепкие, как на подбор, парни и все они ходили с новенькими «русскими винтовками» (эти винтовки прибыли в Испанию из СССР, но делали их, насколько мне известно, в Америке). Я осмотрел одну такую винтовку. Это было не идеальное оружие, но его нельзя было сравнивать с кошмарными мушкетами, из которых мы стреляли. Каждый из «штурмовиков» имел автоматический пистолет, а на каждую десятку приходился один автомат. У нас на фронте один автомат приходился на пятьдесят человек, а пистолеты или револьверы можно было достать только незаконным путем. Гражданская гвардия и карабинеры, которые не предназначались для отправки на фронт, были вооружены и одеты значительно лучше, чем мы. Я подозреваю, что так ведется на всех войнах, – всегда та же разница между элегантной полицией в тылу и оборванными фронтовиками на передовой. После одного или двух дней штурмовая гвардия начала отлично ладить с местным населением. Небольшие потасовки имели место только в первый день, когда некоторые «штурмовики», действуя, как я думаю, по инструкции, спровоцировали несколько столкновений. Они врывались в трамваи, обыскивали пассажиров, а найдя профсоюзный билет C.N.T., рвали его и топтали ногами. Это привело к стычкам с вооруженными анархистами. Один или двое были убиты. Но очень скоро «штурмовики» перестали вести себя с высокомерием завоевателей и отношения с населением стали более дружескими. Через день или два у большинства из них появились девушки.

Бои в Барселоне дали валенсийскому правительству долгожданный предлог для усиления своей власти в Каталонии. Шла подготовка к роспуску рабочего ополчения и включению ополченцев в Народную армию. Над Барселоной реяло республиканское знамя. Я увидел его, как мне кажется, в первый раз, – если не считать фашистских окопов. В рабочих кварталах разбирали баррикады, но, как известно, баррикаду гораздо легче построить, чем возвратить камни на место. Было разрешено оставить баррикады возле домов P.S.U.C. и многие их них оставались там вплоть до июня. Гвардейцы по-прежнему занимали стратегические пункты. В помещениях C.N.T. было конфисковано большое количество оружия, хотя не сомневаюсь, что много удалось скрыть. Газета «La

Batalla» все еще выходила, но в результате вмешательства цензора, первая страница оставалась почти целиком белой. Газеты P.S.U.C. выходили без всякой цензуры и печатали пламенные статьи с призывами запретить P.O.U.M., который был объявлен замаскированной фашистской организацией. Агенты P.S.U.C. распространяли карикатуру, изображавшую P.O.U.M. в виде человека, у которого под маской с эмблемой серпа и молота скрывалась отвратительная рожа, меченая свастикой. Уже была, разумеется, выработана официальная версия событий в Барселоне: мятеж фашистской «пятой колонны», организованный P.O.U.M.

После окончания боев атмосфера подозрительности и враждебности, царившая в гостинице, стала еще отвратительнее. Слушая на каждом шагу вздорные обвинения, нельзя было оставаться равнодушным. Почта снова работала, и начали приходить иностранные коммунистические газеты. Они не только предвзято описывали ход боев, но и совершенно искажали факты. Думаю, что кое-кто из коммунистов, бывших свидетелями событий, приходил в смущение от объяснений, которые давали им газеты, но, конечно, коммунистам не оставалось ничего другого, как молчать. Наш приятель-коммунист снова явился как-то ко мне и спросил, не хочу ли я перейти в интернациональную бригаду.

– Но ваши газеты пишут, что я фашист. Перейдя к вам из P.O.U.M. я буду человеком подозрительным в политическом отношении, – сказал я.

– О, это не имеет значения. Ведь ты же только выполнял приказ.

Пришлось сказать ему, что после всего виденного мною, я не могу служить в части, контролируемой коммунистами. Это значило бы, что меня рано или поздно заставили бы выступить против испанского рабочего класса. Ведь то, что произошло, может повториться и впредь. В таком случае, если мне придется стрелять, я предпочту стрелять не в рабочий класс, а в его врагов. Приятель-коммунист отнесся к моим словам с пониманием. Но обстановка в стране менялась. Уже нельзя было, как раньше, «достигнув соглашения о разногласиях», выпивать с человеком, который был вашим политическим оппонентом. В холле гостиницы произошло несколько острых и безобразных стычек. Тюрьмы уже были битком набиты. Когда бои кончились, анархисты отпустили всех пленных, но гражданская гвардия этого не сделала. Более того, многих пленных бросили в тюрьму и держали там без суда долгие месяцы. Полиция без конца ошибалась и арестовывала многих совершенно невинных людей. Я упомянул раньше, что Дуглас Томпсон был ранен примерно в начале апреля. Потом мы потеряли его из виду, что обычно случается с ранеными, так как их часто перевозили из одного госпиталя в другой. Из

госпиталя в Таррагоне Томсона отослали в Барселону, и он приехал в город как раз к началу боев. Когда я встретил Томпсона во вторник утром, он, ошеломленный раздававшимися со всех сторон выстрелами, задал вопрос, который в то утро задавали все:

– В чем дело?

Я объяснил ему как умел. Томпсон сразу же решил:

– Я буду держаться в стороне от всего этого. Моя рука еще не зажила. Пойду в гостиницу и пережду.

Он пошел в гостиницу, но к несчастью (как важно во время уличных боев знать местную географию), его гостиница находилась в той части города, которую контролировала гражданская гвардия. В гостиницу пришли с обыском. Томпсона арестовали и посадили в камеру, где было столько народу, что негде было лечь. Продержали его там восемь дней. Таких случаев было много. Иностранцы с сомнительным политическим прошлым скрывались, разыскиваемые полицией, живя в постоянном страхе доноса. Особенно туго приходилось итальянцам и немцам, не имевшим паспортов и преследуемым, как правило, секретной полицией своих собственных стран. В случае ареста, их могли выслать во Францию, что сопряжено было с возможностью выдачи Италии или Германии, где их, вероятно всего, ожидали всякие ужасы. Некоторые иностранки быстро нашли выход из положения, «выйдя замуж» фиктивным браком за испанцев. Девушка-немка, не имевшая документов, спаслась от полиции, изображая в течение нескольких дней любовницу одного из своих знакомых. Помню выражение стыда и смущения на ее лице, когда случайно зайдя к этому человеку, я увидел, как она выходит из его спальни. Она, конечно, не была его любовницей, но видимо думала, что я за таковую ее принял. Все это время нас не оставляло отвратительное чувство, что какой-либо бывший друг может вдруг пойти с доносом в полицию. Длинные бессонные ночи, стрельба, крики, недоедание, напряжение и скука караулов на крыше, когда каждую минуту можно было получить пулю в лоб или быть готовым стрелять самому, вконец расшатали мои нервы. Дошло до того, что я хватался за пистолет всякий раз, когда где-то хлопала дверь. В субботу утром с улицы вдруг послышались выстрелы и все закричали: «Снова началось»! Я выскочил на улицу и обнаружил, что несколько «штурмовиков» пытаются пристрелить бешеную собаку. Никто из побывавших в те дни в Барселоне или навестивших город даже месяцы спустя, не забудет кошмарную атмосферу: страхи, подозрения, ненависть, газетная цензура, переполненные тюрьмы, бесконечные очереди за продуктами, рыскающие повсюду банды вооруженных людей.

Я попытался передать, что чувствовал человек, оказавшийся в Барселоне во время уличных боев. Боюсь, однако, что мне не удалось дать представление о том, насколько странно и дико было все происходившее. Возвращаясь памятью к событиям того времени, я вижу перед собой случайных встречных, не принимавших участия в боях; им события, должно быть, представлялись бессмысленной возней. Помню модно одетую даму с корзинкой для покупок, переброшенной через руку. За дамой шел на поводке белый пудель. Увидев ее на Рамблас, я решил, что она глуха, если не слышит стрельбы на соседней улице. Вот перед моими глазами встает образ мужчины, бегущего по совершенно пустой Plaza de Cataluña размахивая двумя белыми платками – по одному в каждой руке. А вот большая группа людей в черном, которые целый час напрасно пытались перейти площадь. Стоило им только показаться из-за угла, как пулеметчики P.S.U.C., засевшие в отеле «Колон», открывали огонь и загоняли людей в черном обратно за угол, хотя было ясно, что они безоружны. Думаю, это была похоронная процессия. Вспоминаю маленького старичка, сторожа музея над кино «Полиорама», видевшего в нас гостей, явившихся к нему со светским визитом. – Очень рад приветствовать у себя англичан, они такие «симпатико», – сообщил сторож и очень просил снова навестить его, когда все это кончится. Я, кстати, исполнил свое обещание. И другой старичок, стоявший в подворотне и добродушно кивавший в сторону Plaza de Cataluña, обстреливаемую со всех сторон. «Снова девятнадцатое июля», – заметил старичок так, будто речь шла о погоде. Я трижды посетил сапожную мастерскую, где заказал ботинки: я побывал там до начала боев, после их окончания и во время короткого перемирия 5 мая. Это была дорогая мастерская и работали там члены профсоюза U.G.T., а возможно и P.S.U.C. Во всяком случае они в политике были по другую сторону баррикады и знали, что я служу в ополчении P.O.U.M. Но к событиям сапожники относились совершенно равнодушно. «И зачем все это нужно? К тому же и делам помеха. Хоть бы кончилось поскорее. Неужели им мало стрельбы на фронте?» – говорили они. Было много людей, – возможно, большинство жителей Барселоны, – которые относились к происходящему не с большим интересом, чем, скажем, к воздушному налету.

В этой главе я рассказал лишь о своих личных переживаниях. В следующей – попробую, как смогу, изложить, что произошло в действительности, кто был прав, а кто виноват, кто нес ответственность за события. На боях в Барселоне кое-кто нажил такой огромный политический капитал, что важно попытаться дать беспристрастную оценку событиям.

На эту тему написано уже так много, что материала хватило бы на много томов. Я не преувеличу, однако, если скажу, что девять десятых всего материала не соответствует действительности. Почти все газетные статьи, освещавшие ход боев, писались журналистами, которые находились на далеком расстоянии от событий. Их статьи искажали факты, причем газетчики делали это умышленно. Как обычно, читатели могли познакомиться лишь с одной стороной событий. Как и все, кто находился в то время в Барселоне, я видел лишь то, что происходило в непосредственной близости от меня, но виденного и слышанного мною вполне достаточно для того, чтобы опровергнуть многие из распространявшихся лживых измышлений. Снова прошу читателя, если он не интересуется политической склокой между множеством партий и партиек с причудливыми названиями (вроде имен китайских генералов), – пропустить эту главу. В гущу межпартийных раздоров ныряешь как в выгребную яму – дело это малоприятное. Но попытаться разобраться и установить истину – насколько такое вообще возможно – совершенно необходимо. То, что представляется всего лишь грязной потасовкой в далеком городе, на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

11

Никогда нельзя уже будет получить полный, точный и беспристрастный отчет о событиях в Барселоне, ибо необходимые для этого документы больше не существуют. Будущим историкам придется использовать в качестве источников многочисленные обвинения, какими осыпали друг друга враждующие стороны, и пропагандистский материал. У меня лично тоже нет почти никаких документов, я опираюсь на то, что видел собственными глазами и слышал от заслуживающих доверия очевидцев. И тем не менее, я могу опровергнуть некоторые наиболее наглые вымыслы и представить события в некоторой перспективе.

Прежде всего, что же произошло в действительности?

В течение некоторого времени обстановка в Каталонии накалялась. В первых главах книги я рассказал о борьбе между анархистами и коммунистами. К маю 1937 года положение обострилось до такой степени, что взрыва можно было ожидать каждую минуту. Непосредственным поводом к столкновению стал правительственный декрет о сдаче всего личного оружия, совпавший с решением увеличить и до зубов вооружить «не связанную с политикой» полицию, в которую не принимались чле-

ны профсоюзов. Смысл этих действий был ясен каждому. Было также совершенно очевидно, что следующим шагом станет захват ключевых отраслей промышленности, до сих пор контролируемых C.N.T. Кроме того, нарастало недовольство рабочего класса ширящейся пропастью между богатыми и бедными, повсеместно чувствовалось, что революцию саботируют. Многие были приятно удивлены, когда 1 мая прошло спокойно. 3 мая правительство решило занять центральный телеграф, на котором с начала войны работали преимущественно члены C.N.T. Предлогом было обвинение в том, что телеграф вообще работает плохо, а к тому же подслушиваются разговоры членов правительства. Начальник полиции Салас (превысил он свои полномочия или нет, осталось неизвестным) послал три грузовика вооруженных гражданских гвардейцев для захвата здания, а улицы вокруг телеграфа оцепили вооруженные полицейские в штатском. Одновременно группы гражданских гвардейцев захватили другие здания в стратегических пунктах. Каковы бы ни были их подлинные намерения, все сочли эти действия сигналом для гражданской гвардии и P.S.U.C. (коммунисты и социалисты) начать общее наступление на C.N.T. По городу разнесся слух, что захватывают принадлежащие профсоюзам дома, на улицах появились вооруженные анархисты, рабочие прекратили работу, и сразу же начались бои. В эту ночь и на следующее утре в городе выросли баррикады, бои не прекращались до утра 6 мая. С обеих сторон, однако, бои носили главным образом оборонительный характер. Здания осаждались, но, насколько мне известно, ни одно не было взято штурмом. Артиллерия не была введена в действие. Силы C.N.T. – F.A.I. – P.O.U.M. концентрировались преимущественно в рабочих кварталах, вооруженная полиция и силы P.S.U.C. держали в своих руках центральную часть города и административные здания. 6 мая обе стороны согласились на перемирие, но вскоре бои вспыхнули вновь, видимо потому, что гражданская гвардия предприняла преждевременную попытку разоружить рабочих – членов C.N.T. Тем не менее, на следующее утро люди по собственному почину начали покидать баррикады. До этого времени, примерно до ночи 5 мая, верх одерживала C.N.T., – много гвардейцев сложило оружие. У рабочих не было, однако, ни признанного руководства, ни твердого плана, вернее, не было никакого плана, если не считать неопределенно выраженную решимость сопротивляться гражданской гвардии. Официальные руководители C.N.T. присоединились к призывам руководства U.G.T. и вместе уговаривали население вернуться на работу. Кончалось продовольствие, и в этом заключалась главная беда. В этих условиях никто не рисковал продолжать стрельбу. К вечеру 7 мая обстановка почти полностью

нормализировалась. В этот вечер из Валенсии прибыли морем 6 тысяч штурмовых гвардейцев, взявших в свои руки контроль над Барселоной. Правительство издало приказ о разоружении всех нерегулярных частей. В течение нескольких следующих дней было конфисковано много оружия. По официальным сведениям, во время боев обе стороны потеряли четыреста человек убитыми и примерно тысячу ранеными. Четыреста убитых это, пожалуй, преувеличение, но поскольку мы проверить эту цифру не можем, приходится принять ее на веру.

Кроме того, очень трудно подытожить последствия боев. Нет доказательств, что барселонские события повлияли на положение на фронте. Но если бы бои продолжались еще несколько дней, то фронт наверняка почувствовал бы их последствия. Барселонские бои постужили предлогом для прямого подчинения Каталонии валенсийскому правительству в целях роспуска ополчения и для запрещении P.O.U.M. Нет сомнения, что эти бои способствовали также падению правительства Кабальеро. Но перечисленные события были неизбежны в любом случае. Главный вопрос заключается лишь в том, выиграли или проиграли рабочие, члены C.N.T., выйдя на улицы с оружием в руках. Лично я считаю, что они больше выиграли, чем проиграли. Захват барселонской телефонной станции был всего лишь эпизодом в длинной цепи событий. Начиная с прошлого года профсоюзы постепенно лишались реальной власти, шло неуклонное движение от рабочего контроля к централизованному, к государственному капитализму, а, быть может, и к реставрации частного капитализма. Народное сопротивление в какой-то степени замедляло этот процесс. Через год после начала войны каталонские рабочие, успевшие утратить немалую часть своей власти, все еще находились в сравнительно выгодном положении. То есть, их положение было бы значительно хуже, если бы они показали, что готовы уступить перед лицом любой провокации. Бывают моменты, когда лучше драться и проиграть, чем вообще не вступать в драку.

С какой целью были начаты бои? Была ли это попытка совершить государственный переворот, революционный акт, уместно ли говорить о намерении свергнуть правительство? Была ли вообще какая-либо цель в этих действиях?

Лично я считаю, что обусловленность боев сводилась лишь к ощущению их неизбежности. Не было никаких видимых признаков того, что какая-либо из сторон имела заранее разработанный план. Можно сказать почти с полной уверенностью, что для анархистов события явились неожиданностью, ибо в них принимали участие главным образом

рядовые члены партии. Люди низов вышли на улицу, а политические деятели либо неохотно последовали за ними, либо вообще остались дома. В революционном духе говорили только «Друзья Дурутти» – небольшая группа крайне левых, действовавших в рядах F.A.I. и P.O.U.M. Но и они не руководили, а шли на поводу у событий. «Друзья Дурутти» разбрасывали какую-то революционную листовку, но она появилась только 5 мая и нельзя сказать, что эта листовка стала причиной боев, ибо они начались 3 мая. Официальные руководители C.N.T. сразу же сняли с себя ответственность за эту листовку. Объясняется это целым рядом причин. Начнем с того, что C.N.T. все еще была представлена в центральном правительстве, а каталонское правительство позаботилось, чтобы руководители этого профсоюзного объединения были людьми более консервативных взглядов, чем рядовые профсоюзники. Кроме того, руководители C.N.T. стремились изо всех сил к объединению с U.G.T., а бои могли только углубить раскол. Наконец, – правда, в то время об этом мало кто знал, – анархистские лидеры боялись, что если события зайдут слишком далеко и рабочие захватят в свои руки власть в городе (что было вполне возможно 5 мая), произойдет иностранная интервенция. В порту стояли английские корабли – крейсер и два эсминца, а другие суда находились поблизости. Английские газеты писали, что эти корабли прибыли в Барселону, дабы «защищать британские интересы», но в действительности они и не думали этого делать, то есть, никого не высадили на берег и не взяли на борт никаких беженцев. Прямых доказательств нет, но вполне вероятно, что английское правительство, палец о палец не ударившее, чтобы спасти республиканское правительство от Франко, сразу же окажет этому правительству помощь, если его надо будет спасать от собственного рабочего класса.

Руководители P.O.U.M. не осудили выступления рабочих, они поощряли своих сторонников оставаться на баррикадах и даже одобрили (6 мая в газете «La Batalla») экстремистскую листовку «Друзей Дурутти». (Точное содержание этой листовки неизвестно, ибо до сих пор никто не смог достать хотя бы один экземпляр). В некоторых иностранных газетах ее назвали «подстрекательским листком, расклеенным по всему городу». Сопоставив несколько источников, я могу сказать, что листовка призывала во-первых, к созданию революционного совета (хунты), во-вторых, к расстрелу всех виновных в нападении на телефонную станцию, в третьих, к разоружению гражданской гвардии. Есть расхождения и в вопросе об одобрении листовки газетой «La Batalla». Лично я не видел ни листовки, ни газеты за 6 мая. За все время боев мне попалась на

глаза только одна листовка. Она была выпущена маленькой группкой троцкистов («большевиков-ленинцев»). В листовке говорилось: «Все на баррикады – всеобщая забастовка на всех предприятиях, кроме военных!» – Только и всего. Другими словаки она призывала сделать то, что уже было сделано. В действительности же руководители P.O.U.M. колебались. Они никогда не были сторонниками восстания вплоть до победы над Франко; но после того, как рабочие взялись за оружие, руководители P.O.U.M., доктринерски следуя марксистской схеме, гласящей, что когда рабочие выходят на улицы, долг революционера следовать за ними, пошли за рабочими. В результате, провозглашая революционные лозунги о «пробуждении духа 19 июля», руководители P.O.U.M. делали все, чтобы ограничить действия рабочих пассивной обороной. Они, как я писал выше, приказали своим сторонникам держать оружие наготове, но стараться не открывать огонь. В «La Batalla» была напечатана инструкция, запрещающая воинским частям покидать фронт[26]. Насколько я могу судить, вся ответственность P.O.U.M. состоит в том, что она призывала рабочих оставаться на баррикадах, и кое-кто откликнулся на призыв, оставшись там дольше, чем лично этого хотел. Люди, видевшие в те дни руководителей P.O.U.M. (мне самому видеть их не довелось), говорили, что они были в отчаянии от всего происходящего, но считали своим долгом солидаризироваться с рабочими. Само собой разумеется, что позднее на этом, как обычно, наживался политический капитал. Один из вождей P.O.U.M., Горкин, впоследствии даже говорил о «славных майских днях». С пропагандистской точки зрения это может быть и правильно. В короткое время, остававшееся до запрещения P.O.U.M., ряды этой партии возросли. Тактически, было, пожалуй ошибкой одобрять листовку «Друзей Дурутти», группки малочисленной и, в обычное время, враждебной P.O.U.M. В условиях всеобщего возбуждения, когда не выбирали слов, листовка воспринималась лишь как призыв оставаться на баррикадах. Но одобрив ее, в то время, как анархистская газета «Solidaridad Obrera» листовку осудила, руководители P.O.U.M. дали коммунистической печати предлог заявить впоследствии, что бои вспыхнули в результате восстания, организованного P.O.U.M. Правда, нет никакого сомнения, что коммунистическая печать выступила бы с подобным заявлением в любом случае: до и после боев обе стороны швыряли друг другу в лицо и более серьезные обвинения, почти без всяких на то осно-

[26] В последнем номере органа Исполькома Коминтерна Inprecor говорится нечто прямо противоположное – будто «La Batalla» приказала частям P.O.U.M. оставить фронт! Это легко проверить, заглянув в соответствующий номер «La Batalla».

ваний. Руководители C.N.T., действовавшие более осторожно, мало что выгадали. Их похвалили за лояльность, но выжили как из центрального, так и каталонского правительства при первом же случае.

Насколько можно судить со слов окружающих людей, в то время никто не имел по-настоящему революционных планов. На баррикадах оказались простые рабочие, члены C.N.T., в некоторых случаях и члены U.G.T., не собиравшиеся свергать правительство, а желавшие отразить то, что они – правильно или неправильно, это вопрос другой – рассматривали, как нападение полиции. Действия рабочих были, по существу, оборонительными, и я сомневаюсь, заслуживали ли они названия «восстания», как их называли все иностранные газеты. Восстание предусматривает нападение, ведущееся по определенному плану. Это же был скорее мятеж, правда, очень кровавый мятеж, ибо обе стороны имели в руках оружие и были готовы пустить его в ход.

А другая сторона? Каковы были ее намерения? Может быть произошел не анархистский, а коммунистический переворот? Тщательно подготовленная попытка одним ударом выбить власть из рук C.N.T.?

Я не верю в это, хотя имеются некоторые основания для такого подозрения. Знаменательно, что нечто подобное (захват вооруженной полицией телефонной станции) произошло два дня спустя з Таррагоне. Но и в самой Барселоне нападение на телефонную станцию не было изолированным актом. Во многих частях города отряды гвардейцев и сторонников P.S.U.C. захватили здания в стратегических пунктах, если не до начала боев, то во всяком случае с удивительным проворством. Нельзя забывать, что все это происходило в Испании, а не в Англии. Барселона – город с длинной историей уличных боев. В таких городах все происходит быстро, противник наготове, каждый знает все улицы и закоулки, – поэтому, как только раздаются выстрелы, все занимают свои места, как по команде. Вероятно, люди, ответственные за атаку на телефонную станцию, ожидали беспорядков – хотя и не такого размаха – и были готовы подавить их. Но из этого, однако, не следует, что они планировали удар по C.N.T. Я не верю, что какая-либо из сторон готовилась к тяжелым боям, и по двум причинам:

1. Ни одна из сторон не подтянула заранее войска в Барселону. В боях участвовали лишь наличные в городе силы – гражданские и полиция.

2. Почти сразу же кончилось продовольствие. Каждый, кто служил в Испании, знает: единственное, что испанцы во время войны делают хорошо, это снабжение войск продовольствием. Кажется совершенно

невероятным, чтобы та сторона, которая за неделю или две до событий могла предвидеть уличные бои и всеобщую забастовку, не запаслась заблаговременно продуктами.

Наконец, кто был прав, кто виноват? Иностранная антифашистская печать подняла вокруг этой истории страшную шумиху, но, как обычно, выслушана была лишь одна сторона. В результате, бои в Барселоне были представлены как восстание изменников – анархистов и троцкистов, «всадивших нож в спину республиканского правительства», и т. д. и т. п. В действительности же дело обстояло не так просто. Нет сомнения, что когда идет война со смертельным врагом, лучше избегать междоусобиц. Но следует помнить, что в ссоре участвуют не менее двух сторон, а люди не начинают строить баррикад, пока их не вынуждают к этому действия, кажущиеся им провокацией.

Действительно, волнения начались в момент издания правительственного декрета, потребовавшего, чтобы анархисты сдали оружие. Британская печать дала этому факту типично английское толкование: оружие нужно было позарез Араганскому фронту, а анархисты, не будучи патриотами, отказались от сдачи оружия. Говорить так, значит не понимать того, что в действительности происходило в Испании. Все знали, что анархисты и P.S.U.C. увеличивают свои арсеналы. Когда в Барселоне вспыхнули бои, это стало очевидным, – оказалось, что обе стороны имеют много оружия. Анархисты хорошо понимали, что если даже они сдадут оружие, то P.S.U.C., главная политическая сила в Каталонии, свое оружие сохранит. (Это действительно произошло после окончания боев). А тем временем по улицам разгуливала «политически нейтральная» полиция, обвешенная снизу доверху оружием, которого так не хватало на фронте. Подоплекой всего были, однако же, непримиримые разногласия между коммунистами и анархистами, которые рано или поздно должны были привести к столкновению. За месяцы войны коммунистическая партия Испании неимоверно разрослась и захватила в свои руки значительную часть политической власти в стране. Кроме того в Испанию прибыли тысячи иностранных коммунистов, многие из которых открыто говорили о своем намерении «ликвидировать» анархизм сразу же после победы над Франко. В этих условиях вряд ли можно было ожидать от анархистов сдачи оружия, которое они захватили летом 1936 года.

Захват телефонной станции был поэтому всего лишь искрой, взорвавшей пороховую бочку, стоявшую наготове. Можно даже предположить, что те, кто приказал захватить телефонную станцию, не от-

давали себе отчета в последствиях этого шага. Говорят, что президент Каталонии Кампанис за несколько дней до начала боев говорил, смеясь, что анархисты все проглотят. Несомненно, однако, что шаг этот был неразумным. На протяжении последних месяцев в разных районах Испании имели место вооруженные столкновения между коммунистами и анархистами. Каталония, а прежде всего Барселона, находилась в состоянии нервного напряжения, которое уже успело привести к уличным стычкам и убийствам. Внезапно по городу разнеслась весть, что кто-то напал с оружием в руках на здания, захваченные рабочими в июльских уличных боях; эти здания успели стать для рабочих чем-то вроде символа. Следует кроме того помнить, что рабочие не питали особой любви к гражданской гвардии. Испокон веков la guardia была исполнительницей воли помещика и хозяина. Гражданскую гвардию ненавидели вдвойне, ибо подозревали ее (впрочем, вполне справедливо), в сочувствии фашистам[27]. Вполне возможно, что народ вышел на улицы в первые часы под воздействием тех же чувств, которые побудили его оказать сопротивление мятежным генералам в начале войны. Что должны были сделать рабочие? Отдать телефонную станцию без сопротивления? Ответить на этот вопрос можно по-разному – все зависит от отношения к централизованному управлению и рабочему контролю. Более убедителен такой ответ: «Да, вполне вероятно, что рабочие – члены C.N.T. – были правы. Но ведь шла война и они не должны были затевать драку в тылу». С этим я полностью соглашаюсь. Внутренние беспорядки были только на руку Франко. Но кто дал повод? Можно спорить о праве правительства на захват телефонной станции. Несомненно одно: в существовавшей обстановке такой шаг неминуемо вел к столкновению. Это была провокация, поступок означавший: «Ваша власть кончилась, теперь наступил наш черед». Ожидать чего-либо иного, кроме сопротивления, было смешно. Трезвая оценка событий заставляет сделать вывод, что нельзя возложить вину только на одну из сторон. Такая односторонняя версия получила распространение только по той причине, что испанские революционные партии не имели возможности представить свою точку зрения в иностранной печати. Например, нужно было перелистать очень много английских газет, прежде чем удавалось найти положительный отзыв об испанских анархистах. Причем, это касается всех периодов войны. На анархистов

[27] С началом войны гражданская гвардия неизменно примыкала к сильнейшей стороне. Позднее, в ряде случаев, например в Сантандере, отряды гражданской гвардии целиком перешли на сторону фашистов.

систематически клеветали, а напечатать что-либо в их защиту, я знаю это по собственному опыту, было почти невозможно.

Я попытался объективно описать барселонские бои. Конечно, в такого рода вещах никто не может быть совершенно объективным. В любом случае приходится стать на какую-нибудь сторону. Конечно, я делал фактические ошибки, описывая барселонские события, да и в других главах книги. Но это неизбежно. Об испанской войне писать без ошибок очень трудно, ибо нет документов, не окрашенных пропагандой. Поэтому я предупреждаю читателей, как о моей предвзятости, так и об ошибках. Но я сделал все, чтобы писать честно. Мое описание событий резко отличается от описаний, опубликованных в иностранной, особенно в коммунистической печати. Необходимо рассмотреть коммунистическую версию, ибо ее публиковали все газеты и журналы мира, она постоянно дополняется и расширяется, она стала повсеместно принятой.

Коммунистическая и прокоммунистическая печать всю вину за бои в Барселоне возложила на P.O.U.M. События изображаются не как стихийный взрыв, а как заранее подготовленное, запланированное восстание против правительства. Восстание организовал P.O.U.M. с помощью нескольких обманутых «крайних элементов». Более того, это был заговор, осуществленный по приказу фашистов, которые стремились развязать гражданскую войну в тылу республики и таким образом парализовать усилия правительства. Более того, P.O.U.M. был «пятой колонной Франко», «троцкистской» организацией, сотрудничающей с фашистами. «Дейли уоркер» писала 11 мая: «Немецкие и итальянские агенты, нахлынувшие в Барселону якобы для «подготовки» пресловутого «Конгресса Четвертого Интернационала», в действительности имели совсем другую задачу. Они должны были – с помощью местных троцкистов – вызвать в Барселоне беспорядки и кровопролитие, что позволило бы Германии и Италии заявить о «невозможности осуществления эффективного морского контроля каталонского побережья в связи с беспорядками, царящими в Барселоне» и необходимости «высадить в Барселоне воинские части».

Иными словами, готовилась обстановка, которая позволила бы германскому и итальянскому правительствам высадить свою морскую пехоту на каталонском побережье «с целью обеспечения порядка» ...

Немцы и итальянцы имели для выполнения этого задания подходящее оружие – троцкистскую организацию, известную под названием P.O.U.M.

P.O.U.M., действуя рука об руку с уголовными элементами и некоторыми обманутыми анархистами, запланировала, организовала и ру-

ководила мятежом в тылу, точно скоординированным с наступлением фашистов на Бильбао...» И так далее, и так далее.

В этой же статье бои в Барселоне превратились в «вооруженное выступление P.O.U.M.», а в другой статье в том же номере констатировалось: «Нет никакого сомнения в том, что полную ответственность за кровопролитие в Каталонии несет P.O.U.M.» 29 мая «Инпрекор» писал, что баррикады в Барселоне построили «члены P.O.U.M., посланные для этой цели своей партией».

Я мог бы цитировать еще и еще, но думаю, что и приведенных цитат вполне достаточно. Всю ответственность несет P.O.U.M., действующий по приказу фашистов. Чуть ниже я процитирую сообщения, появившиеся в коммунистической печати. Они настолько противоречивы, что теряют всякую ценность как доказательства. Но до этого я хотел бы перечислить несколько фактов, доказывающих априори, что называть майские бои в Барселоне фашистским мятежом, организованным P.O.U.M., нельзя.

1. P.O.U.M. – слишком малочисленна и невлиятельна, чтобы вызвать беспорядки такого масштаба, и уж наверняка слишком слаба, чтобы организовать всеобщую забастовку. Влияние P.O.U.M. в профсоюзах незначительно, у нее были такие же шансы объявить всеобщую забастовку в Барселоне, как, скажем, у английской компартии сделать это в Глазго. Как я говорил выше, позиция руководителей P.O.U.M. могла в какой-то мере продлить бои, но партия ни в коем случае не могла бы привести к началу боев, даже если бы она этого хотела.

2. Мнимый фашистский заговор остается полностью голословным утверждением, все доказательства свидетельствуют об обратном. Нас убеждают, что была запланирована высадка германских и итальянских сухопутных частей в Каталонии. Но ни немецкие, ни итальянские суда даже не приближались к побережью. Чистой выдумкой являются и разговоры о «конгрессе Четвертого Интернационала» и «немецких и итальянских агентах». Насколько я знаю, не было даже разговора о конгрессе Четвертого Интернационала. Существовали неопределенные шансы созыва конгресса P.O.U.M. и братских партий (английской и немецкой) в июле месяце – то есть через два месяца после событий, – причем ни один делегат еще не приехал. «Немецкие и итальянские агенты» существовали только на страницах «Дейли уоркер». Каждый, кто в то время пересекал границу, знает, что было совсем нелегко «нахлынуть» в Испанию или покинуть ее.

3. Ничего не произошло ни в Лериде – бастионе P.O.U.M. ни на фронте. Совершенно очевидно, что если бы руководители P.O.U.M. хотели помочь фашистам, они должны были приказать своему ополчению открыть фронт. Но ничего подобного не было и не предполагалось. С фронта не был отозван ни один человек, хотя было легко, незаметно, под разными предлогами, стянуть в Барселону тысячу-другую бойцов. Не было даже косвенных попыток саботажа на фронте. Продовольствие, аммуниция и другие припасы продолжали беспрепятственно поступать на передовую. Я позднее проверил эти факты. И главное, планируя такое восстание, нужно было заранее месяцами готовиться, вести подрывную пропаганду в рядах ополчения и так далее. Не было даже и следа таких действий. Тот факт, что ополчение на фронте не участвовало в «мятеже», является решающим доказательством. Если бы P.O.U.M. действительно планировала переворот, она не могла бы не использовать единственной ударной силы, имевшейся в ее распоряжении – десятка тысяч вооруженных ополченцев.

Думаю, что это убедительно доказывает несостоятельность коммунистической версии о «мятеже», якобы организованном P.O.U.M. по приказу фашистов. Никаких доказательств у коммунистов нет. Но я добавлю несколько выдержек из коммунистической печати. Описание захвата телефонной станции, первого эпизода боев, чрезвычайно показательно. Противореча друг другу от начала до конца, газеты сходятся лишь в одном – виновата другая сторона. Любопытно, что английские коммунистические газеты в первую очередь сваливали вину на анархистов, а только потом на P.O.U.M. И это совершенно понятно. Мало кто в Англии слышал о «троцкизме», но каждый англичанин вздрагивает, услышав слово «анархизм». Достаточно сказать, что в дело замешаны «анархисты» и подходящая атмосфера предубеждения создана. После этого можно спокойно сваливать вину на «троцкистов». «Дейли уоркер» за 6 мая начала свою статью так:

«Немногочисленная шайка анархистов в понедельник и вторник захватила и пыталась удержать здания телефонной и телеграфной станции, начав стрельбу на улицах».

Итак, начинать лучше, вывернув факты наизнанку. Гражданская гвардия нападает на здание, находящееся в руках C.N.T., поэтому следует изобразить дело таким образом, что якобы С.Ы.Т. нападает на здание, которое находится под его собственным контролем, то есть нападает само на себя. Но 11 мая «Дейли уоркер» пишет:

«Левый каталонский министр общественной безопасности Аигуаде, и социалист, главный коммисар общественного порядка Родриге Салас, направили вооруженную республиканскую полицию в здание телефонной станции с приказом разоружить рабочих, в большинстве своем членов C.N.T.»

Это противоречит первому сообщению, но «Дейли уоркер» и не думает признаваться, что первое сообщение было неверным. В том же номере, 11 мая, «Дейли уоркер» пишет, что листовки «Друзей Дурутти», осужденные C.N.T., появились 4 и 5 мая, во время боев. «Инпрекор» (22 мая) утверждает, что они появились 3 мая, то есть до накала, боев, и добавляет, «учитывая эти факты» (появление различных листовок):

«Полиция, возглавляемая лично префектом, заняла 3 мая здание центральной телефонной станции. Полицию, выполнявшую свой долг, обстреляли. Это был сигнал для провокаторов, начавших стрельбу во всем городе».

А вот, что писал «Инпрекор» 29 мая:

«В 3 часа дня комиссар общественной безопасности товарищ Салас явился на телефонную станцию, которая предыдущей ночью была захвачена 50 членами P.O.U.M. и различными безответственными элементами».

Это уже выглядит странно. Захват телефонной станции полусотней членов P.O.U.M. – явление достаточно примечательное, и можно было ожидать, что оно не пройдет незамеченным. Однако, его обнаружили только три или четыре недели спустя. В другом номере «Инпрекора» 50 членов P.O.U.M. превратились в 50 бойцов ополчения P.O.U.M. Даже при всем желании, трудно втиснуть больше противоречий в эти несколько строк. Сначала члены C.N.T. нападают на телефонную станцию, потом оказывается, что не они атакуют, а их атакуют; листовка появляется до захвата телефонной станции и становится причиной этого шага, но она же появляется и после захвата, из причины превращаясь в следствие. Телефонную станцию занимают то члены C.N.T., то члены P.O.U.M. и так далее. В очередном номере «Дейли уоркер» (3 июня) мистер Дж. Р. Кембелл извещает нас, что правительство заняло телефонную станцию лишь потому, что были уже сооружены баррикады!

Не желая загромождать книгу, я остановился на сообщениях, связанных только с одним эпизодом, но это относится и ко всем другим сообщениям, публиковавшимся коммунистической печатью. Следует лишь добавить, что часть из них была чистой фальшивкой. Например, 7 мая «Дейли уоркер» цитировала коммюнике, опубликованное, якобы, испанским посольством в Париже:

«Характерной чертой мятежа было появление на многих домах Барселоны старого монархистского флага, как бы выражавшего убеждение мятежников, что они стали хозяевами города».

Очень возможно, что помещая это сообщение, газета «Дейли уоркер» верила в его правдивость, но тот, кто его сфабриковал в испанском посольстве, несомненно, лгал. Любой испанец сказал бы, что это ложь. Монархистский флаг в Барселоне! Это было единственное, что вмиг объединило бы все враждующие стороны. Даже коммунисты в Барселоне не могли читать это сообщение без улыбки. То же самое следует сказать и о сообщениях разных коммунистических газет относительно оружия, использованного P.O.U.M. во время «мятежа». Поверить этим сообщениям мог только человек, понятия не имевший о фактическом положении. Мистер Франк Питкерн писал 17 мая в «Дейли уоркер»:

«Во время беспорядков они использовали все виды оружия. Оружие, которое они месяцами воровали и прятали, танки, украденные в казармах в момент начала мятежа. Совершенно очевидно, что у них еще есть десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок».

«Инпрекор» (29 мая) подтверждал:

«3 мая P.O.U.M. имел в своем распоряжении несколько десятков пулеметов и несколько тысяч винтовок... На Plaza de España троцкисты открыли огонь из 75-миллиметровых пушек, предназначенных для отправки на Арагонский фронт, но вместо этого спрятанных в казармах».

Мистер Питкерн не говорит нам, как и когда стало известно, что P.O.U.M. имеет в своем распоряжении десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок. Я перечислил оружие, имевшееся в трех главных зданиях P.O.U.M.: около 80 винтовок, несколько бомб, ни одного пулемета. Этого как раз хватало, чтобы вооружить охрану, имевшуюся во всех зданиях, принадлежавших отдельным партиям. Может показаться странным, что позднее, когда P.O.U.M. был запрещен и все его здания захвачены, эти десятки пулеметов и тысячи винтовок так и не были найдены. Не нашли даже танков и полевых орудий, которых в дымовую трубу не спрячешь. Но что особенно бросается в глаза в двух приведенных выше сообщениях, это полное невежество авторов, совершенно не разбирающихся в обстановке. Мистер Питкерн утверждает, что P.O.U.M. использовал танки «украденные в казармах». Ополчение P.O.U.M. (тогда уже сравнительно немногочисленное, поскольку партии прекратили набор новых бойцов в собственные отряды (ополчения), помещалось в Ленинских казармах Барселоны, в тех же казармах находились и гораздо более многочисленные соединения Народной армии. Мистер Питкерн хочет нас таким образом уверить, что P.O.U.M. украл танки с благословения Народной армии. То же самое относится к «казармам», где были спрятаны 75-миллиметровые пушки. Эти артиллерийские батареи, стрелявшие с Plaza de España, фигурировали во многих газетных сообщениях, но ду-

маю, можно с полной уверенностью заявить – они никогда не существовали. Как я упомянул выше, во время боев я находился примерно в полутора километрах от Plaza de España, но артиллерийского огня не слышал. Несколько дней спустя, после окончания боев, я тщательно осмотрел площадь, но никаких следов артиллерийских снарядов ни на одном здании не нашел. Очевидец, находившийся во время событий по соседству с площадью, заявил, что орудия на ней не появлялись. (Вполне возможно, что историю с крадеными орудиями придумал советский генеральный консул Антонов-Овсеенко. Во всяком случае, он сообщил ее известному английскому журналисту, который, будучи уверенным в подлинности факта, написал о нем в своем еженедельнике. Позднее Антонов-Овсеенко стал жертвой «чистки»). Все эти россказни о танках, полевой артиллерии и тому подобном были придуманы с одной лишь целью – доказать, что такая малочисленная организация как P.O.U.M. могла стать причиной крупных боев. Повторяю, возлагая всю ответственность за бои на P.O.U.M., нужно было в то же время напоминать, что это незначительная партия, насчитывающая, как писал «Инпрекор», всего «несколько тысяч человек» и не имеющая сторонников. Но сочетать эти два утверждения можно было только в случае, если бы удалось доказать, что P.O.U.M. в ходе боев пользовался наиболее современными видами оружия.

Читая коммунистические газеты, нельзя не прийти к выводу, что они сознательно используют полное незнание читателями фактов, стремясь к одному – привить им предубежденное отношение к событиям. Этим, например, можно объяснить заявление мистера Питкерна в «Дейли уоркер» (11 мая) о том, что «мятеж» был подавлен Народной армией. Автор сообщения старался создать впечатление, будто вся Каталония, как один человек, выступила против «троцкистов». Но во время событий Народная армия сохраняла нейтралитет. Вся Барселона знала об этом, и трудно поверить, что только мистер Питкерн этого не знал. Коммунистическая печать жонглировала цифрами убитых и раненых, желая раздуть размах беспорядков. Коммунистические газеты широко цитировали слова генерального секретаря испанской коммунистической партии, Хозе Диаса, заявившего, что было убито 900 человек и 2.500 ранено. Каталонское правительство пропаганды, которое нельзя заподозрить в желании преуменьшить масштабы событий, говорило о 400 убитых и 1000 раненых. Коммунистическая партии удвоила эти цифры и добавила еще несколько сот – на всякий случай.

Иностранные капиталистические газеты в своем большинстве возлагали вину за беспорядки на анархистов, но некоторые из них повторяли коммунистическую версию. В их числе была английская «Ньюс кроникл», корреспондент которой, мистер Джон Лангдон-Дэвис, находился во время боев в Барселоне. Вот, что он написал:

«Троцкистский мятеж.»

... Восстание подняли не анархисты. Это был неудавшийся путч «троцкистской» P.O.U.M., действовавшей через контролируемые ею организации «Друзья Дурутти» и «Свободная молодежь» ... Трагедия началась в понедельник вечером, когда правительство послало вооруженную полицию на центральную телефонную станцию, чтобы разоружить находившихся там рабочих, преимущественно членов C.N.T. Серьезные неполадки в работе телефонной станции давно уже носили скандальный характер. На площади Испании собралась большая толпа, наблюдавшая, как сопротивляются члены C.N.T., отдавая этаж за этажом полиции... В этом инциденте многое было неясно, но вдруг разошелся слух, что правительство выступило против анархистов. На улицах появилось множество вооруженных людей... К ночи все рабочие центры и правительственные здания были забаррикадированы, а в десять вечера раздались первые залпы и первые санитарные машины, гудя, помчались по улицам ... На рассвете, когда число убитых достигло сотни, можно было сделать попытку разобраться в случившемся. Анархистская C.N.T. и социалистическая U.G.T. формально «не вышли на улицу». Оставаясь за баррикадами, они настороженно выжидали, какой поворот примут события, оставляя за собой право стрелять в каждого вооруженного человека, появлявшегося на улице... Хуже стрельбы залпами были одиночные выстрелы. Paco8, снайперы, обычно фашисты, стреляли с крыш, делая все, чтобы усугубить атмосферу все общей паники... Во вторник вечером уже стало ясно, кто организовал мятеж. На стенах появились подстрекательные плакаты с призывами к немедленной революции и казни республиканских и социалистических вождей. Подписаны они были «Друзья Дурутти». В четверг утром анархистская газета заявила, что ничего о них не знает и осудила листовку, но газета P.O.U.M. «La Batalla» перепечатала призывы, отозвавшись о них крайне похвально. Барселона, первый город Испании, была втянута в кровопролитную борьбу провокаторами, использовавшими эту подрывную организацию».

Это не совсем совпадает с коммунистической версией, изложенной выше, но и сама по себе статья полна противоречий. Прочтем ее внимательно. Сначала события представляются как «троцкисткий мятеж», затем говорится, что они были результатом рейда на телефонную станцию и слухов, что правительство «выступило против анархистов».

Город покрывается баррикадами, сооружаемыми как членами C.N.T., так и U.G.T. Спустя два дня появляется плакат (точнее листовка), который, как следует из текста, дает толчок началу событий – результат предшествует причине. Итак, налицо очень серьезное искажение. Мистер Лангдон-Дэвис называет «Друзей Дурутти» и «Свободную молодежь» организациями «контролируемыми P.O.U.M.» На самом же деле это были анархистские организации, не имевшие к P.O.U.M. никакого отношения. «Свободная молодежь» была молодежной анархистской организацией, соответствовавшей J.S.U. – молодежной организации P.S.U.C. «Друзья Дурутти» – малочисленная организация, входившая в состав F.A.I.; ее вражда с P.O.U.M. была непримирима. Насколько мне известно, не было человека, который состоял бы одновременно в обеих организациях. С таким же правом можно назвать Социалистическую лигу организацией, «контролируемой английской либеральной партией». Разбирался ли в этом мистер Лангдон-Дэвис? Если нет, то ему следовало бы более осторожно касаться этой сложной проблемы.

Я не сомневаюсь в доброй воле мистера Лангдона-Дэвиса. Но, невидимому, он выехал из Барселоны к моменту окончания боев, то есть именно тогда, когда он имел возможность серьезно приступить к сбору материала. В статье Лангдона-Дэвиса заметно, что он принял официальную версию о «троцкистском мятеже» без достаточной проверки. Это очевидно даже из процитированных мной отрывков. «К ночи» появились баррикады, а «в десять часов раздались первые залпы». Очевидцы говорят иначе. Если руководствоваться указаниями статьи, то прежде следует подождать, пока противник построит баррикаду, а потом уж начать в него стрелять. Если верить мистеру Лангдону-Дэвису, то между сооружением баррикад и первыми залпами прошло несколько часов. На самом же деле все было, конечно, наоборот. Я и многие другие видели и слышали, что первые выстрелы раздались днем. Статья упоминает и «одиночных снайперов, обычно фашистов», стреляющих с крыш. Лангдон-Дэвис не объясняет, откуда ему известно, что эти люди были фашисты. Вряд ли он карабкался на крыши, чтобы справиться, кто они. Мистер Лангдон-Дэвис просто повторяет то, что ему сказали, а поскольку это совпадает с официальной версией, он не находит нужным проверять факты. Впрочем, в начале статьи Лангдон-Дэвис несколько неосторожно называет в качестве возможного источника своей информации министерство пропаганды. Иностранные журналисты в Испании целиком и полностью зависели от этого министерства, само название которого, казалось бы, таит в себе предостережение. Совершенно понятно,

что министр пропаганды столь же был способен дать объективное представление о событиях в Барселоне, как, скажем, покойный лорд Карсон о дублинском восстании 1916 года.

Я привел аргументы, позволяющие утверждать, что коммунистическую версию барселонских событий нельзя принимать всерьез. Я хотел бы еще добавить несколько слов о распространенном обвинении, согласно которому P.O.U.M. – тайная фашистская организация, оплачиваемая Франко и Гитлером.

Это обвинение повторялось вновь и вновь в коммунистической печати, особенно с начала 1937 года. Оно было частью официальной коммунистической «антитроцкистской» кампании, охватившей весь мир. P.O.U.M. называли «ставленником троцкизма в Испании». Выходившая в Валенсии коммунистическая газета «Frente Rojo»[28] давала следующее определение «троцкизму»: «Это не политическая доктрина. Троцкизм – официальная капиталистическая организация, фашистская террористическая преступная банда, саботирующая усилия народа». P.O.U.M. была «троцкистской» организацией, действовавшей рука об руку с фашистами, частью «франкистской пятой колонны». С самого начала бросалось в глаза, что все эти обвинения голословны. Авторы обвинений принимали при этом важный вид знатоков. Травля P.O.U.M. изобиловала личными оскорблениями, ее инициаторы совершенно не считались с тем, как она может отразиться на ходе войны. Многие коммунистические журналисты считали вполне допустимым разглашение военной тайны, если это позволяло лишний раз облить грязью P.O.U.M. В февральском номере «Дейли уоркер», например, Уинифред Байте позволила себе (и ей позволили) заявить, что P.O.U.M. держит на своем участке фронта наполовину меньше бойцов, чем говорит. (Впрочем, это была неправда). И журналистка, и газета «Дейли уоркер» сочли, следовательно, вполне допустимым сообщить врагу важнейшие военные тайны. Мистер Ральф Бэйтс в «Нью рипаблик» утверждал, что бойцы P.O.U.M. играют с фашистами в футбол на ничейной земле. Когда он это писал, части P.O.U.M. несли тяжелые потери и многие из моих личных друзей были убиты или ранены. Широко распространялась, сначала в Мадриде, а потом в Барселоне, злобная карикатура, изображавшая P.O.U.M., у которой под маской с серпом и молотом кроется рожа, заклеймена свастикой. Если бы правительство не было под фактическим контролем коммунистов, оно никогда не позволило бы распространять подобную карикатуру во время

[28] Красный фронт. (прим. пер.)

войны. Это был умышленный удар не только по частям P.O.U.M., но и по всем тем, кто оказывался рядом с ними. Кому приятно слышать, что часть, занимающая соседний участок фронта, состоит из предателей? Я лично не думаю, что распространяемая в тылу клевета деморализировала бойцов P.O.U.M. Но такова была цель этой кампании. Ее организаторы ставили интересы своей партии выше единства антифашистских сил.

Обвинения против P.O.U.M. сводились, таким образом, к следующему: несколько десятков тысяч человек, почти исключительно рабочих, не считая многочисленных сочувствующих иностранцев, главным образом – беженцев из фашистских стран, а также тысячи бойцов ополчения представляли собой огромную шпионскую организацию, оплачиваемую фашистами. Это противоречило здравому смыслу, а история P.O.U.M. с очевидностью опровергала подобные измышления. Все руководители P.O.U.M. имеют революционное прошлое. Некоторые из них участвовали в восстании 1934 года, большинство было заключено за социалистическую деятельность в тюрьмах монархии и республики. В 1936 году тогдашний руководитель P.O.U.M. Хоакин Маурин, был в числе тех депутатов испанского парламента – кортесов, которые предупреждали о готовящемся мятеже Франко. Вскоре после начала мятежа он был схвачен фашистами как один из организаторов сопротивления в тылу франкистов. Когда вспыхнул мятеж, бойцы P.O.U.M. играли видную роль в борьбе с ним. Многие члены этой партии были убиты в уличных боях, прежде всего в Мадриде. P.O.U.M. была в числе первых организации, сформировавших в Каталонии и Мадриде отряды ополчения. Как можно объяснить все эти действия, если считать P.O.U.M. орудием в руках фашистов? Партия, оплачиваемая фашистами просто присоединилась бы к мятежникам.

И во время войны не было никаких признаков профашистской деятельности P.O.U.M. Говорили, что, требуя проведения более революционного курса, P.O.U.M. раскалывала силы республиканцев, тем самым помогая фашистам. Я с этим не могу согласиться. Я думаю, что каждое правительство реформистского типа было бы недовольно политикой партии, подобной P.O.U.M. Но отсюда еще очень далеко до прямого предательства. Никто не может объяснить, почему, – если P.O.U.M. была в действительности организацией фашистской, – ополчение этой партии оставалось лояльным. Восемь или десять тысяч ополченцев P.O.U.M. в невыносимых условиях зимы 1936–1937 года держали ключевые участки фронта. Многие из них не выходили из окопов по четыре-пять месяцев сряду. Если бы клеветники были правы, то как объяснить тот факт,

что бойцы не ушли с фронта или не перебежали на сторону врага. У них постоянно была такая возможность, и были моменты, когда открытие фронта могло иметь решающее влияние на исход войны. Но ополченцы P.O.U.M. продолжали драться. А вскоре после запрещения P.O.U.M. как политической партии, когда это событие было еще свежо в памяти всех, ополчение – еще не влитое в Народную армию – приняло участие в кровопролитном наступлении западнее Хуэски, потеряв в течение одного-двух дней несколько тысяч убитыми. Во всяком случае можно было ожидать братания с неприятелем и непрекращающегося потока дезертиров. Но, как я упомянул выше, дезертиров было очень мало. Можно было, казалось, ожидать профашистской пропаганды, «пораженчества» и так далее. Но ничего подобного не происходило. В P.O.U.M., разумеется, просочились фашистские шпионы и провокаторы, но они были во всех левых партиях. Нет никаких доказательств того, что в рядах P.O.U.M. их было больше, чем в других партиях.

Правда, некоторые статьи в коммунистических газетах, как бы нехотя, ограничивались утверждением, что фашисты платили только членам руководства P.O.U.M., а не рядовым партийцам. Это была, разумеется, попытка посеять рознь между руководителями и рядовыми членами партии. Характер обвинений был однако таков, что он предусматривал участие в заговоре всех членов партии, бойцов ополчения и т. д. Совершенно очевидно, что если бы Нин, Горкин и другие пошли на службу к фашистам, то об этом их товарищи по партии узнали бы скорее, чем журналисты, сидевшие в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Как бы то ни было, когда P.O.U.M. была запрещена, тайная полиция действовала, исходя из убеждения, что все виноваты в одинаковой степени. Арестовывались все члены P.O.U.M., которых удавалось схватить, в том числе раненые, медсестры, жены членов P.O.U.M., а в некоторых случаях даже дети.

Наконец, 15-16 июня P.O.U.M. была запрещена и объявлена нелегальной организацией. Этот декрет был одним из первых шагов, сделанных правительством Негрина, сформированным в мае. Когда исполнительный комитет P.O.U.M. был брошен в тюрьму, коммунистическая печать заявила о раскрытии гигантского фашистского заговора. Некоторое время все коммунистические газеты мира печатали материалы, похожие на сообщение, опубликованное 21 июня «Дейли уоркер»:

Испанские троцкисты в сговоре с Франко.

После ареста большого числа видных фашистов в Барселоне и других городах... в конце недели стали известны детали одного из чу-

довищнейших шпионских заговоров, какие знает история войн. Стало явным отвратительное предательство, совершенное троцкистами... Документы, имеющиеся в руках полиции, позволяют считать доказанным и т. д. и т. п.

Было «доказано», что руководители P.O.U.M. передавали по радио военные секреты генералу Франко, были связаны с Берлином, сотрудничали с подпольной фашистской организацией в Мадриде. К этому добавлялись живописные подробности о симпатических чернилах, о таинственных документах, подписанных буквой Н. (значит Нин) и другие детали в том же духе.

Чем же это кончилось? Через шесть месяцев после описанных событий, когда я пишу эти строки, большинство руководителей P.O.U.M. все еще находится в тюрьме, но к суду их не привлекают: обвинения о передаче по радио сведений в ставку Франко до сих пор не сформулированы. Если бы руководители действительно работали на фашистов, их предали бы суду и расстреляли в течение одной недели, как это делали со многими фашистскими шпионами. Но в доказательство их вины не было представлено ни единого документа, если не считать голословных утверждений коммунистической печати. Никто никогда больше не слышал и о двух сотнях «полных признаний», которых, конечно, было бы достаточно для любого суда. Но дело в том, что это были вовсе не признания заключенных, а двести плодов чьего-то буйного воображения.

Более того, большинство членов испанского правительства отказалось поверить обвинениям, выдвинутым против P.O.U.M. Недавно правительство решило пятью голосами против двух освободить всех политических заключенных-антифашистов. Два голоса, поданных «против» принадлежали коммунистам. В августе в Испанию прибыла международная комиссия, возглавляемая членом английского парламента Джеймсом Макстоном, для проверки обвинений против P.O.U.M. и фактов, связанных с исчезновением Андреев Нина. Министр национальной обороны Прето, министр юстиции Ирухо, министр внутренних дел Зугазагоития, генеральный прокурор Ортега и Гассет и другие отказывались верить в то, что руководители P.O.U.M. виновны в шпионаже. Ирухо добавил, что он ознакомился с делом и что ни одно из так называемых доказательств не выдерживает критики, что документы, якобы подписанные Нином, не «представляют ценности», то есть являются подделкой. Прето считал, что руководители P.O.U.M. несут ответственность за майские бои в Барселоне, но отвергал самую мысль,

что они могут оказаться фашистскими шпионами. «Хуже всего, — добавил Прето, — что полиция арестовала руководителей P.O.U.M. без разрешения правительства, самовольно. Более того, решение об арестах было принято не начальником полиции, а его окружением, куда — по своему обычаю — проникло много коммунистов». Прето говорил и о других незаконных арестах, произведенных полицией. Ирухо также подтвердил, что полиция, превысив свои полномочия, стала «полунезависимой» и подпала под контроль иностранных коммунистов. Прето вполне недвусмысленно намекнул, что правительство не может себе позволить обидеть коммунистическую партию в то время, когда русские снабжают Испанию оружием. Когда в декабре в Испанию прибыла другая комиссия, возглавляемая членом английского парламента Джоном Макговерном, она услышала примерно то же самое, а министр внутренних дел Зугазагоития повторил слова Прето в еще более откровенной форме: «Мы получаем помощь от русских и вынуждены разрешать некоторые действия, которые нам не нравятся». Иллюстрацией автономии полиции может служить тот факт, что имея разрешение, подписанное директором тюрем и министром юстиции, Макговерн и другие члены делегации не смогли посетить «секретную тюрьму», которую устроила в Барселоне коммунистическая партия.

Думаю, что этих примеров достаточно, чтобы дать представление о сложившемся положении. Основой для обвинения P.O.U.M. в шпионской деятельности служили только статьи в коммунистической прессе и заявления сотрудников контролируемой коммунистами полиции. Руководители P.O.U.M., сотни или тысячи рядовых членов партии, все еще находятся в тюрьмах, и вот уже шесть месяцев коммунистическая печать требует казни «предателей». Но Негрин и другие сохраняют хладнокровие и отказываются устроить резню «троцкистов». Учитывая нажим, под которым оказалось правительство, его поведение заслуживает уважения. Принимая во внимание приведенные мною выше высказывания, все труднее верить, что P.O.U.M. была фашистской шпионской организацией. Для этого пришлось бы поверить, что Макстон, Макговерн, Прето, Ирухо, Зугазагоития и другие — это также платные фашистские агенты.

Наконец, рассмотрим обвинение P.O.U.M. в «троцкизме». Этим словом в последнее время пользуются все чаще и чаще, причем смысл его, как правило, преднамеренно искажается. Стоит попробовать дать этому понятию более точное определение. Словом «троцкист» определяют три разных типа людей:

1. Тех, кто, наподобие Троцкому, выступает за «мировую революцию», против «социализма в одной стране». Более широко – это революционер-экстремист.

2. Членов конкретной организации, которую возглавляет Троцкий.

3. Фашистов, прикрывающихся революционными фразами, но в действительности выступающих против СССР, прежде всего раскалывающих, подрывающих единство левых сил.

В первом смысле, P.O.U.M., пожалуй, можно назвать троцкистской организацией. Но так можно назвать и английскую независимую лейбористскую партию, немецкую S.A.P., левых социалистов во Франции, и так далее. Но P.O.U.M. не связана ни с Троцким, ни с троцкистскими («большевистско-ленинскими») организациями. Когда началась война, приехавшие из заграницы троцкисты (человек пятнадцать-двадцать), сначала работали на P.O.U.M., как наиболее близкую их взглядам партию, но не вступали в ее ряды. Позднее Троцкий приказал своим сторонникам отмежеваться от политики P.O.U.M. и троцкистов изгнали из партийного аппарата, хотя несколько человек осталось в ополчении. Нин, ставший руководителем P.O.U.M. после того, как фашисты схватили Маурина, был в свое время секретарем Троцкого, но ушел от него несколько лет назад и создал P.O.U.M., объединив различные оппозиционные коммунистические организации и партию – Рабоче-крестьянский блок. Коммунистическая печать использовала прошлое Нина для доказательства троцкистского характера P.O.U.M. Но, пользуясь подобным аргументом, можно доказать, что английская коммунистическая партия – фашистская организация, ибо мистер Джон Стречи был когда-то связан с сэром Освальдом Мосли.

Если воспользоваться вторым определением, наиболее точно отвечающим смыслу понятия «троцкизм», то P.O.U.M., конечно, не была троцкистской организацией. Это чрезвычайно важно, ибо для большинства коммунистов троцкистская организация во втором значении неизбежно подпадает и под определение номер 3, т. е. обязательно является фашистской шпионской организацией. Термин «троцкизм» получил распространение во время московских показательных процессов. Теперь назвать человека «троцкистом» значит назвать его убийцей, провокатором и т. д. С другой стороны, на каждого, кто критикует политику коммунистов слева, может быть наклеен ярлык «троцкиста». Значит ли это, что каждый крайний революционер – ставленник фашизма?

Ответ на этот вопрос бывает иногда утвердительным, иногда – отрицательным, в зависимости от того, что удобнее в данных условиях. Когда Макстон выехал во главе делегации в Испанию (я упомянул об этом выше), коммунистические газеты «Verdad», «Frente Rojo» и другие сразу же заклеймили его «троцкистско-фашистским» агентом, шпионом гестапо и другими именами. Но коммунистические газеты Англии не решились вторить этим обвинениям. Английская коммунистическая печать назвала Макстона лишь «реакционным врагом рабочего класса» – обвинение довольно расплывчатое. Причина проста: коммунистические газеты Англии после ряда горьких уроков научились уважать закон о наказании за клевету. Тот факт, что обвинение в шпионаже против Макстона не было повторено в стране, где человек, выдвигающий подобное обвинение, должен быть в состоянии его доказать, убедительно говорит о лживости этого обвинения.

Может показаться, что я уделил слишком много места обвинениям против P.O.U.M. По сравнению с бедствиями гражданской войны, партийная междоусобица, с ее неизбежными лживыми обвинениями, может показаться пошлой. Это не совсем так. Я считаю, что клевета и газетные кампании такого рода могут нанести антифашистскому делу смертельный удар.

Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с коммунистической тактикой расправы с политическими противниками, знает, что практика сфабрикованных обвинений – обычный метод коммунистов. Вчера они обрушивались на «социал-фашистов», сегодня громят «троцкистских фашистов». Всего шесть или семь месяцев назад советский суд «доказал», что лидеры Второго Интернационала, в том числе Леон Блюм, а также ведущие деятели лейбористской партии Великобритании, участвовали в гигантском заговоре, имевшем целью военное вторжение на территорию СССР. Сегодня французские коммунисты счастливы, что им удалось заполучить в качестве лидера Леона Блюма, а английские коммунисты делают все возможное и невозможное, чтобы пробраться в лейбористскую партию. Я сомневаюсь, чтобы такие комбинации приносили пользу даже с сектантской точки зрения. Нет никакого сомнения, что обвинения в «троцкизмо-фашизме» сеют ненависть, вызывают раздоры. Повсюду рядовые коммунисты мобилизованы на бессмысленную охоту на «троцкистов», а партии типа P.O.U.M. загнаны в угол и поневоле поставлены в положение антикоммунистических групп. Налицо явные признаки опасного раскола мирового рабочего движения. Еще несколько клеветнических кампаний против людей, всю жизнь

боровшихся за социализм, еще несколько фальшивок, вроде той, какую использовали против P.O.U.M., и раскол может стать бесповоротным. Единственная надежда – улаживать политические расхождения на уровне, допускающем всестороннюю дискуссию. Между коммунистами и теми, кто стоит (или говорит, что стоит) левее их, действительно имеются серьезные разногласия. Коммунисты считают, что фашизм может быть разбит в союзе с некоторыми кругами капиталистической прослойки (народный фронт); их оппоненты утверждают, что этот маневр лишь дает фашистам новое поле деятельности. Вопрос этот ожидает решения. Принятие неправильного решения может обречь человечество на столетия полурабского существования. Но пока вместо здравых доводов слышны лишь истошные вопли о «тропкистских фашистах», дискуссия даже не может быть начата. Например, я не смог бы говорить обо всех аспектах барселонских боев с коммунистом, ибо ни один коммунист, я имею в виду «настоящего» коммуниста, не поверил бы, что я рассказал правду о фактическом ходе событий. Если он из тех, кто послушно следует партийной «линии», он заявит, что я либо солгал, либо безнадежно все перепутал. «Истинный» коммунист скажет, что любой читатель «Дейли уоркер», находящийся в тысяче миль от места событий и просматривающий только заголовки статей, знает о событиях в Барселоне больше меня. В этом случае не может быть и речи о разговоре, и нет надежды достигнуть минимального взаимопонимания. Чему служит утверждение, что такой человек, как Макстон – ставленник фашистов? Единственная цель такого заявления – сделать невозможной всякую серьезную дискуссию. Это похоже на то, как если бы во время шахматной партии один из соперников вдруг начал кричать, что другой повинен в поджоге и двоеженстве. Дело то ведь не в этом. Клевета ничего не решает.

12

Прошло, должно быть, три дня после барселонских боев, и нас отправили на фронт. После этих боев, а в особенности после потока клеветнических обвинений в газетах, трудно было относиться к войне так нее по-наивному идеалистически, как прежде. Я думаю, что нет ни одного человека, который после нескольких недель пребывания в Испании, не был бы разочарован в той или иной мере. Я вспомнил слова журналиста, с которым я встретился в день моего приезда в Барселону.

Он сказал: «Это война такое же надувательство, как и все другие». Его слова глубоко потрясли меня, но в то время (в декабре) я считал, что он не прав. Я оставался при своем мнении и позднее, в мае, но не верить в эти слова становилось все труднее. Дело в том, что каждая война несет с с собой нарастающее разложение, ибо нельзя совместить эффективное ведение военных действий с личной свободой и честной печатью.

Теперь можно было уже догадываться о том, какой ход примут дальнейшие события. Легко было предвидеть, что правительство Кабаллеро падет, а его место займет правительство более правое, подверженное сильному коммунистическому влиянию (это произошло через неделю или две), которое поставит перед собой цель – раз и навсегда сломить силу профсоюзов. Будущее – после победы над Франко – обещало мало хорошего, даже если забыть на время о сложнейшей проблеме реорганизации страны. Газетные толки о том, что это «война за демократию», нельзя было принимать всерьез. Ни один разумный человек не рассчитывал даже на демократию английского или французского типа в послевоенной Испании, стране раздробленной и измученной до предела. В Испании будет установлена диктатура, – с этим соглашались все, понимая однако, что возможность установления диктатуры трудящихся утрачена безвозвратно. Это означало, что развитие пойдет в сторону фашизма какого-либо толка, хотя было ясно, что для нового режима выдумают слово поделикатнее. Можно было также догадаться, что, поскольку речь шла об Испании, фашизм в этой стране будет носить более человечный и менее эффективный характер, чем в Германии или Италии. Альтернатива представлялась в виде диктатуры Франко (что было бы несравненно хуже), но существовала также возможность раздела Испании на районы, обособленные настоящими границами, либо на самостоятельные экономические зоны.

Будущее выглядело неутешительно. Из этого, однако, не следовало, что нужно прекратить борьбу на стороне правительства против наглого и успевшего пустить глубокие корни фашизма Франко и Гитлера. Какие бы ошибки не допустило послевоенное правительство, режим Франко был бы еще хуже. Для рабочих, для городского пролетариата, было в конечном итоге не так уж важно, на чьей стороне будет победа. Но Испания – страна преимущественно аграрная, а крестьяне несомненно выиграли бы в результате победы республиканцев. Какая-то часть захваченной земли безусловно осталась бы в руках крестьян; после раздела земли, на территории, занятой ныне франкистами, вряд ли было бы восстановлено крепостное право, практически существу-

ющее в некоторых районах Испании. Во всяком случае, республиканское правительство, которому удастся вывести страну из войны, должно быть антиклерикальным и антифеодальным, способным ограничить влияние церкви, – по крайней мере временно, – и приступить к модернизации страны, например, к прокладке дорог, заняться вопросами просвещения и здравоохранения. Кое-что в этом направлении делалось даже вовремя войны. С другой стороны, Франко, даже если не видеть в нем всего лишь марионетку Италии или Германии, связан по рукам и ногам волей крупных феодалов-ленд-лордов и служит орудием военно-клерикальной реакции. Может быть Народный фронт – это обман, но Франко – анахронизм. Только миллионеры или романтики могут желать ему победы.

Кроме того, вот уже год или два, меня, как в кошмарном сне, терзала мысль о непрестанном росте международного престижа фашизма. Начиная с 1930 года фашисты выигрывали все битвы. Пришло время проучить их, и неважно было, кто это сделает. Если бы нам удалось спихнуть в море Франко и его иностранных наемников, международное положение значительно улучшилось бы. Из-за одного этого стоило добиваться победы, даже если в Испании воцарилась бы диктатура, а ее лучшие люди оказались бы в тюрьме.

Так рассуждал я в то время. Должен признаться, что сейчас я гораздо более высокого мнения о правительстве Негрина, чем был в момент его прихода к власти. Оно с непреклонным мужеством вело трудную борьбу и проявило больше политической терпимости, чем кто-либо мог от него ожидать. И тем не менее я продолжаю считать, что – исключая раскол Испании, последствия которого предвидеть невозможно, – послевоенное правительство проявит фашистские наклонности. Вот мое предсказание и пусть время подтвердит его или опровергнет, как оно это делает с большинством пророчеств.

Едва попав на фронт, мы узнали, что возвращавшийся в Англию Боб Смайли, был арестован на границе, привезен в Валенсию и брошен там в тюрьму. Смайли находился в Испании с октября прошлого года. Он несколько месяцев работал в управлении P.O.U.M., а когда прибыли другие члены I.L.P., он вместе с ними записался в ополчение и отправился на три месяца на фронт, чтобы потом вернуться в Англию с пропагандистской миссией. Только через некоторое время нам удалось узнать, за что арестован Боб Смайли. Его держали в одиночной камере, не разрешая даже свидания с адвокатом. В Испании, если не по закону, то на практике, человека могут месяцами держать в тюрьме, даже не предъявляя ему обвинения, уже не говоря о суде. Наконец, нам удалось узнать от вышедшего из тюрьмы испанца, что Смайли арестовали за «хранение оружия». Как я потом выяснил, этим «оружием» были две примитивные ручные гранаты, которыми пользовались в начале войны. Смайли захватил их с собой, чтобы демонстрировать во время своих пропагандистских выступлений, вместе с осколками снарядов и другими сувенирами. Из гранат были удалены запалы и взрывчатка, так что оно представляли собой совершенно безопасные стальные цилиндры. Это, конечно, был только предлог. В действительности же Боба Смайли арестовали за всем известную связь с P.O.U.M. Барселонские бои только что закончились, и власти делали все, чтобы не выпустить из страны кого-либо, кто мог бы опровергнуть правительственную версию. В результате, людей задерживали на границе, причем предлоги для ареста были более или менее высосаны из пальца. Вполне возможно, что первоначально намеревались задержать Смайли всего на несколько дней. Беда, однако, в том, что в Испании, если ты уж попал в тюрьму, то остаешься там – по приговору суда или без него.

Мы все еще стояли под Хуэской, но нас передвинули вправо. Теперь прямо перед нами находилась фашистская позиция, которую мы временно захватили несколько недель назад. Я исполнял обязанность teniente – это соответствует, должно быть, младшему лейтенанту в английской армии – и командовал тридцатью бойцами, испанцами и англичанами. Ждали моего официального утверждения в звании, хотя уверенности в том, что оно придет, не было. Раньше офицеры ополчения не соглашались принимать армейских званий, ибо это влекло за собой увеличение жалования и противоречило принципу равенства, принятому в рядах ополчения. Теперь они вынуждены были это делать. Бенжамен был уже произведен в капитаны, а Копп ждал производства в майоры. Правительство не могло, конечно, отказаться от офицеров из рядов ополчения, но не давало им звания выше майора, желая по-видимому сохранить высшие командные посты в руках офицеров регулярной армии и выпускников офицерских школ. В результате, в нашей 29-й дивизии и, конечно, во многих других создалось странное положение – командир дивизии, командиры бригад и командиры батальонов все были майорами.

На фронте было затишье. Бой за дорогу в Яку затих (он снова разгорелся только в середине июня). На нашем участке больше всего нам досаждали снайперы. Фашистские окопы находились примерно в ста пятидесяти метрах от нас, но они лежали на возвышенности и охваты-

вали нас с двух сторон, ибо мы вклинивались в их линию фронта под прямым углом. Угол этого клина был опасным местом. Здесь мы несли постоянные потери от снайперских пуль. Время от времени фашисты стреляли в нас из гранатомета или подобного оружия. Гранаты рвались с ужасным треском, особенно пугавшим, ибо мы не успевали заблаговременно юркнуть в укрытие. Но особой опасности они не представляли, делая в земле лишь мелкую воронку. Ночью было тепло и приятно, днем – невыносимо жарко, нещадно грызли москиты; несмотря на чистое белье, привезенное нами из Барселоны, мы сразу же обовшивели. Белой пеной покрылись вишневые деревья в покинутых садах на ничейной земле. Два дня шли ливни, вода затопила окопы, а бруствер сильно размыло; теперь мы целыми днями ковыряли вязкую глину никуда не годными испанскими лопатами без ручек, которые гнулись как оловянные ложки.

Нашей роте обещали миномет. Я с нетерпением ждал его. По ночам мы, как обычно, ходили в патрули. Теперь это было опаснее, чем раньше – у фашистов прибавилось солдат и, кроме того, они стали осторожнее. Перед своей проволокой они раскидали консервные банки и, заслышав дзиньканье жести, немедленно открывали пулеметный огонь. Днем мы охотились на фашистов с ничейной земли. Нужно было проползти сотню метров, чтобы попасть в заросшую высокой травой канаву, из которой можно было держать под огнем щель в фашистском парапете. Мы оборудовали в канаве огневую точку. Набравшись терпения, можно было в конце концов дождаться и увидеть одетую в хаки фигуру, торопливо пробегавшую мимо щели в бруствере. Я несколько раз стрелял по этим фигурам, но навряд ли попал: я очень скверно стреляю из винтовки. Но все же это было забавно – фашисты не знали откуда в них стреляют. К тому же я был уверен, что рано или поздно своего фашиста подсижу. Однако вышло наоборот – фашистский снайпер подстрелил меня. Это случилось примерно на десятый день моего пребывания на фронте. Ощущения человека, пораженного пулей, чрезвычайно интересны и я думаю, что их стоит описать подробно.

Случилось это в самом углу парапета в самое опасное время, в пять часов утра. Солнце поднималось за нашей спиной и вынырнувшая из-за парапета голова четко рисовалась на фоне неба. Я разговаривал с часовыми, которые готовились к смене караула. Внезапно, посреди фразы, я вдруг почувствовал – трудно описать, что именно я почувствовал, хотя ощущение это необычайно свежо.

Попытаюсь выразить это так: я почувствовал себя в центре взрыва и увидел слепящую вспышку, почувствовал резкий толчок, – не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов; и одновременно меня охватила противная слабость, – казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, сложенные в бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко. Думаю, что так чувствует себя человек, пораженный молнией. Я сразу же понял, что ранен, но решил, – сбили меня с толку взрыв и вспышка огня, – что случайно выстрелила винтовка моего соседа. Все это заняло меньше секунды. В следующий момент колени подо мной подогнулись, и я стал падать, сильно ударившись головой о землю. Почему-то мне не было больно. Все тело одеревенело, в глазах был туман, я знал, что ранение тяжелое, но боли, в обычном смысле слова, не чувствовал.

Часовой-американец, с которым я только что разговаривал, нагнулся ко мне. «Эй! Да ты ранен!» Собрались люди. Началась обычная суматоха. «Поднимите его! Куда его ранило? Расстегните рубашку!» Американец попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Помня, что у меня в кармане лежит нож, я попробовал его достать, но обнаружил, что правая рука парализована. Ничего у меня не болело, и я почувствовал какое-то странное удовлетворение. Это понравится моей жене, – подумал я. Она всегда мечтала, что меня ранят, а значит не убьют в бою. Только сейчас я стал думать – куда меня ранило, серьезная ли рана. Я ничего не чувствовал, но знал, что пуля ударила где-то спереди. Я попробовал говорить, но обнаружил, что голос пропал, и вместо него послышался слабый писк, потом мне все же удалось спросить, куда меня ранило. Мне ответили:

– В горло. Наш санитар Гарри Уэбб прибежал с бинтом и маленькой бутылочкой алкоголя, который нам выдавали для промывки ран. Когда меня подняли, изо рта потекла кровь. Стоявший позади испанец сказал, что пуля пробила шею навылет. Рану полили алкоголем. В обычное время спирт жег бы невыносимо, но теперь разливался по ране лишь приятным холодком.

Меня снова положили и кто-то побежал за носилками. Узнав, что пуля пробила шею, я понял, что моя песенка спета. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное выжили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь из уголка рта. «Пробита артерия» – пришло мне в голову. «Сколько можно протянуть с пробитой сонной артерией? – подумалось мне. – Несколько минут, не больше». Все было, как в тумане. Минуты две мне казалось, что я уже умер. И это тоже интересно, то есть

интересно, какие мысли приходят в такой момент. Прежде всего – вполне добропорядочно – я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Это чувство оказалось очень острым. Эта глупая неудача бесила меня. Какая бессмыслица! Получить пулю не в бою, а в этом дурацком окопчике, из-за минутной рассеянности! Я думал также о человеке, подстрелившем меня, – кто он, испанец или иностранец, знает ли он, что попал в меня, и так далее. Я не чувствовал против него никакой обиды. Поскольку он фашист, – проносилось в голове, – я бы его убил, если бы представился случай, но если бы его взяли в плен и привели сюда, я поздравил бы его с удачным выстрелом. Впрочем, я допускаю, что у человека, который по-настоящему умирает, бывают совсем другие мысли.

Едва меня положили на носилки, как моя парализованная рука ожила и начала чертовски болеть. Мне подумалось, что я сломал ее, когда падал; с другой стороны, боль успокоила меня, ибо я знал, что если человек умирает, его чувства притупляются. Мне стало немного лучше, и я начал жалеть четверых бедняг, тащивших, потея и скользя, носилки. До перевязочного пункта нужно было пройти километра два по скверной, выбоистой дороге. Я знал, что это значит, ибо несколько дней назад сам помогал тащить раненого. Листья серебряных тополей, местами подступавших к нашим окопам, трогали мое лицо. Я думал о том, как приятно жить в мире, в котором растут серебряные тополя. Но всю дорогу рука болела нестерпимо, я выкрикивал ругательства и в то же время старался сдерживать ругань, ибо при каждом выдохе изо рта шла кровь.

Доктор сменил перевязку, сделал мне укол морфия и отослал в Сиетамо. Госпиталь размещался в наспех сколоченных бараках. Раненые лежали здесь обычно всего несколько часов, потом их отправляли в Барбастро или Лериду. Морфий одурманил меня, но сильная боль не прошла. Я не мог двигаться и все время глотал кровь. Ко мне подошла сестра и попыталась – это очень характерно для испанских госпитальных обычаев – заставить меня проглотить большую тарелку супа, яйца, тушеное мясо. Она очень удивилась моему отказу. Я попросил закурить, но это был как раз период табачного голода и сигареты во всем госпитале не оказалось. Потом пришли двое друзей, отпросившихся на несколько часов с позиции, чтобы навестить меня.

– Привет! Значит, ты жив? Хорошо. Дай нам свои часы, револьвер и электрический фонарик. И нож, если у тебя есть.

И они ушли, забрав все мое имущество. Так поступали с каждым раненым – сразу же делили все его вещи. И это было правильно. Часы, револьверы и другие вещи были совершенно необходимы на фронте, а если их оставить у раненого, то их наверняка стащат по дороге.

К вечеру набралось достаточно больных и раненых для того, чтобы нагрузить несколько санитарных машин. Мы поехали в Барбастро. Ну и дорога! Эта война родила присловье: если тебя ранило в конечности – ты выживешь, если ранило в живот – умрешь. Теперь я понял почему. Ни один раненый с внутренним кровоизлиянием не мог выдержать многокилометровой тряски разбитыми грузовиками по крытым щебнем дорогам, которые не ремонтировались с начала войны. Ну и тряска! Я вспомнил детство и кошмарные американские горки. Нас забыли привязать к носилкам. Я держался за край носилок левой рукой, в которой сохранилось еще немного силы, но один несчастный был выкинут на пол машины и можно лишь догадываться о его муках. Другой, ходячий, сидел в углу санитарной машины, и блевал не переставая. В Барбастро госпиталь был забит до отказа, койки стояли впритык. На следующее утро часть раненых погрузили в санитарные вагоны и отправили в Лериду.

Я пробыл в Лериде пять или шесть дней. Это был большой госпиталь, где лежали вперемешку больные и раненые, солдаты и гражданские. У некоторых в моей палате были ужасные раны. Рядом со мной лежал черноволосый паренек, принимавший какие-то медикаменты, от которых моча его становилась зеленой как изумруд. На нее приходили смотреть из других палат. Голландец-коммунист, говоривший по-английски, узнав, что в госпитале лежит англичанин, пришел ко мне. Мы подружились, он приносил мне английские газеты. Этот голландец был очень тяжело ранен во время октябрьских боев, ухитрился прижиться в леридском госпитале и женился на одной из медсестер. После ранения его нога высохла и стала не толще моей руки. Два ополченца, пришедшие навестить приятеля, узнали меня. (Мы познакомились в первую неделю моего пребывания на фронте). Это были ребята, лет по восемнадцать. Они неловко переминались с ноги на ногу возле моей постели, не зная, что сказать. Потом, желая выразить мне свое сочувствие, они вдруг вытащили из карманов табак, дали его мне и убежали, прежде чем я успел его им вернуть. Это был типично испанский жест! Я узнал потом, что во всем городе не было ни крошки табака и что они отдали мне свой недельный паек.

Через несколько дней я уже мог вставать и ходить с рукой на перевязи. Почему-то так она болела меньше. Некоторое время еще держа-

лись внутренние боли – результат моего падения. Голос почти совсем пропал, но пулевая рана больше не болела. Говорят, что это обычное явление. Пуля, пробивающая тело с огромной силой, производит шок, как бы снимающий боль; зазубренный осколок снаряда или бомбы, бьющий обычно со значительно меньшей силой, причиняет, должно быть, страшную боль. В госпитальном дворе был симпатичный сад и бассейн с золотыми рыбками и какими-то небольшими серыми рыбами. Я часами смотрел на них. Порядки в Лериде дали мне возможность составить представление о работе госпиталей на Арагонском фронте. (Мне неизвестно положение на других фронтах). В некоторых отношениях госпитали были очень хорошими – умелые врачи, медикаменты и оборудование имелись, кажется, в достаточном количестве. Но два очень серьезных недостатка помешали спасти от смерти сотни, а может быть и тысячи раненых.

Первый недостаток заключался в том, что все прифронтовые госпитали использовались почти исключительно как перевязочные пункты, откуда раненых переправляли в тыл. В результате, квалифицированная помощь оказывалась только раненым, транспортировка которых была невозможной. Теоретически, большинство раненых сразу же подлежало отправке в Барселону или Таррагону, но из-за нехватки транспорта они попадали туда через неделю, а то и через десять дней. Раненые валялись в Сиетамо, Барбастро, Монзоне, Лериде, и других городах, не получая никакой медицинской помощи, если не считать чистой повязки, да и то не всегда. На страшные осколочные раны и размозженные кости накладывали повязку из бинта и гипса, писали на ней карандашом характер ранения и оставляли в таком виде на десять дней – до Барселоны или Таррагоны. Осмотреть рану по дороге не было почти никакой возможности; считанным докторам было не под силу справиться с потоком раненых. Они торопливо проходили мимо койки, приговаривая: «Да, да. В Барселоне вами займутся». То и дело возникал слух, что поезд в Барселону отправляется mañana – завтра. Вторым недостатком было отсутствие опытных медсестер. В Испании не оказалось достаточного числа подготовленных медсестер, возможно потому, что до войны эту работу исполняли главным образом монахини. У меня нет никаких претензий к испанским медсестрам, они очень добры и милосердны, но в той же мере необучены. Все они знали, как поставить больному термометр, некоторые из них умели делать перевязку, – только и всего. В результате никто не занимался ранеными, которые были слишком слабы, чтобы самим ухаживать за собой. Медсестры оставляли без внимания

больных, неделю лежавших с запором, они редко мыли тех, кто сам не мог этого сделать. Я помню одного беднягу с раздробленной рукой, который, по его словам, три недели не мог вымыть лица. Никто не пришел ему на помощь. Даже кровати не перестилались по много дней. Еда во всех госпиталях была хорошая – может быть, даже слишком хорошая. В Испании, пожалуй больше чем в других странах, есть обычай закармливать больных тяжелой пищей. В Лериде кормили на убой. В шесть утра давали завтрак – суп, омлет, тушеное мясо, хлеб, белое вино и кофе. Обед был еще обильнее. А в то же время гражданское население находилось на грани голода. Но испанцы видимо не признают такой вещи, как легкая диэта. Больным они дают те же блюда, что и здоровым – пряную, жирную пищу, плавающую в оливковом масле.

Однажды утром нам объявили, что всех раненых нашей палаты сегодня отправляют в Барселону. Я ухитрился послать жене телеграмму о моем приезде, а потом нас погрузили в автобусы и отвезли на станцию. И только когда поезд уже тронулся, госпитальный вестовой, ехавший с нами, заметил, как бы между прочим, что мы едем не в Барселону, а в Таррагону. Машинист, видно, передумал и изменил маршрут. «Это Испания!» – думал я. Но типично по-испански было и то, что они согласились задержать поезд, пока я пошлю новую телеграмму. Впрочем, телеграмма не дошла, и это опять же было очень похоже на Испанию.

Нас поместили в вагоны третьего класса с деревянными скамьями. Многие тяжело раненые только сегодня утром впервые встали с постели. Очень скоро, от жары и непрерывной тряски, половина из них совершенно обессилела, некоторых рвало на пол. Вестовой метался взад и вперед, перешагивая через валявшихся, как трупы, раненых и брызгал струйку воды прямо в рот, то одному то другому. Воду он держал в бурдюке из козлиной кожи. Вода была отвратительная. Я до сих пор помню ее вкус. В Таррагону мы прибыли, когда солнце уже заходило. Железнодорожное полотно было проложено почти по самому берегу моря. Когда наш поезд въехал на станцию, отошел состав с бойцами интернациональной бригады. Толпа людей на мосту махала им руками.

Состав был очень длинный, вагоны битком набиты солдатами, на открытых платформах стояли орудия, а вокруг них тоже толпились бойцы. Эта картина врезалась мне в память: поезд, уходящий в желтые сумерки, в каждом окне смуглые улыбающиеся лица, длинные стволы винтовок, развевающиеся алые шарфы, а на заднем плане – бирюзовое море.

«Extranjeros – иностранцы, – сказал кто-то. Итальянцы».

В том, что это были итальянцы, не было никакого сомнения. Никто другой не мог бы сбиться в такие живописные группки, с таким изяществом отвечать на приветствия толпы. Изящество жестов не страдало и от того, что половина бойцов тянула вино прямо из горлышек запрокинутых бутылок. Позднее мы узнали, что они были в числе тех, кто в марте одержал знаменитую победу под Гвадалахарой. Теперь, после отпуска, их перебрасывали на Арагонский фронт. Боюсь, что большая часть этих бойцов погибла несколько недель спустя под Хуэской. Те из наших раненых, кто мог ходить, поднялись, чтобы приветствовать итальянцев. Кто-то махал костылем, другой вскидывал перевязанную руку в «рот-фронтовском» салюте. Это была как бы аллегорическая картина войны: эшелон гордо катящий на фронт, – санитарный поезд с ранеными, медленно ползущий в тыл. А вид пушек на открытых платформах заставляет сердце быстрее колотиться в груди, не дает избавиться от постыдного чувства, что война, несмотря ни на что, – славное дело.

Огромный таррагонский госпиталь был полон раненых со всех фронтов. Каких только ран здесь не было! Некоторые ранения здесь лечили по последнему, видимо, слову медицины, но глядеть на это было страшно. Рану оставляли открытой и неперевязанной, шалашик из марли, натянутой на проволочную рамку, защищал ее от мух. Под марлей виднелся красный студень полузажившей раны. Здесь лежал солдат, раненый в лицо и горло. Его голову покрывал круглый марлевый шлем, в губах он сжимал маленькую трубочку, через которую дышал. Бедняга выглядел таким одиноким; он бродил по палате, глядя на нас сквозь свою марлевую клетку, не в состоянии выговорить ни слова. Я пробыл в Таррагоне три или четыре дня. Силы возвращались ко мне, и однажды, медленно переставляя ноги, я дошел до берега моря. Странно было видеть, что на набережной жизнь идет как ни в чем не бывало. Народ в элегантных кафе, упитанные буржуа купаются и загорают в шезлонгах, как если бы война шла в тысячах миль отсюда. Я стал свидетелем несчастного случая – утонул купальщик, что казалось невозможным в этом мелком и теплом море.

Наконец, через восемь или девять дней после ранения меня обследовали. В хирургической, где осматривали новоприбывших, врачи огромными ножницами взрезали гипсовые панцири, в которые заключались в прифронтовых санпунктах раненые с перебитыми ребрами и ключицами. Из громоздких гипсовых клеток выглядывали перепуганные грязные лица, заросшие многодневной щетиной. Доктор, энергичный, красивый мужчина лет тридцати, посадил меня на стул, ухватил мой язык куском шершавой марли, вытащил его так далеко как только мог, всунул мне в горло зеркальце и велел сказать «Э». Я говорил «Э» пока язык не стал кровоточить, а из глаз ручьями не потекли слезы. Тогда доктор сообщил мне, что одна из голосовых связок парализована.

– А когда вернется голос? – спросил я.

– Голос? – Никогда не вернется, – весело ответил доктор.

Оказалось, однако, что он ошибся. Примерно два месяца я мог говорить только шепотом, а потом совсем неожиданно голос вернулся. Вторая голосовая связка «компенсировала» потерю. Боль в руке была вызвана пулей, поразившей пучок шейных нервов. Эта стреляющая боль, напоминавшая невралгическую, продолжалась около месяца. Она особенно мучила по ночам, так что спать мне почти не удавалось. Пальцы правой руки были наполовину парализованы. Даже сейчас, спустя пять месяцев, указательный палец все еще малоподвижен – странный результат ранения в шею.

Моя рана была в некотором смысле достопримечательностью. Разные врачи осматривали меня, цокая от удивления языком. Один из них авторитетно заявил, что пуля прошла в «миллиметре» от артерии. Откуда он это узнал, не могу объяснить. Все, с кем я в то время имел дело – врачи, сестры, практиканты, соседи по палате – неизменно заверяли меня, что человек, получивший ранение в шею и выживший – счастливчик. Лично я не мог отделаться от мысли, что настоящий счастливчик вообще не попал бы под пулю.

13

В последние недели моего пребывания в Барселоне, в городе установилась атмосфера удушья, воздух был пропитан подозрениями, страхом, неуверенностью, отовсюду выглядывала едва замаскированная ненависть. Майские бои оставили неизгладимый след. С падением правительства Кабаллеро власть окончательно перешла в руки коммунистов, охраной внутреннего порядка занялись министры из рядов компартии, и никто не сомневался, что они расправятся со своими политическими соперниками, как только представится малейшая возможность. Хотя я все еще не знал, что именно произойдет, было ощущение какой-то неясной опасности, чувство надвигающейся беды. Пусть даже вы не имели ничего общего с заговорщиками, обстановка заставляла вас чувствовать себя причастным к какому-то заговору. Все перешептывались в укром-

ных уголках кафе, беспокойно озираясь вокруг – не сидит ли за соседним столиком полицейская ищейка.

Цензура печати породила множество слухов. В частности прошел слух, что правительство Негрина-Прито решило выйти из войны, согласившись на компромисс. Одно время я был склонен этому верить, ибо фашисты приближались к Бильбао, а правительство не делало ровным счетом ничего для спасения города. Барселона запестрела баскскими флагами, по кафе ходили девушки, грохоча коробками для сбора пожертвований, радио не переставая бубнило о «героических защитниках», но реальной помощи баски не получали. Порой начинало казаться, что правительство ведет двойную игру. Позднейшие события показали, что эти подозрения были напрасны, но все же Бильбао можно было, пожалуй, спасти, если бы республиканцы принялись за дело немного более энергично. Наступление на Арагонском фронте, даже неуспешное, вынудило бы Франко перебросить туда часть своих сил. Правительство дало приказ о наступлении, когда было уже слишком поздно – после падения Бильбао. C.N.T. распространяла в большом количестве листовку, предупреждавшую: «Будьте начеку!» и намекавшую, что «определенная партия» (имелись в виду коммунисты) готовит государственный переворот. Кроме того, все боялись вторжения фашистов в Каталонию. Ранее, по пути на фронт, я видел мощные укрепления, сооружавшиеся в десятках миль за линией фронта. В Барселоне всюду строились новые бомбоубежища. Часто объявлялись воздушные тревоги и предупреждения об опасности морского десанта. Как правило, тревоги были ложными, но каждый раз, когда взвывали сирены, город погружался на долгие часы в темноту, а оробевшие жители кидались в подвалы. Город кишел полицейскими агентами. Тюрьмы были переполнены заключенными, арестованными еще в дни майских боев, а кроме того, то и дело арестовывались – по одному, по двое – анархисты и члены P.O.U.M. Насколько было известно, ни одного из арестованных не судили, им не предъявляли никаких обвинений – даже в «троцкизме». Людей просто арестовывали и держали в тюрьме, обычно в камере-одиночке. Боб Смайли все еще сидел в тюрьме в Валенсии. Единственное, что мы узнали, это то, что ни представителю I.L.P. в городе, ни адвокату не позволяли увидеться с ним. Все чаще и чаще арестовывали иностранцев – бойцов интернациональной бригады и ополченцев. Обычно их бросали в тюрьму по обвинению в дезертирстве. Никто толком не знал – это характерно для обстановки, – как относиться к ополченцам – считать ли их добровольцами или солдатами регулярной армии. Несколько месяцев назад каждого, кто записывался в ополчение, заверяли, что он находится здесь только по своей доброй воле и может, если пожелает, демобилизоваться, когда настанет время его отпуска. Теперь оказалось, что правительство передумало, считает ополченцев солдатами регулярной армии и рассматривает желание вернуться домой, как дезертирство. Впрочем, даже в этом не было полной уверенности. На некоторых участках фронта командование по-прежнему удовлетворяло просьбы ополченцев о демобилизации. На границе увольнительные документы иногда признавали, а иногда – нет. В последнем случае, демобилизованных немедленно бросали в тюрьму. Число таких иностранных «дезертиров» достигло нескольких сот человек, но большинство из них было освобождено из тюрем после того, как в их родных странах поднялся шум вокруг незаконных арестов.

По всем улицам рыскали патрули штурмовой гвардии, гражданские гвардейцы по-прежнему занимали кафе и другие здания в стратегических пунктах города, многие здания P.S.U.C. все еще были забаррикадированы и обложены мешками с песком. В различных частях города появились контрольные пункты – гвардейцы или карабинеры останавливали там прохожих и проверяли документы. Все предупреждали меня, чтобы я не смел показывать карточки ополченца P.O.U.M., а предъявлял лишь паспорт и свидетельство о ранении. Служба в ополчении P.O.U.M. была достаточным основанием для подозрительного отношения к человеку. К ополченцам этой партии – раненым или находившимся в отпуску – придирались по мелочам, задерживали выплату жалованья. Газета «La Batalla» все еще выходила, но цензурные ограничения были так велики, что читать в газете было, по существу, нечего. Жесткой цензуре подвергались «Solidaridad» и другие анархистские газеты. Вышло новое распоряжение – изъятые цензурой материалы должны замещаться другими: нельзя было оставлять белых пятен. В результате, часто трудно было установить, по каким сообщениям прошлись ножницы цензора. Нехватка продовольствия, подвергавшаяся в ходе войны периодическим колебаниям, в это время особенно обострилась. Не хватало хлеба, в дешевые сорта подмешивался рис. Солдатам в казармах давали вместо хлеба нечто, напоминавшее оконную замазку. Почти невозможно было достать молока и сахара, совсем исчез табак, если не считать контрабандных сигарет. Оливковое масло, которое испанцы используют в самых различных целях, можно было достать только ценой больших усилий. У магазинов, торговавших оливковым маслом, выстраивались длинные очереди женщин. За порядком в очередях

следили конные гвардейцы, которые время от времени – смеха ради – направляли лошадей в толпу. Мелкой неприятностью было отсутствие разменной монеты. Серебро было изъято из обращения, а новая монета не отчеканена. Для бедноты это означало дополнительное ухудшение положения. Женщина, имевшая ассигнацию в десять пезет и простоявшая несколько часов в очереди, дойдя до прилавка, не могла ничего купить, ибо у продавца не было сдачи, а она не могла себе позволить истратить все деньги.

Нелегко передать кошмарную атмосферу того времени – особый род беспокойства, порождаемого слухами, газетной цензурой, постоянным присутствием вооруженных людей. Нелегко передать потому, что элементов, необходимых для создания такой атмосферы, в настоящее время в Англии нет. Политическая нетерпимость не стала еще в Англии явлением само собой разумеющимся. Есть, правда, мелкие случаи политического преследования – будь я шахтером, я предпочел бы, чтобы мой хозяин не знал, что я коммунист. Но «партийный активист», гангстер-громила, типичный для политики на континенте, встречается все еще редко, а стремление «ликвидировать» или «убрать» всех, кто с тобой не соглашается, до сих пор не воспринимается в Англии как нечто естественное. В Барселоне это казалось совершенно натуральным. «Сталинцы» были на коне и отсюда следовало, что «троцкистам» несдобровать. Больше всего опасались новой вспышки уличных боев, вину за которые снова свалили бы на P.O.U.M. и анархистов. (К счастью, этого не произошло). Временами я ловил себя на том, что прислушиваюсь – нет ли выстрелов. Казалось, что город находится во власти какой-то могучей злой силы. Так думали все, и, как ни странно, у всех на устах были те же слова: «В городе кошмарная атмосфера. Мы живем, как в сумасшедшем доме». Впрочем, я, возможно, не имею права утверждать, что так чувствовали все. Кое-кто из английских гостей, прокатившихся в этот период по Испании, порхая из одного отеля в другой, не обнаружил в обстановке ничего странного. Герцогиня Атольская писала «Санди экспресс», 17 октября 1937 г.):

«Я побывала в Валенсии, Мадриде и Барселоне... В этих трех городах царит идеальный порядок и нет никаких следов вооруженного вмешательства. Все гостиницы, в которых я останавливалась, были не только «приличными», но и чрезвычайно комфортабельными, несмотря на трудности с маслом и кофе».

Английские путешественники – это их отличительная черта – по-настоящему не верят в то, что за стенами элегантных отелей существует

другая жизнь. Надеюсь, что в конечном итоге удалось раздобыть немного масла для герцогини Атольской.

Меня послали в один из санаториев, находящихся в ведении P.O.U.M. – в санаторий имени Маурина. Он находился в предместье Барселоны, у подножья Тибидабо, горы странной формы, нависающей над городом. Легенда гласит, что с этой горы сатана показывает Христу землю. Дом принадлежал раньше какому-то богачу и был реквизирован во время революции. Здесь долечивались раненые, – в частности, бойцы, потерявшие конечности. Было и несколько англичан: Вильяме, раненый в ногу, восемнадцатилетний Стаффорд Коттман, которого прислали с фронта с признаками туберкулеза, Артур Клинтон, носивший разбитую левую руку на длинной проволочной растяжке, которую в испанских госпиталях называли аэропланом. Моя жена продолжала жить в отеле «Континенталь» и я каждый день приезжал в Барселону. По утрам я ходил в Центральный госпиталь на электротерапию. Это была не очень приятная процедура – от колючих электрических ударов дергались все мускулы моей руки. Но это помогало – во всяком случае, начали двигаться пальцы и боль немного утихла. Мы с женой решили, что нам следует, как можно скорее, вернуться в Англию. Я очень ослаб, лишился, казалось, навсегда, голоса, доктора говорили, что я буду годен к фронтовой службе не раньше, чем через несколько месяцев. Рано или поздно мне нужно было подумать о заработке; кроме того, не было особого смысла оставаться в Испании и есть местный хлеб, в котором так нуждались другие. Но основные поводы моего желания уехать, были все же эгоистического порядка. Мне надоела страшная атмосфера политических подозрений и ненависти, осточертели улицы, переполненные вооруженными людьми, воздушные налеты, окопы, пулеметы, скрежет трамваев, чай без молока, пища, пропитанная оливковым маслом, табачный голод, – одним словом, почти все, что неразрывно связалось для меня с Испанией.

Доктора в Центральном госпитале засвидетельствовали мою непригодность к военной службе, но чтобы получить увольнение из армии мне надо было явиться на медицинскую комиссию в один из прифронтовых госпиталей, а затем отправиться в Сиетамо, чтобы получить на свой документ печать в штабе ополчения P.O.U.M. В это время с фронта приехал Копп; он весь сиял. Копп участвовал в боях и заверял, что наконец-то Хуэска будет взята республиканцами. Правительство перебросило под Хуэску войска с мадридского фронта, сконцентрировало тридцать тысяч человек и большое число самолетов. Итальянцы, которых я видел

по дороге в Таррагону, участвовали в наступлении на дорогу в Яку, но имели много убитых и потеряли два танка. Тем не менее, заверил Копп, Хуэска обязательно падет. (Увы! Предсказание не оправдалось. Город устоял. Газетная ложь по этому случаю достигла размеров настоящей оргии). А пока Копи отправлялся в Валенсию для разговора с военным министром. При нем было письмо от генерала Позаса, командовавшего теперь Восточной армейской группировкой, – обычное в таких случаях письмо, представлявшее Коппа человеком «достойным доверия» и рекомендовавшее использовать его для специальных заданий в инженерных войсках (Копп был по специальности инженером). Он выехал в Валенсию в тот же день, когда я поехал в Сиетамо, – 15 июня.

В Барселону я вернулся только через пять дней. Грузовик привез меня вместе с группой бойцов в Сиетамо примерно в полночь. Едва мы явились в штаб ополчения P.O.U.M., как нас выстроили и – даже не спрашивая имен – стали раздавать винтовки и патроны. Ожидалась атака, и резервы могли понадобиться в любую минуту. У меня в кармане была медицинская справка, но мне было неловко отказаться пойти вместе со всеми. Я прикорнул на земле, подложив под голову ящик с патронами. Настроение было скверное. Ранение расшатало нервы, – думаю, что это обычное явление. Перспектива оказаться снова под огнем страшно меня пугала. Но здесь снова вступила в свои права испанская mañana – завтра, – в конце концов обошлись без нас. На следующее утро я предъявил свою медицинскую справку и пошел увольняться. Для этого мне пришлось совершить несколько долгих, утомительных путешествий. Меня гоняли из госпиталя в госпиталь – Сиетамо, Барбастро, Монзон, потом снова Сиетамо, чтобы поставить штемпель на справку, и обратно через Барбастро и Лериду. Весь транспорт был мобилизован на переброску войск под Хуэску, на дорогах царил хаос. Помню, что я ночевал в самых неподходящих местах – раз в госпитальной постели, другой раз – в канаве, потом на какой-то узенькой скамейке, с которой я среди ночи свалился, а однажды в муниципальном общежитии в Барбастро. Отойти от железной дороги значило целиком отдаться на милость попутных грузовиков. Я простаивал на обочине дороги по три-четыре часа, вместе с группками хмурых крестьян, нагруженных узлами с утками и кроликами. Когда наконец, после неустанного махания проезжающим машинам, битком набитым людьми, ящиками с амуницией, буханками хлеба, останавливался грузовик, соглашавшийся вас подвезти, начиналась тряска по кошмарной дороге. Она превращала человека в отбивную. Ни одна лошадь не подбрасывала меня так высоко, как эти грузовики. Ехать на них можно было, только сбившись всем в тесную кучу и держась друг за друга. К своему стыду, я обнаружил, что еще не могу без чужой помощи влезть на грузовик.

Ночь я переспал в госпитале в Монзоне, куда прибыл на медицинскую комиссию. Рядом со мной лежал штурмовой гвардеец, раненый в лоб, над левым глазом. Он отнесся ко мне дружелюбно и угостил сигаретами. Я сказал: «В Барселоне нам бы пришлось стрелять друг в друга». И мы посмеялись. Любопытно, как меняется настроение по мере приближения к фронту. От взаимной ненависти приверженцев различных партий почти не остается следа. Ни разу, за все время, что я был на фронте, никто из членов P.S.U.C. не отнесся ко мне недружелюбно только из-за того, что я состоял в ополчении P.O.U.M. Зато такая вражда была типична для Барселоны или других мест, еще более отдаленных от линии фронта. В Сиетамо было много штурмовых гвардейцев. Их прислали из Барселоны для участия в атаке на Хуэску. Гвардия, в принципе, не предназначалась для фронтовой службы. В Барселоне гвардейцы были хозяевами улицы, но на фронте на них, не нюхавших пороха, свысока поглядывали даже пятнадцатилетние мальчишки-ополченцы, просидевшие много месяцев в окопах.

В монзонском госпитале доктор, как полагается в таких случаях, потаскал меня за язык, всунул в горло зеркальце и весело заверил, что голос у меня пропал навсегда. Потом он подписал медицинское свидетельство. Пока я дожидался приема, в хирургической делали операцию без наркоза – почему раненого не усыпили, я не знаю. Операция длилась целую вечность, крик не прекращался. Когда я вошел в хирургическую, всюду валялись стулья, а на полу блестели лужи крови и мочи.

Подробности этой моей последней поездки запечатлелись в памяти с удивительной четкостью. Я воспринимал все гораздо яснее, чем в предыдущие месяцы. Увольнение с печатью 29 дивизии и свидетельство доктора, признавшего меня негодным к службе, были у меня на руках. Я мог вернуться в Англию, а следовательно, чуть ли не впервые чувствовал себя в состоянии повнимательнее взглянуть на Испанию. У меня оказался целый день на осмотр Барбастро – поезд отходил только один раз в сутки. Раньше я видел Барбастро лишь мельком и лицо города представилось мне лицом войны – те же серые тона, грязь, холод, ревущие грузовики, замызганные солдаты. Сейчас Барбастро выглядел иначе. Бродя по городу, я обнаружил, что в нем много симпатичных извилистых улочек, старых каменных мостов, винных лавочек с бочками высотой в человеческий рост, по бокам которых стекала влага. Я стоял

и глядел, как ремесленник мастерит бурдюк и вдруг обнаруживал, что бурдюки шьются мехом внутрь, шерсть не удаляется и поэтому, когда мы пьем из такого бурдюка, мы пьем настойку на козьем волосе. Я месяцами пил из бурдюков, не подозревая об этом. Вдоль окраины города текла мелкая изумрудно-зеленая речушка. Посреди речки высилась отвесная скала, в которую были врублены домики. Из окон этих домов можно было плевать прямо в воду, журчащую в тридцати метрах внизу. Бесчисленные голуби гнездились в расселинах скалы. В Лериде я видел старые разваливающиеся дома, на карнизах которых свили свои гнезда тысячи и тысячи ласточек. Вблизи извилистая кромка ласточкиных гнезд напоминает нарядные лепные украшения периода рококо. Странно, что пробыв шесть месяцев в Испании, я заметил все это впервые. С бумагами о демобилизации я вновь почувствовал себя человеком и даже немножко туристом. Пожалуй впервые, я ощутил, что действительно нахожусь в Испании, в стране, которую мечтал посетить всю свою жизнь. Мне казалось, что на тихих улочках Барбастро и Лериды я вдруг улавливаю отблеск, далекий отголосок той несуществующей Испании, которую творит наше воображение. Вот они, белые горные цепи-сьерры, стада коз, казематы инквизиции, мавританские дворцы, извивающиеся черные вереницы мулов, серые оливковые деревья и лимонные рощи, девушки в черных мантильях, вино Малаги и Аликанте, соборы, кардиналы, бой быков, цыгане, серенады, – словом, Испания. Она пленила мое воображение больше всякой другой европейской страны. Обидно, что попав, наконец, сюда, я смог увидеть только этот северо-восточный уголок, да к тому же в период войны и, в довершение всего, – зимой.

В Барселону я приехал поздним вечером. Нечего было и думать поймать такси, чтобы добраться до санатория, расположенного за городом, и я пошел в отель «Континенталь», предварительно закусив по пути. С официантом отеческого вида я заговорил о дубовых, с медными обручами, кружках, в которых подают вино. Я сказал, что хотел бы купить набор таких кружек, чтобы захватить их домой на память об Испании. Официант понимающе закивал: «Красивые, не правда ли? Но сегодня их не купить. Таких кружек больше не делают. Вообще больше ничего не делают. Война – какая жалость!» Мы сошлись во мнениях. Я снова почувствовал себя туристом. Официант вежливо справился, понравилась ли мне Испания, приеду ли я еще раз? О, да, я вернусь в Испанию. Мирный этот разговор запомнился по контрасту с тем, что произошло сразу же после него.

Войдя в отель, я увидел в холле мою жену. Она встала и пошла ко мне с видом, показавшимся мне чрезмерно непринужденным. Жена обвила рукой мою шею и с очаровательной улыбкой, обращенной к людям, сидевшим в холле, прошептала мне в ухо:

– Уходи!

– Что?

– Немедленно уходи отсюда!

– Что?

– Не стой здесь! Выйдем отсюда!

– Что? Почему? Что все это значит?

Она взяла меня за руку и повела к лестнице. Нам встретился француз – не назову его имени, ибо не будучи связанным с P.O.U.M., он помогал нам во время беспорядков. Француз взглянул на меня.

– Слушай! Ты не должен здесь появляться. Быстро уходи отсюда и спрячься, прежде чем они позвонят в полицию.

Возле лестницы ко мне, оглядываясь с опаской, подбежал лифтер и на ломаном английском сказал, чтобы я уходил отсюда. До меня все еще не доходил смысл происходящего.

– Что все это значит? – спросил я жену, едва мы вышли на улицу.

– Неужели ты не слышал?

– Нет. А что я должен был слышать?

– P.O.U.M. запрещена. Они захватили все здания. Почти все в тюрьме. Говорят, что начались расстрелы.

Так вот оно что. Нам нужно было найти место, чтобы сесть и поговорить. Все большие кафе на Рамблас были забиты полицией, но мы нашли тихое кафе на боковой улочке. Жена рассказала мне, что произошло за время моего отсутствия.

15 июня полиция внезапно арестовала Андреев Нина в его кабинете и в тот же вечер совершила налет на гостиницу «Фалкон», арестовав всех, кто там был, главным образом приехавших в отпуск ополченцев. Гостиница была немедленно превращена в тюрьму. Очень скоро она оказалась до предела набитой заключенными. На следующий день P.O.U.M. объявили нелегальной организацией и закрыли все бюро, книжные лавки, санатории, центры Красной помощи. Одновременно полиция начала без разбора арестовывать всех людей, имевших хоть какое-нибудь отношение к P.O.U.M. В течение одного-двух дней были арестованы почти все сорок членов исполнительного комитета партии. Одному или двум удалось, кажется, скрыться, но полиция применила простой способ, к которому часто прибегали обе стороны в этой войне, – задержала жен в

качестве заложниц. Установить число арестованных не было возможности. Моя жена слышала, что в одной только Барселоне бросили в тюрьму четыреста человек. Сейчас я думаю, что уже тогда число арестованных было значительно больше. Кого только не арестовывали! Были случаи, когда полиция не останавливалась перед арестом раненых ополченцев, лежавших в госпиталях.

Было от чего прийти в отчаяние. Что все это значило? Я мог еще понять, что они запретили P.O.U.M., но за что арестовывали людей? Мне казалось – ни за что. Запрещение P.O.U.M. приобретало как бы ретроспективную силу. P.O.U.M. была объявлена нелегальной организацией, а следовательно, каждый кто когда-либо был ее членом, нарушал закон. Как обычно, никому из арестованных не предъявили никакого обвинения. Но это не мешало валенсийским коммунистическим газетам рассказывать дикие истории о гигантском «фашистском заговоре», о радиосвязи с врагом, документах, написанных невидимыми чернилами и т. д. и т. д. Я уже рассказал об этом выше. Знаменательно было лишь то, что все эти истории появились только в валенсийских газетах. Думаю, что не ошибусь, сказав, что ни в одной барселонской газете – коммунистической, анархистской или республиканской – не было ни слова ни о заговоре, ни о запрещении P.O.U.M. О характере обвинений, предъявленных руководителям P.O.U.M., мы узнали не из испанских, а из английских газет, пришедших в Барселону день или два дня спустя. Мы не знали еще в то время, что правительство не несет ответственности, за обвинения в предательстве и шпионаже и что впоследствии сами члены кабинета опровергнут эти обвинения. Мы знали только – в общих чертах, – что руководители P.O.U.M. и, по-видимому, мы все, обвиняемся в сотрудничестве с фашистами. Уже пошли слухи, что заключенных тайком расстреливают в тюрьмах. Тут было много преувеличения, хотя в ряде случаев расстрелы, несомненно, имели место. Так, трудно сомневаться в факте расстрела Нина. После ареста, Нина перевели в Валенсию, оттуда в Мадрид, а уже 21 июня по Барселоне пошел слух, что он расстрелян. Позднее этот слух приобрел более четкую форму: Нина застрелила в тюрьме тайная полиция, а тело его выкинули на улицу. Об этом рассказывали разные люди, в том числе Федерико Монтсенис, бывший член правительства. С этого дня никто больше не слышал о Нине. Позднее, когда делегации из разных стран спрашивали членов правительства, те выкручивались как могли, заявляя, что им известно только об исчезновении Нина, но ничего не известно о его местопребывании. В некоторых газетах появилось даже сообщение, что Нин бежал на фашистскую территорию. Никаких доказательств предъявлено не было, а министр юстиции Ирухо заявил потом, что испанское агентство печати фальсифицировало официальное коммюнике. Во всяком случае, очень мало вероятно, чтобы такому важному политическому заключенному как Нин позволили бежать. Думаю, что его убили в тюрьме.

Число политических заключенных росло и росло, пока не стало исчисляться тысячами (не считая фашистов). Характерной чертой было самовольство низших полицейских чинов. Многие из арестов были явно незаконными, но когда, по приказу начальника полиции, арестованные освобождались, некоторых из них снова брали под стражу в воротах тюрьмы и препровождали в «секретные тюрьмы». Типичным был случай с Куртом Ландау и его женой. Их арестовали примерно 17 июня и Ландау немедленно «исчез». Пять месяцев спустя, его жена была еще в тюрьме, без суда и без известий от мужа. Она объявила голодовку, после чего министр юстиции известил ее о смерти мужа. Вскоре жена Ландау была освобождена, но почти сразу же снова арестована и брошена в тюрьму. Было заметно, что полиция, по крайней мере на первых порах, совершенно не заботилась о том, как ее действия скажутся на ходе войны. Полицейские, даже не имея ордера на арест, не задумываясь арестовывали военных, занимавших важные командные посты. В конце июня наряд полиции, посланный из Барселоны, арестовал неподалеку от линии фронта генерала Хозе Ровира, командира 29 дивизии. Его бойцы послали в военное министерство делегацию протеста. Оказалось, что ни военное министерство, ни начальник полиции Ортега ничего не знали об аресте Ровиры. Пусть это не самое главное, но меня лично больше всего возмущало то, что фронтовым частям не сообщали ни слова обо всех этих событиях. Как я уже отметил, никто на передовой не знал о запрещении P.O.U.M. Все штабы ополчения P.O.U.M., центры Красной помощи и другие органы работали как ни в чем не бывало, и даже 20 июня в Лериде, то есть всего в 160 километрах от Барселоны, никто ничего не слышал о происходившем. Барселонские газеты ни словом не обмолвились об арестах и преследованиях (валенсийские газеты, изощрявшиеся в выдумывании небылиц о том, что члены P.O.U.M. – фашистские шпионы, на Арагонский фронт не попадали), а ополченцев P.O.U.M., выезжавших в отпуск в Барселону, арестовывали, в частности, для того, чтобы они, вернувшись на фронт, не рассказали другим, что творится в городе. Пополнение, с которым я 15 июня направился на фронт, было, как видно, последним. Я до сих пор не понимаю, как им удалось сохранить все эти события в тайне, учитывая, что грузовики, да и другие машины,

все еще курсировали между фронтом и тылом. Нет, однако, никакого сомнения, что секрет сохранялся и, как я потом узнал от других, еще несколько дней фронтовики оставались в неведении. Причина очевидна. Начиналось наступление на Хуэску. Ополчение P.O.U.M. все еще сохраняло свою самостоятельность и кто-то, видимо, опасался, что если бойцы узнают о происходящем, они откажутся воевать. На деле же, когда новость достигла фронта, ничего не произошло. В последовавших боях погибло немало бойцов, которые так и не узнали, что газеты, выходившие в тылу, называли их фашистами. Это простить нелегко. Есть обычай скрывать плохие вести от солдат на передовой. Зачастую это оправдано. Но совсем другое дело, посылать людей в бой, даже не говоря им, что за их спиной партию, к которой они принадлежали, объявили вне закона, их руководителей обвинили в измене, а друзей и родственников бросили в тюрьму.

Моя жена стала рассказывать, что произошло с нашими друзьями. Кое-кому из англичан и других иностранцев удалось перейти границу. Вильяме и Стаффорд Коттман избежали ареста во время облавы в санатории «Маурин» и где-то скрывались. Скрывался и Джон Мак Нэр, находившийся во Франции, когда P.O.U.M. запретили. Он вернулся в Испанию, не желая находиться в безопасности, когда его друзья рискуют головой. А в остальном рассказ жены сводился к монотонным повторениям: того-то взяли, того-то взяли. Они взяли, кажется, почти всех. Но известие об аресте Джорджа Коппа совершенно меня ошеломило.

– Коппа? Но я думал, что он в Валенсии.

Оказалось, что Копп вернулся в Барселону: он прибыл с письмом, адресованным военным министерством полковнику, командовавшему инженерными частями на восточном фронте. Копп, конечно, знал, что P.O.U.M. запрещена, но ему, должно быть, в голову не могло прийти, что полиция окажется настолько безголовой, что арестует человека, едущего на фронт с важным военным заданием. Он завернул в «Континенталь», чтобы захватить свой вещевой мешок. Служащие отеля задержали его под каким-то предлогом, пока не явилась извещенная ими полиция. Меня арест Коппа взбесил. Копп был моим личным другом, я служил под его командованием долгие месяцы. Мы вместе были под неприятельским огнем, и я знал многое о жизни этого человека. Он пожертвовал всем – семьей, родиной, материальным благополучием, только чтобы приехать в Испанию и сражаться с фашизмом. Покинув Бельгию без разрешения, вступив в иностранную армию, числясь офицером запаса бельгийских вооруженных сил, а – до этого – помогая нелегально производить боеприпасы для испанского правительства, Копп рисковал, вернувшись на родину, многолетним тюремным заключением. Он находился на фронте с октября 1936 года. Пройдя путь от рядового бойца ополчения до майора, он участвовал во множестве боев, был ранен. Во время майских событий Копп, чему я сам был очевидцем, предотвратил схватку в нашем районе и наверняка спас жизнь десяти-двадцати человек. И за все это они отплатили ему тюрьмой. Злиться – значит тратить время попусту, но я не мог подавить в себе злобы при виде бессмысленности всего происходящего.

Тем временем, они не спешили с арестом моей жены. Хотя она оставалась в «Континентале», полиция ее не трогала. Было очевидно, что ее используют как приманку. Но несколько дней спустя, на рассвете в наш номер нагрянуло шесть полицейских в штатском. Они произвели обыск и забрали все бумаги, до последнего листка, оставив, к счастью, паспорта и чековые книжки. Они забрали мои дневники, все наши книги, газетные вырезки, накопившиеся за несколько месяцев (я часто задавал себе вопрос, зачем они могли им понадобиться), мои военные сувениры, все наши письма. (Полицейские захватили также письма, полученные мной от читателей. На некоторые из них я не успел ответить и, конечно, у меня нет адресов. Если кто-либо написал мне о моей последней книжке и не получил ответа, прошу принять эти строки, как извинение). Позднее я узнал, что полиция забрала также мои вещи, находившиеся в санатории Маурин, в том числе и грязное белье. Они должно быть полагали, что найдут на нем послания, написанные симпатическими чернилами.

Было очевидно, что моей жене лучше всего оставаться в гостинице. Если бы она попыталась исчезнуть, за ней сразу же началась бы погоня. Но мне нужно было спрятаться. Эта перспектива вызывала у меня отвращение. Несмотря на волну арестов, я не мог себя убедить, что мне грозит опасность. Это казалось мне слишком бессмысленным. Подобный отказ принять всерьез эти идиотские аресты привел Коппа в тюрьму. Но я все же продолжал спрашивать себя, за что меня могут арестовать? Что я сделал? Верно, во время майских боев я ходил с оружием, но с оружием ходило тогда, по меньшей мере, сорок-пятьдесят тысяч человек. Мне совершенно необходимо было выспаться, и я готов был рискнуть и пойти в гостиницу, но жена об этом и слышать не хотела. Терпеливо разъясняла она мне положение вещей. Не имеет никакого значения, что я сделал или не сделал. Полиция не охотится за преступниками; наступило царство террора. Я не виноват ни в чем, кроме «троцкизма». Одно

то, что я служил в ополчении P.O.U.M. – вполне достаточное основание для моего ареста. Бессмысленно цепляться за английский принцип: ты в безопасности, если ты не нарушил закон. Здесь законы диктовала полиция. Оставался только один выход – укрыться и замести все следы моей связи с P.O.U.M. Мы просмотрели все документы, которые я носил с собой в карманах. Жена заставила меня порвать ополченское удостоверение, на котором большими буквами значилось P.O.U.M., фотографию группы бойцов, снявшихся на фоне флага P.O.U.M. За такие вещи сейчас сажали в тюрьму. Я не стал рвать свидетельство об увольнении со службы. На нем, правда, стояла печать 29 дивизии, а это было опасно, ибо полиция вероятно знала, что 29 дивизия была поумовская. Но без этого свидетельства меня могли арестовать как дезертира.

Теперь надо было подумать о том, как выбраться из Испании. Не было смысла оставаться здесь, зная, что рано или поздно, все равно попадешь в тюрьму. Сказать правду, и я, и моя жена охотно остались бы в Испании, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Но я догадывался, что испанская тюрьма – вещь паршивая (на деле тюрьмы оказались гораздо хуже, чем я мог себе представить), что попав в тюрьму, никогда не известно, когда ты из нее выйдешь, а здоровье мое никуда не годилось, не говоря о болях в руке. Мы условились встретиться на следующий день в британском консульстве, куда должны были прийти также Коттман и Макнэр. Мы рассчитывали, что на оформление паспортов уйдет несколько дней. Прежде чем выехать из Испании, нужно было проштемпелевать паспорт в трех местах – у начальника полиции, у французского консула и у каталонских иммиграционных властей. Опасен был, конечно, начальник полиции, но мы надеялись, что британский консул как-то уладит все эти дела, не подав вида, что мы были связаны с P.O.U.M. В полиции, конечно, имелся список иностранцев, подозреваемых в «троцкизме» и, вероятнее всего, наши имена значились в этом списке, но в случае удачи можно было все-таки проскочить границу. Ведь Испания – не Германия, испанская неразбериха и mañana давали надежду на благополучный исход. Испанская тайная полиция кое в чем напоминает гестапо, но ей не хватает гестаповской оперативности.

На этом мы расстались. Жена вернулась в гостиницу, а я пошел бродить по улицам в надежде найти место для сна. Настроение, помню, было мрачное, все вокруг мне опостылело. Я мечтал провести ночь в постели! Но пойти мне было некуда. P.O.U.M. практически не имела подпольной организации. Руководители партии безусловно считались с возможностью, что она будет поставлена вне закона, но они не ожидали, что

с моментом запрета развернется «охота на ведьм», которая примет такой размах. Руководство партии понятия не имело о предстоящих событиях и, как ни в чем не бывало, продолжало перестраивать здание P.O.U.M. до того самого дня, когда партия была запрещена. В результате у P.O.U.M. не было ни сборных пунктов, ни явочных квартир, которые должна иметь каждая революционная партия. Кто знает, сколько людей, скрывавшихся от полиции, ночевало в эту ночь на улице. Пять дней тяжелой дороги, во время которой я спал в самых неподходящих местах, давали себя знать; мучила сильная боль в руке, а теперь это дурачье охотится за мной и мне придется снова спать на земле. Этим ограничивались мои мысли. Для политических размышлений в голове не оставалось места. Так со мной бывает всегда. Я заметил, что когда я впутываюсь в войну или в политику, то не ощущаю ничего, кроме физических неудобств и глубокого желания поскорее дождаться конца этой чертовской бессмыслицы. Позднее я смогу оценить истинный смысл событий, но в их ходе мне хочется лишь одного – чтобы они поскорее кончились. Черта характера, возможно, позорная.

Я долго брел по улицам и оказался где-то в районе главной больницы. Я выискивал место, где мог бы спокойно улечься, не опасаясь визита дотошного полицейского, которому вздумается проверить мои документы. Заглянул в бомбоубежище, но оно было только недавно выкопано, – с его стен сочилась вода. Потом я увидел развалины церкви, разграбленной и сожженной во время революции. Сохранился лишь остов – четыре стены без крыши, а внутри груда развалин. Я пошарил в полутьме, нашел какую-то яму и улегся в нее. На осколках кирпича лежать не очень-то удобно, но к счастью ночь была теплая и я поспал несколько часов.

14

Скрываться от полиции в таком городе как Барселона особенно неприятно, ибо все кафе открываются очень поздно. Если спишь на улице, то просыпаешься обычно на рассвете, а ни одно барселонское кафе не открывается раньше девяти. Прошло несколько часов, прежде чем я смог выпить чашку кофе и побриться. Странными казались старые анархистские плакаты на стене парикмахерской, извещавшие, что чаевые запрещены. «Революция разбила наши цепи!» – гласил плакат. Мне захотелось предупредить парикмахеров, как бы им не проморгать и вновь не оказаться в цепях.

Я поплелся в сторону центра. Красные флаги были сорваны со здания P.O.U.M., вместо них там вывесили национальные флаги. В окнах дома Красной помощи на Plaza de Cataluña не осталось почти ни одного стекла. Их выбили, для забавы, полицейские. На поумовских стендах уже не было книг, а рекламный щит на Рамблас украшала антипоумовская карикатура – маска, а под ней фашистская рожа. В конце улицы, возле набережной, я увидел странную картину: целая шеренга ополченцев, еще обтрепанных и покрытых фронтовой грязью, устало вытянулась на стульях перед чистильщиками сапог. Я сообразил, кто они такие и даже узнал одного из них. Это были бойцы P.O.U.M., приехавшие вчера в отпуск с фронта и узнавшие о запрещении партии. Им пришлось ночевать на улице, чтобы уйти от облавы. У ополченца P.O.U.M., очутившегося в эти дни в Барселоне, было только два пути – в тюрьму или в подполье. Малоприятный выбор для человека, пролежавшего три или четыре месяца в окопе на передовой.

Мы оказались в странном положении. Ночью нужно было скрываться, днем – можно было вести почти нормальную жизнь. Каждый дом, в котором жили сторонники P.O.U.M. был, или мог оказаться под наблюдением. Нельзя было также пойти в гостиницу, ибо вышло распоряжение, обязывавшее хозяев гостиниц немедленно извещать полицию о появлении новых лиц. По существу это означало, что спать нужно было на улице. Зато днем, в таком большом городе как Барселона можно было слоняться по улицам, чувствуя себя в сравнительной безопасности. Улицы кишели гражданскими гвардейцами, штурмовыми гвардейцами, карабинерами и обычной полицией, а также неведомым количеством шпиков в штатском. Но и они не могли останавливать всех прохожих, поэтому человек, не особенно бросавшийся в глаза своим видом, мог гулять незамеченным. Нужно было только не вертеться возле зданий P.O.U.M. и избегать тех кафе и ресторанов, в которых официанты знали вас в лицо. Значительную часть дня, да и следующий день, я провел в городской бане. Это позволяло убить время и не особенно мозолить глаза кому не следует. На беду эта мысль пришла в голову многим другим и несколько дней спустя, уже после моего отъезда из Барселоны, полиция совершила налет на одну из бань и арестовала большое число «троцкистов» в костюме Адама.

Идя по Рамблас, я наткнулся на одного из раненых, лечившихся в санатории «Маурин». Мы обменялись незаметным для других кивком головы, привычным для того времени, и сумели, не обращая на себя внимания, встретиться в кафе на этой же улице. Он избежал ареста во время

полицейского налета на санаторий, но, как и другие, оказался на улице. Мой знакомый был в одной рубашке с коротким рукавом – пиджак он бросил во время бегства – и не имел ни гроша за душой. Он рассказал мне, как один гвардеец сорвал со стены большой портрет Маурина и растоптал его ногами. Маурин (один из основателей P.O.U.M.) находился в плену у фашистов, были основания полагать, что его уже расстреляли.

Я встретил свою жену в британском консульстве в 10 часов. Вскоре явились Макнэр и Коттман. Первым делом они сообщили мне, что Боб Смайли умер. Он умер в валенсийской тюрьме; от чего никто точно не знал. Его немедленно похоронили, а Дэвиду Мюррею, представителю I.L.P. в городе, отказали в разрешении осмотреть тело.

Я, конечно, сразу же решил, что Смайли расстреляли. Так в то время думали все. Но теперь я допускаю, что мы ошибались. Позднее, причиной его смерти называли аппендицит, а сидевший с ним заключенный, после выхода из тюрьмы, рассказывал, что Смайли действительно лежал в камере больной. Поэтому не исключено, что у Смайли был аппендицит, а Мюррею не показали тела просто так, на зло. Замечу, однако, что Бобу Смайли было всего двадцать два года и что физически он был одним из самых крепких людей, каких я когда либо встречал. Он был, я думаю, единственным из всех моих знакомых – англичан и испанцев, – кто за три месяца пребывания в окопах ни разу не болел. Такие здоровяки обычно не умирают от аппендицита, если получают необходимый уход. Но увидев испанские тюрьмы – помещения, наскоро переделанные в тюрьмы для политических заключенных, – никто не поверил бы, что в них можно обеспечить какой-либо уход за больными. Эти тюрьмы нельзя было назвать иначе как темницами. В Англии только в восемнадцатом веке можно было найти что-либо подобное. Людей набивали в маленькие комнатушки так, что они не могли даже лечь, часто их держали в подвалах или других темных помещениях. Причем это не было временной мерой – бывали случаи, когда арестованные по четыре или пять месяцев не видели дневного света. Заключенным давали грязную пищу в мизерном количестве – две тарелки супа и два куска хлеба в день. (Несколько месяцев спустя пища как будто немного улучшилась). Я не преувеличиваю. Спросите любого политического заключенного, сидевшего в испанской тюрьме. У меня имеются сведения об испанских тюрьмах из самых различных источников и все они настолько сходны между собой, что сомневаться в их правдивости не приходится. К тому же я и сам несколько раз видел испанскую тюрьму изнутри. Мой английский друг, попавший в тюрьму позже, писал, что

его личный опыт «делает историю Смайли гораздо понятнее». Смерть Смайли простить нелегко. Этот храбрый и одаренный юноша отказался от карьеры в университете Глазго ради того, чтобы приехать в Испанию и сражаться с фашизмом; он вел себя на фронте – я сам тому свидетель – с безукоризненным мужеством. И вот в награду его бросили в тюрьму и обрекли на смерть бездомной собаки. Я знаю, что во время большой и кровавой войны не принято поднимать шум из-за гибели одного человека. Одна бомба, сброшенная с самолета на людную улицу, причиняет больше страданий, чем много политических арестов. Но смерть, подобная смерти Смайли, возмущает своей абсолютной бессмысленностью. Идя в бой, человек считается с возможностью гибели; но оказаться в тюрьме без всякой причины, если не считать таковой слепую злобу, а затем умереть в полном одиночестве – это совсем другое дело. Я не вижу, каким образом подобные вещи, – а случай со Смайли отнюдь не был единственным, – могут приблизить победу.

В этот вечер моя жена и я повидались с Коппом. Можно было получить свидание с заключенным, если его не держали в полной изоляции, но было опасно приходить больше чем раз или два. Полиция следила за приходящими и тех, кто навещал тюрьму слишком часто, брали на учет, как друзей «троцкистов», что вероятнее всего пахло тюрьмой для них самих. Это уже случилось не с одним.

Коппа не держали в камере-одиночке, и мы легко получили разрешение свидеться с ним. Когда нас пропускали сквозь стальные двери тюрьмы, я увидел знакомого мне по фронту бойца ополчения – испанца, конвоируемого двумя гвардейцами. Наши глаза встретились – и снова тот же таинственный кивок. Первым человеком, которого я увидел внутри самой тюрьмы, был американский ополченец, выехавший домой несколько дней назад. Документы у него были в полном порядке, но тем не менее его арестовали на границе, возможно, из-за вельветовых бриджей, которые носили ополченцы. Мы прошли один мимо другого, прикинувшись чужими. Это было ужасно. Я знал американца много месяцев, мы делили один окоп, он помогал нести меня после ранения. Но иначе поступить было нельзя. Всюду сновали гвардейцы в голубых мундирах. Лучше было не показывать, что ты знаешь слишком много арестованных, – подальше от беды.

Так называемая тюрьма представляла собой подвальное помещение бывшего магазина. Две комнаты примерно по двадцать квадратных футов каждая. В них набили человек сто. Мне показалось, что я попал в ньюгейтскую тюрьму, как она изображается на картинках XVIII века.

Та же затхлая грязь, навал человеческих тел, никаких нар – лишь голый каменный пол, одна скамья и несколько драных одеял, тусклый свет, гофрированные стальные ставни загораживали окна. На мрачных стенах нацарапаны революционные лозунги – «P.O.U.M. победит!», «Да здравствует революция!». Здесь уже целые месяцы держали политических заключенных. Оглушали десятки голосов. Был час свиданий. Набралось так много народу, что нельзя было и рукой двинуть. Почти все принадлежали к беднейшим слоям рабочего класса. Женщины развязали жалкие узелки с едой, принесенной мужьям или сыновьям. Среди заключенных было несколько раненых из санатория им. Маурина, в том числе двое с ампутированными ногами. Одного из них привезли в тюрьму без костылей и он прыгал на одной ноге. Я увидел паренька лет двенадцати; видимо, они арестовывали уже и детей. Воздух был пропитан вонью, обычной для помещений без санитарных устройств, в которых держат большое число людей.

Копп протолкался через толпу и подошел к нам. Его упитанное, свежее лицо почти не изменилось; он ухитрился сохранить в этом загаженном помещении свой мундир в чистоте и даже побрился. Среди заключенных был еще один офицер в форме Народной армии; проталкиваясь сквозь гущу заключенных, они козырнули друг другу; в этом жесте было что-то комичное. Копп казался в великолепном настроении. «Ну что же, – сказал он жизнерадостно, – нас, должно быть, всех расстреляют». При слове расстреляют, мурашки пробежали у меня по спине. Совсем недавно в мое тело впилась пуля и память о ней была еще свежа. Не очень-то приятно думать о том, что то же самое случится с человеком, которого хорошо знаешь. В это время я был уверен, что все руководители P.O.U.M., в том числе и Копп, будут расстреляны. Именно тогда до нас впервые дошел слух о смерти Нина и мы знали, что P.O.U.M. обвиняют в предательстве и шпионаже. Все свидетельствовало о том, что последует большой сфабрикованный процесс, а за ним казнь ведущих «троцкистов». Ужасно видеть друга в тюрьме и знать, что ты ничем не можешь ему помочь. Ибо помочь ему было нельзя. Бесполезно было также обращаться к бельгийским властям, ибо Копп, прибыв сюда, преступил законы своей страны. Разговор вела, главным образом, моя жена; в этом шуме – писк, который издавали мои поврежденные голосовые связки, не был бы слышен. Копп рассказывал нам о друзьях, приобретенных им в тюрьме, о надзирателях, некоторые из которых были неплохими парнями, хотя случались и такие, что обижали и били заключенных позапуганнее; вместо еды, – по словам Коппа, – заключенным давали «свиные

помои». К счастью, мы догадались принести пакет съестного и сигареты. Затем Копп рассказал нам об отнятых у него во время ареста документах. Среди них было письмо из военного министерства, адресованное полковнику, командовавшему инженерными частями восточного фронта. Полиция забрала документы и отказывалась их вернуть; хранились они, якобы, у начальника полиции. Может, если бы удалось их вырвать, положение Коппа изменилось бы.

Я сразу же сообразил, какую важность имеет этот документ. Такого рода официальное письмо, содержащее рекомендации военного министерства и генерала Позаса, подтвердило бы безупречность репутации Коппа. Но как доказать факт существования письма? Если письмо распечатали в бюро начальника полиции, можно было не сомневаться, что какой-нибудь негодяй уничтожил его. Получить обратно письмо мог, пожалуй только один человек: офицер, на чье имя оно было адресовано. Копп уже успел подумать об этом и написал полковнику письмо, которое он просил меня вынести украдкой из тюрьмы и послать. Но было ясно, что быстрее и надежнее отправиться к полковнику лично. Я оставил мою жену с Коппом, выбежал на улицу и после долгих поисков поймал такси. Это был бег наперегонки с временем. Была уже половина шестого, полковник наверное кончал в шесть, а завтра письмо могло оказаться Бог знает где – уничтожено или затеряно в хаосе документов, громоздившихся по мере того, как одного за другим арестовывали подозреваемых. Полковник работал в военном министерстве, на набережной. Когда я взбежал по лестнице министерства, штурмовой гвардеец загородил мне дорогу длинным штыком и потребовал «документы». Я помахал моим увольнительным удостоверением. Он вероятно не умел читать и пропустил меня – документ произвел видимо должное впечатление. Внутри помещение напоминало бесконечный лабиринт комнат, вившихся вокруг внутреннего двора; на каждом этаже сотни бюро. Как обычно в Испании, никто не имел ни малейшего представления, где находится кабинет, который я ищу. Я без устали повторял: El coronel –, jefe de ingenieros, Ejército de Este![29] Все улыбались и грациозно пожимали плечами. Каждый посылал меня в противоположном направлении. Я метался вверх и вниз по лестницам, по бесчисленным длинным коридорам, заканчивавшимся тупиками. Я был как в страшном сне: нескончаемые лестницы, таинственные люди, встречавшиеся мне в коридорах, столы, заваленные бумагами, стрекот

[29] Полковник, – начальник инженерных частей, восточный фронт!» (прим. пер.)

пишущих машинок. А время шло, и чужая жизнь висела, быть может, на волоске.

И все же я успел и, к некоторому моему удивлению, меня приняли. Правда, не полковник, но его адъютант или секретарь. Маленький офицерик в ловко сидящей форме, с большими, косящими глазами, вышел ко мне в переднюю. Я изложил ему свою историю: я явился по поручению своего начальника майора Хорге Коппа, посланного с важным заданием на фронт и по ошибке арестованного. Письмо к полковнику носило конфиденциальный характер и его необходимо немедленно забрать. Я долго служил с Коппом, это замечательный офицер, нет сомнения, что арестован он по ошибке, полиция с кем-то его спутала и т. д. и т. д. Я настаивал на том, что Коппа послали на фронт со срочным заданием, понимая, что здесь мой главный козырь. Но все это должно быть звучало странно, на моем варварском испанском языке, с которого я то и дело срывался на французский. Хуже всего то, что мой голос почти сразу же сдал, и я лишь с большим трудом мог издавать какие-то квакающие звуки. Я боялся, что голос пропадет совсем, а маленькому офицеру надоест меня слушать. Потом я часто думал, чем он объяснял мой странный голос – пьянством или нечистой совестью.

Как бы то ни было, он терпеливо дослушал меня до конца, ежеминутно кивая головой, как бы сдержанно соглашаясь с моими словами. Да, вполне возможно, что произошла ошибка. Безусловно, нужно разобраться. Mañana – сказал офицер. Нет, не mañana, – запротестовал я. Дело не терпит отлагательств. Коппа уже ждут на фронте. И снова офицер как бы согласился. И тогда последовал вопрос, которого я боялся больше всего:

– В каких частях служил майор Копп?

– В ополчении P.O.U.M. – прозвучали роковые слова.

– P.O.U.M.!

Смесь удивления и тревоги была в этом восклицании. Следует помнить, на каком положении была тогда P.O.U.M. Шпиономания достигла высшей точки. Возможно, все незадачливые республиканцы день или два даже верили, что P.O.U.M. это ничто иное как одна огромная шпионская организация, которая содержится на немецкие деньги. Произнести слово P.O.U.M. перед офицером Народной армии означало почти то же самое, что явиться в лондонский кавалерийский клуб в дни скандала, вызванного «Красным письмом»[30] и объявить себя коммуни-

[30] «Письмо Зиновьева», опубликованное в английской прессе в октябре 1924 г., представляло собой, якобы, циркуляр Коминтерна о ведении революционной работы в рядах британской армии и организации восстания в стране. (прим. пер.)

стом. Темные глаза офицера скользнули косо по моему лицу. Последовала длинная пауза, после чего он медленно произнес:

– Вы говорите, что были с ним вместе на фронте. Значит и вы служили в P.O.U.M.?

– Да.

Он повернулся и нырнул в кабинет полковника. До меня доходили звуки оживленного разговора. «Кончено», – подумал я. Не видать нам письма Коппа. К тому же я признался, что служил в ополчении P.O.U.M.; сейчас позвонят в полицию и меня арестуют, чтобы прибавить к коллекции еще одного «троцкиста». Наконец, офицер вышел, надел фуражку и сухо предложил мне следовать за ним. Мы отправились к начальнику полиции. Идти надо было довольно долго, минут двадцать. Маленький офицер маршировал впереди меня строевым шагом. За всю дорогу мы не обменялись ни одним словом. Приемная начальника полиции была набита толпой субъектов самого неприятного вида, вероятнее всего, шпиков, доносчиков, продажных шкур всех мастей, топтавшихся у двери. Маленький офицер вошел в кабинет. Последовал длинный возбужденный разговор, иногда слышались яростные крики. Я ясно представлял себе их резкие жесты, поднятие плеч, удары кулаком по столу. Наконец, офицер вышел, красный, но с большим казенным конвертом в руке. Это было письмо Коппа. Мы одержали маленькую победу, которая, – как выяснилось позднее, – ничего не дала. Письмо было доставлено вовремя, но командиры Коппа оказались не в состоянии вытащить его из тюрьмы.

Офицер заверил меня, что письмо будет вручено кому следует. А Копп, – спросил я. – Нельзя ли освободить его из заключения? Офицер лишь пожал плечами. Это совсем другое дело. Причина ареста Коппа неизвестна, но я могу быть уверен в том, что будет проведено необходимое расследование. Больше говорить было не о чем, надо было распрощаться. Мы слегка поклонились друг другу, и тут произошло нечто странное и трогательное. Маленький офицер секунду колебался, потом шагнул вперед и мы обменялись рукопожатием.

Не знаю, смогу ли я передать, как глубоко тронул меня этот жест. Казалось бы, – всего лишь рукопожатие, не больше, но его можно было правильно оценить лишь на фоне того страшного времени, когда всюду царили подозрение и ненависть, ложь и слухи, а многочисленные плакаты вопили со всех сторон, что я и мне подобные – фашистские шпионы. И кроме того, следует помнить, что мы стояли в приемной начальника полиции, а вокруг нас роилась шайка доносчиков и провокаторов, каждый из которых мог знать, что меня разыскивает полиция. Поступок офицера можно сравнить с публичным обменом рукопожатиями с немцем во время первой мировой войны. Маленький офицер, думаю, поверил, что я все же не шпион. И все же, как хорошо, что он пожал мне руку!

Я останавливаюсь на этом рукопожатии, хотя сознаю, что оно может показаться мелочью, ибо вижу в нем проявление сугубо испанской черты – вспышки великодушия, на которую способен испанец в самые грозные минуты. У меня много скверных воспоминаний об этой стране, но я никогда не поминаю лихом испанцев. Всего лишь два раза я по-настоящему сердился на испанца, причем думая теперь об этих случаях, убеждаюсь, что оба раза я был неправ. Есть в этих людях щедрость, род благородства, столь несвойственного двадцатому веку. Именно это наводит на мысль, что в Испании даже фашизм примет формы сравнительно терпимые. Очень немногие испанцы обладают качествами, которых требует современное тоталитарное государство – дьявольской исполнительностью и последовательностью. Своеобразной иллюстрацией к сказанному может служить обыск в комнате моей жены, произведенный за несколько дней (точнее ночей) до случая с испанским офицером. Я жалею, что не стал свидетелем обыска, хотя не исключено, что будь я на месте, я бы, возможно, вспылил.

Полиция вела обыск в традиционном стиле, свойственном ОГПУ и гестапо. На рассвете раздался громкий стук в дверь и в комнату вошло шестеро мужчин. Они включили свет и сразу же заняли «стратегические» пункты в комнате, видимо, по заранее обдуманному плану. Затем полицейские с невероятной тщательностью обыскали обе комнаты (к номеру примыкала ванная). Они обстукивали стены, поднимали половики, ощупывали пол, мяли занавески, заглядывали под ванную и радиатор парового отопления; опорожнив все ящики комода и чемоданы, они рассматривали на свет каждый предмет туалета. Полицейские конфисковали все бумаги, в том числе и содержимое мусорной корзины, а также все наши книги. Обнаружив экземпляр гитлеровского «Майн кампф» на французском языке, они пришли в дикий восторг. Найди они только эту книгу, нас ничего бы уже не спасло, но немедленно за «Майн кампф» полицейские вытащили брошюру Сталина «Методы борьбы с троцкистами и другими двурушниками», которая их несколько успокоила. В одном из ящиков сыщики обнаружили несколько пачек папиросной бумаги. Они разорвали все пакеты и обследовали каждый листок отдельно, в поисках тайных записей. В общей сложности сыщики работали два часа. Но ни разу за все это время они не дотронулись до постели: в постели лежала

моя жена. Под матрасом могло оказаться с полдюжины автоматов, а под подушкой – целый архив троцкистских документов. Полицейские даже не заглянули под кровать. Не думаю, чтобы ОГПУ вело себя подобным образом. Полиция почти безраздельно контролировалась коммунистами, и эти люди были, вероятнее всего, членами компартии. Но помимо этого, они были испанцы, а следовательно, не могли себе позволить поднять женщину с постели. Сыщики молчаливо обошли кровать стороной, что сделало весь их обыск бессмысленным.

В эту ночь Макнэр, Коттман и я спали в густой траве, на заброшенной строительной площадке. Ночь была холодна для того времени года и спали мы мало. Я помню долгие часы бесцельных блужданий, когда мы, проснувшись, убивали время, ожидая, когда, наконец, откроются первые кафе. Впервые за все время моего пребывания в Барселоне я пошел осмотреть кафедральный собор – образец современной архитектуры – одно из самых безобразных зданий в мире. Его украшали четыре зубчатых шпиля, формой напоминавшие винные бутылки. Собор, в отличие от большинства барселонских церквей, не был разрушен во время революции. Кое-кто утверждал, что его пощадили как «художественную ценность». Я думаю, что не взорвав собор, когда была такая возможность, анархисты доказали свой скверный вкус, хотя они и вывесили на его башнях черно-красные флаги. Этим вечером мы с женой пошли в последний раз повидаться с Коппом. Мы не могли ничего для него сделать, ровным счетом ничего – только попрощаться и оставить испанским друзьям деньги, чтобы они могли приносить ему еду и сигареты. Впрочем, вскоре после нашего отъезда из Барселоны, его изолировали, так что ему нельзя было передавать даже еду. Этой ночью, бродя по Рамблас, мы прошли мимо кафе «Мокка», которое все еще держал в своих руках большой отряд гражданских гвардейцев. Внезапно я решился, вошел внутрь и обратился к двум гвардейцам, стоявшим облокотившись на стойку, с винтовками за плечами. Я спросил, не знают ли они, кто из их товарищей дежурил здесь во время майских боев. Они не знали. С обычной испанской неопределенностью гвардейцы ответили, что не знают даже, у кого можно бы навести справку. Я сказал, что мой друг Хорге Копп сидит в тюрьме и возможно, что его будут судить за какие-то дела, связанные с майскими боями. Гвардейцы, дежурившие здесь в мае, знают, что он предотвратил бой и спас несколько жизней. Им следовало бы заявить об этом. Один из гвардейцев, с которыми я разговаривал, был туповатым, неповоротливым парнем, он все время вытягивал шею, стараясь расслышать мой голос в шуме уличного движения. Но его товарищ

был совсем другим. Он сказал, что слышал о поступке Коппа от своих товарищей. Копп – buen chico – хороший парень. Но уже в то время я сознавал, что все мои попытки напрасны. Если Коппа будут судить, то, как и во всех подобных процессах, используют сфабрикованные свидетельства. И если его расстреляют, (боюсь, что это вполне возможно), то слова – buen chico – будут эпитафией Коппа. Слова, произнесенные незадачливым гвардейцем, который был частью гнусной системы, но сохранил в себе достаточно человечности, чтобы оценить благородный поступок.

Мы вели невероятную, сумасшедшую жизнь. Ночью мы были преступниками, а днем – преуспевающими английскими туристами (во всяком случае, такими мы хотели казаться). Даже после ночи под открытым небом, побрившись, выкупавшись, почистив ботинки, мы преображались до неузнаваемости. Наступило время, когда самым безопасным стало придать себе обличье буржуа.

Мы гуляли по наиболее фешенебельным улицам города, где нас не знали в лицо, ели в дорогих ресторанах, вели себя с официантами как типичные английские туристы. Впервые в моей жизни я принялся писать на стенах. «Visca P.O.U.M.!» – выцарапывал я самыми большими буквами, какими только мог, на стенах коридоров в роскошных ресторанах. Несмотря на то, что я практически ушел в подполье, я не чувствовал себя в опасности. Все это казалось мне слишком абсурдным. Во мне жила неистребимая английская уверенность в том, что «они» не могут вас арестовать, если вы не нарушили закона. Нет ничего опаснее такой убежденности в период политического погрома. Имелся ордер на арест Макнэра и можно было полагать, что и мы все числимся в том же списке. Аресты, облавы, обыски продолжались без перерыва. К этому времени почти все наши знакомые, не считая тех, кто еще находился на фронте, оказались в тюрьме. Полиция даже задерживала и обыскивала французские суда, периодически вывозившие беженцев, арестовывая подозреваемых в «троцкизме».

Благодаря любезности британского консула, немало потрудившегося за эту неделю, нам удалось привести наши паспорта в порядок. Мы знали, что чем быстрее мы уберемся отсюда, тем лучше. Поезд в Порт Боу, по расписанию, уходил вечером в половине восьмого, то есть можно было надеяться, что в полдевятого он действительно уедет. Мы решили, что моя жена закажет заранее такси, упакует вещи, заплатит за номер и уйдет из гостиницы в самый последний момент. Если служащие гостиницы заблаговременно узнают об ее отъезде, они неминуемо

известят полицию. Я пришел на вокзал около семи и обнаружил, что поезд уже ушел – без десяти семь. Машинист, как это часто случалось в Испании, решил по-своему. К счастью нам удалось во-время предупредить мою жену. Следующий поезд уходил рано утром. Макнэр, Коттман и я пообедали в маленьком ресторанчике возле вокзала. Из осторожного разговора с хозяином мы выяснили, что он член C.N.T. и дружески расположен к нам. Он дал нам комнату с тремя постелями и «забыл» известить полицию о своих постояльцах. Впервые за пять ночей я спал раздевшись.

На следующее утро моя жена удачно выскользнула из гостиницы. Поезд отошел почти с часовым опозданием. Я воспользовался случаем и написал длинное письмо в военное министерство, в котором изложил историю Коппа, подчеркнув, что его арестовали безусловно по ошибке, что он совершенно необходим на фронте, что множество людей готово подтвердить его полную невиновность и т. д. и т. п. Сомневаюсь, чтобы кто-либо прочитал это письмо, написанное на листках, вырванных из блокнота, корявыми буквами (мои пальцы все еще были частично парализованы), на еще более корявом испанском языке. Во всяком случае, ни письмо, ни другие старания результата не возымели. Я пишу это спустя шесть месяцев после событий. Копп – если его еще не расстреляли – по-прежнему сидит в тюрьме, без суда, без обвинения. Сначала мы получили от него два или три письма, тайком вынесенных освободившимися заключенными и отправленных из Франции. В них рассказывалась все та же история – грязные, темные камеры, скверная пища в недостаточном количестве, тяжелая болезнь в результате условий заключения, отказ тюремных властей оказать медицинскую помощь. Все это получило подтверждение из нескольких других источников – английских и французских. Недавно Копп исчез в одной из «секретных» тюрем, откуда никакие известия не доходят. Его судьба это судьба десятков и сотен иностранцев и никто не знает, скольких тысяч испанцев.

В конце концов мы благополучно пересекли границу. К поезду был прицеплен вагон первого класса и вагон-ресторан, первый, увиденный мной в Испании. До недавнего времени в Каталонии ходили только поезда второго класса. Два сыщика обходили купе, записывая имена иностранцев, но увидя нас в вагоне-ресторане, решили, что мы люди респектабельные и оставили нас в покое. Странно, как все изменилось. Всего шесть месяцев назад, когда власть все еще была в руках анархистов, доверие вызывал лишь тот, кто выглядел как пролетарий. Когда я ехал в Испанию, направляясь из Перпиньяна в Церберес, французский коммерсант, оказавшийся в моем купе, мрачно посоветовал: «Вы не можете явиться в Испанию в таком виде. Снимите воротничок и галстук. Все равно в Барселоне с вас их сорвут». Он преувеличивал, но именно такой представлялась Каталония ушедших дней. На границе анархистский патруль не впустил в Испанию элегантно одетого француза и его жену, кажется, только потому, что они слишком смахивали на буржуа. Теперь все было наоборот. Походя на буржуа, вы были вне опасности. При проверке паспортов на границе полицейские заглянули в список подозрительных лиц, но благодаря скверной работе аппарата, наших имен там не оказалось. В списках не значилось даже имя Макнэра. Нас обыскали с головы до ног, но не нашли ничего подозрительного, кроме моего свидетельства о демобилизации по состоянию здоровья, а карабинеры не знали, что 29 дивизия была поумовской частью. Итак, мы проехали шлагбаум, и после шестимесячного отсутствия я снова оказался на французской земле. Два сувенира вывез я из Испании – флягу из козьей кожи и маленькую железную лампу, в которой арагонские крестьяне жгут оливковое масло. Эта лампа по форме точно напоминала терракотовые светильники, которыми пользовались римляне две тысячи лет назад. Я подобрал ее однажды в разрушенной хижине и каким-то образом лампа оказалась в моем чемодане.

Сразу же выяснилось, что мы выехали в самый последний момент. В первой же газете мы прочитали об аресте Макнэра за шпионаж. Испанские власти несколько поспешили с этим сообщением. К счастью, «троцкизм» не принадлежит к числу преступлений, охваченных соглашением о выдаче преступников.

Я не знаю точно, что следует делать в первую очередь, покинув страну, охваченную войной и вернувшись на мирную землю. Я во всяком случае прежде всего кинулся к табачному киоску и накупил столько сигар и сигарет, сколько мне удалось распихать в мои карманы. Затем мы отправились в буфет и выпили чаю. Впервые за долгие месяцы мы пили чай со свежим молоком. Прошло несколько дней, прежде чем я привык к мысли, что сигареты можно покупать каждый раз, когда появится в них нужда. Мне все время казалось, что на двери табачной лавки вдруг появится надпись: No hay tabaco[31]. Макнэр и Коттман отправились в Париж. Мы с женой сошли с поезда на первой же станции, в Банюльсе, решив немного отдохнуть. Когда в Банюльсе узнали, что мы приехали из Барселоны, прием оказался не очень дружественным. Много раз мне

[31] Табака нет. (прим. пер.)

приходилось вести тот же самый разговор: «Вы приехали из Испании? На чьей стороне вы дрались? На стороне республиканцев? О!» – и сразу заметное охлаждение. Маленький городок был целиком на стороне Франко, что, несомненно, объясняется присутствием многочисленных испанских фашистов, бежавших сюда после начала мятежа. Официант в кафе – испанец-профранкист, подавая мне аперитив, враждебно мерил меня глазами. Совсем по-иному встретили нас в Перпиньяне, где все были сторонниками республики, а многочисленные республиканские фракции грызлись между собой не хуже, чем в Барселоне. Было здесь кафе где слово P.O.U.M. сразу же обеспечивало вам французских друзей и улыбку официанта.

В Банюльсе мы оставались, сколько мне помнится, три дня. Это были странные беспокойные дни. Нам, казалось, следовало бы чувствовать глубокое облегчение и благодарность – мы оказались в тихом рыбачьем городке, вдалеке от бомб, пулеметов, очередей за продуктами, пропаганды и интриг. Но чувство облегчения не приходило. Мы покинули Испанию, но испанские события не покидали нас. Наоборот, все казалось теперь еще более живым и близким, чем раньше. Мы, не переставая, думали, говорили, мечтали об Испании. Месяцы напролет мы говорили себе, что «когда выберемся наконец из Испании», то поселимся где-нибудь на средиземноморском побережье, насладимся тишиной, будем, быть может, ловить рыбу. И вот теперь, когда мы оказались здесь, на берегу моря, нас ждали скука и разочарование. Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, гнавший мелкие, мутные волны, прибивая к набережной грязную пену, пробки и рыбьи потроха. Это может показаться сумасшествием, но мы с женой больше всего хотели вернуться в Испанию. И хотя это не принесло бы никакой пользы, даже наоборот, – причинило бы серьезный вред, мы жалели, что не остались в Барселоне, чтобы пойти в тюрьму вместе со всеми. Боюсь, что мне удалось передать лишь очень немногое из того, что значили для меня месяцы, проведенные в Испании. Я дал внешнюю канву ряда событий, но навряд ли сумел передать те чувства, которые они вызвали во мне. Мои воспоминания безнадежно смешались с пейзажами, запахами и звуками, которых не передать на бумаге: запах окопов, рассвет в горах, уходящий в бесконечную даль, леденящее потрескивание пуль, грохот и вспышки бомб; ясный холодный свет барселонского утра, стук башмаков в казарменном дворе в те далекие декабрьские дни, когда люди еще верили в революцию. Очереди за продуктами, красные и черные флаги, и лица испанских ополченцев; да, да – прежде всего лица испанских ополченцев,

– людей, которых я знал на фронте и нынче разбросанных Бог знает где: одни убиты в бою, другие искалечены, третьи в тюрьме, но большинство, я надеюсь, живы и здоровы. Желаю им всем счастья. Я надеюсь, что они выиграют свою войну и выгонят из Испании всех иностранцев – немцев, русских и итальянцев. Эта война, в которой я сыграл такую мизерную роль, оставила у меня скверные воспоминания, но я рад, что принял участие в войне. Окидывая взором испанскую катастрофу, – каков бы ни был исход войны, она останется катастрофой, не говоря уже о побоищах и страданиях людей, – я вовсе не чувствую разочарования и желания впасть в цинизм. Странно, но все пережитое еще более убедило меня в порядочности людей. Надеясь, что мой рассказ не слишком искажает действительность, я все же убежден, что, описывая такие события, никто не может оставаться совершенно объективным. Трудно быть убежденным до конца в чем-либо, кроме как в событиях, которые видишь собственными глазами. Сознательно или бессознательно каждый пишет пристрастно. Если я не предупредил моих читателей раньше, то делаю это теперь: учитывайте мою односторонность, мои фактические ошибки, неизбежные искажения, результат того, что я видел лишь часть событий. И учитывайте все это, читая любую другую книгу об этом периоде испанской войны.

Чувство, что нужно что-то делать, хотя ничего, собственно, сделать мы не могли, выгнало нас из Банюльса раньше, чем мы предполагали. С каждой милей к северу, Франция становилась все зеленее и мягче. Мы покидали горы и вино, мчась навстречу лугам и вязам. Когда я проезжал Париж на пути в Испанию, город показался мне разлагавшимся и мрачным, совсем не похожим на тот Париж, который я знал восемь лет назад, когда жизнь была дешевой, а Гитлера не было еще и в помине. Половина кафе, в которых я сиживал в свое время, были закрыты из-за отсутствия посетителей, и все были одержимы мыслями о дороговизне и страхом войны. Теперь, после нищей Испании, даже Париж показался веселым и процветающим. Всемирная выставка была в полном разгаре, но нам удалось избежать посещения.

И потом Англия – южная Англия, пожалуй, наиболее прилизанный уголок мира. Проезжая здесь, в особенности, если вы спокойно приходите в себя после морской болезни, развалившись на мягких плюшевых диванах, трудно представить себе, что где-то действительно что-то происходит. Землетрясения в Японии, голод в Китае, революция в Мексике? Но вам-то беспокоиться нечего – завтра утром вы найдете на своем пороге молоко, а в пятницу, как обычно, выйдет свежий номер

«Нью стейтсмена». Промышленные города были далеко, выпуклость земного шара заслоняла грязные пятна дыма и нищеты. За окном вагона мелькала Англия, которую я знал с детства: заросшие дикими цветами откосы железнодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груди вязов, кусты живокости в палисадниках коттеджей; а потом густые мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной реке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх – я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб.

1938

«Ныне все пишущие и говорящие барахтаются в грязи,
а такие вещи, как интеллектуальная честность
и уважение к оппоненту, больше не существуют..»
Джордж Оруэлл

ПОНЯТЬ ОРУЭЛЛА...

Ночевали ли вы на улице? На площади в ворохе газет, в коробке картонной, да просто – под забором? Вы – приличные и ухоженные? Ночевали ли нарочно, специально выходя в ночь, чтобы превратиться в бомжа, бродягу, нищего, в то что на всех языках мира зовут «человеческим отбросом»?..

Вопросы не без умысла. Ибо в Барселоне, в далекой Испании и ныне есть площадь имени человека, который ночевал на ней как последний бомж. Человека, который и в Лондоне специально шел на Трафальгарскую площадь, чтобы встретить утро, лежа под газетами, писателя, который в тайне от родных переодевался у друзей в рванье, чтобы хоть раз, но попасть все-таки в тюрьму и узнать, как там относятся к тем, кого и за людей не считают. Это вот считал главным своим долгом. Потому что он – Оруэлл! Личность, чьи книги и через полвека после смерти, как показал один из опросов, идут на 3-м месте после Библии и сочинений Маркса.

«Чего я больше всего хочу, – признался как-то Джордж Оруэлл, – так это превратить политическую литературу в искусство... И когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Хочу создать произведение искусства». Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и есть желание – первая моя забота – постараться быть услышанным...» В этом и кредо, и смысл существования его, и главная цель жизни.

Я когда-то писал о нем диссертацию, об антиутопиях и – о нем. Защитил ее в 1985-м, ровно через год после рубежной для Оруэлла даты, когда мир, по его предсказанию, должен был окончательно рухнуть в ад. Так он «пророчил», специально назвав свой роман цифрами – «1984». Мир в тот далекий уже год, к счастью, не рухнул. Но что-то в нем и в нашей стра-

не, которая в ряду других сверхдержав стала «предметом» повествования Оруэлла, уже тогда непоправимо сдвинулось. К лучшему, или худшему сдвинулось – вам судить. Мне же главный специалист по его творчеству Виктория Чаликова, за полгода до своей смерти, успела сказать странную вещь: «Честно говоря, – призналась она, – я бы не хотела, чтобы наше общество прочитало и осмыслило Оруэлла до дна. В массовом порядке это может произойти только тогда, когда общество убедится: та альтернатива, какую сегодня предлагает идейный авангард этого общества, альтернатива прошлому тоталитаризму, она тоже не гуманистична, не человечна, она не даст простому человеку того, что он хочет...»

Доросли ли мы до глубокого понимания Оруэлла? Вкусили ли полной ложкой той «альтернативы» тоталитаризму, какую видим ныне вокруг? И что там бормочет-пророчит человеку наш нынешний идейный авангард, рвущиеся в вожди ловкачи, приспособленцы и идеологические шулеры? Пророчат о счастье и справедливости – «дистиллированной справедливости» мира – может, главной заботе великого Оруэлла?

КРИСТАЛЬНЫЙ ДУХ

Да, он велик! Пусть одни плюются и выбрасывают его книги, а другие – возносят до небес. Велик и само имя его – как пароль для думающих. Изданный на родине в 20 томах (5 романов, сказка-памфлет, 4 документальных повести, сборник стихов, дневники, письма и 4 тома критики и публицистики), переведенный на 65 языков, экранизированный, введенный в школьные программы и ежегодно перекрывающий всеобщие «индексы цитирования», Оруэлл и впрямь велик. Это ныне его письма, того, кто, работая посудомоем, зарабатывал доллар в сутки, продали в Лондоне за рекордную, вдвое превышавшую стартовую цену в 125 тысяч. А когда-то в СССР книги его переписывали от руки, и даже за чтение их давали реальные сроки. Тоже – критерий славы – рисковать свободой, чтобы прочесть... Но писать о нем – трудно. Он ведь просил друзей не «создавать» его биографии. Тоже показатель, если помнить, что писатели ныне, «пиара» ради, готовы хоть повеситься. Вселенские «проекты», подковерные драки за премии, публикации при жизни дневников каждого чиха своего, все эти презентации, перформансы, промоушены, ток и чмок-шоу. А Оруэлл не только не стремился – бежал этого. К счастью, друзья не послушались его и ныне существует почти десять его биографий. Одна из них, написанная его многолетним другом называется – «Беглец из лагеря победителей». А самую первую профессор Джордж Вудкок вообще назвал «Кристальный дух». «Daily Telegraph» тогда же написала: «Он и был «кристально чист духом». Ничто из того, что он говорил, не утратило силы, ничто из того, что он делал, нельзя игнорировать». И почти молитвенно добавила: «Это такой автор, личность которого сияет во всем, что он говорил и писал». Сияет! Да уж не святой ли он?

...«Святой» должен был умереть в Испании. Пуля прилетела из-за бруствера в 5 утра и пробила ему шею. Это случилось под Уэской, после семи месяцев его личной войны против Франко. Он был уже капралом и под его началом было 30 бойцов – таких же необученных и таких же – пламенных. Днем, обложившись мешками с песком, они гнили в окопах (остатки брустверов до сих пор сохранились в горах), готовили еду на жиденьких кострах, чистили винтовки, мурлыкая под нос революционные песенки (каждый на своем языке), а по ночам ходили в рейды и брали в плен фашистов. В горах до сих пор есть тропа, которую так и зовут – «тропой Оруэлла». И вот – утренняя пуля, он как раз инструктировал смену часовых.

«Мешки с песком, – вспоминал он, – вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко». Часовой-американец, с которым он только что говорил, нагнулся к нему: «Эй! Да ты ранен!..» Потом попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Оруэлл потянулся достать его, но понял: правая рука парализована. «Ничего у меня не болело, – напишет, – и я почувствовал какое-то странное удовлетворение. Это понравится моей жене, – подумал он. – Она всегда мечтала, что меня ранят, а значит – не убьют в бою...» Но когда его приподняли, изо рта хлынула кровь. Он понял – песенка его спета. Он никогда не слышал, чтобы человек или зверь выживали, получив пулю в шею, а значит – жить ему оставалось несколько минут. Запомнил: ему не хотелось покидать этот мир, который, несмотря на все недостатки, его устраивал. «Я подумал также о человеке, подстрелившем меня, – кто он? Поскольку он фашист, я бы его убил, но если бы его привели, я поздравил бы его с удачным выстрелом...»

Поздравить не смог бы, ибо почти сразу выяснилось: у него пропал голос. Через 8 дней врач, ухватив его язык куском шершавой марли и, вытащив его, так что у него брызнули слезы, скажет: одна из голосовых связок парализована. «А когда вернется голос?» – беззвучно спросит Оруэлл. «Голос? – переспросит тот и весело добавит: – Никогда не вернется...» К счастью, врач ошибся: голос и в прямом, и в переносном смысле к нему вернется, и он расскажет о гражданской войне в Испании, как никто.

Это была и поныне единственная война человечества ради «смысла жизни» и – за «человеческое достоинство». Потом будут войны за родину, против колонизаторов, за свои и чужие богатства, территории, ресурсы. А тут в окопах вечно пахнущих «калом и гниющей пищей», битва за «смысл жизни» свела добровольцев со всего мира: интеллектуалов, художников, философов, киношников. В траншеях под Уэской, Теруэлем и Мадридом сидели, считайте, и ироничный плейбой Хемингуэй, и чистюля-аристократ Экзюпери, и будущий маршал, министр обороны СССР Родион Малиновский, и совсем уж «гражданский» Илья Эренбург. Эренбург и скажет потом: «Если для моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании». А Оруэлл на вопрос за что дрался, ответит: «За всеобщую порядочность...»

Странная это была война. Когда в 1936-м громыхнули первые выстрелы ее, все антифашисты Европы вздохнули с надеждой. Наконец-то нашлась страна, вступившая в схватку с фашизмом, ведь мир годами уже уступал ему. Японцы хозяйничали в Маньчжурии, Гитлер резал своих противников в Германии, Муссолини бомбил абиссинцев, а 53 государства лишь причитали на сессиях и ассамблеях: «Руки прочь!» И вот – когда и в Испании вспыхнул путч Франко против умеренно-левого правительства, все вздрогнули. Еще и потому вздрогнули, что война против Франко, против фашизма, почти сразу обернулась и революцией. Народ поднялся и за свободу от Франко, и – против капитализма того законного правительства, которое и защищал от фашизма. Крестьяне захватили землю, профсоюзы заводы, а священников и аристократов, поддержавших Франко, изгоняли или вообще – убивали. Мир в Испании почти сразу разделился не на 2 – на 4. На фашистов и демократов, а демократы, в свою очередь, на тех, кто за капитализм и кто – против. Русская эмиграция в Париже и Лондоне и та раскололась: одни полетели защищать Франко, другие – в интербригады, третьи в батальоны революционеров. Короче, каша заварилась та еще!

Оруэлл приехал в Барселону, как корреспондент. Город поразил его. Это был один вскинутый кулак: «Вива ля Республика!» «Я впервые с радостью дышал воздухом равенства». Все дома были в красных, либо в красно-черных флагах анархистов, на стенах намалеваны серп и молот и даже ящики чистильщиков сапог были красно-черными. Никто не говорил «синьор» или «дон» – «товарищ». В парикмахерских – плакаты: «Рабов больше нет!». Богатые испарились, легковушки реквизированы, чаевые запрещены законом, а последних проституток лозунги призывали перестать заниматься этим «грязным делом». И песней для рабочих

звучали имена вождей: Долорес Ибаррури, Андре Нин, Энрике Листер. «Многое в этом мне было непонятно, – напишет Оруэлл, – и даже не нравилось, но я сразу понял: за это стоит бороться...»

Ему было 33. Он почти сразу оказался в «казармах им. Ленина», где готовили к войне бойцов из ПОУМ – Объединенной марксистской рабочей партии, партии профсоюзов, членов которых считали анархистами, а затем – на Арагонском фронте, в отрядах, где в основном были испанские дети, мальчишки не старше 17-ти лет. Воинственная колонна их по пути к передовой растянулась чуть ли не до горизонта (кое-как одетая: на 100 человек – 12 шинелей, которые выдавались лишь часовым, кое-как вооруженная – они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но не больше). Мальчишки всю дорогу скандировали лозунги. Им эти крики казались грозными и страшными, но в детских устах они напомнили Оруэллу «мяуканье котят». Их и будут убивать, как котят, когда они начнут отчаянно драться за «дом Моникомо», который 115 дней будет переходить из рук в руки. Дом, который окажется «лечебницей для умалишенных». Сумасшедшая война за сумасшедший дом! У его стен Оруэлл впервые выстрелит в человека (до того стрелял только в слона в Индии), здесь 7 часов пролежит однажды в болоте и тут, взяв 3 гранаты (больше не давали) и сигару-талисман, присланную женой, не раз ходил в атаку. Одна из атак стала рукопашной. «Этот один раз, – напишет он, – был больше, чем одному человеку нужно за всю жизнь». И запоздало удивится, как вообще они, интеллигенты до мозга костей, мгновенно научились обходиться без носовых платков, хлебать еду из тех же мисок, из которых умывались, и месяцами спать не раздеваясь.

Войну за «сумасшедший дом» они проиграют. Как проиграют войну за еще один дом, который и поставит точку в битве против Франко. Сражение за «Телефонику», за телефонную станцию в центре Барселоны, когда вспыхнет «война в войне»: драка между своими – между правительством социалистов и анархистами профсоюзов. Оруэлл как раз 2 мая 37-го года приедет с фронта, чтобы встретиться с женой, бросившей в Лондоне, ради Испании, диссертацию по психологии. Приедет – и не узнает города. Официанты снова нацепят крахмальные манишки, всюду вернуться чаевые, а улицы, вместе с толстяками, сытыми дельцами, и элегантными женщинами, вновь заполонят открытые кабаре и шикарные публичные дома. На Оруэлла, чья кожаная куртка была в лохмотьях, шерстяная шапочка потеряла форму и съезжала на правый глаз, а от ботинок остались лишь шнурки, нарядные «хозяева жизни» взирали

почти возмущенно. А через день, как раз 3 мая, и начнется новая каша – борьба за «Телефонику», где был штаб ПОУМ, располагалась редакция газеты профсоюзов «Ля Баталья» и где, кажется, находился Нин, вождь анархистов. Вот тогда Оруэлл, контролируя ситуацию на бульваре Рамблас, вместе с десятком других бойцов три дня проведет на крыше кинотеатра «Полиорама». Там, кстати, познакомился с Хербертом Фрамом, выдававшим себя за норвежского журналиста, а на деле оказавшимся Вилли Брандтом, да-да, тем самым, который в 1969 году станет федеральным канцлером ФРГ, а потом и лауреатом Нобелевской премии мира. Строительство баррикад, уличные перестрелки, полицейские патрули – всё это Оруэлл опишет в своей книге «Памяти Каталонии». Но главное – опишет облавы на ПОУМ, партию которую в одночасье объявят «троцкисткой», а вскоре вообще – замаскированной фашисткой партией. В один-два дня десятки тысяч рабочих, в том числе восемь тысяч бойцов, мерзших в окопах, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию сражаться с фашизмом, оказались коварными «предателями». Каково, пишет Оруэлл, было видеть 15-летнего испанца, раненого в окопах, его побелевшее лицо и думать о прилизанных ловкачах в Париже и Нью-Йорке, которые как по команде принялись строчить памфлеты, в которых доказывали, что и этот паренек – переодетый фашист, а профсоюзы Барселоны и ПОУМ – «пятая колонна» и вообще – «кровавые убийцы»? И первым – из песни слова не выкинешь! – заклеймил рабочих «наймитами Франко и Гитлера» – СССР, наша страна, которая на правах поставщика оружия, диктовала условия. Невероятно, но приказ Кремля гласил: «Предотвратите революцию, или не получите оружия». Почему? Да потому что за революцию был Троцкий, а лидер ПОУМ Андре Нин был, пишут, когда-то его секретарем. Мог ли Сталин, как раз в 1937-м уничтожавший у себя троцкистов, быть за такую революцию?! Хотя кремлевского вождя – «лучшего друга испанцев» – интересовал, думаю, лишь «золотой запас» страны, который нам-таки удалось «под шумок» вывести в СССР. Какие там революции и братская помощь – голый цинизм и холодный расчет. Недаром всем в Барселоне стали заправлять люди из НКВД: какой-то зловещий толстяк с Лубянки, по кличке «Чарли», и резидент в Испании, генерал Орлов – единственная русская фамилия, встретившаяся мне в книге Оруэлла о событиях в Каталонии. Вы удивитесь, но по иронии судьбы, как стало известно относительно недавно, против писателя Оруэлла там в Барселоне воевал не только Орлов, написавший потом мемуары, но и два командированных в Испанию «энкавэдешника», тоже ставших писателями: Лев Тарасов, написавший потом книгу «Испанская хроника Григория Грандэ» (в миру – Л.П.Василевский, «мастер грязных дел», ставший потом резидентом НКВД в Париже, а затем и в Мексике), и – «товарищ Альфред» – Станислав Ваупшасов (в миру – Ваупшас, будущий полковник госбезопасности, выпустивший в свет «Записки чекиста»). Именно к ним, к таким как они новым «победителям», почуяв силу, потянулись интеллектуалы Запада, а затем и «перебежчики» в Испании. Но когда и Оруэллу, решившему вернуться на фронт, его приятель-коммунист предложил перейти в интербригаду, он возразил: «Но ведь ваши газеты пишут, что я фашист». – «О, это не важно, – отмахнется приятель, – ты же только выполнял приказ». Но Оруэлл уже знал: перейди он к коммунистам, его рано или поздно заставят воевать против рабочих. А уж если стрелять, то он предпочел бы стрелять в их врагов. Именно здесь, в Испании окончательно сложилось его мировоззрение – позиция вечного «беглеца из лагеря победителей»...

Он вернется в Барселону еще раз, с забинтованной после ранения шеей. Войдет в «Континенталь», в отель, где еще недавно в штабе ПОУМ работала Эйлин, его жена, и почти сразу увидит ее, сидящую в холле. Его поразит как нарочито непринужденно она подойдет к нему. Обняв его и, не переставая очаровательно улыбаться людям, сидящим в холле, она шепнет ему: «Уходи!» – «Что?» – переспросит он. «Немедленно уходи отсюда! Не стой здесь!..» У выхода его догонит знакомый француз: «Слушай! Исчезни и спрячься, пока они не вызвали полицию». Уже на улице он спросит Эйлин: «Что все это значит?» – «ПОУМ вне закона, – ответит она. Почти все в тюрьме. Говорят, начались массовые расстрелы...» Выяснилось, что Андре Нин тайно убит (дело рук Орлова и его «командос»), что было, якобы, «доказано», что он по радио передавал военные секреты Франко. Эйлин рассказала, что исполком ПОУМ арестован и что у всех его членов «нашли» симпатические чернила для связи с фашистским подпольем, а саму Эйлин не арестовали лишь потому, что она служила «приманкой» для него. Вот тогда-то, чтобы не угодить в застенок, Оруэлл и стал ночевать на улицах, в какой-то разрушенной церкви на площади, которую потом назовут его именем, и впервые в жизни, всюду, где мог, озираясь и удивляясь на себя, царапать кирпичом на стенах: «Да здравствует ПОУМ!» А когда узнал, что сочувствующие коммунизму либералы в Европе, тот круг журналистов, с которым был знаком, не только оправдывали сей поворот фразами, типа: «Справедлив он или нет, но это мой социализм», не только не возмущались казнями в Испании и в СССР, но и попивая

кофе по гостиным и глубокомысленно качая ножками, болтали, что «это необходимо» и «убийства оправданы», то понял: в мире родилось и окрепло новое «господствующее течение», и он, сам либерал из либералов, разумеется, будет против него. «Война научила меня, – скажет, – что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая... С тех пор каждая моя строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм». Правда, добавит: «Как я сам его понимал...»

В июле ему с женой удастся бежать. Перед этим, рискуя жизнью, он попытался вырвать из тюрьмы одного бельгийца – друга и однополченца. И лишь потом они с женой стали тайком пробираться к вокзалу. Два сыщика и полиция обходили состав, отправлявшийся во Францию, ища «поумовцев», «но, увидя нас в вагоне-ресторане, решили, что мы люди респектабельные». Всего семь месяцев назад, когда он ехал в Испанию, сосед по купе, как раз француз, мрачно посоветовал ему: «Снимите воротничок и галстук. Там их сорвут с вас». Теперь всё было – наоборот. Походя на буржуа, любой оказывался в относительной безопасности...

В Англии он напишет книгу «Памяти Каталонии». Честно разберется в этой «каше». Так честно, что издатель его откажется печатать ее, и будет орать на него: «Зачем вы напичкали хорошую книгу всей этой чепухой: газетными цитатами, цифрами, доказательствами?» Но Оруэлл знал: лишь немногие в Англии догадывались, что убиты были тысячи совершенно невинных людей. «Если бы я не был возмущен этим, – скажет, – я бы никогда не написал эту книгу...»

«За окном мелькала Англия, которую я знал с детства, – заканчивал он книгу. – Заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, палисадники коттеджей; а потом мирные джунгли лондонских окраин, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади... Англия спит глубоким, безмятежным сном». И вывел последнюю фразу книги: «Иногда на меня находит страх, я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб...»

Через два года бомбы посыпались и на Лондон. Началась вторая мировая. Пророчество его сбылось. Потом, уже при нас, западные литературоведы подсчитают: из 137 предсказаний в книгах Оруэлла 100 – осуществилось! Как вам процент «попаданий»? И не «отдыхает» ли рядом с нашим святым сам Нострадамус?

«МАСШТАБ ЦИВИЛИЗАЦИИ» – ПОРЯДОЧНОСТЬ

Одна сценка из жизни мучила его на склоне лет. Он как-то в деревне увидел 10-летнего мальчугана, который тонким прутиком гнал по тропе огромную лошадь и бил ее, когда она пыталась свернуть в сторону. «Меня поразило, – напишет, – что, если бы животные осознали свою силу, мы не смогли бы властвовать над ними, и что люди эксплуатируют животных почти так же, как богачи эксплуатируют пролетариат...»

Мальчик и лошадь?! – взглянуть и забыть. Но лишь у него картинка эта превратится в яростную сатиру на «коммунизм», на сталинщину, в текст, где прямо, неуклончиво будет сказано о новой наседающей на мир лжи, насильно присваивавшей себе имя правды. В сказку-памфлет «Скотный Двор». В разоблачение извечной победы сильных над слабыми, хитрых над простодушными, властных – над добрыми. Фантастика, но и ее, эту книгу, вновь запретят на «свободном» Западе. Два года, до 1945-го, не будут публиковать ни в Англии, ни в Америке, ибо интеллектуалы, «креативный класс», сочувствовали тогда социализму и закрывали глаза на сталинский террор. Еще и потому закрывали, что «дядя Джо» (на деле, конечно, не Сталин, а русский народ) как раз ломал в это время хребет Гитлеру. Неудивительно, что даже жена издателя его в истерике наскакивала на мужа: «Я разведусь с тобой, если ты опубликуешь это!..»

Вообще-то его звали Эрик, а не Джордж. И не Оруэлл, а – Блэр. В семье он был средним из детей, а семья была из среднего класса: из «низшей прослойки верхнего слоя среднего класса» – так заковыристо выразится он. Родился, представьте, в Бенгалии. В семье английского служащего, выходца из аристократического, но обедневшего рода, в семье, по сути, колонизатора: Индия была колонией Британии. В 5 лет сочинил первое стихотворение про тигра; мать записала его. В нем зубы у тигра были похожи на «стулья» и это было – «неплохим сравнением». А вообще с детства был настолько одинок, что рано выработал привычку не только сочинять про себя «разные истории», но и «разговаривать с воображаемыми собеседниками». В 11-ть в местной газете напечатает первый стих, в 14 напишет аж целую пьесу в стихах – «подражание Аристофану», а в 30 уже лет скажет в стихах: «Я в этом времени – чужой...» Лучше бы написал: «другой». Совсем другой. Ведь я, например, в жизни не встречал никого из пишущих, кто бы взял псевдоним, лишь потому, что ему «неприятно видеть свое имя в печати». И чем это отличается от его ухода под «заборы и мосты», от жизни в ночлежках, дабы сравнять-

ся с бедняками, от слов, что и «годовой доход в несколько сот фунтов», казался ему «морально отвратительным, вроде сутенерства» и от признания, что «жизненная неудача», т.е свой же крах, представлялась ему в 1930-х «единственной добродетелью».

Это было до Испании, в Париже. Он уже послужил полицейским в Бирме, тоже английской колонии, где пережил «невыносимое чувство вины», стрелял в слона, но не на охоте, ради забавы, а спасая полуголых туземцев от взбесившегося животного, а однажды присутствовал при казни тощего индуса с бритой головой и не ответил смехом на смех, когда ему сказали, что осужденный, узнав о приговоре, описался: «Прямо на пол, через штаны», – заливался от хохота охранник. Короче, перевидал всё и в Париж приехал, твердо решив стать политическим писателем. Казалось бы, в чем проблема? Садись и пиши, дыши воздухом «мекки творчества», а по вечерам – опрокидывай порции виски у каждой стойки, как Скотт Фицджеральд. Но нет же, он сначала от бедности, а потом уже специально идет в судомои. Так рождалась его первая книга, ибо ниже рабов, как он понял, в Париже в то время просто не было.

Первым адом его стал ресторанчик при отеле с невинным именем «Три воробья». «Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов 45 и потолок, не позволявший распрямиться». – «Англичанин, да? – рявкнул ему официант, присматривающий за судомоями, и энергично показал кулак. – Давай трудись! – Станешь отлынивать, рога сверну, понял?..» Посуда, уборка, чистка ножей и снова – горы посуды, да кусок черного мыла, которое не мылится. Чад, огненные блики, пот, железо раскаленное, 13 часов у раковин. «Откуда ты, сучье отродье?» – орет ему шеф-повар. А Оруэлл лишь считал: за день его обозвали «сутенером» 39 раз. Ау, Фицджеральд, Хемингуэй! – где в эти минуты вы смакуете свой виски?! Ведь Париж – это «праздник», не так ли? Вы лишь не знали, «зажигая» по ресторанам, что любой повар-француз способен плюнуть в ваш суп, что бифштекс он «поправляет» на тарелке пальцами, а официант потащит его вам, окунув в соус уже целиком сальные клешни, которыми поминутно приглаживает набриолиненную голову. Когда один из них на глазах Оруэлла уронил в шахту лифта жареного цыпленка, на опилки, корки и мусор, «птичку» обтерли тряпкой и тут же вновь отправили наверх, к богатенькому клиенту. Это, кстати, Оруэлл видел уже в другом ресторане, в том, который входил в дюжину самых роскошных в Париже. А позже вообще рискнет ставить на себе смертельные эксперименты: можно ли прожить на 30 шиллингов в месяц, втереться

в «ряды» попрошаек-нищих, выжить в грязных ночлежках Лондона, и что испытывает в тюрьме в первую же ночь бродяга, «взятый» на заплеванной мостовой у теплого люка. «Однажды он пришел ко мне домой, – вспоминал Р.Рис, – и попросил разрешения переодеться. Оставив свою приличную одежду у меня в спальне, он появился одетый чуть ли не в лохмотья. Ему хотелось, пояснил он, узнать, как выглядит тюрьма изнутри; он надеялся, что увидит ее, если будет задержан». Заметьте: это не тот ловкий трюк под названием «журналист меняет профессию», который скоро научатся делать щелкоперы и на Западе, и у нас, когда заранее договариваются с начальством о «шпионе» из газеты. Нет, Рис пишет, что Оруэлла всерьез беспокоило только одно: как бы, устраиваясь на ночлег в каком-нибудь «доме призрения», среди небритых бродяг, калек и безработных, его не «выдал» бы безупречный итонский слог – он ведь после школы Св.Киприана, закончил привилегированный колледж в Итоне, готовивший к славной карьере элиту Британии. Короче, бегство «из мира респектабельности» мыслилось всерьез. Не протест против «жирных» – бунт сродни толстовскому. Восстание совести ради сохранения органичности взгляда и поступка, какой-то видимой ему одному целостности личности.

«Отношение ко мне круто изменилось, – напишет Оруэлл в книге «Фунты лиха в Париже и в Лондоне». – Под мостом ежились, отражаясь в дрожащих лужах, десятки человек. Отбросы. Помню одного – подвязанное веревкой пальто, рваные брюки и ботинки, из которых торчали голые, даже не обмотанные пальцы. Он все время почесывался, соскребая с груди и плеч жуткую черную гадость вроде мазута... Не забуду, с каким видом служанка вынесла нам поднос и, обомлев от страха, поставив наш чай прямо на дорогу, бросилась обратно в дом скорей закрыться... Нас рассматривали, как рыб в аквариуме... Особенно менялось поведение женщин. Их передергивало, они брезгливо шарахались от нас, как от дохлых кошек...» А его не передернуло – вывернуло наизнанку, когда в ночлежке их повели на помывку. «Полсотни грязных, голых людей толклись в помещении шесть на шесть с двумя ваннами и двумя склизкими полотенцами на роликах... Вонь от разутых бродяжьих ног, – писал он, – мне не забыть вовеки... Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, мне гавкнули: «Заткни е..... пасть и полезай!..» Зато в ночлежке давали ужин: полфунта хлеба с маргарином и пинту горького, без сахара, какао в жестяной кружке. И то, и другое Оруэлл, сидя на полу, умял в секунду.

Чокнутый – скажете?! Да нет, он признавался, что любит, как и мы английское пиво, камины, свечи, уютные кресла, да еще «огородничество». Просто от рождения он был «ранен» идеями равенства и справедливости – этими первыми «беглянками» из лагерей любых победителей. Недаром пишут: «он хотел быть голосом бессловесных, покорных жертв: детей, китайских кули, бродяг, безработных шахтеров, индусов, идущих на виселицы, каталонских крестьян и любых осужденных любыми революционными трибуналами». Недаром один из биографов его недвусмысленно заявил: «масштабом цивилизации» для Оруэлла всегда была «простая порядочность».

– Ну и как вы подпишите свою книгу про «собачью жизнь»? – спросили в издательстве. – Подумайте о родителях, ведь они узнают про эти «трущобы»?

– Я всегда, бродяжа, пользовался фамилией П.С.Бартон, – ответил Оруэлл. – Но если вы считаете это имя неподходящим, то что вы скажете по поводу Кеннета Майлза, Льюиса Олвейза или, допустим – Джорджа Оруэлла?..

Так родилось всемирно известное имя. Но знаете ли вы, что «Джордж» – это, как раз, святой покровитель Англии? А «Оруэлл» – имя речушки на севере страны, знакомой ему по юности? Может рядом с той деревенькой, где он впервые увидел и огромную лошадь, и мальчика с тонким прутиком?

ДВАЖДЫ ДВА – ВОСЕМНАДЦАТЬ

Библия, Маркс, книги Оруэлла – именно в таком порядке человечество, вот уже полвека, выбирает: что бы ему почитать. Рейтинг – бог современного мира! Но почему – Оруэлл? Ни Солженицын, ни Чехов с Толстым, ни друг Оруэлла Артур Кёстлер, тоже известный «разоблачитель», ни Джойс, ни папаша Хэм, ни даже пророк века, великий фантаст Герберт Уэллс, который однажды, проиграв в эпистолярном споре о будущем всеобщем счастье как раз Оруэллу, в бессилии, не найдя больше аргументов, написал: «Вы – говно!» Точка. Последний «довод» интеллектуалов! Знаем, знаем!..

Впрочем, спорили они, возможно, не о счастье. Сам я их переписку еще не читал. Но про «счастье» Оруэлл действительно думал. Скажу вообще немыслимое: и «Скотный двор», и самое страшное пророчество XX века – роман Оруэлла «1984» – они ведь о счастье. Да-да, о социальном Равенстве людей и всеобщей Справедливости! Может, потому его и читают как раз в таком порядке: Библия, Маркс, Оруэлл?!

Когда-то, занимаясь Тютчевым, я, помню, был поражен тем, что на многие годы поразило самого Тютчева. Он, еще подростком, присутствуя при споре родителей с Жуковским, поэтом, навсегда запомнил вывод последнего, императив его: «Счастье – не цель жизни». Я вспомнил эту мысль, когда наткнулся у Оруэлла на фразу: «Чувство счастья способны ощутить лишь те, кто не считает, что счастье является целью жизни». Это он написал в 1944-м, в статье, посвященной другу, которая так и называлась: «Артур Кёстлер».

Счастье – не цель. Слово в слово. Разные люди, века, системы, а вывод – один. И что вообще тогда – «счастье человечества»? Ведь его, чуть ли не с наскальных времен, обещают людям любые вожди. Об этом великие утопии, про это писали и на знаменах, и кирпичем на стенах, за это отдавали жизни лучшие из людей. И может ли общество в целом, а не один человек ощутить это ускользающее счастье?.. Об этом на острове Юра в Северном море, думал, умирая, Оруэлл. Камин, свечи, кресло и буколическая коза за окном – всё, как он любил. И на столе рукопись, роман «Последний человек». Не книга – сплошные парадоксы: «Война – это мир», «Свобода – это рабство», «Министерство Правды», которое в романе занимается вселенским враньем. Короче, «дважды два – пять» – символ XX века. Даже не пять, а столько, сколько скажет вождь! Эта метафора «тирании рассудка» стала проходной у Пруста, Честертона, Замятина. Да что там, «подпольный человек» Достоевского, отвергая во имя свободы мир, где дважды два четыре, не без ерничества издевался, что «дважды два пять – премилая иногда вещичка...»

Теперь перед Оруэллом стояли загадки пострашней. Не противоречия – «круги» адовы. И впрямь: без просвещения масс невозможен социальный прогресс, но без этого прогресса невозможно и просвещение. Разве не круг заколдованный? Или – можно ли улучшить природу человека, не изменяя политической системы, и как, напротив, изменить систему, если не изменен человек? Да и есть ли польза «в смене системы до того, как улучшена человеческая натура»? Другими словами: нужна ли демократия, если человек до нее не дорос? Вопросов, которые мучили его – тьма. Он видел, например, что объективная истина не только исчезает в мире – она просто перестает интересовать кого-либо. Что вдобавок к известному марксистскому заявлению, что «буржуазная свобода» – это иллюзия, уже распространилась убежденность, будто защищать демократию можно только тоталитарными методами. Что для многих людей, именующих себя социалистами, революция уже не означает движения

масс, а лишь комплект реформ, которые «мы», умные, собираемся навязать «им», существам низшего порядка. Что умный и образованный правитель, как правило, беспомощен, а подлый и циничный – вреден обществу. Что бывает цензура власти, а бывает и более изощренная – цензура больших денег, а цена свободы – «это не столько постоянная бдительность, сколько вечная грязь». Что факты, наконец, особенно в политике, ради конъюнктуры подтасовываются на противоположные, а массовое внушение стало уже наукой и мы, как писал он, «до сих пор не знаем предела возможностей в этой области». Причем, делают это и тоталитарные режимы, и те, кто, казалось бы, живут в свободном обществе. О, лицемерие «левых», тех, на чьей стороне он стоял еще совсем недавно! «Все партии левого крыла в высокоин-дустриальных странах, – напишет теперь Орруэл, – это самое последнее притворство; они борются против того, чего на самом деле разрушать не желают». Зовут к социализму, но в то же время изо всех сил пытаются удержать привычный им образ жизни, стандарты, которые ну никак несовместимы с выдвинутыми идеалами. Как иные коммунисты ныне!

Когда-то еще Фрэнсис Бэкон подметил, что «искусно и ловко тешить надеждами народ, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства общества». «Поистине, – писал философ, – мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда не может удовлетворить их нужд». Теперь философ с острова Юра, уединившись в старом фермерском доме, шел дальше: показывал некий вселенский «фокус», который научились проделывать с людьми властители. Смотрите, смотрите: сначала вашими руками сражаются за власть, превращая себя в единственных выразителей народного движения, а потом, перетолковав идеалы, вырезав в них самое существенное (права, свободы, культуру!), превращают это движение в инструмент коллективного давления на человека, покорения личности и уничтожения всего, что мешает им, властям предержащим. Механизм этого предельно прост, и абсолютно нов. Если в переворотах и революциях прошлого, свергая монархов и диктаторов, победители рано или поздно усваивали не только привычки, манеры, но и идеи свергнутых, то поумневшие вожди нового времени даже взлетев на вершины власти, не только не отказывались от революционной терминологии, но на словах, фор-мально, как бы продолжали бороться с идеями свергнутых классов. Куда теперь было тому же любимому Свифту с его «засаливанием детей бедняков в бочках» и про какую еще там «слезинку ребенка», разрушающую основание всеобщего счастья, толковал когда-то Достоевский? Нет,

почти кричит теперь Оруэлл: «Хотите увидеть образ будущего? Представьте себе сапог, вечно топчущий человеческое лицо...»

Работая когда-то над диссертацией об антиутопиях и Оруэлле, я, помню, все докапывался – откуда эта дата «1984», ставшая названием романа? Почему, не 1999-й или не 2013-й, который по календарю майя должен стать концом летоисчисления? Являлась ли эта анаграмма намеком на апокалипсис Нострадамуса – цифры совпадали? Или, как замечают некоторые, Оруэлл не захотел относить свои «картины» слишком надолго вперед, как бы говоря, что если до этого рубежа мир не превратится в нечто похожее, значит, мы минуем некий кризис? Всё легко, – так объясняли тогда труднодоступные у нас западные источники: он-де хотел назвать книгу «Последний человек» (последний, как носитель и выразитель именно человечности), но, увы, книга с таким названием уже была – так назвала когда-то свой роман, тоже кстати, мрачноватую утопию, Мэри Шелли, прародительница Франкенштейна. И вот тогда – на этом настаивали многие – Оруэлл просто поменял последние цифры года написания своего романа и вывел на обложке – «1984».

Эх, эх – если бы исследователи были поглубже, они бы доискались до еще одной версии – до Джека Лондона, до его романа «Железная пята». Оруэллу было 6 лет, когда «Железная пята» вышла в свет. Но именно в этой книге впервые появляются и «Братство» (как «эра братства»), и «пролы» (от слова – пролетариат), которые возникнут в книге Оруэлла, и, представьте, «1984-й» – год построения из стали, стекла и бетона крупнейшего города олигархов. Внешние совпадения поразительны! Но куда поразительней идея. «Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, – писал в 1909 г. в своем романе Дж. Лондон. – Следом за капитализмом должен был прийти социализм... цветок, взлелеянный столетиями, – братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег – олигархию... «Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, – говорит один из героев романа. – Назовем это угрозой олигархии – дальше я не смею идти в своих предположениях...»».

«Олигархия» – как знакомо нам это слово сегодня? Оруэлл не только наблюдал «природу» ее, не только на собственной шкуре испытал ее «прелести», но к 1948-му понял: на земле может родиться нечто большее – власть «олигархического коллекти-визма», явных могучих партий и тайных кланов, управляющих всем, кланов способных подчинить себе даже сознание масс. Атомная бомба, в качестве дубинки, изолгавшиеся

даже самые демократические СМИ, летучие военные соединения, неизвестно кому принадлежащие, но регулярно появляющиеся в горячих «точках», могучие сверхсовременные серверы, на которых складируются «впрок» все разговоры не только премьер-министров и канцлеров, но и нас, простых людей, и, наконец, самое страшное – межгосударственный «пиар», когда все мировые газеты и телеканалы «как по команде» сообщают вдруг, что первой напала на Грузию – Осетия, а не наоборот. Помните: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым...» Вот чего страшился Оруэлл в будущем, и что мы воочию видим сегодня. К нравственности ныне зовут как раз безнравственные, к правде – последние лжецы, к равенству – те, кто относит себя к элите, к «золотому миллиарду». И всё это становится, как говорят ныне, – «трендом». Какая там «культура», если у художников бог – нажива, какая «демократия», если наверху всегда возникают одни и те же: старший Буш, потом младший Буш, старший муж Клинтон, потом – младшая жена – Клинтонша. Я специально беру «светоч демократии» – Америку. Да, последняя в мире олигархическая революция свершилась не в одной стране – а сразу и – всюду. И сделали ее глобалисты – люди воли и интеллекта: бюрократы, хитроумные эксперты, партийные аппаратчики, софийствующие спикеры, вкрадчивые профессоры и мухлюющие социологи. Узнаете? Разве нынешние съезды, митинги, даже «восьмерки» и «двадцатки» не свидетельствуют о появлении таких людей – бездуховных, но решительных и волевых? Они-то и дергают за веревочки. Эй вы, пролы и быдло, офисный планктон и хомячки, троли и блогеры – слушайте сюда!.. Вот он интеллектуальный «террор» – почти фашизм, появившийся уже и в Интернете, подчиняющий себе всё и вся, террор, который ныне с куда большим успехом заменил «двухминутки ненависти» Оруэлла. Помните: «Послышались бешеные выкрики... Люди вскакивали и снова садились... Темноволосая девушка кричала: «Свинья! Свинья! Свинья», потом схватила словарь новояза и швырнула его в экран... Пароксизм страха и мстительности, желание убивать, мучить, бить по лицу кувалдой как ток проходили сквозь всех, превращая каждого в гримасничающего, вопящего безумца»? Это – Оруэлл. Но не напоминает ли это – вас же самих, сидящих ночью у мониторов и читающих матерные, глумливые «коменты» рафинированных интеллигентов? Нетерпимых в ядовитой злости по любому поводу: от перевода стрелок часов до церкви, от какого-нибудь «шпионского камня» – до «анчоусов» и выборов. Так и хочется крикнуть в невидимую Вселенную Сети – очнитесь! Вы же люди! Ведь это опять:

дважды два – 18, террор умных, успевших вякнуть первыми! И как он выгоден тем, кто и дергает за веревочки – новым «великим инквизиторам»! Это не философский выверт, не умственный кунштюк. Наш Бакунин когда еще писал, что если до власти дорвутся ученые и интеллектуалы, то хуже деспотии не будет, ибо они не только будут знать всё, но и «управлять» – тотально. А Оруэлл, еще в 1936-м сказал, что коль дело дойдет до крайностей, «то интеллигенция в подавляющем большинстве перейдет к фашизму...»

«Темноволосую девушку» из романа «1984» главный герой предаст – отдаст на съедение крысам. Вы это помните, это невозможно забыть. Но знаете ли вы, что нечто подобное было и в жизни Оруэлла? Мне об этом рассказала покойная Чаликова. Она как-то нашла забытый стих писателя, в котором он рассказал о случае, мучившем его всю жизнь. Не порки за мокрые простыни в пансионе сделали его одиноким – нет. Просто ребенком он влюбился в девочку из простонародья и мать запретила ему не только играть – видеться с ней. Он не посмел ослушаться и предал любовь. Вот откуда его Равенство и Справедливость. Вот в чем конфликт его с миром. И вот почему он всю жизнь «бежал» любых победителей, и оставался не просто с бедными – с теми, кого предавали. Наконец, вот откуда его вечное желание быть как все. «Это желание Оруэлла быть похожим на всех, – сказала мне Чаликоваа, – характерно как раз для людей очень сложных, тонко организованных и, конечно – необыкновенных...»

Когда на Лондон посыпались бомбы Гитлера, он стал рваться на фронт, но ранение в шею, слабые легкие, подозрение на туберкулез (он объяснял это тем, что в детстве часто играл в футбол простуженным) сделали это невозможным. Он стал сержантом доброволь-цев местной обороны. Служил на Би-Би-Си, выступал со статьями, недоедал, как и все, но вместе с женой, тем не менее, делил свой паек с людьми, которым было хуже. Порядочность – его масштаб. Непокорный, он знал уже, что среди большинства не слишком самолюбивого человечества, среди тех, кто, по его словам, «после тридцати лет», как правило, отбрасывает амбиции и «начинает скользить по течению», всегда есть немного «одаренных, упрямых людей, которые полны решимости прожить собственные жизни до конца, и писатели принадлежат именно к этому типу». Хотя сам наш «беглец» к концу жизни убегал уже от самой жизни. Из Лондона – на суровый остров в Северном море, из хронической болезни – в ожидаемую без иллюзий смерть, из реальности – в фантазии последнего романа. Бунтарь, скептик, одинокий в толпе и блестящем об-ществе;

не понятый никем («Я понимаю его до определенного предела, – вспоминал его друг, – ибо как раз в ту минуту, когда вы соглашались с ним, он начинал противоречить вам»); никого не щадивший в слове («Его отличала абсолютная прямота, которая многих делала его врагами»), Оруэлл в конце жизни стал одиноким реально – отгородился от мира километрами земли и воды. Его теперь было не достать. От пристани и единственного магазина на одном из Гебридских островов до снятого им фермерского дома было, представьте, 25 километров, причем последние 8 можно было пройти только пешком – дорог не было. Именно там, на острове Юра, похоронив жену в 1945-м, поселился он с сестрой Эврил, с приемным сыном и, конечно – с любимой козой. Просил друзей прислать машинистку, чтобы перепечатать роман начисто, да кто ж поедет? Сам и перепечатал, причем из-за большой правки – дважды...

Да, вся наша жизнь – выбор. Оруэлл выразил эту мысль по-своему. В статье о Ганди за год до смерти он грустно усмехнулся: «Святых, – написал, – всегда надо считать виновными, пока не доказана их невиновность...» И одной из последних записей его стала такая: «Смысл человечности в том, что ты не стараешься быть совершенством, что иногда хочется пойти на грех во имя верности, чтобы не доводить аскетизм до такой степени, когда невозможны дружеские отношения, и чтобы в конечном счете быть готовым потерпеть жизненное поражение и быть раздавленным жизнью, расплатившись этой неизбежной ценой за свою любовь к другим людям...» А последняя и, увы, анонимная запись в секретном «досье» на Оруэлла (а за ним, как я уже говорил, кажется, давно следили спецслужбы), гласила: «21 января 1950 года, ровно через 6 месяцев после издания его знаменитой утопии «1984», писатель скончался от туберкулеза...»

Это случилось, когда в Англии бешено печатали уже второе издание романа «1984» тиражом в 50 тыс., а в США вообще – в 360 тыс. экземпляров. Мир понимал, кого теряет: из Штатов летели недоступные по тем временам антибиотики, в Швейцарии друзья готовили Оруэллу место в санатории. А один из самых близких, Ричард Рис, тот, кто и назовет его «беглецом», увы, попрощаться не успел. Он был в Канаде. «Я был в одном литературном собрании, когда вдруг кто-то вошел и сказал: «Умер Оруэлл». В наступившем молчании меня, помню, пронзила мысль: отныне этот прямой, добрый и яростный человек станет одним из самых властных мифов XX века»...

«Он был не такой, как мы, – написал в некрологе Артур Кёстлер. – В отличие от дипломированных специалистов и академических снобов он умел видеть очевидное; в отличие от лукавых и тенденциозных интеллектуалов не боялся говорить о том, что он видел, и в отличие от большинства политологов и социологов он мог сделать это на хорошем английском языке...»

Кстати, Оруэлл не раз говорил, что каждая книга – «это всегда – неудача писателя». Поймем ли мы его?

Вячеслав Недошивин

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 3

СЛАВНО, СЛАВНО МЫ РЕЗВИЛИСЬ 9

ФУНТЫ ЛИХА В ПАРИЖЕ И ЛОНДОНЕ 49

ДОРОГА НА УИГАН-ПИРС 197
Часть первая 199
Часть вторая 273

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ 345

В.Недошивин ПОНЯТЬ ОРУЭЛЛА... (Послесловие) 521

Для заметок